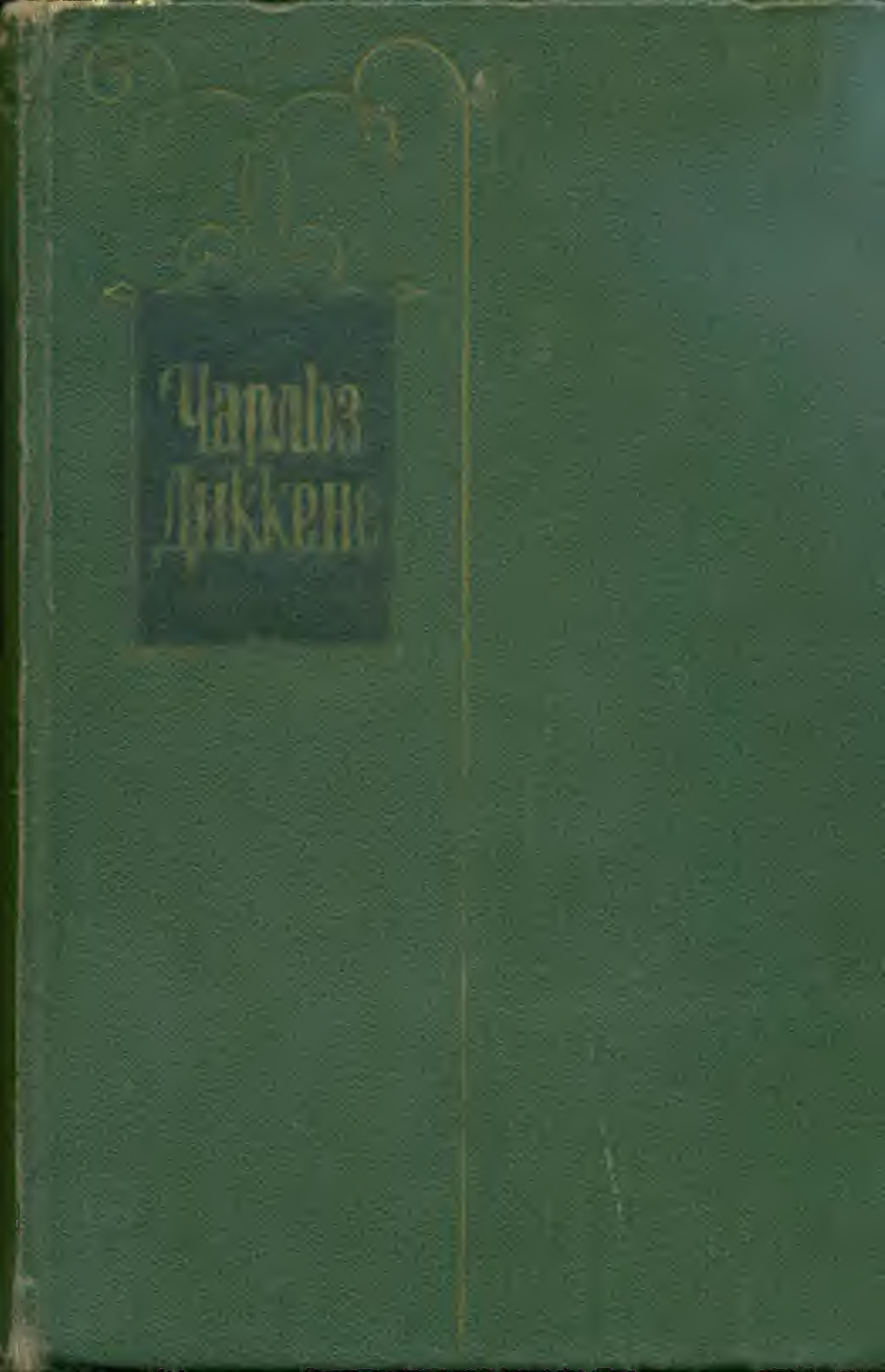

Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией
А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

ПОВЕСТИ 60-х ГОДОВ

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА

Роман

Переводы с английского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

CHARLES DICKENS

TOM TIDDLER'S GROUND

1861

DOCTOR MARIGOLD'S PRESCRIPTIONS

1865

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

1870

Иллюстрации
Л. ФИЛДСА
и Э. ДЭЛЗИЛА

ПОВЕСТИ 60-х ГОДОВ

ЗЕМЛЯ ТОМА ТИДДЛЕРА

Перевод Н. Бать

РЕЦЕПТЫ ДОКТОРА МЕРИГОЛДА

Перевод И. Гуровой

Редактор М. Беккер

Земля Тома Тиддлера

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой мы находим сажу и пепел

— Но почему это место называют «Земля Тома Тиддлера»? — спросил Путник.

— Да потому, что он кидает медяки бродягам и попрошайкам,— пояснил Хозяин.— Ну, те, понятно, их подбирают. А уж если это делается на его земле — земля-то и впрямь принадлежит ему, еще предки его владели ею,— да он еще небось свои медяки не ниже золота да серебра ценит и всем тычет в глаза, что это, мол, моя земля,— вот и получается совсем как в детской игре про Тома Тиддлера *. Так что название вполне подходящее,— заключил Хозяин, по излюбленной своей привычке слегка пригибаясь, дабы вперить взор через окно в пустоту под полуспущенной шторой.— Так по крайней мере считали все джентльмены, которые подкреплялись отбивными и пили чай в этом скромном заведении.

Путник как раз подкреплялся отбивными и пил чай в этом скромном заведении, и, стало быть, Хозяин норовил угодить рикошетом и в него.

— И вы называете его Отшельником? — спросил Путник.

— Так его все в округе называют,— ответил Хозяин, предпочитая не брать на себя ответственность.

— Отшельник... А что это такое? — спросил Путник.

— Что это такое? — повторил Хозяин, потерев подбородок.

— Вот именно, что это такое?

Хозяин вновь пригнулся, дабы обстоятельнее рассмотреть пустоту под оконной занавеской, и, как человек, не привыкший утруждать свой мозг четкими умозаключениями, молчал с таким видом, словно вот-вот умрет от удушья.

— Ну так я скажу вам, что это такое. По моему разумению, — это чудовищно грязное существо...

— М-да, мистер Сплин грязноват, это верно, — согласился Хозяин.

— ...невыносимо самовлюбленное...

— М-да, мистер Сплин, как все говорят, жизнью своей гордится, — пошел на вторую уступку Хозяин.

— ...порожденная ленью уродливая аномалия человеческого естества, — продолжал Путник. — Для блага трудолюбивого господнего мира и его духовной, равно как и физической, чистоты, я бы, будь на то моя воля, немедля приговорил этакое создание к каторжным работам, все равно — где: на земле Тома Тиддлера, или самого папы римского, или хоть факира индийского, словом, на любой земле.

— Навряд ли мистера Сплина пошлешь на каторжные работы, — глубокомысленно изрек Хозяин, качая головой. — Ведь он законный владелец земельной собственности.

— А далеко ли до этой самой «Земли Тома Тиддлера»? — осведомился Путник.

— Миль пять будет, — ответил Хозяин.

— Ну что ж. Позавтракаю и направлюсь туда. Я нарочно прибыл пораньше, чтобы разузнать об этом месте и посетить его.

— Не вы первый, — заметил Хозяин.

Разговор этот происходил однажды, в разгаре лета в году господнем, не столь уж давнем, среди живописных долин и богатых форелью речек в некоем зеленом графстве Англии. Не важно, в каком именно графстве. Довольно будет сказать, что там вы можете охотиться, удить рыбу, бродить по заросшим высокими травами дорогам, проложенным еще римлянами, заниматься раскопками

древних могильников или затеять идиллическую беседу с бойким на язык крестьянином — красой и гордостью страны, который поведает вам — если вы того пожелаете,— как вести пасторальное хозяйство на девять шиллингов в неделю.

Путник сидел за завтраком в «Колокольном звоне» — маленьком деревенском трактире, земляной пол которого был посыпан песком. Башмаки его носили следы росы и пыли после ранней утренней прогулки, ранней прогулки по дорогам, лугам и рощам, щедро наградившим его одежду травинками, клочками душистого сена, сочными и увядшими листьями и другими благоуханными дарами свежего и обильного лета.

Окно, через которое Хозяин вперял взор в пустоту, было завешено от яркого утреннего солнца, заливавшего деревенскую улицу. Деревенскую улицу, которая ничем не отличалась от прочих деревенских улиц: она была чересчур широка для ее низких домишек, чересчур тиха при ее длине и объята непробудной скукой.

Тихие маленькие домики с большущими ставнями — дабы крепко запирать Нищету, словно это Монетный двор или Английский банк,— до того необдуманно пригласили в свою компанию дом Доктора, что медная дощечка на его дверях и все три этажа выделялись среди них так же заметно и резко, как сам Доктор в черной суконной паре — среди своих пациентов, облаченных в холстину.

Казалось, с такой же опрометчивостью деревенские строения завели судебную тяжбу: десятка два жалких дощатых лачуг беспорядочной гурьбой обступили особняк Стряпчего, угрожавший им блестящими каменными ступенями крыльца, устрашающего вида скобой для очистки грязи с подошв и явным намерением вот-вот вчинить иск о выселении. Эти домишки обликом своим напоминали сельских мастеровых: коренастые, кособокие, одноглазые, лупоглазые, подслеповатые, кривоногие, косолапые, скрюченные ревматизмом, несуразные. В иных домиках, например в посудной лавке и лавке скобяных товаров, под самой крышей, не более чем в двух вершках от конька, имелось окошко, подобное глазу Циклопа, которое давало основание предположить, что какой-нибудь несчастный деревенский мастеровой вынужден на ночь забираться в свою ка-

морку ползком, на манер червя. Вся окрестность вокруг деревни являла такое буйное изобилие, а сама деревенька была такой опустевшей и нищей, что невольно на ум приходила мысль, будто она посеяла и посадила в землю все свое достояние, дабы превратить его в злаки, стебли и травы. Вот почему, должно быть, пустовали лавчонки, вот почему на углу пустовали базарные навесы и прилавки и вот почему пустовала ветхая гостиница и постоялый двор, на воротах которого еще не выцвела зловещая надпись «Акцизное управление», как бы указывающая на то, от чего никак не может отделаться нищета. Вот почему и единственный бродячий пес с заранее обдуманным намерением покинул деревню и удалился в направлении белых столбов и пруда, и поступок его можно было объяснить, только предположив, что он собирался — путем самоубийства — превратиться в удобрение, чтобы получить право на часть урожая репы и кормовой свеклы.

Окончив завтрак и уплатив по скромному счету, Путник вышел на порог «Колокольного звона» и, направляемый указующим перстом Хозяина, побрел к пустоши мистера Сплина-Отшельника.

Ухитрившись довести до полного разорения все свое хозяйство, завернувшись в одеяло и скрепив его спицей, а также вымазавшись сажей, грязью и прочей пакостью, вышеупомянутый мистер Сплин снискал себе в округе великую славу — славу значительно большую, чем мог бы заслужить, будь он заурядным христианином или добропорядочным готтентотом *. Своим одеялом он даже сумел окрутить лондонские газеты, поймать их на острие своей спицы и перемазать их сажей и грязью. И Путник, останавливаясь у какого-нибудь жилья или фермы, чтобы расспросить о дороге, всякий раз не без удивления убеждался, с каким точным расчетом мрачный мистер Сплин сумел сыграть на слабостях своих соседей, чтобы те постарались создать ему эту славу.

Романтическая дымка, ореол некоего доморощенного чуда окружали мистера Сплина, а в этой дымке — как и во всяком тумане — истинные размеры предмета представали в непомерно увеличенном виде. Он в припадке ревности убил красавицу возлюбленную и теперь искупает вину; он дал обет под влиянием глубокой скорби; дать

обет его побудило роковое несчастье; дать обет его побудила религия; дать обет его побудило пьянство; дать обет его побудило разочарование; он никогда не давал обета,— страшная роковая тайна толкнула его на этот шаг! Он баснословно богат; он безрассудно щедр; он чрезвычайно учен; он видит духов; он может творить всевозможные чудеса. Некоторые утверждали, что каждую ночь он выходит на волю и подстерегает на темных дорогах одиноких прохожих. Другие говорили, что он никогда не выходит на волю; одни уверяли, что срок его затворничества уже истекает, другие достоверно знали, что он обрек себя на затворничество вовсе не в наказание и что оно прекратится лишь с кончиной самого Отшельника. Даже по таким, казалось бы, несложным вопросам, как вопрос о его возрасте и о том, как давно он пребывает в своем омерзительном одеяле, сколотом спицей, нельзя было получить точных сведений от лиц, которые, имей они возможность, уж наверняка бы разузнали все до мелочи. Возраст ему приписывали самый различный, от двадцати пяти до шестидесяти лет, и Отшельником он пребывал уже семь, двенадцать, двадцать, тридцать лет,— двадцать лет, однако, были излюбленным сроком.

— Ну что ж,— промолвил Путник,— хоть посмотрю, что такое настоящий живой отшельник.

И Путник шагал все дальше и дальше, пока не добрался до Земли Тома Тиддлера.

Это был глухой уголок у старой проселочной дороги, опустошенный гением мистера Сплина до такой степени, точно этот мистер Сплин родился императором и завоевателем. В центре его стоял довольно большой дом, все стекла в котором были давно уничтожены вышеупомянутым сокрушительным гением Сплина, а все окна забиты и заколочены толстыми бревнами.

На заваленном хламом дворе, густо заросшем сорными травами, стояли постройки, с крыш которых свободно слетала солома от всех ветров во все времена года, а стропила и балки обваливались и гнили. Зимние оттепели, морозы и летний зной погнули и покоробили все, что еще кое-как уцелело, и теперь ни один столб, ни одна доска не держались на своих местах,— все, подобно их хозяину, было изломано, исковеркано, выворочено, осквернено.

В этом хозяйстве бездельника за обвалившейся изгородью, утопая в высохшей траве и крапиве, еще торчали остатки стогов, заплесневевших и осевших и напоминающих гнилые соты или кучи грязной губки. Земля Тома Тиддлера могла предложить для обозрения свои загрязненные воды, ибо в усадьбе имелся илистый пруд, в который повалились деревья — разбухший ствол и ветви одного из них занимали всю его поверхность,— пруд, который при всем зловонии густых водорослей, при всей своей черной гнусности, гнили и грязи все же невольно вселял чувство удовлетворения, ибо лишь такая вода могла отражать всю постыдную мерзость запустения этого места, не будучи оскверненной столь недостойным занятием.

Когда Путник обозревал Землю Тома Тиддлера, взгляд его привлек загорелый Жестянщик, растянувшийся среди бурьяна в тени дома. Рядом с ним лежала суковатая палка, а под головой — небольшая котомка.

Жестянщик встретил взгляд Путника не поднимая головы, а чтобы лучше разглядеть пришельца, просто пригнул к груди подбородок, так как лежал на спине.

— Добрый день! — приветствовал его Путник.

— И вам того же, коли он вам по душе,— ответил Жестянщик.

— А вам не по душе? Денек отличный.

— Мне дела нет до погоды,— зевнул Жестянщик.

Путник подошел к нему и стал его разглядывать.

— Место любопытное,— заметил он.

— Что и говорить,— подтвердил Жестянщик.— Зовется Земля Тома Тиддлера.

— Вам оно хорошо знакомо?

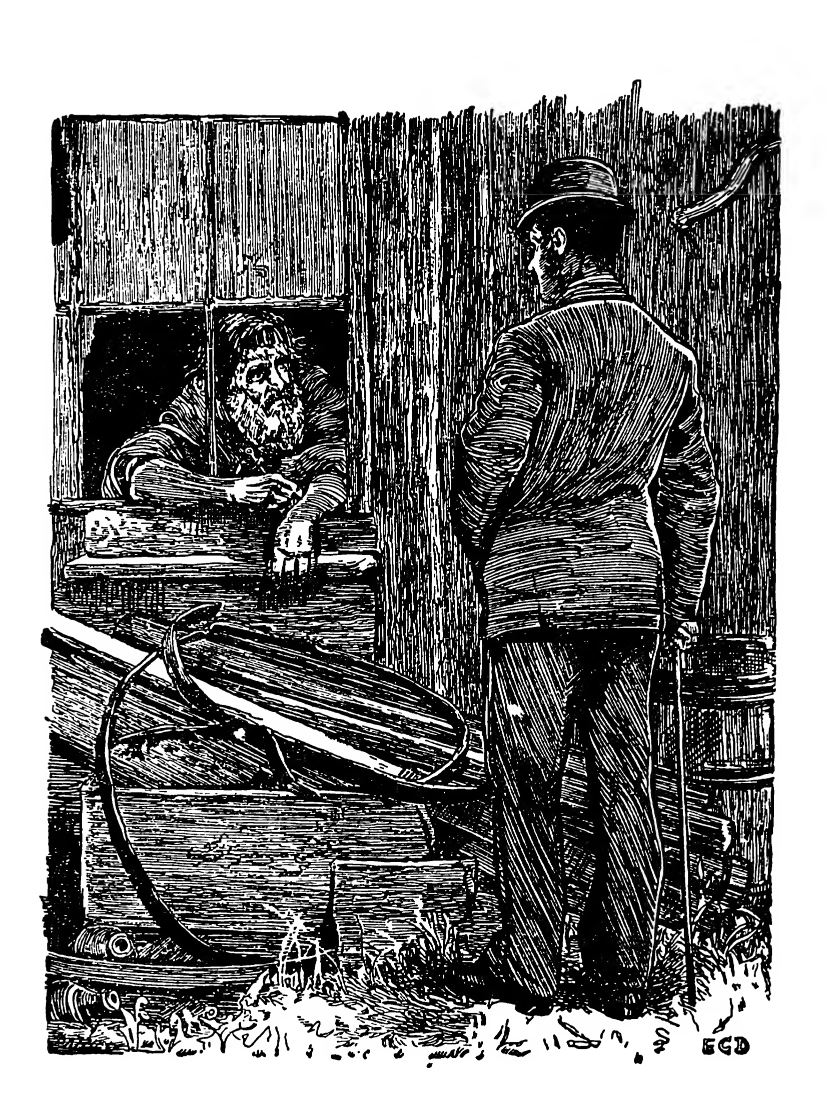
— В первый раз вижу,— снова зевнул Жестянщик,— и не стану плакать, если не увижу во второй. Только что был тут один и сказал, как оно зовется. Если вам охота взглянуть на самого Тома, так ступайте вон через те ворота,— и он слегка повернул голову туда, где виднелись остатки деревянных ворот.

— А вы уже видели Тома?

— А на что он мне сдался? Не видал я грязи!

— Разве он не живет в этом доме? — спросил Путник, еще раз оглядев дом.

— Тот, что только что ушел, сказал...— довольно сер-


ECD

дито пояснил Жестянщик,— ты, говорит, приятель, развалился на Земле Тома Тиддлера. А если, говорит, желаешь поглядеть на самого Тома, ступай вон в те ворота. Раз он сам из них вышел, стало быть, знает.

— Несомненно,— согласился Путник.

— А может...— заметил Жестянщик, до того потрясенный своей догадкой, гениальность которой произвела на него поистине гальваническое воздействие и даже заставила приподнять голову чуть ли не на целый вершок,— а может, он все наврал! И наплел же он с три короба про это место! Ну, тот, стало быть, что сюда приходил. Перед тем как Том заперся и все пошло прахом, он наказал все кровати в спальнях застелить, будто в них спать будут. И если, говорит, теперь пройтись по комнатам, то увидишь, как одеяла на кроватях так и ходят волнами, так и ходят. А знаешь, спрашивает, отчего? От крыс!

— Жаль, что мне не пришлось повидаться с этим человеком,— заметил Путник.

— Оно бы и лучше, если б вы его видели, а не я,— проворчал Жестянщик.— Больно у него язык длинный.

Вспомнив об этом не без досады, Жестянщик с мрачным видом закрыл глаза, а Путник, сочтя, что у Жестянщика язык, по-видимому, короткий и что больше из этого человека ни слова не выжмешь, направился к воротам.

Проскрипев ржавыми петлями, ворота впустили Путника во двор, где он увидел пристройку с зарешеченным окном, примыкавшую к обветшалому зданию.

Под низким окном виднелось уже множество следов, само окно было без стекол, и потому Путник решился в него заглянуть. И тут взору его предстал настоящий живой отшельник, по которому можно было судить о настоящих, давно усопших отшельниках.

Он возлежал на груде золы подле покрытого ржавчиной очага. В темной кухоньке или чулане — бог знает, чем раньше служила эта конура,— не было ничего кроме стола, уставленного старыми бутылками.

Если бы не крыса, которая, со звоном опрокидывая бутылки, спрыгнула со стола и на пути в свою нору пробежала по настоящему живому отшельнику, то человека в его норе было бы не так легко разглядеть. Хвост крысы защекотал лицо Отшельника, и владелец Земли Тома Тидд-

лера открыл глаза, увидел Путника, вздрогнул и подскочил к окну. Путник на шаг-другой отступил от окна.

«Фу! Это же помесь обитателя Ньюгета, Бедлама, Долговой тюрьмы в ее худшие времена, трубочиста, золоторотца и Благородного дикаря! * Ха-ха! Недурная семейка этот род отшельников!» — вот о чем думал Путник, молча разглядывая закопченное черное существо в одеяле, сколотом спицей,— кстати сказать, другого платья на нем и не было,— лохматое существо, пялившее на него глаза. Заметив, что в глазах этих сверкает явный интерес к тому, какое они производят впечатление, Путник подумал: «О, суета сует и всяческая суета!»

— Как ваше имя, сэр, и откуда вы прибыли? — спросил мистер Сплин-Отшельник весьма величественно, хотя и на обыкновенном языке образованного человека.

Путник ответил на эти вопросы.

— Вы прибыли, чтобы посмотреть на меня?

— Да, будучи наслышан, решил на вас посмотреть. Вам же нравится, когда на вас смотрят.— Последнюю фразу Путник произнес как бы между прочим, как нечто само собой разумеющееся, дабы предупредить притворное недовольство, уже пробивавшееся сквозь слой грязи и копоти на физиономии Отшельника. И слова эти произвели должный эффект.

— Вот как! — сказал Отшельник после небольшой заминки. Выпустив из рук прутья решетки, он примостился на подоконнике, поджав под себя голые ноги.— Значит, вам известно, будто мне нравится, чтобы на меня смотрели?

Путник поискал глазами, на что бы присесть, и, заметив поблизости чурбан, подкатил его к окну. Неторопливо усевшись, он ответил:

— Совершенно верно.

С минуту они молча смотрели друг на друга, и казалось, обоим нелегко было друг друга раскусить.

— Итак, вы пришли узнать, почему я веду такой образ жизни? — грозно нахмурившись, спросил Отшельник.— Я этого не рассказываю ни одному живому существу. И не разрешаю об этом спрашивать.

— Будьте спокойны, уж я-то наверняка спрашивать не стану,— отвечал Путник.— Меня это нисколько не интересует.

— Вы невежа! — изрек мистер Сплин-Отшельник.

— От невежи слышу,— ответил Путник.

Привыкнув вселять в своих посетителей священный трепет, поражая их своей грязью, одеялом и спицей, Отшельник взирал на гостя несколько растерянно и удивленно, словно выстрелил в него из надежного ружья, которое дало осечку.

— В таком случае зачем вы сюда явились? — спросил он после некоторого раздумья.

— Право же, несколько минут назад меня вынудили задать себе тот же вопрос. А знаете кто? Жестянщик.— И Путник бросил взгляд на ворота. Отшельник тоже посмотрел в ту сторону.— Вот именно. Он там полеживает на солнышке,— продолжал Путник, словно Отшельник спросил у него об этом человеке.— Он не желает сюда заходить и вполне резонно заявляет: «А на что он мне! Не видал я грязи!»

— Вы наглец! — гневно воскликнул Отшельник.— Прочь из моих владений! Прочь!

— Ну полно, полно,— нимало не смущаясь, урезонивал его Путник.— Это уж слишком. Не станете же вы утверждать, будто блистаете чистотой! Взгляните на ваши ноги! А ваши владения! Да они в столь жалком состоянии, что не могут даже претендовать на какого-нибудь хозяина.

Отшельник спрыгнул с подоконника и бросился на свое ложе.

— Я не уйду,— сказал Путник, заглядывая в окно,— вам не удастся таким путем от меня избавиться. Лучше подойдите сюда, и мы поговорим.

— Я не буду с вами разговаривать,— заявил Отшельник и повернулся спиной к окну.

— А я буду,— продолжал Путник.— Вот вы обижены тем, что я не интересуюсь, что именно побудило вас вести столь нелепый и столь непристойный образ жизни. Но ведь если я вижу больного, я вовсе не обязан интересоваться, что послужило причиной его болезни.

После короткой паузы Отшельник снова вскочил на ноги и подошел к окну.

— Как, вы еще не ушли? — воскликнул он, словно и впрямь полагал, что посетитель уже ушел.

— И не уйду,— ответил Путник.— Я намерен провести этот летний день здесь.

— Как вы смеете, сэр, вторгаться в мои владения...— начал было Отшельник, но Путник прервал его:

— Ну, знаете, насчет ваших владений вам бы лучше помолчать. Я просто не могу допустить, чтобы эту дыру удостаивали такого названия.

— Как вы смеете! — вопил Отшельник, сотрясая прутья решетки.— Как вы смеете являться ко мне и оскорбительным образом называть меня больным!

— О боже милостивый! — весьма хладнокровно возразил Путник.— Неужели у вас хватит совести утверждать, будто вы здоровы? Тогда извольте вновь обратить внимание на свои ноги. Поскребите себя где угодно и чем угодно, а потом попробуйте сказать, что вы здоровы. Суть в том, мистер Сплин, что вы не только Скверна...

— Я — Скверна?! — в ярости переспросил Отшельник.

— А как же еще назвать эту усадьбу, доведенную до столь непотребного состояния? Это — Скверна! Как иначе назвать человека, дошедшего до столь непотребного состояния. Это — Скверна! И кроме того, вы отлично знаете, что не можете обойтись без публики, и почитатели ваши — тоже Скверна... Вы привлекаете все отребье, всех проходимцев на десять миль в округе и выставляетесь перед ними напоказ в этом гнусном одеяле, швыряете им медяки и угощаете их спиртным вон из тех грязных кружек и бутылок — поистине тут требуются луженые желудки! Короче говоря,— заключил Путник спокойным и ровным голосом,— сами вы — Скверна, и эта собачья конура — Скверна, и публика, без которой вы не можете обойтись,— Скверна, и, пожалуй, самое скверное то, что Скверна этой округи, уже одним тем, что она существует в цивилизованном мире, хотя, казалось бы, давно отжила свой век, становится Скверной всеобщей!

— Да уйдете вы или нет! У меня есть ружье! — пригрозил Отшельник.

— Ба!

— Есть, говорю вам!

— Ну, посудите сами, разве я утверждал, что у вас его нет? А что касается моего ухода, то ведь я уже ска-

зал, что не уйду. Ну вот, из-за вас я потерял нить... Ах да, я говорил о вашем поведении. Все это не только Скверна, более того, это предельное сумасбродство и безволие.

— Безволие? — словно эхо, отозвался Отшельник.

— Безволие,— все с тем же спокойным и невозмутимым видом подтвердил Путник.

— Это я безволен? О, глупец! — возопил Отшельник.— Я, верный своему подвижничеству, своей скудной пище и вот этому ложу все эти долгие годы?!

— Чем больше лет, тем больше ваше безволие,— заметил Путник.— Хотя не так уж много прошло этих лет, как гласит молва, которую вы охотно поддерживаете. Мистер Сплин, корка грязи на вашем лице толста и черна, но и сквозь нее я могу разглядеть, что вы еще молоды.

— А предельное сумасбродство выходит не что иное, как безумие? — спросил Отшельник.

— Весьма на то похоже.

— Но разве я говорю как безумный?

— Как бы там ни было, но у одного из нас имеются веские основания считать другого таковым. Кто же безумен — чистоплотный человек в пристойном костюме или человек, заросший грязью и в совершенно непристойном виде? Я умолчу, кто именно.

— Так знайте же вы, самодовольный грубиян,— воскликнул Отшельник,— не проходит и дня, чтобы беседы, которые я здесь веду, не утверждали меня в правоте моего подвижничества, не проходит и дня, чтобы все, что я здесь вижу и слышу, не доказывало, как я прав и стоек в моем подвижничестве!

Путник, поудобнее устроившись на своем чурбане, достал из кармана трубку и принялся ее набивать.

— Одно предположение,— начал он, устремив взор в синеву небес,— одно лишь предположение, что человек, пусть даже за решеткой, в одеяле, сколотом спицей, отважится уверять меня, что он изо дня в день видит множество всякого рода людей, мужчин, женщин и детей, которые каким бы то ни было образом доказывают ему, будто поступать вопреки законам общественной природы человека, не говоря уже о законах обычной человеческой благопристойности, есть не что иное, как самая жал-

кая распущенность; или что кто-то доказывает ему, будто, обособляясь от ближних своих и их обычаев, он не являет собою зрелище отвратительного убожества, предназначенное для увеселения самого сатаны (да еще, пожалуй, обезьян),— одно лишь это предположение вопиюще. Я повторяю,— продолжал Путник, раскурив трубку,— подобная безрассудная дерзость вопиюща, даже если она исходит от существа, покрытого коростой грязи в вершок толщиной, сидящего за решеткой и облаченного в одеяло, сколотое спицей.

Отшельник как-то нерешительно поглядел на него, отошел к своей куче золы и пепла, лег, снова поднялся, подошел к окну, снова нерешительно взглянул на гостя и, наконец, сердито буркнул:

— Я не выношу табака.

— А я не выношу грязи. Табак отличное дезинфицирующее средство. Моя трубка нам обоим лишь на пользу. Я намерен просидеть здесь весь этот летний день, пока благословенное летнее солнце не склонится к закату, и доказать вам устами любого, кому случится проходить мимо ворот, какое вы никчемное, жалкое создание.

— Что это значит? — гневно воскликнул Отшельник.

— Это значит, что вон там — ворота, тут — вы, а здесь — я. Это значит также, что я твердо убежден в том, что любой случайный прохожий, который войдет к вам во двор через эти ворота, из каких бы краев он ни явился, каков бы ни был запас его житейской мудрости, приобретенной им самим или позаимствованной у других,— любой сочтет необходимым встать на мою сторону, а не на вашу.

— Вы наглый и хвастливый субъект,— сказал Отшельник.— Вы считаете себя бог весть каким мудрецом.

— Чепуха,— ответил Путник, спокойно покуривая трубку.— Много ли мудрости требуется, чтобы понять, что каждый смертный должен делать дело и что все люди тесно связаны между собою.

— Уж не станете ли вы утверждать, будто у вас нет сообщников?

— Болезненная подозрительность естественна при вашем состоянии,— сочувственно подняв брови, произнес Путник.— Тут уж ничего не поделаешь.

— Вы хотите сказать, что у вас нет сообщников?

— Я не хочу сказать ничего, кроме того, что уже сказал. А сказал я, что будет просто противоестественно, если хоть один сын или дочь Адама, вот на этой самой земле, на которую ступила моя нога, или на любой другой земле, куда ступает нога человека, вздумает хулить здоровую почву, на которой зиждется наше существование.

— Стало быть,— со злобной усмешкой перебил его Отшельник,— вы считаете, что...

— Стало быть, я считаю,— подхватил Путник,— что провидение повелело нам по утрам вставать, умываться, трудиться для общего блага и оказывать воздействие друг на друга, предоставив лишь слабоумным да паралючным сидеть в углу и хлопать глазами. Итак,— тут Путник повернулся к воротам,— Сезам, откройся! Пусть глаза его прозрят, а сердце омрачится скорбью. Мне все равно, кто войдет, ибо я знаю, чем это кончится.

С этими словами Путник повернулся к воротам, а мистер Сплин-Отшельник, совершив несколько нелепых прыжков с ложа к окну и обратно, подчинился неизбежному, свернулся клубком на подоконнике, ухватившись за прутья решетки и с явным любопытством выглядывая из своего логова.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой мы находим вечерние тени

Первым посетителем, появившимся в воротах, был случайно заглянувший во двор джентльмен с альбомом под мышкой. Его испуганный и изумленный вид говорил о том, что молва об Отшельнике еще не достигла его ушей. Как только к незнакомцу вернулся дар речи, он поспешил извиниться и пояснить, что, впервые посетив эти края, был поражен живописными руинами этого двора и сараев и заглянул в ворота, желая только сделать зарисовку с натуры.

Посвятив смущенного незнакомца в таинственную историю Отшельника, Путник сказал, что любые рассказы, почерпнутые из жизненного опыта посетителей, способ-

ные оживить мистера Сплина в это летнее утро, пришлись бы весьма кстати в таком затхлом углу. Поначалу посетитель пришел в замешательство, не столько, как выяснилось впоследствии, из-за отсутствия способностей рассказчика, сколько из-за того, что не мог так сразу вспомнить ни одной подходящей истории. Стараясь собраться с мыслями, он, как-то незаметно для себя самого, вступил в беседу с Отшельником.

— Мне никогда не приходилось наблюдать, чтобы затворничество, подобное вашему, приводило к добру,— произнес он.— Я сам знаю, насколько оно заманчиво, сам изведал его соблазн и сам ему поддавался; но добра от него не видал. Впрочем, постойте,— осекся он, поправляя себя, как это свойственно человеку добросовестному, который не воспользуется для подтверждения своей излюбленной теории фактом, хотя бы в малейшей степени сомнительным.— Позвольте! Да, да, я вспоминаю одно доброе дело, свершить которое в какой-то мере стало возможным потому, что человек вел затворнический образ жизни.

Отшельник с торжествующим видом вцепился в прутья решетки. Однако Путник, нимало не смущенный, попросил незнакомца рассказать об обстоятельствах этого дела.

— Вы о них услышите,— отвечал незнакомец.— Но предварительно мне хотелось бы заметить, что события, о которых я собираюсь рассказать, произошли несколько лет тому назад, когда я только что претерпел жестокий удар судьбы и, вообразив, будто мои друзья своим сочувствием заставят меня лишь острее ощущать мою потерю, решил удалиться от них и пребывать в полном одиночестве до той поры, пока хоть в какой-то мере не утихнет боль утраты.

В истории, которую вы сейчас услышите, я хочу рассказать вам, как были обнаружены добрые дела, пробуждены добрые чувства, совершены добрые поступки и пожаты добрые плоды, и все это лишь благодаря Вечерним Теням.

Я часто думал о том, как предательски выразительны бывают тени. Я имею в виду тени, которые можно уви-

деть с улицы в освещенных окнах домов, тени, возникающие на спущенной шторе, когда люди находятся между нею и лампой. Мне случалось наблюдать их, когда, проходя мимо церкви во время богослужения, я смотрел на окна и видел в них тени влюбленных, склоненных над одним молитвенником; тени детей, которые наверняка болтали и пересмеивались; а иной раз я замечал тень, которая то и дело рывком подавалась вперед, потом, словно опомнившись, вскидывалась и некоторое время держалась неестественно прямо и неподвижно, после чего вновь начинала подаваться вперед, и это позволяло мне предположить, что там уже дошли до четвертой части проповеди, состоящей из восьми разделов, и что передо мною некто, ищущий во сне спасения от красноречия проповедника.

Среди теней, хранимых моей памятью, есть такие, что запечатлелись в ней не просто темными, холодными пятнами; их отбрасывали создания столь светлые и благородные, что тени казались лишь мягким отсветом, а свет, который их отбрасывал,— лучезарным сиянием.

То, о чем я хочу рассказать вам, произошло несколько лет назад, когда я одиноко жил на узкой и довольно людной улице в одном из старинных кварталов Лондона — на одной из тех улиц, где более или менее сносные дома стоят вперемежку с самыми убогими и где в одном из самых лучших и чистых домов я снимал две комнаты: спальню и гостиную.

Тогда, впрочем, так же, как и теперь, во время работы я не выносил шума, и поэтому превратил спальню на третьем этаже в студию, спал же я в гостиной, где ночью было тихо, тогда как днем туда доносился уличный шум. Таким образом, моя рабочая комната была на третьем этаже и выходила на задворки, а так как в нескольких ярдах от моего дома другая улица под острым углом пересекала ту, на которой жил я, то вполне понятно, что задние стены домов этой косой улицы, носящей вполне подходящее название Поперечной, находились на довольно близком расстоянии от моего окна. Я столь обстоятельно описал местоположение моего жилища для того, чтобы вам легче было представить, каким образом внимание мое привлекло нечто такое, о чем я собираюсь рассказать подробнее.

Вы также поймете, как случилось, что я, сидя в своей комнате, особенно во время коротких зимних дней, когда уже спускались сумерки, и задумчиво глядя в окно, погруженный в размышления о своей работе, невольно устремлял взгляд на одно из окошек в задних стенах домов косой улицы, о которой я только что упоминал, и как зачастую ловил себя на том, что стараюсь представить себе обитателей комнат, отделенных от меня столь небольшим расстоянием.

Окно одной из этих комнат по некоторым причинам особенно занимало мое воображение. Окно находилось на одном уровне с моим, как раз напротив него. В дневное время, хотя штора была поднята до самого верха, я почти ничего не мог там разглядеть, однако и то, что я видел, говорило о крайней бедности этого жилья. Долгая привычка пользоваться глазами, если можно так выразиться, «умозрительно», развила во мне склонность придавать большое значение внешним очертаниям предмета, в той мере, в какой они выражают его внутреннюю сущность. Как бы там ни было, но я обладаю такой склонностью в очень сильной степени, особенно же в отношении окон. Я полагаю, что окна могут дать богатый материал для понимания вкусов, привычек и характеров обитателей жилища.

Кто не чувствовал, проходя мимо какого-нибудь дома и глядя на чистые окна, уставленные цветами, на сочетание ярких бело-зеленых тонов аронника с нежными тонами гиацинтов, создающих такую свежую гамму красок на общем темном фоне, кто не чувствовал, что хозяева комнат с украшенными таким образом окнами живут куда счастливее и спокойнее, нежели их ближайшие соседи, на грязном окне которых косо висит желтая штора, а в проволочной сетке под нею зияет дыра?

Если придерживаться теории, которую я только что рискнул изложить, то вы легко поймете, что я был склонен отнести жильцов комнаты напротив к первой категории, ибо разглядел в их окне огромную фуксию, веером раскинувшую листья и ветви между деревянными подпорками. Я заметил также, что это бедное окно всячески старались украсить, хотя бы и самыми дешевыми предметами декоративного искусства, но все же свидетельство-

вавшими о любви к изящному и о желании как-то прикрыть нищету.

Но, как я уже сказал, окно это привлекало мое внимание чаще всего именно в сумерки и по вечерам. Ведь когда в комнате горит свет, тени находящихся в ней предметов и людей возникают на оконной шторе с такой яркостью и четкостью, что человеку, который не занимался подобными наблюдениями, трудно этому поверить. И вот, тени говорят мне, что в комнате живут муж и жена, и я уверен, что оба они молоды. Мужчина, как мне дает основание заключить его поза, а также экран из папиросной бумаги, за которым он сидит,— гравер, бедный труженик, для которого дни чересчур коротки, и он, сгорбившись, долгие ночные часы терпеливо корпит над своей работой. Время от времени я замечаю, как он встает, откидывает голову, чтобы отдохнула шея, и тогда я вижу тень его молодой, чересчур худощавой, но стройной фигуры. Тень показывает, что он носит бороду. Свет в комнате очень яркий, и это еще больше убеждает меня в том, что человек этот гравер. Почти всегда рядом с его тенью — тень его жены. Как она следит, как ухаживает за ним, как склоняется над спинкой его стула или опускается подле него на колени! В те дни я еще ни разу не видел ее лица, но не мог представить себе ее иначе, как женщиной настолько очаровательной и милой, что она могла бы внести свет даже в более мрачную комнату и сделать тяжелую жизнь мужа,— если у него хватит сил выдержать ее,— не только терпимой, но и восхитительной.

Если у него хватит сил выдержать эту жизнь... Но хватит ли? Передо мною лишь его тень, но мне кажется, что это тень человека слабого здоровьем. Ночью, когда бы ни взглянуть на это окно, всегда видна его согбенная фигура; днем же я всегда вижу угол экрана, за которым он трудится. «Если он будет корпеть над работой день и ночь,— думал я,— то, как это обычно бывает при всяком чрезмерном напряжении сил, он наверняка не достигнет цели и в конце концов надорвется».

Вскоре я начал подозревать, что мои опасения подтвердились. Однажды штору на окне, которую поднимали, чтобы граверу было легче работать при дневном свете, так и не подняли. Трудно передать, с каким нетерпением

дожидался я вечера и теней, которые поведают мне больше.

В тот вечер свет в комнате горел, как обычно, но прямой угол экрана не выделялся на шторе. И тень появлялась только одна,— это была тень женщины, и по ее осторожным движениям я догадался, что она, должно быть, наливает возле лампы лекарства и готовит различные снадобья для больного. Порою она отвлекалась от своего занятия и поворачивала голову в ту сторону, где, как я решил, стоит кровать. А иногда мне казалось (хотя, быть может, это была всего лишь игра воображения), что она шевелит губами, с кем-то разговаривая. Иной раз я даже видел, как она, чуть-чуть склонив голову, пробует приготовленную ею пищу, пробует и снова что-то перемешивает, прежде чем отнести в тот угол комнаты, где, я был уверен, лежит больной. Вот что могли рассказать тени.

Из окна моей спальни улица видна на довольно большое расстояние в обе стороны, я даже вижу угол, на котором стоит тележка для любителей ранних завтраков — довольно жалкое заведение и, кажется, не слишком-то преуспевающее. Однако оно настолько меня занимает, что каждое утро я первым долгом подхожу к окну взглянуть, есть ли у бедняги хозяина хоть один клиент; более того, как-то раз я даже надел для маскарада матросскую куртку и широкополую шляпу и спросил себе чашку кофе. Кофе, надо заметить, оказался не такой уж плохой, хотя и с гущей и, пожалуй, слабоватый. Но довольно об этом. Так вот, я могу видеть улицу в один конец до самой тележки с кофе и почти на такое же расстояние в другой конец, а из заднего окна обозревать угол двора, две с половиной конюшни, а если немножко вывернуть шею, то можно увидеть даже часть Брюэр-стрит, близ Голдн-сквера. И вот во всей доступной моему взору округе я постоянно видел одно лицо, одну фигуру, появляющуюся неизменно каждый день, в любое время года, в любой час дня и ночи. Это был довольно высокий джентльмен, лет тридцати пяти, сутулый, с очень круглой спиной, в очках, всегда в черном, наглухо застегнутом сюртуке; он всегда куда-то спешил, его всегда с нетерпением ожидали в домах, которые он посещал, и всегда провожали до дверей какие-то

люди,— они с тревогой расспрашивали его о чем-то и старались увидеть хотя бы луч надежды на его весьма непроницаемой физиономии. Разумеется, мне не пришлось долго наблюдать за этим джентльменом, чтобы догадаться, что это мистер Кордиал, приходский доктор, мимо приемной которого на Грейт-Палтни-стрит я не раз проходил во время прогулок.

Даже если бы у меня и имелись сомнения относительно того, что происходит в доме напротив, то теперь они бы окончательно рассеялись, потому что на другой же день, после того как я наблюдал жену гравера в роли сиделки, голова доктора (довольно лысая для такого молодого человека) мелькнула в окне их комнатки. Очевидно, он пришел к больному, чтобы прописать ему лекарство.

«Вот так история,— подумал я.— Именно этого я и опасался. Бедняга слег, не может работать и, наверное, страдает не только телесно, но и душевно — ведь пока он болен, некому заработать денег на ежедневные расходы, какими бы скудными они ни были».

Я без конца размышлял над этим вопросом и строил разные догадки, как это свойственно людям, имеющим несчастье или глупость жить в одиночестве, и мысли о происходящем в комнате напротив преследовали меня столь неотвязно, что я вынужден был отправиться на продолжительную прогулку, лишь бы поскорее дотянуть до того часа, когда в комнате молодой четы зажгут лампу и на шторе появятся тени. Я так хотел получить безмолвные известия, на появление которых у меня было основание надеяться, что даже не зажег свечи, в темноте, ощупью, добрался до окна и принялся наблюдать.

Сначала мне показалось, будто на ярко освещенной шторе вообще нет никаких теней, кроме тех, что отбрасывали жалкие занавески и широкий веер фуксии, о которой я уже упоминал; однако, приглядевшись, я заметил маленькую, непрестанно двигавшуюся тень, слившуюся с тенью занавески, и, видя, как она равномерно и быстро поднималась и опускалась, я тотчас связал ее с другим темным пятном, расположенным повыше, и пришел к заключению, что последнее — это тень женской головы, а та, что пониже,— тень женской руки, которая работает

иглой. Вскоре я убедился, что моя гипотеза вполне обоснованна: тень руки вдруг перестала двигаться, а тень головы приподнялась так, словно человек, силуэт которого вырисовывался на шторе, прислушался, затем встал — и я увидел, как знакомая фигура жены гравера прошла мимо лампы, и понял, что она направилась в ту часть комнаты, где, как я полагал, находится постель больного.

В течение большей части вечера, пока я следил за окном, то и дело прерывая ради этого свои занятия, я не видел никакой другой тени, кроме упомянутой выше. Однако около девяти часов я заметил, что на шторе мелькнула другая тень, и, так как это была тень мужчины, я на миг возымел надежду, что больной уже встал. Но лишь на миг, ибо я тотчас же увидел, что этот мужчина безбородый и гораздо солиднее бедного гравера. Вскоре я понял, что это доктор, а если у меня и были в этом сомнения, они сразу рассеялись, ибо я увидел, как стоящая подле лампы фигура, привычным движением согнув руку в локте, что-то наливает в чашку.

Итак, уже два раза в день! Как видно, он тяжело болен, если доктор навещает его по два раза в день.

Эта мысль заставила меня принять решение. Вряд ли я смог бы уяснить себе, почему меня так заинтересовала и взволновала эта история. Я испытывал странное желание поскорее узнать как можно больше, и вот я решился — на подобный шаг способен лишь человек, почти одичавший от одиночества,— ни минуты не медля подкараулить доктора, когда он выйдет от своего пациента, и обо всем расспросить его.

Некоторое время я еще провел в размышлениях и когда, прежде чем выйти из комнаты, мимоходом взглянул на окно, убедился, что тени на шторе исчезли. Тем не менее было вполне вероятно, что я смогу нагнать доктора на улице, и я бросился бежать. И действительно, он как раз выходил из дома № 4 на Поперечной. Какая удача, что я успел вовремя!

Я убедился, что приходское медицинское светило не отличалось словоохотливостью и не было склонно к романтическому взгляду на болезни и страдания. Доктор был человек, несомненно, хороший, но сухой и прозаичный. Он видел столько болезней и нищеты, что привык к ним.

Однако он вежливо ответил на все мои вопросы, хотя и казался удивленным.

— Вы только что посетили больного в этом доме? — осведомился я.

— Да,— ответил он.— Тяжелая лихорадка.

— На третьем этаже? Супружеская пара? — снова последовал вопрос.

Снова утвердительный ответ.

— Очень опасный случай?

— Да, весьма опасный.

— Им не на что жить, кроме того, что муж зарабатывал своим трудом? — продолжал я.

— Да,— последовал ответ.

— А он прикован к постели и не может работать?

— Совершенно верно,— подтвердил доктор.

— О, я так и думал! — воскликнул я.— Будьте настолько любезны, доктор Кордиал, примите эту скромную сумму (сумма и в самом деле была очень скромная!) для этих бедняков, но при условии ни в коем случае не рассказывать, как вы ее получили.

Доктор обещал мне это, и я уже собирался с ним попрощаться, как вдруг мне пришло в голову узнать фамилию молодого человека.

— Фамилия его Адамс,— сказал доктор, и на этом мы расстались.

Отныне я глядел на бедные тени с чувством собственности и наблюдал за ними с еще большим любопытством, чем прежде. Теперь тень совершала одно и то же движение,— к сожалению, только это мне и приходилось наблюдать,— движение, которое меня немало озадачивало. Жена больного подходила к лампе и, очевидно, подносила к свету какой-нибудь предмет одежды или кусок материи и внимательно его рассматривала. Иногда мне казалось, что это рубашка, иногда сюртук, а иной раз брюки. После этого тень исчезала, а с ее исчезновением, как я всегда замечал, комната долгое время оставалась в полумраке. Тогда я еще не мог догадаться, что это значит, но позднее понял все. Она проверяла, в каком состоянии находится вещь, перед тем как отнести ее в заклад.

И тут я открыл одно из дурных последствий одиночества. Несмотря на то, что я дал доктору Кордиалу немного

денег, чтобы оказать небольшую поддержку этим бедным людям, стесненные обстоятельства лишали меня возможности продолжать эту помощь. Имей я мужество остаться среди друзей, я бы нашел человека, у которого мог попросить денег для моих бедных теней, а теперь обращаться было не к кому. Даже когда мне пришла мысль возобновить ради этой цели одно из прежних знакомств, боязнь, что это может быть истолковано как скрытая просьба о помощи мне самому, удержала меня.

И вот, когда я погрузился в размышления по этому поводу, в памяти моей возник человек, к которому я, пожалуй, мог бы обратиться с подобной просьбой.

Это был некий мистер Пайкрофт, владелец граверной мастерской, с которым я когда-то имел дела. Он был уже стар. Случилось так, что в свое время я оказал ему одну услугу. Его возраст, положение, наша прежняя дружба помогли мне преодолеть застенчивость, и обратиться к нему мне было легче, чем к кому-либо другому. Нрав у этого пожилого жизнерадостного толстяка, насколько я мог судить, был такой же приятный, как и его внешность.

Одно лишь обстоятельство в его жизни представляло мистера Пайкрофта в менее благоприятном свете, и воспоминание об этом вначале поколебало мое решение обратиться к нему. До моих ушей дошли слухи о том, что не так давно мистер Пайкрофт очень сурово обошелся со своим старшим сыном, который женился против воли отца, за что и был лишен своей доли в предприятии, после чего ему пришлось самому зарабатывать себе на жизнь. Дело в том, что мистер Пайкрофт лелеял мечту женить старшего сына на дочери человека, с которым у него имелись деловые связи. Старый гравировальщик был рассержен не только тем, что рухнули его планы; еще больше его разгневало то обстоятельство, что выбор сына был неугоден ему по личным соображениям. Но, судя по тому, что я слышал, у меня возникло подозрение, что дошедшие до мистера Пайкрофта сведения о якобы чрезвычайно грубом и своевольном поведении старшего сына умышленно преувеличил его младший сын, который после ухода брата не только завладел львиной долей в предприятии, но сам поспешил жениться на девице,

отвергнутой старшим братом. Когда я узнал все подробности этой истории, я не мог не прийти к заключению, что именно младший отпрыск сыграл главную роль в том, чтобы отвратить отца от старшего сына. Как бы то ни было, старый мистер Пайкрофт был сейчас единственным человеком, который мог помочь моим бедным теням, и я решил прибегнуть к его помощи, но не прямо, а окольным путем. Мне пришло в голову, что если я сумею с помощью теней возбудить в нем сочувствие к этим бедным людям, подобно тому, которое испытывал я, то это будет наилучшим способом для достижения цели.

Надо заметить, что я уже не раз обещал мистеру Пайкрофту показать мою коллекцию офортов Рембрандта и решил теперь этим воспользоваться. Итак, под предлогом, что мне нужно справиться об этом вопросе, имеющем касательство к нашим прежним делам, я навестил моего старого знакомого и в ходе беседы пригласил его как-нибудь вечером зайти ко мне, посмотреть мою редкую коллекцию, причем дал ему понять, что за этим приятным занятием мы сможем пропустить по стаканчику бренди. Мистер Пайкрофт явился минута в минуту, и первый час мы провели очень приятно, хотя я и не переставал беспокоиться за исход моего замысла.

Посмотрев офорты, гость за вторым стаканчиком бренди начал расспрашивать меня, как мне живется в этом лабиринте узких улочек и не угнетает ли меня жизнь на задворках.

— Между прочим, мистер Пайкрофт,— сказал я, и тут я должен сознаться в некотором притворстве, потому что говорил таким тоном, словно не придавал этому делу никакого значения,— вы даже не представляете себе, как интересно наблюдать за соседями, что живут на этой косой улочке, которая, по вашему мнению, слишком близко подходит к моим окнам.

— Если бы вы перестали вести такую одинокую жизнь,— возразил мистер Пайкрофт,— у вас бы нашлись развлечения получше, нежели интересоваться жизнью других, совершенно чужих вам людей.

— Вот, например,— начал я, пропуская мимо ушей его замечание, и, отодвинув штору, указал на окно бедной молодой четы,— вот это окно дало мне богатейший мате-

риал, вполне пригодный для того, чтобы написать целый рассказ, уверяю вас.

— Как, вот это окно напротив? Уж не хотите ли вы сказать, что считаете возможным заглядывать в чужие окна?

— Я всячески от этого воздерживался,— ответил я,— и наблюдал лишь сквозь опущенную штору, так же как теперь.

— Сквозь опущенную штору? Но как можно увидеть что-нибудь сквозь опущенную штору?

— С помощью теней обитателей этой комнаты.

— Теней? — воскликнул мистер Пайкрофт с явным недоверием в голосе.— Уж не хотите ли вы сказать, будто узнавали, что происходит в комнате, по теням на шторе?

— Во всяком случае, кое-что я смог узнать,— ответил я.— Но этого было довольно, чтобы заинтересоваться судьбой хозяев комнаты.

— Право же, мистер Б., если бы не вы, а кто-нибудь другой рассказал мне нечто подобное, я бы счел это просто немыслимым.

— Не желаете ли убедиться сами? — спросил я.— Надеюсь, вскоре за шторой что-нибудь произойдет, и это даст вам возможность убедиться в правоте моих слов.

— Ну что ж, отнюдь не из недоверия к вам, но, пожалуй, я не прочь,— отвечал мой гость.

Мистер Пайкрофт сидел у окна, но моя настольная лампа давала слишком много света и мешала нашим наблюдениям. Тогда я переставил свой стол в другой конец комнаты, прикрутил фитиль и спустил пониже абажур.

— Покамест,— сказал мистер Пайкрофт,— я ничего не вижу, кроме белой шторы и света за нею.

Сбоку у края занавеси, как обычно, виднелась тень женской головки и, как обычно, падала и поднималась тень руки, но глаз мистера Пайкрофта не был так натренирован, как мой, и мне пришлось показать своему другу на эти тени.

— Теперь, когда вы мне сказали, я и в самом деле вижу, как что-то подскакивает и опускается,— заметил он.— Но без вашей помощи я бы этого ни за что не заметил. Постойте! Теперь тень закрыла всю штору. Что это?

— Вероятно, это тень того же человека. Быть может, он подойдет ближе к окну и будет дальше от света, и тогда вы разглядите.

Спустя минуты две тень появилась снова, на этот раз она была меньше.

— Теперь я вижу ясно,— сказал мой приятель.— Это тень женщины. Я различаю линии талии и юбки.

— А лицо вы видите? — спросил я.

— Да, да! Голова повернута в сторону, словно эта женщина смотрит на что-то. Теперь она исчезла.

Вскоре тень появилась снова.

— Что она делает? — спросил мистер Пайкрофт.

— Нет, это вы мне скажите,— предложил я.

— По-моему, она держит в руках какой-то небольшой предмет и встряхивает его.

— А теперь?

— Не разберу. Кажется, она подняла локоть. Теперь подняты обе руки. Нет, никак не могу разобрать.

— А я думаю, она что-то наливает,— сказал я.

— Ну конечно же! — подхватил мой гость, как видно заинтересовавшись не на шутку.— Погодите,— продолжал он после небольшой паузы, взволнованно глядя на меня,— встряхивает, наливает, взбалтывает... «Перед употреблением взбалтывать»... Да ведь это же лекарство!..

— Подозреваю, что это и в самом деле лекарство,— ответил я.

— Значит, там кто-то болен? — спросил мистер Пайкрофт.

— Да,— отвечал я.— Ее муж.

— И об этом вам тоже рассказала тень?

— Да. Тень ее мужа появлялась на шторе так же часто, как и ее тень. А теперь я ее больше не вижу. И любопытно, что исчезновение тени мужа совпало с появлением другой тени — приходского доктора.

— Но помилуйте,— воскликнул мистер Пайкрофт с видом человека, доверчивостью которого слишком злоупотребляли,— осмелюсь спросить, как вы узнали, что это тень приходского доктора?

— У доктора Кордиала самая круглая спина на свете,— пояснил я.

— Да, это и в самом деле очень любопытно,— про-

молвил старый гравировальщик, уже явно заинтересованный.

В то время, как мы продолжали наблюдение, свет неожиданно исчез, и комната погрузилась в темноту.

— Что, по-вашему, произошло теперь? — спросил мой собеседник.

— По-моему, она ненадолго вышла из комнаты. Сейчас, я уверен, мы увидим кое-что еще.— Не успел я это произнести, как в окне снова появился свет и рядом с тенью маленькой женщины возникла другая тень.

— Доктор? — спросил мистер Пайкрофт.

— Не угодно ли! — воскликнул я с торжеством.— Видите, как много можно узнать с помощью теней. Вы уже сами стали искушенным в этом деле.

— Да-а, спина у него действительно круглая,— подтвердил старый гравировальщик.

Постепенно бледнея, тень с круглой спиной скользнула в ту сторону, куда так часто был обращен профиль маленькой женщины. Некоторое время белая штора оставалась пустой.

— Надо думать, осматривает пациента,— сказал мистер Пайкрофт.— А вот он опять появился,— добавил он минутой позже.

Однако на этот раз доктор стоял близко к свету, да еще спиной к нам, так что мы не могли определить, чем он занят. С тенями обычно так и бывает. Как бы много ни могли вы понять по их движениям, еще больше, разумеется, остается такого, о чем бесполезно даже строить догадки.

Вскоре к тени с круглой спиной присоединилась тень маленькой женщины — жены больного, и некоторое время они стояли рядом, о чем-то беседуя,— во всяком случае, так можно было заключить.

— Должно быть, дает ей наставления,— предположил старый гравировальщик.

— Вполне вероятно,— согласился я.

— Хотел бы я знать, очень ли ему плохо,— сказал мой гость.

Наступила пауза. Тени все еще стояли у стола. Под конец нам обоим показалось, что доктор вручил что-то жене больного, и вскоре свет в комнате исчез так же, как

незадолго до этого: очевидно, она вышла на лестницу посветить доктору, когда тот спускался вниз.

— Значит, они очень бедны,— произнес мистер Пайкрофт, словно про себя.

— Они жили только на заработок мужа,— ответил я.— А теперь он не в состоянии работать, и, кто знает, быть может, это продлится еще не одну неделю.

В окне снова появился свет. Маленькая женщина, поставив лампу, остановилась у стола. Долгое время она не двигалась, потом вдруг, склонив голову, закрыла лицо руками, словно в безмолвном горе.

Никто из нас не произнес ни слова, и в тот же миг я задернул портьеру, потому что перед нами было горе, на которое не вправе смотреть посторонний глаз.

Спустя некоторое время мой друг стал прощаться, и мы уже не упоминали о тенях. Перед тем как лечь спать, я все же еще раз взглянул на знакомое окно. Тень женской головки была на своем обычном месте, и, как обычно, поднималась и опускалась тень ее руки. Маленькая женщина опять сидела за работой.

На следующий день с утренней почтой я получил письмо от мистера Пайкрофта. Он много думал о том, что ему привелось увидеть накануне, писал старик, и вот он посылает небольшую сумму денег для поддержки молодых супругов, в судьбе которых я принимаю участие, а также просит меня время от времени сообщать ему, как поживают Тени. Я вручил деньги доктору Кордиалу, попросил его распорядиться ими по своему усмотрению, но ни в коем случае не говорить, кто их посылает. Я попросил его также, как можно чаще сообщать мне о состоянии больного. Эти сведения я почти всегда передавал старому гравировальщику.

Но вот в течение нескольких дней сообщать было не о чем, так как тени не открывали ничего нового, кроме того, что я уже знал. Тень бедного гравера все еще не появлялась, а тень маленькой женщины находилась либо на своем обычном месте, когда та шила, стараясь иглой заработать на пропитание, либо скользила по комнате, ухаживая за больным. Наконец пришел день, когда наступил кризис, после которого бедняга, по словам доктора, должен либо скончаться, либо поправиться.

Я не стану подробно описывать это тревожное время. Больной обладал одним качеством — молодостью, которая помогла его организму преодолеть болезнь, и когда кризис миновал, он начал поправляться.

Наступил длительный период выздоровления. Наконец однажды вечером тень изможденного человека медленно прошла мимо лампы, и, видя, как ее сопровождает столь знакомая тень маленькой женщины, я догадался, что больной переходит с кровати на стул возле камина.

Я, разумеется, не преминул сообщить об этом отрадном событии моему другу и продолжал подробно уведомлять его о постепенном улучшении здоровья нашего больного, пока тот не поправился настолько, что мог уже по нескольку часов в день сидеть за гравировальной доской и снова зарабатывать себе на жизнь.

— Они очень признательны неизвестному другу, который время от времени помогал им в беде,— сказал я мистеру Пайкрофту.

— Глупости, глупости, все это сущие пустяки, право, сущие пустяки! — воскликнул старик, стараясь переменить тему разговора.

— И они очень хотят поблагодарить его лично,— продолжал я решительно,— если он откроет свое имя и предоставит им такую возможность.

— Нет, нет, ни за что на свете! Нет, это невозможно. Вот возьмите для них еще немного, это им на первое время, нельзя же ему сразу так переутомляться.

— И вы не разрешите им повидать вас? — спросил я снова.

— Нет, нет, нет, ни в коем случае,— ответил добряк.— Но, знаете, что я вам скажу. Мне бы хотелось повидать *их*... Как и раньше... Словом, их тени. Как-нибудь я зайду к вам выпить стаканчик бренди и снова посмотрю на них.

Я вынужден был удовлетвориться хотя бы этим и, условившись с мистером Пайкрофтом встретиться в один из ближайших вечеров, ушел домой.

Наступил вечер, а с ним небывалое оживление и суета в обычно тихой комнате напротив. Тень маленькой женщины все время порхала взад и вперед, словно она старалась получше прибрать их бедное жилище. По са-

мой середине окна, так близко к белой тонкой шторе, что мне было очень ясно ее видно, висела птичья клетка. Именно благодаря ей я и смог получить некоторое представление о внешности моих друзей. Когда один из них подходил к клетке, чтобы свистом подбодрить ее обитательницу, я мог видеть профиль мужа или жены так отчетливо, как если бы смотрел на темные силуэты, которые в старину вырезали на ярмарках странствующие художники. Но хорошо разглядеть их я мог только в тех случаях, когда гравер или его жена стояли у самой шторы и далеко от света, обычно же я видел лишь сплошные бесформенные пятна. А когда кто-нибудь из них близко подходил к свече, то тени становились такими огромными, что все окно, кстати сказать, чрезвычайно большое, сплошь затемнялось даже одной фигурой. Как я уже сказал раньше, мне очень редко удавалось распознать, что делали тени, и всякий раз, когда я видел, что приготовляется питье или наливается лекарство, это происходило лишь потому, что необходимый предмет ставился на окно или подле него.

Точно в назначенный час мой старый друг появился у меня, и первый вопрос, который он задал, после того как мы поздоровались, был:

— Ну, как поживают Тени?

Я поставил его стул на прежнее место, и мы сели. Суета и оживление, которые я заметил в комнате молодых супругов, продолжались, и я почти не сомневался, что там производилась «уборка». Моя догадка подкрепилась появлением на сцене тонкой прямой тени, которую я счел за щетку и которой весьма деятельно орудовали.

Да, чтоб не забыть — когда щетка на миг позволила себе передышку, на шторе очень четко вырисовалась тень бедного молодого гравера. Оп подошел к окну, видимо для того, чтобы продеть между прутьями клетки какой-то предмет, вероятно веточку крестовника.

В эту минуту я заметил, что мой друг сильно изменился в лице. Он приподнялся на стуле и, взволнованно вглядываясь в тень, каким-то странным тоном произнес:

— Как, вы сказали, фамилия этих людей?

— Адамс,— ответил я.

— Адамс... Вы уверены?

— Совершенно уверен.

Тень уже исчезла, но я заметил, что мистер Пайкрофт стал рассеян; чувствовалось, что ему не по себе, и я перевел разговор на другую тему, не касаясь волновавшего меня вопроса, пока мой гость сам не вернулся к нему.

— Похоже, что они угомонились,— промолвил мистер Пайкрофт.

— По-видимому,— согласился я.— Уборка, надо думать, закончена, и они садятся ужинать.

— Вы думаете? — спросил старый гравировальщик.

— И, возможно, благодаря вашей щедрости позволили себе какое-нибудь вкусное блюдо.

— Вы в самом деле так думаете? — спросил старый добряк (он был большим гурманом).— Интересно, что бы это такое могло быть. Я бы хотел, чтобы тени показали нам это.

Я сразу же ринулся в открытую лазейку.

— Тени этого не покажут. Но почему бы нам самим не пойти и не взглянуть? Я уверен, что ужин покажется им только вкуснее.

Старый джентльмен только что допил бокал горячего грога, от чего пришел в отличное расположение духа, и когда я высказал свою мысль, глаза его заблестели, а в уголках рта мелькнула улыбка.

— Что ж, это было бы забавно, а?

Я только этого и ждал, и мы тотчас же отправились к дому № 4.

На пороге дома стояла маленькая девочка с кувшином пива и, как только мы остановились перед домом, обратилась к нам с просьбой, нередко возникающей у девиц ростом в три фута и два дюйма от пяток до макушки.

— Прошу вас, сэр, дерните ручку звонка — второй сверху.

— Это на третьем этаже? — спросил я, выполнив просьбу.— Там живут мистер и миссис Адамс?

— Да, сэр, и это мой папа,— сообщила юная леди, очевидно считавшая упомянутых супругов единым целым. Мне показалось странным, что я ни разу не видел на шторе тени ребенка.

— Так вот, я хочу его видеть,— сказал я.— И этот джентльмен тоже.

— Но этого никак нельзя сделать,— сказала девочка, по-видимому уже успевшая стать отъявленной плутовкой,— ведь он ужинает, а на ужин у нас курица, а папа болел, а теперь ему стало немножко лучше, а тревожить его нельзя — вот, значит, вам и нельзя его видеть.

— А ну-ка, мисс, придержите язык,— вмешался чей-то голос.— Дай мне поговорить с джентльменами.

Я посмотрел наверх и увидел, что дверь отворила высокая тощая особа с длинным носом.

— Кого вам нужно, сэр? — спросила она каким-то хнычущим голосом, который показался мне довольно неприятным.

Я кратко пояснил ей, кто мы и зачем пришли.

— Ах, какая приятная неожиданность! — продолжала тощая женщина тем же хнычущим голосом, вызывавшим у меня непреоборимое отвращение.— Поднимайся наверх, Лиззи,— распорядилась она,— и скажи папе, что его желает навестить добрый джентльмен, который помогал ему, когда он болел. Я его супруга, добрые джентльмены (и это тень, которая так меня занимала!), я его горемычная жена, которая его выхаживала, покуда он болел... не оступитесь, добрые джентльмены... а вот наша комната, джентльмены,— а вот, Джеймс, неожиданная радость!.. Это те самые джентльмены, что были к тебе так добры, когда ты болел. Прошу вас, присаживайтесь, джентльмены, окажите честь нашей скромной комнате.

Я был потрясен. Маленький, зауряднейшего вида человек сидел за столом, на котором красовались дымящаяся курица, кусок грудинки и картофель. По виду его можно было сказать, что он перенес тяжелую болезнь. При нашем появлении он с трудом встал и, как только мы сели, тотчас же снова опустился на свое место. В смущении и полном замешательстве я принял предложенный стул, как принял бы все, что бы мне ни предложили. Я еще раз взглянул на жену этого человека. Неужели это длинное, тощее, сутулое создание отбрасывало ту маленькую изящную тень, с которой я так свыкся? Неужели тени так обманчивы? Кто мог бы предположить, что моя

соседка обладает таким носом и что, когда она подходила к окну, этот нос ни разу не вырисовался во всем своем объеме и не запечатлелся в моей памяти?

А ее муж? Нет, это не мой бедный гравер. Правда, он производил впечатление человека очень робкого, когда неуклюже пытался выразить переполнявшие его чувства благодарности за помощь, оказанную моим другом во время болезни. Да, несомненно, это человек вполне безобидный. Он не нанес нам такого тяжелого удара, как его жена. Но разве это мой гравер?

Все время, пока муж выражал свою признательность, жена непрерывно подбавляла в этот поток такого мутного елея, что мой друг не отвечал ей ни словом — он был столь же мало, сколь и я, подготовлен к подлинным мистеру и миссис Адамс, которые не имели ничего общего со своими тенями. Короче говоря, кроме нескольких вопросов о здоровье больного, которые я сумел из себя выжать, когда вошел в комнату, ни я, ни мой спутник не произнесли ни слова.

И тут меня осенила потрясающая мысль: очевидно, произошла какая-то ошибка! Я уже несколько минут с любопытством разглядывал девочку, которую мы встретили на лестнице и которая, надо отдать ей должное, платила мне тем же, как вдруг заметил, что голова ее значительно выше подоконника, а следовательно, просто невероятно, чтобы я ни разу не видел ее тени. Таким образом, занятый сравниванием юной леди с подоконником, я обратил свой взор в глубину комнаты и тут заметил, что на окне нет никакой клетки.

— Как! — воскликнул я.— Вы сняли клетку?

— Клетку, сэр? — почтительно прохныкала тощая особа.

— А у нас ее и нету,— поспешила сообщить юная леди,— и никогда не было, и птички тоже не было.

— Придержите язык, мисс! — оборвала ее мать.

Наступила неловкая пауза. Я оглядел комнату, оглядел тощую особу, оглядел ее мужа — у него же нет бороды! К счастью, у меня хватило выдержки не осведомиться насчет этой недостающей детали, как я это сделал относительно клетки. Я решил полностью удостовериться в своем прозрении и, подойдя к окну, отодвинул штору,

выглянул во двор и, чтобы оправдать свой поступок, заметил:

— У вас тут на задворках ужасная теснота. Это очень вредно для здоровья. Вы не находите?

Последовал многословный ответ о скученности построек, об их достоинствах и недостатках, но я его не слушал. Я был занят тем, что отыскивал свое окно в доме напротив. Я оставил у себя зажженную лампу и только до половины спустил штору, а окно прямо напротив закрыто ставнями. Вытянув шею и взглянув на дом, стоящий наискосок, я обнаружил, что окно на третьем этаже освещено и штора наполовину спущена.

— У вас остынет ужин,— сказал я, подойдя к столу и обменявшись многозначительным взглядом с моим спутником.— Мы с другом только хотели узнать, как вы тут поживаете, а теперь мы вас оставим, чтобы вы могли уделить должное внимание курице, чему, конечно же, мешает наше присутствие.

С этими словами, отвергнув все просьбы остаться и вкусить от их яств, я направился к двери и вышел на лестницу, сопровождаемый мистером Пайкрофтом, который за все время пребывания в комнате не произнес ни слова, а теперь громким шепотом то и дело повторял: «Стало быть, не те, а? Все время кормили других, а?» Тощая особа, однако, была чересчур словоохотлива, чтобы расслышать, что говорят другие, и, пока она освещала нам лестницу, ни на минуту не переставала хныкать о своей признательности.

Когда мы вышли на улицу, я обернулся и посмотрел в лицо своему спутнику.

— Отрадно знать хотя бы,— сказал я,— что вы оказывали помощь людям, действительно в ней нуждавшимся. Но ясно одно: каждый пенни от ваших щедрот попадал в семейство, которое мы только что навестили.

— Как же могла произойти эта ошибка? — спросил мой старый приятель.

— Мне остается только заключить,— ответил я,— что, по странному совпадению, на третьем этаже двух соседних домов одновременно болели два жильца. После того как я увидел тень доктора Кордиала в окне, что напротив моего, он отправился в соседний дом. Там он успел

навестить больного, у которого мы только что были, а потом я встретил его и решил, что он идет от наших бедных Теней, на самом же деле он возвращался от почтенного отца семейства, которого вы по доброте душевной угостили ужином.

— А наши Тени? — ужаснулся мистер Пайкрофт.

— Из-за моей глупой ошибки не получили ни единого шиллинга...

С минуту мистер Пайкрофт, оцепенев от изумления, смотрел на меня.

— Нет, так мы это дело оставить не можем,— заявил он наконец.— А теперь вы уверены насчет дома?

— Я вполне понимаю, что теперь у вас возникают сомнения,— сказал я,— но поверьте, у меня их нет. Без сомнения,— вот этот дом,— и я указал на дом № 5.

— Тогда немедля доведем дело до конца,— решительно объявил старый гравировальщик.

И мы тут же дернули ручку второго звонка на левом дверном косяке. После длительного ожидания дверь отворила какая-то женщина весьма неряшливого вида.

— Это квартира на третьем этаже с окнами во двор? — медоточиво осведомился я.

— На улицу,— ответила неряха, явно уязвленная.— Вам надо было звонить в звонок на правом косяке.

Я самым нижайшим образом попросил прощения, после чего неряха несколько смягчилась.

— Молодая пара, что живет в задних комнатах, дома,— сказала она.— И раз уж вы подымаетесь, я вам посвечу.

Мы воспользовались ее любезностью и через несколько секунд поднялись на площадку третьего этажа. Неряха указала на дверь, в которую нам надлежало постучать, отворила свою и, окатив нас волной лукового аромата такой силы, что у меня чуть не заслезились глаза, исчезла в сих живительных испарениях и заперлась вместе с ними.

Мое любопытство накалилось до предела: мне казалось, что за дверью, в которую мы стучали, нас ожидает нечто удивительное и важное. Веселый звонкий голос попросил нас войти, и в следующее мгновение мы очутились в комнате.

В ней находились двое — мужчина и женщина. Мужчина сидел в темном углу, и мы сначала его не разглядели, но женщину, поднявшуюся нам навстречу, я сразу узнал по столь знакомой мне тени.

Комната являла резкий контраст с той, которую мы только что видели и которая была довольно прилично обставлена. Эта комната была совершенно пуста; казалось, из нее вынесли все — да так оно и было на самом деле,— чтобы обратить в деньги. На полу в одном конце комнаты лежал матрац с кое-какими постельными принадлежностями. Единственной мебелью были стол и два старых стула. На столе мы увидели лампу гравера и немного снеди для очень скудного ужина, приготовлением которого они, должно быть, только что занимались: жалкий ломтик грудинки и горсточка вареного риса. И в довершение всего — если бы мне понадобилось неопровержимое доказательство, что я, наконец, нашел свои тени,— на окне висела клетка.

Все это, разумеется, я заметил мимолетно, ибо мне нужно было сразу же объяснить причину нашего появления. Я торопливо произнес несколько слов, как вдруг меня остановил неожиданный возглас мистера Пайкрофта. Второй обитатель комнаты, которого мы поначалу не разглядели, теперь поднялся и, ярко освещенный лампой, устремил напряженный взгляд на моего спутника, который стоял позади меня. Я тотчас обернулся и встретил суровый взгляд моего старого друга.

— Если все это хитрость, мистер Бродхед,— прерывающимся хриплым голосом произнес он,— то она не делает вам чести.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я в замешательстве.

— Я хочу сказать, что если вы все это подстроили, чтобы добиться моего примирения с сыном...

— С вашим сыном? — изумленно повторил я.

— Так вот, я хочу сказать, что этот план увенчается таким успехом, какого он заслуживает.

С этими словами он направился к двери, но я преградил ему путь.

— Остановитесь, мистер Пайкрофт! — вскричал я.— Если вам угодно хранить эти враждебные чувства, столь

чуждые вашей натуре,— дело ваше, но я не могу допустить, чтобы вы ушли отсюда с ложным представлением о моей роли в этой истории. Клянусь, что ваши подозрения напрасны. Когда мы вошли в эту комнату, я знал об ее обитателях столько же, сколько и вы, и я никогда не подозревал, что ваш сын живет в столь ужасающей нужде!.. Но если бы я знал об этом, то не преминул бы сделать все, что в моих силах, дабы пробудить в вас то чувство, которое вы должны испытывать к человеку, носящему ваше имя.

Мистер Пайкрофт испытующе посмотрел на меня, когда я опровергал его обвинение, будто я причастен к заговору, долженствовавшему обманным путем вынудить его к примирению, а затем взор его устремился туда, где стоял его сын. Это был стройный молодой человек с изможденным, но красивым, мужественным лицом, черты которого казались еще тоньше и благороднее после перенесенной болезни. Глядя, как он стоит, держа за руку свою маленькую жену, я невольно подумал, что зрелище это непременно приведет к благополучному исходу дела, начатого тенями.

— Взгляните на них! — сказал я.— Взгляните на эту комнату, на этот ужин! Можно ли смотреть на такую нужду и не испытывать жалости? Пусть даже сын прогневил вас, но разве он не понес кару? Пусть даже он вас ослушался,— он уже искупил свою вину.

Я взглянул в лицо моему другу, и мне показалось, что на нем отразилась душевная борьба.

— Так пусть живые люди не будут лишены того сочувствия, которое вы дарили их Теням.

В эту минуту маленькая женщина отошла от мужа и, приблизившись к нам, робко положила свою руку на руку моего друга. Я взглянул на него еще раз и, сделав знак, чтобы молодой гравер подошел к отцу, тихо удалился из комнаты, где, как я понял, мое присутствие было уже излишним.

Час спустя, когда я грустно сидел дома, размышляя о своем одиночестве и немало завидуя моим соседям в доме напротив, я вдруг услышал, как веселый голос назвал мое имя.

Я устремил взгляд в знакомом направлении и увидел, что мистер Пайкрофт стоит у раскрытого окна в комнате сына.

— Мы просим вас прийти и провести с нами вечер.

Я с радостью согласился и только успел отойти от окна, как меня окликнули снова.

— Послушайте,— произнес мистер Пайкрофт театральным шепотом,— у нас тут маловато спиртного, так уж, пожалуйста, суньте в карман бутылочку бренди, и хорошо бы еще лимон...

Через несколько минут я стал участником приятного маленького празднества.

— Знаете, что мы сделаем первым долгом? — спросила маленькая женщина, с улыбкой глядя на меня.

— Не имею ни малейшего представления,— отвечал я.

— Повесим самые толстые занавеси, чтобы сосед в доме напротив не видел, чем мы занимаемся, когда в комнате зажжен свет.

— Не стоит беспокоиться,— заверил я их,— и не трудитесь вешать занавеси, потому что сосед из дома напротив отныне надеется так часто видеть своих новых друзей во Плоти, что вряд ли его станут интересовать их Тени.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой мы находим преступное общество

Пока художник еще досказывал свою историю, новый посетитель вошел в ворота и некоторое время вежливо оставался на заднем плане, чтобы не мешать слушателям. Как только рассказ был окончен, он вышел вперед и на отличнейшем английском языке отрекомендовался французом, временно пребывающим в нашей стране. Обстоятельства его богатой событиями жизни заставили его выучить наш язык еще на континенте, и в дальнейшем это сослужило ему хорошую службу. С той поры прошло уже много лет, но он все как-то не имел возможности посетить Англию, и вот, наконец, такая возможность представилась. Он остановился со своими друзьями неподалеку от этих

мест, прослышал об Отшельнике и прибыл на Землю Тома Тиддлера, дабы засвидетельствовать свое почтение столь прославленному землевладельцу.

Был ли француз удивлен? Нисколько. Лицо его носило глубокие следы пережитых страданий и невзгод — быть может, он уже утратил способность чему-либо удивляться? Отнюдь. Столкнись он с мистером Сплином на земле Франции, он бы наверняка остолбенел от изумления. Но мистер Сплин на английской почве — это всего лишь еще одно проявление мрачности национального британского характера. Пресловутый британский сплин — тому причина, британская склонность к самоубийству — следствие. Быстрый способ самоубийства — с которым его ознакомили произведения отечественных писателей,— броситься в воду. Медленный — с ним его познакомили собственные глаза — похоронить себя среди золы и пепла в кухне с зарешеченным окном. Оба способа довольно занятны, но для начитанного француза не представляют чего-либо из ряда вон выходящего.

Предоставив нашему национальному характеру самому показать себя в более выгодном свете, когда время даст возможность этому джентльмену получше разобраться в нем, Путник обратился к нему с учтивой просьбой последовать примеру художника и поделиться своим житейским опытом. После минутного раздумья француз сказал, что жизнь его в молодости была полна необычайных опасностей и страданий. Он согласен поведать об одном из своих приключений,— но хотел бы заранее предупредить слушателей, что они могут быть несколько поражены его рассказом, и потому он просит их воздержаться от окончательных выводов касательно его личности и поведения до тех пор, пока они не дослушают истории до конца.

После этого вступления он начал так.

По рождению я француз, зовут меня Франсуа Тьери. Не стану утомлять вас описанием ранних лет моей жизни. Скажу одно: я совершил политическое преступление, был сослан за это на каторгу и до сих пор пребываю в изгнании. Клеймение в мое время еще не было отменено. Я мог бы показать вам выжженные на моем плече буквы.

Я был арестован, судим и осужден в Париже. Покидая зал суда, я все еще слышал, как в ушах звучат слова приговора. Громыхающие колеса арестантского фургона повторяли их всю дорогу от Парижа до Бисетра в этот вечер, весь следующий день, и еще день, и еще, по всему томительному пути от Бисетра до Тулона. Когда я вспоминаю об этом теперь, мне кажется, что разум мой тогда притупился, потрясенный неожиданной суровостью приговора — ибо я не помню ничего ни о дороге, ни о тех местах, где мы останавливались,— ничего, кроме беспрерывного «travaux forcés — travaux forcés — travaux forcés» [1],— снова, и снова, и снова. Под вечер третьего дня фургон остановился, дверь распахнулась и меня провели по мощеному двору и через каменный коридор в огромное каменное помещение, тускло освещаемое откуда-то сверху. Здесь начальник тюрьмы допросил меня и занес мое имя в огромную книгу в железном переплете и с железными застежками, словно закованную в цепи.

— Номер Двести Семь,— произнес начальник тюрьмы.— Зеленый.

Меня провели в соседнее помещение, обыскали, раздели и сунули в холодную ванну. Когда я вышел из нее, меня облачили в арестантскую форму — в грубую парусиновую рубаху, штаны из бурой саржи, красную саржевую блузу и тяжелые башмаки, подбитые железом. В довершение ко всему мне вручили зеленый шерстяной колпак. На каждой штанине, на груди и на спине блузы были оттиснуты роковые буквы «Т. F». На латунной бляхе, прикрепленной спереди к колпаку, были вытиснены цифры — двести семь. С этой минуты я потерял свое «я». Я был уже не Франсуа Тьери, а Номер Двести Семь. Начальник тюрьмы стоял и наблюдал за всей процедурой.

— А ну, живо! — сказал он, покручивая большим и указательным пальцем свой длинный ус.— Уже поздно, а до ужина тебя еще надо женить.

— Женить? — переспросил я.

Начальник тюрьмы расхохотался и закурил сигару. Смех его подхватили стражники и тюремщики. Меня повели по другому каменному коридору, через другой двор,

---

[1] Каторжные работы *(франц.)*.

в другое мрачное помещение — оно было точной копией первого, только здесь маячили жалкие фигуры, лязгали цепи и с обеих сторон виднелись круглые отверстия, в каждом из которых зловеще зияло пушечное жерло.

— Привести Номер Двести Шесть,— приказал начальник,— и позвать его преподобие.

Номер Двести Шесть, волоча тяжелую цепь, вышел из дальнего угла; за ним следовал кузнец с засученными рукавами и в кожаном переднике.

— Ложись! — приказал кузнец, пренебрежительно пнув меня ногой.

Я лег. На щиколотку мне надели тяжелое железное кольцо, прикрепленное к цепи из восемнадцати звеньев, и заклепали его одним ударом молота. Второе кольцо соединило концы моей цепи и цепи моего компаньона. Эхо каждого удара, словно глухой хохот, отдавалось под сводами.

— Так,— сказал начальник, достав из кармана красную книжечку.— Номер Двести Семь, выслушай внимательно Уложение о наказаниях. Если ты попытаешься бежать, то будешь наказан палочными ударами по пяткам. Если тебе удастся выбраться за пределы порта и тебя там схватят, ты будешь закован на три года в двойные кандалы. О твоем побеге оповестят три пушечных выстрела, и на каждом бастионе в знак тревоги будет вывешен флаг, о нем передадут по телеграфу береговой охране и полиции десяти соседних округов. За твою голову будет назначена награда. Объявления о побеге будут вывешены на воротах Тулона и разосланы по всем городам империи. Если ты не сдашься, закон разрешает стрелять в тебя.

Прочитав все это с мрачным удовлетворением, начальник вновь раскурил сигару, сунул книжку обратно в карман и удалился.

И вот все кончилось — чувство нереальности происходящего, сонное отупение, еще теплившаяся надежда — все, чем я жил эти три последних дня. Я преступник и (о, рабство в рабстве!) прикован к преступнику — собрату по каторге. Я взглянул на него и встретил его взгляд. Это был смуглый человек с низким лбом и тупой челюстью, лет сорока, примерно моего роста, но могучего телосложения.

— Пожизненно, стало быть? — обратился он ко мне.— Я тоже.

— Откуда вы знаете, что пожизненно? — устало спросил я.

— А вот по этой штуке,— он грубо хлопнул по моему колпаку.— Зеленый — значит, пожизненно. Красный — на срок. За что тебя?

— Заговор против правительства.

Он презрительно пожал плечами.

— Чертова обедня! Выходит, ты из белоручек? Жалко, что вам не приготовили отдельных постелей: нам, простым forçats [1], не по нутру этакое изысканное общество.

— И много здесь политических? — спросил я, помолчав.

— В этом отделении ни одного.— Затем, точно угадав мою невысказанную мысль, он с проклятием добавил: — Я-то не из невинных. Уже четвертый раз здесь. Слыхал о Гаспаро?

— Гаспаро-фальшивомонетчик?

Он кивнул.

— Который бежал три или четыре месяца назад и...

— ...скинул часового в ров, когда тот хотел поднять тревогу. Я самый!

Я слышал, что он еще в молодости был приговорен к длительному одиночному заключению и после этого вышел на волю диким зверем. Я передернулся и тотчас же заметил, что его взгляд уловил это движение и вспыхнул мстительным огоньком. С этой минуты он меня возненавидел. А я с этой минуты проникся к нему непреодолимым отвращением.

Зазвонил колокол, и вскоре с работы явилась группа каторжников. Охрана тут же обыскала их и приковала попарно к наклонному деревянному настилу, доходившему до самой середины помещения. Затем принесли ужин, состоящий из гороховой бурды, куска хлеба, сухаря и кружки разбавленного вина. Вино я выпил, но есть не мог. Гаспаро взял что ему захотелось из моего пайка, остальное расхватали ближайшие соседи. Ужин кончился, пронзительный свисток прокатился под гулкими сводами, каждый взял свой узенький тюфяк из-под настила, служившего нам общим ложем, закутался в циновку из морских

---

[1] Каторжники *(франц.)*.

водорослей и улегся спать. Через пять минут воцарилась глубокая тишина. Слышно было только, как кузнец, обходя с молотком коридоры, проверяет решетки да пробует замки и как ходит с ружьем на плече часовой. Время от времени слышался тяжкий вздох или звон кандалов. Так томительно тянулся час за часом. Мой напарник спал непробудным сном, наконец забылся и я.

Я был приговорен к тяжелым каторжным работам. В Тулоне тяжелые работы были различного рода: каменоломня, земляные работы, откачка воды в доках, погрузка и разгрузка кораблей, переноска амуниции и прочее. Гаспаро и я в числе двухсот других каторжников работали в каменоломне неподалеку от порта. День за днем, неделя за неделей, с семи утра до семи вечера звенели от наших ударов каменные глыбы. При каждом ударе наши цепи звенели и подпрыгивали на камнях. А этот невыносимый климат! Страшные грозы и тропический зной сменяли друг друга все лето и осень. Нередко после изнурительного многочасового труда под палящим солнцем я возвращался в тюрьму на свои нары промокший до нитки. Медленно шли на убыль последние дни этой ужасной весны, потом началось еще более ужасное лето, а там подошла и осень.

Мой напарник был уроженцем Пьемонта. Он был взломщиком, фальшивомонетчиком, поджигателем. При последнем побеге он совершил убийство. Одному небу известно, насколько мои страдания усугублялись этим отвратительным обществом, как меня кидало в дрожь от одного его прикосновения, как мне было дурно, когда я чувствовал его дыхание, лежа рядом с ним по ночам. Я старался скрывать мое отвращение, но тщетно. Он знал о нем так же, как и я, и вымещал на мне злобу всеми способами, какие только могла измыслить мстительная натура. В том, что он меня тиранил, не было ничего удивительного, ибо он обладал огромной физической силой и среди каторжников считался признанным деспотом. Но простое тиранство было, пожалуй, наименьшим злом из всего, что мне приходилось переносить. Я был хорошо воспитан — он умышленно и постоянно оскорблял мое чувство приличия. Я был непривычен к физическому труду — он взваливал на меня большую часть назначаемой нам работы. Когда я

падал с ног и хотел отдохнуть — он настаивал на ходьбе. Когда мои ноги сводило судорогой и их нужно было размять — он ложился и отказывался двинуться с места. Он с наслаждением распевал богохульные песни и рассказывал омерзительные истории о том, что он придумал в одиночном заключении и что замышлял предпринять на воле. Он даже норовил так перекрутить цепь, чтобы она при каждом шаге натирала мне ноги. Мне в то время было всего двадцать два года, и я с детских лет не отличался крепким здоровьем. Отомстить ему или бороться с ним было невозможно. Пожаловаться надзирателю — значило бы только вызвать моего мучителя на еще большую жестокость.

Но вот настал день, когда его ненависть, казалось, утихла. Он позволил мне передохнуть, когда подошло время. Он воздерживался от гнусных песен, которых я не выносил, и подолгу о чем-то задумывался. На следующее утро, как только мы принялись за работу, он придвинулся ко мне так, чтобы можно было переговариваться шепотом.

— Франсуа, ты хочешь бежать?

Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. Я стиснул руки. Я даже не мог говорить.

— Умеешь ты хранить тайну?

— До могилы!

— Тогда слушай. Завтра наш порт посетит прославленный маршал. Он будет осматривать доки, тюрьмы, каменоломни. В честь его будут палить пушки с фортов и кораблей, и если сбегут два каторжника, то никто в Тулоне не обратит внимания — одним залпом больше или меньше. Понятно?

— Ты хочешь сказать, что никто не различит сигнал тревоги?

— Даже часовые у городских ворот, даже стража в соседней каменоломне. Чертова обедня! Взять да перебить друг другу цепи киркой, когда стража на тебя не смотрит и когда гремят салюты! Ну, как, рискнешь?

— Чем угодно!

— По рукам!

До сих пор я еще ни разу не пожимал ему дружески руку и почувствовал, что моя рука как будто запачкалась кровью от этого прикосновения. По свирепому огоньку в

его глазах я понял, что он правильно истолковал мой нерешительный жест.

На следующее утро нас подняли часом раньше обычного и вывели для проверки на тюремный двор. Перед выходом на работу нам поднесли двойную порцию вина. В час дня мы услышали далекие раскаты салюта с военных кораблей в гавани. Звук этот пронзил меня точно гальванический ток. Один за другим подхватывали салют и форты. Вот его повторили канонерки, стоявшие у самого берега. Выстрел за выстрелом раздавался с батарей по обе стороны порта, так что все вокруг заволокло пороховым дымом.

— Когда первый раз бабахнут вон там,— прошептал Гаспаро, указывая на казармы, находившиеся за тюрьмой,— бей по первому звену моей цепи — у самой щиколотки!

Вдруг у меня мелькнуло подозрение.

— А как я могу быть уверенным, что после этого ты освободишь меня? Нет, Гаспаро, это ты должен сначала разбить мою цепь.

— Как хочешь,— отвечал он со смехом и проклятием.

И в эту минуту на стене укреплений сверкнула вспышка и прогремело тысячекратное эхо, вновь и вновь отражаемое окрестными скалами. Как только грохот докатился до нас, я увидел, что Гаспаро размахнулся, и почувствовал, что с моей ноги спала цепь. Не успело эхо выстрела из первой пушки замереть вдали, как выпалила вторая. Теперь настал черед Гаспаро. Я размахнулся, но не так ловко, как он, и мне пришлось ударить дважды, прежде чем неподатливое звено сломалось. Мы продолжали работать как ни в чем не бывало, только старались держаться еще ближе друг к другу, а цепь, свернувшись, лежала между нами. Никто не следил за нами, и никто с первого взгляда не заметил бы, что мы сделали. С третьим выстрелом из-за поворота на дороге, ведущей к каменоломне, появилась группа офицеров и штатских. Все повернули головы в ту сторону, все каторжники прервали работу, все часовые взяли на караул. И в этот миг мы сорвали шапки, отбросили кирки, перелезли через отбитый кусок скалы, на котором работали, скатились в глубокий овраг и бросились к горным проходам в долину. Железные

кольца на ногах мешали нам бежать. Вдобавок ко всему дорога была усеяна обломками гранита и извивалась как змея. Неожиданно, обогнув острый выступ скалы, мы наткнулись на сторожевой пост. Возле домика стояли двое часовых. Об отступлении нечего было и думать. Солдаты находились в нескольких ярдах от нас. Они вскинули ружья и приказали нам сдаваться. Гаспаро повернулся ко мне, точно затравленный волк.

— Будь ты проклят! — И он нанес мне страшный удар.— Валяйся тут, пусть тебя схватят! Я всегда тебя ненавидел!

Я рухнул наземь, точно меня ударили молотом, но успел еще заметить, что Гаспаро, свалив одного солдата, кинулся на другого, услышал выстрел, а потом... все потемнело, и я потерял сознание.

Открыв глаза, я обнаружил, что лежу на полу в маленькой полутемной каморке с крохотным оконцем под самым потолком. Казалось, прошло много недель с того времени, как я потерял сознание. У меня едва хватило сил подняться, а поднявшись, я с трудом удержался на ногах. В том месте, где лежала моя голова, пол был залит кровью. Борясь с головокружением и плохо соображая, я прислонился к стене и попытался собраться с мыслями.

Во-первых, где я? Наверняка не в тюрьме, из которой я бежал: там все вокруг одето камнем и оковано железом, здесь же побеленная штукатурка. Очевидно, я нахожусь в каморке сторожевого поста, возможно даже на чердаке. Где же Гаспаро? Хватит ли у меня сил дотянуться до этого оконца, а если хватит, то куда оно выходит? Я подкрался к двери и увидел, что она заперта. Затаив дыхание, я прислушался, но не мог уловить ни звука ни внизу, ни наверху. Бесшумно вернувшись назад, я прикинул, что оконце находится самое меньшее в четырех футах над моей головой. В гладкой штукатурке не было никаких выступов или углублений, чтобы вскарабкаться наверх, а в комнате нет даже очага, из которого я бы мог выломать прут и выдолбить им дыры в стене. Стоп! Ведь на мне кожаный пояс, с железным крюком, к которому подвешивалась цепь, когда я не работал. Я оторвал этот крюк, отбил им в нескольких местах штукатурку и дранку, вскарабкался, распахнул окно и с нетерпением выглянул

наружу. Передо мной в каких-нибудь тридцати пяти — сорока футах поднималась отвесная скала, под выступом которой находился сторожевой пост; внизу был небольшой огород, отделенный от основания скалы грязной канавой, которая, очевидно, соединялась с оврагом; направо и налево, насколько я мог судить, тянулась скалистая тропа, по которой мы шли. Я мгновенно принял решение. Оставаться — значит быть схваченным. Рисковать так рисковать — хуже все равно не будет. Я снова прислушался — все было тихо. Я протиснулся через узкое оконце, постарался как можно тише спрыгнуть на сырую землю и, прижавшись к стене, стал думать, что же делать дальше. Карабкаться на скалу — значит, стать мишенью для первого же солдата, который меня заметит. Если идти оврагом, можно наткнуться на Гаспаро и его преследователей. Кроме того, уже смеркалось, а под покровом ночи, если только я сумею найти убежище до той поры, мне, быть может, удастся ускользнуть. Но где же это укрытие? Слава всевышнему, который подсказал мне эту мысль! Канава!

Только два окна сторожевого поста выходили на огород. Из одного я только что выбрался, другое было прикрыто ставнями. Однако я не рискнул открыто пересечь огород. Я лег на землю и полз между грядками, пока не добрался до канавы. Вода была мне по пояс, но края канавы подымались довольно высоко, и я убедился, что могу идти не нагибаясь, так как с дороги меня все равно не увидят. Таким образом я прошел по этой канаве ярдов двести или триста по направлению к Тулону, решив обмануть моих преследователей, которые вряд ли подумают, что я направляюсь опять к тюрьме, вместо того чтобы устремиться в противоположную сторону. Полулежа, забившись под густую траву, росшую по краю канавы, я вглядывался в сгущавшиеся сумерки. Вскоре я услышал вечернюю пушку, а спустя немного далекие голоса. Что это? Крик? Не в силах выносить мучительную неизвестность, я поднял голову и осторожно выглянул. В окнах сторожевого поста мелькали огни, в огороде виднелись темные фигуры, наверху на дороге слышался торопливый топот! Вдруг на воду, всего в нескольких ярдах от моего убежища, упал свет! Я осторожно сполз вниз, лег

плашмя, и надо мной бесшумно сомкнулась зловонная грязь. Так я лежал затаив дыхание до тех пор, пока не почувствовал, что бешено стучащее сердце вот-вот подкатит к самому горлу и задушит меня, а жилы на висках лопнут. Я больше не мог выдержать — я высунул голову из воды. Я снова дышал — смотрел — прислушивался... Кругом царила полнейшая тьма и безмолвие. Мои преследователи прошли мимо!

Так я прождал еще час, прежде чем рискнул двинуться дальше. Тем временем тьма сгустилась и начался проливной дождь. Канава превратилась в бурлящий поток, по которому я неслышно прошел под самыми окнами сторожевого поста.

Я брел по воде с милю, а то и больше, и, наконец, рискнул выйти на дорогу; и вот так, под дождем и ветром, бьющими мне в лицо, то и дело спотыкаясь о разбросанные повсюду камни, я прошел это извилистое ущелье и к полуночи выбрался на равнину. Без всякого путеводного знака, кроме северо-восточного ветра, даже не видя ни одной звезды, я свернул вправо и пошел по неровной проселочной дороге, которая пересекала долину. Но вот дождь стал стихать, и я различил темные очертания гряды холмов, слева от дороги. Это, решил я, очевидно, Моры. Пока что все шло хорошо. Я взял верное направление и был на пути к Италии.

Не считая редких передышек у обочины, я шел всю ночь напролет. Разумеется, я не мог двигаться быстро из-за усталости и голода, но жажда свободы была так сильна, что я, стремясь неуклонно вперед, ушел от Тулона на восемнадцать миль. В пять часов, когда начал заниматься день, я услышал звон колоколов и понял, что приближаюсь к большому городу. Избегая риска, я решил повернуть назад, к горам. Солнце уже взошло, и я не осмеливался продолжать путь. Проходя мимо поля, я нарвал репы, забрался в уединенную рощицу в ложбинке между двумя холмами и спокойно пролежал там целый день. С наступлением ночи я отправился дальше, все время держась среди гор и то и дело выходя к залитым лунным светом бухтам и тихим островкам, лежащим у самого побережья, к идиллическим селениям, приютившимся среди цветущих холмов, или к мысам, заросшим кактусами и алоэ. Весь

следующий день я отдыхал в полуразрушенном сарае на дне заброшенного песчаного карьера, а под вечер, чувствуя, что силы мои от голода иссякают, спустился к крохотной рыбацкой деревушке на побережье. Было совсем темно, когда я добрался до равнины. Я смело прошел мимо рыбацких хижин, встретив только старушку и ребенка, и постучался к кюре. Он сам отворил мне дверь. В нескольких словах я рассказал ему свою историю. Этот добрый человек поверил мне и сжалился надо мной. Он дал мне еды, вина, старый платок, чтобы перевязать голову, старую куртку, которую я надел вместо моей тюремной блузы, и несколько франков на дорогу. Я простился с ним со слезами на глазах.

Я шел всю эту ночь и еще следующую, держась поближе к берегу, а днем скрывался среди прибрежных скал. На пятое утро, после ночного перехода, я миновал Антиб, вышел к берегу реки Вар *, перебрался через нее в полумиле ниже деревянного моста, нырнул в сосновый лес, находившийся уже по ту сторону границы с Сардинией, и, наконец, опустился отдохнуть на итальянской земле!

О том, как я, уже находясь в сравнительной безопасности, все еще продолжал держаться в стороне от больших дорог, как купил напильник в первом же селении и освободился от железного браслета на ноге, как скрывался в окрестностях Ниццы, дожидаясь, когда у меня отрастут волосы и борода, как, прося подаяния, добрался до Генуи и слонялся в порту, кое-как зарабатывая на хлеб, и с грехом пополам перебивался суровую зиму, как ранней весной отрабатывал проезд на небольшом торговом суденышке, которое шло из Генуи в Фиумицино с заходом во все порты по всему побережью, и как, медленно проплыв по Тибру на барке, груженной маслом и вином, мартовским вечером вышел на набережную Рипетта в Риме,— как все это происходило и каких физических усилий стоило,— сейчас у меня нет времени рассказать подробно. Моей целью был Рим, и цель эта была, наконец, достигнута. В таком большом городе и так далеко от места моего заключения я был в безопасности. Я полагал, что могу здесь рассчитывать на свои способности и образование, я даже надеялся встретить друзей среди путешественников, которые стекаются сюда на пасхальные празд-

нества. Поэтому, полный надежд, я подыскал скромное жилье вблизи набережной, день-другой наслаждался свободой и осматривал город, а затем принялся искать какую-нибудь постоянную работу.

Но постоянную работу, как, впрочем, и любую другую, найти оказалось не так-то легко. Времена были тяжелые. Год выдался неурожайный, а зима — необычайно суровая. К тому же в Неаполе начались беспорядки, и путешественников этой весной было на несколько тысяч меньше, чем обычно. Такого скучного карнавала уже не видали много лет. Художники не могли продать картины, скульпторы — статуи. Резчики камей и мастера мозаики голодали. Торговцы, владельцы гостиниц, профессиональные чичероне плакались на судьбу. День ото дня надежды мои угасали, и виды на будущее становились все более мрачными. День ото дня мои жалкие скудо, скопленные с таким трудом, таяли. Я рассчитывал наняться конторщиком, писцом, секретарем или на какую-нибудь должность в публичной библиотеке. Но по истечении трех недель я был бы рад хотя бы подметать студию. Наконец пришел день, когда мне не оставалось ждать ничего, кроме голодной смерти, когда мой последний грош был истрачен, когда мой хозяин захлопнул перед моим носом дверь и я уже не знал, где найти кусок хлеба и кров. Весь этот день я уныло бродил по улицам. Как раз была страстная пятница. Церкви были убраны черными тканями, звонили колокола, все улицы были забиты людьми в траурной одежде. Я зашел в небольшую церковь Санта Мартина. Там как раз пели Miserere *, быть может не слишком искусно, но с чувством, которое раскрыло всю глубину моего отчаяния.

Жалкий, отверженный, я провел эту ночь под темной аркой возле театра Марцелла. День обещал быть прекрасным, и я, дрожа от холода, выбрался на солнце. Прислонившись к нагретой стене, я поймал себя на мысли, которая уже неоднократно приходила мне в голову: сколько же еще времени стоит мучиться, умирая с голоду, и достаточно ли глубоки мутные воды Тибра, чтобы поглотить человека? Как тяжело умирать в самом расцвете лет! Ведь мое будущее могло бы стать таким светлым, таким возвышенным. Суровая жизнь, которую я вел последнее время, укрепила меня физически и духовно. Я даже под-

рос. Мускулы мои развились и окрепли. Я стал гораздо живее, энергичнее, решительнее, чем год назад. Но зачем мне теперь все это? Я должен умереть, и теперь смерть будет только еще тяжелей.

Я поднялся и вновь пошел бродить по улицам, как и вчера. В одном месте я попросил подаяния, но мне отказали. Я машинально брел среди вереницы экипажей и пешеходов, пока не обнаружил, что нахожусь в толпе, которая, беспрерывно приливая и отливая, в течение всей пасхальной недели заполняет площадь вокруг собора св. Петра. Отупевший и измученный, я повернул к ризнице и приткнулся у порога. Два господина читали приклеенное к колонне объявление.

— Боже милостивый! — воскликнул один из них, обращаясь к стоявшему рядом.— И человек может рисковать своей головой ради каких-то грошей!

— М-да, и к тому же зная, что из восьмидесяти рабочих шесть или восемь обычно разбиваются в лепешку,— добавил другой.

— Ужасно! Ведь это же в среднем — десять процентов!

— Не меньше. Отчаянное предприятие.

— Но зато какое зрелище! — философски заметил первый, после чего они удалились.

Я вскочил и с жадностью прочитал объявление. Оно было озаглавлено: «Иллюминация собора святого Петра». Далее сообщалось, что требуется восемьдесят человек для освещения собора и купола и триста — для освещения карнизов, сводов, колонн и так далее, amministratore доводит до сведения... и так далее и тому подобное... В заключение говорилось, что каждый из факельщиков, занятых на соборе и куполе, получит обед и двадцать четыре паоло, тогда как заработок остальных составит менее трети этой суммы.

Отчаянное предприятие — что верно, то верно, но я и был доведен до отчаяния. В конце концов мне грозила только смерть, и лучше уж умереть после сытного обеда, нежели с голоду. Я тут же направился к amministratore, меня внесли в список, дали несколько паоло задатка и велели явиться на следующее утро ровно в одиннадцать часов. В этот вечер я поужинал возле уличного ларька и за

несколько грошей получил возможность выспаться на сеновале конюшни в конце Виа дель Арко.

И вот к одиннадцати часам светлого воскресенья, шестнадцатого апреля, я стоял в толпе других бедняг, у большинства которых был жалкий вид, такой же как и у меня, и ждал, когда откроется дверь конторы администратора. Пьяцца перед собором кипела жизнью, напоминая разноцветный калейдоскоп. Сияло солнце, били фонтаны, над замком св. Ангела развевались флаги. Зрелище было изумительное, но я смотрел на него лишь несколько минут. С последним ударом часов двери распахнулись, и мы всей толпой вошли в зал, где для нас были накрыты два длинных стола. Несколько стражей стояли у дверей, служитель расставил нас вокруг столов, и священник принялся читать молитву.

Едва он начал читать, меня охватило какое-то странное чувство. Что-то побудило меня взглянуть на соседний стол, и там... о, всемогущий!.. я увидел Гаспаро!

Он смотрел прямо на меня, но как только встретил мой взгляд, сразу же опустил глаза. Я видел, как он мертвенно побледнел. Воспоминание обо всех страданиях, которые он мне причинил, и о подлом ударе, нанесенном мне в день нашего побега, на какой-то миг пересилило даже удивление от того, что я вижу его здесь. О, если бы мне суждено было остаться жить, чтобы встретиться с ним один на один под открытым небом, где не будет ни молящихся священников, ни стражи!

Молитва окончилась, мы уселись и принялись за обед. Даже гнев не мог притупить мой аппетит. Я ел как голодный волк, как, впрочем, и все остальные. Нам не дали вина, да и двери были заперты, чтобы мы не могли раздобыть его со стороны. Это было весьма разумно, если принимать во внимание, какую работу нам предстояло выполнить. Тем не менее это не помешало нам поднять страшный шум. Порою опасность пьянит, как вино, и в это светлое воскресенье мы, восемьдесят sanpietrini, факельщики собора св. Петра, из которых кое-кто еще до ужина, быть может, размозжит себе череп о свинцовые листы кровли, ели, болтали, шутили, смеялись, и в этом буйном веселье было что-то ужасающее.

Обед длился долго, и когда все уже насытились, столы

были убраны. Многие повалились на пол или на скамьи и уснули. Гаспаро был среди них. Я не мог больше выдержать. Я подошел к нему и пнул его в бок.

— Гаспаро, ты меня узнаешь?

Он угрюмо взглянул на меня.

— Чертова обедня! Я думал, что ты в Тулоне.

— Не твоя вина, что я не в Тулоне! А теперь слушай. Если мы с тобой переживем эту ночь, ты мне ответишь за свою подлость!

Сверкнув на меня глазами из-под нависших бровей, он молча отвернулся и сделал вид, что уснул.

— Ecco un maladetto! [1] — выразительно пожав плечами, сказал один из соседей, когда я уходил.

— Ты знаешь о нем что-нибудь? — встрепенулся я.

— Cospetto! Ровным счетом ничего. Но говорят, одиночное заключение превратило его в волка.

Больше я ничего не мог узнать, и поэтому тоже растянулся на полу, как можно дальше от моего врага, и погрузился в крепкий сон. В семь стража подняла тех, кто еще спал, и поднесла каждому по стаканчику слабого вина. Затем нас построили в два ряда и повели к задней стороне собора, а оттуда на крышу под куполом. С этого места целая вереница лестниц и извилистых коридоров вывела нас в проход между двойными стенами купола; здесь нас стали размещать на разной высоте. Меня поставили примерно на середине, и я заметил, что Гаспаро ведут еще выше. Когда нас расставили по местам, распорядители обошли всех и дали нам наставления. По сигналу каждый должен вылезть в лаз или в окошко, перед которым он находился, и сесть верхом на узкую доску, привязанную к крепкой веревке. Веревка эта уходила в окно, была намотана на вал и надежно закреплена изнутри. По второму сигналу он должен взять в правую руку горящий факел, который ему подадут, а левой крепко ухватиться за веревку. По третьему сигналу специально приставленный для этого помощник начнет разматывать веревку, а факельщик, быстро скользя вниз по изгибу купола, должен прикоснуться факелом к каждой плошке, которую минует.

---

[1] Гнусный малый!

Выслушав эти наставления, каждый из нас встал у своего окна, ожидая первого сигнала.

Быстро смеркалось, и серебряная иллюминация сияла уже с семи часов. Все громадные ребра купола, насколько я мог видеть, все карнизы и фризы фасада, все колонны и парапеты гигантской колоннады, окружавшей пьяццу в четырехстах футах внизу, были окаймлены рядами бумажных фонариков, и свет их, смягченный бумагой, играл серебристым огнем, производившим волшебное, потрясающее впечатление. Между рядами и даже среди этих фонариков по фасаду, выходящему на пьяццу, на разных расстояниях были размещены плошки, так называемые padelle, уже наполненные салом и скипидаром. Зажечь их на своде и куполе и было рискованным делом sanpietrini. Когда все огни зажгутся — вспыхнет и золотая иллюминация.

Прошло несколько минут напряженного ожидания. С каждой секундой вечерняя тьма становилась все гуще, фонарики горели все ярче, нарастающий гул тысячной толпы на площади и улицах все громче звучал у нас в ушах. Я чувствовал учащенное дыхание помощника за своим плечом — и казалось, слышал стук собственного сердца. Неожиданно, точно электрический ток, из уст в уста промчался первый сигнал. Я вылез и крепко обхватил ногами доску, по второму сигналу схватил пылающий факел, после третьего почувствовал, как скольжу вниз, и, зажигая каждую плошку, мимо которой спускался, увидел, как весь огромный свод надо мной и подо мной вспыхивает рядами пляшущих огней. Часы начали бить восемь, и когда отзвучал последний удар, весь собор утонул в огне. Рев толпы, напоминающий рев безбрежного океана, казалось, потряс самый купол, к которому я прильнул. Я мог даже видеть блики света на лицах, толпу на мосту св. Ангела и лодки, снующие по Тибру.

Я опустился на полную длину веревки, успев зажечь все свои плошки, и теперь сидел безмятежно, наслаждаясь восхитительным зрелищем. Вдруг я почувствовал, что веревка дрогнула. Я взглянул наверх и увидел человека, который, одной рукой держась за железный стержень с прикрепленными к нему плошками, другою... Боже милосердный! Пьемонтец пережигал своим факелом мою веревку!

Раздумывать было некогда — я действовал по велению инстинкта. Все произошло в один страшный миг. Я кошкой вскарабкался наверх, ткнул факелом прямо в лицо озверевшего каторжника и ухватился за веревку на вершок выше горящего места! Ослепленный и ошеломленный, он испустил ужасный вопль и камнем рухнул вниз. Даже сквозь гул живого океана, бушующего внизу, я услышал глухой удар о свинцовую кровлю — звук этот отдавался в моих ушах все долгие годы, прошедшие с того вечера, я слышу его и по сей день!

Едва я успел перевести дух, как почувствовал, что меня втащили наверх. Помощь пришла как раз вовремя, от страха мне стало дурно, и я так ослабел, что потерял сознание, как только очутился в безопасности. На следующий день я дождался администратора и рассказал ему обо всем. Правдивость моего рассказа подтверждала пустая веревка, с которой сорвался Гаспаро, и обгоревший обрывок веревки, на котором меня подняли. Amministratore передал мой рассказ одному высокопоставленному духовному лицу, и в то время, как никто, даже ни один sanpietrino, не подозревал, каким образом погиб мой враг, подлинная история, которую люди шепотом рассказывали друг другу, перелетала из дворца во дворец, пока не достигла Ватикана. Я получил множество знаков сочувствия и настолько значительную денежную поддержку, что мог без страха смотреть в будущее. С тех пор я претерпел еще много превратностей судьбы, и мне пришлось побывать во многих странах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой мы находим перепутанных младенцев

Некоторое время после рассказа француза у ворот никто не появлялся. Наконец во двор медленно забрел довольно меланхоличный блондин, очень высокий и очень плотный, одетый в поношенное, с чужого плеча платье. Он нес ящик с плотничьим инструментом, однако, судя по виду, даже и не надеялся на то, что ему улыбнется

счастье когда-либо пустить свои инструменты в ход. Устремив на Путника водянистые голубые глаза, этот унылый субъект пояснил (более правильным языком, чем можно было от него ожидать), что он бродит в поисках работы, а поскольку таковой не подвернулось, то он, за неимением лучшего занятия, пришел поглядеть на мистера Сплина. Фамилия его — Хэвисайдз, нынешнее местожительство — трактир «Колокольный звон», вон там, в деревне; если у мистера Путника найдется для него какая-нибудь работенка, он будет премного благодарен, а если нет, он просит разрешения посидеть здесь и спокойно отдохнуть, разглядывая мистера Сплина.

Получив разрешение, пришелец уселся и принялся глазеть на мистера Сплина в полное свое удовольствие. Он не был поражен, подобно художнику, он не был снисходительно невозмутим, подобно французу,— он просто-напросто хотел узнать, что побудило Отшельника удалиться от мира.

— И почему он завернулся в это одеяло? — спросил он.— Как бы ни была тяжела его беда, я думаю, моя куда тяжелее.

— Неужели? — спросил Путник.— Прошу вас непременно поделиться с нами вашими горестями.

На свете еще не встречалось человека, который отказался бы поговорить о своих горестях. И плотник не был исключением из этого общего правила. Без малейшего промедления он приступил к рассказу.

Я сочту личным одолжением с вашей стороны, если вы с самого начала настроитесь на грустный лад, поскольку история будет не из веселых, и если вы не сочтете за труд мысленно представить меня в виде младенца пяти минут от роду.

Вы, как я понимаю, хотите сказать, что я несколько великоват и грузен для того, чтобы меня можно было представить в виде младенца? Возможно, но впредь прошу вас не намекать больше на мой вес. Лишний вес был главным несчастьем моей жизни. Он испортил мне (как вы скоро услышите) все виды на будущее, еще до того, как мне минуло два дня.

Рассказ мой берет начало тридцать один год тому назад, ровно в одиннадцать часов утра. И начинается все с великой ошибки, каковой было мое появление на свет в море (торговое судно «Приключение», капитан Джиллоп, водоизмещение пятьсот тонн, днище обшито листовой медью, на борту опытный судовой врач).

Собираясь привлечь ваше внимание (что я сейчас и сделаю) к тому злополучному периоду моей жизни, который начался, когда мне было не более пяти или десяти минут от роду, и кончился (чтобы не утомить вас длинным рассказом) задолго до того, как у меня прорезался первый зуб, я должен признаться, что все сведения об этом времени получены мною из чужих уст. И все же они заслуживают доверия, ибо исходят от мистера Джиллопа, капитана судна «Приключение» (который сообщил мне их в письменном виде), от мистера Джолли, судового врача с «Приключения» (который весьма бессердечно послал мне их в виде юмористического рассказа), и от миссис Дрэбл, стюардессы с «Приключения» (которая сообщила мне их в устном виде). Три вышеупомянутых лица явились очевидцами, и, можно сказать, весьма потрясенными очевидцами, тех событий, о которых я должен вам поведать.

Судно «Приключение» в то время, о котором я вам рассказываю, направлялось из Лондона в Австралию. Я полагаю, вам известно, и нет нужды напоминать о том, что тридцать лет тому назад было еще далеко до золотой лихорадки и до знаменитых клипперов *. Строительство жилищ в новой колонии и овцеводство в глубине страны были основными занятиями в то время, а следовательно, и пассажиры на борту корабля почти все до единого были либо строители, либо фермеры-овцеводы.

Судно водоизмещением в пятьсот тонн, если оно идет с полным грузом, отнюдь не представляет первоклассных удобств большому числу пассажиров. Конечно, «чистой публике» в отдельных каютах жаловаться не приходилось. Высокая плата за проезд обеспечивала им право на привилегии. Несколько мест в спальных каютах даже пустовали, ибо каютных пассажиров было только четверо. Вот их имена и кое-какие сведения о них.

Мистер Симс, джентльмен средних лет, собиравшийся заняться спекуляциями на строительстве. Мистер Пэрлинг,

худосочный молодой человек, совершавший длительное морское путешествие для поправки здоровья. Мистер и миссис Смолчайлд, молодая супружеская пара с небольшим капиталом, который мистер Смолчайлд намеревался увеличить посредством разведения овец. Капитану сказали, что на суше мистер Смолчайлд — человек весьма приятный и общительный. Но море несколько изменило его характер. Когда мистера Смолчайлда не тошнило, он был занят едой и питьем, когда он не был занят едой и питьем, он крепко спал. В общем же надо признать, что он отличался редким терпением и добродушием и с поразительным проворством скрывался в своей каюте, если приступ морской болезни застигал его врасплох, что же касается общительности, то за все плаванье никто не слышал, чтобы он вымолвил более десятка слов. И это не удивительно. Человек не может разговаривать во время приступа морской болезни; не может разговаривать, когда занят едой и питьем; и не может разговаривать, когда спит. А жизнь мистера Смолчайлда протекала именно в таких занятиях. Что касается его жены, то она вовсе не покидала своей каюты. Но о ней вы еще услышите.

Все эти каютные пассажиры были достаточно богаты, чтобы обеспечить себе комфорт. А вот несчастные бедняки, ехавшие «четвертым классом», который далеко не отличался удобствами даже при благоприятных условиях, были сбиты в кучу все вперемешку — мужчины, женщины, дети,— словно овцы в загоне, с тою лишь разницей, что у них было куда меньше возможности дышать свежим воздухом. Все это были ремесленники или батраки, которые не могли свести концы с концами на родине. Сколько их там было и как их звали — мне неизвестно. Да это и не важно. Внимания среди них заслуживало только одно семейство, а именно семейство Хэвисайдз, состоящее из Саймона Хэвисайдза, человека умного и образованного, плотника по профессии, его жены и семерых маленьких Хэвисайдзов — их злополучных отпрысков. Вы, кажется, хотите сказать, что это мои отец и мать, мои братья и сестры? Не спешите, советую вам немного обождать, прежде чем вы сможете окончательно в этом убедиться.

Хотя меня, строго говоря, еще не было на корабле,

когда он покидал лондонский порт, тем не менее я твердо уверен, что мой злосчастный рок уже поджидал меня на его борту, что и сказалось потом на всем плаванье. Никогда еще не бывало такой скверной погоды. Шквалы налетали на нас со всех стран света, сменяясь встречным ветром или мертвым штилем. По истечении третьего месяца у капитана Джиллопа, человека по натуре весьма мягкого, начало портиться настроение. Предоставляю вам судить, могло ли оно улучшиться после известия, полученного им утром девяносто первого дня. Стоял мертвый штиль, и судно беспомощно моталось носом во все стороны, когда мистер Джолли (из бессердечного рассказа которого я привожу все разговоры в точности, как они происходили) поднялся к капитану и обратился к нему со следующими словами:

— У меня есть известие, которое вас немало удивит.

Сказав это, мистер Джолли с улыбкой потер руки. Хотя этот опытный врач и не выказал должного сочувствия к моей беде, надо сознаться, что он отличался нравом, соответствующим его фамилии [1]. Даже по сей день ни самая скверная погода, ни самый тяжкий труд не могут омрачить его веселого расположения духа.

— Если это известие о попутном ветре,— проворчал капитан,— то, смею вас уверить, оно меня удивит.

— Не знаю, как насчет ветра, но еще один каютный пассажир обеспечен.

Капитан отвернулся, окинул взглядом морской простор, где ближайшая земля была не ближе тысячи миль и где не было ни единого корабля на горизонте, вновь повернулся к опытному судовому врачу, вперил в него пристальный взор, внезапно побледнел и осведомился, что тот имеет в виду.

— Единственно то, что на борту появится пятый каютный пассажир,— стоял на своем мистер Джолли, ухмыляясь до ушей,— и его, по всей вероятности, к вечеру представит нам миссис Смолчайлд. Все, что о нем заранее можно сказать: рост — не на что смотреть, пол — покуда неизвестен, нрав и привычки — по всей вероятности, штормовые.

---

[1] Джолли — здесь: веселый, шутливый *(англ.)*.

— Вы хотите сказать...— спросил капитан, попятившись и все больше бледнея.

— Вот именно,— энергично кивнул мистер Джолли.

— Ну так я вот что вам скажу,— взревел капитан Джиллоп в неистовой ярости.— Я этого не потерплю! Эта адская погода уже и без того вымотала мне всю душу — не потерплю! Джолли, отложите!.. Скажите ей, что такие вещи на моем судне неуместны. Как она смеет ставить нас в подобное положение?! Стыд и позор!

— Полно, полно,— увещевал его мистер Джолли.— Не надо так близко принимать это к сердцу. У бедняжки будет первенец. Откуда ей знать? Будь у нее немного больше опыта, я уверен...

— Где ее муж? — перебил капитан, и в его взоре сверкнула угроза.— Я намерен высказать ее мужу, что я об этом думаю.

Прежде чем ответить, мистер Джолли посмотрел на часы.

— Половина двенадцатого,— заметил он.— Дайте подумать. Обычно в это время мистер Смолчайлд сводит счеты с морем. За четверть часа он управится. А через пять минут крепко уснет. В час дня плотно позавтракает и снова уснет. В половине второго снова будет сводить счеты. И так далее, до самого вечера. С мистером Смолчайлдом у вас ничего не выйдет, капитан. Феноменальный человек — теряет столько веса — и вновь восстанавливает его самым удивительным образом. Еще месяц в море — и, должно быть, мы привезем его в летаргическом состоянии... Эй! А что у вас случилось?

Пока доктор рассказывал, на юте появился помощник стюарда. Быть может, это было просто забавное совпадение, но только он тоже ухмылялся до ушей, в точности как мистер Джолли.

— Вас просят вниз, сэр,— сказал он доктору.— Там с одной женщиной неладно. Хэвисайдз ее фамилия.

— Глупости! — воскликнул мистер Джолли.— Ха-ха! Уж не собралась ли и она...

— Так оно и есть, сэр, в точности,— подтвердил помощник стюарда с полной убежденностью.

В немом бешенстве капитан Джиллоп озирался по сторонам и вдруг впервые за двадцать лет плавания потерял

равновесие и, попятившись, привалился к фальшборту собственного корабля, стукнул по нему кулаком и тут же обрел дар речи.

— Это судно заколдовано! — в ярости крикнул капитан.— Стойте! — остановил он доктора Джолли, спешившего в трюм.— Если это правда, немедля послать ко мне ее мужа! Уж хоть с одним-то из них я посчитаюсь! — И капитан злобно погрозил кулаком в пространство.

Прошло минут десять, и вот, пошатываясь и кренясь во все стороны вместе с судном, к капитану приблизился долговязый, тощий, унылый блондин с римским носом и водянистыми голубыми глазами на обильно усеянном крупными веснушками лице. Это и был Саймон Хэвисайдз, умный и образованный плотник, который вез с собой жену и семерых детей.

— Н-ну-с! Так это вы? — спросил капитан.

В этот миг судно сильно накренилось, и Саймон Хэвисайдз опрометью метнулся к противоположному краю палубы, словно предпочитал угодить прямо за борт, нежели ответить на вопрос капитана.

— Так это вы, а? — повторил капитан, настигнув его, в ярости схватив за ворот и прижав к фальшборту.— Это ваша жена, а? Гнусный негодяй! Как вы смеете превращать мой корабль в родильный дом? Это бунт на корабле, а если не бунт, так вроде этого. Я заковывал в кандалы и за меньшие проступки. Я уже почти решил и вас заковать! Да держитесь вы на ногах, каракатица! Как вы смеете приводить на мое судно непрошеных пассажиров? Что вы можете сказать в свое оправдание, прежде чем я вас закую?

— Ровно ничего, сэр,— ответил Саймон Хэвисайдз, всем своим видом являя самое кроткое смирение многострадального супруга.— А что касается наказания, о котором вы только что упомянули, сэр, могу сказать одно: когда имеешь семерых детей, которых не знаешь, как прокормить, да тут еще того и гляди восьмой, то, осмелюсь заметить, сэр, дух мой и так все равно что закован, и навряд ли будет много хуже, если вы заодно закуете в кандалы мою бренную плоть.

Капитан машинально выпустил ворот плотника. Покорное отчаянье этого человека невольно смягчило его.

— Какого черта вы отправились в море? Почему не дождались на берегу, пока все кончится? — стараясь говорить по возможности суровее, спросил он.

— Какая польза ждать, сэр,— заметил Саймон.— При нашей жизни, стоит этому кончиться, как все начинается снова. И конца этому я не вижу,— сказал несчастный плотник, а потом, кротко поразмыслив, добавил:— Разве что в могиле...

— Кто тут смеет говорить о могиле? — раздался голос мистера Джолли, поднимавшегося к капитану.— На борту этого судна мы занимаемся только рождениями, а не похоронами. Капитан Джиллоп, эта женщина, Марта Хэвисайдз, не может оставаться в такой тесноте при ее теперешнем положении. Ее необходимо поместить в свободной каюте, и, смею вас уверить, чем скорее, тем лучше.

Капитан снова пришел в ярость. Пассажир из трюма в «отдельной каюте»! По морским законам это чистейшая аномалия, подрыв всяческой дисциплины! Он вновь уставился на плотника, словно мысленно прикидывал, какого размера кандалы тому потребуются.

— Я глубоко сожалею, сэр,— вежливо сказал Саймон,— глубоко сожалею, если непреднамеренная оплошность с моей стороны или со стороны миссис Хэвисайдз...

— Уноси, покуда цел, свой длинный каркас и длинный язык! — загремел капитан.— Когда болтовней можно будет помочь делу, я за тобой пошлю! — Потом, когда Саймон заковылял прочь, он безнадежно махнул рукой.— Поступайте как знаете, Джолли. Можете превратить судно в детскую, когда вам заблагорассудится.

Спустя пять минут — настолько энергичным был мистер Джолли — на палубе появилась Марта Хэвисайдз, в горизонтальном положении, закутанная в одеяла и транспортируемая тремя мужчинами. Когда эта необычная процессия шествовала мимо капитана, он шарахнулся в сторону с таким красноречивым выражением ужаса на лице, как будто мимо него волокли не британскую матрону, а разъяренного быка.

Двери в спальные каюты шли справа и слева от салона. Слева (если глядеть на бушприт) обитала миссис Смол-

чайлд. Справа, как раз напротив, доктор поместил миссис Хэвисайдз. Затем салон перегородили парусиной. Меньшее из двух образовавшихся таким образом помещений, из которого вел трап на палубу, было открыто для публики. В большем помещении священнодействовал доктор. После того как опорожнили, вымыли и устелили одеялами старую бельевую корзину, устроив таким образом самодельную колыбель, внесли ее за перегородку и установили посредине помещения на равном расстоянии от каждой из спальных кают, чтобы ею можно было воспользоваться по первому требованию,— все видимые глазу приготовления доктора Джолли были закончены. Пассажиры мужского пола нашли убежище на юте, предоставив доктору и стюардессе спокойно властвовать внизу.

Вскоре после полудня погода изменилась к лучшему. Наконец-то за все время пути подул попутный ветер, и «Приключение» шло вперед как по ниточке. Капитан Джиллоп с небольшой группой пассажиров-мужчин находился на юте. Он вновь обрел наилучшее расположение духа и, как обычно, подавая пример компании, закурил послеобеденную сигару.

— Джентльмены, если погода удержится,— сказал он,— то нам отлично могут накрывать стол здесь, и, пожалуй, через неделю мы сможем окрестить наших дополнительных пассажиров на суше, если на то будет согласие их мамаш. Как вы думаете, сэр, что скажет ваша уважаемая супруга?

Мистер Смолчайлд, которому был задан этот вопрос, отличался некоторым сходством с Саймоном Хэвисайдзом. Правда, он был куда ниже ростом и, разумеется, не такой тощий, но и у него был римский нос, светлые волосы и водянистые голубые глаза.

Приняв во внимание все особенности образа жизни мистера Смолчайлда на море, удобства ради его поместили как можно ближе к фальшборту на груде старых парусов и подушек, так, чтобы в случае необходимости ему легко было высовывать голову за борт. Кушанья и напитки, способствующие «восстановлению веса» в те минуты, когда он бодрствовал и не «сводил счеты», всегда ставились у него под рукой.

Было уже примерно три часа пополудни, и, стало быть, храп, которым мистер Смолчайлд ответствовал на вопрос капитана, лишь говорил о том, что этот пассажир с точностью часовой стрелки завершил предыдущий цикл и начал новый, а именно предавался сну.

— Что за бесчувственная колода этот человек! — воскликнул мистер Симс, пассажир средних лет, с презрением глядя на мистера Смолчайлда.

— Если бы море действовало на вас подобным образом,— возразил худосочный мистер Пэрлинг,— вы были бы точно таким же.

В течение всего плаванья мистер Пэрлинг — человек чувствительный, и мистер Симс — человек деловой, затевали спор по любому поводу. Но они не успели продолжить дискуссию о мистере Смолчайлде, потому что на палубе неожиданно появился доктор.

— Ну, как там — есть новости? — тревожно осведомился капитан.

— Ровным счетом никаких,— ответил доктор.— Я пришел приятно убить время до вечера в вашем обществе.

Но события приняли такой оборот, что доктору удалось «убивать время» всего полтора часа. По истечении этого срока на палубе с весьма таинственным видом появилась стюардесса миссис Дрэбл.

— Пожалуйста, сейчас же спуститесь вниз, сэр,— прошептала она встревоженно.

— Которая? — осведомился доктор.

— Обе,— с ударением произнесла миссис Дрэбл.

Лицо доктора стало серьезным, лицо стюардессы — испуганным. Оба немедленно исчезли.

— Я полагаю, джентльмены,— обратился капитан Джиллоп к мистеру Пэрлингу, мистеру Симсу и своему первому помощнику, который только что присоединился к их компании,— я полагаю, что раз уж дело приняло такой оборот, нужно и даже необходимо растолкать мистера Смолчайлда, а? И я уверен также, что мы должны позвать и другого мужа, чтобы при создавшихся обстоятельствах выказать должное внимание и участие. Распорядитесь послать за Саймоном Хэвисайдзом. Мистер Смолчайлд! Просыпайтесь, сэр! Ваша любезная супруга... Будь я проклят, джентльмены, если знаю, как ему об этом сказать?

— Да, да, спасибо,— пробормотал мистер Смолчайлд, приоткрыв сонные глаза.— Галеты и холодную грудинку, как обычно, когда я буду готов к этому. А я еще не готов... Спасибо... Всего хорошего.

Мистер Смолчайлд снова закрыл глаза и впал, по выражению доктора, в состояние «полной летаргии».

Но прежде чем капитан Джиллоп придумал новый способ разбудить невозмутимого пассажира, на юте снова появился Саймон Хэвисайдз.

— Я немного резко поговорил с вами, любезный,— сказал капитан,— так как был несколько встревожен событиями на борту этого корабля. Но не беспокойтесь, я заглажу свою вину. Ваша супруга пребывает, как говорится, в интересном положении. И вы, понятно, должны быть подле нее. Я рассматриваю вас, Хэвисайдз, как трюмного пассажира, попавшего в беду, и охотно разрешаю вам оставаться здесь, в нашем обществе, покамест все кончится.

— Вы очень добры, сэр,— ответил Саймон,— и я премного благодарен вам и всем остальным джентльменам, но ведь, осмелюсь напомнить, внизу у меня уже целых семеро детей, и кто же за ними присмотрит, кроме меня? Супруга моя как нельзя лучше сумела управиться во всех семи предыдущих случаях, и я ничуть не сомневаюсь, что управится и на восьмой раз. Капитан Джиллоп и вы, джентльмены, моя супруга будет только довольна, если узнает, что я не путаюсь под ногами и смотрю за детьми. А посему покорнейше прошу разрешения удалиться.

С этими словами Саймон отвесил поклон и возвратился к своему семейству.

— Ну что ж, джентльмены, кажется, оба супруга не принимают это дело близко к сердцу. Для одного из них такое событие не в диковинку, другой же...

В этот миг хлопанье дверей в каютах и быстрые шаги заставили всех замолчать и насторожиться.

— Одерживай, Уильямсон! — приказал капитан рулевому.— Я считаю, джентльмены, что при создавшемся положении чем ровнее идет судно, тем лучше.

День медленно перешел в вечер, вечер — в ночь. Мистер Смолчайлд с обычной пунктуальностью проделывал

каждодневный церемониал своего судового распорядка. Когда дело дошло до галет и грудинки, в нем на миг удалось пробудить способность уразуметь, что именно происходит с его женой, но как только подоспело время «сводить счеты», он тут же эту способность утратил, вновь обрел ее на краткий миг перед очередным отходом ко сну и тут же вновь утратил, как только сомкнул глаза. Так оно и шло в течение всего вечера до самой ночи. Саймону Хэвисайдзу благодаря заботам капитана время от времени передавали призывы сохранять бодрость духа, на что неизменно следовал ответ, что он таковое сохраняет и что дети ведут себя довольно смирно, однако сам он наверху так и не появился. То и дело на палубе показывался доктор Джолли. «Все в порядке, без перемен»,— сообщал он, слегка подкреплялся чем-нибудь и вновь исчезал, веселый и жизнерадостный, как всегда. Попутный ветер все еще держался; настроение капитана оставалось безмятежным; рулевой «одерживал» с самой что ни на есть отменной чуткостью; пробило десять; взошла восхитительно сияющая луна; подали грог; капитан услаждал пассажиров своим обществом, но... все оставалось без перемен. Одна за другою миновали еще двадцать минут тревожного ожидания,— вот, наконец, на ступеньках трапа появился доктор Джолли.

К всеобщему изумлению небольшой компании на юте доктор крепко держал под руку миссис Дрэбл; не обратив ни малейшего внимания ни на капитана, ни на пассажиров, он усадил ее на первый попавшийся стул. В это время на лицо его упал лунный свет, и потрясенные зрители увидели, что оно выражает полную растерянность.

— Успокойтесь, миссис Дрэбл,— уговаривал ее доктор, в голосе которого слышалась явная тревога.— Посидите спокойно на свежем воздухе. Возьмите себя в руки, мэм, ради бога, возьмите себя в руки!

Миссис Дрэбл не отвечала. Она бессмысленно хлопала себя по коленям, устремив неподвижный взор прямо перед собой, как это делают женщины, охваченные ужасом.

— Что случилось? — спросил капитан Джиллоп и в замешательстве поставил на стол стакан с грогом.— Что-нибудь произошло с этими бедняжками?

— Ровным счетом ничего,— отвечал доктор.— Обе чувствуют себя отлично.

— Что-нибудь неладно с их детьми? — продолжал допытываться капитан.— Может, их больше, чем вы рассчитывали, Джолли? По паре близнецов?

— Да нет же,— нетерпеливо отозвался доктор.— У каждой по одной штуке, мальчики, оба в отличном состоянии. Судите сами,— добавил он, когда внизу новоявленные каютные пассажиры впервые опробовали силу своих легких и нашли, что они как нельзя лучше соответствуют своему назначению.

— Так что же, черт побери, стряслось с вами и с миссис Дрэбл? — продолжал расспрашивать капитан, уже начиная терять терпение.

— Ни я, ни миссис Дрэбл ни в чем не виноваты, и тем не менее с нами приключилась самая неслыханная беда, какую только можно вообразить,— последовал ошеломляющий ответ.

Капитан, а с ним мистер Пэрлинг и мистер Симс приблизились к доктору и с ужасом воззрились на него. Даже рулевой, перегнувшись насколько мог, вытянул из-за штурвала шею, стараясь услышать, что будет дальше. Единственным незаинтересованным лицом из всех присутствующих был мистер Смолчайлд. Распорядок дня уже требовал его отхода ко сну, и теперь он мирно похрапывал подле своих галет и грудинки.

— Немедленно выкладывайте, в чем дело, Джолли! — нетерпеливо сказал капитан.

Доктор не внял его приказу. Внимание его было целиком сосредоточено на миссис Дрэбл.

— Вам стало легче, мэм? — тревожно спросил он.

— Но не легче на душе,— отвечала миссис Дрэбл и снова принялась хлопать себя по коленям.— Только еще тяжелее.

— Послушайте, миссис Дрэбл,— вкрадчиво уговаривал ее доктор.— Я задам вам несколько простых вопросов, и вы вспомните, как все произошло. Постепенно у вас все восстановится в памяти, если вы будете слушать внимательно. Возьмите себя в руки и не спеша подумайте, прежде чем ответить.

Миссис Дрэбл только кивнула в знак безмолвного по-

виновения и стала слушать. И все, кто был на юте, навострили уши, кроме равнодушного ко всему мистера Смолчайлда.

— Итак, мэм, наши хлопоты начались в каюте миссис Хэвисайдз, расположенной с правого борта, так?

— Так, сэр,— ответила миссис Дрэбл.

— Неплохо. И вот мы сновали взад-вперед из каюты миссис Хэвисайдз (правый борт) в каюту миссис Смолчайлд (левый борт), и наконец — так как миссис Хэвисайдз начала первой и неуклонно продолжала начатое, я сказал: «Миссис Дрэбл, получайте, вот вам превосходный малыш. Возьмите его!» Я был с правого борта, не правда ли?

— С правого, сэр, могу присягнуть,— ответствовала миссис Дрэбл.

— Хорошо. Стало быть: «Вот вам превосходный малыш,— сказал я,— возьмите его, мэм, запеленайте и уложите в колыбель». И вы его взяли, запеленали и уложили, не так ли? А где находилась колыбель?

— В салоне, сэр.

— Отлично. В салоне, потому что для нее не было места ни в одной из кают. И вы положили младенца с правого борта (то бишь Хэвисайдза) в стоявшую в салоне колыбель из старой бельевой корзины. Очень хорошо. Как стояла колыбель?

— Поперек киля.

— Поперек... Иными словами, одним боком к кормовой части корабля и другим — к носовой. Помните об этом, мэм, а теперь слушайте дальше... Ну, ну, никаких «не могу» и не говорите, что у вас голова идет кругом. Мой следующий вопрос поставит ее на место. Сосредоточьтесь на том, что произошло через полчаса. Не прошло и получаса, как вы снова услышали мой крик. А закричал я вот что: «Миссис Дрэбл, вот вам еще один превосходный малыш. Подите сюда и возьмите его». И вы пришли и взяли его из каюты с левого борта, так?

— С левого, сэр, не отрицаю.

— Хорошо и даже очень! «Вот вам еще один превосходный малыш,— стало быть, сказал я,— возьмите его, миссис Дрэбл, и уложите в колыбель рядом с номером первым». После чего вы взяли младенца с левого борта, то

бишь Смолчайлда, и уложили его с младенцем с правого борта, то бишь Хэвисайдзом. Ну и что же произошло дальше?

— Не спрашивайте меня, сэр! — воскликнула миссис Дрэбл, потеряв над собой власть и в отчаянии ломая руки.

— Спокойствие, мэм! Я растолкую вам все как по писаному. Спокойствие! Слушайте меня. Как только вы уложили младенца с левого борта, мне пришлось послать вас на правый борт, то бишь в каюту миссис Хэвисайдз, кое за чем, что требовалось мне на левом борту, то бишь в каюте миссис Смолчайлд, где я на некоторое время еще задержал вас. Потом я оставил вас и пошел в каюту миссис Хэвисайдз, откуда крикнул вам, чтобы вы принесли кое-что из каюты миссис Смолчайлд, но не успели вы дойти и до середины салона, как я сказал: «А впрочем, стойте! Я сам к вам приду!» Немедленно вслед за этим вас чем-то напугала миссис Смолчайлд, и вы сами побежали ко мне, а я перехватил вас в салоне и сказал: «Миссис Дрэбл, у вас ум за разум заходит. Сядьте и приведите в порядок ваши расстроенные умственные способности». И вы тут же сели и попытались это сделать...

— И не смогла, сэр! — вставила в скобках миссис Дрэбл.— О моя голова! Моя бедная голова!

— ...и попытались привести в порядок свои расстроенные умственные способности, но не смогли,— продолжал доктор.— И вот, когда я вышел из каюты миссис Смолчайлд, чтобы посмотреть, как у вас идут дела, я обнаружил, что вы, раскрыв рот и вцепившись обеими руками в волосы, стоите над водруженной на стол старой бельевой корзиной, уставившись на обоих младенцев. И когда я спросил: «Что-нибудь неладно с одним из этих славных мальчуганов?», вы схватили меня за лацкан и шепнули мне в правое ухо следующее: «Боже, спаси нас и помилуй! Мистер Джолли, я перепутала младенцев и теперь не знаю, кто из них кто».

— И не знаю до сих пор! — истерически выкрикнула миссис Дрэбл.— О моя голова, моя бедная голова! И не знаю до сих пор!

— Капитан Джиллоп, джентльмены! — круто повернувшись, со спокойствием отчаяния обратился к ним доктор-

тор Джолли.— Вот какого рода наше Злоключение, и если вы когда-либо слышали о более серьезном, я попрошу немедленно рассказать о нем, чтобы успокоить несчастную женщину.

Капитан Джиллоп посмотрел на мистера Пэрлинга и на мистера Симса. Мистер Пэрлинг и мистер Симс посмотрели на капитана Джиллопа. Все трое стояли словно громом пораженные — и было от чего!

— Неужели вы не можете в этом разобраться, Джолли? — спросил капитан, который первым пришел в себя.

— Если бы вы знали, каково мне пришлось внизу, вы бы не задавали подобных вопросов,— отвечал доктор.— Не забывайте, что на мне лежала ответственность за жизнь двух женщин и двух детей! Не забывайте, что я работал в этих страшно тесных каютах, где и повернуться невозможно, где при свете крошечных ламп я едва различал собственные руки! Не забывайте всех трудностей чисто профессионального характера — ведь пол каюты подо мной ходил ходуном, да еще в придачу нужно было успокаивать стюардессу! Попробуйте представить себе все это и потом скажите, откуда мне было взять время, чтобы сравнивать этих двух малышей вершок за вершком. Двух мальчиков, родившихся ночью, всего лишь через полчаса один после другого, на борту корабля в открытом море! Ха-ха! Могу только удивляться, что и матери, и новорожденные, и сам доктор — все пятеро — остались живы-здоровы.

— Неужели вам не бросилась в глаза какая-нибудь родинка, по которой их можно отличить? — спросил мистер Симс.

— Родинки эти должны были быть поистине гигантскими, иначе я не мог бы их заметить при том освещении, которое имелось у меня внизу, и при тех профессиональных трудностях, которые мне приходилось преодолевать. Я видел только, что оба — здоровые ребята, хорошего сложения.

— Достаточно ли оформились их младенческие черты, чтобы в них обнаружилось фамильное сходство? — осведомился мистер Пэрлинг.— Можно ли установить, похожи ли они на мать или на отца?

— У обоих светлые глаза и светлые волосы,— если говорить о тех, что имеются в наличии,— упорствовал доктор.— Вот и судите сами.

— У мистера Смолчайлда светлые глаза и светлые волосы,— заметил мистер Симс.

— И у Саймона Хэвисайдза тоже светлые глаза и светлые волосы,— присовокупил мистер Пэрлинг.

— Я бы посоветовал разбудить мистера Смолчайлда, послать за Хэвисайдзом, и пусть они бросят жребий,— предложил мистер Симс.

— Можно ли так бессердечно глумиться над отцовским чувством,— возразил мистер Пэрлинг.— Я бы посоветовал прибегнуть к Голосу Природы.

— Это еще что за штука, сэр? — с величайшим любопытством спросил капитан Джиллоп.

— Материнский инстинкт, сэр,— ответил мистер Пэрлинг.— Чутье матери.

— Вот, вот! — подхватил капитан.— Хорошая мысль. Ну, Джолли, что вы скажете насчет Голоса Природы?

Доктор досадливо отмахнулся. Он возобновил попытки восстановить память миссис Дрэбл, прибегнув к дилетантскому допросу, от чего миссис Дрэбл запуталась еще безнадежнее.

Не может ли она мысленно поставить колыбель на прежнее место? Нет. Не может ли она припомнить, с какой стороны колыбели она положила младенца с правого борта, то бишь Хэвисайдза, со стороны кормы или со стороны носа? Нет. Быть может, ей легче будет вспомнить это про младенца с левого борта, то бишь Смолчайлда? Нет. Зачем она, и без того уже запутавшись, поставила колыбель на стол и тем самым еще больше привела себя в расстройство? Потому что в этой страшной суматохе она вдруг сообразила, что не может вспомнить, кто из младенцев Хэвисайдз, а кто Смолчайлд; и ей конечно же захотелось осмотреть их как можно внимательней и распознать, кто из них кто, а распознать она не смогла, и не простит себе этого до гробовой доски, и пусть ее, жалкую тварь, лучше вышвырнут за борт... Так продолжалось до тех пор, пока силы дотошного доктора не иссякли окончательно, и тогда он отказался и от допроса и от попытки установить истину.

— Теперь остается только вопросить этот самый Голос Природы,— сказал капитан, крепко ухватившийся за идею мистера Пэрлинга.— Попробуйте, Джолли, а? Что вам стоит попробовать?

— Да, что-то необходимо предпринять,— сказал доктор.— Да и женщин нельзя так долго оставлять одних. Но как только я появлюсь, они немедленно попросят принести им детей. Побудьте здесь, миссис Дрэбл, пока не придете в себя, а тогда следуйте за мной. Голос Природы!..— презрительно фыркнул он, уже на ступеньках трапа.— Ладно, попробую, только мало будет от этого голоса проку, джентльмены, вот увидите.

Воспользовавшись ночным временем, доктор Джолли убавил в лампах свет до слабого мерцания под тем хитроумным предлогом, что он якобы вреден для глаз его пациенток. Затем он схватил первого попавшегося под руку младенца, отметил чернильным пятном его пеленку и понес к миссис Смолчайлд,— просто потому, что оказался в ту минуту ближе к ее каюте. Второго младенца (без пометы) миссис Дрэбл отнесла к Марте Хэвисайдз. На некоторое время новорожденных оставили у матерей. Затем по предписанию доктора детей забрали, потом снова отнесли матерям, с тою лишь разницей, что младенца с отметиной вручили теперь миссис Хэвисайдз, а младенца без отметины — миссис Смолчайлд. Оказалось, что при слабом освещении кают один младенец отлично сошел за другого и что Голос Природы, как и предвещал доктор Джолли, был совершенно не способен разрешить эту трудную задачу.

— Пока нам помогает ночь, капитан Джиллоп, мы справляемся отлично,— сообщил доктор после подробного отчета о провале эксперимента, предложенного мистером Пэрлингом.— Но до того, как наступит утро и между детьми обнаружится разница, нам следует разработать какой-нибудь план. Если у матерей появится хотя бы малейшее подозрение в том, как обстоит дело, нервное потрясение может привести к ужасным последствиям. Щадя их здоровье, мы вынуждены продолжать обман, пока они не окрепнут. Завтра мы должны выбрать ребенка для каждой из них и придерживаться сделанного выбора, пока женщины не встанут с постели. Вопрос в том, кто возь-

мет на себя такую ответственность. Я не из робкого десятка, но тут, признаться, робею.

— Я отказываюсь вмешиваться в это дело, на том основании, что я — лицо совершенно постороннее,— заявил мистер Симс.

— И я тоже отказываюсь по совершенно аналогичным мотивам,— присоединился мистер Пэрлинг, впервые за все время плавания соглашаясь с высказыванием, исходившим из уст его постоянного противника.

— Минутку внимания, джентльмены,— обратился к присутствующим капитан Джиллоп.— Похоже, что я сейчас помогу вам сняться с якоря. Мы должны выложить все начистоту обоим мужьям, пусть они и берут на себя ответственность.

— Я считаю, что они на это не пойдут,— заметил мистер Симс.

— А я считаю, что пойдут,— возразил мистер Пэрлинг, опять взявшись за старое.

— В таком случае,— решительно заявил капитан,— я хозяин на корабле и беру ответственность на себя, не будь я Томас Джиллоп!

Эта решительная декларация на время вывела всех из затруднительного положения, и тут же был созван совет для обсуждения дальнейшей процедуры. В конце концов было решено ничего не предпринимать до утра, ибо у всех еще теплилась слабая надежда, что несколько часов сна освежат память миссис Дрэбл. Младенцев решили убрать в салон, прежде чем забрезжит рассвет, иначе говоря, до того, как миссис Смолчайлд и миссис Хэвисайдз смогут как следует разглядеть детей, находившихся у них ночью. Мистеру Пэрлингу, мистеру Симсу и первому помощнику надлежало при сем присутствовать в качестве свидетелей, и вышеозначенная ассамблея должна была, ввиду неотложности дела, собраться в полном составе ровно в шесть часов утра.

Во исполнение этого решения, в шесть часов утра, при отличной погоде и попутном ветре, были предприняты дальнейшие процедурные действия. В последний раз мистер Джолли, при участии и под наблюдением свидетелей, подверг перекрестному допросу миссис Дрэбл. Однако от несчастной стюардессы ничего нельзя было

добиться. Доктор констатировал, что ее умственное расстройство приняло хроническую форму, а капитан и свидетели единодушно согласились с его диагнозом.

В качестве следующего эксперимента была предпринята попытка сообщить об истинном положении дел мужьям. Мистер Смолчайлд как раз в это время «сводил утренние счеты», и первыми членораздельными словами, которые он изрек в ответ, были: «Соленые галеты и анчоусы...» Дальнейшая попытка продолжить разговор вызвала с его стороны лишь настоятельную просьбу «немедля выбросить его за борт, а следом и обоих младенцев». Сделанное ему серьезное внушение увенчалось тем же успехом. «Делайте что хотите»,— еле слышно пробормотал мистер Смолчайлд. «Значит ли это, сэр, что вы предоставляете все полномочия мне, как командиру этого корабля?» — спросил капитан Джиллоп. Молчание. «Кивните в ответ, сэр, если вы не в состоянии говорить!» Мистер Смолчайлд покрутил головой на подушке и уснул. «Можно ли считать это утвердительным ответом?» — спросил капитан у свидетелей, на что те решительно заявили: «Да».

Затем ту же церемонию повторили с Саймоном Хэвисайдзом, который, как и подобало человеку мыслящему, выступил с контрпредложением, каковое, по его мнению, разрешало создавшиеся трудности.

— Капитан Джиллоп! — заявил плотник с изысканной и грустной учтивостью.— Джентльмены! Я бы хотел отдать в этом деле предпочтение мистеру Смолчайлду. Я охотно уступаю своего ребенка (любого из двух) и почтительнейше осмеливаюсь предложить, чтобы мистер Смолчайлд взял *обоих* и, таким образом, знал бы наверняка, что *его* сын находится при нем.

Единственным, кто немедленно возразил на это находчивое предложение, был доктор, который саркастически спросил Саймона, что, по его мнению, скажет на это миссис Хэвисайдз? Плотник признался, что упустил это обстоятельство из виду и что миссис Хэвисайдз, по всей вероятности, явится непреодолимой помехой к осуществлению его идеи. Свидетели были того же мнения, и тут же расстались как с самой идеей, так и с ее автором, после того как последний с благодарностью объявил,

что заранее полностью и охотно полагается во всем на капитана.

— Ну что ж, джентльмены,— сказал капитан Джиллоп.— Как командир корабля, я по степени ответственности стою на втором месте после обоих мужей. Я рассмотрел этот вопрос со всех румбов и готов приступить к его решению. Голос Природы, предложенный вами, мистер Пэрлинг, как видите, себя не оправдал. Разыграть младенцев, бросив жребий — ваше предложение, мистер Симс,— не совсем согласуется с моими представлениями о том, как решаются серьезные дела такого рода. Нет, господа! У меня свой план, и я собираюсь провести его в жизнь. Джентльмены, следуйте за мной в кладовую стюарда.

Свидетели в полном недоумении переглянулись и последовали за капитаном.

— Сондерс,— приказал капитан стюарду,— достаньте весы!

Это были обычные кухонные весы с жестяным лотком с одной стороны и крепкой железной планкой для гирь с другой. Сондерс поставил эти весы на маленький аккуратный столик, укрепленный на шаровом шарнире, чтобы во время качки не билась посуда.

— Постелите на весы чистую тряпку,— приказал капитан и, когда это было сделано, обратился к доктору.— Закройте двери спальных кают, чтобы женщины чего-нибудь не услышали, и будьте любезны доставить сюда обоих младенцев.

— О сэр! — воскликнула миссис Дрэбл, все время с видом преступницы взиравшая на эти приготовления.— Только оставьте в целости дорогих малюток. Если комунибудь надо пострадать, так пусть это лучше буду я!..

— Будьте добры, мэм, придержите язык! — оборвал ее капитан.— И покрепче держите его за зубами, если не хотите лишиться места. Если леди захотят увидеть своих детей, скажите, что вы принесете их через десять минут.

В этот миг вошел доктор и поставил на пол корзину-колыбель. Капитан Джиллоп немедленно вооружился очками и стал внимательно разглядывать лежавшие в ней невинные создания.

— Вот парочка, как два сапога, поди разберись,— заметил капитан.— Не вижу никакой разницы. Хотя, впрочем... Да, да! Один из них совсем лысый. Вот и отлично. Начнем с него. Доктор, разденьте лысого младенца и положите его на весы.

Лысый младенец выразил протест — на своем языке,— но тщетно. Две минуты спустя он уже лежал на жестяном лотке весов, предварительно прикрытом чистой тряпкой, чтобы предохранить дитя от простуды.

— Взвесьте его как можно точнее, Сондерс,— продолжал капитан.— Даже с точностью до восьмушки унции. Джентльмены! Попрошу полнейшего внимания: это процедура чрезвычайной важности!

Пока стюард взвешивал ребенка под наблюдением свидетелей, капитан Джиллоп попросил первого помощника принести судовой журнал, перо и чернила.

— Сколько, Сондерс? — спросил капитан, открывая журнал.

— Семь фунтов и одна унция с четвертью,— ответил стюард.

— Это точно, джентльмены? — продолжал капитан.

— Совершенно точно,— заверили свидетели.

— Лысый младенец, именуемый «номер один», вес — нетто — семь фунтов, одна унция с четвертью...— повторил капитан, делая запись в журнале.— Отлично! Теперь положим лысого обратно и примемся за волосатого.

Волосатый младенец в свою очередь тоже выразил протест — тоже на своем языке,— и тоже тщетно.

— Вес? — спросил капитан.

— Шесть фунтов, четырнадцать унций и три четверти,— ответил стюард.

— Точно, джентльмены?

— Совершенно точно,— подтвердили свидетели.

— Волосатый младенец, именуемый «номер два», вес — нетто — шесть фунтов, четырнадцать унций и три четверти...— повторил и записал капитан.— Весьма вам признателен, Джолли. Ну, вот и все. Когда вы положите второго ребенка в колыбель, скажите миссис Дрэбл, что их нельзя вынимать оттуда вплоть до особых распоряжений, а затем прошу подняться к нам. В случае если возникнут какие-нибудь дебаты, мы сможем быть спокойны,

что в спальных каютах нас не услышат.— С этими словами капитан Джиллоп возглавил процессию, выходившую на палубу, а следом за ним пошел первый помощник с судовым журналом, пером и чернилами.

— А теперь, джентльмены,— начал капитан Джиллоп, когда к собравшимся присоединился и доктор,— мы начнем слушанье дела с того, что первый помощник огласит запись в судовом журнале, сделанную мною со всем чувством ответственности к вверенной мне задаче. Если вы найдете, что запись в точности совпадает со сведениями о весе обоих младенцев, я попрошу вас тотчас же подписать ее в качестве свидетелей и очевидцев.

Первый помощник огласил запись, и свидетели подписались под нею, заверив, что она полностью соответствует действительности. После чего капитан Джиллоп прочистил горло и обратился к нетерпеливо ожидающим слушателям со следующими словами:

— Я думаю, джентльмены, все вы со мной согласитесь, что справедливость есть справедливость и что масть подбирается к масти. Вот, к примеру, мое судно водоизмещением в пятьсот тонн, стало быть, и рангоут у него поставлен соответствующий. Будь это, скажем, шхуна в полтораста тонн, так ведь среди вас, сухопутных, даже самый несведущий в морском деле человек не поставит на нее вот эти мачты. Или же наоборот, представим, к примеру, что наше судно — корабль Ост-Индской компании водоизмещением в тысячу тонн. Так разве же годится такой махине наш рангоут, хотя он, надо сказать, джентльмены, отменный? Понятно, не годится. Итак, джентльмены, всякому свое: шхуне — рангоут для шхуны, бригу — рангоут для брига, как полагается. Так вот и в нашем затруднительном деле я придерживаюсь того же принципа. И решение мое таково: пусть более тяжелый младенец будет отдан более тяжелой леди, а тот, что полегче, следовательно, достанется той, что полегче. Если погода не переменится, через неделю, мы, даст бог, войдем в порт, и если имеется лучший способ распутать эту путаницу, так пусть его отыскивают пасторы и юристы на берегу — и в добрый час!

Этими словами капитан закончил свою речь, а совет немедленно утвердил предложение капитана с единоду-

шием людей, не способных предложить взамен ничего более путного. Затем доктору Джолли, как единственно компетентному в данной области лицу, было предложено решить вопрос относительно веса миссис Хэвисайдз и миссис Смолчайлд, и он, ни минуты не колеблясь, решил его в пользу жены плотника на том непреложном основании, что из двух женщин она более высокая и полная. После чего лысого младенца, именуемого «номер один», отнесли в каюту миссис Хэвисайдз, тогда как волосатый, именуемый «номер два», достался миссис Смолчайлд. Причем и в том и в другом случае Голос Природы не выразил ни малейшего несогласия с принципом распределения детей, осуществленным капитаном. К семи часам доктор Джолли доложил, что обе матери и их сыновья — как правый борт, так и левый — чувствуют себя настолько хорошо, что дай бог любым четырем пассажирам на этом корабле так себя чувствовать. После этого капитан распустил Совет со следующим напутствием:

— Сейчас мы подымем лиселя, джентльмены, и постараемся как можно скорее прибыть в порт. Сондерс, через полчаса подать завтрак, да побольше и посытнее! Вряд ли злополучная миссис Дрэбл слышала, чем закончилось это дело, и мы все должны по возможности помочь ей прийти в себя. Что касается нас, то мы свое дело сделали. Теперь пусть им занимаются на берегу пасторы и юристы.

Но пасторы и юристы заниматься этим не стали — по той простой причине, что заниматься было нечем. Через десять дней, когда судно прибыло в порт, обеим матерям открыли всю правду. Каждая из них после десятидневного пребывания с выбранным для нее ребенком уже души в нем не чаяла, и каждая оказалась в положении миссис Дрэбл, не зная, кто же ее настоящий сын. Для установления истины испробовали всевозможные способы проверки. Во-первых, допросили доктора, который повторил лишь то, что ранее рассказал капитану. Во-вторых, попытались установить фамильное сходство, каковая попытка провалилась потому, что оба родителя имели светлые волосы, светлые глаза и римский нос,— и такой же цвет волос, глаз и полное отсутствие стоящих упомина-

ния носов объединяло их отпрысков. В-третьих, снова допросили миссис Дрэбл, но эта проверка началась и завершилась сердитыми возгласами, с одной стороны, и потоками слез — с другой. В-четвертых, попробовали вынести официальное судебное решение, но и это не увенчалось успехом из-за полного отсутствия прецедентов, которыми мог бы руководствоваться закон в подобного рода случаях. И наконец, в-пятых, попробовали обратиться к обоим мужьям, но и эта попытка установить истину потерпела фиаско, ибо они оказались совершенно несведущими в этом вопросе. Таким образом, варварский способ, примененный капитаном, остался в силе. И вот перед вами я — человек низкого происхождения, без гроша за душой.

Да, я тот самый лысый младенец. Излишек веса определил мою судьбу. Родители, не зная иного выхода, оставили у себя того ребенка, которого назначил им капитан. Мистер Смолчайлд, человек весьма оборотистый, когда его не мучила морская болезнь, нажил большое состояние. А Саймон Хэвисайдз продолжал увеличивать свое семейство и умер в работном доме. Судите сами, сказал бы мистер Джолли, как сложилась дальнейшая судьба младенцев, рожденных в море. Я, лысый младенец, ни разу больше не встречался с волосатым младенцем. Возможно, что он небольшого роста, как мистер Смолчайлд, но я слышал, что лицом он удивительно похож на покойного Хэвисайдза. Я же высок ростом, как плотник Хэвисайдз, но у меня глаза, волосы и выражение лица мистера Смолчайлда. Вот и разберись! В конце концов все сводится к одному: Смолчайлд-младший преуспевает, потому что он весил шесть фунтов и четырнадцать унций с тремя четвертями. Хэвисайдз-младший прозябает, потому что весил семь фунтов и одну унцию с четвертью. Вот к чему все это привело. И если только короста грязи даст мистеру Отшельнику такую возможность, я советую ему покраснеть от стыда за свое горе, каково бы оно ни было. А что касается мистера Путника, то если у него найдется лишняя монета, то я не сочту для себя унижением принять ее... На этом я покидаю вас, джентльмены, предоставив вам возможность самим решить ваш спор.

ГЛАВА ПЯТАЯ,
в которой мы находим сафьяновый бумажник

После того как удалился последний рассказчик, во двор мистера Сплина в течение дня заглянуло еще несколько человек, однако, несмотря на всю изобретательность Путника, кроме сведений о профессии (если таковая вообще имелась), откуда они явились и куда следуют, от них ничего нельзя было добиться. Но даже если они ничего не могли рассказать о себе, то и не могли ничего сказать в пользу мистера Сплина-Отшельника, поэтому даже их появлению Путник был рад. Некоторые из многочисленных посетителей приходили с определенной целью, побуждаемые любопытством; некоторые — случайно, желая просто взглянуть на столь уединенное место; многие же бывали здесь не раз и являлись, чтобы пропустить стаканчик и разжиться медяком. Эти завсегдатаи были явно из числа бродяг-попрошаек, и как только они удалялись, Путник всякий раз хладнокровно повторял: «Вот извольте — как я уже говорил, это и есть одно из явлений Скверны».

Любого, кто бы ни заходил во двор и для кого закутанная в одеяло фигура была в диковинку, Путник встречал так, словно взял на себя роль хозяина балагана. Указывая на «нашего друга, вон там, за решеткой», он, не вдаваясь в подробности, дабы его беспристрастие не вызвало сомнений, просил посетителя оказать любезность «нашему другу, вон там, за решеткой» и поделиться своим житейским опытом или рассказом о живом и кипучем мире. В ответ на это предложение некий смуглый джентльмен средних лет с красивыми живыми глазами, с лицом решительным и энергичным (он нарочно прибыл из города, где проходила сессия суда присяжных, чтобы взглянуть на нечто, обретающееся в золе и пепле), рассказал следующее.

Служебные часы подошли к концу, наши соломенные шляпы были уже сняты с крючков, конторские книги захлопнуты, бумаги убраны, столы закрыты, работа кончилась, когда ко мне бочком подошел седовласый кассир.

— Мистер Уолфорд, прошу вас задержаться на минутку. Не угодно ли вам пройти туда? Фирма желает поговорить с вами.

Старый Джоб Вигинтон всегда называл своих хозяев собирательно — «фирма». Они, «Сполдинг и Хаусерман», были священными существами в его глазах, и он служил им четверть века с неизменной преданностью и почтением. Джоб Вигинтон, как я и как старший компаньон этого крупного торгового дома, был чистокровный англичанин. В течение двадцати лет он вел счетные книги Сполдинга и Хаусермана в Филадельфии и охотно последовал за своими хозяевами в Калифорнию, когда те пять лет назад решили обосноваться в Сан-Франциско. Младшие служащие, по большей части французы или американцы, склонны были посмеиваться над честным старым кассиром, мы же с ним были добрыми друзьями в течение четырех лет моей службы, и я всегда питал чувство искреннего уважения к исключительным достоинствам почтенного старца. Однако теперь, по причине, которую я вам сейчас объясню, я был немало удивлен этим сообщением, высказанным в характерной для мистера Вигинтона суховатой манере.

— Фирма хочет меня видеть? — пробормотал я, предательски покраснев. Старина Джоб утвердительно кивнул головой, кашлянул и старательно протер свои очки в золотой оправе. Несмотря на всю мою растерянность, я заметил, что кассир чем-то подавлен и расстроен: голос его был хриплый, рука, протиравшая очки, дрожала, а в больших голубых глазах виднелась подозрительная влага. Следуя за Джобом в соседнее помещение, где обычно занимались делами компаньоны, я ломал голову над тем, что может означать этот неожиданный вызов. Раньше я был в самых лучших и сердечных отношениях с моими хозяевами, но последние три месяца отношения эти сводились к чисто деловым и официальным, в особенности со старшим компаньоном. Отнюдь не потому, что я совершил что-нибудь предосудительное, изменившее их доброе мнение обо мне. Хозяева мои относились ко мне с тем же уважением и доверием, как и раньше, и все же наступил конец если не дружбе, то, во всяком случае, искренней и сердечной привязанности. Это отчуждение началось с

того дня, когда я, стоя рядом с зардевшейся, улыбающейся сквозь слезы Эммой Сполдинг, решился открыть богатому коммерсанту, что люблю его единственную дочь и что любовь моя взаимна. Словом, это была старая-престарая история. Мы, молодые люди одной национальности и вероисповедания, с одинаковыми вкусами и воспитанные в одном духе, во всех отношениях, кроме богатства, были не такой уж плохой парой. К тому же мы находились вместе в чужой стране, среди чужеземцев. Сами обстоятельства сблизили нас, мы читали вместе стихи, пели дуэтом и прочее — ведь у Эммы не было матери, которая ограждала бы ее от бедных женихов, а мистер Сполдинг был человеком гордым и не склонным к подозрительности. И, таким образом, мы скользили — подобно миллионам юных пар в прошлом и в будущем — по гладкой, усеянной розами тропе, ведущей от дружбы к любви. В одном я уверен: не богатство моего хозяина и не виды на наследство Эммы после смерти отца, имевшего всего двоих детей, сына и дочь, между которыми он собирался разделить накопленное им безупречным трудом состояние,— привлекали меня. Однако настало время, когда ласковые слова и любящие взгляды сменились признаниями в нежных чувствах. Поддавшись порыву, я объяснился с Эммой, но, перейдя рубикон, тотчас лишился покоя, попав во власть неожиданно нахлынувших мучительных сомнений. Что подумает обо мне мистер Сполдинг? А что может он подумать о бедном клерке, не имеющем никаких средств, кроме жалких сбережений, который осмелился добиться любви дочери своего хозяина? Решение было для меня очевидным. Я должен рассказать ему всю правду, чего бы мне это ни стоило.

Так я и сделал. Признание было ускорено каким-то случайным непредвиденным обстоятельством, так же как и мое предложение Эмме, но теперь по крайней мере совесть моя была чиста. Следует отдать должное мистеру Сполдингу — он отказал мне вежливо и тактично, настолько щадя мое достоинство, насколько это допускала столь болезненная операция. Как бы то ни было, я удалился, уязвленный в самое сердце и глубоко несчастный, и много дней после этого помышлял о том, чтобы скрыться от людских глаз, стать отшельником, замкнуться в оди-

ночестве и вести угрюмую, безрадостную жизнь. Но какой-то голос, в самой глубине души, предостерегал меня против этого, доказывая, насколько ничтожно подобное бессмысленное существование и как жалок человек, в нем погрязший. Вот как случилось, что я перестал посещать моего патрона в качестве его личного друга, но продолжал оставаться у него на службе.

Проявил ли я малодушие, придя к такому решению? Не берусь отвечать на столь деликатный вопрос, но знаю, что моральная победа, которую я одержал над самим собой, придала мне силы и как-то смягчила горечь моего разочарования в самых заветных мечтах тем, что я мог все еще дышать одним воздухом с Эммой Сполдинг, все еще мимолетно видеть ее милое печальное лицо (правда, лишь по дороге в церковь), хотя за три бесконечных месяца мы не обменялись ни словом.

Вот почему я был немало удивлен, когда Джоб Вигинтон вызвал меня пред лицо «фирмы». Сердце у меня так и колотилось, когда старый кассир поворачивал ручку двери. Что нужно от меня мистеру Сполдингу? Я сдержал слово, которое он вынудил меня дать, я воздерживался от попыток повидаться с Эммой, от какой-либо недозволенной переписки с нею. Не станет же он вызывать меня лишь затем, чтобы сообщить, что отвергнутый претендент на руку его дочери нежелателен даже в качестве служащего и что поэтому наши отношения должны быть прерваны!

В большей из двух смежных комнат, а именно в комнате, отделанной в испанском стиле тисненой и золоченой кожей и обставленной тяжелой мебелью гондурасского красного дерева, я увидел «всю фирму». Мистер Сполдинг, высокий, худой, седовласый джентльмен, в волнении расхаживал по кабинету. Мистер Хаусерман, немец, о чем говорила и его фамилия, сидел у стола, заваленного бумагами и время от времени издавал гортанные растерянные возгласы, с выражением полного недоумения на округлом розовом лице. Кассир вошел вместе со мной и закрыл дверь.

— Ach, mein Himmel! [1]— пробормотал младший ком-

---

[1] О небо! *(нем.)*

паньон, крепкий, дородный человек, но куда более слабый телом и душой по сравнению с энергичным главой фирмы.— Ах! Лучше пы нам софсем не ротиться, тшем тошить то такой шисни!

Джоб Вигинтон сочувственно охнул. Я быстро сообразил, что произошло нечто неладное, и так же быстро понял, что это таинственное «нечто» не имеет прямого отношения к моей дерзкой попытке завоевать сердце Эммы Сполдинг. Что же случилось? Существует только один вызывающий трепет призрак, который вечно преследует воображение самых смекалистых служащих коммерческих фирм,— Банкротство. Но эта фирма была настолько солидна, настолько верна своему курсу и устойчива, она столь скромно следовала по стародавнему руслу в том духе, как это принято в Старом Свете, что порой даже служила предметом насмешек для прочих скороспелых фирм, которые как грибы ежедневно вырастали и лопались вокруг нас. Но долго раздумывать над этим мне было некогда, потому что мистер Сполдинг остановился, порывисто подошел ко мне и взял меня за руки.

— Джордж Уолфорд,— произнес старый коммерсант, и в лице и в голосе его было гораздо больше чувств, чем он когда-либо выказывал...— Я жестоко обошелся с вами недавно. Вы были мне хорошим другом до... до...— тут он покраснел и умолк.

Я взглянул на мистера Хаусермана, но толстяк, бормотавший отрывочные фразы на родном языке, выглядел таким беспомощным, что от него нечего было ждать объяснений. Поэтому я постарался ответить мистеру Сполдингу по возможности самым твердым голосом, что, как я надеюсь, наше взаимное уважение сохранилось и что я по-прежнему считаю себя преданным другом ему и его близким и буду рад доказать это на деле.

— Так я и думал... Так я и думал,— произнес коммерсант, и на миг довольная улыбка озарила его лицо.— Вы славный малый, Джордж, вот почему в трудную минуту я обращаюсь к вам за помощью, я, бездушный и непреклонный человек, каким показался вам в тот день... когда... Ну, да не стоит об этом!

— Я перфый так и скасал,— воскликнул мистер Хаусерман.— Пософем Шорша Уолфорта, вот што я скасал.

У нефо есть смекалка, он есть отшень корошпй молотой шеловек.

Прожив четверть века среди англосаксов, мистер Хаусерман так и не научился правильному английскому произношению. Да иначе и быть не могло, потому что вне стен конторы он все свое время проводил в обществе таких же тевтонов, наводнивших всю Америку, с которыми он мог услаждать себя беседой на немецком языке, рейнвейном и черным кофе, точь-в-точь как на родине. Я никогда не подошел бы к описанию конца нашей встречи, если бы стал дословно передавать все возгласы на ломаном языке и все неопределенные замечания младшего компаньона, как и комментарии Джоба Вигинтона. Преданный кассир переживал беду своих хозяев, как верный пес, и, не более чем последний, способен был дать практический совет. Мистер Вигинтон заслуживал всяческого доверия, он умел держать язык за зубами и был чист как слеза, но все же представлял собою всего лишь простую машину для подсчитывания выручки, подведения баланса и запирания сейфов. Мистер Хаусерман был не многим умнее кассира, он был поразительно силен в арифметике, мог обнаружить ошибку в полпенни, там где дело касалось миллиардов, и обладал великолепным почерком. Но при всех этих достоинствах он завоевал свое положение в коммерции отнюдь не в силу способностей, а благодаря полученным в наследство флоринам, а также благодаря талантам и деловым качествам своего английского компаньона, из уст которого я и услышал следующее.

У мистера Сполдинга, как я уже сказал, было двое детей — Эмма и ее брат Адольф. Жена его умерла при переезде из Филадельфии, и вся его любовь сосредоточилась на сыне и дочери. К несчастью, сын у него оказался неудачным, это был необузданный и взбалмошный молодой человек; он проматывал карманные деньги, на которые отец не скупился, в карты и на бегах. Мистер Сполдинг, суровый и строгий, когда дело касалось всех остальных, с сыном был мягок и снисходителен. Молодой человек, очень красивый и приятный в обхождении, был любимцем покойной матери, и отец, в память о ней, относился к сыну терпеливо и снисходительно. А тот опускался все ниже и ниже; он погряз в долгах и в дурном обществе,

редко показывался дома и серьезно подорвал свое здоровье беспутной жизнью. Обо всем этом я уже знал, ибо Адольф числился служащим фирмы, во всяком случае номинально, потому что очень редко появлялся за своим столом. Но зато я не знал, что Адольф Сполдинг, стремясь избавиться от бесчисленных долгов чести, решился обокрасть своего отца. Он подделал подписи Сполдинга и Хаусермана на чеке в тридцать тысяч долларов, который он намеревался предъявить нашим банкирам в Нью-Йорке. Более того, он похитил из отцовского бюро сафьяновый бумажник, в котором находились векселя и ценные бумаги на крупную сумму, и передал их в руки того же подлого сообщника, который взялся предъявить чек к уплате в нью-йоркском банке.

— Негодяй уже отправился на север. Он уехал в прошлый вторник через Панаму, с пакетботом,— сказал мистер Сполдинг.— Вы наверное слышали об этом человеке, потому что он был известен в нашем городе — это Джорэм Хэклер.

— Доктор Джорэм Хэклер! — воскликнул я, мысленно увидев перед собой смуглое, умное лицо молодого человека, любезного, с хорошими манерами, бывшего помощника редактора одной из сан-францисских газет.

— Да, доктор или же полковник Хэклер,— отозвался мистер Сполдинг с горькой усмешкой.— Оказывается, по дороге на север он произвел себя в этот чин. Он имеет огромное влияние на моего заблудшего сына, именно по его наущению и была совершена эта гнусная кража, и я не сомневаюсь, что он намеревается присвоить себе всю добычу.

Я осведомился у мистера Сполдинга, по возможности деликатнее, каким образом он получил эти сведения.

Оказалось, что Адольф, успев изрядно подорвать свое здоровье бурной жизнью, не смог выдержать сильного возбуждения, вызванного совершенным им поступком, и свалился в горячке сразу же после отъезда своего сообщника.

— Несчастный мальчик лежит в постели наверху, борясь со смертью,— пояснил отец дрожащим голосом,— и в бреду он признался в своем проступке. Его сестра, которая сидела у постели, точно ангел-хранитель, да она и есть ангел, моя дорогая крошка, была в ужасе от того,

что́ он кричал в бреду, терзаемый укорами совести. Она позвала меня, и я собственными ушами слышал, как сын, которым я так гордился, мой несчастный мальчик, рассказал, как он обманул и ограбил меня.

Старый коммерсант, шатаясь, добрел до стула, и я увидел, как по рукам, которыми он пытался прикрыть страдание, исказившее его морщинистое лицо, потекли слезы.

Через некоторое время он несколько овладел собой и изложил свой план, в котором проявились присущие ему решительность и сила характера. Прежде всего необходимо спасти честь фирмы. Денежная потеря (хотя сумма довольно значительна) — пустяк по сравнению с позором, потерей кредита, пятном на имени Сполдингов. Да, да, любой ценой нужно добиться, чтобы постыдный поступок молодого человека не получил огласки. Чек не должен быть предъявлен, векселя не должны быть оплачены. Но как помешать совратителю воспользоваться столь коварно захваченной добычей? Он уехал — он спешит в Нью-Йорк кратчайшим путем через Панаму, и через несколько недель будет там. Преследовать его бесполезно. Ожидание следующего почтового может оказаться роковым. Тут я вспомнил о Пони-Экспресс, скорой трансконтинентальной почте, с помощью которой жители Калифорнии могли быстро сообщаться с цивилизованным миром, и предложил это средство.

Мистер Сполдинг покачал головой.

— Нет, только не это. Я, конечно, могу послать депешу, чтобы приостановить выплату чека, могу даже добиться ареста Хэклера, как только он появится в Нью-Йорке, но тогда начнется следствие, пойдут слухи, возникнут подозрения, и вся эта грязная история через неделю появится в газетах! У меня только одна надежда, одна возможность: я должен послать верного человека — сам я слишком стар для этого,— и этот верный человек должен отправиться как можно скорее в Нью-Йорк опасной дорогой через Скалистые горы, явиться туда раньше Хэклера и либо силой, либо хитростью завладеть бумагами. Джордж Уолфорд, вы тот человек, на котором я остановил свой выбор.

— Я, сэр?

Я был ошеломлен. Перед моим умственным взором, словно панорама, возник длинный путь, тогда еще только проложенный, путь, пересекающий весь громадный континент от океана до океана, путь, полный опасностей. Все, что я слышал или читал о путешествиях через прерии, о голоде, пожарах, диких зверях и еще более безжалостных людях,— все это сразу всплыло в моей памяти. Я подумал об огромных расстояниях, невероятных трудностях, требующих нечеловеческих усилий, о ледяном барьере, воздвигнутом Скалистыми горами, дабы преградить продвижение дерзкого Человека, и хотя я не слабее духом, чем мои ближние, на лице моем, вероятно, отразились страх и смятение. Так оно наверняка и было, потому что мистер Хаусерман простонал:

— Donner! [1] Што ше нам теперь телать?

— Уолфорд! — произнес мистер Сполдинг.— Я не хочу лицемерить. Я прошу вас решиться на дело, заведомо связанное с громадным напряжением, лишениями и опасностями. Я прошу вас рискнуть своей жизнью ради чести фирмы и моего семейства. Я бы не отважился на подобную просьбу, не имея в виду соответствующей награды. Выслушайте меня! Я не предлагаю вам за эту услугу денег. Возвращайтесь с успехом — и вы станете компаньоном в фирме «Сполдинг и Хаусерман». А если вы с Эммой все еще питаете те же чувства, что и три месяца назад, то...

Трепеща от радости, я перебил своего хозяина:

— Я отправлюсь, сэр, с величайшей охотой и готовностью!

— О храпрый мальтшик! Я снал, што он сокласится! — воскликнул немец, а кассир радостно потер руки.

— Когда вы будете готовы к отъезду? — осведомился мистер Сполдинг.

— Немедленно. Через полчаса, если вам угодно.

— Можно и через час,— произнес мистер Сполдинг, улыбаясь при виде моей горячности.— К этому времени Бодессон подаст экипаж с самыми лучшими лошадьми. Старайтесь беречь силы для прерий. Я знаю, у вас есть шестизарядный револьвер, возьмите только самое необ-

---

[1] Черт подери! *(нем.)*

ходимое. Вы получите достаточную сумму денег — можете тратить их свободно и щедро, не жалейте ни лошадей, ни золота. Я отдал бы половину своего состояния, лишь бы вы поскорее очутились на мощеных улицах Нью-Йорка. Вы, можно сказать, настоящий полномочный посол, Джордж, и только ваши ум и отвага помогут вам достичь цели. А теперь собирайтесь в дорогу.

Я медлил.

— Что-нибудь еще? — спросил мистер Сполдинг с благодушной улыбкой.

— Не могу ли я поговорить минутку — один только миг! — с мисс Сполдинг?

— Она сейчас у постели брата,— торопливо откликнулся престарелый джентльмен.— Но... да, вы правы. Вы непременно повидаетесь перед отъездом.

Мне казалось, что я очутился у себя дома в один прыжок. За десять минут я лихорадочно собрал свои пожитки — просто поразительно, сколько человек способен сделать за десять минут, когда он испытывает душевный подъем,— зарядил револьвер, уложил кое-что в небольшой саквояж и, как борзая, помчался обратно. Мистер Сполдинг дал мне еще более подробные инструкции и вручил тяжелый сверток с золотом и серебром, а также толстую пачку ассигнаций. Ассигнации я должен был приберечь для цивилизованного мира, а в глуши мне оставалась единственная надежда — подкупить полудиких обитателей Запада звонкой монетой. Мистер Сполдинг еще беседовал со мной, когда Бодессон, один из главных извозопромышленников Сан-Франциско, подал к дверям отличную пару испанских лошадей. Тогда мистер Сполдинг поднялся наверх и вернулся с дочерью. Милая Эмма! Как она побледнела и похудела! Но глаза ее были все такими же сияющими и любящими, а слова, полные надежды и преданности, вдохнули в меня еще больше смелости и решимости добиться своего или умереть. Прощание наше было очень кратким. Торопливый шепот — страстное подтверждение прежних клятв и заверений,— на единый миг я заключил ее в объятья и поцеловал в щеку, а в следующий — уже кинулся к экипажу. Я сел рядом с Бодессоном — кнут щелкнул, взмыленные лошади рванулись по улице, я оглянулся и послал прощальный

привет мистеру Сполдингу и Эмме, махающей платком. Затем мы завернули за угол и понеслись по дороге.

Бодессону хорошо заплатили, и он гнал горячих лошадей не одну милю подряд. Путешествие мое начиналось благополучно и с добрыми предзнаменованиями. Душа моя была полна надежды. Жизнерадостный француз-креол, сидящий рядом со мной, был веселым спутником, он пел канадские песни, насвистывал, весело понукал гнедых и беспрерывно болтал.

— Мсье собрался в прерии! О, très bien! Прерии — это ошéнь interessantes! Ошéнь, ошéнь! Но мсье надо быть осторожным и не отказываться от охраны, иначе les sauvages, свирепые индейцы снимут с мсье cheveux[1], или, как вы называете, скальп!

И так без устали. Он думал, что я отправляюсь по делам в Солт-Лейк-Сити, и даже не сомневался, что дальше я последую с караваном под охраной драгун. Интересно, что бы он сказал, узнав, что я собираюсь пересечь этот голодный и опасный край *один?*

Мое путешествие к восточным границам Калифорнии было не столь примечательным, чтобы останавливаться на нем подробно. Я тратил деньги щедрой рукой и мог почти непрерывно двигаться в более или менее сносных колясках, причем ухитрялся ехать довольно быстро по самым скверным дорогам. Спал я в экипажах ночью, урывками погружаясь в дрему, прерываемую качкой и тряской. Порою и звон монеты не мог склонить мексиканских или американских кучеров отправиться ночью по каменистой дороге, и тогда я восстанавливал свои силы более длительным отдыхом, готовый с рассветом мчаться дальше. Я хорошо знал, что меня ждет впереди, и знал, что эта усталость — детская игра по сравнению с дальнейшим. Я уже бывал в прериях, по крайней мере в тех, что лежат к востоку от Скалистых гор. Мистер Сполдинг был уверен, что я хороший наездник, мастерски владею огнестрельным оружием и обладаю отменным здоровьем. Эти качества вообще-то не присущи клерку, но я и вырос не для конторского стола. Мой отец считался довольно богатым человеком, но после его смерти я, в силу затруднительных

---

[1] Очень хорошо! Интересно! Дикари, волосы *(франц.)*.

обстоятельств, вынужден был сам бороться с нуждой. В Оксфорде я держал охотничьих собак и был страстным любителем охоты. Я привык к тяжелым физическим упражнениям, и теперь мои мускулы и выносливость должны были сослужить мне службу. Я отнюдь не обольщал себя, отлично сознавая, что отважился на предприятие, полное риска. Я мог умереть с голоду в пустыне, где белели кости бесчисленных переселенцев. Я мог погибнуть мучительной смертью во время пожаров, которые порою огненными змеями проносятся по бескрайнему морю трав. И если мой скальп не закоптится в дыму какого-нибудь индейского вигвама, то лихорадка или просто потеря сил оборвут мою жизнь и все мои надежды. А что, если я доберусь до Нью-Йорка слишком поздно?! Меня все время терзала мысль о том, что Джорэм Хэклер спешит на север на борту быстроходного пакетбота. И я даже начинал колотить ногой в пол неуклюжей почтовой кареты, точно мог этим ускорить свое продвижение. Как я молил небо, чтобы неблагоприятный ветер задержал пакетбот на его пути из Аспинуолла в Нью-Йорк!

Добравшись до Карсон-Сити, находящегося на самой границе прерий, я дал себе небольшой отдых, чтобы подготовиться к предстоящему многотрудному переходу. Я отлично знал, что самый опасный и тяжелый участок пути лежит между Калифорнией и поселениями мормонов *. И, только выбравшись с территории Юта *, я мог считать себя в безопасности от стрел и томагавков дикарей. В Карсоне я увидел множество возвращающихся назад переселенцев, золотоискателей, везущих свою добычу в Восточные Штаты, обращенных мормонов и торговцев, распродавших содержимое своих фургонов на рынках Калифорнии. Все эти люди ожидали очередного конвоя драгун, под охраной которого они следовали дальше. Для меня было невозможно двигаться так медленно, и я сразу же закупил мешок вяленого мяса, мешок поджаренной кукурузы, несколько одеял и прочих вещей, а также сильную лошадь с красивой сбруей и мексиканским седлом. Последнюю я купил у лошадника-американца, которого страшно забавляла сама мысль о том, что я собираюсь в одиночку пересечь прерии. «Что и говорить, мистер, нрав у вас решительный,— сказал он.— Все это хорошо, только

сдается мне, оно бы лучше еще раз на этот счет пораскинуть мозгами. А то охотники за скальпами сдерут с вас шевелюру, это уж как пить дать. Не верите мне? Что ж, ступайте потолкуйте с другими!» И он потащил меня к какому-то трактиру, у крыльца которого толпилось множество мужчин и женщин, французов, испанцев, немцев, янки и мулатов, которые стояли сгрудившись вокруг долговязого темноволосого парня в полувоенной форменной одежде, по которой его можно было принять за полицейского, если бы не красная фланелевая рубаха и мексиканское сомбреро. У этого человека были тонкие подвижные черты лица, и видно было, что тяжелая работа на свежем воздухе в любую погоду превратила его тело в сплошные мускулы. На нем были сапоги со шпорами и обшитые кожей штаны, в руках хлыст, которым он пощелкивал, весело болтая с толпой, встречавшей смехом каждую его шутку — очевидно, он был тут любимцем. Это был один из почтальонов «Пони-Экспресс», дожидавшийся почты, которую вот-вот должен был привезти курьер из Сан-Франциско.

— Так-то, полковник, так-то, красотки,— услышал я его слова.— Прямо скажу, жалко, конечно, покидать вас, но служба — она служба, не так ли? Если индейцы не сковырнут меня...

— Тебя, Сим? Возьмешь тебя голыми руками! — восторженно кричал один из его приятелей.

— Скажешь тоже,— скромничал Сим, хотя хвастливый огонек так и сверкал в его беспокойных глазах.— Эти бестии уже пытались раз-другой добраться до Сима Грайндрода, да только узнали, что об такой орешек зубы обломаешь. Если уж парень родом из Кентукки, а там у нас народ крепкий, так не больно-то легко с него скальп содрать... К вашим услугам, сударь!

Взгляд его остановился на мне.

— Сим! — завопил лошадник.— Этот джентльмен собирается пересечь прерии в одиночку, будто по Бродвею прогуляться. Что ты скажешь на это?

Вокруг захохотали. Сим с притворным почтением снял шляпу.

— Ого-го! — воскликнул он.— А пороху-то сколько у этих городских франтов! А змеи, мистер, это вам что? Да и удобств там для благородной публики не припасли.

Гляди, лошадь у вас угонят или койоты ее задерут, а сами заблудитесь да помрете без обеда, если только не наскочите на индейцев. А уж если наскочите — помяни, господи, царя Давида!..

Многие сочли бы это за явную насмешку, но я слишком хорошо знал характер американцев, чтобы рассердиться. Сим, очевидно, принял меня за самоуверенного горожанина, который безрассудно лезет прямо в пасть ко льву, и добродушно пытался охладить мой пыл. С некоторым трудом мне удалось отвести его в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз. Я рассказал ему, что еду в Восточные Штаты по неотложному делу и что если он мне поможет, то я щедро заплачу ему за оказанную услугу. Я подумал, что если мне удастся воспользоваться сменными лошадьми, которые на каждой почтовой станции ожидают верховых почтальонов, то я смогу с большой скоростью проделать часть пути. Но Сим, по натуре человек незлой, тут же развеял мою надежду в прах. Подобная сделка, заявил он, «не по правилам». Служащие «Пони-Экспресс» не смеют на это идти. И думать нечего. Ждите каравана.

Я не стал ждать каравана и выехал в тот же день. Когда я ехал по длинной извилистой улице Карсона, люди провожали меня полуироническими напутствиями, а лошадник-янки качал головой и кривил рот, словно считал меня человеком конченым.

Какой прок сидеть сложа руки! Я решительно двинулся в путь. Ехал я на сильной лошади — кентуккийских или тенессийских кровей,— которую потом рассчитывал продать за большие деньги на западной границе прерий. Дорогу при дневном свете найти было нетрудно. Я скакал по широкой тропе, проложенной бесчисленными фургонами и вьючным скотом. У меня был компас, но пользоваться им не приходилось. Так, миля за милей, за день я проскакал немалое расстояние. Кое-где, следуя меж разветвлявшихся речушек — притоков Карсона, я выезжал к фермам, где без труда находил корм для лошади и пищу для себя. Я принял два решения: первое — по возможности экономить мой небольшой запас вяленого мяса, и второе — отказываться от гостеприимно предлагаемого виски, ибо считал, что в таком трудном путешествии

нужно обходиться только водой. Так я проехал весь день с небольшими передышками, выжимая из моего утомившегося скакуна все, на что он был способен, и двигался по тропе до тех пор, пока светила луна. Затем, с наступлением темноты, я спешился, снял с коня седло и поводья, стреножил его и привязал так, чтобы он мог пастись. Затем я лег, завернулся в одеяла, подложил под голову седло и крепко уснул, держа оружие наготове.

Вдруг глубокой темной ночью я проснулся, не сразу сообразив, где нахожусь. Лошадь моя была неспокойна, и ее резкие движения разбудили меня. Я услышал в высокой траве шорох, царапанье, легкие шаги в зарослях, какие-то скулящие звуки, точно подвыванье голодных собак, почуявших пищу. Собаки? Какие там собаки! Волки! И лошадь, от которой зависела моя жизнь, дрожала и лоснилась от испарины. Я не развел костра из опасения, что свет привлечет какую-нибудь бродячую шайку дикарей, зато теперь нас окружили койоты, которые слетелись точно мухи на мед. За себя я не боялся: американский волк нисколько не похож на «серого злодея» германских лесов или пиренейских снегов. Но мой бедный скакун, уставший после долгой и утомительной скачки, был в опасности, и колотившая его дрожь еще больше его изматывала. Я встал и принялся искать топливо. К счастью, я находился еще в богатом влагой краю, с кустарниками и подлесками, где гигантские тополя вздымали свои величественные стволы по берегам ручьев. Вскоре я наткнулся на кустарник и, нарубив острым тяжелым ножом целую охапку сучьев, вернулся с ними назад, расчистил небольшой участок от травы, которая была довольно высока и легко могла вспыхнуть. Потом я достал жестяную коробку со спичками и развел костер, хотя это и было не так-то просто из-за обильной росы, большими каплями сверкавшей на кустах и траве, а отсыревшее дерево только исходило клубами едкого и черного дыма, прежде чем я добился, чтобы почерневшие головни разгорелись жарким пламенем. Все это время я то и дело испускал устрашающие крики, бренчал жестяной кружкой о ствол револьвера, чтобы отпугивать койотов; к тому же еще приходилось ласково похлопывать и успокаивать бедную лошадь, которая так натягивала привязь, что в любой момент могла

ее порвать. Наконец, к моей великой радости, запылал яркий и веселый огонь, его пляшущие отблески осветили небольшой кусок прерии, и вблизи, на самом краю освещенного пространства, я увидел крадущихся койотов, самых мелких и трусливых, но зато и самых коварных из американских волков. Неожиданно я швырнул горящую головню в гущу стаи, и койоты тотчас скрылись во тьме, но еще с полчаса я мог слышать их обиженный вой, который становился все тише и тише, пока совсем не заглох вдали. Как только волки исчезли, лошадь успокоилась, и через час я мог вернуться к моей постели и прерванному сну, предварительно подкинув в огонь новую охапку сучьев. Спустя некоторое время я проснулся от сильного холода. Я открыл глаза. Костер потух, угли багровели и один за другим угасали. Над головой виднелось блеклое небо и бесконечная россыпь звезд с тем тусклым и слабым мерцанием, которое возвещает рассвет. Было очень холодно. В воздухе слышался какой-то посвист, трава металась во все стороны. Дул сильный ветер — северный! Это был первый порыв холодного северного ветра, ежегодно налетающего с концом гнилой погоды на юге. Он нес с собой пронизывающий леденящий холод с полярных льдов и Скалистых гор, но я радостно приветствовал его, вспомнив, что он будет дуть как раз в лоб почтовому пароходу, рассекающему воды Мексиканского залива и несущему на борту Джорэма Хэклера и его добычу. Есть еще шанс обогнать его!

А ветер все крепчал; он переходил уже в ураган, и я ежился, несмотря на теплый пончо * и одеяла. Лошадь моя легла на землю и дрожала от холода. Мне пришлось прикрыть ее одеялом; это была породистая лошадь, очень резвая, но не такая выносливая и подходящая для прерий, как мустанги, выросшие на этих равнинах. Ветер не ослабел и тогда, когда взошло солнце, багровое и зловещее. Меня охватила новая тревога. Я уже слыхал о путниках, на долгие дни задержанных в прериях яростным буйным ветром. А время было мне так дорого! Медленно тянулось это холодное утро, сердце мое сжималось, и я начал приходить в отчаяние. Я оцепенел и застыл; капли росы от внезапного холода превратились в льдинки, и теперь каждая травинка, казалось, была украшена алмазами,

которые сверкали и переливались под косыми лучами солнца. К девяти часам ветер стал стихать, ослабевал он медленно и постепенно, и в половине одиннадцатого я решил, что могу продолжать путь. Завтрак мой был далеко не роскошный. Седлая коня и скатывая одеяла, я наспех проглотил кусок мяса и горсть поджаренной кукурузы. Затем я выдернул железный колышек, свернул коновязь на манер лассо, подвязал к луке седла и сел на коня. Я был более приспособлен к жизни в прериях, чем можно было ожидать. Несколько лет назад, еще до моей службы у Сполдинга и Хаусермана, я провел несколько недель в форте на границе с дикими территориями, пользуясь гостеприимством офицеров кавалерийского полка Соединенных Штатов. Я сопровождал моих хозяев в охотах и разведывательных вылазках против враждебных индейцев, мне нравилось привязывать коня, разводить костры и тому подобное, и я даже не представлял себе тогда, что настанет время, когда все мое земное счастье будет зависеть от моего совершенства в подобных искусствах. Как только в бледно-голубом небе поднялось солнце, природа приняла более веселый облик; льдинки и иней растаяли, воздух,— едва прошел жестокий холод,— стал бодрящим и приятным. Я двинулся дальше, следуя тропой, проложенной фургонами, то взбираясь на покатые склоны, то снова опускаясь. С некоторым испугом я заметил, что конь мой гарцует уже не так резво, как накануне, когда он покидал Карсон. Сначала он послушно подчинялся моему голосу и коленям и бодро ускорял шаг, но вскоре начал сдавать, плохо слушался удил и его то и дело приходилось пришпоривать. Очевидно, я слишком утомил его накануне. Он двигался вяло и понуро, и это уже говорило о многом. Что же делать? У меня была куча денег, но деньги не могут служить талисманом в пустыне. Между тем местом, где я находился, и Солт-Лейк-Сити нет ни одной фермы. Единственная возможность сменить коня — это встретить по дороге кого-нибудь, кто продаст мне верховую лошадь, но это было мало вероятно. Предаваясь невеселым размышлениям, я вдруг услышал позади глухой топот копыт. Я быстро обернулся и увидел всадника, который лихо скакал по холмистой прерии; из-под его распахнутой форменной куртки виднелась красная фланелевая рубаха, а

мексиканское сомбреро украшал тусклый золотой шнур. К луке его седла был приторочен многозарядный карабин, а через плечо висела кожаная почтовая сумка. Это был мой вчерашний знакомец — Сим Грайндрод.

— Доброе утро! — задорно окликнул он меня.— Вижу, не напугал я вас вчера своими рассказами про индейцев. А ведь все это святая правда. Устраивали привал, а? Да только лошадь ваша, вижу, начала сдавать. Похоже, что вы заставили ее здорово пробежаться.

Некоторое время мы скакали бок о бок. Моя бедная лошадь, подбодрившись при виде другой, старалась изо всех сил, и так мы ехали довольно долго: мой конь рысцой, мустанг Сима галопом, потому что у испано-американских лошадей только один ход, если они не идут шагом. Сим был куда добродушнее и почтительнее, чем накануне. Без всяких обиняков он заявил мне, что уважает парней, которые ведут себя как настоящие мужчины, но вот кого он ненавидит больше гадюк, так это бродвейских франтов, которые строят из себя искателей приключений. Мое умение держаться в седле завоевало уважение Сима, и он проникся ко мне подлинной симпатией, когда увидел, что я намерен во что бы то ни стало пересечь пустыню.

— Лошадь у вас, мистер, что надо,— сказал он,— только, боюсь, выдохлась она. Так вот, слушайте. Лучше всего, если вы купите первого попавшегося мустанга. Встретятся охотники, что едут на юг, может и продадут. Как выберетесь на равнину, поезжайте все время по дороге, а если вам помешает пожар, держите по компасу на северо-восток. Револьвер пусть будет наготове; увидите индейцев — не горячитесь. Зря не палите. В прериях каждый кусок свинца стоит жизни. Ну, прощайте, желаю удачи!

И Сим погнал коня к почтовой станции, небольшому, огороженному частоколом блокгаузу, где обитали его товарищи и где держали сменных лошадей. Я грустно посмотрел на блокгауз и надежно огороженный корраль и повернул усталого коня, чтобы продолжать утомительное путешествие. Я знал, что после полудня встречу такую же станцию и там постараюсь получить прибежище и подкрепиться, если лошадь совсем откажется идти. Не успел я проехать милю, как увидел моего друга Сима, скачущего по равнине на свежем коне. Он помахал мне

рукой и издал приветственный возглас, а я с завистью смотрел, как он стрелой несется в гору и исчезает вдали. К счастью, почти сразу после этого я наткнулся на группу белых,— первых путников, которых я встретил. Они оказались тремя трапперами *, возвращающимися из Орегона с внушительными тюками пушнины на двух мулах. Все они были на отличных «индейских пони», а один из них вел на аркане сильного и статного мустанга с горящими глазами, широкими ноздрями и тонкими мускулистыми ногами. Еще месяца два назад он скакал в диком табуне, но был уже достаточно объезжен и годился для путешествия по прериям. Я сторговался с траппером, и мой усталый, но более дорогой скакун пошел в обмен на полудикого мустанга; кроме того, траппер получил еще четыре золотых монеты по десять долларов каждая. Сделка была произведена к обоюдному удовлетворению, и когда рослый кентуккиец помог мне переседлать и взнуздать чалого, я заметил, что он доволен выгодной сделкой.

— Мой вам совет, полковник,— сказал траппер, когда я сунул золотые в его мозолистую загорелую руку,— держите ухо востро, а то как бы эти краснокожие дьяволы не зацапали вас. Они где-то рядом бродят. Я сам видел след мокасина около ручья, куда они просто так не заглядывают. Помните, мистер,— индейцам из племени Юта нельзя доверять, а Шошоны * и того хуже. А уж Арапахи *,— храни вас небо, если поймают! Поблизости рыщут индейцы. Я их чую.

— Вам бы хорошее ружье, мистер,— сказал другой, когда я уже садился в седло.— Шестизарядный револьвер, конечно, штука неплохая, но против индейцев лучше нет пятифутового штуцера — без промаха бьет.

Я расстался с этими добрыми людьми, самым искренним образом пожелавшими мне благополучного путешествия, хотя они и явно сомневались в том, что этот «желторотый» благополучно провезет через пустыню свое добро и скальп. Мустанг был свежий и следовал вперед неутомимым, хотя и не очень скорым галопом, на котором животные этой породы держатся довольно продолжительное время. Я уже далеко продвинулся вперед: земля стала засушливее, трава короче, а заболоченные низины и ручьи попадались все реже и реже. Особых происшествий пока

не было, если не считать того, что мой новый конь провалился ногой в нору, когда мы проезжали мимо «стойбища» койотов, и оба мы свалились, но остались целы и невредимы. Хорошо, что мне удалось схватить повод, а то я потерял бы коня. Однажды мне показалось, будто что-то мелькает на горизонте, но были это индейцы, бизоны или дикие лошади, я так и не смог различить. Проехав несколько миль, я добрался до места, где дорога неожиданно спускалась в илистую низину, пересеченную довольно широким ручьем и обрамленную высокими тополями. Тут я заметил свежие следы копыт только что проехавшей лошади, так как примятая трава даже еще не везде успела распрямиться. «Бах-бах!» — прогремел в зарослях ружейный выстрел, раскаты которого слились с ужасающим воинственным кличем дикарей. Выхватив револьвер, я устремился в заросли и увидел бедного Сима Грайндрода — весь окровавленный, он с трудом держался в седле, а вокруг скакали шесть или семь верховых индейцев в их жутком военном наряде. Сим был пронзен тремя стрелами: он уже изнемогал от потери крови и все же стойко отбивался — один из индейцев в предсмертных судорогах корчился у его ног. Мое появление решило исход стычки — два выстрела из револьвера, причем вторым был уложен мускулистый дикарь, вымазанный желтой охрой, который уже наскакивал на Сима с занесенным томагавком, привели индейцев в замешательство. Очевидно, они подумали, что я в авангарде большого отряда белых. Во всяком случае, они кинулись врассыпную.

Я подскочил к Симу как раз в ту минуту, когда он валился с седла.

— Спасибо вам, мистер,— пробормотал он.— Как-никак, вы спасли мой скальп, хотя уже поздно спасти мою...— Голос его оборвался, и он упал мне на руки.

Подле почтовой сумки, притороченной к седлу, вместе с одеялом и дорожным мешком, висела металлическая фляга с виски; я быстро открутил пробку и почти силой влил несколько капель в рот раненому. Затем я разорвал на полоски мой шейный платок и с помощью их и носового платка попытался перевязать раны, после тщетной попытки извлечь зазубренные наконечники стрел. Две стрелы впились в мякоть. Эти раны были скорее болез-

ненны, чем опасны, хотя и сильно кровоточили. Третья стрела вонзилась в бок, и эта рана казалась очень серьезной, несмотря на то, что крови из нее текло куда меньше. Через несколько минут Сим пришел в себя и открыл глаза. Я был тронут выражением благодарности в его взгляде. Очевидно, бедняге в его беспокойной жизни редко приходилось сталкиваться с подлинным участием.

— Вы очень страдаете от этих стрел? — спросил я.— Выпейте еще виски, это вас подкрепит, и если я смогу помочь вам добраться хотя бы до блокгауза...

— Ни к чему все это, мистер, хоть и спасибо вам,— ответил почтальон, проглотив еще немного виски.— Мой конец уже настал. Тот, кто побывал во многих перепалках на границе с той поры, как впервые спустил курок, и без докторов может сказать, когда ему каюк.

Я не мог не признать в душе, что Сим прав. В лице его произошла страшная перемена, оно стало мертвенно-бледным, осунулось и заострилось, губы кривились в судороге, а глаза приобрели тот характерный лихорадочный блеск, который мы видим только у тех, над кем витает смерть. Но я постарался подбодрить беднягу; мне удалось остановить кровь, струившуюся из руки, пронзенной двумя тростниковыми стрелами с железными наконечниками. Я уговаривал его не терять надежды и твердости духа.

— Да что зря слова тратить, мистер,— с трудом выдохнул Сим.— Я уж понял, что мне крышка, когда эта проклятая стрела засела у меня в ребрах. Я весь кровью исхожу, там, внутри, вот оно как. И все лекари во всех Штатах не смогут мне помочь, да что лекари — самый искусный костоправ в прериях. Но зато не видать этим трусливым собакам моего скальпа — вы их оставили с носом. А им уж так хотелось раздобыть его и плясать с ним в своем грязном стойбище, этим Шошонам! Хо-хо! Как теперь их скво будут визжать и насмехаться над ними, когда они вернутся с пустыми руками, да еще потеряв двоих из своры!

И Сим, уже с печатью смерти на лице, с холодеющим сердцем, самым искренним образом рассмеялся. Но прежде чем снова заговорить, он с трудом перевел дух:

— Вот так-то, мистер, нет худа без добра. Слушайте меня. То, чего вы не смогли получить от меня ни за дол-

лары, ни уговорами, теперь получите даром. Отправляйтесь на станцию, заберите эту сумку с почтой, передайте ее там и расскажите обо всем, что случилось. Они быстро вернутся за мной, это я вам ручаюсь, и успеют меня похоронить, пока койоты не сгложут мои кости. Но ведь другой почтальон должен доставить эту сумку дальше. Так вот, передайте им мою предсмертную волю, пусть вам дают свежую лошадь в каждом блокгаузе, чтобы вы могли скакать вместе с почтальоном. Компания не будет против такого нарушения правил... ведь вы же спасли почту, не говоря уж про мой скальп...

Он бессильно замолк. Я был глубоко тронут бескорыстными помыслами умирающего, этого необразованного, полудикого, воинственного жителя прерий, который заботился о том, чтобы я скорее доехал, в то время как его бренное дыхание уже почти замирало на губах. Я дал ему третий глоток виски и спросил, не могу ли передать его последнее желание кому-либо из друзей или близких?

— Есть девушка в Хэмптон-Тауне,— еле слышно зашептал Сим,— дочка торговца мулами. Руфь и я хотели... ох, до чего жалко, что мы отложили свадьбу, ведь невестам компания пенсию не дает, только женам, да и отец у Руфи прогорел недавно, глядишь, пригодились бы ей несколько долларов в год, бедняжке!

Я спросил фамилию невесты, потому что, как я заверил его, фирма «Сполдинг и Хаусерман» непременно позаботится о ней в знак признательности к нему — ведь только благодаря его услуге я получил возможность успешно выполнить свое поручение, исход которого иначе был бы сомнителен.

— Руфь Мосс,— слабым голосом ответил Сим,— ее имя и фамилия. Она хорошая девушка, хорошенькая и хорошая, да больно уж деликатная для такого грубого парня, как я, и в церковь что ни день ходит, и писать умеет, прямо как в книге.

Затем он попросил передать Руфь ленту, то ли полученную от нее как сувенир, то ли тайком позаимствованную под наплывом нежных чувств, не знаю; во всяком случае, она была бережно завернута в кусок замши и хранилась на груди под одеждой Сима, но, увы! — на ярко-голубом шелку алело большое кровавое пятно — стрела едва не

пронзила этот скромный талисман любви. Затем Сим обратился ко мне с просьбой: если я буду проезжать станцию Раунд-Понд между Форт-Бридж и Ред-Крик, передать его отцу Амосу Грайндроду, что, он, Сим, «умер как мужчина».

— Боюсь, старика это подкосит,— прошептал Сим, у которого уже затуманились глаза,— но он будет рад узнать, что мой скальп остался при мне. Скажите ему, что меня подстерегла шайка Свирепого Бизона — из племени Шошонов. Этот Свирепый Бизон и всадил в меня стрелу, когда я брал его на мушку! Гадина! А сколько раз я угощал его чарочкой, когда он приходил торговать в форт! Но у нас с ним были счеты, вот он их и свел. Но уж пусть теперь только сунется ближе, чем на выстрел, к старому Амосу Грайндроду!

Симу хотелось узнать, наповал ли убит индеец, в которого я стрелял, и как расписан его обнаженный торс. Его слабеющий взгляд уже не мог различить этих узоров, но когда я описал ему рисунок, сделанный охрой с белыми полосами, он сказал, что это, должно быть, Маленькая Сова, один из лучших воинов Свирепого Бизона. Второй индеец, более слабого телосложения, был вымазан черной краской и киноварью. Оба они были мертвы. Сим с некоторым смущением попросил меня прочитать «чего-нибудь из писания». Сам-то он не часто захаживал в церковь, зато Руфь — «набожная», да мать была «женщиной христианской», как он выразился. Я преклонил подле него колени и, придерживая ему голову, произнес слова той простой и краткой молитвы, которую малые дети лепечут своими невинными устами. Раз или два я слышал хриплый шепот умирающего, когда он пытался повторять эти слова. Но вот сильная судорога пробежала по его телу, и бедняга Сим Грайндрод испустил дух, не дождавшись конца молитвы.

Спустя час я подъехал к станции на своей лошади, ведя второго коня в поводу.

— Э-эй! Стой! Стой, говорю, не будь я Брэдшоу! — послышался резкий голос из бойницы блокгауза.

Я увидел направленное на меня дуло длинноствольного ружья. Разумеется, я тут же спешился.

— Это же наша лошадь,— закричал второй.— Наверняка этот малый увел ее. Ты кто такой?

— Друг,— откликнулся я.— Путник из Калифорнии. Впустите, и я все объясню.

Гарнизон устроил небольшое, но бурное совещание. Один выражал полное доверие моим словам, другой «прозрачно» намекал, что я могу оказаться «изменником» или «белым индейцем», что я просто хочу открыть ворота укрепления для моих кровожадных соумышленников, притаившихся поблизости в засаде, и что пристрелить меня самая правильная мера предосторожности. Но в Америке побеждает большинство, и, к счастью для меня, большинство решило меня впустить. Когда крохотный гарнизон узнал о смерти своего товарища, удивление было громогласным и печаль самой искренней. Трое сейчас же схватили кирки и лопаты и, закинув за спину ружья, собрались отправиться к тому месту, где лежало тело бедного парня и где следовало погрести его останки, по обычаям пограничной полосы. Четвертый, повинуясь чувству долга, поспешно седлал коня, чтобы помчать дальше сумку с почтой, с которой Сима разлучила только смерть. Этот всадник был больше всех расстроен печальным известием. Ему очень хотелось отправиться с теми, кто похоронит старого товарища под травянистым покровом прерии, но, как он выразился, просто, со слезами в мужественном взоре, «как раз подошел его черед». И вот он спешил собраться сам и снарядить коня в опасную дорогу. Наконец я рискнул, несколько сконфуженно и робко, обратиться с просьбой о сменных лошадях, на остаток пути, стараясь как можно скромнее упомянуть о моей роли в спасении почты. Люди озадаченно таращились на меня, оценивая мою просьбу. Один из них, посчитавший меня за белого изменника, который перешел на сторону индейцев, окинул меня злобным взглядом и грубо проворчал:

— Почем мы знаем, не морочит ли он нам голову всей этой брехней? А вдруг он сам и прикончил Сима, чтобы добраться до сменных лошадей и...

— Захлопни-ка пасть! — прогремел возмущенный верховой, отправлявшийся с почтой.— Постыдился бы ты своего поганого языка, Джетро Саммерз! Ведь это джентльмен, да больше того — честный парень, он дрался бок о бок с беднягой Симом, спас его скальп от Шошонов и привез нам сумку, а ты оскорбляешь его своими гнусными по-

дозрениями. Сам погляди! Его конь еще свеженький, а он привел лошадь Сима, так что же он, по-твоему, станет убивать белого христианина ради лошади? Стыда в тебе нет, Джет Саммерз!

— Верно! — подхватили двое остальных.— Да видал ли ты когда, чтобы подлый предатель так смело и честно смотрел тебе в лицо, а? Этот мистер славный парень, и если ему когда-нибудь понадобятся верные ребята в любой потасовке, мы к его услугам, провались я на этом месте.

И вся троица с самым искренним чувством пожала мне руку. Надо ковать железо, пока горячо. Поэтому я обратился к ним с энергичной просьбой предоставить мне лошадей, заверив их, что все мое будущее и вся жизнь, так же, как и жизнь других, зависит от скорости моего передвижения. Они слушали меня с интересом, и когда я заключил речь словами: «Сим Грайндрод хотел этого, перед смертью он настоял, чтобы я обратился к вам с этой просьбой»,— игра была выиграна. Правда, тот же самый недоброжелатель пробурчал что-то вроде: «Ловко придумано... нарушение правил... проныры-янки... а потом уволят...» Однако высокий парень тут же осадил его, клятвенно заверив, что «если К^0 станет так по-свински придираться, после того как путник оказал такую услугу, то это со стороны К^0 будет неслыханная подлость, и уж он-то этому К^0 служить больше не станет». Я не сразу уразумел, что означает это постоянное упоминание «К^0», и уже склонен был счесть это за имя какого-нибудь смотрителя или начальника, но немного погодя догадался, что это односложное наименование означает не что иное, как «Экспресс Компани».

— А ну, поторапливайтесь, мистер! Будет вам лошадь, но только мы и так уже потеряли время и теперь придется поработать и кнутом и шпорами. Ступайте и поймайте коня в коррале. Там есть пегий мустанг, ваше седло придется по нему, как его собственная шкура. Чалый, он, конечно, получше будет, но у него спина потерта. Попросите Иону дать вам мяса и сухарей: гостиниц по дороге вам не будет. Револьвер дозарядите, я вижу, две пули вы уже истратили. Налить вам фляжку виски — старое Мононгахэла? Не хотите! Да пошевеливайся ты с седлом, Джет,— надо же помочь человеку в таком деле! Поосто-

рожней, мистер, с удилами — мустанг кусается — вот так! А о вашем коне мы позаботимся, поедете в обратный путь, лосниться будет. Ну, прощайте, ребята!

С этими словами нетерпеливый верховой закончил свои приготовления, вскочил в седло, закинул за спину магазинный карабин и помчался галопом. Я постарался не отставать от него, выкрикивая на скаку прощальный привет остававшимся, которые незамедлительно отправлялись туда, где бедняга Сим, хладный и застывший, лежал рядом с трупами краснокожих врагов.

Пегий мустанг был жирный и ленивый по сравнению с резвым соловым жеребчиком моего провожатого. Я изо всех сил старался не отставать от Демуса Блейка (очевидно, полное его имя было Аристодемус). Мы мчались во весь опор.

— Подгоняйте вашу скотину,— кричал верховой,— мы здорово опаздываем. Не скупитесь на шпоры, этот пегаш вечно ловчит. Глядите в оба — впереди трясина, вон там, где мхи начинаются. Исусе праведный! Там лошадь до подпруги увязнет, и вы застрянете, как енот в капкане. А ну, продираемся, сэр! Гоните его прямиком через эти ручьи: лошадь из прерий умеет прыгать — не то что лошадь из Штатов.

Мне пришло в голову, что Демус Блейк горланит и работает кнутом столь рьяно лишь для того, чтобы успокоиться и отогнать мрачные мысли. В этом я убедился, когда после шести-семи миль бешеной скачки на наших взмыленных конях Демус перевел мустанга на ровную рысь.

— Теперь, мистер,— произнес он,— как-то поспокойнее. Как-то и на сердце вроде полегчало. Скажу я вам по чести, мистер, хоть и не поверите, на меня глядя, а я чуть было не распустил нюни, как малое дитя. Бедняга Сим! Я хорошо знал его, и с давних пор. Мы вместе играли, когда ростом были всего с шомпол, это еще в деревне Пекотти, подле Ютики, в штате Кентукки. И когда старый Амос и мой старик, Джонатан Блейк, задумали перебраться на запад, они и поселение одно выбрали. Невеселое известие для старины Амоса — он уж седой теперь, но еще крепок. Живет в Браунс-Хоул, хотя нет — в Раунд-Понд, пушниной торгует. Не хотел бы я, чтобы он от меня об этом услышал.

Потом он долго молчал, до тех пор, пока я снова не заговорил о героической кончине Сима. Я рассказал, что наткнулся на него, когда он, точно загнанный олень, в одиночку отбивался от семерых индейцев. Глаза Демуса гордо засверкали.

— Да, храбрый парень, сэр! Я был с ним в первой схватке, то есть в первой для Сима, я-то на два года его старше. Это было не здесь, а к югу от Фремонтского ущелья. На нас лезли окаянные Черноногие *, трое на одного, только что у них огнестрельного оружия не было. Н-да, скажу я вам, не детская игра в тот день шла! — При воспоминании об этой жаркой схватке сын диких прерий распрямил плечи, раздул ноздри и плотно сжал губы.

Он был куда крепче Сима, только не такой веселый и жизнерадостный, зато не лишен был некоторой суровой поэтичности. Он знал невесту Сима: красивая девушка, тихая, кроткая, набожная.

— Такую не часто встретишь в наших диких краях, но, может, этим она и приглянулась Симу, ведь у нас тут не девицы, а дикие кошки.

О горе, ожидающем старого Амоса Грайндрода — охотника, прославившегося своей смелостью и ловкостью, будь то схватка, будь охота,— Блейк говорил с глубоким сочувствием и скорбью:

— Убавит это ему дней, сэр, хорошо еще, что мать-покойница не услышит об этом: уж так она тряслась над Симом, стоило ему палец порезать, она, бывало, наседкой возле него кружит. Добрая душа была миссис Грайндрод, за матерью моей ухаживала, когда та схватила лихорадку в этих гиблых болотах.

Врожденный такт не позволял славному парню расспрашивать меня о цели моего необычайного путешествия. Своей щепетильностью и вежливостью, как и во многом другом, он далеко превзошел многих «благовоспитанных» горожан в лакированных башмаках и атласных жилетах. К тому же он дал мне несколько добрых советов.

— Вы не горячитесь! — говорил он.— И не выматывайте себя, полковник. Что-то румянца у вас в лице больше, чем надо, и рука, когда я ее пожимал, была горячая, будто кусок оленины с огня. Не знаю, может, вы и правы, что отказываетесь от виски, хотя для таких, как я,

это и хлеб и вода. Но смотрите, как бы вас лихорадка не скрутила, так что чересчур не надрывайтесь и старайтесь спать как можно больше. А что до индейцев, то они вряд ли нападут на двоих белых, у которых только и разживешься, что парой коней. А коней тут раздобыть плевое дело — только лассо закинуть. Вот караван переселенцев — это другое, тут уж краснокожие чуют в фургонах богатую поживу, и разве что драгуны их отпугивают. Только злоба заставила Свирепого Бизона полезть на Сима Грайндрода. Сим вывалял его в смоле и индюшачьих перьях, когда тот упился виски, которое ему продал какой-то негодяй, и лежал в Бриджер-форте свинья свиньей. Этого индейцы Симу никогда простить не могли. Шошоны гораздо злее, чем индейцы к востоку от Скалистых гор. Берегитесь их кочевых разъездов, мистер, когда приблизитесь к высокогорным долинам. Вóроны забирают коней и одежду, а Черноногие охотятся за скальпами!

Приняв к сведению добрый совет моего проводника, я старался стать как можно хладнокровнее. Я норовил использовать малейшую возможность для отдыха, хотя бы те несколько минут, когда потные седла перекладывали на спины свежих лошадей, и просто удивительно, сколько сил прибавлялось мне иной раз после того, как я успевал вздремнуть минутку. Неоднократно мой спутник говорил мне: «Полковник, вы же валитесь от усталости. Закройте глаза и дайте мне поводья. Я поведу обеих лошадей, а вы уж из своей колыбельки не вывалитесь». И в самом деле, глубокое мексиканское седло с высокими передней и задней луками, которым мне посчастливилось обзавестись перед выездом, было как нельзя лучше приспособлено для дремлющих всадников. То были причудливые минуты сна: я кивал головой, точно фарфоровый мандарин, веки наливались свинцом, и мне то и дело приходилось вздрагивать от того, что мустанг оступился в какой-нибудь выбоине. Однажды — Демус Блейк тогда еще был со мной — я погрузился в долгий восхитительный сон, не прерываемый ни толчками, ни тряской, а когда пробудился, чувствуя себя совсем другим человеком (я и теперь не перестаю удивляться, насколько меня освежил этот сон), то обнаружил, что меня поддерживает сильная рука моего спутника, ехавшего конь о конь несколько миль подряд и

ухитрявшегося держать свободной рукой мои и свои поводья. «Я решил, что это вас подбодрит, полковник!» — пояснил славный малый.

Не все провожатые, попадавшиеся мне во время этого фантасмагорического путешествия через прерии, отличались таким добродушием, как Блейк, или таким веселым нравом, как Сим. Но почтальоны, как правило, оказывались хорошими ребятами, и могу сказать, что среди всех обитателей блокгаузов я наткнулся всего на двоих или троих с грубым или скверным характером: к счастью, ни с кем из них мне путешествовать не пришлось. В прериях, как и вообще повсюду, я убедился, что доброта — правило, а цинизм и злоба — исключение, хотя склонен считать, что шума и гама от дурно воспитанных и злых людей всегда бывает куда больше, нежели от добродушных их собратьев. Трудным было только начало, а потом на каждой станции я получал сменную лошадь без всяких помех и проволочек. «Привилегия для почты» распространялась и на меня, и в каждой из этих крошечных общин меня всегда радушно приглашали разделить трапезу. В общем, я обнаружил, что люди в этом необычайном уединении были бодры. Они получали хорошее жалованье, их недурно кормили, а в случае увечья, нанесенного томагавком или стрелой индейцев, их ожидала пенсия. Прозябая в глуши, постоянно готовые к тому, что их занесет сугробами, что по обледеневшей корке снега к ним придут волки и, завывая, станут скрестись в дверь, точно собаки, которые просятся в тепло, они, однако, никогда не унывали. Обычной темой их разговоров были суровые приключения, из коих складывалась повседневная жизнь этого передового поста христианского мира, рассказы о военных хитростях и жестокостях индейцев, о пантерах и гризли, о вилорогах и бизонах. Многие из них общались с индейскими племенами и говорили на разных индейских диалектах так же свободно, как на родном языке. Я убедился, что эти суровые люди очень гостеприимны. Они тут же прерывали разговор, чтобы не беспокоить меня, когда я ложился поспать на груду шкур и одеял, пока мой проводник седлал коней, и вскоре переставали подсмеиваться над моим явно вздорным отказом от виски. «Может, полковник и прав!» — говорили они со свойственной им гру-

боватой вежливостью. («Полковник» на американском Западе — просто форма учтивого обращения.) Однажды я обнаружил, что всех обитателей станции, стоящей вблизи болот, подкосила лихорадка, и они оказались в совершенно беспомощном состоянии. Лихорадка эта обычно спадает, когда начинает дуть здоровый северный ветер, но бедняги все еще мучились, ослабев за время болезни; из всей компании только один мог кое-как передвигаться, чтобы готовить пищу и поддерживать огонь.

Я старался подбадривать себя мыслями об ожидающей меня награде в случае успеха, о цели, маячившей где-то в конце пути, ибо задача, которую я взял на себя, была далеко не из легких. Мысль об Эмме поддерживала меня, и я проникся британским упорством, решимостью выиграть во что бы то ни стало, преодолеть все преграды и скорее умереть, чем сдаться. Но тяготы этого путешествия превзошли все мои ожидания. День и ночь, под палящим солнцем, под пронизывающим ледяным северным ветром, мы стремились вперед, переправлялись через потоки, пробирались через болота, проваливались в логовища койотов или неслись по бескрайним равнинам. Я уже начал испытывать ненависть к бесконечным, поросшим травою плоскогорьям, к беспредельным просторам темно-зеленой глади, к синим горизонтам, к грядам отлогих холмов, по которым, однако, могли ехать фургоны и повозки. Так мы продвигались дальше и дальше, пока высокая трава, пестревшая цветами и диким льном, не сменилась покровом более короткой и жесткой, настоящей «бизоньей травы», которую так любят эти животные; ручьи и реки теперь попадались все реже, заросли полыни сменили цветущий кустарник Запада, вода в родниках стала солоноватой, и лошади то и дело скакали по голой белесоватой пустыне, а под их копытами хрустели кристаллы соли, ярко сверкавшей на солнце. Индейцы попадались редко, а дичь и того реже. По словам проводников, ее распугал непрерывный поток переселенцев. Что касается индейцев, то иногда на фоне алого вечернего неба мы видели отряд диких всадников: головные уборы из перьев, заостренные копья, развевающиеся одеяния... Но они не пытались на нас нападать, и спутники мои говорили, что это, вероятнее всего, охотники за бизонами из племени Юта, возвра-

щающиеся на север. Я не в силах передать все трудности этого бесконечного пути — ноющую боль в суставах, сведенные жилы, боль, терзающую все мои переутомленные мускулы! Еще меньше могу я описать постоянное напряжение ума и всех чувств, ощущение, будто мозг так же измучен, как и тело.

Я никогда не забуду вечер, когда я прибыл в Солт-Лейк-Сити, столицу территории Юта и Новый Иерусалим мормонов. Проводники уже обнадежили меня, что этот город в пустыне будет поворотным пунктом в путешествии и что дальше я, уже не подвергаясь большой опасности, за сравнительно короткое время доберусь до более цивилизованных областей. Но, к своему удивлению, я обнаружил, что обитатели почтовой станции в Солт-Лейк-Сити так же одиноки и даже еще более подозрительны и насторожены, чем их товарищи на самых отдаленных постах в прерии. Они были «язычниками» среди фанатичного населения, «язычниками», находящимися в полной власти служителей этой странной веры, которая установила свои законы в незнающих закона просторах Запада.

Вскоре я понял, почему они были так мрачны и подавлены.

— Где Джош Гудзон? — спросил проводник, когда все обменялись первыми приветствиями.

— Кто его знает...— ответил человек, к которому он обратился.— Сет говорит, что он пошел в город, пока я в коррале управлялся с лошадьми. Если это так, то он не вернулся, вот и все, что я могу сказать.

— Когда это было, Сет? — спросил вновь прибывший почтальон.

— Два дня назад,— ответил Сет, который скоблил длинным охотничьим ножом кусок наполовину изжеванного табаку,— перед самым заходом солнца.

— Дезертировать он не мог. Джош слишком честный парень, чтобы так улизнуть,— убежденно произнес мой проводник.

— Дезертировать! Только не он,— сказал Сет.— Но в донесении надо написать хотя бы так: «Пропал без вести».

Проводник взглянул в лицо Сету и с многозначительным видом медленно провел указательным пальцем по горлу. Сет кивнул.

— Поменьше болтай, надежнее будет,— заметил Сет, с подозрением глядя на меня.

— Полковник человек надежный. Можешь говорить при нем, как при мне! — воскликнул почтальон, прибывший со мной.— Так вы думаете, эти кровожадные мормоны...

— Тш-ш, Джем! Помалкивай! А то нам всем перережут глотки! — воскликнул тот, что был постарше, испуганно вскакивая,— тут того и гляди торчит кто-нибудь из этих негодяев.— Он выглянул в окно, потом распахнул дверь, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает.

— Я и забыл,— виновато сказал Джем.— Но что же случилось с Джошем Гудзоном?

— Боюсь,— ответил Сет почти шепотом,— что его уже нет в живых. Джош все тревожился о своей сестре, Нелл Гудзон, которая пристала к мормонам прошлой зимой в Иллинойсе. Потом ее сманили, и вот теперь она где-то здесь.

— Ага, это и я слышал.

— Я так думаю,— продолжал Сет,— что Джош нанялся на нашу станцию, чтобы разыскать девушку, вернуть ее домой и в лоно церкви, в которой она выросла. А мормоны этого не допустят.

— М-да! — снова поддакнул Джем.

— Короче, мы с Сетом так смекаем,— заметил старший в группе,— что Джош больно уж часто ходил по следам, вот и угодил к шанам.

— К шанам? — повторил я.— А что это такое?

Тот удивленно посмотрел на меня.

— Никогда не слыхали о шановых братьях? Тем лучше для вас. Так, может, слыхали о данаитах?

Я слышал, впрочем довольно смутно и неопределенно, об этой тайной полиции мормонов, об этих свирепых фанатиках, слепо повинующихся своему пророку.

— Значит, у вас есть основания опасаться, что ваш товарищ...

— Лежит где-нибудь под тиной в каком-нибудь соленом озерке,— перебил меня собеседник,— и уж никак не один. Здесь многие пропадали без вести, и никто из них не возвращался ни в свое поселение, ни в Калифорнию. И будут они там лежать, как я полагаю, до самого Суд-

ного дня, когда Большое Соленое озеро извергнет всех покойников, как вся прочая твердь и воды.

Я спросил, а нельзя ли обратиться прямо к мормонским старейшинам?

— А какой толк, полковник? Допустим, пойду я завтра в дом к Брайэму, или к Кимболлу, или еще к какому-нибудь из их заправил — из старейшин, ангелов или верховных жрецов, как их там,— и спрошу насчет Джоша Гудзона. Ну, медоречивый Брайэм возьмет да и скажет: «Уж не сбежал ли он отсюда? От заблудшего язычника всего можно ждать». Да еще упомянет о нем в своей воскресной проповеди. А может, кто-нибудь из них угостит меня стаканчиком винца или виски с мятным сиропом, и станет мне худо, я возьму да и помру. Ну, что вы смотрите на меня — разве не так же вот помер сборщик налогов, подкрепившись в доме Ангела Бэджера? Симпатичный ангелочек, а? Ну, ладно, я, положим, не стану пить под кровом мормона, но, может быть, пойду поздно домой и собьюсь с пути или еще что со мной случится... Вот не сойти мне с этого места, как раз на прошлой неделе иду я мимо Биг-Лик и вижу: глядит на меня со дна соленого озерка утопленница — вся белая, застывшая...

Как только рассказчик дошел до этого места, Сет, уже нетерпеливо ерзавший на стуле, с проклятием вскочил и тоже торопливо распахнул дверь. Никто не подслушивал.

— Ну вот что,— сказал Сет,— давайте-ка повременим с этими баснями, пока отсюда не выберемся. Эти мормоны такие бестии! Будь я проклят, если у них в любом углу нет своих ушей. А если они пронюхают, о чем мы тут толковали, то полковнику никогда не видать Нью-Йорка, а мне никогда не бывать в родном Монтгомери... Индеец Уокер и его окаянные Юта лихо орудуют томагавками, но это мормонам не по вкусу, так что мы можем повстречать других индейцев — все честь по чести, и одеяла, и красные разводы на лицах, точь-в-точь настоящие Юта, только с преотличными острыми ножами за поясами.

— Сет прав,— сказал мой прежний проводник,— зачем нам надо, чтобы кто-то из-за нас перекрашивался в индейцев, как это сделали Ангел Браун, Молодой Харрис и данаиты, когда Марта Стайлз и Рейчел Виллис захотели вернуться в Иллинойс. Так что, полковник, лучше вздрем-

ните малость, да и ты, Сет, не спеши седлать — вы же быстро сюда прискакали.

Я был не слишком опечален, когда после бешеного ночного галопа встретил зарю на границе территории мормонов. Дальнейший путь не был отмечен какими-либо происшествиями. Порой приходилось нелегко, но больших опасностей не было. Мы пересекли дорогу, на которой жутко белели высохшие кости множества лошадей и мулов и где множество травянистых холмиков отмечало место последнего упокоения какого-нибудь переселенца, его жены или ребенка, так и не достигших Земли Обетованной.

Но с продовольствием теперь было куда легче, так же как и с водой, нежели в те времена, когда изгнанные мормоны проделали свой знаменитый переход через пустыню, отмечая могилами нехоженые тропы. В Скалистых горах мы едва не попали под снежный обвал, и это было последней опасностью, которая угрожала нам в пути.

Но еще до этого я исполнил свой скорбный долг, поведав старому Амосу Грайндроду, которого я разыскал на станции Раунд-Понд, о смерти его сына и вручив ему обагренную кровью ленту, которую следовало возвратить невесте Сима. Старик выслушал известие со стоицизмом индейцев, среди которых провел большую часть жизни. Он был рад узнать, что перед смертью Сим выказал силу характера и умер «как настоящий кентуккиец» и что я подоспел как раз вовремя, чтобы спасти его скальп. Но вскоре природа взяла свое. Бронзовое лицо старика судорожно исказилось, из старческих глаз покатились слезы, сквозь рыдания у него вырвалось: «Сим! Мальчик мой дорогой! Мне бы умереть, а не тебе!»

Наконец утомительное путешествие кончилось: мы миновали одинокие редкие фермы, огороженные крепким частоколом, потом фермы пошли гуще, и в частоколах нужды уже не было, и, наконец, показались крыши деревни, из вежливости именуемой городом. С какой радостью я спешился, с какой радостью пожал сильную руку последнему проводнику из «Экспресс-Компани»! Оставив этого славного малого ломать голову над кабалистическими завитушками на десятидолларовой бумажке, которую я ему вручил, я нанял пару лошадей, запряженных

в легкую повозку, и тут же помчался дальше. Повозка несла меня до тех пор, пока я не сменил ее на дилижанс, а дилижанс так же честно служил мне, пока я не услышал фырканья железного коня и не взял билета на поезд. До чего же восхитительным, уютным и роскошным показался мне такой способ передвижения после столь изнурительной верховой езды! Мне казалось, что бревенчатый настил самая гладкая дорога на свете, а тряский вагон — скользил как по паркету. Я наслаждался плавным ходом поезда и старался наверстать упущенное — предаваясь сну в такой мере, что спутники мои загорелись страстным любопытством узнать мой род занятий и положение.

Я уже успел коротко телеграфировать в Нью-Йорк. «Прибыл ли калифорнийский почтовый через Панаму?»

Ответ был еще более кратким: «Нет».

Пока что все шло хорошо. Мои усилия еще не оказались бесплодными. Я мог надеяться прибыть в Нью-Йорк раньше доктора, то бишь полковника, Джорэма Хэклера, но до победы было еще далеко. Ценные бумаги оставались в руках негодяя. Однако мое появление в Нью-Йорке будет неожиданным для него, и любое действие с моей стороны застигнет его врасплох. Я был слишком утомлен, чтобы строить призрачные планы, как перехитрить негодяя. Все мои способности понадобятся, когда начнется настоящая схватка, а теперь я должен отоспаться. И я спал, милю за милей, перегон за перегоном, предаваясь отдыху, не думая больше ни о чем.

— Масса выходит? Поезд прибыл в Нью-Йорк.

Кто-то дергал меня за руку, кто-то поднес к моему лицу фонарь. Один человек был черный, другой — белый. Кондуктор и негр-носильщик.

— Я еду в «Метрополитэн-Отель». Мне нужен экипаж. Багажа нет. Почтовый калифорнийский уже прибыл?

— Прибыл,— ответил газетчик, стоявший рядом с кипой газет под мышкой.— Здесь все новости. «Геральд», «Трибюн», «Таймс». Что мистеру угодно?

Я купил газету и пробежал глазами список прибывших через Панаму. Столько-то золотого песка, столько-то слитков, известный европейский путешественник, министр почт и телеграфа, синьора Кантатини, полковник Том, Хэклер и другие. Кучер экипажа был ирландец, как во-

дится, и, к счастью, из старожилов. Он быстро доставил меня (в этот поздний час все другие магазины и лавки были закрыты) к еврею, торговавшему готовым платьем, который рад был заработать лишний цент даже во внеурочное время. Я купил новый костюм, белье, чемодан и прочее и сбрил буйную бороду бритвой, позаимствованной у самого хозяина и перед его собственным зеркалом. Вместо косматого калифорнийца во фланелевой рубахе, который его нанял, мой кучер повез в «Метрополитэн-Отель» самого обычного, хорошо одетого джентльмена.

Прежде чем снять номер, я вежливо попросил у портье разрешения заглянуть в книгу постояльцев, сказав ему, что ожидаю брата из Олбени. Я нарочно ни словом не обмолвился о Хэклере из Калифорнии, и портье был уверен, что я прибыл из мест никак не более отдаленных, чем Филадельфия или Балтимора. Так и есть — имя Хэклера значилось в книге.

Я мог смело биться об заклад, что он явится в «Метрополитэн», потому что слышал, как он одобрительно отзывался об этой гостинице. Я слонялся возле стойки и лестницы, пока мне не удалось узнать, что он уже спит. Тогда я пошел к себе и стал обдумывать план действий. Признаюсь, я был в растерянности. Я беспокойно метался на подушке. Пока я спешил вперед, мне казалось, что стоит лишь прибыть вовремя, и все трудности будут позади, но что же делать теперь? Битва еще только предстоит. Что же я *должён* делать? Несомненно, утром Хэклер отправится в банк, чтобы получить деньги по подложному чеку, а быть может, предъявит и векселя. Я должен это предотвратить. Но как? Явиться в полицию и привести блюстителей порядка? И думать нечего! Скандал, позор — вот к чему приведет этот шаг. Более того, в глазах закона Хэклер может оказаться невинным, а я — злостным клеветником. Тогда я подумал о том, не встретиться ли с ним в открытую и, если понадобится, с пистолетом в руках потребовать, чтобы он вернул ценности фирмы. Слишком дон-кихотский поступок для первоклассного отеля Нью-Йорка! Я тщетно ломал себе голову.

О боже! Почему здесь так пахнет гарью, какой удушливый, тяжелый воздух! Дым! В гостинице пожар! Я вскочил и впопыхах оделся. Нет худа без добра! Дергая

звонок, чтобы поднять людей, я подумал о Джорэме Хэклере.

— Пожар! Пожар! — ужасный крик, точно зов трубы в Судный день, донесся до ушей спящих. Черные клубы дыма хлынули в коридоры, то тут, то там выбивались змеи пламени, огненными языками они лизали стены и потолок. Послышались вопли, двери распахнулись настежь, из номеров с криком выскакивали полуодетые мужчины, женщины, дети. Повсюду царили панический ужас и смятение. Огонь разгорался, из-за густого дыма ничего не было видно, и люди отступали перед ним — все, кроме меня. Я ощупью двинулся к комнате Джорэма Хэклера. Я знал, какой у него номер и где он находится. Я знал, что рискую жизнью, но ставка стоила этого риска. Пробираясь вперед, я держался за стену, и чуть не задохнулся в клубах дыма. Какой-то человек, полуодетый, подгоняемый страхом, налетел на меня с вытянутыми руками и чуть не свалил меня с ног. Он свирепо выругался, багровый отблеск пламени упал на его лицо — это был Джорэм Хэклер!

Он не узнал меня и помчался дальше, помышляя только о спасении. При себе ли у него бумаги? Быть может, и нет. Я надеялся, что нет. А вот и его комната, в распахнутую дверь валят клубы дыма. И не только дыма. Тонкий язык огня стлался по полу возле панели. Я влетел в комнату. Дым разъедал мне глаза, я ловил ртом воздух, но ни дым, ни пламя не смогли бы заставить меня вернуться. Одежда Хэклера и дорожный сундук были на своем месте. Сундук открыт: бумаг в нем нет! Открыт и чемодан: и в нем нет бумаг! В отчаянье я ударил себя по лбу. Он забрал их с собой! Я напрасно рисковал жизнью. Эмма для меня потеряна! Я задыхался от дыма, нестерпимо жаркое пламя уже подступало к кровати, занавески алькова превратились в высокий желтый столб огня. Тонкий язык пламени почти лизал мне ноги. Снаружи слышался шум пожарных машин и рев толпы, и вот, наконец, хлынула вода — принимались все меры для тушения пожара.

Шатаясь, я уже подвигался к выходу, как вдруг заметил торчащий из-под изголовья постели сафьяновый бумажник. Негодяй забыл о нем, охваченный слепым ужа-

сом. Клочья горящего занавеса упали на меня и сильно обожгли мне руки, но я овладел драгоценной добычей. Я раскрыл бумажник. Да, и чек и бумаги, все тут! Засунув бумажник в боковой карман, я выскочил из комнаты и изо всех сил помчался вниз. Струя за струей, из множества ведер, частично уже приглушили пламя, и теперь пожарники одерживали победу. Полузадыхающийся, обожженный, почерневший, но с гордо бьющимся сердцем, я протолкался по забитой людьми лестнице — выбрался на воздух и... упал без чувств...

Больше, пожалуй, рассказывать почти не о чем. Я совладелец фирмы, Эмма — моя жена, брат ее излечился от своей болезни, раскаялся и исправился и теперь живет в другой стране. Фирма «Сполдинг, Хаусерман и К°» (К° — это я) назначила пенсию бедной девушке, которая должна была стать женой несчастного Сима Грайндрода. О Хэклере мы больше не слышали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой мы находим мисс Киммինз

День уже был на исходе, когда вновь отворились ворота и в потоке сверкающих золотых лучей закатного солнца, коснувшихся даже зарешеченного логова, в котором обитало грязное чудовище, во двор вошло дитя — маленькая девочка с прекрасными белокурыми локонами. На ней была простая соломенная шляпка, в руке — ключ от дверей. Девочка поспешно направилась к Путнику с таким видом, словно очень ему обрадовалась и хотела поведать ему одну из своих детских тайн, но, заметив фигуру за решеткой, в страхе отпрянула.

— Не пугайся, дитя мое,— сказал Путник и взял ее за руку.

— Мне оно очень не нравится! — промолвила девочка, вздрогнув от ужаса.— Оно такое страшное.

— Что поделать, мне оно тоже не нравится,— вздохнул Путник.

— Кто его туда засадил? — спросила малышка.— Оно кусается?

— Нет, только лает. Но не бойся, взгляни на него, моя милая. (Девочка в страхе закрыла глаза руками.)

— Нет, нет, нет! — вскричала она.— Я не могу на него смотреть!

Путник повернулся к своему другу за решеткой, как бы безмолвно вопрошая, доволен ли тот произведенным впечатлением, а потом вывел девочку в еще открытые ворота и, озаренный ласковым закатным солнцем, с полчаса простоял с нею там, о чем-то беседуя. Наконец, подбадривая девочку, которая обеими ручками вцепилась в его руку, он пошел обратно. Ласково погладив ее по прелестной головке, он рассказал своему другу за решеткой следующую историю.

Пансион мисс Папфорд для полдюжины юных леди нежного возраста — пансион компактного вида, пансион в миниатюре, можно сказать, карманный пансион. Сама мисс Папфорд, ассистентка мисс Папфорд с парижским выговором, кухарка мисс Папфорд, а также горничная мисс Папфорд вкупе составляют то, что мисс Папфорд именует учебно-воспитательным и хозяйственным персоналом своего колледжа-лилипута.

Мисс Папфорд — одна из самых приятных представительниц своего пола, а отсюда неизбежно следует, что она наделена мягким характером и сама бы открыто призналась в том, что чрезвычайно чувствительна, будь это, по ее мнению, совместимо с ее долгом перед родителями воспитанниц. Но, будучи убежденной в обратном, она прячет эту свою черту как можно дальше от людских глаз, что (благодарение богу!), к счастью, не так уж далеко.

Ассистентку мисс Папфорд с парижским выговором можно считать в некотором отношении личностью редкой одаренности, ибо она ни разу в жизни не разговаривала с парижанином и никогда не выезжала за пределы Англии, если не считать увеселительной прогулки на яхте «Живчик», заплывшей в иностранные воды, что колышутся в двух милях от Маргейта во время прилива. Но даже столь благоприятными географическими условиями для овладения французским языком во всей его изысканности и чистоте ассистентка мисс Папфорд не воспользовалась в должной мере потому, что увеселительная яхта «Живчик»

в тот раз столь ревностно стремилась оправдать свое назначение и название, что ассистентке мисс Папфорд пришлось лежать на полу каюты и мариноваться в соленой морской воде, словно ее солили для провиантских складов флота ее величества, и одновременно претерпевать великое смятение духа, немощь тела и полное повреждение накрахмаленных частей туалета.

Когда именно мисс Папфорд и ее ассистентка впервые обрели друг друга — неведомо ни людям, ни воспитанницам. Но произошло это давно. Среди воспитанниц, несомненно, могло бы утвердиться мнение, что мисс Папфорд и ее ассистентка — школьные подруги, если бы только эти воспитанницы дерзновенно отважились представить себе, что мисс Папфорд появилась на свет без митенок, без манишки, без золота на передних зубах и без мазков пудры на чистеньком личике и носике. И в самом деле, всякий раз, когда мисс Папфорд в краткой лекции излагает своим ученицам мифологию заблудших язычников (всегда решительно игнорируя Купидона) и рассказывает о том, как Афина в полной экипировке выпрыгнула прямо из головы Зевса, так и кажется, что она дает понять: «Вот и я точно так же появилась на свет, в полной экипировке, с Таблицей умножения, Грифельной доской и Картами».

Во всяком случае, ясно одно: мисс Папфорд и ее ассистентку связывает давняя-предавняя дружба. И воспитанницы даже предполагают, что стоит им уйти спать, как обе подруги называют одна другую просто по имени. Ведь однажды во время грозы мисс Папфорд вдруг упала в обморок, и ассистентка мисс Папфорд (никогда ни раньше ни позже не называвшая мисс Папфорд иначе, как мисс Папфорд) бросилась к ней с криком: «О моя дорогая Евфимия!» И в самом деле, на образце вышивки, что висит в классной комнате колледжа, значится имя мисс Папфорд — Евфимия (год рождения тщательно выщипан), вышитое вблизи двух павлинов, которые, смертельно напуганные немецкой надписью, выползающей из домика и гонящейся за ними с горы, удирают без оглядки, чтобы спрятать свои профили в двух гигантских бобовых стеблях, произрастающих в цветочных горшках.

Помимо всего этого, среди воспитанниц втайне существует уверенность, что мисс Папфорд когда-то была влюб-

лена и что предмет ее любви все еще пребывает в этом мире. Более того, они полагают, что он — весьма влиятельная персона. И более того, что ассистентка мисс Папфорд полностью осведомлена обо всем. Было замечено, что, когда мисс Папфорд просматривала через свой маленький золотой лорнет газету — а просматривать ее приходилось очень быстро, потому что мальчик-почтальон с бестактной пунктуальностью являлся за нею ровно через час,— она приходила в необычайное волнение и, обращаясь к своей ассистентке, многозначительно произносила «Дж.!», после чего ассистентка мисс Папфорд тотчас подбегала к мисс Папфорд, которая указывала ей лорнетом на это «Дж.», и ассистентка мисс Папфорд тоже читала про него и всегда выказывала сочувствие. Умы учениц были настолько заняты этим «Дж.», что однажды, воспользовавшись благоприятными для столь опасной вылазки обстоятельствами, некая бесстрашная лазутчица сумела заполучить в свои руки газету и изучила ее от доски до доски в поисках «Дж.», которого мисс Папфорд обнаружила там всего лишь за десять минут до того. Однако никакого «Дж.» отыскать не удалось, если не считать уголовного преступника, который перед казнью вел себя весьма нагло, и право же, невозможно было предположить, что мисс Папфорд когда-либо могла питать нежные чувства к нему. И потом не могли же его казнить без конца. Кроме того, через месяц он вновь появлялся в газете целый и невредимый.

В конце концов, после долгих размышлений, ученицы выдвинули гипотезу, что «Дж.» — маленький, пухленький, престарелый джентльмен в высоких, начищенных до блеска сапогах, о котором мисс Линкс, ученица, отличающаяся острой наблюдательностью, однажды на каникулах ездившая в Танбридж Уэллс вместе с мисс Папфорд, по возвращении под величайшим секретом рассказала, что она своими глазами видела, как этот джентльмен петушком подскочил к мисс Папфорд на Променаде и, пожимая ей руку, пробормотал что-то вроде: «О жестокая Евфимия, навеки твой!» Мисс Линкс высказала смелую догадку о том, что он, надо думать,— Палата Общин, или Курс Валюты, или Из Зала Суда, или Светская хроника и потому так часто появляется в газете. Однако общее мнение ре-

шительно отвергло подобную догадку на том основании, что ни у одной из вышеназванных знаменитостей имя не начинается с «Дж.».

От острого всевидящего глаза воспитанниц не ускользают и другие случаи, когда мисс Папфорд таинственно оповещает свою ассистентку о том, что в газете имеются особо волнующие известия. Это происходит, когда мисс Папфорд видит имя своей бывшей воспитанницы в отделе «Рождения» или «Бракосочетания». В таких случаях кроткие глазки мисс Папфорд неизменно наполняются слезами умиления. А девочки, видя, как отличились их предшественницы — хотя мисс Папфорд никогда об этом не упоминает,— испытывают гордость от сознания того, что и они в будущем достигнут такой же славы.

Ассистентка мисс Папфорд с парижским выговором несколько плотнее и выше мисс Папфорд, но представляет собою столь же аккуратное, подтянутое маленькое существо, ставшее благодаря длительному лицезрению, обожанию и подражанию мисс Папфорд очень похожей на нее. Будучи беззаветно преданной мисс Папфорд и обладая недюжинным талантом художника, она создала ее портрет, который был тотчас опознан воспитанницами и вызвал такой восторг, что его тут же за пять шиллингов выгравировали на камне. Конечно же это был самый мягкий и белый камень, какой когда-либо добывали в каменоломнях. Нежные очертания ее носика получились на этом камне столь расплывчатыми, что люди неискушенные в искусстве, как оказалось, были весьма озадачены тем, куда же в конце концов направлен его кончик, и, разглядывая портрет, невольно, в крайнем замешательстве щупали собственный нос. Поскольку на портрете мисс Папфорд стоит у открытого окна в состоянии тяжелого уныния, задумчиво склонившись над вазой с золотыми рыбками, воспитанницы заключили, что ваза эта — подарок от «Дж.», что он украсил ее цветами своей души и что мисс Папфорд изображена ожидающей его в тот памятный день, когда он опоздал.

Наступления летних каникул воспитанницы ожидали с особым нетерпением, ибо все знали, что на второй день каникул мисс Папфорд приглашена на свадьбу одной из своих бывших воспитанниц. Ввиду того, что скрыть это

событие все равно не представлялось возможным — с таким размахом велась деятельность, связанная с приготовлением туалета,— мисс Папфорд провозгласила о нем во всеуслышание. Тем не менее она сочла своим долгом перед родителями объявить о предстоящей свадьбе с томно-меланхолическим видом, словно свадьбу следует рассматривать как некое бедствие (каковым она в иных случаях и является). А поэтому мисс Папфорд продолжала готовиться к празднику с видом кротко смиренным и соболезнующим. И за все это время ни одна из воспитанниц не забывала, поднимаясь или спускаясь по лестнице, заглянуть в спальню мисс Папфорд (конечно, если мисс Папфорд там не было) и принести какие-нибудь удивительные сведения касательно новой шляпки.

Когда же перед самыми каникулами основные приготовления были закончены, все воспитанницы выразили — через посредство ассистентки мисс Папфорд — единогласную просьбу, чтобы сама мисс Папфорд великодушно снизошла и показалась бы им во всем своем великолепии. И мисс Папфорд, вняв мольбе, явила собою прекрасное зрелище. Хотя старшей из воспитанниц едва минуло тринадцать лет, не прошло и двух минут, как все шестеро уже отлично разобрались в фасоне, покрое, цвете, стоимости и качестве каждой части туалета мисс Папфорд.

Таким восхитительным вступлением начались каникулы. Пятеро из шести воспитанниц наградили маленькую Китти Кимминз двумя десятками поцелуев каждая (итого — сотня поцелуев, потому что все ее очень любили) — и разъехались по домам. А мисс Китти Кимминз осталась в пансионе, потому что все ее родные и близкие жили в далекой Индии. Но ведь мисс Китти Кимминз — девочка с ямочками на щеках — такой самостоятельный спокойный ребенок, и к тому же такой ласковый.

Итак, великий день свадьбы наступил, и мисс Папфорд, взволнованная, точно сама невеста («Дж.!» — пришло на ум мисс Китти Кимминз) укатила, роскошная и блистательная, в присланном за нею экипаже. Но уехала не только мисс Папфорд. Ассистентка мисс Папфорд отбыла с нею — с похвальной целью навестить престарелого дядюшку,— хотя, подумала мисс Киммипз, этот почтенный джентльмен едва ли живет на хорах той

самой церкви, в которой должно совершаться бракосочетание,— и тем не менее ассистентка мисс Папфорд обмолвилась, что направляется именно туда. Куда отправилась кухарка, осталось неизвестным, но обычно она давала понять мисс Кимминз, что вынуждена, право же без всякой охоты, с самыми богоугодными намерениями, совершить некое паломничество, для чего понадобилось украсить шляпку новыми лентами, а туфли новыми шнурками.

— Ну вот, мисс Кимминз,— сказала горничная, когда все ушли,— в доме остались только вы да я, и больше никого.

— И больше никого,— повторила мисс Китти Кимминз и немного грустно тряхнула локонами.— Никого!

— И вам бы, верно, не хотелось бы, чтобы ваша Белла тоже ушла, правда же, мисс Кимминз? — спросила горничная (которая и была этой самой Беллой).

— Н-нет...— отвечала Китти.

— Вашу бедную Беллу заставили остаться с вами, хочет она того или нет. Правда же, мисс Кимминз?

— А вы разве не хотите? — осведомилась Китти.

— Ну, вы же такая милочка, что грешно было бы вашей Белле возражать! Да только вот нынче утром я узнала, что шурин вдруг тяжело заболел. А ваша бедная Белла так его любит, так любит, не говоря уж про любимую сестру.

— А что, ему очень плохо? — спросила маленькая Китти.

— Ваша бедная Белла боится, что это так, мисс Кимминз,— ответила горничная, приложив уголок фартука к глазам.— Покамест у него просто болит живот, но боль может подняться выше, а уж коли она поднимется выше, то доктор сказал, что не отвечает.

Тут горничная до того расстроилась, что Китти поспешила ее утешить единственным средством, которым располагала, а именно — поцелуем.

— Уж очень не хотелось мне подводить кухарку, милочка моя мисс Кимминз,— всхлипывала горничная,— а то бы ваша Белла попросила ее остаться с вами. Ведь кухарка может составить компанию куда лучше, чем ваша бедная Белла!

— Но вы сами очень славная, Белла!

— Ах, мисс Кимминз, ваша бедная Белла очень бы хотела такой быть. Но она слишком хорошо знает, что сегодня это ей не под силу.

И придя к столь пессимистическому заключению, горничная тяжело вздохнула, покачала головой и склонила ее набок.

— А вот если бы не кухарка,— продолжала Белла задумчиво и уже в чисто отвлеченном духе,— то до чего бы все было просто. Я бы успела навестить шурина, провела бы там целый день, а к вечеру вернулась бы домой, задолго до приезда наших леди. И ни той, ни другой из них об этом и знать ни к чему. Вовсе не потому, что мисс Папфорд не отпустила бы, а просто бедняжка мисс Папфорд того и гляди расстроится, ведь у нее такое доброе сердце. И стало быть, мисс Кимминз,— заключила горничная как можно более бодрым тоном,— вашей бедной Белле приходится сидеть тут с вами, ну да ведь вы такая милочка, осмелюсь сказать...

— Вот что, Белла,— с минуту подумав, промолвила маленькая Китти.

— Называйте вашу бедную Беллу *вашей* Беллой! — взмолилась горничная.

— Ну хорошо, моя Белла.

— Да благословит бог ваше кроткое сердечко!

— Если вы согласны меня оставить, то я согласна остаться. Я не боюсь оставаться одна в доме. И вам нечего беспокоиться. Я постараюсь ничего дурного не делать.

— Ой, да что вы, милочка, разве вы сделаете дурное, ведь вы у нас лучше всех, осмелюсь сказать! — воскликнула горничная в полном восторге.— Уж на вас ваша Белла может положиться. Вы же такая умница, такая разумница. Самая мудрая головка во всем доме, как у седого мудреца, этак мы частенько говорили про вас с кухаркой,— только что кудри золотые. Нет, нет, нет, мисс Кимминз, я вас не оставлю. Вы подумаете, что ваша Белла плохая.

— Но если вы и в самом деле *моя* Белла, то вы должны пойти,— настаивала Китти.

— Должна? — повторила горничная, довольно по-

спешно вскакивая с места.— Ну, уж если должна, тогда другое дело, тут уж ничего не попишешь. Ваша Белла подчиняется, хотя и против воли. Но знайте, мисс Киммինз,— оставаться мне или уходить — ваша Белла все равно вас крепко любит.

Имелось в виду именно «уходить», ибо не прошло и пяти минут, как «бедная Белла», расположение духа которой улучшилось настолько, что болезнь шурина упоминалась как явление в высшей степени радостное,— ушла своей дорогой, принарядившись так, словно направлялась на какой-нибудь праздник. Да, таковы метаморфозы этого быстротечного мира и такова близорукость, которой отличаемся мы, простые смертные.

Когда парадная дверь с грохотом захлопнулась, маленькая мисс Киммինз подумала, что дверь эта, затворившая ее в безлюдном, как пустыня, доме, должно быть, страшно тяжела. Но как уже упоминалось ранее, мисс Киммինз, будучи ребенком самостоятельным и разумным, тут же принялась соображать, как ей провести этот длинный летний день.

Первым долгом она решила обойти весь дом — необходимо было убедиться, что под кровати или в шкафы не забрался некто в плаще и с огромным кухонным ножом. Не потому вовсе, что ей когда-нибудь раньше приходили в голову мысли о человеке в плаще и с огромным кухонным ножом, нет, образ его как-то сам по себе возник перед ее мысленным взором, после того как грохот захлопнувшейся парадной двери эхом прокатился по всему дому.

И вот маленькая мисс Киммինз заглянула под пустые кровати пяти уехавших подруг, потом под свою кровать, потом под кровать мисс Панфорд, потом под кровать ассистентки мисс Панфорд. И когда, проделав это, она приступила к осмотру шкафов, в ее юную головку закралась весьма неприятная мысль. До чего же было бы страшно вдруг обнаружить, что в каком-нибудь углу, вытянувшись во весь рост, неподвижно стоит кто-то в маске, вроде Гая Фокса *, и притворяется мертвым. Однако, закончив осмотр и не совершив столь неприятного открытия, мисс Киммինз, как всегда аккуратно, развернула рукоделие и с усердием заработала иглой.

Но вскоре окружающая тишина стала удручать ее, главным образом своим удивительно странным свойством: чем тише было вокруг, тем больше слышалось звуков. Даже шорох иголки с ниткой отдавался в ушах Китти несравненно громче, чем стежки всех шестерых воспитанниц вместе с мисс Папфорд и с ассистенткой мисс Папфорд, когда они стараются перещеголять друг друга в прилежании на занятиях рукоделием.

Потом часы в классной комнате повели себя очень странно, чего не бывало прежде: они вдруг словно охромели, однако же продолжали бежать вперед как можно быстрее и громче. В полной панике, спотыкаясь, перескакивали они с одной минуты на другую и бестолково отстукивали их, отнюдь не намереваясь образумиться. Быть может, именно это и встревожило лестничные ступеньки. Как бы то ни было, но только они вдруг заскрипели самым необычайным образом, а вслед за ними затрещала вся мебель, так что маленькая мисс Кимминз, которой вообще были не по душе скрытые свойства вещей, решила запеть песенку. Но собственный голос показался ей чужим, словно кто-то другой, передразнивая ее, пел уныло и монотонно, без всякого выражения. Разумеется, от такого пения не было прока, и Китти снова умолкла.

Вскоре стало совершенно очевидно, что рукоделие тоже ни к чему, и Китти аккуратно уложила работу в корзинку. Потом она подумала о чтении. Нет... Книга, доставлявшая ей столько радости, когда можно было на миг перевести взгляд со страницы на одну из тех, кого она любила, показалась ей теперь такой же унылой, как и пение. И книга, подобно рукоделию, отправилась на свое место. «Но ведь надо же чем-нибудь заняться,— подумала девочка,— пойду-ка я приберу свою комнату».

Китти жила вдвоем с самой любимой подружкой, но отчего же вдруг кровать подруги показалась ей такой таинственной и жуткой? Странно, однако так оно и есть. В этих невинных белых занавесках таилось что-то зловещее, какой-то мрачный намек на то, что под покрывалом лежит маленькая покойница. От одиночества, от непреодолимого желания увидеть человеческое лицо Китти стало казаться, будто мебель приобретает странный и при-

чудливый человеческий облик. Вот стул в прескверном расположении духа сердито хмурится в углу. Вот чрезвычайно злобный комод скалится на нее между двух окон. И даже зеркало ничуть не спасло ее от этих чудовищ, потому что отражение в нем говорило: «Как, это ты там стоишь одна-одинешенька? Ах, как ты таращишь глаза!» Да еще из глубины его, казалось, тоже кто-то таращит на нее огромные пустые глаза.

День тянулся медленно и тоскливо, и так же тоскливо было на душе у Китти, пока не подошло время обеда. В кладовке хранилось много вкусной еды, но почему же вкус и аромат ее исчезли вместе с пятью подругами, мисс Папфорд, ассистенткой мисс Папфорд, кухаркой и горничной? К чему теперь аккуратно расстилать скатерть, если за стол садится одно-единственное маленькое существо, которое с утра становилось все меньше и меньше, тогда как пустой дом раздувался все больше и больше! Даже благодарственная молитва у Китти не получилась, и в самом деле — кто же это «мы», кому надлежало «вкусить» и «быть благодарными»?

Вот почему мисс Кимминз, вовсе не будучи благодарной, принялась есть обед весьма неряшливым образом, торопливо запихивая в рот большие куски, что весьма напоминало низших животных вообще, дабы не затрагивать вопрос о свиньях в частности.

Но это было далеко не самое страшное превращение, так изменившее за долгий одинокий день добрую и жизнерадостную девочку. Китти сделалась мрачной и подозрительной. Она обнаружила, что терпит великое множество обид и несправедливостей. На всех, кого она знала, падала тень ее мрачных размышлений, и все тотчас становились дурными.

Конечно, очень мило со стороны овдовевшего папы, который живет в Индии, послать Китти учиться на родину, ежегодно платить довольно круглую сумму мисс Папфорд и писать своей любимой дочурке очаровательные письма! Но разве он думает о том, что его дочь оставляют одну, в то время как сам он с утра до вечера веселится среди людей (без сомнения, он только это и делает). Может быть, папа и послал ее сюда просто для того, чтобы от нее отделаться. Очень на то похоже. Да,

да, сегодня очень и очень на то похоже, потому что раньше ведь подобные мысли никогда не приходили ей в голову.

Ну, а та бывшая воспитанница, что теперь выходит замуж! Какая неслыханная самоуверенность, какое себялюбие с ее стороны — выходить замуж. Просто она очень тщеславна и рада случаю похвастаться. Кстати, скорее всего, она дурнушка. Но даже будь она хорошенькой (хотя такую возможность мисс Kиммин3 начисто отвергала), все равно нечего ей выходить замуж. И даже если свадьба неминуема, нечего было приглашать на нее мисс Папфорд. А что касается самой мисс Папфорд, то она чересчур стара, чтобы ездить на свадьбы. Самой бы пора это знать. Лучше бы занималась своим делом. Воображает, что очень хорошо выглядела сегодня утром. Ничего подобного! Глупая старушонка! И этот «Дж.» тоже глупый старикашка. И ассистентка мисс Папфорд не лучше. А все вместе — просто старые дураки!

Более того, теперь совершенно ясно, что все это — заговор. Вот что они сказали друг другу: «Подумаешь, Китти! Вы от нее удерете, и я удеру. Пускай Китти сама о себе заботится. Кому она нужна?» Тут они, конечно, правы. Да, кому нужна она, бедная, одинокая девочка, против которой все устроили заговор? Никому, никому! Тут Китти разразилась рыданиями.

До сих пор она была любимицей всего дома и сама любила своих пятерых подруг так искренне и нежно, как только может любить детское сердце. Но теперь впервые она увидела всех пятерых девочек в мрачном свете. «Ну еще бы! Сидят теперь каждая у себя дома, за ними ухаживают, их развлекают, их балуют, а до нее никому нет дела! Всякий раз эти коварные лицемерки, вернувшись в пансион, под видом искренней дружбы и доверия рассказывают во всех подробностях — где они побывали, как развлекались, что делали и как то и дело вспоминали ее и повторяли: «Ах, как жаль, что с нами нет нашей маленькой Китти!» Жаль! Как бы не так! Привыкли, что Китти их всегда встречает, и еще сами вечно твердят, что вернуться к Китти, все равно что вернуться в родной дом. Очень мило, но зачем же тогда уезжать, если они так думают? Пусть попробуют на это ответить. Но они

этого не думают и ответить не могут, они просто лгут, а лжецы отвратительны. Ничего, теперь-то она их встретит по-другому, она будет их сторониться, она будет их избегать.

А пока она, одинокая и покинутая, размышляет о своих обидах и о том, насколько она лучше тех, кто наслаждается веселым обществом, свадебный завтрак — уж это наверняка — красуется на столе. Этот противный огромный свадебный торт, и эти нелепые цветы флердоранжа, и эта самовлюбленная невеста, и этот отвратительный жених, и эти бессердечные подружки невесты, и мисс Папфорд там тоже торчит за столом. Они думают, что им очень весело — ничего, ничего, они еще жестоко поплатятся за то, что так думали. Скоро они все умрут, пускай себе радуются на здоровье!»

Мысль об этом доставила Китти возвышенную духовную радость.

О, такую радость, что маленькая мисс Китти Кимминз вдруг вскочила со стула, на котором предавалась раздумьям, и воскликнула:

— Нет, эти черные гадкие мысли — не мои! Это гадкое существо — не я! На помощь, люди! Я гибну в одиночестве, потому что я слаба. На помощь, кто-нибудь!..

— Мисс Кимминз никак не претендует на звание философа, сэр,— заметил Путник, подводя девочку к зарешеченному окну и поглаживая ее по золотистой головке,— но я вижу в ее словах, а в особенности в тех поспешных действиях, которые за ними последовали, крупицу истинной философской мудрости. Действия эти заключаются в том, чтобы выйти из противоестественного одиночества и устремиться на поиски естественного сочувствия, которое проявляют и на которое откликаются. Случай привел ее к этим воротам, и вот она появилась здесь в качестве вашего антипода. Дитя вышло к людям, сэр! Если у вас хватит мудрости поучиться у ребенка (в чем я сомневаюсь, ибо на это требуется бóльшая мудрость, чем та, которой обладает человек в вашем положении), то самое лучшее для вас — последовать ее примеру и выбраться из этого в высшей степени омерзительного логова.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой мы находим Жестянщика

Солнце садилось. Отшельник уже полчаса возлежал на своей куче золы, поворотясь спиной к окну, и не удостоил ни малейшим вниманием обращенный к нему призыв.

Все, что здесь говорилось за последние два часа, сопровождалось звонким аккомпанементом Жестянщика, который, выполняя заказ какого-то жителя деревни, чинил не то котелок, не то чайник и ловко управлялся со своей работой. Музыка Жестянщика еще продолжалась, и Путник решил снова перекинуться с ним словцом. И вот, держа за руку мисс Киммииз, с которой у него завязалась самая тесная дружба, он вышел за ворота и направился через дорогу на лужок, где трудился Жестянщик, подле которого лежал раскрытый ящик с рабочим инструментом и дымился огонек.

— Рад вас видеть при деле,— сказал Путник.

— А я рад быть при деле,— ответил Жестянщик, наводя последний глянец на свою поделку, и поднял глаза на Путника.— А вы-то почему рады?

— Увидев вас утром, я, признаться, подумал, что вы лежебока.

— Просто зло меня тогда разбирало,— пояснил Жестянщик.

— Зло? На такой погожий день?

— На погожий день?! — удивился Жестянщик, широко раскрыв глаза.

— Помнится, вы сказали, что вам до погоды мало дела, вот я и подумал...

— Ха-ха! Солоно бы нашему брату пришлось, если бы мы обращали внимание на погоду. Для нашего брата погода — какая есть, такая и ладно. Да и от всякой погоды есть своя польза. К примеру, для моего ремесла она сегодня плоха, зато хороша для другого дела, а назавтра, глядишь, и мне повезет. Всем жить надо.

— Разрешите пожать вам руку,— попросил Путник.

— Осторожнее, сэр,— предостерег Жестянщик, с удивлением протягивая руку,— эта грязь пристает.



— И отлично,— промолвил Путник.— Я вот несколько часов провел среди грязи, которая не отстает.

— Это вы насчет Тома?

— Да.

— Ну, скажу я вам,— заметил Жестянщик, сдувая пыль с починенной кастрюли,— от такой мерзости и свинье бы тошно стало, если бы она об этом призадумалась.

— Если бы она призадумалась, то, вероятно, перестала бы быть свиньей.

— Это вы в самую точку,— поддержал Жестянщик.— Так что же можно сказать про Тома?

— Право, очень немного.

— Ровным счетом ничего, сэр, хотите вы сказать,— заключил Жестянщик, укладывая свои инструменты.

— Ваш ответ лучше моего и, признаюсь, точно выражает мою мысль. Полагаю, что именно на Тома Тиддлера и было у вас зло?

— Ну, а как же, сэр,— сказал Жестянщик, поднимаясь и усердно вытирая лицо подолом черного фартука.— Судите сами. Получил я вчера вечером работу, и надо было за ночь ее кончить. Вот я, стало быть, и работал всю ночь напролет. Что ж, ничего тут такого нет. Но вот иду я нынче утречком по этой дороге, приглядываю травку помягче, чтобы поспать на солнышке, и вижу: кругом одно запустение, один разор. Сам я знавал горе и лишения. Немало видал я людей, кому в горе и лишениях приходится весь век коротать. Сижу я, присматриваюсь, и такая жалость меня взяла. Смотрю, выходит со двора тот, с длинным языком, про которого я вам давеча рассказывал, и давай дудеть мне про Осла — да простит мне мой осел, что у меня дома! — про того Осла, стало быть, который довел свое жилье до этакой погибели, и все по своей по доброй воле. И взбрендило ему еще ходить в одеяле, голым-чумазым, будто шут вырядился на потеху и устроил себе забаву из того, что и впрямь бывает горькой долей этакой пропасти народу. Вот уж где самая что ни на есть вздорная блажь и от чего меня зло разбирает. Зло и стыд!

— Хотел бы я все же, чтоб вы на него взглянули,— сказал Путник, дружески похлопывая Жестянщика по плечу.

— Нет уж, увольте, сэр,— возразил Жестянщик.— Много для него чести!

— Но он сейчас спит.

— Вы уверены, сэр? — спросил Жестянщик, взваливая на плечо свою котомку.

— Уверен.

— Ладно уж, погляжу на него минутку, не больше, раз уж вы так желаете. Но дольше — ни-ни!

Все трое перешли через дорогу. Сквозь оконную решетку, в угасающих лучах заката, еще достигавших окна через ворота, которые девочка нарочно для этого держала открытыми, было довольно хорошо видно Отшельника на его ложе.

— Видите его? — спросил Путник.

— Да. Он даже пакостнее, чем я думал!

И тогда Путник рассказал шепотом, что делал тут с утра, и спросил у Жестянщика его мнение.

— Сдается мне,— сказал Жестянщик, отвернувшись от окна,— что для него этот день прошел без пользы.

— И я так полагаю. Хорошо еще, что не без пользы для меня. Послушайте, не направляетесь ли вы в сторону «Колокольного звона»?

— Прямиком туда, сэр.

— Приглашаю вас поужинать со мной. А так как мне известно, что этой юной леди по крайней мере три четверти мили нужно идти в том же направлении, мы проводим ее и, составив ей компанию, подождем у садовой калитки возвращения «ее Беллы».

Итак, душистым летним вечером Путник, Дитя и Жестянщик дружно отправились в путь.

И мораль, которую высказал Жестянщик, прежде чем покончить с этой темой, была такова: в его ремесле считается, что уж коли материал ржавеет и портится без пользы, так пусть себе ржавеет и портится,— чем скорее, тем лучше. Ведь сколько доброго материала ржавеет и портится от чересчур долгой и тяжелой службы.

Рецепты доктора Мериголда

I. Принимать безотлагательно

Я коробейник, а имя моего родителя было Уилим Мериголд. Оно правда, люди говорили, что зовут его Уильям, но родитель мой знай твердил свое: Уилим да Уилим. А я по этому спорному вопросу и своему разумению скажу одно: если человеку в свободной стране не позволено знать собственное имя, так что же ему позволено знать в стране рабства? И с помощью метрической записи решить этот спорный вопрос тоже нет никакой возможности, потому что Уилим Мериголд явился на свет до того, как метрические записи пошли в ход,— и покинул его тоже до этого. Да и все равно они были не по его части.

Родился я на большой дороге ее величества, но только тогда это было его величество. По случаю этого события родитель мой привел на выгон к моей родительнице доктора, а тот оказался очень добрым джентльменом и никакой платы, кроме чайного подноса, взять не захотел, так что в знак благодарности и в его честь нарекли меня Доктором. И вот я перед вами, честь имею представиться — Доктор Мериголд.

Сейчас я уже человек в годах, сложения плотного, ношу плисовые штаны, кожаные гетры и жилетку с рукавами, только ее шнурки всегда на спине рвутся. Чини не чини — лопаются, как струны на скрипке. Вы небось бывали в театре и видели, как скрипач слушает свою скрипочку, а та словно шепчет ему по секрету, что не все у

нее в порядке; ну, он начнет ее подкручивать, и тут — бац! — все струны пополам. Точь-в-точь как моя жилетка — то есть насколько жилетка может быть похожа на скрипочку.

Я питаю склонность к белым шляпам и люблю шею обматывать шарфом свободно, так, чтобы нигде не терло. И больше люблю сидеть, чем стоять. Из украшений на мой вкус нет лучше перламутровых пуговиц. Ну, вот я и опять перед вами, как вылитый.

По тому как доктор согласился взять чайный поднос, вы уж, наверное, сообразили, что отец мой тоже был коробейником. Да, оно так и есть. А поднос был очень красивый. Изображался на нем холм с извилистой дорожкой, а по ней шла в маленькую церковь крупная дама. И еще там два лебедя сбились с пути по тому же делу. Называя эту даму крупной, я не имею в виду полноты, потому что, на мой взгляд, она могла бы быть полнее, но зато возмещала этот недостаток высоким ростом; высота и стройность ее были... короче говоря, были высочайшими.

Я частенько видел этот поднос с тех пор, как послужил невинно улыбающейся (а вернее, орущей) причиной того, что доктор поставил его стоймя на шкафчик в своей приемной. Когда мой родитель и моя родительница приезжали в те края, я, бывало, просовывал голову (родительница моя говорила, что в ту пору ее покрывали льняные кудри, хотя нынче вы нипочем не отличите ее от старой половой щетки, пока не возьмете эту щетку в руки и не убедитесь, что это — не я) в докторскую дверь, а доктор всегда радовался моему приходу и говорил: «А, коллега! Входите, входите, дорогой Доктор. Что скажете насчет вот этой монетки?»

Никто из нас не вечен, как вы в свое время узнаете; не вечны были и родитель мой и родительница. Только если не покинешь этот свет разом в час, тебе назначенный, то покидаешь его частями, и два против одного, что первым в путь отправится рассудок. Мало-помалу у родителя моего помутилось в голове, и у родительницы тоже. Помешательство у них было тихое, но все-таки сильно досаждало семейству, у которого я их поселил. Старичкам, хоть они и доживали свой век на покое, взбрело на

ум снова заняться коробейным делом, и они только и делали, что распродавали имущество этого семейства. Чуть накроют стол к обеду, мой батюшка сразу начинает постукивать тарелками и блюдами друг о друга, как это у нас водится, когда мы продаем посуду, да только сноровку-то он уже потерял и все больше ронял их и бил. В былое время матушка сидела в фургоне и подавала оттуда товар вещь за вещью своему старику на подножку; так и тут подавала она ему по очереди все хозяйское имущество, и торговали они в своем воображении с утра до вечера. И вот, наконец, родитель, лежа на одре болезни в той же комнате, что и родительница, вдруг закричал на прежний бойкий лад, промолчав перед тем два дня и две ночи:

— А вот, друзья-приятели, что в деревне устроили клуб «Соловьев» в заведенье «Капуста и пух» — не найти бы на свете прекрасней певцов, кабы только им голос да слух,— а вот, друзья-приятели, заводная фигурка подержанного старика коробейника, во рту ни единого зуба, а в теле каждая косточка болит; совсем как настоящий, и так же был бы хорош, если бы не был лучше, и так же был бы плох, если бы не был хуже, и был бы совсем как новый, не будь он таким старым. А ну, сколько дадите за старика коробейника, который на своем веку распил с дамами столько китайского чая, что пара от него хватило бы, чтобы сорвать крышку с медного бака прачки и зашвырнуть ее на столько тысяч миль выше луны, сколько от ничегошеньки-ничего, поделенного на государственный долг, останется для налога в пользу бедных *, на три меньше, на два больше. Эй вы, дубовые сердца, соломенные людишки, сколько даете за товар? Два шиллинга... шиллинг... десять пенсов... восемь пенсов... шесть пенсов... четыре пенса. Два пенса? Кто сказал — два пенса? Джентльмен в шляпе, снятой с огородного пугала? Стыдно мне за джентльмена в шляпе, снятой с огородного пугала. Очень мне стыдно, что не хватает у него патриотизма. А вот послушайте, что я вам еще предложу. Ну-ка, не скупитесь! Добавлю я еще заводную фигурку старухи, которая вышла за старика коробейника, да так давно, что, клянусь честью, свадьбу справляли в Ноевом ковчеге, когда еще единорог * не успел туда забраться и поме-

шать оглашению, сыграв песенку на своем роге. А ну подходи! Не скупись! Что даете за обоих? Вот послушайте, что я вам еще предложу. Я на вас не в обиде, что вы не торопитесь. Ну-ка, кто предложит хорошие деньги, кто не посрамит свой город? Я тому дам в придачу жаровню без всякой доплаты, а еще одолжу навечно вилку для гренков. Подходи, не скупись! Кто согласится, тот не прогадает. Отдам за два фунта! За тридцать шиллингов... за фунт... за десять шиллингов... за пять... за два шиллинга шесть пенсов! Даже два шиллинга шесть пенсов никто не предложит? Два шиллинга три пенса? Нет! Такой товар за два шиллинга три пенса я не отдам. Лучше уж просто подарю, коли ты такая красотка. Эй, хозяйка! Вали старика и старуху в тележку, запрягай лошадь да вези их на погост!

Таковы были последние слова Уилима Мериголда, моего родителя, и все по ним и вышло: схоронили его вместе с женой, моей родительницей, в один и тот же день, и уж кому это лучше знать, как не мне,— я ведь самолично шел за дрогами.

Отец мой в свое время умел подать товар лицом — что видно из его предсмертной речи. Но только я его превзошел. И говорю я так не из похвальбы — спросите кого хотите из тех, кто его слышал и может нас сравнить. Для этого мне немало пришлось потрудиться. Я примерялся к другим ораторам: к членам парламента, к государственным деятелям, к проповедникам, к ученым законникам — и если они были хороши, я у них что-нибудь заимствовал, а если они были плохи, я их не трогал. И вот послушайте, что я вам скажу: я и в смертный час буду утверждать, что из всех сословий, которые в Великобритании не пользуются почетом, меньше всего уважают сословие коробейников. Почему наше занятие не считается достойным? Почему мы не пользуемся привилегиями? Почему нас заставляют брать разрешение на розничную торговлю, а от торгующих в розницу политиков никто такого разрешения не требует? В чем разница между нами? Только в том, что мы продаем дешево, а они запрашивают втридорога; а если и есть другие различия, то все они тоже в нашу пользу.

Сами подумайте! Скажем, настанет время выборов.

В субботний вечер на базарной площади я стою на подножке своего фургона и предлагаю свой товар. Я говорю:

— А ну подходите, свободные и независимые избиратели! Такого случая вам с рождения не подвертывалось, да и до рождения тоже. Послушайте, что я вам предложу. Вот две бритвы, побреют вас чище, чем Опекунский совет; * а вот утюг, до того хорош, что хоть на вес золота его покупайте — не пожалеете; а вот сковородка, пропитанная бифштексовым соком,— только купите, а там до самой смерти жарьте на ней хлеб и объедайтесь мясной пищей; а вот настоящий хронометр в футляре из чистого серебра, такой тяжелый, что поздней ночью, вернувшись домой с веселой встречи добрых друзей, только стукните им в дверь, так сразу поднимете и супругу и все семейство, а молоток сбережете для почтальона; а вот полдюжины обеденных тарелок, чтобы мелодичным стуком развеселить младенца, когда младенец закапризничает. Погодите-ка! Дам я вам еще придачу. Да не простую, а вот эту скалку, и чуть только младенчик засунет ее в рот поглубже, когда у него зубы режутся, да потрет ею десну, так они сразу в два ряда и полезут, а он-то смеяться будет, точно его щекочут. Погодите-погодите! Дам я вам еще одну придачу, потому что не нравятся мне ваши глаза — сразу видно, покупать вы будете только, если я продам себе в убыток; и еще потому, что я согласен и на убыток, лишь бы только сегодня деньжатами разжиться; ну, вот вам еще зеркало, чтобы вы видели, какой у вас мерзкий вид, когда вы молчите и не предлагаете честную цену. Ну, что вы теперь скажете? Эй, не скупитесь! Это вы сказали — фунт? Да уж, конечно, не вы — где у вас взяться фунту! Вы сказали — десять шиллингов? Да уж, конечно, не вы — вы за свечи побольше задолжали. Ну так слушайте, что я вам предложу. Вот он, весь товар, на подножке — и бритвы, и утюг, и сковородка, и часы-хронометр, и обеденные тарелки, и скалка, и зеркало,— забирайте-ка всю кучу за четыре шиллинга, а я вам шесть пенсов уплачу за беспокойство.

Так торгую я — настоящий коробейник. Но в понедельник утром на той же базарной площади вылезает на помост — он у него вместо фургона — коробейник-политик, и что же говорит он?

— А ну, свободные и независимые избиратели! Такого случая вам с рождения не подвертывалось,— начинает он точь-в-точь, как я.— Вы можете избрать в парламент *меня*. Послушайте, что я собираюсь вам предложить. Вот интересы этого великолепного города под столь надежной защитой, какой еще не видывал цивилизованный мир, да и нецивилизованный тоже. Вот ваша железная дорога утверждена, а ваши соседи остались без дороги. Вот все ваши сыновья зачислены в почтмейстеры. Вот Британия ласково вам улыбается. Вот глаза всей Европы с восторгом устремлены на вас. Вот вам всеобщее процветание, изобилие мясной пищи, золотые нивы, счастливые очаги и ваши собственные сердечные рукоплескания — и все это в одном товаре, во мне. Берете вы меня таким, каков я есть? Ах нет? Ну так вот что я вам еще предложу. Не скупитесь! Дам я вам в придачу все, что захотите. Вот, пожалуйста! Церковные налоги, отмену церковных налогов, повышение налога на солод *, отмену налога на солод, наилучшее всеобщее образование или наихудшее всеобщее невежество, полное уничтожение телесных наказаний в армии или обязательная ежемесячная дюжина горячих для всех рядовых. Бесправие мужчин или равноправие женщин — только скажите, что вам по вкусу, огромный выбор, и я всецело разделяю ваше мнение, забирайте весь товар на ваших собственных условиях. Согласны? Все-таки не берете? Ну, так я вам вот что еще предложу. Не скупитесь! Вы же такие свободные и независимые избиратели, я же так горжусь вами, вы же такое благородное и просвещенное собрание, я же так жажду неслыханной чести стать вашим представителем — ведь она далеко превосходит самые высокие устремления человеческого духа,— и я хочу предложить вам вот что. Я дам вам в придачу бесплатно все питейные заведения вашего великолепного города. Ну как, довольны? Нет? Все еще не хотите взять товар? Ну ладно, прежде чем запрячь лошадь и предложить все это следующему великолепному городу, который окажется на моем пути, я вам вот что еще скажу. Берите товар, а я разбросаю по улицам вашего великолепного города две тысячи фунтов — пусть подбирают, кому не лень. Мало? Ну, послушайте, вот мое последнее слово. Две тысячи пятьсот! И все-таки вы не согласны? Эй,

хозяйка! Запрягай лошадь... нет, постой. Не хочу я с вами из-за такого пустяка ссориться и даю две тысячи семьсот пятьдесят фунтов. Да ну же! Берите товар на ваших собственных условиях, а я отсчитаю две тысячи семьсот пятьдесят фунтов и положу их на подножку фургона, чтобы потом разбросать по улицам вашего великолепного города для тех, кому не лень подбирать. Ну, что скажете? Не скупитесь! Таких выгодных условий вам никто не предложит, смотрите, как бы не прогадать! Берете? Ура! Снова продан, и место за мной!

Эти коробейники-политики до того льстят публике, что слушать противно; а мы, настоящие коробейники, так никогда не делаем. Мы говорим людям правду в глаза и не снисходим до того, чтобы их улещивать. А уж в уменье пустить получше пыль в глаза нам с коробейниками-политиками не тягаться. У нас, простых коробейников, считается, что при распродаже больше всего можно наговорить про охотничье ружье с патронами — кроме, конечно, пары очков. Я иной раз четверть часа разглагольствовал про патроны, и еще много чего оставалось несказанным. Но когда я объясняю, как хороши мои патроны да какую крупную дичь с ними можно бить, далеко мне до хвалебных речей, что произносят коробейники-политики в честь своих патронов — тех, которые их сюда послали. Я-то веду свое дело сам и на базарную площадь отправляюсь без всякого приказа, не то что они. Да к тому же мои-то патроны не знают, как я их расхваливаю, а их патроны знают, и всей этой компании следовало бы постыдиться такого своего поведения. Вот почему я говорю, что сословие коробейников в Великобритании презирают, и вот почему я горячусь, когда вспоминаю, какими путями эти другие коробейники забираются повыше, чтобы глядеть на нас сверху вниз.

Я и предложение моей жене сделал с подножки фургона — да, да, так оно и было! Девушкой жила она в Суффолке *, и случилось это на рыночной площади в Ипсвиче *, как раз напротив фуражного склада. А я еще раньше заприметил ее у окошка — в предыдущую субботу это было, и она мне все улыбалась. Очень она мне понравилась, и я сказал себе: «Если этот товарец еще не продан, я его заберу». И вот, как настала следующая суббота,

поставил я фургон на том же самом месте и уж просто соловьем разливался — все кругом так и покатывались со смеху, и торговля шла бойко. Под конец вынул я из жилетного кармана маленькую штучку, завернутую в тонкую бумагу, поднял ее повыше и повел такую речь (а сам все на ее окошко поглядываю):

— Ну-ка, послушайте меня, красавицы, вот последний товар на сегодняшней распродаже, и предложу я его только вам, распрекрасные суффолкские пышечки, на чью красоту и налюбоваться нельзя; а мужчине я его не отдам даже за тысячу фунтов. Так что же это такое? А вот я вам расскажу, что это такое. Сделано из чистого золота, и совсем целое, хоть посередине дырка; крепче оно самой крепкой цепи, хоть и меньше любого моего пальца из всех десяти. Почему десяти? Да потому, что, когда получил я наследство от родителей, было там, чтобы не соврать, двенадцать простынь, двенадцать полотенец, двенадцать скатертей, двенадцать ножей, двенадцать вилок, двенадцать столовых ложек и двенадцать чайных ложечек, а вот пальцев мне до дюжины двух не хватило, и до сих пор подходящих подобрать не удалось. Ну, а все-таки, что это такое? Вот я вам сейчас скажу. Это обруч из литого золота, завернутый в серебряную бумагу для завивки, которую я сам снял с глянцевитых кудрей вечно прекрасной старой леди на Трэднидл-стрит в лондонском Сити. Я бы вам этого не сказал, если бы не мог предъявить бумагу — без нее вы даже мне не поверили бы. Ну, а все-таки, что это такое? Капкан для мужчин и приходские колодки, наручники и кандалы с ядром, все из золота и все в одном. Ну, а все-таки, что это такое? Это обручальное кольцо. А теперь я вам скажу, что я собираюсь с ним сделать. Денег я за него не возьму, а просто подарю той из вас, красотки, кто засмеется первой, а завтра приду к ней в гости ровнехонько в половине десятого, чуть пробьют церковные часы, и пойдем мы с ней погулять, чтобы условиться об оглашении.

Тут *она* засмеялась и получила кольцо. А когда я пришел к ней утром, она как вскрикнет:

— Да это и взаправду вы! Неужто вы это взаправду?

— Это взаправду я,— отвечаю,— и я взаправду ваш, и все это я взаправду.

Ну, мы и поженились после троекратного оглашения — вот так и мы, коробейники, свой товар трижды выкликаем, что доказывает, насколько наши обычаи приняты в светском обществе.

Женой она была неплохой, да только оказалась женщиной с норовом. Согласись она расстаться с этим товаром хоть в убыток, я бы не обменял ее ни на одну красавицу во всей стране. Правда, я ее и так не обменял, и жили мы вместе до самой ее смерти — а всего тринадцать лет. Так вот, благородные дамы и господа, открою я вам одну тайну, хоть вы все равно не поверите. Тринадцать лет норова во дворце доведут до белого каления худшего из вас, но тринадцать лет норова в фургоне доведут до белого каления даже лучшего из вас. Ведь в фургоне никуда от этого норова не денешься. Тысячи супружеских пар в больших особняках живут душа в душу, а в фургоне они отправились бы прямехонько в бракоразводный суд. Может, тут тряска повинна — не берусь решать; но только в фургоне все это как-то особенно заметно. Скандал в фургоне — всем скандалам скандал, а свара в фургоне — всем сварам свара.

А до чего приятно могли бы мы жить! Просторный фургон — все громоздкие товары висят снаружи, а кровать в дороге прицепляется снизу,— чугунный котел, чайник, печка для холодной погоды, труба для дыма, полка для кастрюль, буфет, собака и лошадь. Ну, чего еще можно пожелать? Съедешь где-нибудь с дороги на травку, стреножишь старого конягу и пустишь его пастись, разведешь костер на золе, оставшейся от других путников, состряпаешь жаркое — и сам французский император тебе не брат. Ну, а как заведется в фургоне норов, да польется брань, да полетят в вас самые увесистые товары — каково вам тогда будет? Ну-ка, скажите — каково?

Мой пес не хуже меня чувствовал, когда на нее находило. Не успеет она еще рта раскрыть, он тут же взвизгнет и пустится наутек. Как он догадывался, ума не приложу, но только даже среди самого крепкого сна он без ошибки просыпался, взвизгивал и пускался наутек. И до чего я жалел, что не могу поменяться с ним местами!

А хуже всего то, что у нас родилась дочка, а я без памяти люблю детей. Чуть она начинала беситься, как принималась избивать девочку. Когда той исполнилось четыре годика, до того это стало страшно, что я, бывало, иду с кнутом на плече рядом со старым конягой, а сам-то слезами заливаюсь и рыдаю сильней даже крошки Софи. Ведь помешать-то этому я не могу! Как помешаешь, когда дело касается такого норова — в фургоне ведь драки не избежать. Таковы уж размеры и форма фургона — без драки не обойтись. А тогда моя бедняжечка пугалась пуще прежнего, да и доставалось ей еще больше, а потом ее мать бросалась с жалобами к первому встречному, и по всей округе говорили, что «негодяй коробейник бьет свою жену».

А крошка Софи была такой терпеливой! Она очень любила своего беднягу отца, хотя он и не мог ей ничем помочь. Волосы у нее были густые и черные и вились от природы. Одного я не понимаю — почему я не сошел с ума, когда смотрел, бывало, как она бежит перед фургоном, увертываясь от своей матери, а мать хватает ее за кудри, валит на землю и начинает колотить.

Я сказал, что она была терпеливой. И сколько ей приходилось терпеть!

— В следующий раз ты не обращай внимания, папочка,— шептала она мне, а ее личико еще пылало, и в ясных глазках блестели слезы.— Если я не кричу, значит, мне не очень больно. А даже если и закричу, то просто чтобы мать меня скорее отпустила.

Сколько эта девчушка терпела... ради меня... и не кричала.

Но в остальном мать очень о ней заботилась. Платьица ее всегда были чистенькими и аккуратными, и мать без устали стирала их и чинила. Вот какая несуразица бывает в жизни! Ездили мы в дождливую погоду по болотистому краю: потому-то, думается мне, и захворала Софи лихорадкой; но отчего бы это ни случилось, едва она заболела, как навсегда отвернулась от матери и ни за что не позволяла той даже прикоснуться к себе. Когда мать протягивала к ней руки, она вся содрогалась и шептала — «нет, нет, нет», а потом прятала личико у меня на плече и крепче обнимала меня за шею.

А торговля шла из рук вон плохо, просто не упомню, когда еще так бывало — то да се (да железные дороги, которые еще положат конец коробейному делу, помяните мое слово!), и остался я совсем без гроша. И вот как-то вечером, когда Софи было совсем худо, оказалось, что ни есть, ни пить нам нечего, и пришлось мне остановить фургон и разложить товары.

Только девочка моя милая никак не хотела лечь и меня от себя не отпускала, да, по правде сказать, у меня и духу не хватало ее уговаривать — так я с ней и вышел на подножку. А они, чуть нас увидели, все прямо покатились со смеху, и один тупоголовый боров (просто убил бы его на месте!) заорал во всю мочь: «Даю за нее два пенса! Кто больше?»

— Эй вы, деревенские олухи,— говорю, а на сердце у меня такая тяжесть, словно туда дроби насыпали,— предупреждаю вас, что повыманю у вас денежки из карманов, а взамен надаю столько добра, что с этих пор будете вы ходить за своим жалованьем по субботам только в надежде опять меня повстречать да со своими деньгами расстаться, но только не видать вам меня больше, как своих ушей! А почему? А потому, что я разбогател, продавая свои товары на семьдесят пять процентов дешевле, чем сам за них платил, и на той неделе вознесут меня в Палату Лордов и дадут мне титул герцога Офени, маркиза Коробейника. Ну-ка, скажите, чего вам сегодня надобно, и что ни пожелаете, все получите. Но сперва рассказать вам, почему я держу на руках эту девочку? Вы и знать не хотите? Ну, так сейчас узнаете. Она фея. И умеет предсказывать будущее. Вот она мне пошепчет на ухо, и я все про вас узнаю — даже возьмете вы товар или нет. Ну, так вот: нужна вам пила? Нет, говорит она, не нужна, уж больно вы неуклюжи. А такая бы пила для умелого человека на всю жизнь была б кормилицей за четыре шиллинга... за три шиллинга шесть пенсов... за три... за два шиллинга шесть пенсов... за два... за полтора. Только никто из вас ее не получит — при вашей всем известной неуклюжести это уже на человекоубийство смахивало бы. Потому и этих трех рубанков я вам не продам, так что и не торгуйтесь даже. А теперь я ее спрошу, чего вам надобно. (Тут я шепнул: «У тебя такой горячий лобик, ра-

дость моя,— наверно, головка очень болит?», а она ответила, не открывая усталых глаз: «Совсем немножко, папочка».) Ага! Моя гадалочка говорит, что нужна вам записная книжка. Так чего же вы молчите? Вот она. Глядите хорошенько. Двести листов первосортной тисненой веленевой бумаги — коли не верите, сами пересчитайте,— уже разлинованных под ваши расходы, да еще навечно отточенный карандаш, чтобы их записывать, да еще перочинный нож с двумя лезвиями, чтобы их выскребать, да еще печатная таблица, чтобы подсчитывать доходы, и складной табурет, чтобы было на что сесть, когда вы пожелаете этим заняться! И еще зонтик, чтобы прятаться от луны, коли вздумаете взяться за это дело в безлунную ночь. Какую же цену дадите вы за все вместе? Я ведь не спрашиваю, кто больше, а кто меньше? Самую что ни на есть малость? Не стыдитесь, говорите вслух — ведь моя гадалочка и так это знает. (Тут я притворился, будто шепчу ей что-то, и поцеловал ее, а она поцеловала меня.) Эге! Да она говорит, что вы додумались до такой низости, как три шиллинга три пенса! Такому я не поверил бы даже про вас, если бы это не она мне сказала. Три шиллинга три пенса! А ведь к книжке прилагаются таблицы, с которыми ваш доход можно будет рассчитать до сорока тысяч фунтов годовых! С годовым доходом в сорок тысяч фунтов вам жалко потратить три шиллинга три пенса, скряги вы этакие! Ну, так послушайте, что я вам скажу: я до того презираю трехпенсовики, что уж лучше возьму чистых три шиллинга. Значит, по рукам. За три шиллинга, три шиллинга, три шиллинга! Продано. Ну-ка, передайте товар счастливчику.

Только и трех-то шиллингов никто не предлагал, ну, и стали они переглядываться и пересмеиваться, а я погладил Софи по щечке и спросил, не дурно ли ей, не кружится ли у нее головка.

— Чуть-чуть, папочка. Скоро совсем пройдет.

Потом я отвернулся от милых терпеливых глазок, которые теперь были открыты, но ничего не видели, кроме моей плошки с горящим салом да ухмыляющихся рож, и опять затараторил:

— Где ваш мясник? (Сквозь навернувшиеся слезы я как раз заметил, что к толпе подошел толстый молодой

мясник.) Она говорит, что счастье выпало мяснику. Где же он?

Тут покрасневшего мясника вытолкнули в первый ряд, и поднялся такой хохот, что ему только и оставалось сунуть руку в карман и расплатиться за покупку. Когда вот так выкликаешь покупателя, он почти всегда берет товар — в четырех случаях из шести. Потом я продал еще такую же книжку с теми же приложениями на полшиллинга дешевле, что всегда очень потешает зрителей. Тут дошла очередь до очков. Товар это не ходкий, но я вздел их на нос и сказал, что вижу, как канцлер собирается снизить налоги, и чем занимается дома дружок вон той девушки в шали, и какие блюда подают на обед епископам — ну, и еще много всякой всячины, которая веселит честной народ. А чем они веселее, тем больше дают. Потом пошел в ход дамский товар — фарфоровый чайник, чайница, стеклянная сахарница, полдюжины ложечек и подставка для яйца. И все это время я то и дело ссылался на свою гадалку, чтобы посмотреть на свою бедную девочку да чтобы шепнуть ей словечко. Но когда все глазели на второй дамский набор, Софи вдруг приподняла головку с моего плеча и стала всматриваться в темный проулок.

— Что тебя тревожит, радость моя?

— Ничего, папочка, ничего. Только там и правда видно красивое кладбище?

— Да, родная.

— Папочка, милый, поцелуй меня два раза и положи меня отдохнуть на кладбищенскую траву. Она такая мягкая и зеленая.

Головка ее опять упала ко мне на плечо, а я, шатаясь, отступил внутрь фургона и сказал ее матери:

— Быстрее! Закрой дверь, чтобы эти зеваки ничего не видели!

Она закричала:

— Что случилось?!

— Женщина! — говорю я ей.— Больше ты не будешь таскать мою крошку Софи за волосы, она навсегда вырвалась из твоих рук!

Может, слишком это были жестокие слова, но только с тех пор стала моя жена все чаще задумываться: то сидит

в фургоне, то идет рядом с ним, скрестив руки и уставившись в землю — и так много часов подряд. Когда на нее находило — правда, теперь это случалось совсем редко,— вела она себя совсем-по другому и так билась головой о стенки, что мне приходилось держать ее силой. И к бутылке она стала порой прикладываться, а это ей тоже на пользу не шло, и в те года, шагая рядом с моим старым конягой, я подчас задумывался, много ли найдется на дорогах таких унылых фургонов, как наш, хоть я и слыл королем коробейников. Так и тянулась наша тоскливая жизнь, пока однажды, возвращаясь летом из Западной Англии, не въехали мы вечером в Эксетер * и не увидели, что какая-то женщина колотит девочку, а та все кричит: «Не бей меня! Мама, мама, мамочка!» Тут моя жена заткнула уши и как безумная бросилась прочь, а на следующий день ее тело вытащили из реки.

Остались мы в фургоне вдвоем — я и мой пес. Я научил его тявкать, когда честной народ мялся и не предлагал своей цены, а еще тявкать и кивать, когда я спрашивал его: «Кто сказал полкроны? Это вы, сэр, предложили полкроны?» Он скоро стал знаменитостью и, хотите верьте, хотите нет, сам научился рычать на тех, кто предлагал не больше шести пенсов. Но лет ему было уже немало, и как-то вечером, когда я продавал в Йорке очки и вся толпа хохотала до судорог, у него тоже начались судороги, только совсем другого рода, и он сдох прямо на подножке рядом со мной.

Человек я по натуре привязчивый, так что после этого и вовсе извелся с тоски. В часы торговли я с ней еще справлялся, потому что приходилось заботиться о своей репутации (да и о своем пропитании тоже), но стоило мне остаться одному, как она меня совсем одолевала. Так вот оно и бывает с нами, любимцами публики. Поглядите на нас, пока мы на подножке, и вы согласитесь дорого заплатить, чтобы поменяться с нами местом. Поглядите, каковы мы, когда сходим с подножки, и вы добавите еще чуть-чуть, лишь бы расторгнуть сделку. Вот в такое-то время я и разговорился с великаном. Кабы не моя тоска, я, наверное, посчитал бы такое знакомство слишком низким. Вообще-то, когда ведешь кочевую жизнь, не след знаться с самозванцами и обманщиками. Если человек не

может заработать на хлеб насущный с помощью своих натуральных способностей, то он тебе не компания. А этот великан во время представления выдавал себя за римлянина.

Был он слабосильный юноша, что я объясняю расстоянием между его противоположными концами. Голова у него была маленькая, а в ней и того меньше, был он жидковат в коленках и подслеповат — одним словом, как взглянешь на него, так и поймешь, что велик он не по суставам и не по разуму. Впрочем, юноша он был вежливый, хоть и робкий (его маменька сдавала его внаймы, а деньги тратила сама), и мы с ним познакомились, когда он шел пешком, чтобы дать отдохнуть лошади между двумя ярмарками. Звался он Ринальдо ди Веласко, потому что фамилия его была Пиклсон *.

Этот великан, а другими словами Пиклсон, сообщил мне по секрету, что не только он сам себе тяжкая ноша, но и жизнь стала ему тяжкой ношей из-за того, что его хозяин жестоко обращается со своей глухонемой падчерицей. Мать ее умерла, вступиться за нее было некому, и бедняжке приходилось несладко. Ездила она с их балаганом только потому, что негде было ее оставить, и этот великан, а другими словами Пиклсон, был даже убежден, будто его хозяин нарочно старается где-нибудь ее потерять. Этот юноша был таким слабосильным, что уж не знаю, сколько времени ему понадобилось, чтобы изложить всю историю, но в конце концов она добралась-таки до его верхней оконечности, хоть у него и была повреждена циркуляция флюидов.

Когда я услышал все это от великана, а другими словами Пиклсона, да узнал к тому же, что у бедняжечки длинные черные кудри и ее за них хватают, валят наземь и колотят, у меня совсем глаза застлало. Вытер я их и дал ему шестипенсовик (кошелек-то у него был такой же тощий, как он сам), а он его потратил на две кружки джина с водой — по три пенса за кружку, и до того разошелся, что спел модную песенку «Знобки-ознобки, ну и мороз!». А ведь его хозяин чего только не пробовал, чтобы того же от него добиться, как от римлянина — и все впустую!

Звали его хозяина Мим, грубый был человек и немножко мне знакомый. На эту ярмарку я отправился как

частное лицо, а фургон оставил за городом; пока шло представление, я стал обходить балаган сзади и, наконец, увидел бедняжку глухонемую — дремлет себе, прижавшись к грязному колесу повозки. Сперва мне показалось, что она сбежала из зверинца, но потом, когда я хорошенько ее разглядел, то подумал, что, если бы о ней заботились побольше, да били поменьше, была бы она очень похожа на мою дочурку. И лет ей было столько, сколько исполнилось бы Софи, если бы в тот злосчастный вечер ее головка не упала мне на плечо.

Ну, долго тут рассказывать нечего: я поговорил по душам с Мимом, пока тот бил в гонг перед балаганом, зазывая на Пиклсона свежую публику, и вот что ему предложил: «Для вас она обуза, что вы за нее просите?» Мим был ужасный ругатель. Если пропустить ту часть его ответа, которая была длиннее всего, то сказал он мне вот что:

— Пару подтяжек.

— Вот послушайте, что я вам предложу,— говорю я.— Сбегаю-ка я к фургону за полдюжиной отличнейших подтяжек, а потом заберу ее с собой.

А Мим отвечает (опять с добавлением):

— Поверю только, когда своими глазами увижу товар, и не раньше.

Я побежал со всех ног, пока он не передумал, и сделка состоялась, а у Пиклсона до того на душе полегчало, что он как змея выполз из своей маленькой дверцы и на прощанье спел нам шепотом «Знобки-ознобки» между колесами.

Тот день, когда я поселил Софи в фургоне, был счастливым для нас обоих. Я ее сразу назвал Софи, чтобы она навсегда стала для меня, как моя дочка. Когда она сообразила, что от меня ей будет только добро и ласка, мы с божьей помощью скоро научились понимать друг друга. И до чего же она меня полюбила! Нет, вы не знаете, что это значит, если кто-нибудь так вас полюбит — разве что и вас тоска да одиночество одолевали, как меня в те дни, о которых я уже говорил.

Ну и смеялись бы вы — а может, как раз наоборот, это уже зависит от вашего характера,— если бы видели, как я обучал Софи грамоте. Сперва мне в этом помогали —

вот ни за что не догадаетесь — придорожные столбы. У меня в коробке была азбука — каждая буква на отдельной костяной пластинке,— и вот, скажем, едем мы в Виндзор: я даю ей эти буквы в нужном порядке, а потом на каждом столбе показываю ей те же буквы в том же самом порядке, а потом — на королевский дворец. В другой раз я даю ей *фургон* и пишу это слово мелом на нашем фургоне. Потом даю ей *Доктор Мериголд* и прицепляю такую же надпись на свою жилетку. Прохожие пялили на нас глаза и смеялись, но мне было все равно — лишь бы она поняла, в чем тут дело. И она поняла — правда, немало потребовалось трудов и терпения,— а уж тогда все пошло как по маслу, можете мне поверить! Сперва она иной раз считала, что я фургон, а фургон — королевский дворец, но это скоро прошло.

Потом мы придумали свои собственные знаки, и было их несколько сотен. Бывало, сидит она, глядя на меня, и соображает, как поговорить со мной про что-нибудь новое, как спросить меня о том, чего она не понимает — и в эти минуты она становилась (или мне только казалось — да не все ли равно?) так похожа на мою родную дочку, только подросшую, что я порой всерьез думал, не она ли это сама старается рассказать мне о небесах и обо всем, что ей довелось повидать с той страшной ночи, когда она упорхнула от меня. Личико у нее было очень хорошенькое, и теперь, когда ее глянцевитые волосы были всегда причесаны, потому что никто ее за них не таскал, в ней появилась какая-то особенная трогательность, и воцарилось в фургоне мирное спокойствие, но совсем не похожее на меланхолию (между прочим, мы, коробейники, называем ее лимондолией, и тут публика всегда смеется).

Просто удивительно, как она научилась понимать каждый мой взгляд. Когда я торговал, она сидела в фургоне, и снаружи ее никто не видел, но стоило мне туда заглянуть, она посмотрит мне в глаза и сразу подаст именно то, что мне нужно. А потом захлопает в ладоши и засмеется от радости. А мне-то, когда я видел ее такой веселенькой и вспоминал, как она спала, прислонившись к грязному колесу — голодная, вся в синяках, одетая в лохмотья, мне-то до того хорошо становилось, что я еще больше прославился и упомянул Пиклсона (под именем



Странствующий Мимов Великан, а другими словами Пиклсон) в своем завещании — оставил ему пять фунтов.

Так и жили мы с ней счастливо в фургоне, пока ей не исполнилось шестнадцать. И тут стала меня мучить мысль, что я больше о себе думаю, а не о ней, что нужно бы найти ей учителей получше, чем я. Немало мы с ней поплакали, когда я сказал ей про это. Но что нужно, то нужно, и тут ни слезами, ни смехом ничего не изменишь.

Взял я ее однажды за руку и повел в лондонский Приют для глухонемых, и когда к нам вышел какой-то джентльмен, я ему и говорю:

— Ну так вот что я вам предложу, сэр. Я всего только коробейник, но все же за последние годы отложил кое-что на черный день. Это моя единственная дочь (приемная), и самая что ни на есть глухая и немая. Обучите ее всему, чему ее можно обучить, за самую короткую разлуку, какую только можно, назовите цену — и я выложу вам деньги полностью. Ни единого фартинга не стану у вас выторговывать, сэр, а выложу все деньги вот сейчас, не сходя с места, да еще с благодарностью накину фунт, только бы вы их взяли. Вот так-то!

Тут джентльмен улыбнулся и говорит:

— Ну-ну,— говорит он,— только я сперва должен узнать, что она уже умеет. Покажите, как вы с ней объясняетесь.

Тут я ему показал, а она написала печатными буквами названия всяких вещей и все прочее, а потом мы с Софи поболтали о сказочке, которую ей дал джентльмен и которую она сумела прочесть.

— Просто чудеса,— говорит он,— неужели, кроме вас, ее никто не учил?

— Никто, сэр,— отвечаю я,— если не считать ее самой.

— Значит,— говорит джентльмен, и приятнее слов мне не доводилось слышать,— вы умный человек и добрый человек.

Потом он знаками повторил Софи то, что сказал мне, а она давай целовать ему руки, хлопать в ладоши, смеяться и плакать.

Всего мы побывали у этого джентльмена четыре раза, а когда он записал мое имя и спросил, как это я стал Док-

тором, оказалось, что он — родной племянник по женской линии того самого доктора, в честь которого я был наречен. После этого мы стали совсем друзьями, и вот он мне и говорит:

— Скажите-ка мне, Мериголд, чему еще хотели бы вы обучить свою приемную дочь?

— Хотелось бы мне, сэр, чтобы она как можно меньше страдала от своего несчастья и не чувствовала бы себя совсем оторванной от других людей, а для этого научилась бы читать все, что написано, с полной легкостью и удовольствием.

Тут он как раскроет глаза и говорит:

— Да что вы, милейший, я и сам-то этого не умею.

Я, конечно, понял, что он шутит, посмеялся как положено (уж мне ли не знать, каково это, когда на твои шутки не смеются!), а потом объяснил ему все подробнее.

— Ну, а дальше что,— спрашивает меня джентльмен вроде как бы с сомнением,— будете возить ее с собой по всей Англии?

— Так ведь это же в фургоне, сэр. Фургон будет ей надежным приютом. Не стану же я ее показывать всяким зевакам. Да я бы ни за какие деньги на это не согласился!

Тут мой джентльмен кивнул, и вроде бы с одобрением.

— Ну,— говорит он,— а согласитесь ли вы расстаться с ней на два года?

— Для ее пользы, сэр? Конечно, соглашусь.

— И еще один вопрос,— говорит он, а сам на нее поглядывает.— А она согласится на два года расстаться с вами?

Уж не думаю, чтобы ей это было тяжелее, чем мне (мне ведь было так тяжело — дальше некуда), но только уговорить ее оказалось куда труднее. Однако она, наконец, смирилась, и настало для нас время расстаться. Не буду рассказывать, как мы с ней горевали — у меня просто душа надрывалась, когда отвел я ее туда темным вечером. Одно скажу: с тех пор, чуть увижу это заведение, так сердце у меня и заноет, а на глазах слезы навертываются — и уж на этой улице я не смог бы продать даже самый лучший товар — да-да, ни охотничьего ружья, ни даже пары очков, хоть бы за пятьсот фунтов награды от

самого министра внутренних дел, да еще с правом усесться потом в его мягкое кресло в придачу.

Опять в фургоне стало одиноко, но одиночество это было совсем другого сорта,— ведь ему должен был прийти конец, хоть и не скоро, и чуть мне взгрустнется, я начинал думать, что у меня есть Софи, а у Софи есть я. И, готовясь к ее возвращению, я уже месяца через три-четыре купил еще один фургон, и как по-вашему, что я решил с ним сделать? Вот я вам сейчас расскажу. Решил я соорудить в нем полки для ее книжек и еще сидение, чтобы сидеть на нем и смотреть, как она читает, и думать, что первым-то ее учителем был я. Торопиться было некуда, и вот под моим присмотром сколотили полки, прочные и красивые; в уголке за занавеской поставили ее кровать, вот тут — ее пюпитр для чтения, вон там — ее письменный стол, все остальное место заняли ее книжки: с картинками и без картинок, в переплетах и без переплетов, с золотым обрезом и просто так — все, что я сумел накупить для нее, разъезжая по стране на север, на запад, на юг, на восток: где ветер гулял, гулял ветерок, здесь вот и там вот, здесь вот и там, и полетел по горам, по долам. А когда я набрал столько книжек, сколько на полках уместилось, пришел мне в голову новый план, и так много сил и времени тратил я на его исполнение, что два года не показались мне такими уж длинными.

Человек я совсем не скупой, но люблю быть полным хозяином своих вещей. Вот, например, я не взял бы вас к себе в компаньоны. И не потому, что вам не доверяю, а просто я люблю знать, что мое — это мое; да и вам небось тоже нравится, что ваше — это ваше. Ну так вот, стала меня брать досада, как подумаю, что все эти книги уже до нее кто-то читал. И вроде как она им не будет полная хозяйка. И тут мне в голову пришла мысль: а не сумею ли я изготовить книжку совсем свеженькую, только для нее, чтобы она ее самая первая прочла?

И очень мне эта мысль понравилась, а как я не из тех, кто теряет мысли даром (в коробейном-то деле мысли денег стоят, и кто их на ветер бросает, от того толку не будет), то и взялся за дело немедля. Я ведь знал, что в моих разъездах уж наверное доведется мне то тут то там встретиться с писателем и заключить с ним сделку, а раз так,

то я и решил, что будет моя книжечка целым набором товаров — вот как те бритвы, утюг, хронометр, обеденные тарелки, скалка и зеркало,— а не пойдет в розницу, вроде, скажем, очков или охотничьего ружья. Вот, значит, что я надумал, да и еще кое-что, о чем вам сейчас тоже расскажу.

Не раз меня жалость брала, что Софи не может послушать, как я держу речь с подножки, и никогда не сможет. И вовсе я не так уж кичился своим даром, да ведь и вы небось не захотите прятать свои таланты. Чего стоит репутация, коли самый для вас дорогой человек не может узнать, чем вы ее заслужили? Ну-ка, скажите. Стоит ли она шесть пенсов... пять... четыре... три... два пенса... один пенс, наконец? Или полпенса, или фартинг? Нет, не стоит. Даже фартинга не стоит. Вот так-то. И порешил я, что начну ее книжку с рассказа о себе. Прочтет она две-три мои речи с подножки и, может, поймет, каковы мои таланты. Я, конечно, знал, что полностью себе должное не воздам. Не может же человек записать свой взгляд (во всяком случае, *мне* это не под силу), и голос свой он тоже записать не может, ни бойкость своей речи, ни ловкость и быстроту своих рук, а уж об умении отпустить шутку и говорить нечего. Зато человек может записать всякие свои выражения, коли он — оратор: и я слыхивал, что ораторы частенько так и делают перед тем, как сказать свою речь на людях.

Ну, ладно, значит, решил я, и тут же начал ломать голову, какое дать книжке заглавие. Так что же я выковал из этого горячего железа? А вот что. В свое время труднее всего было объяснить ей, почему меня зовут Доктор, а по-настоящему я вовсе даже не доктор. И все мне чудилось, что она так до конца этого и не поняла, сколько я ни старался. Но через два-то года, думаю, она будет образованная и все поймет честь честью, если я своей рукой напишу для нее, как это вышло. Вот и задумал я подшутить над ней и посмотреть, что из этого выйдет — а тут уж ясно станет, поняла она все, как надо, или нет. В первый раз мы сообразили, какая получилась ошибка, когда она попросила, чтобы я прописал ей лекарство — она-то ведь считала, что я доктор по лекарской части; вот я и подумал: «Назову-ка я эту книжечку своими «Рецептами»,

и если она поймет, что прописываю я «Рецепты» только для ее удовольствия и развлечения — чтобы она посмеялась по-хорошему или поплакала по-хорошему,— то не нужно нам будет лучшего доказательства; значит, мы с этой трудностью справились». Так все и вышло, как по писаному. Чуть она заметила эту мою книжечку — отпечатанную и переплетенную — на пюпитре в своем фургоне и увидела заглавие: «Рецепты Доктора Мериголда», то сначала посмотрела на меня этак удивленно, потом быстренько перелистала ее, потом засмеялась звонко-презвонко, потом пощупала себе пульс и покачала головой, а потом притворилась, будто внимательно читает, а потом поглядела на меня, да как поцелует книжку, как прижмет ее обеими руками к груди! В жизни не был я так счастлив!

Однако не буду предвосхищать событий. (Это выражение я заимствовал из тех романов, что покупал для нее. Какой ни открою — а я их много открывал,— так непременно автор говорит: «Однако не буду предвосхищать событий». И очень я удивлялся, почему это он их предвосхищает и кто его просит предвосхищать.) Ну, так значит, я не буду превосхищать событий. Книжица эта занимала все мое свободное время. Не простое было дело собрать весь чужой товар, а уж как дошло до своего!.. Уф! Самому не верится, сколько песка для промокания, сколько усердия и сколько терпения на нее пошло. И опять-таки точь-в-точь как с коробейным делом. Разве публика это поймет!

Наконец книга была готова; два года ушли вслед за всем остальным временем, а куда оно ушло — кто знает? Новый фургон тоже был закончен — выкрашен снаружи в желтую краску, обведен ярко-алой каймой и, где надо, отделан медью; запрягать в него я решил моего верного конягу, а для торгового фургона завел новую лошадь и мальчишку-кучера. Потом я почистился, принарядился и отправился за ней. Денек выдался солнечный, но холодный, и печки в фургонах топились вовсю; а фургоны я оставил на пустыре у Уондсворта; когда я в Лондоне, вы всегда можете их увидеть там с Юго-Западной железной дороги (выезжая из столицы, смотрите в правое окошко).

— Мериголд,— говорит племянник моего доктора и сердечно жмет мне руку.— Очень рад вас видеть.

— Ну, сэр,— отвечаю я,— навряд ли вы и вполовину так рады меня видеть, как я вас.

— Время это показалось вам долгим, а, Мериголд?

— Не сказал бы, сэр,— ведь оно и на самом деле было долгим, да только...

— Что это вы так вздрогнули, мой милый?

А как было не вздрогнуть! Совсем взрослой она стала, и такой хорошенькой, умной, жизнерадостной! И тут я окончательно убедился, что она и в самом деле похожа на мою дочку — а то как бы я узнал ее, когда она тихонько остановилась в дверях?

— Вы, кажется, взволнованы,— говорит джентльмен ласково.

— Я одно понимаю, сэр,— что я всего только неотесанный мужлан в жилетке с рукавами.

— А я понимаю,— говорит он,— что это вы спасли ее от нищеты и страдания и научили общаться с другими людьми. Но почему мы беседуем вдвоем, когда могли бы беседовать втроем? Заговорите с ней по-своему.

— Я всего только неотесанный мужлан в жилетке с рукавами, сэр,— говорю я,— а она такая красавица! И она стоит в дверях... и не идет к нам.

— Попробуйте, не подойдет ли она на ваш прежний знак,— говорит он.

Все это они нарочно придумали, чтобы меня обрадовать! Стоило мне только сделать прежний знак, как она бросилась ко мне, упала на колени, протянула руки, а сама плачет от радости и любви; а когда я схватил ее за руки и поднял, она крепко-крепко обняла меня за шею, и уж каких только глупостей я не натворил, прежде чем мы все втроем, наконец, сели и принялись беседовать без единого звука, словно ради нас мир окутался такой славной и приятной тишиной.

Ну, так слушайте, что я вам предложу. Предложу я вам самый лучший товар — ее собственную книжку, которой никто, кроме меня, не читал, дополненную и законченную мной после того, как она прочла ее в первый раз — сорок восемь страниц, девяносто шесть столбцов, работы самого Уайтинга, и к тому же в типографии Бо-

форта, отпечатана на паровой машине, превосходная бумага, красивый зеленый переплет, сложена, как чистое накрахмаленное белье только что от прачки, и до того хорошо сшита, что побьет любую работу, представленную самой лучшей белошвейкой в Комиссию гражданской службы на конкурс Голода — и что я прошу за такой товар? Восемь фунтов? Меньше. Шесть фунтов? Еще меньше. Четыре фунта? Боюсь, что вы мне не поверите, но как раз четыре фунта. Четыре фунта! Да одна брошировка обошлась в половину этой суммы. Вот они — сорок восемь новеньких с иголочки страниц, девяносто шесть новеньких с иголочки столбцов — и всего за четыре фунта. Вы хотите придачи за свои деньги? Вот она — три страницы рекламных объявлений, на редкость интересных и без всякой приплаты. Читайте их и верьте им на здоровье. И этого мало? Вот мои наилучшие пожелания к каждому сочельнику и к каждому Новому году, какие вам предстоит праздновать,— пожелания долгой жизни и благополучия. Стоят ровнехонько двадцать фунтов, если их доставят такими, какими я их посылаю. Не забудьте — добавлен последний рецепт: «Принимать всю жизнь», который поведает вам, как фургон развалился и где кончился путь. И вы думаете, что четыре фунта за все это много? Так-таки много? Ну ладно: берите за четыре пенса, только никому ни слова.

II. Не принимать перед сном

Это легенда о доме, что зовется «Харчевней дьявола» и стоит среди вереска в Коннемарских горах *, в неглубокой лощине между пятью вершинами. Порой сентябрьским вечером любознательные путешественники вдруг замечают высоко на склоне ветхое, потемневшее от непогоды строение, и гневные багровые блики заходящего солнца скользят по разбитым стеклам. Но проводники всегда его избегают.

Этот дом построил никому не известный человек, который пришел неведомо откуда и которого люди прозвали Колль Дью (Черный Колль) за его угрюмый вид и любовь

к одиночеству. Жилище его они окрестили «Харчевней дьявола», потому что ни разу усталый путник не отдыхал под кровом Колля Дью, ни один друг не переступал его порога. Его уединение делил с ним лишь сморщенный старик, никогда не отвечавший на приветливые слова крестьян, которых он встречал, изредка отправляясь в ближнюю деревню за провизией для себя и своего господина, и никому не удавалось выведать у него, кто они такие и откуда пришли.

Первый год, когда они поселились там, всех очень занимало, что это за люди и что делают они среди горных вершин, в обществе туч и орлов. Одни говорили, что Колль Дью — отпрыск старинного рода, некогда владевшего всеми окрестными землями, и что, озлобленный бедностью, он из гордости похоронил себя там, чтобы в одиночестве размышлять о своих невзгодах. Другие туманно намекали на преступление, на бегство из дальней страны. Третьи испуганным шепотом рассказывали о людях, которые прокляты со дня рождения, чьи губы не знают улыбки, кому до смертного часа не дано найти друга среди своих ближних. Но вот миновало два года, разговоры утихли, и Колль Дью был забыт: разве что пастух, разыскивая в горах заблудившуюся овцу, встречал высокого смуглого человека с ружьем в руке и не осмеливался сказать ему: «Спаси вас господь!», да порой крестьянка, покачивая зимним вечером колыбель, крестилась, когда ветер особенно злобно ударял по кровле ее хижины, и говорила: «Видно, там, на вершине, этому Коллю Дью хватает свежего воздуха!»

Так прожил Колль Дью в уединении несколько лет, а затем стало известно, что полковник Блейк, новый хозяин этих земель, собирается посетить свое поместье. С одной из вершин, окружавших его горное гнездо, Колль Дью мог видеть у подножья отвесного склона старинный серый дом, казавшийся совсем крохотным; его высокие трубы были обвиты плющом, а каменные стены потемнели от непогоды, и он стоял среди искривленных бурями деревьев и угрюмых скал, словно крепость, что вечно глядит на Атлантический океан любопытными глазами своих окон, как будто вопрошая: «Какие вести шлет нам Новый Свет?»

А теперь Колль Дью увидел, как вокруг дома, словно муравьи на солнце, копошатся каменщики и плотники, подновляя его от фундамента до самых труб, подкрашивая тут, поправляя там, разбирая изгороди, которые оттуда, с заоблачной вышины, казались Коллю горсточкой гальки, и воздвигая другие, похожие на заборы игрушечной фермы. Наверное, несколько месяцев следил он, как эти хлопотливые муравьи разрушали и строили, уродовали и украшали, но когда труд их был закончен, он не спустился, чтобы полюбоваться прекрасными дубовыми панелями новой бильярдной или чудесным видом, открывающимся из венецианского окна гостиной на водную дорогу к Нью-Фаундленду.

Летняя жара сменилась осенней прохладой, и янтарные полосы увядания уже зазмеились по красному вереску в долинах и на горных склонах, когда в поместье приехал полковник Блейк в сопровождении своей единственной дочери и компании друзей. Серый дом у подножия склона стал приютом веселья, но Колль Дью больше не глядел на него со своих высот. Когда ему хотелось полюбоваться солнечным восходом или закатом, он взбирался на такой утес, откуда не было видно человеческого жилья. Когда он отправлялся в далекие прогулки с ружьем в руке, он выбирал для них самые глухие места, спускался лишь в самые пустынные долины и поднимался лишь на самые безлюдные кряжи. Когда он вдруг замечал неподалеку других любителей бродить в горах, то, сжимая в руке ружье, торопился скрыться незамеченным в какой-нибудь лощине. Однако судьба пожелала, чтобы он все-таки встретился с полковником Блейком.

Как-то в сентябре выдался удивительно ясный день, но к ночи ветер переменился, и через полчаса горы окутал густой непроницаемый туман. Колль Дью ушел далеко от своего обиталища, но недаром он так долго бродил по этим горам, недаром приучил себя к капризам погоды: ни буря, ни дождь, ни туман его не пугали. И вот, пока он уверенно шел своей дорогой, до него сквозь молочную мглу, приглушающую все звуки, донесся еле слышный крик испуга. Он пошел в ту сторону и вскоре нагнал человека, который брел вслепую там, где каждый неверный шаг грозил гибелью.

— Идите за мной,— сказал Колль Дью этому человеку и через час привел его, целого и невредимого, к стенам дома, чьи окна были с жадным любопытством устремлены на океан.

— Я полковник Блейк,— сказал прямодушный воин, когда, выбравшись из тумана, они приблизились к освещенным окнам, а в прояснившемся небе над ними замерцали звезды.— Прошу вас, скажите мне без промедления, кому я обязан жизнью.

С этими словами он поглядел на своего спасителя — высокого смуглого человека с сумрачными глазами.

— Полковник Блейк,— промолвил Колль Дью после долгого и странного молчания,— ваш отец предложил моему отцу поставить на карту его поместье. Мой отец согласился; искуситель выиграл. Оба они уже в могиле, но мы с вами живы, и я поклялся отомстить вам.

Полковник добродушно рассмеялся, глядя снизу вверх на угрюмое лицо своего проводника.

— И вы начали приводить эту клятву в исполнение с того, что сегодня спасли мою жизнь? — сказал он.— Полноте! Я солдат и умею встречать врага, но я предпочел бы встретить в вас друга. Я не успокоюсь, пока вы не отведаете моей хлеб-соли. Сегодня мы празднуем день рождения моей дочери. Так войдите же и примите участие в нашем веселье.

Колль Дью упрямо смотрел в землю.

— Я уже сказал вам,— ответил он,— кто я такой, и я не переступлю вашего порога.

Но в этот миг (гласит легенда) дверь на террасу, около которой они стояли, отворилась, и слова Колля замерли у него на устах. В рамке обвитой плющом двери стояла одетая в белый атлас юная красавица, и лившийся из комнаты свет, озаряя ее великолепную фигуру, рассеивался в ночном мраке. Лицо ее было белее платья, в глазах сверкали слезы, но, когда она простерла руки навстречу отцу, на губах ее уже сияла радостная улыбка. Освещавшие ее сзади лучи играли на блестящих складках платья, на нитке жемчуга, обвивавшей ее шею, на венке из алых роз, приколотом к высоко уложенным косам. Атлас, жемчуг и розы — неужели Колль Дью из «Харчевни дьявола» никогда прежде не видел их?

Эвлин Блейк не была слабонервной, слезливой девицей. Она только быстро сказала: «Слава богу, с тобой ничего не случилось; все вернулись уже час назад», да крепко сжала в унизанных драгоценностями пальцах отцовскую руку, и больше ничем не выдала мучительную тревогу, которая так недавно снедала ее.

— Радость моя, я обязан спасением этому отважному джентльмену,— сказал полковник.— Уговори же его быть нашим гостем, Эвлин. Он хочет уйти в свои горы и снова исчезнуть в тумане, где я его нашел, или, вернее, где он нашел меня! Нет, нет, сэр. Неужели у вас хватит духа отказать столь прекрасной просительнице?

Он представил их друг другу. «Колль Дью!» — прошептала Эвлин Блейк, которая слышала ходившие о нем рассказы. Но все же с искренним радушием она стала уговаривать спасителя своего отца войти под его гостеприимный кров.

— Не отказывайтесь, сэр,— сказала она.— Если бы не вы, наше веселье превратилось бы в горе. Праздник наш омрачится, если наш благодетель не пожелает почтить его своим присутствием.

С очаровательной любезностью, к которой, однако, примешивалось привычное высокомерие, прекрасная дочь полковника Блейка протянула белую ручку высокой смутной фигуре за стеклянной дверью и ощутила такое крепкое пожатие, что гордые глаза сверкнули изумлением, а оскорбленная ручка скрылась среди сияющих складок платья и негодующе сжалась в кулачок. Что этот Колль Дью — безумец или грубый мужлан?

Гость долее не возражал и последовал за юной красавицей в небольшую комнату, где горела лампа; теперь угрюмый пришелец, добродушный полковник и молодая хозяйка дома могли, наконец, хорошенько рассмотреть друг друга. Эвлин взглянула на смуглое лицо их нового знакомого и содрогнулась, охваченная страхом и неописуемым отвращением. Но она тут же шутливо сказала отцу, ссылаясь на известное суеверие:

— Кто-то прошел по моей могиле.

Так Колль Дью оказался на балу, устроенном в честь дня рождения Эвлин Блейк. Он вступил под кров, который должен был бы принадлежать ему — одинокий отще-

пенец, утративший даже имя, замененное прозвищем. Он вступил под этот кров, он, живший с орлами и лисицами, терпеливо выжидая случая исполнить зловещую клятву, отомстить сыну врага своего отца за свою бедность и позор, за горе покойной матери, за смерть отца, наложившего на себя руки, за скорбную судьбу разбросанных по свету братьев и сестер. Он вступил под этот кров, Самсон, лишившийся своей силы,— и все только потому, что у надменной девушки были томные глаза и пунцовый ротик, а розы и атлас делали ее неотразимо прелестной.

В зале было много красавиц, но она затмевала всех, когда, беседуя с друзьями, старалась забыть о мрачных, пылавших странным огнем глазах, чей взгляд неотрывно следовал за каждым ее движением. Однако отец попросил ее быть поласковее с угрюмым гостем, которого он хотел бы сделать своим другом, и она любезно повела его осматривать новую картинную галерею, примыкавшую к гостиным. Она занимала его рассказом о любопытных обстоятельствах, при которых полковник приобрел ту или иную картину, прибегала ко всем уловкам, какие позволяла ей гордость, чтобы помочь отцу осуществить его намерение, и в то же время уклонялась от всякой короткости и старалась отвлечь от себя тягостное внимание гостя. Колль Дью послушно следовал за Эвлин и упивался ее голосом, не улавливая смысла слов; ей не удавалось заставить его разговориться, пока они не остановились в уединенном уголке, куда почти не достигал свет ламп. Перед ними было открытое окно с раздвинутыми занавесками, и ничто не мешало смотреть на воды ночного океана и на полную луну, плывущую высоко над грядой облаков, отбрасывая серебристые дорожки, убегающие в неведомую даль, которая разделяет два мира. И говорят, там разыгралась следующая маленькая сцена.

— Эскиз этого окна мой отец набросал собственноручно. Не правда ли, оно делает честь его вкусу? — сказала юная хозяйка, любуясь лунным светом — сама прекраснее всех грез.

Колль Дью ничего не ответил, но, говорят, он вдруг попросил у нее розу из букета, прятавшегося в кружевах на ее груди.

И второй раз за этот вечер в глазах Эвлин Блейк вспыхнуло негодование. Но этот человек спас ее отца... Она отколола розу и протянула ему со всей любезностью и со всем поистине королевским достоинством, на какие была способна. Однако он взял не только розу, но и протянутую руку и осыпал ее поцелуями.

Эвлин Блейк не могла долее сдерживать свой гнев.

— Сэр! — вскричала она.— Если вы джентльмен, значит, вы сошли с ума. Если вы не сошли с ума, значит, вы не джентльмен!

— Сжальтесь! — воскликнул Колль Дью.— Я люблю вас. О боже! Я не любил еще ни одной женщины! О-о! — простонал он, когда на ее лице появилась гримаса отвращения.— Вы ненавидите меня. Вы задрожали, когда наши взгляды встретились в первый раз. Я люблю вас, а вы меня ненавидите.

— Да, ненавижу! — вскричала Эвлин, забыв обо всем, кроме своего негодования.— Ваше присутствие для меня омерзительно. Вы любите меня? Ваш взгляд для меня как отрава. Прошу вас, сэр, избавьте меня от подобных объяснений.

— Я не буду вас больше беспокоить,— ответил Колль Дью; подойдя к окну, он оперся сильной рукой о подоконник и одним прыжком исчез из виду.

С непокрытой головой Колль Дью быстрым шагом шел к горам, но не туда, где скрывалось его жилище. Говорят, всю эту ночь напролет бродил он по лабиринту ущелий, пока предрассветный ветер не начал разгонять облака. Последний раз он ел накануне утром, ноги его подкашивались от усталости, и он был рад, когда увидел перед собой бедную хижину. Он вошел, попросил воды и разрешения отдохнуть где-нибудь в уголке. Был канун храмового праздника, и по старинному обычаю в доме всю ночь никто не смыкал глаз; кухня была полна людей, утомленных долгим бдением; старики, покуривая трубки, клевали носами в углу у очага, а кое-кто из женщин уже крепко спал, положив голову на колени соседке. Те, кто еще бодрствовал, испуганно перекрестились, когда в дверях показался Колль Дью, ибо всем была известна его зловещая

слава. Но старик, хозяин дома, пригласил его войти, напоил молоком и, обещав, что скоро будет готов жареный картофель, проводил в каморку за кухней, где в углу лежала куча вереска, а у очага сидели только две женщины и тихо разговаривали.

— Путник,— сказал старик, кивнув женщинам, и они кивнули в ответ, словно говоря: «Путнику нельзя отказать в гостеприимстве». И Колль Дью улегся на вереске в дальнем углу комнатушки.

Женщины на время умолкли, но вскоре, решив, что он уснул, снова начали разговаривать. Через подслеповатое оконце еле пробивался серый рассвет, но в неверном свете очага Колль Дью мог разглядеть своих соседок: одна из них, старуха, наклонившись, грела над углями морщинистые руки, а другая, молоденькая девушка, сидела, прислонившись к стене, и вспыхивающее пламя озаряло ее румяное лицо, веселые глаза и красное платье.

— А я знаю одно,— говорила девушка,— что о такой странной женитьбе я еще не слыхивала. Ведь всего три недели назад он всякому встречному-поперечному твердил, что ненавидит ее хуже горькой отравы.

— Эх, девонька,— ответила старуха, таинственно придвигаясь к ней,— кто ж этого не знает! Да только что он мог поделать, бедняга? Ведь она повесила ему на шею бурра-бос!

— Чего, чего?..— спросила девушка.

— Нешто ты не знаешь — бурра-бос. Это подарочек с погоста, девонька. И уж теперь ему от нее не уйти, чтоб не знать ей ни удачи, ни счастья!

Старуха принялась раскачиваться и, словно заглушая проклятья, прижала к своим сморщенным губам рукав плаща.

— Да что же это такое? — с любопытством спросила девушка.— Что это за бурра-бос и откуда она его взяла?

— О-хо-хо... Не для молодых это ушей, да уж так и быть, шепну я тебе, девонька. Это полоска кожи мертвеца, содранная от затылка до самой пятки, да так, чтобы ни порвать, ни надорвать, а то чары не подействуют. А потом ее свертывают, и тот, кого не любят, привязывает к ней веревочку и вешает на шею тому, кого любит. И уже

на следующее утро самое холодное сердце начинает гореть любовью.

Девушка вздрогнула и расширившимися от ужаса глазами впилась в лицо старухи.

— Иисусе милосердный! — вскричала она.— Да кто же, не боясь бога, решится на такое черное дело?

— Тише, тише, милая. Решаются, и даже не дьявол это. Да разве ты, девонька, не слышала про Пекси Пишроги, что живет между двух холмов в Маам Терке?

— Как не слыхать,— прошептала девушка.

— Не встать мне с этого места — ее рук дело. За деньги она изготовит его, когда захочешь. Ведь ее чуть не поймали на кладбище в Солраке, когда она выкапывала покойников, и во славу божью прикончили бы ее, да только потеряли след, а потом уж нельзя было доказать, что это она.

— Смотри-ка, матушка,— сказала молоденькая.— Путник-то проснулся. Недолго же он, бедняжка, отдыхал.

Однако для Колля этого было достаточно. Он вернулся на кухню, где его уже ждала сковородка жареного картофеля, и старик принялся уговаривать гостя сесть и отведать приготовленное для него блюдо. На это Колль с охотой согласился. Подкрепившись, он вновь пошел по горной дороге, как раз когда первые лучи восходящего солнца заиграли в водопадах и начали загонять ночные туманы в ущелья. На закате того же дня он шел среди холмов Маам Терка, спрашивая у пастухов, как найти хижину некоей Пекси Пишроги.

Наконец в жалкой лачуге на унылой бурой пустоши, окруженной угрюмыми холмами, он нашел Пекси — желтолицую ведьму, кутавшуюся в багровое одеяло; из-под ее оранжевого платка, завязанного под сморщенным подбородком, торчали пучки жестких черных волос. Она размешивала варево из трав, кипевшее на очаге, и, когда тень Колля Дью упала на ее порог, бросила на пришельца зловещий взгляд.

— Его милости нужен бурра-бос? — спросила она, когда он сказал ей, зачем пришел.— Так-так... А денежки, денежки для Пекси?.. Бурра-бос достать не просто!

— Я заплачу,— сказал Колль Дью и положил рядом с ней на скамью золотую монету.

Колдунья жадно схватила ее и, захихикав, подарила своему гостю взгляд, от которого содрогнулся даже Колль Дью.

— Его милость — щедрый король,— сказала она,— и достоин бурра-боса. Хе-хе!.. Пекси достанет ему бурра-бос. Но денежек мало. Еще, еще!

Она протянула костлявую лапу, и Колль Дью бросил на сморщенную ладонь еще один золотой. Лицо старухи отвратительно задергалось от радости.

— Запомни,— воскликнул Колль,— я тебе хорошо заплатил! Но если твой адский талисман не поможет, я натравлю на тебя за колдовство всю округу.

— Не поможет! — взвизгнула Пекси, закатывая глаза.— Если талисман Пекси не поможет, так пусть его милость вернется и унесет на спине эти горы! Он поможет. Если даже девушка ненавидит его милость, как самого дьявола, все равно она полюбит его милость, как свою белую душеньку, еще до того, как солнце сядет или взойдет. Полюбит или (она исподтишка улыбнулась) сойдет с ума!

— Ведьма! — крикнул Колль Дью.— Это твоя дьявольская выдумка! Я ничего не слышал о сумасшествии. Если тебе нужны еще деньги, говори прямо, а не старайся запугать меня гнусной ложью.

Колдунья бросила на него хитрый взгляд и поспешила воспользоваться его гневом.

— Его милость угадал правильно,— прошамкала она,— просто бедной Пекси нужно еще денежек.

Снова сморщенная клешня потянулась к нему, но Колль Дью не решился коснуться ее и бросил золотой на стол.

— Король, король! — хихикала Пекси.— Его милость — великий король. Его милость достоин бурра-боса. Девушка полюбит его, как свою белую душеньку. Хе-хе!..

— Когда он будет готов? — нетерпеливо спросил Колль Дью.

— Его милость придет за ним к Пекси через двенадцать дней. Через двенадцать дней, потому что нелегко достать бурра-бос. Заброшенный погост далеко отсюда, и трудно добраться до мертвеца...

— Умолкни! — вскричал Колль Дью.— Ни слова бо-

лее! Я возьму твой мерзкий талисман, но как он сделан и где ты его достанешь, я не хочу знать.

Затем, обещав вернуться через двенадцать дней, он ушел. Пройдя пустошь, он оглянулся и увидел, что Пекси глядит ему вслед со своего холма — эта черная фигура на фоне зловещего пламени заката представилась его мрачному воображению фурией, ведущей за собой все силы ада.

В назначенный срок Колль Дью получил обещанный талисман. Он завернул его в душистые травы, зашил в золотую парчу и повесил на золотую цепочку самой тонкой работы. Лежа в шкатулке, где некогда хранились драгоценности умершей с горя матери Колля, страшный талисман казался безобидной безделушкой. А жители гор, сидя у своих очагов, проклинали нечестивца, снова осквернившего их кладбище, и давали себе клятву отыскать его.

Прошло две недели. Как и где мог найти Колль Дью случай надеть талисман на шею гордой дочери полковника? Еще несколько золотых монет упало в жадную лапу Пекси, и колдунья обещала помочь ему.

На следующее утро она оделась в чистое платье, убрала жесткие черные космы под белоснежный чепец, разгладила злобные морщины на лице, взяла корзину, заперла дверь лачуги и отправилась к морю, туда, где стоял серый дом. Неужели Пекси решила отказаться от своего страшного ремесла и зарабатывать на жизнь, собирая грибы? Каждое утро экономка серого дома покупала грибы у бедной Майрид. Каждое утро Майрид оставляла букетик лесных цветов для мисс Эвлин Блейк. «Да благословит ее бог! Ей-то самой еще не довелось полюбоваться красавицей барышней, но по всей округе только и говорят, что о ее милом личике!» И вот, наконец, настало утро, когда она встретилась с мисс Эвлин, которая одна возвращалась с прогулки. Тут бедная Майрид «осмелилась» сама отдать букетик барышне.

— Ах,— воскликнула Эвлин,— так, значит, это вы приносите мне каждое утро цветы? Они такие милые!

Майрид хотелось только посмотреть на ее прекрасное личико. А теперь, когда она его увидела, светлое, как сол-

нышко, беленькое, как лилия, она возьмет корзинку и пойдет своей дорогой довольная. И все-таки она не уходила.

— Барышня никогда не поднималась на большую гору? — спросила Пекси.

— Нет,— засмеялась Эвлин.— Боюсь, что я не умею лазать по горам.

— А барышня не пожалела бы, если бы вместе с другими знатными господами и дамами поехала на хорошеньких осликах на самый верх большой горы. Каких только чудес не насмотрится там барышня!

Так Пекси взялась за дело, и Эвлин, будто завороженная, больше часа слушала ее удивительные рассказы о горной стране. И глядя на суровые вершины, как знать, не подумала ли Эвлин, что мысль этой невежественной крестьянки, пожалуй, совсем недурна? Наверное, и правда среди этих величественных вершин можно увидеть много чудес.

Но как бы то ни было, вскоре Колль Дью получил весть, что на следующий день общество из серого дома отправится на прогулку в горы; что Эвлин Блейк тоже поедет и что он, Колль, должен гостеприимно встретить усталых людей, которые к вечеру, голодные и измученные, окажутся у его жилища. Простодушная сборщица грибов попадется утром навстречу веселому обществу, когда будет собирать свой скромный товар на зеленых лужайках; она вызовется показать им горы и заведет их в самую глушь, на крутые обрывы, к опасным переправам через пропасти, так что слугам прикажут бросить захваченные из дому тяжелые корзины с провизией.

Колль Дью не терял времени даром. Был приготовлен пир, какого никто еще не видел так близко от облаков. Рассказывают об удивительных яствах, изготовленных не человеческими руками, в месте, как говорят, куда более жарком, чем это необходимо для простой кухонной стряпни. Рассказывают также, что в пустых комнатах жилища Колля Дью вдруг появились расшитые золотом бархатные занавеси, на голых белых стенах заиграли тончайшие краски и позолота, в простенках повисли редкостные картины, а столы засверкали серебром и золотом, засияли дорогим хрусталем, что рекой текли вина, каких еще никому не доводилось пробовать, что целая толпа слуг

в богатых ливреях, совсем затмившая сморщенного старика, готовилась разносить невиданные кушанья, на чей дивный аромат слетались орлы и бились в окна, а лисицы подходили к самому дому, жадно нюхая воздух. А потом в обещанный час усталые путники приблизились к «Харчевне дьявола», и Колль Дью поспешил пригласить их в свое уединенное жилище. Полковник Блейк (которому Эвлин со свойственным ей тактом ни словом не обмолвилась о дерзком поступке их странного гостя) радостно его приветствовал, и вскоре все общество уже садилось в самом веселом настроении за приготовленный Коллем пир. И говорят также, что все очень удивлялись роскоши, в которой жил этот горный отшельник.

Все они сели за столы Колля, все, кроме Эвлин Блейк. А она осталась за порогом; ее томила усталость, но она не хотела отдыхать там; ее томил голод, но она не хотела есть там. После долгой и трудной прогулки ее белое батистовое платье смялось и запачкалось; ее нежные щечки обожгло солнце; ее маленькая темная головка со слегка растрепавшимися косами была открыта горному воздуху и великолепию заходящего солнца; ее пальцы рассеянно сжимали ленты шляпки, а ножка иногда нетерпеливо постукивала по каменному порогу. Такой ее видели там.

Крестьяне рассказывают, что Колль Дью и полковник долго уговаривали ее войти и что пышно одетые слуги выносили ей самые изысканные блюда, но она отказывалась сделать хотя бы один шаг, она отказывалась проглотить хотя бы один кусок.

— Отрава, отрава!..— шептала она и горстями бросала пищу лисицам, которые бродили среди вереска.

Но совсем по-другому встретила она Майрид, когда добрая старушка, смиренная сборщица грибов, на чьем лице нельзя было заметить ни одной злой морщины, подошла к проголодавшейся девушке и ласково подала ей простую глиняную тарелку, на которой заманчиво дымились, испуская аппетитный запах, ею самой собранные грибы.

— Ах, моя милая барышня, бедная Майрид сама их жарила, и никто в этом доме не касался их, не глядел на грибы бедной Майрид.

Тогда Эвлин взяла тарелку и вкусно поужинала. Едва она кончила, как ее охватила тяжелая дремота, и, не в

силах противиться ей, она присела на порог. Прислонившись к косяку, она вскоре погрузилась в глубокий сон, или, вернее, в странное забытье. Такой ее нашли там.

— Упрямая моя капризница,— сказал полковник, погладив прелестную головку уснувшей красавицы. И, взяв Эвлин на руки, он отнес ее в комнату, которая еще утром (так повествует рассказчик) была голой, убогой каморкой, а теперь блистала восточным великолепием. Там он положил ее на роскошный диван, закутал ее ножки алым покрывалом. И там, в мягком свете, льющемся через цветные стекла, которые еще вчера были ветхим подслеповатым оконцем, полковник в последний раз посмотрел на очаровательное лицо своей дочери.

Затем он вернулся к своему хозяину и друзьям, и вскоре все общество отправилось полюбоваться багрянцем, которым пылающий закат одевал горные вершины. Когда они отошли уже довольно далеко, Колль Дью вдруг спохватился, что забыл взять подзорную трубу. Отсутствовал он недолго. Но все-таки у него хватило времени неслышным шагом войти в великолепный покой, набросить легкую цепочку на шею спящей девушки и спрятать в складках ее платья блестящую ладанку с мерзким бурра-босом.

Когда он удалился, к двери подкралась Пекси, приоткрыла ее и уселась на коврике снаружи, плотно закутавшись в плащ. Прошел час, а Эвлин Блейк все еще спала, и зловещий талисман на ее груди казался совсем неподвижным. Потом она начала бормотать во сне и стонать, и Пекси напрягла слух. Вскоре она поняла, что жертва ее проснулась и поднялась с дивана. Тогда Пекси, прильнув к щели, заглянула в комнату, испустила вопль отчаяния и бросилась бежать — с тех пор никто не видел ее в этих краях.

Сумерки окутывали горы, и общество уже возвращалось к «Харчевне дьявола», как вдруг несколько дам, которые шли далеко впереди остальных, увидели, что к ним по вереску приближается Эвлин Блейк, что волосы ее растрепались, словно после сна, а голова непокрыта. Они заметили, что при каждом ее шаге у нее на груди поблескивает что-то золотое. Во время ужина все они много шутили над нелепой фантазией Эвлин, которая предпочла уснуть на пороге, вместо того чтобы сесть вместе со всеми

за стол. Теперь они, смеясь, начали ее поддразнивать. Но она посмотрела на них как-то странно, словно они были ей незнакомы, и пошла дальше. Ее подруги обиделись и с неудовольствием заговорили о вечных причудах Эвлин; лишь одна поглядела ей вслед, но остальные только посмеялись над тем, что она беспокоится об этой своевольной гордячке.

И они пошли своей дорогой, а одинокая фигура все удалялась, и белое платье розовело, а роковой бурра-бос сверкал и переливался в последних отблесках заката. Мимо Эвлин пробежал заяц; она громко засмеялась, захлопала в ладоши и кинулась его догонять. Потом она остановилась и стала задавать вопросы камням, и била их кулачком за то, что они не отвечали (на все это в изумлении смотрел пастушонок, который прятался за скалой). Потом она начала окликать птиц, и горное эхо подхватывало ее пронзительные вопли. Их услышали гости, возвращавшиеся по крутой тропинке, и остановились, прислушиваясь.

— Что это? — спросил один из них.

— Орленок,— ответил Колль Дью, побелев как мертвец.— Они часто так кричат.

— Удивительно похоже на женский голос,— заметил кто-то, и вслед за этим над их головами прозвенел еще один дикий вопль — там тянулся голый зубчатый отрог, и одна скала нависала над пропастью, словно острый клык. Еще мгновение — и они увидели, что к этой ужасной скале приближается легкая фигура Эвлин Блейк.

— Эвлин! — воскликнул полковник, узнав свою дочь.— И в таком опасном месте! Да она сошла с ума.

— Сошла с ума...— повторил Колль Дью и бросился на помощь со всей быстротой, на какую только были способны его сильные ноги.

Когда он догнал Эвлин, она была почти у самого края головокружительной пропасти. Осторожно он начал подкрадываться к ней, чтобы схватить ее в свои сильные объятия, прежде чем она заметит его присутствие, и унести подальше от этого страшного места. Но в роковую минуту Эвлин оглянулась и увидела его. Из ее уст вырвался дикий звенящий крик, полный ненависти и ужаса,— он испугал даже орлов, а стайка кроншнепов

над ее головой метнулась в сторону. Шаг назад — и до гибели остался только фут.

Отчаянный, но хорошо рассчитанный прыжок — и она забилась в объятиях Колля. Один взгляд в ее глаза — и он понял, что борется с безумной. Шаг, еще шаг тащила она его за собой, а ему не за что было уцепиться. Его обутые ноги не находили опоры на скользких камнях. Шаг, еще шаг... Хриплый стон... Они закачались, и снова уходящая в небо скала была пуста, а далеко внизу лежали разбитые тела Колля Дью и Эвлин Блейк.

III. Принимать за обедом

А вам известно, кто дает названия нашим улицам? А вам известно, кто придумывает изречения, которые вкладываются в хлопушки вместе с леденцами? (Между прочим, я не завидую умственным способностям этого субъекта и подозреваю, что именно он переводит либретто иностранных опер.) А вам известно, кто составляет рецепты новых блюд? А вам известно, кто ответствен за появление модных словечек? А вам известно, к какому мудрецу обращаются парфюмеры, изобретая новые духи или средство для ращения волос, чтобы он снабдил эти товары названиями вроде «Рипофагон», «Эвксезис», «Депиляторий» или «Бостракейсон»? А вам известно, кто сочиняет всяческие головоломки и каламбуры?

На последний вопрос — и только на него — я отвечаю: да, *мне* это известно.

В некоем году, который, не буду скрывать, числится в нынешнем веке, я был маленьким мальчиком — очень понятливым маленьким мальчиком, хотя я сам это говорю, и очень тощим маленьким мальчиком. Эти два качества нередко сопутствуют друг другу. Не стану указывать свой тогдашний возраст, скажу только, что учился я в школе неподалеку от Лондона и был в том возрасте, когда носят (или *носили*) курточку и кружевной воротник.

В те нежные годы я обожал головоломки. Я увлекался их изучением сверх всякой меры и коллекционировал их

с необыкновенным прилежанием. В то время у некоторых журналов был обычай давать головоломку в одном номере, а ответ — в следующем. Между вопросом и ответом проходила целая неделя. Тяжкие это бывали для меня дни! Весь свой досуг я тратил на поиски решения (то-то я и был тощим!) и порой, скажу с гордостью, находил ответ еще до того, как содержащий его номер попадал ко мне по официальным каналам. В ту пору, когда я стал особенно понятливым и особенно тощим, в журналах начали появляться головоломки, которые казались мне куда трудней обычных словесных загадок. Я говорю о рисованных головоломках — если не ошибаюсь, они зовутся ребусами,— об этих скверных картинках, изображающих самые невероятные предметы в самых нелепых сочетаниях; среди них кое-где попадаются буквы, а то и обрывки слов, довершающие общий хаос. Так, вашему вниманию предлагают: Купидона, чинящего перо, решетку для пыток, букву «Х», музыкальный такт, мопса и флейту — вы получаете все это в субботу с обещанием, что объяснение этой таинственной и чудовищной абракадабры будет дано в следующую субботу. Объяснение действительно появляется, но его сопровождает орешек еще покрепче. Птичья клетка, заходящее солнце (очень непохожее), словечко «чик», колыбель и какое-то четвероногое, которому сам Бюффон * не смог бы подобрать название. Ребусы оказались мне не по зубам, и за всю свою жизнь я решил лишь один — но об этом ниже. Не давались мне и шарады в стихах (с кое-какими натяжками) — вроде: мое первое — боа-констриктор, мое второе — римский ликтор, третье — некий муж в очках, а все вместе — ходит на цыпочках. Перед такими творениями я сразу пасовал.

Помню, как-то в мои руки попал журнал, где был ребус, выполненный гораздо лучше, чем те, к которым я привык, и чрезвычайно меня заинтриговавший. Во-первых, были нарисованы брови, а над ними обрамленный кудрями лоб, затем следовала фигура древнего старца с развевающимися седыми волосами и бородой; следующим изображением была корона, потом шла буква «т», и все это замыкала банка, в которой помещались зачеркнутое «а» под буквой «о» и зачеркнутое «е» рядом с «я». Этот ребус не давал мне ни минуты покоя! Я увидел его в биб-

лиотеке приморского городка, где проводил каникулы, а когда вышел следующий номер, я уже вернулся в школу. Журнал, поместивший сию примечательную головоломку, был очень дорог, совершенно мне не по средствам, и у меня не было никакой надежды узнать разгадку. Решившись во что бы то ни стало найти ответ и боясь, что какой-нибудь рисунок ускользнет из моей памяти, я записал их все по порядку. И тут меня осенило: Чело — Век — Венец — Т — Воренья. Да, но верно ли я отгадал? Одержал ли я победу или потерпел неудачу? Это меня так мучило, что в конце концов я осмелился написать редактору журнала, напечатавшего этот ребус, умоляя его сжалиться надо мной и разрешить мои сомнения. Мое послание осталось без ответа. Возможно, он был помещен в разделе «Ответы на письма читателей» — но в таком случае, чтобы с ним ознакомиться, мне пришлось бы купить журнал.

Я упоминаю об этих подробностях потому, что они имеют отношение — и весьма значительное — к случаю, который, не будучи сам по себе особенно важен, оказал тем не менее сильное влияние на всю мою последующую жизнь. А именно, в один прекрасный день пишущий эти строки сочинил свою собственную головоломку — точнее говоря, каламбур. Сочинялся этот каламбур с большим трудом и при помощи грифельной доски; я то и дело стирал слова в поисках более точного выражения, но в конце концов добился своего. «Почему,— гласил окончательный исправленный вариант,— пудинг, который в этой школе подается перед жарким, напоминает ледник? Потому что он сберегает мясо!»

Весьма недурная для начала штучка. Идея вполне соответствует возрасту автора. Каламбур основан на чисто детской обиде. И к тому же обладает определенной археологической ценностью благодаря скрытому в нем намеку на исчезнувший ныне обычай давать ученикам перед жарким пудинг, дабы испортить им аппетит (а заодно и здоровье).

Хотя загадка моя была начертана на грязной и хрупкой доске отнюдь не вечным грифелем, она продолжала жить. Ее повторяли. Она пользовалась огромным успехом. Вся школа твердила ее, и, наконец, она достигла ушей директора. Этот лишенный воображения человек ни-

сколько не ценил изящные искусства. Я был вытребован к нему и спрошен, действительно ли я автор этого произведения искусства; я ответил утвердительно и тут же получил увесистую и довольно болезненную оплеуху, которая сопровождалась приказанием немедленно написать две тысячи раз изречение «сатира до добра не доводит» на той же самой грифельной доске, которой я пользовался при создании моего каламбура.

Несмотря на эту деспотическую выходку тупого и бесчувственного Зверя, который всегда обращался со мной так, словно от меня было мало проку (а ведь я знал, что дело обстоит как раз наоборот), мое благоговение перед великими умами, стяжавшими себе славу в области, о которой я говорю, росло вместе со мной и вместе со мной обретало новые силы. Подумайте, какую радость, какое блаженство дарят каламбуры людям, наделенным истинным здравым смыслом! Подумайте, какая безобидная гордость преисполняет человека, предлагающего такую загадку вниманию общества, в котором она никому не известна! Лишь он один знает ответ. О, сколь завидно его положение! Все ждут его слова. На устах его играет безмятежная улыбка. Все они — в его власти. Он счастлив — и счастье его никому не приносит горя.

Но кто же сочиняет каламбуры?

Я!

Неужели я готов открыть великую тайну? Неужели я готов посвятить в нее непосвященных? Неужели я готов открыть свету, *как это делается?*

Да. Готов.

Делается это главным образом с помощью словаря; однако использование подобных справочников в качестве пособия для создания каламбура настолько затруднительно, настолько истощает умственную энергию, что вначале вы не выдерживаете более пятнадцати минут подряд. Это ужасающая работа. Во-первых, вы приводите себя в состояние боевой готовности — для чего бывает полезно несколько раз взъерошить волосы,— затем достаете словарь, выбираете какую-либо букву и начинаете просматривать столбец за столбцом, задерживаясь на каждом слове, в котором есть хоть какая-то зацепка — отступаете от него, как художник отступает от холста,

чтобы обозреть общий эффект, крутите и выворачиваете его по-всякому, а затем, если из него не удается ничего выжать, переходите к следующему. Особое внимание вы обращаете на существительные, ибо из всех частей речи они дают наилучшие результаты; ну, а если вам ничего не удастся извлечь из омонимов, значит, вы совершенно не в ударе или вообще рождены под несчастливой звездой.

Предположим, вы приступаете к изготовлению дневной порции каламбуров и от успешного завершения ваших трудов зависит, будете ли вы сегодня обедать. Вы берете словарь и открываете его наугад. Он открывается, скажем, на букве «Н», и вы приступаете к работе.

Ведя пальцем по столбцу, вы несколько раз останавливаетесь. Естественно, что слово «набоб» привлекает ваше внимание. Оно звучит многообещающе. Набоб... на — Боб. Если у джентльмена есть сын Роберт, находящийся еще в нежных летах, почему, предлагая ему лакомство, он назовет его восточным богачом... Нет, не годится. Идем дальше. «Намерение» — «намерен» — «Нам Эрин»... это уже что-то злободневное, связанное с Ирландией *. Почему ирландские мятежники останутся в дураках? Потому что каждый из них отдать намерен... Невозможно! Но трудно расстаться с такой темой, и вы пробуете еще раз. Ирландия — это фении *. Фений... фениям... Может быть, поможет феникс? Нет, как ни жаль, опять ничего не получается!

Приуныв, вы все же упорно изучаете столбец за столбцом, пока не доходите до выражения «на часах». На часах... стоять на часах. Почему гвардеец, стоящий в карауле, похож на стеклянный колпак? Потому что он стоит на часах. Пожалуй, годится. Не первый сорт, но сойдет. Составление каламбуров очень похоже на рыбную ловлю. Иной раз на удочку попадается маленькая форель, а иной раз и большая. Эта форель — маленькая, но тем не менее она отправится в ведро. Теперь вы начинаете чувствовать себя бодрее. Добираетесь до «негуса» и снова останавливаетесь. Не-гус... не Гус. Сложный каламбур, высшей марки. Почему... нет... если благовоспитанная немецкая девица услышит, что ее кузена Августа обвиняют в проступке, которого он не совершал, какой приятный напиток упомянет она, выступив на его защиту? Не Гус! В ведро!

Удача, как и беда, никогда не приходит одна. Еще один сложный каламбур того же типа. Незабудка! Когда цепная собака бывает похожа на цветок? Когда она бывает не за будкой. И его туда же!

Истощив «Н», вы переводите дух. Затем, снова собравшись с силами, опять хватаете словарь и открываете его на новом месте. Теперь перед вами страница слов на «Л». Вы с надеждой задерживаетесь у слова «лук». Оно имеет два смысла и может пойти в дело. И пойдет в дело! Это случай особого рода. Можно построить каламбур по обычному рецепту. Для этого не требуется гениальности. Слово имеет два смысла; оба будут использованы: чисто механический процесс. Почему огородник похож на дикаря? Потому что он добывает себе пропитание с помощью лука. Сделано по надежному рецепту, законченно, безупречно — и все-таки пресно. После столь неблагоприятного начала вы спешите перейти на «О». И вот в рассеянье вы натыкаетесь на слово «опадать» и глядите на него с упорством слабоумного. Вдруг вас осеняет: опадать — опасть — опал. Опал? Это уже кое-что. Почему сухой лист похож на драгоценный камень? Потому что он опал. Вы снова раскрываете словарь и теперь возлагаете свои надежды на букву «В». Столбцы слов на «В» скоро приводят вас к «варенью». Почему сваренное про запас варенье похоже на деньги? Потому что мы храним его в банке. Еще?.. Пожалуй... Почему раскапризничавшийся ребенок, которого маменька успокоила с помощью блюдечка варенья, годится для альманаха? Потому что он — стих от варенья (стихотворенье).

Однако далеко не всегда удается извлечь из словаря такую обильную добычу. Труд каламбуриста тяжек, он высасывает все силы и к тому же *от него не бывает передышки.* Проходит какой-то срок, и вы уже не можете отделаться от профессиональных привычек даже в часы досуга. Нет, хуже того! Вам даже начинает казаться, что вы *обязаны* ни на секунду не ослаблять внимания, а то какая-нибудь редкостная находка может проскользнуть незамеченной! Вот почему занятие этим родом изящной словесности столь утомительно. Сидишь ли ты в театре, берешь ли в руки газету, наслаждаешься ли увлекательным романом в уютном уголке — профессиональные при-

вычки не покидают тебя ни на миг. Диалог на сцене, фраза из книги могут подсказать что-нибудь удачное, и долг повелевает тебе всегда быть начеку. Отвратительное и тираническое призвание! Постоянное сочинение каламбуров избавит вас от лишнего жирка куда быстрее, чем ежедневные утренние пробежки в одеяле вверх по крутому склону или регулярное посещение турецких бань.

А что приходится испытывать творцу этих образчиков изящной словесности, когда приходит время сбывать готовые изделия! Для них существует публичный рынок, и — говоря между нами — также и частный. Публичный спрос на товар, поставлять который обществу так долго было моим жребием, весьма невелик, и — увы! — должен признаться, берут его не слишком-то охотно. Журналы, еженедельно печатающие головоломки и ребусы, немногочисленны, а собственники их не питают особого почтения к этому оригинальному литературному жанру. Головоломка или ребус может месяцами валяться в редакции, а печатают их, только когда надо заполнить пустое место. Но и при этом нам неизменно — неизменно! — отводят самое невыгодное положение. Мы попадаем в самый низ столбца или занимаем последние строки журнала, соседствуя с неизбежной шахматной задачей, где белые дают мат в четыре хода. Один из моих удачнейших каламбуров — да, пожалуй, самый удачный — пролежал в редакции некоего журнала целых полтора месяца, прежде чем увидел свет. Вот он: почему плохо сшитый костюм похож на кредитора? Ответ: потому что он всегда не в пору.

Мои занятия со временем помогли мне узнать, что художник-каламбурист может продавать свои творения не только на публичных аукционах, но и частным образом. Некий джентльмен, не назвавший своего имени — которого я тоже не назову, хотя оно мне отлично известно,— зашел в редакцию журнала, напечатавшего вышеупомянутый каламбур, на следующий день после выхода в свет этого номера и попросил сообщить ему фамилию и адрес его автора. Помощник редактора, мой близкий приятель, которому я обязан не одной дружеской услугой, сообщил ему и то и другое, и вот в один прекрасный день пожилой господин довольно апоплексической наружности, с лука-

вой искоркой в глазах и смешливыми морщинками в углах рта (и искорка и морщинки лгали, ибо у моего нового знакомого юмора не было ни на грош) поднялся по крутой лестнице в мою скромную обитель, отдуваясь, представился поклонником всяческой гениальности («и посему я ваш покорнейший слуга»,— добавил он с любезнейшим жестом) и пожелал узнать, не соглашусь ли я время от времени снабжать его словесными головоломками, каламбурами и анекдотами, причем гарантированно новыми и оригинальными, с обязательным условием, что передаваться они будут исключительно в его распоряжение и ни одна живая душа, кроме нас двоих, ни под каким видом о них не узнает. Мой гость добавил, что готов щедро за них платить, и, действительно, назвал сумму, которая заставила мои глаза вылезти на лоб настолько высоко, насколько эти органы чувств вообще способны туда вылезать.

Я вскоре понял, что, собственно, нужно моему новому другу, мистеру Прайсу Скруперу. Удобства ради я буду в дальнейшем называть его так (имя это, разумеется, вымышленное, но несколько похоже на его настоящее). Он оказался любителем званых обедов, которому неведомо как удалось приобрести чреватую немалыми опасностями репутацию острослова, всегда имеющего в запасе самый свежий анекдот. Мистер Скрупер обожал званые обеды, и его вечно преследовала страшная мысль, что рано или поздно наступит день, когда он станет получать все меньше и меньше приглашений. Вот почему между нами завязались деловые отношения — между мной, художником-каламбуристом, и мистером Прайсом Скрупером, любителем званых обедов.

В это же первое свидание я снабдил его двумя-тремя недурными вещицами. Я одолжил его анекдотом, который во младенчестве слышал от покойного папеньки — гарантированно новым, потому что его уже многие годы скрывал мрак забвения. Я дал ему также парочку каламбуров, оказавшихся у меня под рукой — они были настолько скверными, что никакое избранное общество не заподозрило бы в них руку профессионала. Я на некоторое время обеспечил его остротами, а он на некоторое время обеспечил меня хлебом насущным, и мы расстались, взаимно довольные друг другом.

Эти приятные коммерческие операции стали повторяться часто и регулярно. Разумеется, в нашей земной юдоли что-нибудь да должно омрачить самые, казалось бы, безоблачные отношения. Иной раз мистер Скрупер жаловался, что мои вещицы не вызывали желаемого эффекта — короче говоря, оказывались невыгодным помещением капитала. А что я мог ответить? Нельзя же было объяснить ему, что он сам виноват. Я взял да и рассказал ему анекдот Исаака Уолтона * о священнике, попросившем взаймы у кого-то из своих собратьев проповедь, которую тот произнес с большим успехом. Он попробовал ее на своих прихожанах и, возвращая, пожаловался, что она оказалась очень неудачной и его красноречие не произвело на слушателей ни малейшего впечатления. На что автор проповеди дал совершенно сокрушительный ответ: «Я одолжил вам свою скрипку, но не свой смычок», подразумевая, как без всякой надобности объясняет Уолтон, «чувство и воодушевление, с коими надлежало произносить эту проповедь».

Мой друг не понял морали этого анекдота. Я склонен даже заподозрить, что, слушая мой рассказ, он старался его запомнить для будущего употребления — и таким образом заполучить его даром. А это было уже подло.

Дело в том, что мистер Скрупер, и без того обиженный природой, с возрастом совсем поглупел и нередко забывал или перевирал конец анекдота или ответ на каламбур. Этими последними я снабжал его в изобилии и трудился в поте лица, чтобы они полностью соответствовали его особым требованиям. Ему нужны были застольные каламбуры, удачно сочетающиеся с десертом, и, к большому удовольствию мистера Скрупера, их запас у него благодаря моей помощи никогда не оскудевал. Вот несколько образчиков, которые обошлись ему недешево.

Почему стакан вина (заметьте, как естественно коснуться этой темы после обеда) прямо из бочонка можно купить только весной? Потому что им торгуют в розлив (разлив).

Почему паруса фрегата перед бурей напоминают вина, изготовляемые для британского рынка?

Потому что их крепят.

Почему человек с восковыми цветами в руках похож на некое вино, к которому подмешивают сандал и другие подобные специи?

Потому что букет у него искусственный.

Труднее же всего, рассказывал мой патрон — ибо он был откровенен со мной как с врачом или адвокатом,— труднее всего ему было запомнить, в каком именно доме он уже использовал тот или иной анекдот или каламбур; кому такая-то головоломка покажется новинкой, а кому она уже хорошо знакома. Кроме того, у мистера Скрупера была привычка порой вместо самого каламбура сообщать только ответ на него, что иной раз приводило к некоторому замешательству. А порой, задав свой вопрос совершенно правильно и заставив своих слушателей прийти в отчаяние и признать себя побежденными, он снабжал их ответом от совсем другой головоломки.

В один прекрасный день мой патрон явился ко мне, пылая негодованием. Каламбур — с иголочки новенький, за который я взял значительную сумму, так как он мне самому нравился,— безнадежно провалился, и мистер Скрупер в ярости потребовал от меня объяснений.

— Он оказался безвкусным, как отварная вода,— заявил мой патрон.— Один весьма неприятный господин позволил себе даже сказать, что это вовсе никакой не каламбур и что я, очевидно, где-то напутал. Крайне неуместное замечание, если принять во внимание что это был *мой* каламбур. Как же я мог в нем напутать?

— Разрешите спросить, какой вопрос вы задали?

— Пожалуйста. Я спросил так: «Почему мы имеем право считать Юлия Цезаря нашим соотечественником?»

— Совершенно верно,— сказал я.— А ответ?

— Тот самый,— отрезал мой патрон,— какой вы мне дали: «Потому что он брился».

— Меня ничуть не удивляет,— заметил я холодно, ибо меня оскорбило это незаслуженное обвинение,— что ваши слушатели были сбиты с толку. Ответ, который вы получили от меня, гласил: «Потому что он был брит (бритт)».

После чего мистер Скрупер извинился.

Мое повествование близится к концу. И конец его печален, как конец короля Лира. А хуже всего то, что мне придется признаться в собственной непростительной слабости.

Мистер Скрупер долгое время служил мне источником верного и немалого дохода, как вдруг однажды утром я снова был почтен визитом неизвестного мне господина: он тоже оказался пожилым человеком, в глазах у него тоже пряталась лукавая искорка, а вокруг рта — смешливые морщинки, он тоже был любителем званых обедов, и у него тоже было подлинное имя, и я тоже буду называть его вымышленным — я буду называть его мистером Керби Постлуэйтом, считая дальнейшее приближение к истине опасным.

Мистера Керби Постлуэйта привела ко мне та же мысль, которая в свое время заставила мистера Скрупера вскарабкаться на самый верх моей лестницы. Он также увидел в журнале одно из моих творений (ибо я по-прежнему поддерживал отношения с прессой), ему также необходимо было поддерживать репутацию острослова, а мозг его все чаще оказывался совершенно бесплодным, и вот он явился ко мне, чтобы предложить то, что в свое время уже предложил мистер Прайс Скрупер.

Подобное совпадение совсем меня ошеломило, и некоторое время я, онемев, смотрел на моего посетителя с таким видом, что он, вероятно, усомнился, способен ли я снабдить его хотя бы посредственной остротой. Однако я быстро взял себя в руки. Я говорил очень осторожно, тщательно обдумывая каждое слово, но в конце концов изъявил согласие договориться с моим новым патроном об условиях. Последнее заняло немного времени, так как взгляды мистера Керби Постлуэйта на эту сторону вопроса оказались еще более широкими, чем даже взгляды мистера Прайса Скрупера.

Единственное затруднение состояло в том, что моя помощь требовалась ему немедленно. Он не мог ждать. В этот самый вечер он был зван на обед и во что бы то ни стало желал блеснуть там. Это особый случай. И ему нужна хорошая вещица. Скупиться он не собирается, но ему нужно нечто действительно выдающееся. И всему он предпочел бы каламбур — совершенно новый каламбур.

Я перебрал все мои запасы, я обшарил письменный стол— но его ничто не удовлетворяло. И тут я вспомнил, что у меня есть как раз подходящая штучка. Именно то, что нужно: каламбур с намеком на злобу дня, связанный с событиями, которые сейчас у всех на устах. Подвести к нему разговор можно будет без всякого труда. Короче говоря — лучше и не придумаешь. Смущало меня только одно: а не продал ли я его моему первому патрону? Вот в чем был вопрос, и хоть убейте, я не мог с уверенностью на него ответить. Жизнь человека моей профессии всегда неупорядоченна; и тем более это относилось ко мне — я ведь занимался широкой торговлей, как публичной, так и тайной. Я не вел никаких книг и нигде не записывал своих сделок. Но одно обстоятельство убеждало меня, что этот каламбур еще не пристроен: мистер Скрупер не известил меня, снискал этот каламбур успех или нет, а сей джентльмен никогда не забывал сообщить мне столь важную подробность. Я долго сомневался, но в конце концов (слишком уж щедрое вознаграждение предложил мне мой новый патрон) решил истолковать это сомнение в свою пользу и вручил вышеупомянутое произведение искусства мистеру Керби Постлуэйту.

Сказать, что после завершения этой сделки на душе у меня было спокойно — значит солгать. Меня томили страшные предчувствия, и были минуты, когда, имей я возможность вернуть сделанное, я не преминул бы совершить этот искупительный шаг. Однако ни о чем подобном не могло быть и речи. Я даже не знал, где искать моего нового патрона. Мне оставалось только ждать и надеяться на лучшее.

Обстоятельства, украсившие вечер того богатого событиями дня, когда мне нанес визит мой новый патрон, были сообщены мне впоследствии с большой точностью и язвительностью двумя лицами, которым пришлось сыграть в вышеупомянутых обстоятельствах видную роль. Да, как ни ужасно, на следующий день ко мне, пылая яростью, явились оба моих патрона, чтобы рассказать мне о происшедшем и объявить меня виновником катастрофы. Оба были разгневаны, но мой новый знакомый, мистер Постлуэйт, просто зубами скрежетал от бешенства.

По его словам, он в назначенное время прибыл в дом пригласившего его лица — человека, как он не преминул мне сообщить, занимающего очень видное положение,— и оказался в весьма избранном обществе. Он намеревался приехать последним, но выяснилось, что ждут еще какого-то Скрупера... или Прайса — а может быть, его звали и так и этак. Однако вскоре явился и этот гость, рассказывал мистер Постлуэйт, после чего все общество проследовало в столовую.

Во время обеда, великолепие которого я не стану описывать, эти двое непрерывно портили друг другу кровь. Между ними то и дело (в этом оба рассказа вполне совпадали) происходили столкновения, они перебивали друг друга, мешали рассказывать анекдоты, так что в конце концов преисполнились взаимной ненависти: чувство, которое христиане-соседи на званых обедах нередко испытывают друг к другу. Вероятно, каждый слышал, что другой слывет «присяжным остряком», хотя до этого вечера встречаться им не приходилось.

Согласно постлуэйтовской версии, этот джентльмен в течение всего банкета, а особенно в минуты, когда мой первый патрон слишком уж ему досаждал, утешался мыслью об оружии, которым он в надлежащее время нанесет своему сопернику смертельный удар. Оружием этим был мой каламбур — мой каламбур на злобу дня.

Решительная минута наступила. Я содрогаюсь, продолжая мое повествование. Обед кончился, гости выпили по первой рюмке вина, и мистер Керби Постлуэйт начал мягко, без нажима, но со всей сноровкой ветерана-острослова подводить разговор к *теме.* Он сидел неподалеку от моего первого патрона, мистера Прайса Скрупера. Каково же было удивление мистера Постлуэйта, когда он услышал, что этот последний тоже подводит находящуюся в его юрисдикции часть разговора все к той же *теме!* «Кажется, он заметил, чего я хочу, и подыгрывает мне,— подумал мой второй клиент.— Может быть, он вовсе не такой уж несносный человек. В следующий раз я отплачу ему такой же услугой». Но эта приятная надежда тешила его недолго. Близился взрыв! Внезапно раздались два голоса:

Мистер Прайс Скрупер: Когда я утром размышлял об этом, мне в голову пришел каламбур... *Мистер Керби Постлуэйт:* Нынче утром кое-что в этой связи внезапно навело меня на мысль о каламбуре...	говоря одновременно

Тут оба умолкли, сбив друг друга.

— Прошу прощения,— любезно прошипел мой первый патрон,— вы говорили, что вы...

— ...придумал каламбур,— ответил мой второй патрон.— Вот именно. Но если не ошибаюсь, и вы упомянули о чем-то подобном?

— Упомянул.

Тут уже умолкли все сидевшие за столом. Наконец молчание нарушил некий знатный вельможа:

— Какое удивительное совпадение!

— Но как бы то ни было,— воскликнул хозяин дома,— надо кого-нибудь из них выслушать. Продолжайте, Скрупер, вы же начали первым.

— Мистер Постлуэйт, я жажду вашего каламбура,— вмешалась хозяйка, питавшая слабость к мистеру Постлуэйту.

В результате оба джентльмена помолчали, а потом заговорили разом, и дуэт возобновился.

Мистер Прайс Скрупер: При каких обстоятельствах садовник, живущий дарами своего сада... *Мистер Керби Постлуэйт:* При каких обстоятельствах садовник, живущий дарами своего сада...	говоря одновременно

Раздался общий хохот, и на всех лицах отразилось недоумение.

— Наши каламбуры, кажется, несколько похожи? — с горечью произнес мистер Постлуэйт, подозрительно глядя на моего первого патрона.

— В жизни не слыхивал ни о чем подобном,— ответил тот.

— Великие умы сходятся,— заметил вельможа, которому принадлежало высказывание об «удивительном совпадении».

— Во всяком случае, выслушаем одного из них,— настаивал хозяин дома.— Может быть, дальше у них пойдет по-разному! Продолжайте, Скрупер.

— Да, выслушаем одного из них до конца,— протянула хозяйка и посмотрела на мистера Постлуэйта. Но тот был слишком оскорблен. Мистер Прайс Скрупер воспользовался случаем и изложил каламбур целиком.

— При каких обстоятельствах,— повторил он,— садовник, живущий дарами своего сада, бывает изменником?

— Но это же мой каламбур! — воскликнул мистер Постлуэйт, едва тот умолк.— Его придумал я.

— О нет, уверяю вас, это мой каламбур,— упорствовал мистер Скрупер.— Я придумал его сегодня утром, когда брился.

Тут опять наступила тишина, прерываемая лишь возгласами удивления всех присутствующих во главе с вельможей.

И снова хозяин дома спас положение.

— Чтобы разрешить эту трудность,— сказал он,— нужно выяснить, кто из двух наших друзей знает ответ. Кто знает ответ, тому и принадлежит каламбур. Пусть оба они напишут ответ на листке бумаги и вручат его мне. Если ответы окажутся одинаковыми, совпадение действительно можно будет назвать неслыханным.

— Кроме меня, ответ никому не известен,— заметил мой первый патрон, кончив писать и складывая листок.

Мой второй патрон проделал то же и сказал:

— Я один знаю ответ.

Хозяин дома развернул листки и прочел по очереди:

Ответ, написанный мистером Прайсом Скрупером: «Когда он продает настурции (нас Турции)».

Ответ, написанный мистером Керби Постлуэйтом: «Когда он продает настурции (нас Турции)».

Произошел скандал. Стороны обменялись взаимными обвинениями. Как я уже упомянул, на следующий день оба джентльмена не замедлили побывать у меня. Но говорить им много не пришлось. Ведь оба они были в моей власти.

Но вот что странно: с этого времени начался закат моей карьеры. Разумеется, оба мои патрона распростились со мной навеки. Но я должен сообщить вам, что мой

талант каламбуриста тоже со мной распростился. Мои утренние труды со словарем стали давать все меньше и меньше плодов, и в прошлую среду исполнилось две недели, как я послал в некий еженедельник следующий ребус: жираф, стог сена, мальчик, гоняющий обруч, буква «Х», полумесяц, рот, слово «хочу», собака, стоящая на задних лапах, и весы. Этот ребус был напечатан. Он понравился. Он заинтриговал читателей. Но хоть убейте, я не знаю, что он может значить, и я погиб.

IV. Не принимать на веру

Сегодня я, Юнис Филдинг, перечитывала дневник, который вела в первые недели после того, как покинула укрытую от мира школу немецкой колонии моравских братьев *, где я получила образование. И мне почему-то очень жаль себя, наивную впечатлительную школьницу, вырванную из мирной тишины моравской колонии и внезапно оказавшуюся в доме, где царили печаль и тревоги.

Когда я открываю первую страницу дневника, передо мной, словно воспоминание о какой-то прежней жизни, встает картина: тихие, заросшие травой улочки колонии, старинные домики, спокойные, безмятежные лица их обитателей, ласковые взгляды, которыми они провожали детей, чинно идущих в церковь. И приют Незамужних Сестер, его сверкающие чистотой окна, а совсем рядом церковь, где молились они и мы и где широкий центральный проход отделял скамьи мужчин от скамей женщин. Я как будто опять вижу девушек в живописных шапочках, отделанных алыми лентами, и голубые ленты замужних женщин, и белоснежные чепцы вдов; и кладбище, где то же разделение сохраняется между общими могилами; и простодушного ласкового пастора, который всегда был полон снисхождения к нашим слабостям. Листая страницы моего короткого дневника, я опять вижу все это, и меня вдруг охватывает желание, чтобы вновь вернулись ко мне та ясность душевная и то незнание жизни, которые окружали меня, когда я жила там, надежно огражденная от всех печалей мира.

7 ноября. Вот я и дома после трехлетнего отсутствия — но как изменился наш дом! Раньше в нем всюду чувствовалось присутствие мамы, даже если она была в самой дальней комнате; теперь Сусанна и Присцилла донашивают ее одежду — когда они проходят мимо и около меня мелькают мягкие складки серо-голубого платья, я вздрагиваю и поднимаю глаза, словно надеясь увидеть лицо мамы. Они намного старше меня: когда я родилась, Присцилле было уже десять лет, а Сусанна на три года старше Присциллы. Они всегда очень серьезны и благочестивы, и даже в Германии знают, как ревностны они в вере. К тому времени, когда я буду такой же старой, я, наверное, стану похожа на них.

Неужели мой отец был когда-то беззаботным маленьким мальчиком? У него такой вид, словно он прожил уже много столетий. Вчера вечером я боялась внимательно рассматривать его лицо, но сегодня я заметила, что под морщинами, которые оставила забота, в нем таится очень ласковое и светлое выражение. В его душе скрыты безмятежные глубины, которые не может потревожить никакая буря. Это несомненно. Он хороший человек, я знаю, хотя о его добродетели в школе не рассказывали — там говорили только о Сусанне и Присцилле. Когда извозчик остановился около наших дверей, отец выбежал на улицу без шляпы и, схватив меня в объятья, внес в дом, словно я еще совсем маленькая, и я забыла о печальном расставанье с моими подругами, и добрыми сестрами, и с нашим пастором — так радостно было мне вернуться к нему. С божьей помощью — а в этом господь мне, наверное, поможет,— я буду моему отцу опорой и утешением.

С тех пор, как умерла мама, дом стал совсем другим. У комнат очень угрюмый вид, потому что стены покрылись пятнами сырости и плесени, а ковры совсем истерлись. Наверное, мои сестры пренебрегают домашним хозяйством. Присцилла, правда, помолвлена с одним из братьев, который живет в Вудбери, в десяти милях отсюда. Вчера она мне рассказывала, какой у него красивый дом, обставленный куда более роскошно, чем это обычно принято у членов нашего братства: ведь мы не ищем мирского блеска. А еще она показала мне белье из тонкого полотна, которое шьет для себя, и всякие платья,

шелковые и шерстяные. Когда она разложила их на убогих стульях нашей скромной комнаты, я невольно подумала, что они, наверное, стоят очень дорого, и спросила, хорошо ли идут дела нашего отца. Тут Присцилла покраснела, а Сусанна глубоко вздохнула, и это было достаточным ответом.

Сегодня утром я распаковала свои вещи и вручила моим сестрам письмо от нашей церкви. В нем сообщалось, что брат Шмидт, миссионер в Вест-Индии, просит, чтобы ему по жребию была избрана достойная супруга, которая присоединилась бы к нему там. Некоторые незамужние сестры нашей колонии дали свое согласие, и из уважения к Сусанне и Присцилле их тоже извещают о просьбе брата Шмидта, на случай, если они захотят сделать то же. Конечно, Присциллы это не касалось, потому что она уже невеста, но Сусанна весь день была погружена в глубокую задумчивость, а сейчас она сидит напротив меня, такая бледная и серьезная, и ее каштановые волосы, в которых я вижу несколько серебряных нитей, аккуратно заплетены в косы и уложены над ушами. Но пока она пишет, по ее худым щекам разливается легкий румянец, словно она беседует с братом Шмидтом, которого никогда не видела и чьего голоса никогда не слышала. Она написала свое имя (я могу прочесть его — «Сусанна Филдинг») четким округлым почерком; оно будет вместе с другими опущено в шкатулку, и та, чей жребий выпадет, станет супругой брата Шмидта.

9 ноября. Я пробыла дома только два дня, но как я изменилась! Мой ум в смятении, и мне кажется, прошло сто лет с тех пор, как я уехала из школы. Сегодня утром к нам пришли два каких-то человека и пожелали видеть отца. Это были грубые, невоспитанные люди, и их голоса доносились до кабинета отца, где он что-то писал, а я сидела у камина и шила. Услышав поднятый ими шум, я посмотрела на отца и увидела, что он смертельно побледнел и склонил седую голову на руки. Но он тотчас же вышел к ним и, вернувшись вместе с ними в кабинет, отослал меня к сестрам. Я нашла их в гостиной — Сусанна была очень расстроена и испугана, а у Присциллы началась истерика. Когда они, наконец, успокоились и

Присцилла легла на диван, а Сусанна села в мамино кресло и погрузилась в глубокую задумчивость, я тихонько прошла к кабинету отца и постучала в дверь. Он сказал: «Войдите!» Он был один и казался очень-очень грустным.

— Юнис,— прошептал он с нежностью,— я расскажу тебе все.

Я стояла на коленях рядом с его стулом и смотрела на него, пока он рассказывал мне о преследовавших его несчастьях, и с каждым его словом мои школьные годы уходили все дальше и дальше, и я поняла, что эта пора моей жизни кончилась безвозвратно. Потом он объяснил, что эти люди были посланы его кредиторами, чтобы вступить во владение всем, что находится в нашем старом доме, где жила и умерла моя мать.

Сперва я всхлипнула и чуть было не устроила истерику, как Присцилла, но я подумала, что отцу от этого не будет никакой пользы, постаралась справиться с собой и через несколько минут могла уже спокойно смотреть ему в глаза. Потом он сказал, что ему надо заняться своими счетными книгами, и я поцеловала его и вышла из кабинета.

В гостиной Присцилла по-прежнему лежала на диване, закрыв глаза, а Сусанна все так же задумчиво смотрела перед собой. Они не заметили, ни как я вошла, ни как я снова ушла. Я отправилась на кухню обсудить с Джейн, какой обед приготовить отцу. Она сидела, раскачиваясь на табуретке, и краешком жесткого передника вытирала покрасневшие глаза, а в кресле, которое некогда принадлежало моему деду — кто в братстве не слышал о Джордже Филдинге? — сидел один из незнакомцев, нахлобучив на глаза бурую войлочную шляпу, и внимательно разглядывал мешочек с сушеными травами, висевший на крюке под потолком. Он не отвел от него взгляда, даже когда я вошла и, пораженная, застыла на пороге. Однако он округлил свой большой рот, словно собираясь свистнуть.

— Доброе утро, сэр,— сказала я, как только оправилась от неожиданности; ведь мой отец объяснил мне, что мы должны видеть в этих людях лишь орудие, избранное для того, чтобы принести нам горе,— не скажете ли вы мне, как вас зовут?

Он уставился на меня. А потом улыбнулся и сказал:

— Джон Робинс имя мое. Англия — отчизна моя. В Вудбери я живу, и Христос — спасенье мое.

Он проговорил это нараспев, и его взгляд снова вернулся к мешочку с майораном, а глаза заблестели словно от удовольствия. Я стала раздумывать над его ответом и почему-то почувствовала себя утешенной.

— Я очень рада этому,— сказала я наконец,— потому что мы люди верующие и я боялась, что вы не такой.

— Ну, я вам беспокойства не доставлю, мисс,— ответил он,— не обращайте на меня внимания; только скажите, чтобы эта ваша Мария давала мне пиво вовремя, и я никого не потревожу.

— Благодарю вас,— ответила я.— Джейн, вы слышали, что сказал мистер Робинс? Повесьте проветриваться простыни и постелите постель в комнате Братьев. Вы найдете библию и молитвенник на столике, мистер Робинс.

Я уже собиралась выйти из кухни, когда этот странный человек стукнул кулаком по столу с такой силой, что я даже испугалась.

— Мисс,— сказал он,— вы только не расстраивайтесь. А если кто-нибудь еще вас расстроит, то вспомните Джона Робинса из Вудбери. Я всегда буду стоять за вас горой и в своем деле и не в своем деле, разра...

Он, кажется, хотел что-то добавить, но вдруг замолчал и снова уставился в потолок, а его красное лицо покраснело еще больше. После этого я ушла из кухни.

Потом я помогала отцу приводить в порядок его счетные книги и очень радовалась, что всегда прилежно занималась арифметикой.

P. S. Мне приснилось, что нашу колонию захватила армия мужчин, которую вел Джон Робинс, и он непременно хотел стать нашим пастором.

10 ноября. Я совершила путешествие в целых пятьдесят миль, и половину дороги проехала в дилижансе. Я только теперь узнала, что брат моей матери, богатый мирской человек, живет в пятнадцати милях за Вудбери. Он не принадлежит к нашей вере и был очень недоволен, когда мама вышла замуж за отца. Оказалось также, что

Сусанна и Присцилла — неродные мамины дочки. Папа вдруг подумал, что наш мирской родственник, может быть, захочет помочь нам в нашей великой беде. И вот я поехала, сопровождаемая его благословением и молитвами. Брат Мор, приходивший вчера повидать Присциллу, встретил меня на станции в Вудбери и посадил в дилижанс, который проезжает через деревню, где живет мой дядя. Брат Мор гораздо старше, чем я думала. Лицо у него большое, грубое и дряблое. Я не понимаю, как Присцилла могла дать ему согласие. Но, во всяком случае, он был со мною добр и долго глядел вслед дилижансу, когда мы отъехали от гостиницы. Однако я тут же забыла про брата Мора и стала думать о том, что скажу дяде.

Его дом стоит в стороне от других, среди лугов и рощ, но только на деревьях сейчас совсем нет листьев, и они раскачивались на сыром холодном ветру, словно перья над катафалком. Я вся дрожала, когда подняла медный молоток с изображением усмехающегося лица, а когда я его опустила, раздался такой стук, что все собаки залаяли, а грачи на деревьях закричали. Лакей провел меня через переднюю с очень низким потолком в гостиную — хотя потолок в этой комнате тоже был низкий, она показалась мне очень большой и красивой; теплые красноватые отблески камина были очень приятны для моих глаз, утомленных мрачной серостью ноябрьского дня. Уже смеркалось. На диване лежал красивый старик и крепко спал. По другую сторону камина сидела маленькая старушка, которая поднесла палец к губам и молча указала мне на стул у огня. Я послушно села и погрузилась в задумчивость.

Наконец сонный мужской голос спросил:

— Что это за девушка?

— Я Юнис Филдинг,— ответила я, почтительно встав, потому что этот старик был мой дядя, а он так уставился на меня проницательными серыми глазами, что я совсем смутилась и, как ни старалась сдержаться, по моим щекам скатились две слезы — ведь на сердце у меня было очень тяжело.

— Черт побери! — воскликнул он.— Вылитая Софи!— И он рассмеялся, только смех этот показался мне совсем невеселым.— Поди сюда, Юнис, и поцелуй меня.

Я послушно подошла и наклонилась к нему. Но он захотел посадить меня к себе на колени, и мне было очень неловко, потому что, даже когда я была маленькой, папа никогда меня так не ласкал.

— Ну, прелесть моя,—сказал дядя,—какая у тебя ко мне просьба? Ей-богу, я готов обещать тебе все что угодно.

Когда он сказал это, я вспомнила царя Ирода * и грешную танцовщицу *, и мне стало страшно, но потом я собралась с духом, как царица Эсфирь *, и рассказала, какая нужда привела меня к нему, и даже заплакала, когда объяснила, что моему отцу грозит тюрьма, если никто ему не поможет.

— Юнис,— ответил дядя после долгого молчания.— Я хочу предложить тебе и твоему отцу один договор. Он украл у меня мою любимую сестру, и я больше никогда ее не видел. Детей у меня нет, и я богат. Если твой отец отдаст тебя мне и откажется от всех своих прав — даже обещает никогда с тобой не видеться, если я того не пожелаю,— тогда я заплачу все его долги, а тебя удочерю.

Не успел он выговорить все эти слова, как я отпрянула от него — ни разу в жизни я не испытывала такого гнева.

— Это невозможно! — воскликнула я.— Мой отец от меня не отречется, и я никогда его не покину!

— Не торопись решать, Юнис,— сказал он.— У твоего отца есть две другие дочери. Даю тебе час на размышление.

Он и его жена вышли, и я осталась одна в красивой гостиной. Мое решение было твердо с самого начала. Но пока я сидела перед жарким огнем, мне показалось, что все холодные унылые дни надвигающейся зимы собрались вокруг меня, наполняя леденящим холодом теплую комнату, прикасаясь ко мне ледяными пальцами, и я задрожала словно от испуга. Тогда я отрыла книжечку со жребиями, которую подарил мне наш пастор, и с тревогой поглядела на множество билетиков, которые в ней хранились. Я нередко прибегала к ней, но не получала ни ясных советов, ни утешения. Я все-таки решила вынуть билетик, и на этот раз он гласил: «Не падай духом!» И я почувствовала, что решимость моя укрепилась.

Когда час истек, вернулся дядя и стал меня убеждать, мешая уговоры и мирские соблазны с угрозами, пока я, наконец, не осмелела и не ответила на его хитрую речь.

— Грешно,— сказала я,— искушать дочь, чтобы она забыла своего отца. Провидение дало вам силу облегчать печали ваших ближних, а вы стремитесь лишь увеличить их бремя. Лучше я буду жить с отцом в тюрьме, чем с вами во дворце.

Я повернулась и ушла от него. Когда, миновав прихожую, я вышла на улицу, оказалось, что уже совсем стемнело. До деревни, где останавливался дилижанс, было больше мили, а живые изгороди по обеим сторонам проселочной дороги были густые и высокие. Хотя я шла очень быстро, ночь настигла меня совсем неподалеку от дома дяди; поднялся туман, и мрак был настолько густ, что мне казалось, будто я могу потрогать его рукой.

— Не падай духом, Юнис,— сказала я и, чтобы отогнать страх, который завладел бы моей душой, если бы я хоть чуть-чуть поддалась ему, громко запела наш вечерний псалом.

И вдруг впереди меня мелодию подхватил звучный и красивый голос, похожий на голос брата, который в колонии обучал нас музыке. Я остановилась, охваченная страхом и какой-то странной радостью, и голос впереди меня сразу перестал петь.

— Добрый вечер! — сказал он, и в нем слышалась такая доброта, прямодушие и мягкость, что я сразу почувствовала к нему доверие.

— Подождите меня,— сказала я,— мне ничего не видно в темноте, а я тороплюсь в Лонгвилл.

— Я тоже иду туда,— ответил голос, к которому я приближалась с каждой секундой, и вскоре я различила сквозь туман высокую темную фигуру.

— Брат, —сказала я и затрепетала, сама не знаю почему,— далеко ли еще до Лонгвилла?

— Только десять минут ходьбы,— ответил он так весело, что я сразу приободрилась,— обопритесь на мою руку, и мы скоро будем там.

Когда мои пальцы легли на его локоть, мне показалось, что я нашла твердую опору и надежного защитника. Поравнявшись с освещенными окнами деревенской гости-

ницы, мы поглядели друг на друга. Лицо его было добрым и прекрасным, словно на самых лучших картинах, какие мне только доводилось видеть. Не знаю почему, но мне вспомнился архангел Гавриил.

— Вот мы и пришли в Лонгвилл,— сказал он.— Куда вас проводить?

— Сэр,— ответила я (на свету мне как-то неловко было называть его братом),— я еду в Вудбери.

— В Вудбери? — повторил он.— В такое время?.. И совсем одна? Через несколько минут должен подойти дилижанс, с которым я собирался отправиться в Вудбери. Разрешите служить вам провожатым?

— Благодарю вас, сэр,— ответила я, а потом мы молча стояли рядом, пока совсем близко в тумане не блеснули фонари дилижанса. Незнакомец открыл дверцу, но я отступила, глупо устыдившись своей бедности — недостойное чувство, которое следовало побороть.

— Мы бедны,— пробормотала я,— я должна ехать наверху.

— Но не в зимнюю же ночь,— сказал он.— Ну-ка, садитесь быстрее.

— Нет, нет,— ответила я твердо,— я поеду снаружи.

Прилично одетая крестьянка с ребенком уже поднялась на империал, и я поспешила присоединиться к ней. Мое место было самым крайним и выступало над колесами. Кругом по-прежнему стояла такая темнота, что ничего нельзя было рассмотреть, и лишь тусклые пятна света от фонарей дилижанса скользили по лишенным листвы живым изгородям. Все остальное тонуло в непроглядном мраке. Я думала только о моем отце и о разверзнувшихся перед ним дверях тюрьмы. Но тут на мой локоть легла чья-то сильная рука, и я услышала голос Гавриила:

— Это место очень опасно,— сказал он.— При сильном толчке вас может сбросить на землю.

— Мне так тяжело,— ответила я с рыданием, теряя последние остатки мужества.

Под покровом темноты я тихо плакала, закрыв лицо руками, и слезы эти облегчили горечь моей печали.

— Брат,— сказала я (было темно, и я снова могла называть его так),— я лишь несколько дней назад вер-

нулась домой из школы, и мне незнакомы обычаи и горести мира.

— Дитя мое,— ответил он тихо,— я видел, как вы плакали, склонив голову на руки. Не могу ли я помочь вам?

— Нет,— ответила я,— мое горе касается только меня и моих близких.

Он больше ничего не говорил, но я все время чувствовала, что его рука ограждает меня от темного провала рядом. И так в ночном мраке мы ехали в Вудбери.

В почтовой конторе меня дожидался брат Мор. Он сразу увел меня, не дав даже оглянуться на Гавриила, который стоял и смотрел мне вслед. Брату Мору не терпелось услышать рассказ о моем разговоре с дядей. Когда я сообщила ему о своей неудаче, он о чем-то задумался и ничего не говорил, пока я не вошла в вагон поезда, а тогда наклонился ко мне и прошептал:

— Скажите Присцилле, что я приеду завтра утром.

Брат Мор богат. Может быть, ради Присциллы он спасет моего отца.

11 ноября. Сегодня мне приснилось, что Гавриил стоит рядом со мной и произносит: «Я пришел говорить с тобою и благовестить тебе сие...», но когда я напрягла слух, он вздохнул и исчез.

15 ноября. Брат Мор бывает у нас каждый день, но еще ни словом не обмолвился о том, что хочет помочь моему отцу. А если помощь промедлит, то его заключат в тюрьму. Может быть, дядя смягчится и предложит нам более легкие условия; ну, хотя бы проводить половину года в его доме. Тогда я согласилась бы жить в его доме — ведь жили же благочестиво Даниил и три отрока при дворе вавилонского царя *. Я хочу написать ему об этом.

19 ноября. От дяди никакого ответа. Сегодня я ездила в Вудбери с Присциллой — у нее было дело к пастору тамошней церкви, и они беседовали около часа, а я тем временем отправилась искать тюрьму и обошла кругом ее угрюмые крепкие стены. Я думала о своем бедном отце, и мне было очень грустно и страшно. Наконец, утомив-

шись, я села на приступку тюремных ворот и снова заглянула в мою книжечку со жребиями. И опять мне выпало: «Не падай духом!» В эту минуту ко мне подошли брат Мор и Присцилла. На его лице было выражение, которое мне показалось очень неприятным, но я помнила, что он должен стать мужем моей сестры, и, встав, протянула ему руку, а он просунул ее себе под локоть и прикрыл своей жирной ладонью. Мы стали все втроем прогуливаться у тюремных стен. И тут в саду, который тянулся по склону ниже нас, я заметила того, кого называю Гавриилом (я ведь не знаю его имени), а с ним прекрасную девушку. Я вдруг заплакала, а почему — сама не знаю: наверное, из-за беды, которая грозит отцу. Брат Мор проводил нас домой и отослал Джона Робинса. Джон Робинс попросил, чтобы я его не забывала, и я не забуду его до конца жизни.

20 ноября. Ужасный день. Мой бедный отец в тюрьме. Сегодня, когда мы садились обедать, за ним явились два человека самого злодейского вида. Да простит мне бог, что я пожелала им смерти! А мой отец говорил с ними очень мягко и терпеливо.

— Пошлите за братом Мором,— сказал он нам,— и следуйте его советам.

И вот его увели.

Что мне делать?

30 ноября. Вчера мы до поздней ночи говорили о том, что нас ждет. Присцилла полагает, что теперь брат Мор ускорит их свадьбу, а у Сусанны предчувствие, что ей выпадет жребий стать женой брата Шмидта. Она очень рассудительно говорила о долге миссионеров и о почиющей на них благодати, без которой этого долга исполнить нельзя. А я думала только о том, что вот сейчас мой отец пытается уснуть за тюремными стенами.

Брат Мор говорит, что он, кажется, видит путь, как освободить моего отца, но только все мы должны молиться, чтобы господь помог нам преодолеть себялюбие. Я знаю, что готова сделать что угодно, даже продать себя в рабство, как наши первые миссионеры в Вест-Индии, когда там еще были рабы. Но в Англии себя продать

нельзя, хотя я была бы верной служанкой. Я хотела бы разом получить столько денег, чтобы хватило заплатить все наши долги. Брат Мор уговаривает меня не портить мои глазки слезами.

1 декабря. В тот день, когда арестовали отца, я в последний раз попросила дядю о помощи. Сегодня утром я получила от него коротенькую записку с сообщением, что он поручил своему поверенному побывать у меня и ознакомить меня с условиями, на которых он готов мне помочь. Не успела я ее прочесть, как мне сказали, что пришел его поверенный и хочет поговорить со мной наедине. Я пошла в гостиную, дрожа от страха и волнения, и вдруг увидела Гавриила. Я сразу ободрилась, потому что вспомнила, как он пришел ко мне во сне и сказал: «Я пришел говорить с тобою и благовестить тебе сие».

— Мисс Юнис Филдинг? — спросил он своим приятным голосом, поглядев на меня с улыбкой, которая, словно солнечный луч, оживила мой унылый, гаснущий дух.

— Да,— ответила я и по-глупому опустила глаза, а потом жестом пригласила его сесть, а сама прислонилась к креслу мамы.

— Боюсь, что я не могу сообщить вам ничего радостного,— сказал Гавриил.— Ваш дядя продиктовал вот этот документ, который должны подписать вы и ваш отец. Он заплатит долги мистера Филдинга и будет выплачивать ему сто фунтов в год при условии, что мистер Филдинг уедет в какую-нибудь из моравских колоний в Германии, а вы примете его первое предложение.

— Не могу! — воскликнула я с горечью.— О сэр, неужели мне следует отречься от отца?

— Думаю, что нет,— ответил он тихо.

— Сэр,— сказала я,— будьте добры, передайте моему дяде, что я не согласна.

— Хорошо,— ответил он,— и постараюсь сделать это как можно мягче. Я ваш друг, мисс Юнис.

Он произнес «Юнис» так, будто это было не просто имя, а какое-то редкое, драгоценное слово. Я даже не знала, что оно может звучать так красиво. А потом он встал, чтобы откланяться.

— Брат,— сказала я, протягивая ему руку,— прощайте.

— Мы еще увидимся, мисс Юнис,— ответил он.

Он увидел меня раньше, чем ожидал, так как я со следующим же поездом поехала в Вудбери, и когда я вышла из темного вагона на платформу, то заметила, что он выходит из соседнего вагона, и в то же мгновение наши взгляды встретились.

— Куда вы теперь, Юнис? — спросил он.

Это обращение без «мисс» показалось мне гораздо более приятным. Я объяснила ему, что знаю дорогу к тюрьме, так как недавно ходила туда посмотреть на нее снаружи. Я увидела, что в глазах его блеснули слезы, но он ничего не сказал, а просто взял меня под руку. Я молча пошла рядом с ним к огромным воротам тюрьмы, где томился мой отец, но на сердце у меня стало легче.

Мы вошли в пустой квадратный дворик, где клочок серого зимнего неба над головой казался совсем плоским. Там, скрестив на груди руки, ходил взад и вперед мой отец, и голова его была опущена так, словно у него никогда не будет больше сил поднять ее. Я вскрикнула, кинулась к нему, обняла его — и больше я ничего не помню; когда сознание вернулось ко мне, я была в скудно обставленной каморке, отец держал меня в объятьях, а Гавриил, стоя передо мной на коленях, грел мои руки и прижимал их к губам.

Потом Гавриил и мой отец стали о чем-то разговаривать, но тут явился брат Мор, и Гавриил ушел. Брат Мор сказал торжественно:

— Этот человек — волк в овечьей шкуре, а наша Юнис — нежная овечка!

Я не верю, что Гавриил — волк.

2 декабря. Я сняла комнату в домике неподалеку от тюрьмы. Это дом Джона Робинса и его жены, очень доброй женщины и хорошей хозяйки. И теперь я каждый день могу видеться с отцом.

13 декабря. Вот уже две недели, как отец в тюрьме. Вчера брат Мор поехал повидаться с Присциллой и обещал сегодня утром рассказать нам, какой план он приду-

мал, чтобы помочь отцу. Я должна встретиться с ним в тюрьме.

Когда я вошла, у моего отца и брата Мора был очень взволнованный вид, и бедный отец откинулся на спинку стула, словно совсем измученный долгим спором.

— Объясните ей все, брат,— сказал он.

Тогда брат Мор рассказал нам, что ему было божественное видение о том, чтобы он порвал помолвку с Присциллой и взял меня — *меня!* — в жены. Тут он проснулся, но в ушах его еще звучали слова: «Сон твой нелжив, и толкование его верно».

— И посему, Юнис,— закончил он ужасным голосом,— вы с Присциллой должны покориться, дабы не стать ослушницами воли божьей!

Я была так поражена, что не могла вымолвить ни слова, но все-таки расслышала, как он добавил:

— И в видении моем было мне указано освободить вашего отца в тот день, когда ты станешь моей женой.

— Но ведь,— наконец выговорила я, чувствуя к нему невыносимое отвращение,— это будет тяжкой обидой Присцилле. Нет, это не видение, посланное богом, это заблуждение и искушение. Возьмите в жены Присциллу и освободите нашего отца. Нет, нет, это видение лживо.

— Оно от бога,— ответил он, впиваясь в меня глазами.— Присциллу я избрал, полагаясь лишь на свой слабый разум. И это было прегрешением. Но во искупление я обещал ей половину ее приданого.

— Отец! — воскликнула я.— Но ведь и мне тоже должен быть дан какой-то знак! Почему только ему было послано видение?

Потом я прибавила, что поеду домой повидаться с Присциллой и буду ждать какого-нибудь указания свыше.

14 декабря. Когда я приехала домой, оказалось, что Присцилла больна и не хочет меня видеть. Сегодня утром я встала в пять часов, тихонько спустилась в гостиную и зажгла лампу. Гостиная выглядела унылой и заброшенной. И все же меня охватило странное чувство, словно мамочка и мои умершие братцы и сестрицы, которых я никогда не видела, сидели здесь ночью у камина, как мы сидим около него днем. Может быть, она узнала о моем

горе и оставила знак, чтобы утешить меня и дать мне совет. Мое евангелие лежало на столе, но оно было закрыто. Ее ангельские пальцы не открыли священную книгу на стихе, который указал бы мне путь. И чтобы узнать волю провидения, мне оставалось только вынуть жребий.

Я вырезала три совершенно одинаковых полоски бумаги — три, хотя, конечно, могла бы обойтись и двумя. На первой я написала: «Стать женой брата Мора», а на второй — «Стать Незамужней Сестрой». Третья полоска лежала на пюпитре чистая и белая, словно ожидая, чтобы на ней было написано чье-то имя, и вдруг пронизывающий холод зимнего утра сменился душной жарой, так что мне пришлось распахнуть окно и подставить лицо струям морозного воздуха. Я подумала, что оставлю себе выбор, хотя при слове «выбор» совесть моя горько меня упрекнула. Потом я вложила три бумажные полоски в евангелие и села перед ним, страшась вынуть жребий, скрывающий тайну моей будущей жизни.

Ничто не подсказывало мне, какую бумажку выбрать, и я не решалась протянуть руку ни к одной из них. Ибо я должна была подчиниться жребию, который мне выпадет. Стать женой брата Мора — как это ужасно! А потом мне вспомнился «Дом Сестер», где обитают Незамужние Сестры, где все у них общее, и он показался мне унылым, скучным и каким-то неживым. Но вдруг я вытащу пустую бумажку! Сердце у меня мучительно билось. Я снова и снова протягивала руку и снова ее отдергивала; и вот уже керосин в лампе начал выгорать, огонек ее потускнел, и, устрашившись, что я снова останусь без указания, я выхватила из евангелия среднюю полоску. Огонек в лампе уже совсем угасал, и я едва успела прочесть слова: «Стать женой брата Мора».

* * *

Это последняя запись в моем дневнике, который я вела три года тому назад.

Когда Сусанна сошла в гостиную, она увидела, что я сижу у своего пюпитра, охваченная тупым оцепенением, и сжимаю в руке злосчастную полоску. Мне ничего не надо было объяснять ей: она поглядела на другие полоски — пустую и с надписью «Стать Незамужней Сестрой» — и по-

няла, что я вынимала жребий. Помнится, она всплакнула и поцеловала меня с непривычной нежностью, а потом вернулась к себе в спальню, и я слышала, как она что-то серьезно и печально говорила Присцилле. А потом нас всех охватило какое-то равнодушие; даже Присцилла угрюмо смирилась со своей судьбой. Пришел брат Мор, и Сусанна рассказала ему о жребии, который я вынула, но попросила не тревожить меня сегодня; он ушел, а я осталась свыкаться со своим несчастьем.

На следующий день я рано утром вернулась в Вудбери. Единственным утешением служила мне мысль, что моему дорогому отцу обещана свобода и он будет жить со мной в богатстве и довольстве до конца своей жизни. Все последующие дни я его почти не покидала и ни разу не допустила, чтобы брат Мор остался со мной наедине. Каждое утро Джон Робинс или его жена провожали меня до ворот тюрьмы, а вечером поджидали меня там, и мы вместе возвращались в их домик.

Мой отец должен был обрести свободу только в день моей свадьбы, и потому решено было сыграть ее как можно скорее. Многие свадебные наряды Присциллы годились и для меня. Роковой час неотвратимо приближался.

Как-то утром, в сумрачном свете декабрьской зари, на тропинке перед собой я вдруг увидела Гавриила. Он стал мне что-то быстро и горячо говорить, но я ничего не понимала и, запинаясь, ответила только:

— Я выхожу замуж за брата Джошуа Мора в день Нового года. И тогда он освободит моего отца.

— Юнис! — вскричал он, загораживая мне дорогу.— Вы не выйдете за него замуж. Я хорошо знаю этого жирного лицемера. Боже правый! Я люблю вас в тысячу раз больше, чем он. Да этот негодяй вообще не знает, что такое любовь.

Я ничего не ответила, потому что боялась и себя и его, хотя и не верила, что Гавриил — волк в овечьей шкуре.

— Вы знаете, кто я? — спросил он.

— Нет,— прошептала я.

— Я племянник жены вашего дяди,— сказал он,— и я вырос в его доме. Откажите этому мерзавцу Мору. Я обещаю освободить вашего отца. Я молод и могу работать. Я выплачу долги вашего отца.

— Это невозможно,— ответила я.— Брату Мору было божественное видение, а я вынула жребий. Надежды нет. Я должна стать его женой в день Нового года.

Тогда Гавриил уговорил меня рассказать ему все мои беды. Он немножко посмеялся и велел мне утешиться. Я никак не могла заставить его понять, что не смею противиться жребию, который мне выпал.

Когда я бывала с моим отцом, я старалась скрыть свою печаль и разговаривала с ним только о тех счастливых днях, когда мы будем вместе. И в угрюмых тюремных стенах я пела безыскусственные псалмы, которые мы, школьницы, пели в мирной церкви, где молились люди с безмятежными сердцами; и я укрепляла свой дух и дух моего отца, вспоминая наставления моего любимого пастора. Вот почему мой отец не догадывался о моем тайном страдании и с надеждой ждал дня, который распахнет перед ним тюремные двери.

Однажды я пошла к пастору в Вудбери и открыла ему свою душу — только о Гаврииле я умолчала,— а он ответил мне, что это часто бывает с молодыми девушками накануне свадьбы, но что мне дано ясное указание; он еще добавил, что брат Мор — праведник, и когда он станет моим мужем, я скоро научусь любить и почитать его.

Наконец настал последний день года; торжественный день для людей нашей веры, потому что в этот день мы вынимаем жребий на весь следующий год. Все, казалось, было кончено. Если в моем сердце и теплилась надежда, то теперь она меня покинула. В этот вечер я ушла от своего отца рано, так как не могла долее скрывать свою печаль; но когда я вышла за ворота тюрьмы, то стала бродить под ее стенами, словно эти горькие дни были счастьем по сравнению с тем, что сулило мне будущее. В этот день мы не видели брата Мора. Но, конечно, освобождение моего отца требовало хлопот. Я все еще бродила в тени высоких стен, когда ко мне бесшумно подъехала карета — земля была припорошена мягким снежком,— из нее выскочил Гавриил и чуть было не заключил меня в свои объятья.

— Милая Юнис,— сказал он,— вы должны поехать со мной. Наш дядя спасет вас от этого ненавистного брака.

Не знаю, что бы я сделала, но тут Джон Робинс крикнул мне с козел:

— Не бойтесь, мисс Юнис, помните Джона Робинса!

Тогда я перестала противиться. Гавриил усадил меня в карету и закутал в теплый плед. Мне казалось, что я вижу счастливый сон: мы беззвучно катили по снежным дорогам, озаренным бледным светом молодого месяца, и его серебристые лучи падали на лицо Гавриила, когда он наклонялся, чтобы укутать меня потеплее.

Мы ехали часа три, а потом свернули на проселочную дорогу, окаймленную высокими живыми изгородями, и я узнала место, где впервые встретила Гавриила. Значит, мы ехали к моему дяде. Поэтому я с легким сердцем вышла из кареты и во второй раз переступила порог его дома.

Гавриил проводил меня в ту же гостиную и, усадив в кресло перед камином, с нежной заботливостью помог мне снять шаль и шляпку. Потом он встал напротив меня, и его красивое лицо осветилось улыбкой. Но тут дверь открылась, и вошел мой дядя.

— Подойди ко мне, Юнис, и поцелуй меня,— сказал он, и я, ничего не понимая, выполнила его просьбу.

— Девочка,— продолжал он, ласково откидывая волосы с моего лба.— Сама ты не желала прийти ко мне, так что я поручил этому молодцу похитить тебя. Мы не позволим тебе выйти замуж за Джошуа Мора. Я не согласен на такого племянника. Пусть его женится на Присцилле.

Дядя говорил так весело, что на минуту я совсем утешилась, хотя и знала, что он не в силах отменить мой жребий. Потом он усадил меня рядом с собой, а я все еще глядела на него с удивлением.

— Я собираюсь вынуть для тебя жребий,— сказал он с доброй улыбкой.— Что скажет моя розочка своему жирному обожателю, если узнает, что отец ее уже свободен?

Я не осмеливалась взглянуть на него или на Гавриила, ибо я помнила, что сама искала небесного знака и никакие земные силы уже не могут ничего изменить. И ведь у брата Мора тоже было божественное видение.

— Дядюшка,— ответила я, задрожав,— мне нечего сказать. Я честно вынула свой жребий и должна ему покориться. Не в вашей власти помочь мне.

— Посмотрим,— возразил он.— Ведь сегодня канун

Нового года, когда вынимаются новые жребии. И теперь тебе не выпадет жребий стать женой брата Мора или Незамужней Сестрой. На этот раз мы вытащим пустую полоску!

Я еще старалась понять эти слова, как вдруг услышала в передней шаги, дверь распахнулась, на пороге показался мой любимый отец и раскрыл мне свои объятья. Я не знала, как он попал сюда, но я бросилась к нему с радостным криком и спрятала лицо у него на груди.

— Добро пожаловать, мистер Филдинг,— сказал дядя.— Фил! (Оказалось, что Гавриила зовут Филипп.) Пригласи сюда мистера Мора.

Я вздрогнула от испуга и удивления, мой отец также встревожился и крепче прижал меня к себе. На лице брата Мора, когда он вошел и робко остановился у самого порога, было такое трусливое и угодливое выражение, что он показался мне в тысячу раз более отвратительным, чем прежде.

— Мистер Мор,— сказал мой дядя,— если не ошибаюсь, вы собираетесь завтра вступить в брак с моей племянницей Юнис Филдинг?

— Я не знал, что она ваша племянница,— ответил тот приниженно,— я никогда бы не осмелился...

— Но как же божественное видение, мистер Мор? — перебил его дядя.

Брат Мор обвел нас тусклым взглядом и опустил глаза.

— Это было заблуждение,— пробормотал он.

— Это была ложь,— сказал Гавриил.

— Мистер Мор,— продолжал мой дядя,— если божественное видение было истинно, оно обойдется вам в пять тысяч пятьсот фунтов, которые вы мне должны, да еще в кое-какие суммы, которыми ссужал вас мой племянник, но если оно было истинно, вы, конечно, должны ему следовать.

— Оно не было истинно,— ответил брат Мор.— Это видение касалось Присциллы, с которой я был помолвлен. Лукавый соблазнил меня заменить ее имя на имя Юнис.

— Ну, так отправляйтесь и женитесь на Присцилле,— сказал дядя добродушно.— Филипп, проводи его.

Но Присцилла не хотела больше знать брата Мора и вскоре нашла приют в «Доме Незамужних Сестер» той

самой колонии, где я провела мирные годы своей юности. Ее свадебные наряды, которые были перешиты на меня, в конце концов пригодились Сусанне — предчувствие не обмануло ее, она была избрана женой брата Шмидта, уехала к нему в Вест-Индию и пишет нам оттуда счастливые письма. Некоторое время меня беспокоила мысль о вынутом мною жребии, но ведь если видение брата Мора касалось Присциллы, я не могла ему последовать. А кроме того, я больше никогда не видела брата Мора. Мой отец и дядя, которые никогда прежде не видели друг друга, очень подружились, и дядя потребовал, чтобы мы жили все вместе в его большом доме, где я буду дочерью им обоим. Люди говорят, что мы покинули церковь Единого братства, но это не так. Просто я встретила среди ее последователей одного дурного человека и встретила хороших людей, которые исповедовали другую веру.

Гавриил не принадлежит к братству.

V. Принимать в воде

Мы с моей милой женушкой Минни состояли в браке ровно один месяц, и прошло только два дня, как мы вернулись из свадебной поездки в Килларни *. Я был младшим партнером фирмы «Шварцмур и Леддок, банкиры, Ломберд-стрит» (разумеется, я пользуюсь вымышленными именами), и у меня оставалось еще целых четыре дня отпуска. Я был беспредельно счастлив в нашем светлом новеньком домике, расположенном в одном из юго-западных пригородов Лондона, и в это ясное октябрьское утро наслаждался восхитительным бездельем, наблюдая, как в воздухе кружатся большие желтые листья. Рядом со мной под кустом боярышника сидела Минни, а то я, конечно, не был бы беспредельно счастлив.

Бетси, молоденькая горничная Минни, вбежала в сад, держа в руке зловещего вида конверт.

Это была телеграмма от мистера Шварцмура. Вот что в ней говорилось:

«Вы должны немедленно доставить на континент золото. Неаполитанский заём. Задержка недопустима.

Весьма важная операция, проведенная после вашего отъезда. Сожалею, что вынужден нарушить ваш отдых. Будьте в конторе в шесть тридцать. Поезд от Лондонского моста в девять пятнадцать, чтобы поспеть в Дувр к ночному пакетботу».

— Посыльный уже ушел?

— Это не посыльный принес, сэр. Ее принес пожилой джентльмен, который шел к Доусону. Посыльного на месте не оказалось, а джентльмену это было по дороге.

— Герберт, милый, ведь ты не поедешь? Правда? — сказала Минни, прижимаясь к моему плечу и опуская головку.— Не уезжай.

— Ничего не поделаешь, любовь моя. Подобное дело фирма может доверить только мне. Наша разлука продлится всего неделю. Я должен выйти из дому через десять минут, иначе я не успею на лондонский поезд в четыре двадцать.

— Это была очень важная телеграмма,— резко сказал я начальнику станции,— и вы не имели права передавать ее с каким-то неизвестным лицом. Кто, собственно, этот пожилой джентльмен?

— Кто он такой, Гарви? — угрюмо спросил начальник станции у носильщика.

— Очень почтенный старичок, сэр. Ему нужно было в конюшни Доусона, у него там лошади.

— Надеюсь, ничего подобного впредь больше не случится, мистер Дженнингс,— сказал я,— или я буду вынужден подать жалобу. Я бы и за сто фунтов не согласился, чтобы эта телеграмма пропала.

Мистер Дженнингс, начальник станции, что-то пробурчал себе под нос, а потом дал подзатыльник мальчишке-посыльному. Это, казалось, доставило ему (мистеру Дженнингсу) большое удовольствие.

— Мы уже очень беспокоились,— сказал мистер Шварцмур, когда я вошел в его кабинет, опоздав всего на три минуты.— Очень беспокоились, не правда ли, Голдрик?

— Очень беспокоились,— подтвердил старший клерк, маленький аккуратный человечек.— Очень.

Мистер Шварцмур был толстяком лет шестидесяти с густыми седыми бровями и красным лицом — сочетание, придававшее ему весьма холерический вид. Умный и безжалостный делец, он, несмотря на вспыльчивость и некоторое властолюбие, в частной жизни был любезен, внимателен и добр.

— Надеюсь, ваша очаровательная жена чувствует себя хорошо. Мне очень не хотелось нарушать ваш медовый месяц, но что поделаешь, мой милый! Золото в этих двух железных ящиках, обшитых кожей, чтобы походить на чемоданы. Ящики эти снабжены замками с буквенной комбинацией и содержат четверть миллиона в золотой монете. Король Неаполя опасается восстания (все это происходило за три года до побед Гарибальди). Вы доставите их господам Пальявичини и Росси, Неаполь, улица Толедо, дом номер сто семьдесят два. Вот слова, открывающие замки — того, что с белой звездой — *«Масинисса»,* а того, что с черной — *«Котопахи»*. Постарайтесь не забыть эти магические слова. Откройте ящики в Лионе и проверьте, все ли в порядке. Ни с кем не разговаривайте. Не заводите по дороге никаких знакомств. Порученное вам дело крайне важно.

— Я буду выдавать себя,— сказал я,— за коммивояжера.

— Извините, что я вас поучаю, Блемайр, но я намного старше вас и знаю, как опасно путешествовать с золотой монетой. Если бы о вашей поездке сегодня узнали в Париже, то по дороге в Марсель вы подвергались бы такой опасности, словно всех каторжников Тулона выпустили охотиться за вами. Я не сомневаюсь в вашем благоразумии, я только прошу вас быть осторожнее. Вы, конечно, вооружены?

Я расстегнул сюртук и указал на пояс с револьвером, скрытый под жилетом. При виде этого грозного оружия старик клерк в страхе попятился.

— Отлично,— сказал мистер Шварцмур.— Но крупица осторожности стоит в пять раз больше, чем все пять пуль в этом барабане. Завтра вы задержитесь в Париже для переговоров с Лефебром и Дэжаном, а потом ночным поез-

дом двенадцать пятнадцать выедете в Марсель, чтобы сесть на пароход в пятницу. В Марсель мы пришлем вам телеграмму. Письма в Париж готовы, мистер Харгрейв?

— Да, сэр, почти готовы. Мистер Уилкинс торопится изо всех сил.

. . .

Я приехал в Дувр в полночь и сразу же нанял четырех носильщиков, чтобы снести мои чемоданы с набережной по каменной лестнице на пакетбот. Первый был доставлен благополучно, но когда носильщики спускались по ступенькам со вторым, кто-то из них поскользнулся и наверняка упал бы в воду, если бы его не схватил за плечо плотный пожилой офицер индийской армии, который, нагруженный всяческим багажом, шел впереди меня, поддерживая под локоть довольно добродушную на вид, но весьма вульгарную супругу.

— Осторожней, осторожней, любезный! — сказал он.— Что это у вас такое — скобяные изделия?

— Не знаю, сэр. Одно скажу — такая тяжесть хоть кому хребет сломит,— ответил носильщик, отрывисто поблагодарив своего спасителя.

— Эта лестница не слишком удобна для спуска тяжелых грузов,— раздался позади меня вежливый голос.— Судя по вашему багажу, сэр, мы собратья по профессии?

В эту минуту мы уже взошли на борт, и я оглянулся на говорившего. Это был высокий худой человек с длинным, несколько крючковатым носом и узкой вытянутой физиономией. На нем было слишком короткое пальто, пестрый жилет, панталоны в обтяжку, рубашка со стоячим воротничком и жесткий узорчатый шарф.

Я ответил, что действительно имею честь быть коммивояжером и что, по-моему, плаванье нам предстоит нелегкое.

— Да, погодка неприятная,— ответил он.— Рекомендую вам, сэр, незамедлительно занять койку. Как я замечаю, народу сегодня едет немало.

Последовав его совету, я сразу улегся и продремал около часа; затем я встал и осмотрелся. За одним из маленьких столиков сидело человек шесть пассажиров, включая бравого служаку и моего собеседника, выражавше-

гося со столь старомодной учтивостью. Попивая портер, они, казалось, вели самую дружескую беседу. Я присоединился к ним, и мы обменялись нелестными отзывами о ночном путешествии.

— Клянусь дьяволом, сэр, здесь нечем дышать! — воскликнул добродушный майор Бакстер (он не замедлил нам представиться).— Духота как в Пешаваре, когда дует горячий тинсан. А не выйти ли нам втроем на палубу глотнуть свежего воздуха? Моя жена плохо переносит поездки по морю, и пока пакетбот не причалит, мы ее не увидим. Стюард, еще портеру!

Когда мы вышли на палубу, я, к своему величайшему изумлению, заметил четыре чемодана с черными и белыми звездами, походившие на мой багаж, как две капли воды,— им не хватало только марки моей фирмы. Я даже протер глаза, но чемоданы не исчезали: кожаная обшивка, секретные замки — все было совершенно одинаково.

— Это мои чемоданы, сэр,— объяснил мистер Левисон (я слышал, что так называл коммивояжера капитан пакетбота).— Я работаю у фирмы Макинтош. В этих чемоданах лежат превосходнейшие непромокаемые плащи. Наша фирма пользуется такими чемоданами уже сорок лет. Но подобное сходство багажа, разумеется, чрезвычайно неудобно — возможны ошибки. Ваши образчики, насколько я могу судить, намного тяжелее моих? Усовершенствованные газовые горелки, болты и гайки, кухонные ножи или еще что-нибудь железное?

Я, кажется, промолчал или ответил что-то неопределенное.

— Сэр,— сказал Левисон,— я могу предсказать вам блестящее будущее: свято блюсти коммерческую тайну — вот залог успеха. А вы что скажете, сэр?

Майор, к которому относился этот вопрос, ответил:

— Клянусь дьяволом, сэр, вы правы! В наши дни следует быть начеку! Черт побери! Очень уж много развелось мошенников.

— Вон маяк Кале! — крикнул вдруг кто-то, и правда, прямо перед нами над темной водой приветливо замигал дружелюбный огонек.

Я скоро забыл о моих спутниках. Мы расстались в Париже: я отправился своей дорогой, а они — своей.

Майор ехал в Александрию через Марсель, но по пути собирался навестить знакомых в Дромоне под Лионом. Мистер Левисон тоже ехал в Марсель, как майор и я, но не успевал на мой поезд — о чем весьма сожалел,— потому что у него было много дел в Париже.

Выполнив данное мне поручение, я отправился в Пале-Рояль с мсье Лефебром-сыном, моим большим приятелем. Было часов шесть, и когда мы переходили улицу Сент-Оноре, нас обогнал высокий смуглый человек в свободном белом макинтоше, и я узнал мистера Левисона. Он ехал в открытом извозчичьем экипаже, и рядом с ним стояли его четыре чемодана. Я поклонился ему, но он, казалось, меня не заметил.

— Что это за субъект? — спросил мой друг с истинно парижской небрежностью.

Я ответил, что познакомился с ним накануне вечером на пакетботе.

На той же самой улице я столкнулся с майором и его супругой, спешившими на вокзал.

— Ну и дьявольский город,— сказал майор,— весь пропах луком. Будь он моим, я бы его весь вымыл, дом за домом. Вообще скверный город... скверный город! Джулия, душечка, это мой милейший вчерашний собеседник. Кстати, только что видел нашего коммивояжера. Вот уж делец так делец! Он не тратит время по театрам и музеям. Весь день на бирже или в банке: быть ему старшим компаньоном в фирме, помяните мое слово!

— И много нам предстоит таких встреч? — заметил мой друг Лефебр, когда мы, обменявшись рукопожатиями, расстались с веселым майором.— Забавный человек... так и кипит... так и брызжет... но вообще это один из ваших ленивых офицеров-эпикурейцев. Сразу видно. Вам нужно навести порядок в своей армии, или Индия проскользнет у вас между пальцев, как горсть песка,— вот увидите, мой милый.

В полночь я стоял на вокзале, следя за тем, как грузят мой багаж, как вдруг из подъехавшей извозчичьей кареты выпрыгнул англичанин и на превосходном французском языке попросил у кучера сдачи с пяти франков. Это был Левисон, но я почти сразу потерял его из виду, так как в эту минуту толпа увлекла меня за собой.

В купе, кроме меня, было еще только два пассажира — две бесформенные, закутанные в дорожные плащи фигуры, которые могли бы оказаться даже медведями.

Как только за окнами перестали мелькать огни Парижа и поезд помчался по равнинам, погруженным в глубокий мрак, я заснул, и мне пригрезилась моя милая женушка и наш милый домик. Но тут меня охватило смутное беспокойство. Теперь мне снилось, что я забыл слова, открывающие секретные замки. Я тщетно перебирал всю мифологию, историю и естественные науки. Затем я очутился в конторе неаполитанского банка в доме № 172 по улице Толедо, и взвод солдат угрожал мне немедленным расстрелом, если я не открою слова или не признаюсь, где спрятаны чемоданы. Оказалось, что я по какой-то непонятной причине их спрятал. В этот миг город содрогнулся от землетрясения, за окнами покатились огненные потоки — началось извержение Везувия. Я крикнул в отчаянии: «Боже милосердный, открой мне эти слова!» — и проснулся.

— Дромон! Дромон! Остановка десять минут, господа!

Почти ослепнув от ярких огней, я кое-как добрался до буфета и заказал чашку кофе. Но тут в комнату ворвалась шумная компания молодых английских туристов, таща за собой пожилого коммивояжера, который сохранял невозмутимое спокойствие. Это опять был Левисон! Молодые люди, торжествуя, потребовали шампанского.

— Нет, нет,— заявил их предводитель.— Вы должны выпить с нами, старина! Мы выиграли три роббера, а вам еще шла такая карта! Клико с золотой головкой, болван! Ну, вы еще расквитаетесь с нами до Лиона, старина.

Левисон добродушно болтал с ними о последнем роббере и пил шампанское. Через несколько минут молодые люди, докончив бутылку, отправились покурить, и тут Левисон заметил меня.

— Боже мой,— сказал он,— кто бы мог подумать! Очень, очень рад вас видеть! Ну, любезный сэр, вы должны выпить со мной шампанского. Еще бутылку, мсье! Я надеюсь задолго до Лиона перейти в ваше купе, любезный сэр. Я устал от этих шумных юнцов. Кроме того, я принципиальный противник высоких ставок.

В эту минуту официант принес шампанское, и Левисон поспешно взял у него бутылку.

— Нет, нет,— сказал он,— я всегда сам открываю свое вино.

Отвернувшись от меня, он снял проволочку, откупорил бутылку и стал наполнять мой стакан. Но в эту минуту какой-то добродушный толстяк бросился пожимать мне руку и неуклюжим движением разбил бутылку. Все шампанское разлилось по полу. Это, конечно, был майор — как всегда оживленный и куда-то торопящийся.

— Клянусь дьяволом, сэр! Тысяча извинений! Позвольте мне заказать другую бутылку. Добрый вечер, господа! Какая удача, что я снова с вами встретился! Джулия присматривает за багажом. Мы можем устроиться очень уютно. Эй, еще шампанского! Как по-французски «бутылка»? Черт знает что такое: эти французские друзья Джулии изволили уехать в Биарриц, словно бы забыли, что мы собираемся их навестить, а ведь сами прожили у нас в Лондоне полтора месяца! Подлость, и больше ничего! Клянусь дьяволом, сэр, уже дают звонок. Давайте соберемся все в одном купе. А шампанского нам так и не дождаться.

Левисон, казалось, был чем-то раздосадован.

— Я присоединюсь к вам только через одну-две станции,— ответил он.— Я вернусь к этим юнцам и попробую отыграться. Обчистили меня на двадцать гиней! В первый раз за все мои поездки я был так неосторожен. До свидания, майор Бакстер. До свидания, мистер Блемайр.

Сначала я не мог понять, откуда этот почтенный коммерсант, оказавшийся таким любителем виста, узнал мое имя, но затем сообразил, что он, вероятно, прочел его на моих чемоданах.

Мелькнули красные и зеленые огни, донесся крик стрелочника, проплыли ряды тополей и пригородные виллы, и нас снова окутал мрак.

Майор оказался очень веселым и приятным собеседником. Бедняга, правда, был под башмаком своей бестолковой, добродушной и властной гренадерши-жены: он без конца рассказывал всевозможные анекдоты о бунгало, джунглях и Гималаях, а миссис Бакстер то и дело его перебивала.

— Клянусь дьяволом, сэр,— сказал он,— я с радостью продал бы свой чин и стал коммивояжером, как вы. Я сыт Индией по горло: она чертовски скверно влияет на печень.

— Ах, Джон, ну что ты говоришь! Ты ведь ни разу в жизни не болел, если не считать той недели, когда ты выкурил у капитана Мейсона целый ящик чирут.

— Ну и пусть я не лишился здоровья, Джулия,— сказал майор, изо всей силы ударяя себя в грудь,— но мне не везет с повышениями, и вообще ни в чем никогда не везет. Стоит мне купить лошадь, как она на другой же день начинает хромать, а когда я еду в поезде, то непременно что-нибудь ломается.

— Ах, да перестань же, Джон,— сказала миссис Бакстер,— или я и в самом деле рассержусь. Какая чепуха! В свое время будет тебе и повышение. Немножко терпения, майор, берите пример с меня, не принимайте все так близко к сердцу. А ты наклеил ярлычок на картонку со шляпой? А где футляр с саблей? Если бы не я, майор, еще до Суэца вы растеряли бы все, кроме мундира.

Поезд остановился в Шармоне, и к нам присоединился Левисон. Через руку у него был переброшен белый макинтош, а в руке он нес связку зонтиков и тростей.

— Нет, хватит с меня ставок по соверену за очко,— сказал он, доставая колоду карт,— но если вы, майор и миссис Бакстер не прочь сыграть робберок-другой по шиллингу за очко, я буду очень рад. Снимайте, кому с кем играть.

Мы с удовольствием согласились. Мне выпало играть с миссис Бакстер против майора и Левисона. Мы выигрывали почти каждый роббер. Левисон был слишком осторожен, а майор смеялся, болтал и никогда не помнил, какие карты вышли.

Но как бы то ни было, игра помогла скоротать время. Мы смеялись над промахами майора и его необычайным везеньем — карта к нему шла хорошая, только он не мог ее разыграть. Мы смеялись над педантичностью Левисона и над любовью миссис Бакстер к взяткам; не думаю, чтобы тусклому фонарю ночного поезда приходилось когда-либо освещать более приятное общество. Однако я ни на секунду не забывал о моих драгоценных чемоданах.

И все это время мы мчались по Франции, ничего не видя, ничего не замечая, не принимая никакого участия в действии силы, увлекавшей нас вперед, словно мы были четырьмя арабскими царевичами на ковре-самолете.

Игра постепенно становилась все более ленивой, а разговор все более оживленным. Левисон — все в том же жестком шарфе, все такой же невозмутимый и любезный — вдруг разговорился и принялся посвящать нас в свои тайны.

— Наконец-то мне удалось,— говорил он своим размеренным и звучным голосом,— после многих лет поисков найти великий секрет, о котором так долго мечтали фабриканты непромокаемых плащей: как добиться того, чтобы ткань пропускала нагретый телом воздух и в то же время не пропускала дождя. Когда я вернусь в Лондон, я предложу фирме «Макинтош» купить этот секрет за десять тысяч фунтов. А если они откажутся, я немедленно открою в Париже мастерскую, назову новую ткань «маджентош» в честь великой итальянской победы императора и спокойно получу чистый миллион прибыли. Вот как я делаю дело!

— Замечательно! — сказал майор с восхищением.

— Ах, майор! — воскликнула его жена, не упустив удобного случая прочесть нотацию.— Если бы у вас была хоть малая доля благоразумия и энергии мистера Левисона, вы бы уже давно командовали полком.

Затем Левисон заговорил о замках.

— Сам я всегда пользуюсь замками с буквенной комбинацией,— сказал он.— Мои слова — «Тюрлюрет» и «Папагайо», два имени, которые я слышал в старинном французском фарсе. Кто сумеет их отгадать? Самому ловкому вору понадобится семь часов, чтобы расшифровать хотя бы одно из них. Не правда ли, замки с буквенной комбинацией очень надежны, сэр? (Он повернулся ко мне.)

Я сухо с ним согласился и спросил, в котором часу наш поезд прибывает в Лион.

— По расписанию мы должны быть в Лионе в четыре тридцать,— ответил майор,— а сейчас без пяти минут четыре. Уж не знаю почему, но у меня предчувствие, что с нашим поездом непременно что-нибудь случится. Такая

уж моя судьба. Когда я охотился на тигров, зверь всегда бросался именно на моего слона. Если требовалось послать гарнизон куда-нибудь в самую топь, выбор всегда падал на мою роту. Может быть, я просто суеверен, но у меня предчувствие, что до Марселя непременно случится какая-нибудь поломка. А как быстро идет поезд! Вы только поглядите, как раскачивается вагон.

Я невольно встревожился, но сумел это скрыть. А вдруг майор — мошенник, задумавший меня ограбить? Но нет, не может быть. Его красная добродушная физиономия и веселые бесхитростные глаза опровергали подобное подозрение.

— Не говорите чепухи, майор! Вот поэтому-то с вами всегда неприятно ездить,— откликнулась его жена, собиравшаяся вздремнуть.

Тут Левисон стал рассказывать о своей молодости и о том, как в дни Георга IV * он был коммивояжером фирмы на Бонд-стрит, изготовлявшей шарфы и галстуки. Он, не жалея красноречия, восхвалял старинные моды.

— Гнусные радикалы,— сказал он,— пытаются опорочить первого джентльмена Европы, как его справедливо называли. А я чту его память. Он был остроумцем и другом остроумцев. Он был безмерно щедр и презирал жалкую грошовую экономию. Он хорошо одевался, сэр, он был красив, сэр, манеры его были безупречны. Сэр, мы живем в жалком неряшливом веке. Когда я был молод, ни один джентльмен не позволил бы себе отправиться в путь, не захватив по крайней мере два десятка галстуков, четыре растяжки из китового уса и утюг, без которого нельзя было заложить на муслине тонкие ровные складки. Существовало, сэр, не менее восемнадцати способов завязывать галстук: был узел «а ля Диана», был узел «Альбион», «Гордиев узел», узел...

Поезд дернулся, начал замедлять ход и вскоре остановился.

Майор высунул голову из окна и спросил проходившего мимо жандарма:

— Где мы?

— В двадцати милях от Лиона, в Форт-Руж, мсье.

— Что случилось? Какое-нибудь несчастье?

Из соседнего купе кто-то ответил по-английски:

— Говорят, сломалось колесо. Придется ждать два часа и перегружать багаж.

— Боже мой! — не удержавшись, воскликнул я.

Левисон тоже высунул голову в окно.

— К сожалению, это правда,— сказал он затем.— Жандарм утверждает, что мы задержимся здесь по меньшей мере на два часа. Очень досадно, но такие дорожные неприятности неизбежны. Относитесь к ним спокойнее. Выпьем кофе и сыграем еще робберок-другой. Однако следует посмотреть, что там делают с нашим багажом. Если мистер Блемайр будет так добр сходить и заказать ужин, это я возьму на себя... Но боже мой, что это блестит под станционными фонарями? Эй, мсье (он окликнул того же жандарма, с которым прежде разговаривал майор), что тут происходит?

— Мсье,— ответил жандарм, отдавая честь,— это солдаты первого егерского полка, который направляется в Шалон; начальник станции распорядился, чтобы они окружили багажный вагон и проследили за переноской багажа. Пассажиры туда не допускаются, потому что в поезде следуют государственные ценности.

Левисон плюнул и глухо выругался — по поводу порядков на французских железных дорогах, решил я.

— Клянусь дьяволом, сэр, что за неуклюжие колымаги! — воскликнул майор Бакстер, указывая на две запряженные четверкой крепких лошадей деревянные повозки, стоявшие у живой изгороди за станцией,— наш поезд успел миновать первую стрелку и находился примерно в сотне ярдов от деревушки Форт-Руж.

Мы с Левисоном изо всех сил старались пробраться к нашему багажу, но солдаты нас так и не пропустили. Правда, я несколько утешился, заметив, что мои чемоданы несут очень осторожно, хотя их вес и вызывает громкую ругань. Я не заметил никаких государственных ценностей, о чем тут же сообщил майору.

— О, они хитры,— ответил он,— чертовски хитры! Скажем, это драгоценности императрицы: маленькая шкатулка, которую в ночной суматохе очень легко украсть.

В этот миг раздался громкий пронзительный свист — очевидно, какой-то сигнал. Лошади, запряженные в неук-

люжие повозки, рванулись вперед галопом и мгновенно исчезли из виду.

— Что за дикари, сэр! Экое варварство! — воскликнул майор.— Они так и не научились пользоваться железными дорогами, которые мы им преподнесли.

— Майор! — грозно перебила его жена.— Не смейте оскорблять этих иностранцев, помните, что вы офицер и джентльмен!

Майор потер руки и громко расхохотался.

— Проклятые идиоты! — воскликнул Левисон.— Не умеют обходиться без солдат: солдаты здесь, солдаты там; куда ни глянь, всюду солдаты.

— Ну, такие предосторожности иной раз бывают полезны, сэр,— отозвалась миссис Бакстер.— Франция полным-полна всякими проходимцами. Вы садитесь за стол в гостинице, а потом оказывается, что ваш сосед — бывший каторжник. Майор, вы помните этот случай в Каире три года назад?

— Джулия, душа моя, Каир не во Франции.

— Надеюсь, я это знаю, майор, но раз отель был французский, значит, никакой разницы нет! — отрезала майорша.

— Я, пожалуй, вздремну, джентльмены. Не знаю, как вы, а я устал,— заметил майор, когда после трех часов скучного ожидания мы, наконец, пересели на марсельский поезд.— Теперь остается только ждать, чтобы сломался пароход.

— Не грешите, майор, не искушайте провидения,— сказала его жена.

Левисон снова стал восхищаться принцем-регентом, его бриллиантовыми эполетами, его неподражаемыми галстуками; но слова Левисона словно все удлинялись и растягивались, а потом я вдруг перестал их слышать и различал только какое-то успокоительное бормотание, сливавшееся со стуком и лязгом колес.

И опять сны мои были смутными и тревожными. Мне казалось, что я в Каире и брожу по узким, тускло освещенным улицам, где меня толкают верблюды, черные рабы осыпают меня угрозами, а воздух душен от запаха мускуса и из-за решетчатых окон на меня смотрят закрытые покрывалами лица. Вдруг к моим ногам упала роза.

Я посмотрел вверх, и из-за сосуда с водой выглянуло улыбающееся лицо, похожее на личико моей Минни, только глаза были большие и томные, как глаза антилопы. В это мгновение по улице промчались галопом четыре мамелюка и занесли надо мной свои кривые сабли. Мне снилось, что я могу спастись, только повторив вслух заветные слова, открывающие мои чемоданы. Я уже лежал под копытами коней, когда в отчаянии выкрикнул: *Котопахи!.. Котопахи!..* Тут меня грубо тряхнули за плечо, и я проснулся. Надо мной склонялся майор — на его красной добродушной физиономии было сердитое выражение.

— Да никак вы разговариваете во сне,— сказал он.— Какого черта вам это надо?! Скверная привычка. Ну, пора завтракать.

— А что я сказал? — спросил я, не сумев скрыть тревогу.

— Что-то на иностранном языке,— ответил майор.

— По-гречески, кажется,— добавил Левисон,— но, впрочем, я тоже дремал.

Мы прибыли в Марсель. Увидев его миндальные деревья и белые виллы, я почувствовал огромное облегчение. Когда я с моим сокровищем окажусь на корабле, опасаться будет больше нечего. Я человек по натуре не подозрительный, но и мне показалось странным, что в течение всей долгой поездки от Лиона до моря, стоило мне заснуть, как, просыпаясь, я всякий раз встречал чей-то взгляд — либо майора, либо его супруги. Левисон последние четыре часа почти все время спал. К концу путешествия мы все приумолкли и угрюмо сидели каждый в своем углу. Однако теперь мы повеселели и, собравшись у нашего багажа, уговорились поехать в одну гостиницу.

— Отель «Лондон»! Отель «Вселенная»! Отель «Империаль»! — вопили агенты гостиниц.

— Конечно, мы едем в «Империаль» — отличный отель,— сказал майор.

К нам подскочил одноглазый темный мулат и почтительно изогнулся.

— Отель «Империаль», сударь? Я — отель «Империаль». Все полно, ни одной кровати, нет мест, сударь.

— Ах, черт! Сейчас мы услышим, что пароход сломался.

— На пароходе, сударь, котел испортился. Отойдет только в двадцать минут первого, сударь.

— Куда же нам ехать? — сказал я и улыбнулся, заметив растерянные лица моих спутников.— Мы, кажется, путешествуем под несчастливой звездой. Так давайте же устроим прощальный ужин, чтобы умилостивить судьбу. Мне надо послать несколько телеграмм, а потом до половины двенадцатого я свободен.

— Я отвезу вас,— сказал Левисон, — в маленькую, но очень приличную гостиницу близ порта. Она называется отель «Этранжер».

— Низкопробная харчевня, игорный притон,— заметил майор, опускаясь на сидение открытого экипажа и закуривая чируту.

Мистер Левисон чопорно выпрямился.

— Сэр! — сказал он.— Это заведение перешло теперь в новые руки, а то я никогда не позволил бы себе рекомендовать его вашему вниманию.

— Сэр! — ответил майор, приподняв свою широкополую белую шляпу.— Приношу мои извинения. Это обстоятельство не было мне известно.

— Любезный сэр, забудем об этом.

— Майор, вы всегда говорите не подумав,— заключила миссис Бакстер, и мы покатили.

Когда мы вошли в скудно обставленный зал с обеденным столом посредине и убогим бильярдом в дальнем углу, майор сказал мне:

— Я пойду умоюсь и переоденусь перед театром, а потом погуляю, пока вы будете посылать свои депеши. Джулия, сходи осмотри номер.

— Какие рабыни мы, бедные женщины! — сказала майорша, выплывая из комнаты.

— А я,— заметил Левисон, положив на стул свой дорожный плед,— займусь делами, пока еще не закрылись лавки. У нашей фирмы есть агенты на Канебьере.

— Только два номера с двуспальными кроватями, сударь,— объявил одноглазый мулат, стороживший наш багаж.

— Ничего,— быстро сказал Левисон, хотя в голосе его звучало негодование, вызванное этой новой неудачей.— Мой друг отправится вечером на пароход и ночевать здесь

не будет. Его багаж можно поместить ко мне в номер, и я отдам ему ключ на случай, если он вернется первым.

— Значит, все улажено,— сказал майор.— Отлично!

В телеграфной конторе меня ждала телеграмма из Лондона. К моему удивлению и ужасу, в ней содержалось только следующее сообщение:

«Вам грозит большая опасность. Ни на минуту не задерживайтесь на берегу. Против вас заговор. Просите у префекта охрану».

Несомненно, речь идет о майоре, и я у него в лапах! Его грубоватое добродушие было только маской. Быть может, в эту самую минуту он увозит мои чемоданы. Я послал ответную телеграмму:

«Приехал в Марсель. Пока все благополучно».

Думая о неизбежном банкротстве, которое ждет фирму, если меня ограбят, и о моей любимой Минни, я кинулся назад в гостиницу, которая находилась в узенькой грязной улочке вблизи от порта. Когда я свернул в нее, навстречу мне из подворотни выскочил какой-то человек и схватил меня за руку. Это был один из коридорных. Он быстро сказал по-французски:

— Скорей, скорей, мсье! Майор Бакстер ждет вас в зале. Нельзя терять ни секунды.

Я опрометью бросился к гостинице и вбежал в зал. Майор в волнении ходил из угла в угол, а его жена тревожно поглядывала в окно. В них обоих произошла какая-то странная перемена. Майор кинулся ко мне и схватил меня за руку.

— Я полицейский сыщик, моя фамилия Арнотт,— сказал он.— Этот Левисон — известный вор. Сейчас он у себя в номере, вскрывает один из ваших чемоданов с золотом. Вы должны помочь мне схватить его. Я знал его замыслы и сумел ему помешать. Но мне нужно взять его на месте преступления. Джулия, допивай свой коньяк, а мы с мистером Блемайром покончим с этим дельцем. Есть у вас револьвер, мистер Блемайр, на случай, если он вздумает оказать сопротивление? Я лично предпочитаю это,— добавил он, вытаскивая дубинку.

— Я оставил свой револьвер в номере,— еле выговорил я.

— Жаль! Ну, ничего, второпях он наверняка промажет.

А может, даже и не вспомнит о револьвере. Навалимся на дверь одновременно — эти иностранные замки никуда не годятся. Номер пятнадцатый. Только тише!

Мы подкрались к двери и прислушались. До нас донесся звон пересыпаемых монет. Затем раздался негромкий смешок — Левисон вспомнил, как он подслушал мой сонный бред:

— Котопахи... ха-ха-ха!

Майор подал знак, и мы разом налегли на дверь. Она подалась, затрещала и распахнулась. Левисон с револьвером в руке стоял над раскрытым ящиком — его ноги по щиколотку уходили в золото. Он уже набил монетами огромный пояс, обвивавший его талию, и висевшую через плечо сумку. Рядом лежал наполовину полный саквояж — когда Левисон рванулся к окну, саквояж опрокинулся, и из него потоком потекло золото. Негодяй не произнес ни слова. К окну были привязаны веревки, словно он спускал или готовился спустить мешки в проулок за домом. Он свистнул, и послышался быстро удаляющийся стук колес какого-то экипажа.

— Сдавайся, висельник! Я тебя знаю,— вскричал майор.— Сдавайся! Ты у меня в руках, молодчик.

Вместо ответа Левисон спустил курок; к счастью, выстрела не последовало. Я забыл зарядить револьвер.

— Проклятая штука не заряжена. Ну, твое счастье, полицейская морда! — сказал он спокойно. Потом в приливе внезапной ярости швырнул револьвер в майора, распахнул окно и выпрыгнул на улицу.

Я прыгнул вслед за ним — номер находился в бельэтаже,— крича во весь голос: «Держи вора!» Арнотт остался охранять деньги.

Еще мгновенье — и целая толпа солдат, матросов, носильщиков и всевозможных зевак, вопя и гикая, уже гналась за негодяем, который в тусклом вечернем свете (фонари только-только начали зажигать), словно заяц, петлял среди ящиков, загромождавших набережную. Ему грозили сотни кулаков, сотни рук тянулись, чтобы схватить его. Вот он вырвался от одного преследователя, свалил с ног другого, отскочил от третьего; тут его чуть было не поймал какой-то зуав *, но он споткнулся о причальное кольцо и полетел в воду. Крик, всплеск — и он скрылся в

темных волнах, отражавших слабый свет единственного фонаря. Я сбежал к воде по ближайшей лестнице и, затаив дыхание, ждал, пока жандармы отвязывали лодку и вооружались баграми, чтобы отыскивать тело.

— Эти старые воры хитрее лисиц. Я этого молодчика помню с Тулона. Видел, как его клеймили. Узнал его сразу. Он небось нырнул под корабль, добрался до какой-нибудь баржи и притаился там. Больше вы его не увидите,— сказал седой жандарм, который взял меня к себе в лодку.

— Ну нет! Вот он! — воскликнул второй жандарм, перегибаясь через борт и вытаскивая за волосы труп из воды.

— Да, это была прожженная бестия,— сказал кто-то в лодке позади нас. Я узнал голос Арнотта.— Я пришел узнать, как у вас дела, сэр. О деньгах не беспокойтесь, за ними приглядывает Джулия. Сколько раз я говорил, что он свое получит! Так оно и вышло. А ведь он чуть было не провел вас, мистер Блемайр. Он, не задумываясь, перерезал бы вам сонному глотку, только бы не упустить эти деньги. Но я шел по его следу. Он меня не знал. Я ведь давненько не мерился силами с мошенниками такого сорта. Что ж, теперь его можно сбросить со счета, и это, во всяком случае, не так уж плохо. Ну-ка, ребята, вытащим тело на сушу. Надо снять с него деньги, которые он успел украсть — в первый раз для доброго дела: ведь они утопили мерзавца.

Когда на длинное лицо упал свет фонаря, я заметил, что оно даже в смерти хранило лицемерно честное выражение.

Арнотт со своим обычным добродушием рассказал мне все подробности, после того как мы вернулись в гостиницу и я сердечно поблагодарил его и майоршу (тоже переодетого полицейского). В тот вечер, когда я уезжал из Лондона, Арнотт получил распоряжение от своего начальства следовать за мной и наблюдать за Левисоном. У него не хватило времени даже на то, чтобы предупредить моих компаньонов. Машиниста нашего поезда подкупили, и он испортил паровоз у Форт-Руж, где сообщники Левисона поджидали с повозками, чтобы увезти мои чемоданы, воспользовавшись суматохой и темнотой или даже устроив для этого притворную драку. Однако Арнотт разрушил их планы, убедив парижскую полицию протелеграфировать в

Лион, откуда на станцию выслали солдат. В шампанское, которое он пролил, было подмешано снотворное. После того как его первая попытка окончилась неудачей, Левисон решил выждать другого удобного случая. Мой злосчастный бред выдал ему тайну одного из замков. Поломка на пароходе (насколько удалось установить — случайная) предоставила ему возможность открыть чемодан.

В эту ночь благодаря помощи Арнотта я покинул Марсель, сохранив все деньги до последней монеты. Остальная часть путешествия прошла совершенно благополучно. Заем был осуществлен на очень выгодных для нас условиях. С тех пор наша фирма процветала, процветали и мы с Минни, а наше семейство все увеличивалось.

VI. Принимать с оглядкой

Я всегда замечал, что даже у людей весьма умных и образованных редко хватает мужества рассказывать о странных психологических явлениях, имевших место в их жизни. Обычно человек боится, что такой его рассказ не найдет отклика во внутреннем опыте слушателя и вызовет лишь смех или недоверие. Правдивый путешественник, которому доведется увидеть чудище вроде сказочного морского змея, не колеблясь сообщит об этом; но тот же самый путешественник вряд ли легко решится упомянуть о каком-нибудь своем странном предчувствии, необъяснимом порыве, игре воображения, видении (как это называют), пророческом сне или другом подобном же духовном феномене. Именно подобной сдержанности я приписываю то обстоятельство, что эта область окутана для нас таким туманом неопределенности. Мы охотно говорим о фактах окружающего нас внешнего мира, но о своих переживаниях, не поддающихся рациональному объяснению, предпочитаем умалчивать. Вот почему обо всем этом нам известно недопустимо мало.

Рассказ мой не имеет целью ни выдвигать какую-либо новую теорию, ни опровергать или поддерживать уже существующие. Мне хорошо известен случай с берлинским

книготорговцем, я внимательно изучил историю жены королевского астронома, сообщаемую сэром Дэвидом Брустером *, и я знаю все подробности того, как призрак являлся одной даме, с которой я хорошо знаком. Пожалуй, следует упомянуть, что дама эта не состояла со мной ни в каком родстве — даже самом дальнем. Если бы я этого не оговорил, часть того, что мне пришлось пережить, могла бы получить неправильное истолкование. Но только часть. Мой случай не может быть объяснен какой-либо странной наследственностью, и ни прежде, ни после со мной ничего подобного не происходило.

Несколько лет тому назад (не важно, сколько именно) в Англии было совершено убийство, наделавшее много шума. Нам и так приходится слишком много слышать об убийцах, по мере того как они один за другим получают право на этот зловещий титул, и если бы я мог, то с радостью похоронил бы все воспоминания об этом бесчувственном негодяе, подобно тому, как тело его похоронено в Ньюгете. Поэтому я сознательно опускаю все указания на личность преступника.

Когда убийство было обнаружено, против человека, впоследствии за него осужденного, не было никаких подозрений — впрочем, вернее будет сказать (в своем рассказе я хочу излагать факты с предельной точностью), что об этих подозрениях нигде не упоминалось. Газеты ничего о нем не говорили, и следовательно, в них не могли тогда появиться его описания. Это обстоятельство необходимо иметь в виду.

Газету, содержавшую первое сообщение об этом убийстве, я раскрыл за завтраком, и оно показалось мне настолько интересным, что я прочел его с глубочайшим вниманием. А затем дважды перечитал. Там сообщалось, что все произошло в спальне, и когда я положил газету, меня вдруг толкнуло... захлестнуло... понесло... не знаю, как описать это ощущение, у меня нет для него слов,— и я увидел, как эта спальня проплыла через мою комнату, словно картина, каким-то чудом написанная на струящейся поверхности реки. Она промелькнула почти мгновенно, но была поразительно четкой — настолько четкой,

что я с большим облегчением заметил отсутствие трупа на кровати.

И это необъяснимое ощущение охватило меня не среди каких-либо романтических развалин, а в доме на Пикадилли, неподалеку от угла Сент-Джеймс-стрит. Никогда прежде мне не случалось испытывать чего-либо подобного. По телу у меня пробежала странная дрожь, и кресло, в котором я сидел, немного повернулось (следует, впрочем, помнить, что кресла на колесиках вообще легко сдвигаются с места). Затем я встал, подошел к одному из окон (в комнате их два, а сама комната расположена на третьем этаже) и, стараясь отвлечься, устремил взгляд на Пикадилли. Было солнечное утро, и улица казалась оживленной и веселой. Дул сильный ветер. Пока я смотрел, порыв ветра подхватил в Грин-парке сухие листья и закружил их спиралью над мостовой. Когда спираль рассыпалась и листья разлетелись, я увидел на противоположном тротуаре двух мужчин, двигавшихся с запада на восток. Они шли друг за другом. Первый то и дело оглядывался через плечо. Второй следовал за ним шагах в тридцати, угрожающе подняв руку.

Сначала меня поразила странная неуместность такого жеста на столь людной улице, но затем я был еще больше удивлен, заметив, что никто не обращает на него ни малейшего внимания. Оба эти человека шли сквозь толпу так, словно на их пути никого не было, и ни один из встречных, насколько я мог судить, не уступал им дороги, не задевал их, не глядел им вслед. Проходя под моими окнами, оба они посмотрели на меня. Я хорошо разглядел их лица и почувствовал, что отныне всегда смогу их узнать. Однако они вовсе не показались мне примечательными — только у человека, шедшего впереди, был необычайно угрюмый вид, а лицо его преследователя напоминало цветом плохо очищенный воск.

Я холостяк; вся моя прислуга состоит из лакея и его жены. Я служу в банке и от души желал бы, чтобы мои обязанности в качестве управляющего отделением были и на самом деле столь необременительны, как это принято считать. Из-за них я был вынужден этой осенью остаться в Лондоне, хотя мне настоятельно требовалось переменить обстановку. Болен я не был, но не был и здоров. Пусть

мой читатель сам по мере сил представит себе угнетавшее меня чувство безразличия, порожденное однообразием жизни и «некоторым расстройством пищеварения». Мой весьма знаменитый врач заверил меня, что состояние моего здоровья вполне исчерпывается этим диагнозом, который я цитирую по его письму, присланному им в ответ на мою просьбу дать свое заключение, не болен ли я.

По мере того как выяснились обстоятельства этого убийства, оно начинало все больше и больше интересовать публику,— но не меня, ибо, несмотря на всеобщее возбуждение, я предпочитал знать о нем по возможности меньше. Однако мне было известно, что против предполагаемого убийцы выдвинуто обвинение в предумышленном убийстве и что он заключен в Ньюгет, где и ожидает суда. Мне было известно также, что его процесс перенесен на следующую сессию Центрального суда по уголовным делам, ибо общее предубеждение против преступника было слишком велико, а времени для подготовки защиты оставалось недостаточно. Возможно, я слышал также (хотя далеко в этом не уверен), когда именно должна была начаться эта сессия.

Моя гостиная, спальня и гардеробная расположены на одном этаже. В последнюю можно войти только через спальню. Правда, прежде она сообщалась с лестницей, но поперек этой двери уже несколько лет назад были проложены трубы к ванной. Дверь в связи с этими переделками была наглухо заколочена и затянута холстом.

Как-то поздно вечером я стоял в спальне, отдавая последние распоряжения слуге. Лицо мое было обращено к единственной двери, через которую можно попасть в гардеробную, и дверь эта была закрыта. Слуга стоял к ней спиной. Разговаривая с ним, я вдруг заметил, что дверь приоткрылась и из нее выглянул какой-то человек, настойчиво и таинственно поманивший меня к себе. Это был второй из двух мужчин, которых я видел на Пикадилли,— тот, чье лицо напоминало цветом плохо очищенный воск.

Поманив меня, он попятился и закрыл за собой дверь. Ровно через столько секунд, сколько мне потребовалось, чтобы пересечь спальню, я распахнул дверь гардеробной и заглянул туда. В руке я держал зажженную свечу. У меня не было внутреннего убеждения, что я увижу в гар-

деробной моего неожиданного посетителя, и действительно его там не оказалось.

Понимая, что мой слуга должен быть удивлен моим поведением, я повернулся к нему и спросил:

— Деррик, можете ли вы поверить, что, находясь в здравом уме и твердой памяти, я решил, будто вижу...— тут я прикоснулся рукой к его груди, и он, содрогнувшись, слабым голосом произнес:

— О господи, сэр! Как же — мертвеца, который манил вас за собой.

Я совершенно твердо убежден, что Джон Деррик, в течение двадцати с лишком лет бывший моим доверенным и преданным слугой, не видел ничего этого, пока я не дотронулся до его груди. Но когда я коснулся его, в нем произошла разительная перемена, которая могла объясняться только тем, что он каким-то оккультным путем воспринял от меня этот образ.

Я попросил Джона Деррика принести коньяку, дал ему рюмку и сам был рад выпить глоток. О том, что я видел этого мертвеца до этого вечера, я не обмолвился ему ни словом. Обдумывая все случившееся, я пришел к твердому убеждению, что никогда прежде не видел этого лица, кроме единственного раза — тогда на Пикадилли. И, вспоминая его выражение, когда человек повернулся к моему окну, я заключил, что в первом случае он стремился запечатлеть свои черты в моей памяти, а во втором хотел убедиться, смогу ли я его сразу узнать.

Ночь я провел беспокойно, хотя испытывал необъяснимую уверенность, что образ этот больше пока не явится. Днем я впал в тяжелую дремоту и был разбужен Джоном Дерриком, державшим в руке какую-то бумагу.

Оказалось, что из-за этой бумаги мой слуга и доставивший ее посыльный поспорили у дверей. Меня вызывали присяжным на ближайшую сессию Центрального уголовного суда в Олд-Бейли. Я впервые назначался присяжным в подобный суд, что хорошо было известно Джону Деррику. Он считал — я и по сей день не знаю, был ли он в этом прав или нет,— что людей моего положения присяжными для подобных процессов не назначают, и сперва отказался принять повестку. Посыльный отнесся к этому с полным равнодушием. Он сказал, что ему все равно, яв-

люсь я в суд или нет; он доставил повестку, а как я поступлю, его не касается.

Дня два я пребывал в нерешительности — явиться ли в суд или оставить вызов без внимания. Я не испытывал никакого таинственного влияния; у меня не было никакой необъяснимой потребности сделать тот или иной выбор. Я убежден в этом так же твердо, как и во всех остальных приводимых здесь мною фактах. В конце концов я решил пойти в суд, чтобы как-то нарушить однообразное течение моей жизни.

Было сырое и холодное ноябрьское утро. Густой бурый туман окутывал Пикадилли, а к востоку от Тэмпл-Бара он казался почти черным и даже зловещим. Коридоры и лестницы Олд-Бейли были ярко освещены газом, так же, как и залы заседаний. Если память мне не изменяет, до того, как пристав провел меня в Старый суд и я увидел заполнившую его публику, я еще не знал, что в этот день начинается процесс вышеупомянутого убийцы. Если память мне не изменяет, то, когда пристав с трудом прокладывал мне дорогу сквозь толпу, я еще не знал, в какой из двух судов был вызван. Однако я не берусь утверждать это с полной уверенностью, так как оба эти факта вызывают у меня некоторые сомнения.

Я прошел к местам, отведенным для вызванных присяжных, сел и начал оглядывать зал сквозь туманный сумрак. Мне запомнилась черная мгла, висевшая за окном, словно грязный занавес, и приглушенный стук колес по соломе и стружкам, которыми была устлана мостовая, гул голосов собравшихся снаружи людей, в котором иногда можно было различить пронзительный свист, особенно громкую песню или оклик.

Вскоре вошли судьи — их было двое — и заняли свои места. Шум в зале сменился жуткой тишиной. Было приказано ввести убийцу. Он вошел в зал. И в то же мгновение я узнал его — это был первый из двух мужчин, которые прошли по Пикадилли.

Если бы моя фамилия была названа именно в эту минуту, вряд ли я сумел бы ответить членораздельно. Но она стояла в списке шестой или седьмой, и к этому времени я уже достаточно пришел в себя, чтобы откликнуться: «Здесь!» Но вот что примечательно: когда я прошел в

ложу присяжных, подсудимый, до тех пор следивший за этой процедурой внимательно, но без всякой тревоги, вдруг выказал величайшее волнение и подозвал своего адвоката. Намерение подсудимого дать мне отвод было настолько очевидно, что секретарь перестал читать фамилии присяжных и все ждали, пока адвокат, опершись о барьер, шептался со своим клиентом; затем он отрицательно покачал головой. Впоследствии я узнал от него, что подсудимый в страшном испуге потребовал: «Во что бы то ни стало дайте отвод этому человеку!» Но поскольку он не мог привести никакой причины, которая оправдывала бы его требование, и даже признался, что никогда не слышал моей фамилии, пока секретарь не назвал ее и я не встал, просьба его выполнена не была.

Вследствие того, что мне не хотелось бы воскрешать память об этом злодее, а также вследствие того, что подробное изложение длинного процесса не является необходимым для моего рассказа, я из всех происшествий, случившихся за те десять суток, пока мы, присяжные, пребывали вместе, изложу лишь те, которые непосредственно связаны с описываемым мною странным феноменом. Именно этим феноменом, а не судьбой убийцы хочу я заинтересовать читателя. Цель моя — сообщить о нем, а не написать страничку для «Ньюгетского календаря» *.

Меня избрали старшиной присяжных. На второй день процесса после двух часов опроса свидетелей (я слышал, как били церковные часы) я случайно бросил взгляд на остальных присяжных и вдруг заметил, что никак не могу их сосчитать. Сколько я их ни пересчитывал, каждый раз один оказывался лишним.

Наклонившись к своему соседу, я шепнул ему:

— Окажите мне услугу, пересчитайте нас.

Просьба моя его удивила, но он все же обернулся и начал считать.

— Как же так,— сказал он внезапно,— ведь нас тринад... Впрочем, что за нелепость. Нет-нет. Нас двенадцать.

Сколько раз я ни пересчитывал в этот день присяжных, результат был один и тот же: кто-то из нас все время оказывался лишним, хотя в ложе сидели только мы. Среди нас не было чужой видимой фигуры, присутствие которой объяснило бы эту странность, и все же предчувствие под-

сказывало мне, *какая* фигура вскоре должна была появиться.

Присяжных поместили в Лондонской гостинице. Мы спали все вместе в одном большом зале, и с нами постоянно находился судебный пристав, под присягой обязавшийся строго блюсти наше уединение. Я не вижу оснований скрывать его настоящее имя. Он был умен, весьма любезен и обязателен и (как я был рад узнать) пользовался большим уважением в Сити. У него было приятное лицо, зоркие глаза, завидные черные бакенбарды и красивый звучный голос. Звали его мистер Хоркер.

Когда вечером мы расходились по нашим двенадцати постелям, кровать мистера Хоркера ставилась поперек двери. В ночь на третий день, не чувствуя желания спать и заметив, что мистер Хоркер сидит у себя на кровати, я подошел к нему, присел рядом и предложил ему понюшку табаку. Мистер Хоркер, потянувшись к табакерке, задел мою руку — тут же по его телу пробежала странная дрожь, и он сказал:

— Кто это там?!

Проследив направление взгляда мистера Хоркера, я в глубине комнаты снова увидел фигуру, которую ожидал увидеть — второго из двух мужчин, шедших по Пикадилли. Я встал и шагнул к нему, но потом остановился и посмотрел на мистера Хоркера. Тот рассмеялся и шутливо сказал:

— Мне было показалось, что у нас появился тринадцатый присяжный, которому негде лечь. Но теперь я вижу, что меня обманул лунный свет.

Ничего не объясняя мистеру Хоркеру, я пригласил его прогуляться со мной по комнате, а сам следил за тем, что делал наш незваный гость. Он по очереди останавливался у изголовья каждого из остальных одиннадцати присяжных, причем неизменно приближался к ним с правой стороны кровати, а удаляясь, проходил в ногах соседней. Судя по повороту его головы, можно было предположить, что он лишь задумчиво смотрит на этих мирно спящих людей. Ни на меня, ни на мою кровать, которая стояла рядом с кроватью мистера Хоркера, он не обратил ни малейшего внимания. Потом он покинул комнату через высокое окно, поднявшись по лунному лучу, как по воздушным ступеням.

На следующее утро за завтраком выяснилось, что все, кроме меня и мистера Хоркера, видели во сне убитого.

Теперь я уже не сомневался, что второй человек, который шел по Пикадилли, был убитый (если можно так назвать призрак),— уверенность моя не могла бы стать глубже, даже если бы я услышал подтверждение тому из его собственных уст. Однако я получил и такое свидетельство, и притом совершенно неожиданным для меня образом.

На пятый день процесса, когда допрос свидетелей обвинения близился к концу, в качестве улики была представлена миниатюра, изображавшая убитого,— в день убийства она исчезла из его спальни, а затем была найдена в месте, где, как показали свидетели, убийцу видели с лопатой в руке. После того, как ее опознал допрашиваемый свидетель, она была вручена судье, который затем передал ее для ознакомления присяжным. Едва облаченный в черную мантию служитель суда приблизился ко мне, держа ее в руке, от толпы зрителей отделился второй из мужчин, шедших в тот день по Пикадилли, властно выхватил у него миниатюру и сам вложил ее в мою руку, сказав тихо и беззвучно — еще до того, как я успел открыть медальон с миниатюрой: «Я был тогда моложе, и лицо мое не было обескровлено»; точно так же он передал миниатюру моему соседу, которому я ее протянул, и следующему присяжному, и следующему, и следующему, пока она не обошла всех и не вернулась ко мне. Никто из них, однако, не заметил его вмешательства.

За столом и когда нас запирали на ночь под охраной мистера Хоркера, мы имели обыкновение обсуждать то, что услышали в суде. В этот пятый день, когда допрос свидетелей обвинения закончился и все доказательства преступления были нам предъявлены, мы, разумеется, говорили о деле с особым одушевлением и интересом. Среди нас находился некий член церковного совета — ни до, ни после мне не случалось встречать такого тупоголового болвана,— который нелепейшим образом оспаривал самые очевидные улики, опираясь на поддержку двух угодливых прихлебателей из того же прихода; вся троица проживала в округе, где свирепствовала гнилая лихорадка, и их самих следовало бы привлечь к суду за пятьсот убийств. Когда эти упрямые тупицы особенно во-

шли в раж — дело близилось к полуночи и кое-кто из нас уже готовился лечь,— я снова увидел убитого. Он с мрачным видом стоял позади них и манил меня к себе. Едва я приблизился к ним и вмешался в разговор, как он исчез. Это было началом его постоянных появлений в зале, где мы помещались. Стоило нескольким присяжным заговорить о процессе, как я замечал среди них убитого. И стоило им прийти к неблагоприятным для него заключениям, как он грозно и властно подзывал меня к себе.

Следует заметить, что до пятого дня процесса, когда была предъявлена миниатюра, я ни разу не видел призрака в суде. Но теперь, после того как начался допрос свидетелей защиты, произошли три перемены. Сначала я расскажу о двух первых вместе. Призрак теперь постоянно находился в зале суда, но обращался он уже не ко мне, а к выступающему свидетелю или адвокату. Вот например: горло убитого было перерезано, и адвокат в своей вступительной речи высказал предположение, что он сделал это сам. В то же мгновение призрак, чье горло было располосовано самым страшным образом (до той поры оно оставалось скрытым), возник около адвоката и принялся водить под подбородком то ребром правой ладони, то ребром левой, неопровержимо доказывая ему, что нанести себе подобную рану невозможно ни той, ни другой рукой. Еще пример. Свидетельница защиты показала, что обвиняемый — человек редкостной душевной доброты. В ту же секунду перед ней очутился призрак и, глядя ей прямо в глаза, вытянутыми пальцами простертой руки указал на злобную физиономию обвиняемого.

Но более всего меня поразила третья перемена, о которой я сейчас расскажу. Я не пытаюсь как-либо объяснить ее и ограничусь лишь точным изложением фактов. Хотя те, к кому обращался призрак, не замечали его, однако стоило ему к ним приблизиться, как они содрогались и на их лицах отражалось смятение. Казалось, он, подчиняясь законам, чье действие простиралось на всех, кроме меня, не мог показаться другим людям, и тем не менее таинственно, невидимо и неслышимо подчинял себе их сознание.

Когда адвокат выдвинул гипотезу о самоубийстве, а призрак встал около этого высокоученого юриста и при-

пялся устрашающе водить руками по своему перерезанному горлу, тот совершенно явным образом запнулся, на несколько секунд потерял нить своих хитроумных рассуждений, вытер платком вспотевший лоб и побелел как полотно. А когда призрак встал перед свидетельницей защиты, нет никакого сомнения, что она обратила свой взор туда, куда он указывал пальцем, и некоторое время смущенно и обеспокоенно глядела на лицо обвиняемого. Достаточно будет привести еще два примера. На восьмой день процесса, после небольшого перерыва, который устраивался вскоре после полудня для отдыха и еды, я вместе с остальными присяжными вернулся в зал за несколько минут до появления судей. Стоя в ложе и обводя глазами публику, я решил было, что призрака здесь нет, как вдруг увидел его на галерее — он наклонялся через плечо какой-то почтенной дамы, словно хотел проверить, заняли уже судьи свои места или нет. И тотчас же дама вскрикнула, лишилась чувств, и ее вынесли из зала. Такой же случай произошел с многоопытным, проницательным и терпеливым судьей, который вел процесс. Когда разбирательство закончилось и он разложил свои бумаги, готовясь к заключительной речи, убитый вошел сквозь судейскую дверь, приблизился к креслу его чести и с живейшим интересом заглянул через его плечо в записи, которые тот листал. Лицо его чести исказилось, рука замерла, по телу пробежала странная, столь хорошо знакомая мне дрожь, и он нетвердым голосом произнес:

— Я на несколько минут умолкну, господа. Здесь очень душно...— и смог продолжать лишь после того, как выпил стакан воды.

На протяжении последних шести монотонных дней этого нескончаемого десятидневного разбирательства — все те же судьи в креслах, все тот же убийца на скамье подсудимых, все те же адвокаты за столом, все тот же тон вопросов и ответов, гулко отдающихся под потолком, все тот же скрип судейского пера, все те же приставы, снующие взад и вперед, все те же лампы, зажигаемые в один и тот же час, если их не приходилось зажигать еще с раннего утра, все тот же туманный занавес за огромными окнами, когда день был туманным, все тот же шум

и шорох дождя, когда день выпадал дождливый, все те же следы тюремщиков и обвиняемого утро за утром все на тех же опилках, все те же ключи, отпирающие и запирающие все те же тяжелые двери, — на протяжении этих мучительно однообразных дней, когда мне казалось, что я стал старшиной присяжных много столетий назад, а Пикадилли существовала во времена Вавилона, убитый ни на мгновение не утрачивал для меня четкости очертаний, и я видел его столь же ясно, как и всех, кто меня окружал. Должен также упомянуть, что призрак, которого я именую «убитым», ни разу, насколько я мог заметить, не посмотрел на убийцу. Снова и снова я с удивлением спрашивал себя — почему? Но он так ни разу и не посмотрел на него.

На меня он тоже не глядел с той самой минуты, как подал мне миниатюру и почти до самого конца процесса. Вечером последнего дня, без семи десять, мы удалились на совещание. Тупоумный член церковного совета и два его прихлебателя причинили нам столько хлопот, что мы были вынуждены дважды возвращаться в зал и просить судью повторить некоторые из его выводов. Девятеро из нас нисколько не сомневались в точности этих выводов, как, вероятно, и все, кто присутствовал в суде, но пустоголовый триумвират, только и выискивавший, к чему бы придраться, оспаривал их именно по этой причине. В конце концов мы настояли на своем, и в десять минут первого присяжные вошли в зал для оглашения своего вердикта.

Убитый стоял рядом с судьей как раз напротив ложи присяжных. Когда я занял свое место, он устремил на мое лицо внимательнейший взгляд; казалось, он остался доволен и начал медленно закутываться в серое покрывало, которое до той поры висело у него на руке. Когда я произнес: «Виновен!», покрывало съежилось, затем все исчезло, и это место опустело.

На обычный вопрос судьи, может ли осужденный сказать что-нибудь в свое оправдание, прежде чем ему будет вынесен смертный приговор, убийца произнес несколько невнятных фраз, которые газеты, вышедшие на следующий день, описали как «бессвязное бормотанье, означавшее, по-видимому, что он подвергает сомнению беспри-

страстность суда, поскольку старшина присяжных был предубежден против него». В действительности же он сделал следующее примечательное заявление:

— Ваша честь, я понял, что обречён, едва старшина присяжных вошел в ложу. Ваша честь, я знал, что он меня не пощадит, потому что накануне моего ареста он каким-то образом очутился ночью рядом с моей постелью, разбудил меня и накинул мне на шею петлю.

VII. Принимать на пробу

Вряд ли есть где-нибудь такая хорошенькая деревушка, как Кэмнер: она расположена на вершине холма, откуда открывается вид, красивей которого не сыщешь во всей Англии, а кругом тянутся луга, знаменитые чистотой и целебностью своего воздуха. Проезжая дорога из Дринга сначала тянется между изгородями больших поместий, но на этих лугах ее уже ничто не закрывает и, отделившись от Тенельмской дороги, она вьется вверх по юго-восточному склону холма, пока не достигает Кэмнера. С каждым шагом лошадь сильнее налегает на хомут, и все же этот склон настолько полог, что вы замечаете его, лишь когда, обернувшись, вдруг видите великолепный пейзаж, расстилающийся вокруг вас и под вами.

Деревушка состоит из одной коротенькой улицы, и среди разбросанных по ее сторонам домиков вы замечаете маленькую почтовую контору, полицейский участок и непритязательный сельский трактир («Герб Дунстанов»), хозяин которого содержит также лавочку через дорогу. Войдя в улицу, представляющую собой тупик, вы прямо перед собой видите старинную церковь, а неподалеку от нее — дом священника. Эта тихая деревушка дышит необыкновенной простотой и патриархальностью: недаром священник живет здесь в соседстве со своей паствой, и стоит ему только выйти за калитку, как он уже оказывается среди своих прихожан.

Деревенский выгон с трех сторон окружен домами, самыми разными по размерам и важности — от маленькой

лавки мясника, стоящей посреди его собственного сада, под сенью его собственных яблонь, до хорошенького белого домика, где живет помощник священника, и резиденций тех, кто считается (или считает себя) местной знатью. На восточной стороне выгона видны: невысокая каменная стена с воротами, ведущими в имение мистера Малькольмсона; скромное жилище его управляющего, Саймона Ида, все увитое плющом, чей осенний наряд может поспорить красками с самой яркой американской листвой; и, наконец, высокая кирпичная стена (с калиткой посредине), которая совершенно закрывает «Поместье» мистера Гиббса. С южной его стороны проходит дорога на Тенельмс, огибающая обширное имение Саусэнгер, которое принадлежит сэру Освальду Дунстану.

Если вы идете из Дринга, вы обязательно остановитесь у перелаза, почти напротив кузницы, и, опершись на него, будете долго любоваться лесами и водами, расстилающимися у ваших ног,— картину эту удачно дополняют два старых кедра, растущие неподалеку. Перелазом пользуются редко, потому что тропинка от него ведет только на ферму Плашетс. Зато здесь часто отдыхают утомленные путники. Немало художников писало вид, открывающийся отсюда; немало влюбленных юношей шептало здесь нежные слова своим красавицам; немало усталых бродяг садилось отдохнуть на стертый камень у перелаза.

Этот перелаз был некогда местом свиданий двух юных влюбленных, которые жили по соседству и должны были вскоре соединиться узами брака. Джордж Ид, единственный сын управляющего имением мистера Малькольмсона, был сильным красивым молодцом лет двадцати шести; он тоже работал в имении под началом своего отца и получал хорошее жалованье. Прямодушный, любознательный, он был неглуп, хотя его и нельзя было назвать ученым, пожалуй не отличался быстротой соображения, зато был очень упорен,— короче говоря, он являл собой прекрасный образчик честного и трудолюбивого английского крестьянина. Однако из-за некоторых особенностей своего характера он не пользовался у соседей такой любовью, как его отец. Он был сдержан, умел глубоко чувствовать, но не умел выражать свои чувства, легко обижался и с трудом прощал обиды, но в то же время был способен

на искреннее раскаяние и тогда во всем винил самого себя. Его отец, бесхитростный и добродушный человек лет сорока пяти, который благодаря своим достоинствам сумел из батрака стать доверенным управляющим всего имения мистера Малькольмсона, пользовался большим уважением у своего хозяина и во всей округе. Мать Джорджа, женщина слабая здоровьем, но сильная духом, была образцовой женой и матерью.

Его родители, как принято в их сословии, вступили в брак слишком рано, и поэтому им пришлось испытать немало горя — они одного за другим схоронили трех болезненных детей на маленьком кэмнерском погосте, где надеялись со временем упокоиться сами. Всю свою любовь они излили на единственного оставшегося у них сына. Особенно мать питала к своему Джорджу такое восторженное обожание, что оно напоминало идолопоклонство. Ей не были чужды некоторые слабости ее пола. Она была ревнива, и когда догадалась, какое пламя зажгли в сердце ее сына ласковые синие глаза Сьюзен Арчер, то прониклась к этой румяной красавице отнюдь не нежными чувствами. Правда, Арчеры были о себе самого высокого мнения, потому что арендовали у сэра Освальда большую ферму, и всем было известно, что в их глазах любовь Сьюзен была унизительна и для нее и для всей их семьи. Любовь эта, как нередко бывает, вспыхнула на полях хмеля. Сьюзен часто прихварывала, и мудрый старичок доктор уверил ее отца, что для нее нет лекарства лучше, чем собирать две недели хмель в солнечную сентябрьскую погоду. Не так-то просто было отыскать поле, подходящее для такой прославленной красавицы, как Сьюзен. Но родители ее хорошо знали и уважали управляющего Саймона Ида и послали свою дочку на хмельник мистера Малькольмсона. Прописанное лекарство оказало желанное действие. Сьюзен обрела здоровье, но зато потеряла свое сердце.

Джордж Ид был красив и никогда прежде не любил ни одной женщины. Его чувство к нежной синеглазой девушке было той всепоглощающей страстью, которую дано испытать лишь людям с суровой и замкнутой натурой и которая поражает их на всю жизнь. Это чувство смело все препятствия. Сьюзен была доброй, простодушной девушкой, и хотя она сознавала власть своей красоты, это,

как ни странно, нисколько ее не испортило. Она отдала все свое сердце верному и стойкому человеку, перед которым она благоговела, чувствуя, что он гораздо выше ее душой, хотя и стоит ниже по общественному положению. В душистый вечер, ставший свидетелем их любовных клятв, они не обменялись кольцами, но Джордж снял со шляпки Сьюзен веточку хмеля, которой она, смеясь, обвила ее, и, с великой любовью в карих глазах глядя на прелестное личико девушки, прошептал:

— Я буду хранить ее, пока жив, а когда умру, ее похоронят со мной!

Однако за красавицей Сьюзен уже давно ухаживал некий Джеффри Гиббс, владелец «Поместья» за кэмнерским выгоном. Прежде он был торговцем, но за несколько лет до описываемых событий увидел в газете объявление, приглашавшее его посетить такого-то нотариуса в Лондоне, который может сообщить ему нечто, представляющее для него значительный интерес. Он отправился к нотариусу и вступил во владение недурным наследством, оставшимся после родственника, которого он никогда в жизни не видел. Это неожиданное богатство решительно изменило его судьбу и образ жизни, но нисколько не повлияло на его натуру: он остался таким же чванливым и заносчивым, как и раньше. Однако теперь он превратился в джентльмена, живущего на ренту, и, следовательно, на общественной лестнице стоял гораздо выше Арчеров, которые были простыми арендаторами. Поэтому они были бы рады, если бы Сьюзен отнеслась к его ухаживаниям благосклонно. Правда, соседи твердили, что он вовсе не собирается жениться на девушке, и она сама говорила то же, добавляя при этом, что будь он в десять раз богаче и люби ее во сто раз больше, чем утверждает,— она все равно скорее умерла бы, чем вышла за такую образину.

Он и правда был страшен, хотя черты его нельзя было назвать безобразными. Однако на редкость непропорциональное сложение и свирепое выражение лица делали его отвратительным: ноги у него были короткие, а туловище и руки — необыкновенно длинные, голова же подошла бы только к торсу Геркулеса, и эта уродливая несоразмерность делала его каким-то приплюснутым и неуклюжим. Его маленькие глазки люто поблескивали под густыми ще-

тинистыми бровями, а крючковатый нос нависал над огромным ртом с толстыми чувственными губами. Он щеголял в спортивных костюмах самых невероятных расцветок. Его часовая цепочка была такой толстой, что казалась фальшивой, а булавка, закалывающая галстук, и самый галстук резали даже невзыскательный глаз. Величайшим удовольствием для него было пугать беззащитных женщин: катаясь в экипаже, он проносился в дюйме от кабриолета, которым правила дама, или на бешеном галопе пролетал мимо какой-нибудь робкой всадницы и громко хихикал, наблюдая за тем, как ее конь шарахается в сторону и она в страхе пытается с ним справиться. Как все подлые тираны, в душе он, разумеется, был трусом.

Этот человек и Джордж Ид ненавидели друг друга. Джордж терпеть не мог Гиббса и глубоко его презирал. Гиббс злобно завидовал счастливцу крестьянину, которого полюбила девушка, холодно отвергавшая его собственные ухаживания.

Сердце Сьюзен было отдано Джорджу, но лишь когда ее здоровье вновь пошатнулось, отец ее против воли согласился на их союз. Едва мистер Малькольмсон услышал об этом, как он по собственному почину увеличил жалованье Джорджа и на выгодных условиях предложил ему один из своих коттеджей, расположенных неподалеку от дома Саймона Ида.

Однако когда известие о скорой свадьбе достигло ушей Гиббса, его ревнивая ярость была беспредельна. Он кинулся на ферму Плашетс и, запершись с мистером Арчером, предложил закрепить за Сьюзен солидную сумму, лишь бы она согласилась отказать жениху и стать его, Гиббса, женой. Но он только довел девушку до слез и растревожил ее отца. Этот последний с большой охотой согласился бы исполнить его желание, но он уже дал слово Джорджу, и Сьюзен требовала, чтобы он его сдержал. Впрочем, не успел Гиббс уйти, как старик фермер принялся громко жаловаться на ее, как он выражался, глупое упрямство; к нему присоединился ее старший брат, и они вместе обрушили на бедную девушку поток упреков за то, что она отказалась от такой выгодной партии. На слабовольную, уступчивую Сьюзен эта сцена произвела большое впечатление. Их жестокие слова глубоко поразили ее, и

когда она пришла на свидание с женихом, на сердце у нее была свинцовая тяжесть, а глаза покраснели и распухли. Джордж, испуганный ее видом, с негодованием слушал ее взволнованный рассказ о том, что произошло.

— Заведет для тебя карету! — воскликнул он с горькой насмешкой.— Неужели для твоего отца какая-то одноколка значит больше, чем истинная любовь? Он хотел бы отдать тебя Гиббсу! Да я такому человеку и собаки бы не доверил!

— Отец смотрит на это по-другому,— рыдала девушка,— отец говорит, что, когда мы поженимся, он будет очень хорошим мужем. И я жила бы как знатная дама, у меня было бы много нарядов и слуг. Для отца это важнее всего.

— Да, пожалуй. Но ты не поддавайся ему, Сьюзен, милая! Не богатство и не наряды делают людей счастливыми — для счастья нужно кое-что получше! Знаешь, Сьюзен...— Он вдруг умолк и поглядел на нее с неизъяснимым чувством.— Я люблю тебя так горячо, что, если бы я думал... если бы я думал, что ты будешь счастливее, выйдя замуж за Гиббса... если бы я думал, что ты будешь счастливее с ним, чем со мной, я бы... я бы отказался от тебя, Сьюзен! Да... И больше никогда бы с тобой не виделся! Да, я отказался бы от тебя!

Он умолк, а потом, подняв руку,— в этом безыскусственном жесте было что-то очень торжественное,— повторил еще раз:

— Я отказался бы от тебя! Но ты не будешь счастлива с Джеффри Гиббсом. С ним тебя ждет горе... а может быть, даже побои. Он не такой человек, чтобы сделать женщину счастливой, уж это я знаю твердо. Он зол... попросту жесток! А я... я выполню все, что обещаю у алтаря... все до последнего слова. Я буду трудиться ради тебя не покладая рук и... и верно любить тебя.

С этими словами он притянул ее к себе, а она, успокоенная его речью, еще доверчивее оперлась на его руку, и несколько минут они шли молча.

— И вот что, Сьюзен, милая,— сказал он потом.— Я себя знаю... и верю, что... когда мы поженимся и ты станешь моей... чтобы никто уже не мог нас разлучить... я сумею многого добиться, и, кто знает, может, ты еще бу-

дешь ездить в собственной карете. Ведь человек, когда берется за дело всерьез, многого добивается.

Сьюзен поглядела на него с восторженной любовью. Она восхищалась его силой, особенно потому, что сознавала свою слабость.

— Не нужно мне никакой кареты,— прошептала она,— мне только ты нужен, Джордж. Ты же знаешь, я ничего такого не хочу... это отец...

Поднялась луна, яркая, почти полная, сентябрьская луна, и лучи ее озаряли влюбленных, когда они возвращались по тихому Саусэнгерскому лесу, такому торжественному и красивому в этот час, к дому Сьюзен. И прежде чем они успели достигнуть калитки фермы Плашетс, на прелестном личике девушки уже сияла улыбка: они уговорились, что из трех недель, которые остались до свадьбы, две она проведет в Ормистоне * у своей тетушки мисс Джейн Арчер, чтобы избежать дальнейших посягательств Гиббса и упреков отца.

Так она и сделала, а Джордж решил воспользоваться ее отсутствием, чтобы съездить на аукцион в дальний городок и купить там кое-какую мебель для их нового дома. Кроме того, он испросил позволения погостить у своего друга до возвращения Сьюзен. Ему хотелось на это время уехать из дому, так как его мать с приближением свадьбы все больше против нее восставала. Она постоянно твердила, что женитьба на девушке, избалованной ухаживаниями и лестью, до добра не доведет и что из нее никогда не выйдет хорошая жена для простого труженика. Эти слова были особенно мучительны для Джорджа, так как для них имелись некоторые основания, и они не раз приводили к ссорам между ним и матерью, что совсем не способствовало смягчению неприязни, которую добрая женщина питала к своей будущей невестке.

Приехав домой после двухнедельного отсутствия, Джордж вместо ожидаемого письма от невесты с сообщением, когда она собирается вернуться в Плашетс, нашел совсем другое, написанное незнакомым почерком и содержавшее следующие слова:

«Джордж Ид, тебя водят за нос. Приглядывай за Д. Г.

Доброжелатель».

Это таинственное послание встревожило Джорджа, и его тревога еще увеличилась, когда он узнал, что Гиббс уехал из Кэмнера в один день с ним и до сих пор еще не вернулся. Это совпадение показалось Джорджу странным, но он лишь неделю назад получил письмо от Сьюзен, исполненное такой нежности, что он не мог заставить себя усомниться в ее верности. Но в то же самое утро его мать принесла ему записку от фермера Арчера, пересылавшего ему письмо своей сестры, в котором она извещала, что ее племянница два дня тому назад тайно бежала из ее дома и обвенчалась с мистером Гиббсом. Сьюзен отпросилась в гости к двоюродной сестре, которую уже не раз навещала, и поэтому, когда она вечером не пришла домой, тетка решила, что она осталась там ночевать. Однако на следующее утро она не вернулась, и только пришло письмо, извещавшее о ее замужестве.

Когда Джордж кончил читать эти письма, он сперва просто не поверил ни единому слову. Произошла какая-то ошибка. Этого не могло быть. И пока отец со слезами в честных глазах уговаривал его с твердостью перенести этот удар, а мать негодующе твердила, что он счастливо отделался от бессердечной кокетки, Джордж сидел молча, словно оглушенный. Для человека с его прямой и верной натурой подобное вероломство представлялось невероятным.

Однако через полчаса пришло еще одно подтверждение, и сомневаться долее было невозможно. К ним с важным видом явился Джеймс Уильямс, слуга мистера Гиббса, и, ухмыляясь, вручил Джорджу записку, вложенную в письмо, которое ему прислал хозяин. Записка была от Сьюзен, и она подписала ее своей новой фамилией.

«Я знаю,— гласила записка,— что мой поступок покажется Вам непростительным и Вы будете ненавидеть и презирать меня так же сильно, как прежде любили меня и верили мне. Я знаю, что простить меня Вы не можете. Но я прошу Вас об одном — не мстить. Месть не вернет прошлого. О Джордж, если Вы когда-нибудь меня любили, исполните мою последнюю просьбу. Питайте ко мне ненависть и презрение — я ничего другого не заслуживаю,— но не мстите никому за мой дурной поступок. Забудьте

меня — так будет лучше для нас обоих. О, если бы мы никогда не встречались!»

И дальше все шло в том же духе. Боязливые самообвинения, страх перед последствиями — нет, Джордж этого не заслуживал. Он смотрел на письмо, сжимая его в крепких, мускулистых руках, которые так преданно и неустанно трудились бы для нее. Затем, так и не сказав ни слова, он передал его отцу и вышел из комнаты. Они услышали, как он поднялся по узкой лестнице, закрыл за собой дверь своей каморки на чердаке — и там воцарилась мертвая тишина. Вскоре мать, не выдержав, пошла к нему. Хотя она эгоистически обрадовалась его разрыву с невестой, это чувство было полностью вытеснено любовью и глубокой нежностью — ведь она знала, как он должен страдать. Он сидел у окошка, а на коленях у него лежала сухая ветка хмеля. Мать подошла к нему и прижалась щекой к его щеке.

— Потерпи, сынок,— проникновенно сказала она,— уповай на бога, и он пошлет тебе утешение. Я знаю, тебе тяжело — очень тяжело, но ради своих бедных отца и матери, которые тебя так любят, найди в себе силы терпеть.

Он холодно взглянул на нее — в глазах его не было слез.

— Потерплю,— сказал он сурово.— Разве ты не видишь, что я стараюсь терпеть?

Он смотрел на нее с тупой безнадежностью. Как хотелось матери увидеть в этих глазах слезы, которые облегчили бы его сердце!

— Она тебя не стоила, сынок. Я тебе всегда говорила...

Но он властным жестом заставил ее замолчать.

— Матушка, ни слова о том, что случилось, и ни слова о ней! Ничего дурного она не сделала. И я с собой совладаю. Совладаю! Я останусь таким же, как был прежде,— но только если ни ты, ни отец никогда больше не будете о ней говорить. Она только превратила мое сердце в камень. Но это не такая уж большая беда.

Он прижал руку к своей широкой груди и хрипло застонал.

— Сегодня утром у меня здесь было живое сердце,— сказал он,— а теперь вместо него холодный тяжелый камень. Но это не такая уж большая беда.

— Не говори этого, сынок,— сказала мать и, заплакав, крепко обняла его,— ты убиваешь меня такими речами.

Но он ласково высвободился из ее объятий и, поцеловав в щеку, подвел к двери.

— Мне пора на работу,— сказал он и, раньше ее спустившись по лестнице, твердым шагом вышел из дому.

С этого часа никто не слышал, чтобы он упомянул имя Сьюзен Гиббс. Он не расспрашивал, что именно произошло в Ормистоне; он никогда не говорил об этом, как не говорил о ней самой, ни с ее родными, ни со своими. Первых он избегал, а со вторыми был молчалив и сдержан. Казалось, Сьюзен для него перестала существовать.

И с этого часа в нем произошла разительная перемена. Он исполнял свою работу так же хорошо и добросовестно, как прежде, но с таким угрюмым безразличием, словно она была лишь неприятной обязанностью. Он больше никогда не улыбался и не шутил. Он всегда был мрачен и суров, не искал ничьего сочувствия и сам никому не сочувствовал, избегал всех людей, кроме своих родителей, и жил в печальном одиночестве.

Между тем на воротах «Поместья» мистера Гиббса появилась доска с надписью «Сдается внаем», а потом туда въехали какие-то никому не известные люди, и почти три года ни Гиббс, ни его жена не появлялись в этих местах. Затем в один прекрасный день пришло известие, что они едут домой, и все жители деревни с ума сходили от любопытства и нетерпения. Они приехали, и оказалось, что кое-какие слухи, доходившие до деревни, были вполне справедливы.

Все уже знали — ведь такие вещи всегда выходят наружу,— что Гиббс безжалостно тиранит свою хорошенькую жену и что, хотя он женился на ней по любви, брак их несчастен. Отец и братья Сьюзен за эти три года не раз ее навещали, но почему-то предпочитали молчать о ее новой жизни, и соседи давно решили, что старик фермер теперь так же сильно оплакивает замужество своей дочери, как прежде его желал. И когда они сами ее увидели, то перестали этому удивляться. От прежней Сьюзен осталась только тень. Она была еще красива, но бледна, печальна, запугана: юность ее увяла, дух ее был сломлен. Теперь улыбка на ее губах появлялась, лишь когда она играла

со своим сыном — белокурым малышом, очень на нее похожим. Но и эта радость выпадала ей редко: обычно ее деспот-муж с руганью прогонял мальчика и запрещал жене заходить в детскую.

Несмотря на то, что их дома были расположены совсем рядом, Джордж встретился со своей бывшей невестой лишь много времени спустя после возвращения Гиббсов в Кэмнер. Он больше не ходил в кэмнерскую церковь (да и ни в какую другую), а она покидала дом только для того, чтобы поехать покататься с мужем или пойти пешком через Саусэнгерский лес навестить отца. Джордж мог бы не раз увидеть ее, когда она проезжала мимо их дома в кабриолете, запряженном горячей лошадью, которая, казалось, вот-вот понесет, но он никогда не смотрел в ту сторону и не отвечал, когда мать заговаривала о Сьюзен и ее щегольском экипаже. Однако хотя он замкнул свои уста, он не мог заставить молчать других людей и не мог заткнуть себе уши. Вопреки всем своим стараниям, он постоянно слышал о Гиббсах и их семейной жизни. Батраки мистера Малькольмсона только и говорили, что о зверских выходках ее мужа. Мальчишка пекаря, не жалея красок, описывал, какую ругань он слышал в их доме, и утверждал даже, будто видел своими глазами, как Гиббс бил жену, «когда ему вино особенно в голову ударило». Ходили слухи, что бедная запуганная женщина была бы рада обратиться за помощью к мировому судье, но боится ярости своего мужа. Джорджу приходилось выслушивать все это, и соседи уверяли, что в такие минуты на него просто страшно смотреть.

Как-то в воскресенье, в час дня, когда Джордж и его родители сидели за своим скромным обедом, с улицы донесся грохот бешено мчащегося экипажа. Миссис Ид схватила свой костыль и, забыв о ревматизме, заковыляла к окну.

— Так я и думала! — воскликнула она.— Это Гиббс едет в Тенельмс и, кажется, по обыкновению пьян. Посмотрите, как он нахлестывает лошадь. А ведь он взял с собой малыша. Нет, он не успокоится, пока не сломает шею ребенку, а то и его матери. Симонс говорит...

Она умолкла, неожиданно почувствовав на щеке дыхание сына. Он тоже подошел к окну и теперь, перегнув-

шись через ее плечо, мрачно глядел на седоков кабриолета, мчавшегося по склону к Тенельмской дороге.

— Хотел бы я, чтобы он сам сломал шею,— пробормотал Джордж сквозь стиснутые зубы.

— Джордж, Джордж, не говори так! — негодующе воскликнула миссис Ид.— Это не по-христиански. Все мы грешники, а жизнь наша в руце божьей!

— Если бы ты почаще ходил в церковь, сынок, а не огорчал бы меня своей нерадивостью в вере,— строго сказал отец,— ты не таил бы в сердце злобы. Не доведет это тебя до добра, помяни мое слово.

Джордж уже успел сесть на свое место, но при этих словах он снова встал.

— В церковь! — гневно воскликнул он.— Я собирался пойти в церковь, да не суждено этому было сбыться. И больше я туда не пойду. Или вы думаете,— продолжал он побелевшими губами, которые дрожали, выдавая бушующую в его груди бурю,— или вы думаете, что я забыл, потому что помалкиваю и работаю, как прежде? *Забыл!* — Он в бешенстве ударил кулаком по столу.— Я забуду, только когда лягу в гроб. И нечего меня утешать,— добавил он, когда мать попыталась его перебить.— Я знаю, ты мне хочешь добра, но женщины не соображают, когда можно говорить, а когда следует придержать язык. Лучше не говорите при мне ни об этом негодяе, ни о церкви.

С этими словами Джордж повернулся и вышел из дому.

Миссис Ид очень горевала, заметив в Джордже такую злопамятность и безбожие. Ей казалось, что он непременно погубит свою душу, и в конце концов она послала сказать мистеру Меррею, священнику, что у нее большая беда,— не сможет ли он выбрать время и как-нибудь утром зайти к ней? Но мистер Меррей был болен, и прошло две недели, прежде чем он смог выполнить ее просьбу, а за это время случилось много других событий.

Вся деревня знала, что миссис Гиббс теряет голову от страха, когда ее муж едет кататься и берет с собой сына, по общему мнению подвергая его жизнь смертельной опасности. Супруги постоянно из-за этого ссорились, но чем больше она плакала и просила, тем больше ему нравилось

поступать ей наперекор. Как-то раз, желая ее подразнить, он посадил малыша на козлы кабриолета, дал ему в руки кнут, а сам, отойдя к дверям и небрежно держа в руке вожжи, стал насмехаться над женой, которая в ужасе молила его скорее сесть в кабриолет или разрешить сделать это ей. Вдруг с соседнего поля донесся звук выстрела, и лошадь, бросившись в сторону, вырвала вожжи из рук пьяного Гиббса; ребенок выпустил кнут, который хлестнул лошадь по спине, еще больше ее испугав; малыш от толчка слетел на пол экипажа и лежал там, оглушенный падением.

Джордж в это время был неподалеку. Он бросился наперерез обезумевшей лошади, схватил волочащиеся по земле вожжи, повис на них и не отпускал, хотя лошадь тащила его за собой. Наконец, запутавшись в вожжах, она упала, тяжело ударилась о землю и неподвижно вытянулась. Джорджа отбросило в сторону, однако он отделался незначительными синяками. Ребенок на полу кабриолета громко плакал от испуга, но был цел и невредим. Не прошло и пяти минут, как к экипажу сбежалась вся деревня: кругом слышались расспросы, поздравления, похвалы, а Сьюзен, сжимая в объятиях спасенного сына, покрывала руки Джорджа слезами и поцелуями.

— Да благословит вас бог! — воскликнула она, рыдая.— Вы спасли ему жизнь. Он был бы убит, если бы не вы. Как я могу...

Но тут грубая рука отбросила ее в сторону.

— Что ты задумала? — яростно завопил Гиббс, сопровождая каждое слово грязным ругательством.— Отойди от этого парня, а не то я... Ты что, радуешься, что он покалечил лошадь... и ее теперь остается только пристрелить?..

Бедная женщина упала на траву и разразилась истерическими рыданиями, а в толпе послышались восклицания: «Как не стыдно!..»

Джордж холодно отвернулся от Сьюзен, когда она подбежала к нему, и пытался вырвать у нее свои руки, но теперь, шагнув к Гиббсу, он сказал:

— Тот, кто застрелит эту скотину, сделает доброе дело. А еще лучше было бы застрелить тебя, как бешеную собаку.

Все, кто стоял кругом, слышали эти слова. И все, кто видел его взгляд, содрогнулись от ужаса. В этом страшном взгляде отразилась вся лютая ненависть, копившаяся в течение трех лет.

Когда через два дня мистер Меррей зашел к миссис Ид поздравить ее с мужественным поступком сына, оказалось, что она совсем разболелась. После вышеописанного происшествия она не смыкала глаз. От соседей она знала, что сказал Джордж и какой у него был взгляд, и ни на минуту не могла об этом забыть. Доброму священнику не удалось ее утешить. Он уже не раз пытался уговорить ее сына смягчиться, но тщетно. Джордж сурово, хотя и с уважением, отвечал ему, что он работает добросовестно и никому не причиняет вреда, а остальное касается только его одного, и он сам имеет право решать, как поступить,— и он твердо решил никогда больше не переступать порога церкви.

— Это тяжкое испытание, моя милая,— сказал мистер Меррей,— тяжкое и непонятное смертным умам испытание, но я говорю вам — уповайте на господа. Оно ниспослано нам на благо, хотя смысл его пока скрыт от нас.

— Да уж я ли не благодарю бога, что эта лошадь его не убила,— ответила миссис Ид.— Страшно подумать, что предстал бы он перед вечным судией непростивший и нераскаявшийся. Только вот, сэр...

Но тут ее взволнованную речь прервал стук в дверь. На пороге появился сын мистера Бича, деревенского мясника. Увидев священника, он неуклюже поклонился и растерянно перевел взгляд с него на миссис Ид.

— Мне сегодня мяса не нужно, Джим, спасибо,— сказала та и, заметив его волнение, добавила: — Может, мистер Бич заболел? Ты что-то весь в лице переменился.

— Мне... мне немножко не по себе,— ответил Джим, вытирая потный лоб.— Я только что видел *его*, и у меня все нутро перевернулось.

— Его? Кого — его?

— Да его же! Или вы не слышали, сэр?.. Гиббса нашли мертвым в Саусэнгерском лесу. Его убили ночью. Говорят...

— Гиббса убили?!

На мгновение все в ужасе умолкли.

— Тело отнесли в «Герб Дунстанов», и я его видел.

Миссис Ид чуть не лишилась чувств, и священник стал звать Джемиму, ее служанку. Но Джемима, едва услышав страшную новость, как безумная выбежала на улицу и сейчас уже стояла где-то на полдороге между домом хозяина и домом Гиббса и жадно ловила то, что говорилось в кучке людей, которые, гадая о случившемся, с испугом смотрели на калитку в высокой стене, из которой ее хозяину суждено было выйти еще только один раз — ногами вперед.

В гостиную Идов скоро набился народ. Туда явились почти все соседи, хотя никто из них не решился бы сказать, зачем они сюда пришли. Саймон Ид тоже поторопился вернуться домой и теперь, как мог, старался утешить и успокоить бедную больную, которая все еще словно не понимала, что произошло. И вот, в самый разгар пересудов — что тело лежало так-то, что все карманы были опустошены, что удар был нанесен сзади, а случилось это в таком-то часу,— снаружи вдруг послышались шаги, и в комнату вошел Джордж.

И сразу гул голосов, который он, вероятно, слышал, подходя к двери, сменился мертвой тишиной. В ней было что-то зловещее.

Не нужно было спрашивать, знает ли Джордж о том, что случилось: его лицо, смертельно-бледное, искаженное, покрытое каплями пота, слишком ясно говорило, что ему уже известно о страшном происшествии. И все присутствовавшие долго помнили слова, которые он произнес, едва успев войти,— произнес негромко, словно про себя:

— Уж лучше бы меня, а не Гиббса нашли мертвым в этом лесу.

Одно за другим выяснялись обстоятельства, которые все больше и больше бросали тень на Джорджа. Саймон Ид держался мужественно, гордо отрицал виновность своего сына, благочестиво повторял, что провидение еще докажет его непричастность к убийству, и эта вера трогала даже тех, кто не мог ее разделить. Но бедная мать, ослабевшая от недуга, измученная мыслями о словах и взглядах, которые она, несмотря на все свои старания, не могла забыть, только плакала и прерывающимся голосом просила бога сжалиться.

Когда Джорджа пришли арестовать, он не сопротивлялся. Твердо, хотя с каким-то равнодушием, он заявил, что не виновен, и больше не проронил ни слова. Лицо его исказилось, когда он на прощание крепко пожал руку отцу и взглянул на бледное лицо матери, лишившейся чувств при виде полицейских. Но самообладание тотчас вернулось к нему: он твердым шагом последовал за полицейскими, и его угрюмое лицо казалось спокойным.

Тело Гиббса было найдено в лесу около десяти часов вечера крестьянином, который, направляясь на ферму Плашетс, услышал вой собаки покойного. Труп лежал в кустах у тропинки, ведшей от перелаза, о котором уже столько говорилось выше, через лес к ферме Плашетс. Его, очевидно, туда оттащили. На тропинке и рядом с ней были видны следы борьбы. Там же были найдены пятна крови, очевидно брызнувшей из раны на затылке, которая была нанесена сзади каким-то тяжелым тупым орудием. Когда его нашли, он, по заключению врача, был мертв уже около двенадцати часов. Карманы убитого были вывернуты, часы, кошелек и перстень с печаткой похищены.

Слуги Гиббса, Джеймс и Бриджет Уильямсы, показали, что их хозяин ушел из дому в вечер убийства в двадцать минут девятого, причем, против обыкновения, он был трезв; уходя, он поставил свои часы по кухонным и сказал, что сперва зайдет в «Герб Дунстанов», а потом отправится в Плашетс. То, что он не вернулся, не вызвало никакой тревоги,— он нередко возвращался домой под утро и всегда брал с собой ключ от входной двери.

С другой стороны, Саймон Ид, его жена и их служанка показали, что в вечер убийства Джордж ушел из дому около пяти часов и вернулся в девять, что выглядел и держался он, как обычно, что он поужинал с родителями и сидел с ними до десяти часов, когда все отправились спать, а на следующее утро Джемима видела, как он уходил, потому что встала раньше обычного.

На его левом запястье был обнаружен свежий порез — он объяснил, что задел себя складным ножом, когда резал себе сыр на завтрак. Этим же он объяснил следы крови, найденные на подкладке рукавов его куртки и на брюках. При нем была найдена только одна вещь, принадлежавшая убитому,— свинцовый карандаш, помеченный инициалами

Д. Г. и тремя зарубками. Джоб Бретл, деревенский кузнец, показал под присягой, что в день убийства Гиббс просил его отточить этот карандаш. Он (Бретл) заметил и зарубки и инициалы и готов поклясться, что карандаш, найденный на арестованном,— тот самый, который он точил. Джордж утверждал, что он нашел карандаш на лугу и не имел ни малейшего представления, кому он принадлежит.

Во время следствия выяснилось, что между мистером и миссис Гиббс в утро убийства произошла особенно бурная ссора, после которой миссис Гиббс заявила, что не может больше терпеть такую жизнь и обратится за помощью к тому, кто ей в этой помощи не откажет. Затем она послала письмо Джорджу с сынишкой соседа, а вечером, через несколько минут после ухода мужа, сама куда-то вышла, вернулась примерно через четверть часа и поднялась к себе в спальню, где и оставалась, пока утром не пришло известие о том, что ее мужа нашли в лесу убитым.

Когда следственный судья стал спрашивать ее, куда она ходила вечером, она ничего не ответила; но во время допроса она так часто лишалась чувств, что ее показания вообще были чрезвычайно туманными и сбивчивыми.

Джордж признал, что в вечер убийства был в Саусэнгерском лесу примерно без двадцати девять, но отказался отвечать, зачем он туда ходил, добавив только, что пробыл там не больше четверти часа. Он добавил также, что, подойдя на обратном пути к перелазу, увидел вдалеке Гиббса и его пса, которые быстро шли ему навстречу. Светила яркая луна, и он хорошо разглядел Гиббса. Не желая с ним встречаться, он свернул на Дрингскую дорогу и дошел почти до шлагбаума, а потом пошел назад и добрался до дома около девяти часов, никого не встретив по пути.

Таким образом, в пользу обвиняемого говорило следующее:

1) Показания трех заслуживающих доверия свидетелей, что он вернулся домой в девять часов без всяких признаков того, что перед этим бежал, и сел ужинать, не выказывая никакого волнения.

2) Отсутствие достаточного количества времени на то, чтобы совершить это убийство и надежно спрятать награбленное.

3) Безупречное поведение обвиняемого в прошлом.

Против него были следующие факты:

1) Порез на запястье и следы крови на одежде.

2) Найденный у него карандаш Гиббса.

3) Отсутствие свидетельских показаний, которые подтверждали бы его рассказ о том, что он делал в течение тридцати минут между уходом Гиббса из «Герба Дунстанов» (куда тот пошел прямо из дому) и его (Джорджа) возвращением домой.

4) Его всем известная ненависть к покойному и высказанное во всеуслышание пожелание его смерти.

Согласно показаниям хозяина «Герба Дунстанов» Гиббс ушел из его трактира около половины девятого, заявив, что идет в Плашетс. От трактира до того места, где было найдено тело Гиббса, обычной ходьбы было около четырех-пяти минут. Таким образом, на совершение убийства (при условии, что его действительно совершил Джордж в указанное время) оставалось двадцать три — двадцать четыре минуты, если он бежал домой со всех ног, или девятнадцать — двадцать минут, если он шел не торопясь.

На предварительном следствии обвиняемый держался угрюмо и даже дерзко, но не выказывал никакого волнения. Улики против него были признаны достаточными, и дело назначено к разбору на ближайшей сессии уголовного суда.

Мнения обитателей Кэмнера разделились. Джордж никогда не был общим любимцем, а его мрачность и сдержанность в течение последних трех лет оттолкнули от него многих людей, которые искренне сочувствовали ему в дни его былого несчастья. И хотя он пользовался общим уважением, но за последнее время приобрел репутацию человека злопамятного и мстительного. Короче говоря, даже многие из тех, кто близко знал его, готовы были поверить, что, доведенный до исступления страданиями женщины, которую он прежде так горячо любил, и жгучими воспоминаниями о нанесенной ему обиде, он отомстил и за себя и за нее, убив своего врага. Они считали, что ему нетрудно было потихоньку уйти из дому глухой ночью и убить Гиббса, когда тот возвращался из Плашетса, а потом спрятать или уничтожить его вещи, чтобы направить полицию по ложному следу.

Суд над Джорджем будет не скоро забыт в этих краях и потому, что он был местной сенсацией, и потому, что он привлек внимание всей страны. Защищать его был приглашен знаменитый адвокат — мистер Малькольмсон, твердо веривший в его невиновность, не жалел ни денег, ни хлопот, чтобы помочь ему. В суде, где на него с жадным любопытством было устремлено множество глаз, он держался с полным спокойствием, но происшедшая в нем перемена внушила сострадание даже самым равнодушным зрителям и, возможно, расположила присяжных в его пользу даже больше, чем блистательная речь, которую произнес адвокат. Было очевидно, что он перенес тягчайшие душевные муки. За несколько недель он состарился на много лет. Волосы его поредели, одежда висела на исхудавшем теле. Прежде такой здоровый и сильный, он был теперь бледен, измучен, сгорблен. И даже выражение его лица изменилось: оно больше не было суровым.

Когда старшина присяжных огласил вердикт — «Не виновен», по переполненному залу пронесся глубокий рыдающий вздох; но за ним не раздалось рукоплесканий, и нельзя было понять, довольна публика этим решением или нет. И, не сказав ни слова, опустив глаза, как приговоренный к смерти, Джордж Ид вернулся с отцом в родной дом, где мать горячо молилась о его оправдании.

Соседи полагали, что он уедет из Кэмнера искать счастья в чужих краях. Но не в характере Джорджа было бояться людского мнения, и теперь он это доказал. В первое же воскресенье, ко всеобщему удивлению, он явился в церковь, но сел там в стороне от остальных прихожан, словно не желая навязывать им свое общество; и с этого времени он не пропускал ни одной воскресной службы. Это было не единственной переменой в его поведении. Угрюмость его исчезла. Он весь как-то притих и был трогательно благодарен тем, кто обходился с ним вежливо, словно считал себя недостойным такой снисходительности; он неустанно заботился о своих родителях, весь день работал, а вечера нередко проводил за книгой; он никогда не говорил о прошлом, но ни на минуту его не забывал; он оставался таким же печальным, как прежде, даже стал еще более печальным, но горечь и злоба исчезли из его сердца. Вот каким стал Джордж Ид. Когда он проходил мимо,

люди смотрели ему вслед и шепотом спрашивали друг друга: «Все-таки это он его убил или нет?»

Джордж и Сьюзен не встречались. Она долго лежала опасно больная в доме своего отца, куда переехала после трагического события. Старик фермер понес справедливое наказание за то, что корыстно возжелал богатства Гиббса: последний оставил своей жене только пятьдесят фунтов годового дохода, с условием, что она лишится и этого, если выйдет замуж во второй раз.

Примерно через год после этих событий, как-то вечером, когда ярко светила луна, к мистеру Меррею, который сидел у себя в библиотеке и занимался, вошел слуга и доложил, что с ним желает говорить неизвестный человек, назвавшийся Льюком Уильямсом. Был уже одиннадцатый час, а священник привык ложиться рано.

— Скажите ему, чтобы он пришел завтра утром,— приказал он слуге.— Я не занимаюсь делами в столь позднее время.

— Я ему это говорил, сэр,— ответил тот,— но он твердит, что его дело не может ждать ни минуты.

— Это нищий?

— Он не просил милостыню, сэр, но вид у него самый жалкий...

— Проведите его сюда.

Посетитель вошел. Действительно, трудно было представить себе более жалкое создание. Он был бледен, глаза его запали, сухая кожа туго обтягивала скулы, его бил мучительный кашель; короче говоря, он был похож на человека, умирающего от чахотки. Он смотрел на мистера Меррея со странной грустью, а мистер Меррей смотрел на него.

— У вас ко мне дело?

Незнакомец взглянул на слугу.

— Оставьте нас, Роберт.

Роберт послушно вышел, но остановился у самой двери библиотеки.

— Странный вы выбрали час для разговора со мной. Так какое же у вас дело?

— Да, сэр, это странный час для разговоров, но привела меня к вам причина еще более странная.

Посетитель отвернулся к незанавешенному окну и

устремил пристальный взгляд на полную октябрьскую луну, которая лила свой свет на старинную церквушку и на смиренный погост, придавая этой обыденной картине торжественную строгость.

— Так какое же у вас дело? — еще раз спросил мистер Меррей.

Но его гость продолжал смотреть на небо.

— Да,— сказал он, содрогнувшись,— вот так она светила... вот так... в ночь... убийства. Она светила на его лицо... на лицо Гиббса... когда он лежал там... светила прямо ему в глаза... а я не мог их закрыть — как я ни старался, они смотрели на меня. Только сегодня я вновь увидел такую луну. И я пришел признаться вам во всем. Я с самого начала знал, что так надо — и лучше скорее с этим покончить. Скорее покончить.

— Это вы убили Гиббса? Вы?

— Да, я. Я ходил туда сегодня посмотреть на это место. Я чувствовал, что должен снова там побывать. И я увидел его глаза так же ясно, как вижу ваши: широко открытые, освещенные луной. Какое страшное зрелище!

— У вас очень больной и расстроенный вид. Может быть...

— Вы не верите мне. Ах, если бы я мог сам себе не верить! Вот, посмотрите...

Дрожащей, исхудалой рукой он вытащил из кармана часы, перстень с печаткой и кошелек, которые принадлежали Гиббсу, и положил их на стол. Мистер Меррей узнал их.

— Деньги я израсходовал,— сказал его гость слабым голосом.— Там было всего несколько шиллингов, а я очень нуждался.

Тут он, громко застонав, опустился в кресло.

Мистер Меррей дал ему выпить укрепляющего средства, и через несколько минут его странный гость оправился. Устремив лихорадочно блестевшие глаза на луну и то и дело мучительно содрогаясь, он прерывающимся шепотом рассказал следующее.

Некогда он помогал Гиббсу в его темных делах и в конце концов разорился. Ему грозила нищета, и он, соблазнившись крупной суммой, согласился помочь Гиббсу похитить Сьюзен. Когда Сьюзен и Джордж расстались на

две недели перед своей свадьбой, Гиббс и его сообщник последовали за девушкой в Ормистон и, поселившись на окраине, внимательно следили за каждым ее шагом. Узнав, что она собирается провести день у двоюродной сестры, они подослали к ней подкупленную женщину, которая, перехватив девушку по дороге, заявила, что ее послал Джордж и что он просит Сьюзен поспешить к нему, так как он попал в железнодорожную катастрофу и ему остается жить лишь несколько часов. Пораженная этим ужасным известием, бедняжка торопливо последовала за женщиной к домику на окраине и, ничего не подозревая, вошла в него; там ее встретили Гиббс и Уильямс и, заперев дверь, сообщили ей, что прибегли к этой хитрости, чтобы захватить ее, что тут никто не услышит ее криков, а если и услышит, не обратит на них внимания, что бежать отсюда невозможно, что они и их сообщница будут сторожить ее день и ночь, пока она не согласится стать женой Гиббса. А последний, грубо выругавшись, прибавил, что, если бы она обвенчалась с Джорджем Идом, он застрелил бы ее мужа по дороге из церкви.

Застигнутая врасплох, обезумевшая от ужаса, беспомощная девушка сопротивлялась гораздо дольше, чем можно было бы ждать от существа столь слабого. Но ее ни на минуту не оставляли в покое, и, страшась за свою жизнь (Гиббс стоял перед ней с заряженным пистолетом, осыпая ее угрозами), она, наконец, согласилась написать под его диктовку письма тетушке и жениху, извещая их о своем браке, хотя в действительности дала согласие на этот брак только через три недели, когда у нее уже больше не было сил сопротивляться. Но даже и тогда, заявил Уильямс, она не согласилась бы, если бы не боялась за своего возлюбленного. Его жизнь была ей дороже ее собственного счастья, а Гиббс яростно клялся, что тот заплатит жизнью за союз с ней, и она ему поверила. Поэтому она вышла замуж, принося себя в жертву ради спасения человека, которого любила. Тогда Уильямс потребовал условленного вознаграждения.

Но вероломный Гиббс был не из тех, кто выполняет свои обязательства, когда дело касается денег. Он уплатил по уговору первую треть обещанной суммы, но постоянно увиливал от двух остальных выплат, и, наконец, Уильямс, кото-

рому грозил арест за долги, сам приехал в Кэмнер и, прячась в глухой чаще Саусэнгерского леса, выжидал удобного случая, пока как-то вечером не встретил Гиббса, когда тот в одиночестве ехал домой по Тенельмской дороге. Негодяй хотя и был, по обыкновению, пьян, немедленно узнал его и, назвав наглым нищим, попытался задавить своим кабриолетом. Вне себя от ярости, Уильямс написал ему письмо, заявляя, что, если Гиббс в такой-то вечер не принесет в такое-то место в Саусэнгерском лесу весь свой долг до последнего шиллинга, он (Уильямс) на следующее же утро отправится к ближайшему мировому судье и расскажет всю историю похищения и брака Сьюзен.

Испугавшись этой угрозы, Гиббс явился на свидание, но без денег, и вскоре стало ясно, что он по-прежнему ничего не собирается платить. Уильямс, взбешенный этими бесконечными обманами и доведенный до отчаяния жестокой нуждой, поклялся, что завладеет теми деньгами и ценностями, которые Гиббс имеет при себе. Тот сопротивлялся, и завязалась яростная борьба, во время которой Гиббс старался ударить своего противника карманным ножом. Наконец Уильямс одолел и изо всех сил бросил Гиббса на землю, но тот ударился затылком о ствол дерева и тут же умер. Вне себя от ужаса, страшась возмездия, Уильямс поспешно оттащил тело с тропинки, обшарил карманы мертвеца и бросился бежать. Когда он выбрался из леса, церковные часы пробили десять. Всю ночь он шел, нигде не останавливаясь, день провел в заброшенном сарае и благополучно достиг Лондона. Но его почти сразу же арестовали за долги и выпустили всего несколько дней назад, так как решили, что он умирает от чахотки. И это правда, добавил он с отчаянием, ибо с той ужасной ночи он все время видит перед собой остекленевшие глаза своей жертвы, и жизнь стала для него тяжким бременем.

Вот что этот несчастный рассказал прерывающимся шепотом священнику в глухую ночь. Сомневаться в его словах было невозможно, и они неопровержимо доказывали невиновность того, кто так долго нес на себе тяжкий груз подозрений. На следующее утро уже вся деревня знала о признании Уильямса — весть о нем распространялась с быстротой пожара.

Но и во время своего торжества Джордж держался так же, как в дни, когда его несправедливо подозревали в убийстве. В горниле несчастья его характер дивно очистился. Ужасный конец Гиббса, настигший его, как божья кара, вызвал в то же время у Джорджа сострадание и угрызения совести. Ведь если он был неповинен в смерти Гиббса, он был повинен в том, что не раз желал ее; и он горько упрекал себя, что, когда это было еще возможно, не простил своего врага, как сам надеялся быть прощен. Вот почему, вернувшись домой в день убийства, он произнес слова, которые бросили на него такую тень.

Следует упомянуть, что в письме, полученном им от Сьюзен в утро рокового дня, она умоляла его немедленно пойти к ее отцу и попросить того как можно скорее принять меры, чтобы увезти ее от мужа, который грозит убить ее и так неусыпно следит за ней, что сама она ничего сделать не может. А поскольку адресованные ей письма вскрывались, она просила Джорджа встретиться с ней в этот вечер в Саусэнгерском лесу, чтобы сообщить ей о результатах его разговора с ее отцом (на самом деле Джордж не говорил с ним, потому что фермер в этот день куда-то уехал). Однако, услышав, что Гиббс из трактира собирается пойти в Плашетс, она бросилась предупредить об этом Джорджа, чтобы помешать их встрече, которая, как мы знаем, все-таки чуть было не произошла.

Сьюзен полностью подтвердила рассказ Уильямса об обстоятельствах ее похищения. Этот несчастный прожил после своей исповеди лишь неделю и умер в тюрьме, очистив душу раскаянием.

И вот Джордж и Сьюзен встретились снова. Во время этого разговора он достал со своей груди шелковый мешочек, в котором хранился пучок сухого хмеля — настолько иссушенного временем, что он рассыпался от прикосновения,— и протянул его Сьюзен.

На кэмнерском выгоне, неподалеку от дома Саймона Ида, стоит коттедж, стены которого увиты розами и жимолостью. Там вы можете увидеть Сьюзен — пусть не такую прелестную, как прежде, но все еще красивую,— которая со счастливой улыбкой держит на руках кареглазого

младенца. А если вы выберете удачное время, то можете повстречать и Джорджа, когда он возвращается к обеду или к чаю, такой сильный и красивый; и, заметив веселую улыбку на его честном английском лице, вы невольно улыбнетесь сами.

VIII. Принимать всю жизнь

Софи читала и перечитывала все вышеприведенное, а я, расположившись на моем сиденье в Библиотечном фургоне (так мы его назвали), смотрел, как она читает, и был доволен и горд, точно какой-нибудь мопс, когда ему перед званым вечером хорошенько наваксят намордник, а хвост с помощью всяких приспособлений еще круче завьют в баранку. Все мои желания и надежды исполнились. Мы снова были вместе, и жизнь стала даже лучше, чем мы мечтали. Довольство и радость ехали с нами в фургонах и не покидали нас, когда фургоны останавливались.

И только одного я не принял в расчет. О чем же я забыл? Попробуйте догадаться, а я вам подскажу — это такая фигура. Ну-ка, отгадайте, только не ошибитесь. Квадрат? Нет. Круг? Нет. Треугольник? Нет. Овал? Нет. Вот послушайте, что я вам скажу. Это ведь совсем не такая фигура. Это бессмертная фигура. Тут вы и встали в тупик и бессмертную фигуру отгадать не можете. Так-то. Почему же вы раньше об этом не сказали?

Да, я не принял в расчет как раз бессмертную фигуру. И это была фигура не мужчины, и не женщины, а ребенка. Девочки или мальчика? Мальчика. «Я,— ответил воробей,— луком и стрелой моей» *. Ну, теперь поняли?

Были мы в Ланкастере, и два вечера у меня все шло как нельзя лучше (хотя по чести должен сказать, что тамошнюю публику расшевелить нелегко). Фургоны я поставил на площади в самом конце улицы, где расположена «Гостиница Королевского Герба» мистера Слая. Странствующий Мимов Великан, а другими словами Пиклсон, тоже как раз подвизался в городе. И очень это все было благородно устроено. Никакого тебе ярмарочного бала-

гана. Занавес из зеленой бязи в аукционном зале, а за ним — Пиклсон. Печатная афиша: «Вход только по билетам, за исключением гордости всякой просвещенной страны, свободной прессы. Воспитанникам школ и пансионов предоставляется скидка. Ничего, что могло бы вызвать румянец на щеках юности или оскорбить самый взыскательный вкус». И Мим в кассе из розового коленкора ругмя ругает нелюбознательную публику. А в лавках раздаются ученые афишки, что, дескать, историю Давида возможно понять, только поглядев на Пиклсона *.

Вот я и пошел в этот аукционный зал, гляжу, а там пусто — одно эхо да плесень по стенам, да еще Пиклсон на красном половичке. Ну, а мне только этого и надо было, потому что хотел я ему сказать без посторонних ушей вот такие слова:

— Пиклсон, будучи обязан вам большим счастьем, я завещал вам пять фунтов стерлингов; но чтоб поменьше было хлопот, вот вам сейчас четыре фунта, если вы согласны, на чем и покончим с этим делом.

Пиклсон до этого сидел такой унылый, словно длинная римская свеча, которая никак не разжигается, но тут его верхняя оконечность сразу просияла, и он выразил свою благодарность прямо-таки с парламентским красноречием — то есть для него, разумеется. И затем сообщил мне о том, что Мим, когда его римские успехи кончились, хотел было сделать из него индейского великана, которого обратила на путь истинный Дочь Молочника. Однако Пиклсон, не будучи знаком с душеспасительной книжкой, названной в честь этой девицы, и не желая сочетать надувательства со своими серьезными взглядами, наотрез отказался. Вышел скандал, и бедняга лишился обычной порции пива. И пока мы с ним беседовали, все, о чем он рассказывал, подтверждалось яростным рычанием Мима в кассе, от которого великан начинал дрожать как осиновый лист.

Но нашего с вами дела в рассказе странствующего великана, а другими словами Пиклсона, касалось вот что:

— Доктор Мериголд (я передаю только его слова, а не то, как он тянул и мямлил), что это за молодой человек околачивается около ваших фургонов?

— *Молодой человек?* — удивленно говорю я, решив,

что он имеет в виду Софи и по своей поврежденной циркуляции сказал не то.

— Доктор,— заявляет он с грустью, способной исторгнуть слезу из самых мужественных глаз,— я, конечно, слаб, но уж не настолько, чтобы не понимать своих слов. И готов повторить: молодой человек.

Тут выясняется, что Пиклсон выходит поразмять ноги, только когда его даром никто посмотреть не может — то есть глубокой ночью или на рассвете, и вот он два раза видел, как возле моих фургонов в этом самом городе Ланкастере, где я провел всего две ночи, околачивался этот самый неизвестный молодой человек.

Я немного расстроился. Что, собственно, все это предвещало, я тогда знал не больше, чем вы сейчас, но только я немного расстроился. Однако Пиклсону я и виду не показал и распростился с Пиклсоном, посоветовав ему истратить свое наследство на подкрепление сил и, как и прежде, стоять за свою веру. А под утро я начал высматривать этого неизвестного молодого человека — и более того, я увидел этого неизвестного молодого человека. Одет он был очень хорошо и собой был хорош. Он прохаживался совсем рядом с моими фургонами и смотрел на них во все глаза, будто сторожил их, а как рассвело — повернулся и ушел. Я его громко окликнул, но он не вздрогнул, не оглянулся и вообще никакого внимания не обратил.

Часа через два мы выехали из Ланкастера и покатили в Карлайл. На другой день, чуть рассвело, я снова выглянул из фургона. Но незнакомого молодого человека не увидел. На следующее утро я опять выглянул — и вот он, тут как тут, ходит около фургонов. Я снова окликнул его, однако, как и в тот раз, он и ухом не повел. Тут мне в голову пришла мысль. Стал я за ним по-всякому следить во всякое время (подробностей рассказывать не буду) и, наконец, убедился, что этот незнакомый молодой человек — глухонемой.

От этого открытия мне стало совсем скверно на душе — я знал, что в Приюте, где она обучалась, было отделение для молодых людей (среди них попадались очень зажиточные). И я сказал себе: «Если он ей нравится, то что будет со мной и со всем, ради чего я столько трудился?»

Однако, я все-таки надеялся — ничего не поделаешь, себялюбие взяло верх,— что, может, он ей вовсе и не нравится, и решил в этом разобраться. Наконец мне случайно удалось подстеречь их свидание — я прятался за елкой, и они меня не видели. Трогательное это было свидание для всех троих, кто там присутствовал. Я понимал каждое их словечко не хуже их самих. Слушал я с помощью глаз — они у меня понимают речь глухонемых так же быстро и верно, как мои уши понимают разговоры обыкновенных людей. Он уезжал в Китай, чтобы стать конторщиком в торговой фирме, где прежде служил его отец. У него были средства, чтобы содержать жену, и он просил ее выйти за него замуж и поехать с ним. А она упорствовала — нет и нет. Он спросил — может, она его не любит? Нет, любит, горячо любит, но она не может огорчить своего дорогого, благородного, великодушного и уж не знаю какого еще отца (и все это обо мне, простом коробейнике в жилетке с рукавами!) и останется с ним, да благословит его бог, хоть это разобьет ее сердце! Тут она горько заплакала, и я сразу принял решение.

Пока я еще не решил, нравится ли ей этот молодой человек, я был очень зол на Пиклсона, и можно сказать, ему повезло, что он уже получил свое наследство. Потому что я частенько думал: «Если бы не этот слабоумный великан, не пришлось бы мне ломать голову и мучиться из-за какого-то молодого человека». Но как только я понял, что она его любит, как только я увидел, что она из-за него плачет, все сразу стало по-другому. Я тут же мысленно примирился с Пиклсоном и, стиснув зубы, заставил себя поступить как должно.

К этому времени она уже ушла от молодого человека (на то, чтобы хорошенько стиснуть зубы, мне понадобилось минуты две-три), а он, закрыв лицо руками, прислонился к другой елке (их там был целый лесок). Я потрогал его за плечо. Он обернулся и, увидев меня, сказал нашими знаками:

— Не сердитесь.

— Я не сержусь, дружок. Я тебе помогу. Пойдем со мной.

Я оставил его у ступенек Библиотечного фургона и вошел туда один. Она вытирала глаза.

— Ты плакала, родная?
— Да, отец.
— Почему?
— Голова болит.
— А не сердце?
— Нет, голова, отец.
— Доктор Мериголд выпишет сейчас рецепт от головной боли.

Она взяла книжечку с моими «Рецептами» и протянула мне с вымученной улыбкой, но, заметив, что я не шучу и книги не беру, тихонько положила ее на место и внимательно посмотрела на меня.

— Рецепт не там, Софи.
— А где же?
— Здесь, родная.

Я подвел к ней ее жениха, соединил их руки и сказал: «Последний рецепт доктора Мериголда. Принимать всю жизнь». А потом ушел.

На свадьбу я в первый и в последний раз в жизни надел сюртук (сукно синее, а пуговицы так и горят) и своими собственными руками отдал Софи молодому супругу. На свадьбе присутствовали только мы трое и тот джентльмен, который заботился о ней эти два года. Я устроил в Библиотечном фургоне свадебный обед на четыре персоны. Пирог с голубями, окорок в маринаде, две курочки и всякие надлежащие овощи. Напитки самые лучшие. Я произнес тост, и племянник моего доктора произнес тост, и шутки наши всем пришлись по вкусу, и все было как нельзя лучше. За обедом я сказал Софи, что сохраню Библиотечный фургон и буду жить в нем, возвращаясь из поездок, и сберегу все ее книги в целости и сохранности, пока она не вернется. Так она и уехала в Китай со своим молодым мужем, и прощание наше было очень грустным, а потом я нашел своему мальчишке другое место, а сам, как в те годы, когда умерли моя девочка и жена, зашагал с кнутом на плече рядом со старым конягой.

Софи мне много писала, и я ей много писал. В конце первого года от нее пришло письмецо, написанное нетвердой рукой: «Мой любимый отец, еще нет недели, как у меня родилась прелестная дочурка, но я чувствую себя настолько хорошо, что мне позволили написать тебе не-

сколько слов. Дорогой мой, любимый отец, есть надежда, что моя девочка не будет глухонемой, хотя твердо пока еще ничего сказать нельзя». В ответном письме я было намекнул на это обстоятельство, но Софи о нем больше не упоминала, и я тоже о нем не справлялся — ведь расспросами горю не поможешь. Сначала мы переписывались аккуратно, но потом письма стали приходить реже, потому что мужа Софи перевели в другой город, а я все время ездил с места на место. Но мы и без писем всегда помнили друг друга, это я твердо знаю.

С отъезда Софи прошло пять лет и несколько месяцев. Я по-прежнему был королем коробейников, и слава моя все росла. Осень прошла на редкость удачно, и двадцать третьего декабря тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года приехал я в Аксбридж, графство Мидлсекс, и распродал там остатки товара до последней нитки. И вот налегке и с легкой душой затрусили мы с конягой в Лондон, где я собирался в одиночестве отпраздновать сочельник и рождество у очага в Библиотечном фургоне, а потом закупить оптом новых товаров и снова отправиться торговать и деньги наживать.

Стряпаю я недурно и сейчас расскажу вам, что я соорудил для праздничного обеда в Библиотечном фургоне. А соорудил я мясной пудинг на одну персону — с дюжиной устриц, парочкой почек и двумя грибками. После такого пудинга человек ко всему относится благодушно, кроме как к двум нижним пуговицам своего жилета. Покончив с пудингом и убрав посуду, я привернул лампу, уселся поудобнее у очага и стал смотреть, как отблески огня играют на корешках книг.

Книги Софи так напомнили мне о ней самой, что ее милое личико возникло передо мной как живое, а потом я задремал. Наверное, поэтому все время, пока я спал, мне казалось, что рядом безмолвно стоит Софи с глухонемой дочкой на руках. Я то ехал по дорогам, то останавливался в самых разных местах — на север, на запад, на юг, на восток, где ветер гулял, гулял ветерок, здесь вот и там вот, здесь вот и там, и улетел по горам, по долам, а она все время стояла рядом — безгласная с безгласным ребенком на руках. Даже когда я, вздрогнув, проснулся, казалось, она только за миг до этого стояла рядом со мною.

Разбудили же меня самые доподлинные звуки, и раздавались они на ступеньках фургона. Это были легкие детские шажки — кто-то торопливо карабкался вверх по лестнице. Они были такими знакомыми, что мне показалось, будто я вот-вот увижу призрак ребенка.

Но на ручку двери легли пальчики настоящего живого ребенка, ручка повернулась, дверь приотворилась, и в фургон заглянул настоящий живой ребенок. Хорошенькая малютка с большими темными глазами.

Глядя прямо на меня, девочка сняла свою крохотную соломенную шляпку, и по ее плечам рассыпались черные кудри. Потом она сказала звонким голоском:

— Дедушка!

— Господи! — воскликнул я.— Она говорит!

— Да, милый дедушка. И мне велели спросить тебя, не напоминаю ли я тебе кого-нибудь.

Еще миг — и Софи с девочкой уже повисли у меня на шее, а ее муж, прикрыв ладонью глаза, тряс мне руку, и нам всем пришлось хорошенько стиснуть зубы, прежде чем мы, наконец, успокоились. А едва мы начали успокаиваться, я вдруг увидел, как крошка-девочка весело, быстро и уверенно заговорила с матерью теми самыми знаками, которым я когда-то обучил ее мать, и по моим щекам потекли слезы счастья и жалости.

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА

Роман

Перевод О. ХОЛМСКОЙ

ГЛАВА I

Рассвет

Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня — вон она высится, серая и массивная, над крышей собора... И еще какой-то ржавый железный шпиль — прямо перед башней... Но его же на самом деле нет! Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди. Что это за шпиль, кто его здесь поставил? А может быть, это просто кол, и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы, и длинное шествие — сам султан со свитой — выходит из дворца... Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять тысяч алмей * усыпают дорогу цветами. А дальше белые слоны — их столько, что не счесть — в блистающих яркими красками попонах, и несметные толпы слуг и провожатых... Однако башня английского собора по-прежнему маячит где-то на заднем плане — где она быть никак не может — и на колу все еще не видно извивающегося в муках тела... Стой! А не может ли быть, что этот шпиль — это предмет самый обыденный — всего-навсего ржавый шип на одном из столбиков расхлябанной и осевшей кровати? Сонный смех сопровождает эти догадки и размышления.

Человек, чье разорванное сознание медленно восстанавливалось, выплывая из хаоса фантастических видений, приподнялся, наконец, дрожа всем телом; опершись на руки, он огляделся кругом. Он в тесной жалкой комнатушке с нищенским убранством. Сквозь дырявые занавески на окнах с грязного двора просачивается тусклый рассвет. Он лежит одетый, поперек неопрятной кровати, которая и в самом деле осела под тяжестью, ибо на ней — тоже поперек, а не вдоль, и тоже одетые, лежат еще трое: китаец, ласкар * и худая изможденная женщина. Ласкар и китаец спят — а может быть, это не сон, а какое-то оцепенение; женщина пытается раздуть маленькую, странного вида, трубку. При этом она заслоняет чашечку костлявой рукой и в предрассветном сумраке рдеющий уголек бросает на нее отблески, словно крошечная лампа; и пробудившийся человек видит ее лицо.

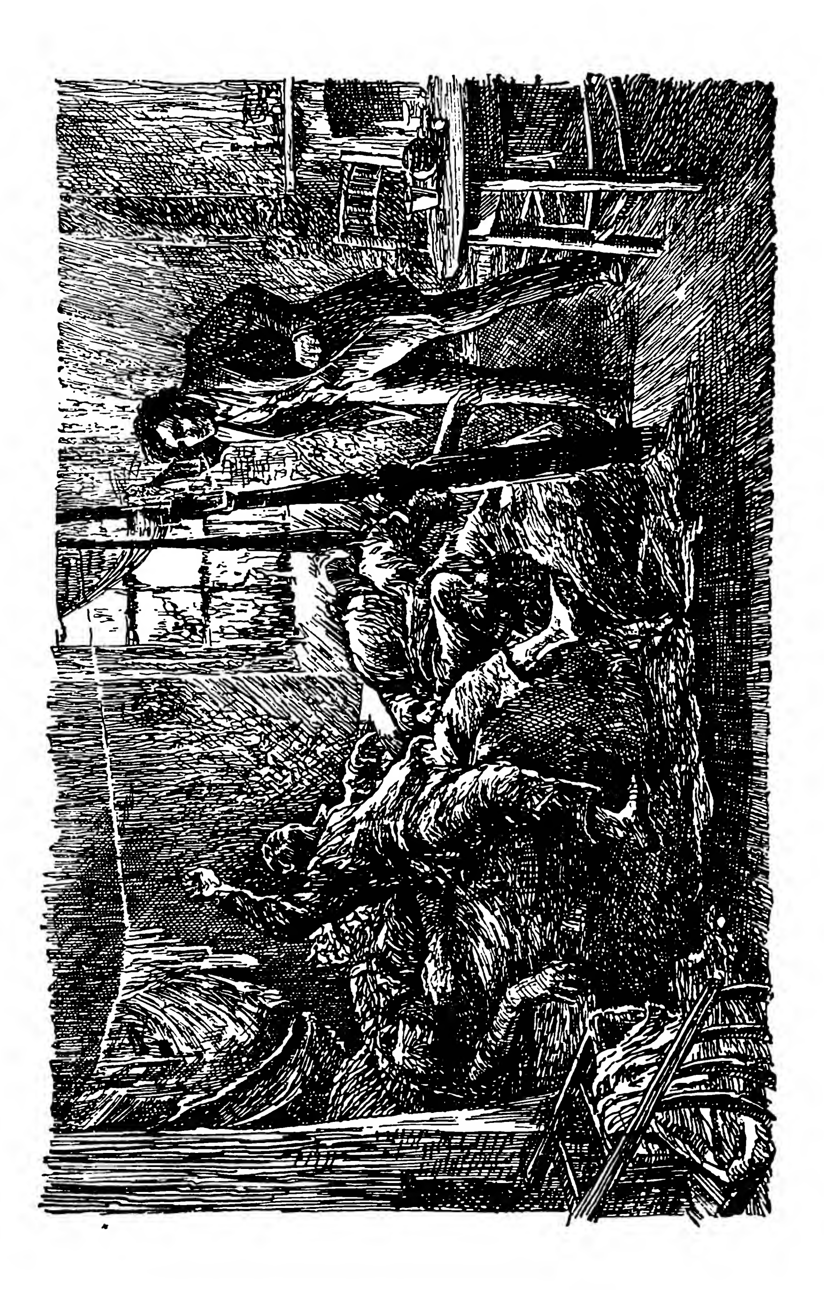
— Еще одну? — спрашивает она жалобным хриплым шепотом.— Дать вам еще одну?

Он озирается, прижимая руку ко лбу.

— Вы уже пять выкурили с полуночи, как пришли,— продолжает женщина с той же, видимо привычной для нее, жалобной интонацией.— Ох, горюшко мне, горе, голова у меня все болит. Эти двое уж после вас пришли. Ох, горюшко, дела-то плохи, плохи, хуже некуда. Забредет китаец какой из доков, да вот ласкар, а новых кораблей, говорят, сейчас и не ждут. Ну вот тебе, милый, трубочка! Ты только не забудь — цена-то сейчас на рынке страх какая высокая! За этакий вот наперсток — три шиллинга шесть пенсов, а то и больше еще сдерут! И не забывай, голубчик, что только я одна знаю, как смешивать — ну и еще Джек-китаец на той стороне двора, только где ему до меня! Он так не сумеет! Так уж ты заплати мне как следует, ладно?

Говоря, она раздувает трубку, а иногда и сама затягивается, вбирая при этом немалую долю ее содержимого.

— Ох, беда, беда, грудь у меня слабая, грудь у меня больная! Ну вот, милый, почти уж и готово. Ах, горюшко, эк рука-то у меня дрожит, словно вот-вот отвалится. А я смотрю на тебя, вижу, ты проснулся, ну, думаю, надо ему еще трубочку изготовить. А уж он попомнит, какой опиум сейчас дорогой, заплатит мне как следует. Ох, головушка



моя бедная! Я трубки делаю из чернильных склянок, малюсеньких, что по пенни штука, вот как эта, видишь, голубчик? А потом прилажу к ней чубучок, вот этак, а смесь беру этой вот роговой ложечкой, вот так, ну и все, вот и готово. Ох, нервы у меня! Я ведь шестнадцать лет пила горькую, а потом вот за это взялась. Ну да от этого вреда нету. А коли и есть, так самый маленький. Зато голода не чувствуешь и тратиться на еду не надо.

Она подает наполовину опустевшую трубку и, откинувшись на постель, переворачивается вниз лицом.

Пошатываясь, он встает, кладет трубку на очаг, раздвигает рваные занавески и с отвращением оглядывает троих лежащих. Он отмечает про себя, что женщина от постоянного курения опиума приобрела странное сходство с китайцем. Очертания его щек, глаз, висков, его цвет кожи повторяются в ней. Китаец делает судорожные движения — быть может, борется во сне с каким-нибудь из своих многочисленных богов или демонов — и злобно скалит зубы. Ласкар ухмыляется; слюни текут у него изо рта. Женщина лежит неподвижно.

Пробудившийся человек смотрит на нее сверху вниз, стоя возле кровати; потом, нагнувшись, поворачивает к себе ее голову.

— Какие видения ее посещают? — раздумывает он, вглядываясь в ее лицо.— Что грезится ей? Множество мясных лавок и трактиров, где без ограничений отпускают в кредит? Толпа посетителей в ее гнусном притоне, новая кровать взамен этого мерзкого одра, чисто подметенный двор вместо зловонной помойки за окном? Выше этого ей все равно не подняться, сколько ни выкури она опиума! Что?..

Он нагибается еще ниже, вслушиваясь в ее бормотание.

— Нет, ничего нельзя понять!

Он опять смотрит на нее: по временам ее всю словно встряхивает во сне; судорожные подергивания сотрясают ее лицо и тело — так иногда ночью от беглых молний содрогается темное небо; и это, видимо, заражает его — настолько, что он вынужден отойти к облезлому креслу у очага, поставленному там, возможно, именно на такой случай, и посидеть, крепко ухватившись за ручки, пока

ему не удается одолеть злого духа подражания. Потом он опять подходит к кровати, хватает китайца за горло и поворачивает его лицом к себе. Китаец противится, пытается отодрать его руки, хрипит и что-то бормочет.

— Что?.. Что ты говоришь?

Минута настороженного ожидания.

— Нет, нельзя понять!

Сдвинув брови, внимательно вслушиваясь в несвязный лепет, он медленно разжимает руки. Затем оборачивается к ласкару и попросту сбрасывает его с кровати. Грохнувшись об пол, тот приподнимается, сверкает глазами, делает яростные жесты, замахивается воображаемым ножом. И тут выясняется, что женщина еще раньше, безопасности ради, отобрала у него нож; ибо теперь она тоже вскакивает, кричит, унимает его, и, когда, наконец, оба рядом валятся на пол, вновь охваченные сном, нож ясно обозначается не у него, а у нее под платьем.

Шуму и крику было довольно, но трудно было что-либо во всем этом разобрать. Если и прорывались отдельные слова, то без смысла и связи. Поэтому третий, пристально следивший за ними, выводит прежнее свое заключение:

— Нет, ничего нельзя понять! — Он говорит это с удовлетворенным кивком головы и с мрачной усмешкой. Затем кладет на стол горсть серебряных монет, отыскивает свою шляпу, ощупью спускается по выбитым ступенькам, попутно пожелав доброго утра привратнику, воюющему с крысами в темной своей каморке под лестницей, и исчезает.

В тот же день под вечер массивная серая башня предстает издали глазам утомленного путника. Колокола звонят к вечерне, и, должно быть, ему непременно нужно на ней присутствовать, ибо, ускоряя шаги, он спешит к открытым дверям собора. Когда он входит, певчие уже надевают свои запачканные белые стихари; он достает собственный свой стихарь и, накинув его, присоединяется к выходящей из ризницы процессии. Затем ризничий запирает решетчатую дверь, певчие торопливо расходятся по местам и, склонив головы, закрывают лицо руками. И че-

рез миг первые слова песнопения: «Егда приидет нечестивый», будят в вышине под сводами и среди балок крыши грозные отголоски, подобные дальним раскатам грома.

ГЛАВА II

Настоятель — и прочие

Кто наблюдал когда-нибудь грача, эту степенную птицу, столь сходную по внешности с особой духовного звания, тот видел наверно не раз, как он, в компании таких же степенных, клерикального вида, сотоварищей, стремит в конце дня свой полет на ночлег, к гнездовьям; и как при этом два грача вдруг отделяются от остальных и, пролетев немного назад, задерживаются там и неизвестно почему медлят; так что невольно приходит мысль, что по каким-то тайным соображениям, продиктованным, быть может, высшей политикой грачиной стаи, эти два хитреца умышленно делают вид, будто не имеют с ней ничего общего.

Так и здесь, после того как кончилось богослужение в старинном соборе с квадратной башней и певчие, толкаясь, высыпали из дверей, и разные почтенные особы, видом весьма напоминающие грачей, разбрелись по домам, двое из них поворачивают назад и неторопливо прохаживаются по обнесенному оградой гулкому двору собора.

Не только день, но и год идет к концу. Яркое и все же холодное солнце висит низко над горизонтом за развалинами монастыря, и дикий виноград, оплетающий стену собора и уже наполовину оголенный, роняет темно-красные листья на потрескавшиеся каменные плиты дорожек. Днем был дождь, и теперь под порывами ветра зябкая дрожь пробегает порой по лужицам в выбоинах камней и по громадным вязам, заставляя их внезапно проливать холодные слезы. Опавшая листва лежит всюду толстым слоем. Несколько листочков робко пытаются найти убежище под низким сводом церковной двери; но отсюда их безжалостно изгоняют, отбрасывая ногами, двое запоз-

далых молельщиков, которые в эту минуту выходят из собора. Затем один запирает дверь тяжелым ключом, а другой поспешно удаляется, зажимая под мышкой увесистую нотную папку.

— Кто это прошел, Топ? Мистер Джаспер?

— Да, ваше преподобие.

— Как он сегодня задержался!

— Да, ваше преподобие. И я задержался из-за него. Он, видите ли, стал вдруг не в себе...

— Надо говорить «ему стало не по себе», Топ. А «стал не в себе» это неудобно — перед настоятелем, — вмешивается более молодой из двоих грачей тоном упрека, как бы желая сказать: «Можно употреблять неправильные выражения в разговоре с мирянами или с младшим духовенством, но не с настоятелем».

Мистер Топ, главный жезлоносец и старший сторож, привыкший важничать перед туристами, которыми он по долгу службы руководит при осмотре собора, встречает адресованную ему поправку высокомерным молчанием.

— А когда же и каким образом мистеру Джасперу стало не по себе — ибо, как справедливо заметил мистер Криспаркл, лучше говорить «не по себе», да, да, Топ, именно «не по себе»,— солидно внушает своему собеседнику настоятель.

— Так точно, сэр, не по себе,— почтительно поддакивает Топ.

— Так когда же и каким образом ему стало не по себе, Топ?

— Да видите ли, сэр, мистер Джаспер до того задохся...

— На вашем месте, Топ, я не стал бы говорить «задохся»,— снова вмешивается мистер Криспаркл тем же укоризненным тоном.— Неудобно — перед настоятелем.

— Да, «задохнулся» было бы, пожалуй, правильнее,— снисходительно замечает настоятель, польщенный этой косвенной данью уважения к его сану.

— Мистер Джаспер до того тяжело дышал,— продолжает Топ, искусно обходя возникший на его пути подводный камень,— до того он тяжело дышал, когда входил в церковь, что уж петь ему было труднехонько. И, может, по этой причине с ним потом и приключилось что-то на

манер припадка. Память у него *затмилась*,— это слово мистер Топ произносит с убийственной отчетливостью, не сводя глаз с мистера Криспаркла и как бы вызывая его что-либо тут усовершенствовать.— Голова закружилась, и глаза стали мутные, даже боязно было на него смотреть, хоть сам он вроде не жаловался. Ну я его усадил, подал водицы, и он вскорости вышел из этого *затмения*.— Мистер Топ повторяет этот, столь удачно найденный, оборот с таким нажимом, словно хочет сказать: «Ловко я вас поддел, а? Так нате ж вам еще раз».

— Но домой он ушел уже совсем оправившись?

— Да, ваше преподобие, домой он ушел уже совсем оправившись. И я вижу, он велел затопить у себя камин, это он хорошо сделал, потому на дворе мокрядь, да и в церкви нынче было ужас как сыро, и мистер Джаспер даже весь дрожал, как в лихорадке.

Все трое обращают взгляд к каменному строению, протянувшемуся поперек двора — бывшей монастырской привратницкой над широкой аркой ворот. В окне с мелким переплетом мерцает огонь, а кругом уже сгущается сумрак, окутывая тенями пышные вороха плюща и дикого винограда на фасаде привратницкой. Соборный колокол вдруг начинает отбивать часы, и в тот же миг под налетевшим ветром зыблется листва вдали на фасаде, как будто и ее колеблет мощная волна звуков, гулом наполняющая собор и реющая над башней и гробницами, над разбитыми нишами и выщербленными статуями.

— А племянник мистера Джаспера уже приехал?

— Нет еще,— отвечает жезлоносец.— Но его ждут. Сейчас мистер Джаспер один. Видите, вон его тень? Это он стоит как раз между двумя своими окнами — тем, что выходит сюда, и тем, что на Главную улицу. А вот он задергивает занавески.

— Ну что ж,— бодрым тоном говорит настоятель, давая понять, что происходившее только что маленькое совещание закончено,— надеюсь, мистер Джаспер не слишком отдается чувству привязанности к своему племяннику. В нашем бренном мире не должно допускать, чтобы наши чувства — пусть даже самые похвальные — властвовали над нами; наоборот, мы должны ими управлять,— да, да, именно управлять ими! Однако этот звон не без при-

ятности напоминает мне, что меня ждут к обеду. Быть может, вы, мистер Криспаркл, по дороге домой заглянете к Джасперу?

— Обязательно загляну. Могу я сказать ему, что вы любезно осведомлялись о его здоровье?

— О да, конечно. Осведомлялся о его здоровье. Вот именно. Осведомлялся о его здоровье.

С приятно покровительственным видом настоятель заламывает набекрень свою украшенную лентами шляпу — конечно, только слегка, насколько это прилично столь важному духовному лицу, когда оно в веселом настроении — и, бодро переступая затянутыми в изящные гетры ногами, направляется к сияющим рубиновым светом окнам столовой в уютном кирпичном домике, где он в настоящее время «имеет свое пребывание» вместе с супругой и дочерью.

Мистер Криспаркл, младший каноник, белокурый и румяный, всегда встающий на заре и не упускающий случая хоть раз в день нырнуть с головой в какой-нибудь подходящий по глубине водоем — реку ли, озеро ли — в окрестностях Клойстергэма; мистер Криспаркл, младший каноник, знаток музыки и античной словесности, приветливый, всем довольный, любезный и общительный, юноша по виду, если не по годам; мистер Криспаркл, недавно еще репетитор в колледже, а нынешнюю свою должность получивший благодаря покровительству некоего отца, признательного за успешное обучение сына, и сменивший, таким образом, водительство младых умов по большим дорогам языческой мудрости на вождение душ по стезе христианской веры; мистер Криспаркл, младший каноник и добрый человек, хоть и спешит домой к чаю, не забывает, однако, зайти в привратницкую над воротами.

— Я с огорчением услышал от Топа, что вы прихворнули, Джаспер.

— Ну что вы, это сущие пустяки.

— Вид у вас, во всяком случае, не совсем здоровый.

— Разве? Ну, не думаю. А главное, я этого совсем не чувствую. Топ, наверно, бог знает что вам наговорил. Это уж у него по должности выработалась такая привычка — придавать чрезмерное значение всему, что связано с собором.

— Так, значит, я могу передать настоятелю — я здесь по особому желанию настоятеля,— что вы уже совсем оправились?

Мистер Джаспер отвечает с легкой улыбкой:

— О да, конечно. И передайте, пожалуйста, настоятелю мою благодарность за внимание.

— Я слышал, к вам должен приехать молодой Друд?

— Я жду моего дорогого мальчика с минуты на минуту.

— Это очень хорошо. Он принесет вам больше пользы, чем доктор.

— Больше, чем десять докторов. Потому что я люблю его всей душой, а докторов с их латинской кухней не люблю вовсе.

Мистер Джаспер смугл лицом, и его густые блестящие черные волосы и бачки тщательно расчесаны. Ему лет двадцать шесть, но на вид он кажется старше, как это часто бывает с брюнетами. Голос у него низкий и звучный, фигура статная и лицо красивое, но манера держаться несколько сумрачная. Да и комната его мрачновата, и, возможно, это тоже на нем сказалось. Комната почти вся тонет в тени. Даже когда солнце ярко сияет на небе, лучи его редко достигают рояля в углу, или толстых нотных тетрадей на пюпитре, или полки с книгами на стене, или портрета, что висит над камином; на этом портрете изображена прехорошенькая юная девушка — школьница по возрасту; ее рассыпавшиеся по плечам светло-каштановые кудри перевязаны голубой лентой, и ее красоте еще больше своеобразия придает забавное выражение какого-то ребяческого упрямства — как будто она сердится на кого-то и сама понимает, что не права, но ничего знать не хочет. Портрет не имеет никаких художественных достоинств — это только набросок; но видно, что художник старался не без юмора,— а может быть, даже с долей злорадства — быть верным оригиналу.

— Очень сожалею, Джаспер, что вы сегодня не будете на очередной нашей Музыкальной среде, но, конечно, вам лучше посидеть дома. Итак, доброй ночи, будьте здоровы! «Скажите, па-астухи, скажите мне, ска-ажите мне-е-е; видали ль вы (видали ль вы, видали ль вы, видали ль вы) как Фло-о-ора ми-и-илая тропой сей прохо-

ди-ила!..» И, разливаясь, как соловей, добряк младший каноник, его преподобие Септимус Криспаркл, на прощание просияв улыбкой, исчезает за дверью и спускается по лестнице.

Снизу слышны приветственные возгласы — достопочтенный Септимус, видимо, с кем-то здоровается. Мистер Джаспер прислушивается, вскакивает со стула и принимает в объятия нового гостя.

— Дорогой мой Эдвин!

— Ах, милый Джек! Рад тебя видеть!

— Ну раздевайся же, раздевайся, мой мальчик, и усаживайся в своем уголке. Ноги у тебя не промокли? Сними башмаки. Сейчас же сними башмаки!

— Милый Джек, ничего у меня не промокло. И, пожалуйста, не нянчись со мной. Терпеть не могу, когда со мной нянчатся.

Столь бесцеремонно одернутый в искреннем порыве чувств, мистер Джаспер теперь уж стоит неподвижно и только пристально смотрит на своего молодого гостя, пока тот снимает пальто, шляпу и перчатки. Этот пристальный, остро внимательный взгляд, это выражение жадной, требовательной, настороженной и вместе с тем бесконечно нежной привязанности всякий раз появляется на лице Джаспера, когда оно обращено к гостю. И взгляд Джаспера при этом никогда не бывает рассеянным; глаза его прямо-таки впиваются в лицо Эдвина.

— Ну вот, я теперь готов и могу посидеть в моем уголке. А как, Джек, насчет обеда?

Мистер Джаспер распахивает дверь в дальнем конце гостиной: за ней видна еще небольшая комната, где весело горит лампа и стол уже накрыт белой скатертью. Весьма авантажная, средних лет, женщина расставляет на нем блюда.

— Ах, Джек, молодчинище! — восклицает юноша, хлопая в ладоши.— Но послушай, скажи-ка мне: чей сегодня день рождения?

— Не твой, насколько я знаю,— отвечает тот после минутного раздумья.

— Не мой, насколько ты знаешь? Да уж, конечно, не мой, я, представь себе, тоже это знаю. Кискин, вот чей!

Мистер Джаспер, как всегда во время разговора, смо-

трит прямо на Эдвина; но на сей раз его взгляд каким-то загадочным образом прихватывает по пути и портрет над камином.

— Да, Джек, Кискин! И мы с тобой должны выпить за ее здоровье. Ну, дядя, веди же своего почтительного и голодного племянника к столу.

С этими словами юноша — он и в самом деле еще юноша, почти мальчик — кладет руку на плечо Джаспера, а тот дружески и весело кладет ему на плечо свою, и, так, обнявшись, они входят в столовую.

— Бог мой, да это же миссис Топ! — восклицает Эдвин.— И до чего же похорошела!

— Да вам-то какая печаль, мистер Эдвин? — обрывает его супруга главного жезлоносца.— Авось я могу сама о себе позаботиться!

— Нет, не можете. Для этого вы слишком красивы. Ну, поцелуйте меня разок по случаю дня рождения Киски!

— Ох, и показала бы я вам, молодой человек, будь я на месте Киски, как вы ее называете,— заливаясь румянцем, говорит миссис Топ, после того как она подверглась поцелуйному обряду.— Это все ваш дядя виноват, вот что! Он так с вами носится, что вы уж небось думаете — все Киски на свете так и прибегут к вам гурьбой, стоит вам только кликнуть!

— Вы забываете, миссис Топ,— с добродушной усмешкой вставляет Джаспер, усаживаясь за стол,— да и ты, Нэд, видно, забыл, что слова дядя и племянник здесь под запретом — с общего согласия и по особому постановлению. Очи всех на тебя, господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремении... Аминь.

— Здорово ты это, Джек! Хоть самому настоятелю впору. О чем свидетельствую. Подпись: Эдвин Друд. Разрежь, пожалуйста, жаркое — я не умею.

Так, среди шуток и смеха, под веселую болтовню, начинается обед. Затем наступает молчание, пока гость и хозяин расправляются с едой. Наконец, скатерть снимают, и на стол водружается блюдо грецких орехов и графин с золотистым хересом.

— Джек,— снова заговаривает юноша,— скажи, ты правда чувствуешь, что всякое упоминание о нашем родстве мешает дружбе между нами? Я этого не чувствую.

— Видишь ли, Нэд,— отвечает хозяин,— дяди, как правило, бывают гораздо старше племянников, поэтому у меня невольно и возникает такое чувство.

— Как правило! Ну, допустим. Но если разница всего шесть-семь лет, какое это имеет значение? А в больших семьях случается даже, что дядя моложе племянника. Хорошо бы у нас с тобой так было!

— Почему хорошо?

— А я бы тогда наставлял тебя на путь истинный, и уж такой бы я был строгий и неотвязный, как сама Забота, что юноше кудри сединами убелила, а старца седого в гроб уложила. Подожди, Джек! Не пей!

— Почему?

— Ты еще спрашиваешь! Пить в день рождения Киски и без тоста за ее здоровье! Итак, за Киску, Джек, и чтобы их было еще много, много! То есть дней ее рождения, я хочу сказать.

Мистер Джаспер ласково кладет ладонь на протянутую руку юноши, как будто касается в этот миг его бесшабашной головы и беззаботного сердца, и в молчании осушает свой бокал.

— Дай бог ей здравствовать сто лет, и еще сто, и еще годик на придачу! Ура-ура-ура! А теперь, Джек, поговорим немного о Киске. Ага! Тут две пары щипцов — мне одну, тебе другую.— Крак! — Ну, Джек, так каковы ее успехи?

— В музыке? Более или менее удовлетворительны.

— До чего же ты осторожен в выражениях, Джек! Но я-то и без тебя знаю! Ленится, да? Невнимательна?

— Она все может выучить, когда хочет.

— Когда хочет! В том-то и дело! А когда не хочет?

— Крак! — Это щипцы в руках мистера Джаспера.

— А как она теперь выглядит, Джек?

Снова взгляд мистера Джаспера, обращенный к Эдвину, каким-то образом прихватывает по пути и портрет над камином.

— Точь-в-точь как на твоем рисунке.

— Да, этим произведением я горжусь,— самодовольно говорит юноша; прищурив один глаз и держа щипцы перед собой, он разглядывает портрет с видом знатока.— Для наброска по памяти очень недурно. Впрочем, не уди-

вительно, что я уловил выражение — мне так часто случалось видеть его у Киски!

— Крак! — Это Эдвин Друд.

— Крак! — Это мистер Джаспер.

— Собственно говоря,— обидчиво говорит Эдвин после краткого молчания, посвященного выковыриванию орехов из скорлупы,— собственно говоря, я его вижу всякий раз, как посещаю Киску. И если его нет на Кискином лице в начале нашего свидания, так уж оно непременно есть к концу.

— Крак! Крак! Крак! — Это мистер Джаспер, задумчиво.

— Крак! — Это Эдвин Друд, сердито.

Снова пауза.

— Что же ты молчишь, Джек?

— А ты, Нэд?

— Нет, в самом деле! Ведь в конце концов это... это...

Мистер Джаспер вопросительно поднимает свои темные брови.

— Разве это справедливо, что в таком деле я лишен выбора? Вот что я тебе скажу, Джек. Если бы я мог выбирать, я бы из всех девушек на свете выбрал только Киску.

— Но тебе не нужно выбирать.

— То-то и плохо. Чего ради моему покойному отцу и покойному отцу Киски вздумалось обручить нас чуть не в колыбели? Какого... черта, хотел я сказать, но это было бы неуважение к их памяти... Ну, в общем, не могли они, что ли, оставить нас в покое?

— Но, но, дорогой мой! — с мягким упреком останавливает его Джаспер.

— Но, но! Да, тебе хорошо говорить! Ты можешь относиться к этому спокойно! Твою жизнь не расчертили всю наперед, словно топографическую карту. Думаешь, это приятно — сознавать, что тебя силком навязали девушке, которая этого, может быть, вовсе не хочет! А ей приятно, что ли, сознавать, что ее навязали кому-то, может быть, против его желания? И что ей уж никуда больше нет ходу? Ты-то можешь сам выбирать. Для тебя жизнь, как плод прямо с дерева, а мне от излишней заботливости подали его отмытый, обтертый, без прелести и аромата... Джек, что ты?

— Ничего. Продолжай. Не останавливайся.

— Я чем-то тебя обидел, Джек?

— Чем ты можешь меня обидеть?

— Господи, Джек, да тебе дурно?.. У тебя глаза вдруг стали какие-то мутные...

Мистер Джаспер с насильственной улыбкой протягивает к нему руку — то ли чтобы его успокоить, то ли чтобы отстранить и дать себе время оправиться. Немного погодя он говорит слабым голосом:

— Я принимал опиум от болей — мучительных болей, которые иногда у меня бывают. А сейчас это последствия лекарства — вдруг станет темно-темно, словно я во мгле какой-то или в тумане... Но это пройдет; уже проходит. Не смотри на меня... скорее пройдет.

Испуганный юноша повинуется и переводит глаза на тлеющие угли в камине. Застывший взгляд мистера Джаспера по-прежнему устремлен в огонь и даже как будто становится еще острее и напряженнее; пальцы впились в подлокотники; он сидит как окоченелый; затем крупные капли пота выступают у него на лбу, и с судорожным вздохом он откидывается на спинку кресла. Племянник нежно и заботливо ухаживает за ним, пока силы к нему не возвращаются. Когда уже все прошло и Джаспер стал опять таким же, как всегда, он кладет руку на плечо Эдвина и говорит неожиданно спокойно и даже чуть насмешливо, словно подтрунивая над простодушным юношей:

— Говорят, в каждом доме есть своя тайна, скрытая от чужих глаз. А ты думал, Нэд, что в моей жизни этого нет?

— Честное слово, Джек, я и сейчас так думаю. Но, конечно, если поразмыслить, то даже в Кискином доме — если бы он у нее был — или в моем — если бы он был у меня...

— Ты, кажется, начал говорить — только я нечаянно тебя прервал — о том, какая у меня спокойная жизнь. Вдали от суеты и шума, ни хлопот, ни тревог, ни переездов с места на место — сижу в тихом уголке и занимаюсь любимым своим искусством, так что работа для меня вместе с тем удовольствие... Так, что ли?

— Я, правда, хотел сказать что-то в этом роде. Но ты, Джек, говоря о себе, поневоле многое опускаешь, что я бы

еще добавил. Например: я упомянул бы о том уважении, которым ты пользуешься здесь, как регент или канонический певчий, или как там называется твоя должность в соборе; о славе, которую ты снискал тем, что прямо чудеса делаешь с этим хором; о том независимом положении, которое ты сумел создать себе в этом смешном старом городишке; о твоем педагогическом таланте — ведь даже Киска, которая не любит учиться, говорит, что такого учителя у нее никогда еще не бывало...

— Да. Я видел, куда ты гнешь. Я все это ненавижу.

— Ненавидишь? (С крайним изумлением.)

— Ненавижу. Меня душит однообразие этой жизни. Ты слыхал пение в нашем соборе? Как ты его находишь?

— Чудесным! Божественным!

— Мне оно по временам кажется почти дьявольским. Мой собственный голос, отдаваясь под сводами, словно насмехается надо мной, словно говорит мне: вот так и будет, и сегодня, и завтра, и до конца твоих дней — все одно и то же, одно и то же... Ни один монах, когда-то денно и нощно бормотавший молитвы в этом мрачном закутке, не испытывал, наверно, такой иссушающей скуки, как я. Он хоть мог отвести душу тем, что творил демонов из дерева или камня. А мне что остается? Творить их из собственного сердца?

— А я-то думал, что ты нашел свое место в жизни,— с удивлением говорит Эдвин Друд и, подавшись вперед в своем кресле, кладет руку на колено Джаспера и сочувственно заглядывает ему в лицо.

— Я знаю, что ты так думал. Все так думают.

— Да, пожалуй,— продолжает Эдвин, как бы размышляя вслух.— Киска тоже...

— Когда она тебе это говорила?

— В мой последний приезд. Ты же помнишь, когда я здесь был. Три месяца тому назад.

— Что именно она сказала?

— Да ничего особенного — только, что начала брать у тебя уроки и что ты прямо создан быть учителем, это твое призвание.

Младший из собеседников бросает взгляд на портрет над камином. Старшему это не нужно: он видит его, не отрывая глаз от лица Эдвина.

— Ну что ж, милый мой Нэд,— говорит затем Джаспер спокойно и даже весело,— значит, надо мне покориться своему призванию. Менять уже поздно. А что там в душе, снаружи не видать. Только это, Нэд, между нами.

— Я свято сохраню твою тайну, Джек.

— Тебе я доверил ее, потому что...

— Я понимаю. Потому что мы с тобой друзья и ты любишь меня и веришь мне так же, как я люблю тебя и тебе верю. Руку, Джек. Нет, обе.

Они стоят, глядя друг другу в глаза. И, сжимая руки племянника, дядя говорит:

— Теперь ты знаешь, что даже ничтожного певчего и жалкого учителя музыки может терзать честолюбие, неудовлетворенность, какие-то стремления, мечты — не знаю уж, как это назвать...

— Да, милый Джек.

— И ты не забудешь?

— Как я могу забыть то, о чем ты говорил с таким чувством?

— Хорошо. Так пусть же это послужит тебе предостережением.

Он отпускает руки юноши и, отступив на шаг, словно пронзает его взглядом. Тот мгновение стоит молча, вдумываясь в смысл этих последних слов. Потом говорит, видимо тронутый:

— Джек, я, конечно, довольно-таки пустой, легкомысленный малый, и голова у меня не из лучших. Ну ладно, я еще молод — стану старше, может быть, поумнею. Но есть все-таки во мне что-то, способное понимать и чувствовать, и поверь, я понимаю и могу оценить, с каким бескорыстием, не щадя себя, ты обнажил передо мною свою душу для того только, чтобы предостеречь меня от грозящей мне опасности.

Мистер Джаспер вдруг весь застывает, словно каменное изваяние — даже дыхание, кажется, замерло у него в груди.

— Тебе это нелегко далось, Джек, я видел,— ты был взволнован и совсем непохож на себя. Я всегда знал, что ты привязан ко мне, но даже я не ожидал с твоей стороны такой готовности принести себя в жертву ради моего блага.

Мистер Джаспер опять становится человеком из плоти и крови — это совершается сразу, без всякого перехода — он смеется, пожимает плечами, машет рукой.

— Нет, Джек, не умаляй свое чувство; пожалуйста, не надо; я говорю от всего сердца. Я не сомневаюсь, что это болезненное состояние духа, которое ты так ярко мне описал, в самом деле очень мучительно и делает жизнь несносной. Но я хочу успокоить тебя; по-моему, мне оно не угрожает. Меньше чем через год Киска выйдет из своего пансиона и станет миссис Эдвин Друд. Я уеду на Восток — там уж готово для меня место инженера — и увезу ее с собой. Сейчас мы с ней иногда ссоримся, ну это неизбежно, потому что какой уж может быть особенный пыл в любви, если все в ней предопределено заранее. Но когда нас, наконец, обвенчают, и податься уж будет некуда, я уверен, мы с ней чудно поладим. Одним словом, Джек, как в той песенке, которую, помнишь, я несколько вольно цитировал за обедом (а кто же лучше знает старинные песни, чем ты!) — «я буду петь, жена плясать и жизнь в веселье протекать». В том, что Киска — красавица, нет сомнений, а когда она станет еще и послушной — слышите, мисс Дерзилка? — он снова обращается к наброску над камином,— тогда я сожгу этот смешной портрет и напишу для твоего учителя музыки другой!

Пока Эдвин говорит, мистер Джаспер, подпершись рукой, с задумчиво благосклонным видом смотрит на него, внимательно следя за каждым его жестом, вслушиваясь в каждую его интонацию. Даже когда Эдвин умолк, мистер Джаспер продолжает сидеть в той же позе, словно зачарованный; кажется, он не в силах оторвать взгляд от этого оживленного юношеского лица, которое так любит.

Потом он говорит с чуть заметной улыбкой:

— Значит, ты не хочешь, чтобы тебя предостерегали?

— Это не нужно, Джек.

— Значит, все мои предостережения тщетны?

— Я не хотел бы слышать их от тебя, Джек. Во-первых, никакая опасность мне не угрожает. А во-вторых, мне не нравится, что ты ставишь себя в такое положение.

— Пойдем прогуляемся по кладбищу?

— С удовольствием. Только я должен забежать на минутку в Женскую Обитель, оставить там пакетик для

Киски. Всего лишь перчатки: столько пар, сколько ей сегодня исполнилось лет. Поэтично, да?

Мистер Джаспер, все еще не меняя позы, откликается вполголоса:

— «От милого все мило», Нэд.

— Вот он, пакетик, в кармане моего пальто. Но надо передать его сегодня, а то вся поэзия пропадет. Навещать пансионерок так поздно не разрешается, но оставить пакет можно.

Мистер Джаспер встает, стряхнув с себя оцепенение, и оба выходят.

ГЛАВА III

Женская Обитель

По некоторым причинам, которые станут ясны из дальнейшего, мне придется дать этому городку со старинным собором вымышленное название. Пусть это будет хотя бы Клойстергэм. Городок этот очень древний, и, возможно, уже друиды знали его под каким-то, ныне забытым, именем; римляне дали ему другое, саксы третье, нормандцы четвертое; так что одним названием больше или меньше не составит разницы для его пыльных летописей.

Да, старинный городок этот Клойстергэм, и совсем неподходящее место для тех, кого влечет к себе шумный свет. Тихий городок, словно бы неживой, весь пропитанный запахом сырости и плесени, исходящим от склепов в подземельях под собором; да и по всему городу то тут, то там виднеются следы древних монастырских могил; так что клойстергэмские ребятишки разводят садики на останках аббатов и аббатис и лепят пирожки из праха монахов и монахинь, а пахарь на ближнем поле оказывает государственным казначеям, епископам и архиепископам те же знаки внимания, какие людоед в детской сказке намеревался оказать своему незваному гостю — а именно: «Смолоть на муку его кости и хлеба себе напечь».

Сонный городок, этот Клойстергэм: здешние жители, видимо, полагают, что раз город их такой древний, то все

перемены для него уже в прошлом и больше никаких перемен не будет. Странное, казалось бы, рассуждение, и не слишком логичное, если вспомнить историю предшествующих столетий, однако такая непоследовательность вещь не редкая, и даже в самой глубокой древности люди склонны были тешить себя подобными надеждами. Такая нерушимая тишина царит на улицах Клойстергэма (хотя малейший звук будит здесь чуткое эхо), что в летний полдень даже парусиновые навесы над окнами лавок не дерзают шелохнуться под дуновением южного ветра; а опаленный солнцем бродяга, мимоходом забредший сюда, изумленно озирается по сторонам и убыстряет шаг, торопясь выбраться за пределы этого города с его угнетающим благолепием. Сделать это нетрудно, ибо Клойстергэм, в сущности, состоит из одной-единственной улицы; по ней входят в город и по ней из него выходят; остальное всё тесные, заводящие в тупик проулки с красующимися по самой середине колодезными насосами; только два здания стоят здесь особняком — собор за высокой своей оградой да приютившийся в тенистом углу среди мощеного дворика молитвенный дом общины квакеров, по архитектуре и по окраске весьма похожий на чепчик квакерши.

Одним словом, Клойстергэм со своим хриплым соборным колоколом, со своими хриплыми грачами, реющими в вышине над соборной башней, и с другими своими грачами, еще более хриплыми, но не столь заметными, восседающими в креслах внизу в соборе — это город, который принадлежит иной, уже далекой от нас эпохе. Остатки прошлого — развалины часовни, посвященной какому-нибудь святому, здания, где заседал капитул женской обители и мужского монастыря — нелепо и уродливо вклиниваются здесь во все созданное позже; к полуразрушенным стенам пристроены новые дома, каменные обломки торчат, всему мешая, среди разросшихся вокруг садов; и точно так же в сознании многих обитателей Клойстергэма крепко угнездились обветшалые и отжившие понятия. Все здесь в прошлом. Даже единственный в городе ростовщик давно уже не выдает ссуд и только тщетно выставляет для продажи невыкупленные залоги, среди которых самое ценное — это несколько старых часов с бледными и мутными, словно раз навсегда запотевшими ци-

ферблатами да еще почерневшие и разболтанные серебряные щипчики для сахара и пять-шесть разрозненных томов, должно быть, очень мрачного содержания. Единственное, что здесь радует глаз, как свидетельство победоносной и буйной жизни, это клойстергэмские сады; их много, и они процветают; даже влачащий жалкое существование местный театр имеет у себя на задах крохотный садик; и когда Сатана по ходу действия проваливается со сцены в преисподнюю, он находит приют на этом мирном клочке земли — под сенью красных бобов или на куче устричных раковин, смотря по сезону.

В самом центре Клойстергэма находится Женская Обитель — старый-престарый кирпичный дом, в котором, говорят, некогда жили монахини, откуда и пошло его название. На тяжелых дверях прибита старательно начищенная медная дощечка с надписью: «Пансион мисс Твинклтон для молодых девиц». Фасад у этого дома такой старый и облупленный, а медная дощечка сияет так ярко, что все вместе приводит на память дряхлого щеголя с новеньким блестящим моноклем в слепом глазу.

Возможно, что монахини былых времен, более смирные нравом, чем нынешнее упрямое поколение, в самом деле когда-то проходили неслышной поступью по коридорам этого дома, покорно склоняя свои отягченные думой головы, дабы избежать столкновения с низко нависшими потолочными балками; возможно, что они сиживали здесь в глубоких амбразурах окон, перебирая четки ради умерщвления плоти, вместо того чтобы сделать себе из них бусы для украшения своей юности; возможно даже, что две или три были замурованы живыми в стенных нишах или под каменным выступом фронтона за то, что в их жилах бродила еще та самая закваска, с помощью которой хлопотливая Мать-Природа доныне поддерживает жизнь на земле,— все это возможно, но кому до этого дело? Разве только привидениям (если таковые здесь водятся), а в полугодовых балансах мисс Твинклтон мы не найдем упоминания об этих древних обитательницах ее дома, ибо их нельзя включить ни в одну статью дохода — ни как полных пансионерок, ни как приходящих. И у той дамы, что за скромную (а точнее сказать, мизерную) плату просвещает воспитанниц по части поэзии, в списке избранных

стихотворений нет ни одного, в котором затрагивалась бы столь бесприбыльная тема.

Известно, что у человека, который часто напивался пьян или неоднократно подвергался гипнозу, возникают в конце концов два разных сознания, не сообщающихся между собой,— как если бы каждое существовало отдельно и было непрерывным, а не сменялось по временам другим (так, например, если я спрятал часы, когда был пьян, в трезвом виде я не знаю, где они спрятаны, и узнаю, только когда опять напьюсь); так и жизнь мисс Твинклтон протекает как бы в двух раздельных планах или двух фазах существования. Каждый вечер, как только молодые девицы отойдут ко сну, мисс Твинклтон подкручивает свои локоны, слегка подводит глаза и превращается в совсем другую мисс Твинклтон, гораздо более легкомысленную и совершенно незнакомую ее пансионеркам. Каждый вечер, в один и тот же час, мисс Твинклтон возобновляет прерванную накануне беседу, посвященную местным любовным историям (о коих днем мисс Твинклтон даже не подозревает) и воспоминаниям об одном счастливом лете, проведенном мисс Твинклтон на курорте Тенбридж Уэллс,— именно о том лете, когда некий безупречный джентльмен (которого мисс Твинклтон в этой фазе своего существования сострадательно именует — «этот безумец, мистер Портерс») поверг к ее ногам свое сердце (опять-таки факт, о котором дневная мисс Твинклтон имеет не больше понятия, чем гранитная колонна). Собеседницей мисс Твинклтон в обеих фазах ее существования является некая миссис Тишер — вдова с вкрадчивыми манерами и приглушенным голосом, с наклонностью испускать вздохи и жаловаться на боли в пояснице; эта почтенная дама, сумевшая равно приспособиться как к дневной, так и к ночной мисс Твинклтон, занимает в ее пансионе должность кастелянши, но старается внушить молодым девицам, что знавала лучшие дни. Вероятно, эти туманные намеки и породили господствующее среди служанок и передаваемое ими из уст в уста убеждение, что покойный мистер Тишер был парикмахером.

В пансионе есть общая любимица — мисс Роза Буттон, которую все, конечно, зовут Розовый Бутон — очень хорошенькая, очень юная и очень своенравная. Молодые де-

вицы питают к ней живейший интерес, ибо им известно, что по воле родителей, должным образом записанной в завещании, для нее уже избран супруг, и опекун Розы обязан, так сказать, из рук в руки передать ее этому будущему супругу, когда тот достигнет совершеннолетия. Подобные романтические настроения среди воспитанниц не встречают сочувствия со стороны мисс Твинклтон в дневной фазе ее существования, и она уже не раз пыталась их умерить, сокрушенно покачивая головой за спиной мисс Розы — очень хорошенькой стройной спинкой — и всем своим видом показывая, что глубоко сожалеет о печальной участи обреченной жертвы. Но результат ее поучений всегда был столь ничтожен — быть может, незримое вмешательство «этого безумца, мистера Портерса» лишало их убежденности,— что вечером в спальнях девицы единодушно постановляли: «До чего же противная притворяшка эта старая мисс Твинклтон!»

Всякий раз как этот предназначенный супруг наносит очередной визит Розовому Бутончику, вся Женская Обитель приходит в волнение. (Девицы твердо убеждены, что он по закону имеет неоспоримое право на свидания с Розой, и если бы мисс Твинклтон вздумала ему препятствовать, ее бы немедленно арестовали и выслали в колонии.) В тот час, когда ожидают его звонка у ворот, и тем более в ту минуту, когда звонок раздается, все молодые девицы, которые могут под каким-нибудь предлогом выглянуть в окошко, уже висят на подоконниках; а те, которые играют на фортепиано, сбиваются с такта; а на уроке французского языка штрафной значок «за невнимание» переходит из рук в руки, словно круговая чаша во время пирушки.

На другой день после того как в домике над соборными воротами происходил описанный выше обед с двумя участниками, у дверей Женской Обители раздается звонок, как всегда порождая внутри смятение.

— Мистер Эдвин Друд к мисс Розе,— докладывает старшая горничная. Мисс Твинклтон, приняв назидательно-скорбный вид, обращается к юной жертве со словами: «Вы можете сойти вниз, дорогая». Мисс Буттон направляется

к лестнице, провожаемая горящими любопытством взглядами.

Мистер Эдвин Друд дожидается в собственной гостиной мисс Твинклтон. Это уютная комнатка, в которой ничто не говорит о науке, кроме двух глобусов, один из коих изображает землю, а другой — небесный свод. Эти выразительные приборы должны внушать родителям и опекунам убеждение, что мисс Твинклтон даже в часы отдыха готова в любой момент превратиться в некое подобие Вечного Жида и блуждать по земному шару или возноситься в небеса в поисках полезных знаний для своих воспитанниц.

Младшая горничная, недавно поступившая на место и еще не видавшая молодого джентльмена, с которым помолвлена мисс Роза, пытается теперь ознакомиться с ним сквозь щелку неплотно притворенной двери. Заслышав шаги, она отскакивает с виноватым видом и торопливо сбегает по черной лестнице как раз в ту минуту, когда прелестное видение с наброшенным на голову шелковым фартучком проскальзывает в гостиную.

— Господи, как глупо! — произносит видение, останавливаясь и отступая на шаг назад.— Пожалуйста, не делай этого, Эдди!

— Не делать чего, Роза?

— Не подходи ко мне близко. Это так нелепо!

— Что нелепо, Роза?

— Все! Нелепо, что я обручена чуть не с колыбели; нелепо, что девицы и служанки всюду шнырят за мной, словно мыши под обоями; а всего нелепей, что ты пришел!

Судя по голосу, видение в эту минуту держит пальчик во рту.

— Ты что-то не очень любезно встречаешь меня, Киска!

— Подожди минутку, я буду любезней, только сейчас еще не могу. Как ты себя чувствуешь? (Это сказано очень сухо.)

— Я лишен возможности ответить, что всегда чувствую себя хорошо, когда тебя вижу, поскольку в данную минуту я тебя не вижу.

В ответ на этот вторичный упрек из-под фартучка на мгновение выглядывает блестящий черный глаз с капризно

насупленной бровкой, но он тут же скрывается, и безликое видение восклицает:

— Ах, боже мой, ты остригся! Половину волос отрезал!

— Кажется, я бы лучше сделал, если бы голову себе отрезал,— говорит Эдвин, ероша помянутые волосы, с досадливым взглядом в сторону зеркала, и нетерпеливо топает ногой.— Что мне, уйти?

— Нет, пока еще не надо, Эдди. А то девицы станут спрашивать, почему ты ушел.

— Слушай, Роза, скажи, наконец,— намерена ты снять эту тряпку со своей взбалмошной головки и поздороваться со мной как следует?

Фартучек падает, из-под него появляется на свет прелестное детское личико, и обладательница его говорит:

— Здравствуй, Эдди, как поживаешь? Ну? Кажется, это достаточно любезно? Дай я пожму тебе руку. А поцеловать не могу, потому что у меня во рту леденец.

— Ты совсем не рада меня видеть, Киска?

— Ах нет, я ужасно рада. Пойди скорее сядь — мисс Твинклтон!

Эта почтенная дама имеет обычай во время свиданий жениха с невестой через каждые три минуты наведываться в гостиную, либо собственной персоной, либо в лице миссис Тишер: совершая эти жертвоприношения на алтарь Приличий, она всегда делает вид, что ищет какую-то забытую здесь вещь. На сей раз она грациозно проплывает взад и вперед по гостиной, роняя на ходу:

— Здравствуйте, мистер Друд. Очень приятно. Извините за беспокойство. А, вот где мой пинцет. Благодарю вас.

— Я получила вчера перчатки, Эдди. Они мне очень понравились. Просто душки!

— Ну и то хорошо,— смягчаясь, но еще несколько ворчливо отвечает жених.— Я человек скромный и благодарен за малейшее поощрение. А как ты провела свой день рождения, Киска?

— Чудно! Все мне что-нибудь дарили. И у нас было угощение. А вечером бал.

— Вот как. Угощение, а вечером бал. И ты не огорчалась моим отсутствием? Тебе и без меня было весело?

— Ах, очень! — с наивной непосредственностью восклицает Роза; ей и в голову не приходит хотя бы из вежливости выразить сожаление.

— Гм! А какое было угощение?

— Пирожное, апельсины, желе и креветки.

— А кавалеры были на балу?

— Мы, разумеется, танцевали друг с дружкой, сэр. Но некоторые девицы изображали своих братьев. Ах, как было смешно!

— А кто-нибудь изображал...

— Тебя? Ну, конечно! — Роза звонко хохочет.— Уж об этом-то они раньше всего подумали!

— Надеюсь, она хорошо играла свою роль,— с некоторым сомнением говорит Эдвин.

— Чудно! Замечательно! Я, конечно, ни за что не хотела танцевать с тобой.

Эдвин отказывается понять неизбежность этого факта и спрашивает, не будет ли Роза так добра объяснить, почему?

— Ну, потому что ты мне ужас как надоел,— быстро отвечает Роза, но, видя выражение обиды на его лице, тотчас умиротворяюще добавляет:— Эдди, милый, я ведь тебе тоже ужас как надоела.

— Разве я когда-нибудь это говорил?

— Говорил! Нет, ты никогда не говорил, только показывал. Ах, как она хорошо это изобразила! — восклицает Роза, снова приходя в восторг от сценических талантов своего поддельного жениха.

— Насколько я понимаю, эта девица большая нахалка,— говорит Эдвин Друд.— Итак, Киска, ты в последний раз встречала свой день рождения в этом старом доме.

— Ах!.. Да!.. — со вздохом откликается Роза и, сложив ручки и потупив глаза, грустно покачивает головой.

— Ты как будто об этом жалеешь, Роза?

— А мне и правда жаль... Жаль этот бедный старый дом... Мне все кажется — он будет скучать по мне, когда я уеду так далеко... такая молодая...

— Роза! Так, может, нам отставить все это дело?

Она кидает на него быстрый, проницательный взгляд; потом снова качает головой, вздыхает и потупляет глаза.

— Как это понимать, Киска? Что мы оба должны смириться?

Она опять кивает, молчит минуту и вдруг выпаливает:

— Ты же сам знаешь, Эдди, что мы *должны* пожениться и свадьба должна быть здесь, а то девицы будут так разочарованы!

Лицо ее жениха выражает в эту минуту не столько любовь, сколько жалость и к ней и к себе. Потом он заставляет себя улыбнуться и говорит:

— Хочешь, пойдем погуляем, милая Роза?

Милая Роза не знает, хочет она этого или нет; но вдруг ее личико светлеет, утрачивая столь несвойственное ей и потому несколько комическое выражение озабоченности, и она с живостью говорит:

— Хорошо, Эдди, пойдем! И знаешь что? Ты притворись, будто помолвлен с другой, а я притворюсь, будто ни с кем не помолвлена, тогда мы не будем ссориться.

— Ты думаешь, это поможет, Роза?

— Поможет, поможет, я знаю! Т-ссс! Сделай вид, что смотришь в окно — миссис Тишер!..

Миссис Тишер, которой, по случайному совпадению, именно в эту минуту что-то понадобилось в гостиной, величаво делает тур по комнате, сопровождаемая зловещим шелестом, подобно легендарному призраку старой герцогини в шелковых юбках.

— Надеюсь, вы здоровы, мистер Друд, впрочем, незачем и спрашивать, довольно посмотреть на вас. Не хотелось бы вас беспокоить, но тут был ножик для разрезания бумаги... Ах, вот, благодарю вас!..— И она исчезает со своей добычей.

— И еще одно, пожалуйста, сделай для меня, Эдди,— говорит Роза.— Когда мы выйдем на улицу, я пойду по наружной стороне тротуара, а ты иди у самой стены дома — прямо-таки прижмись к ней, прилипни!

— Охотно, Роза, если это доставит тебе удовольствие. Но можно спросить, почему?

— Ну потому, что я не хочу, чтобы девицы тебя видели.

— Гм! Сегодня, правда, хорошая погода, но, может быть, мне раскрыть над собой зонтик?

— Не говорите глупостей, сэр.— И, передернув плечиком, она капризно добавляет: — Ты сегодня не в лаковых туфлях.

— А может быть, твои девицы этого не заметят, даже если увидят меня? — спрашивает Эдвин, с внезапным отвращением поглядывая на свои туфли.

— Они все замечают, сэр. И тогда я знаю, что будет. Сейчас же какая-нибудь постарается меня уколоть — они ведь очень дерзкие! — скажет, что ни за что не обручилась бы с человеком, который не носит лаковых туфель. Берегись! Мисс Твинклтон. Я сейчас попрошу у нее разрешения.

Голос этой тактичной дамы уже слышен в коридоре, где она непринужденно светским тоном осведомляется у несуществующего собеседника: «Ах да? Вы в самом деле видели мою перламутровую коробочку для пуговиц на рабочем столике в моей гостиной?»

Она милостиво дает разрешение на прогулку, и юная пара покидает Женскую Обитель, приняв все необходимые меры для сокрытия от глаз молодых девиц столь существенного изъяна в обуви мистера Эдвина Друда и для восстановления душевного спокойствия будущей миссис Эдвин Друд.

— Куда мы пойдем, Роза?

Роза отвечает:

— Сперва в лавочку, где продают рахат-лукум.

— Рахат что?..

— Рахат-лукум. Это турецкие сладости, сэр. Да ты, я вижу, совсем необразованный. Какой же ты инженер, если даже этого не знаешь?

— Почему я должен знать про какой-то рахат-лукум?

— Потому что я его очень люблю. Ах да, я забыла, ты ведь обручен с другой. Ну тогда можешь не знать, ты не обязан.

Помрачневшего Эдвина ведут в лавочку, где Роза совершает свою покупку и, предложив Эдвину отведать рахат-лукума (что он возмущенно отвергает), сама принимается с видимым наслаждением угощаться; предварительно сняв и скатав в комочек пару крохотных розовых перчаток, похожих на розовые лепестки, и время от времени поднося к румяным губкам свои крохотные розовые

пальчики, и облизывая сахарную пудру, попавшую на них от соприкосновения с рахат-лукумом.

— Ну, Эдди, будь же паинькой, давай разговаривать. Так, значит, ты обручен?

— Значит, обручен.

— Она хороша собой?

— Очаровательна.

— Высокая?

— Очень высокая. (Роза маленького роста.)

— Ага, значит, долговязая, как цапля,— кротким голоском вставляет Роза.

— Извините, ничего подобного.— Дух противоречия пробуждается в Эдвине.— Она то, что называется видная женщина. Тип классической красоты.

— С большим носом? — невозмутимо уточняет Роза.

— Да уж, конечно, не с маленьким,— следует быстрый ответ. (У Розы носик совсем крохотный.)

— Ну да, длинный бледный нос с красной шишечкой на конце. Знаю я эти носы,— говорит Роза, удовлетворенно кивая и продолжая безмятежно лакомиться рахат-лукумом.

— Нет, ты не знаешь этих носов,— возражает ее собеседник с некоторым жаром.— У нее нос совсем не такой.

— Он не бледный?

— Нет.— В голосе Эдвина звучит твердое намерение ни с чем не соглашаться.

— Значит, красный? Фу, я не люблю красных носов. Правда, она может его припудрить.

— Она никогда не пудрится.— Эдвин все более разгорячается.

— Никогда не пудрится? Вот глупая! Скажи, она и во всем такая же глупая?

— Нет. Ни в чем.

После молчания, во время которого лукавый черный глазок искоса следит за Эдвином, Роза говорит:

— И эта примерная девица, конечно, очень довольна, что ее увезут в Египет? Да, Эдди?

— Она проявляет разумный интерес к достижениям инженерного искусства, в особенности когда оно призвано в корне перестроить всю жизнь малоразвитой страны.

— Да неужели! — Роза пожимает плечиками со смешком, выражающим крайнее изумление.

— Скажи, пожалуйста, Роза,— осведомляется Эдвин, величественно опуская взор к воздушной фигурке, скользящей рядом с ним,— скажи, пожалуйста, ты имеешь какие-нибудь возражения против того, что она питает подобный интерес?

— Возражения? Милый мой Эдди! Но ведь она же наверно ненавидит котлы и всякое такое?

— Она не такая идиотка, чтобы ненавидеть котлы, за это я ручаюсь,— уже с сердцем отвечает Эдвин.— Что же касается ее взглядов на «всякое такое», то тут я ничего не могу сказать, так как не понимаю, что это значит.

— Ну там... арабы, турки, феллахи... она их ненавидит, да?

— Нет. Даже и не думает.

— Ну, а пирамиды? Уж их-то она наверняка ненавидит? Сознайся, Эдди!

— Не понимаю, почему она должна быть такой маленькой... нет, большой — дурочкой и ненавидеть пирамиды?

— Ох, ты бы послушал, как мисс Твинклтон про них долдонит,— Роза кивает головкой, по-прежнему с упоением смакуя осыпанные сахарной пудрой липкие комочки,— тогда бы ты не спрашивал! А что в них интересного, просто старые кладбища! Всякие там Изиды и абсиды, Аммоны и фараоны! Кому они нужны? А то еще был там Бельцони *, или как его звали,— его за ноги вытащили из пирамиды, где он чуть не задохся от пыли и летучих мышей. У нас все девицы говорят, так ему и надо, и пусть бы ему было еще хуже, и жаль, что он совсем там не удушился!

Юноша и девушка скучливо бродят по аллеям в ограде собора — они идут рядом, но уже не под руку,— и время от времени то он, то она останавливается и рассеянно ворошит ногой опавшие листья.

— Ну! — говорит Эдвин после долгого молчания.— Как всегда. Ничего у нас с тобой не получается, Роза.

Роза вскидывает головку и говорит, что и не хочет, чтобы получалось.

— А вот это уж нехорошо, Роза, особенно если принять во внимание...

— Что принять во внимание?

— Если я скажу, ты опять рассердишься.

— Я вовсе не сердилась, это ты сердился. Не будь несправедливым, Эдди.

— Несправедливым! Я! Это мне нравится!

— Ну, а мне это не нравится, и я так прямо тебе и говорю.— Роза обиженно надувает губки.

— Но послушай, Роза, рассуди сама! Ты только что пренебрежительно отзывалась о моей профессии, о моем месте назначения...

— А ты разве собираешься захорониться в пирамидах? — перебивает Роза, удивленно выгибая свои тонкие брови.— Ты мне никогда не говорил. Если собираешься, надо было меня предупредить. Я не могу знать твоих намерений.

— Ну полно, Роза, ты же отлично понимаешь, что я хотел сказать.

— А в таком случае, зачем ты приплел сюда свою противную красноносую великаншу? И она будет, будет, будет пудрить себе нос! — запальчиво кричит Роза в комической вспышке упрямства.

— Почему-то в наших спорах я всегда оказываюсь неправым,— смиряясь, говорит со вздохом Эдвин.

— А как ты можешь оказаться правым, если ты всегда не прав? А что до этого Бельцони, так он, кажется, уже умер — надеюсь, во всяком случае, что умер,— и я не понимаю, какая тебе обида в том, что его тащили за ноги и что он задохся?

— Пожалуй, нам уже пора возвращаться, Роза. Не очень приятная вышла у нас прогулка, а?

— Приятная?.. Ужасная, отвратительная! И если я, как только вернусь, сейчас же убегу наверх и буду плакать, плакать, плакать, так что и на урок танцев не смогу выйти, так это будет твоя вина, имей в виду!

— Роза, милая! Ну разве мы не можем быть друзьями?

— Ах! — восклицает Роза, тряся головой и в самом деле уже заливаясь слезами.— Если б мы могли быть просто друзьями! Но нам нельзя — и от этого все у нас не ладится. Эдди, я еще так молода, за что мне такое большое горе?.. Иногда у меня бывает так тяжело на сердце!

Не сердись, я знаю, что и тебе не легко. Насколько было бы лучше, если б мы не обязаны были пожениться, а только могли бы, если б захотели! Я сейчас говорю серьезно, я не дразню тебя. Попробуем хоть на этот раз быть терпеливыми, простим друг другу, если кто в чем виноват!

Обезоруженный этим проблеском женских чувств в избалованном ребенке — хотя и слегка задетый заключенным в ее словах напоминанием о том, что он насильственно ей навязан,— Эдвин молча смотрит, как она плачет и рыдает, обеими руками прижимая платок к лицу; потом она немного успокаивается; потом, изменчивая, как дитя, уже смеется над собственной чувствительностью. Тогда Эдвин берет ее под руку и ведет к ближайшей скамейке под вязами.

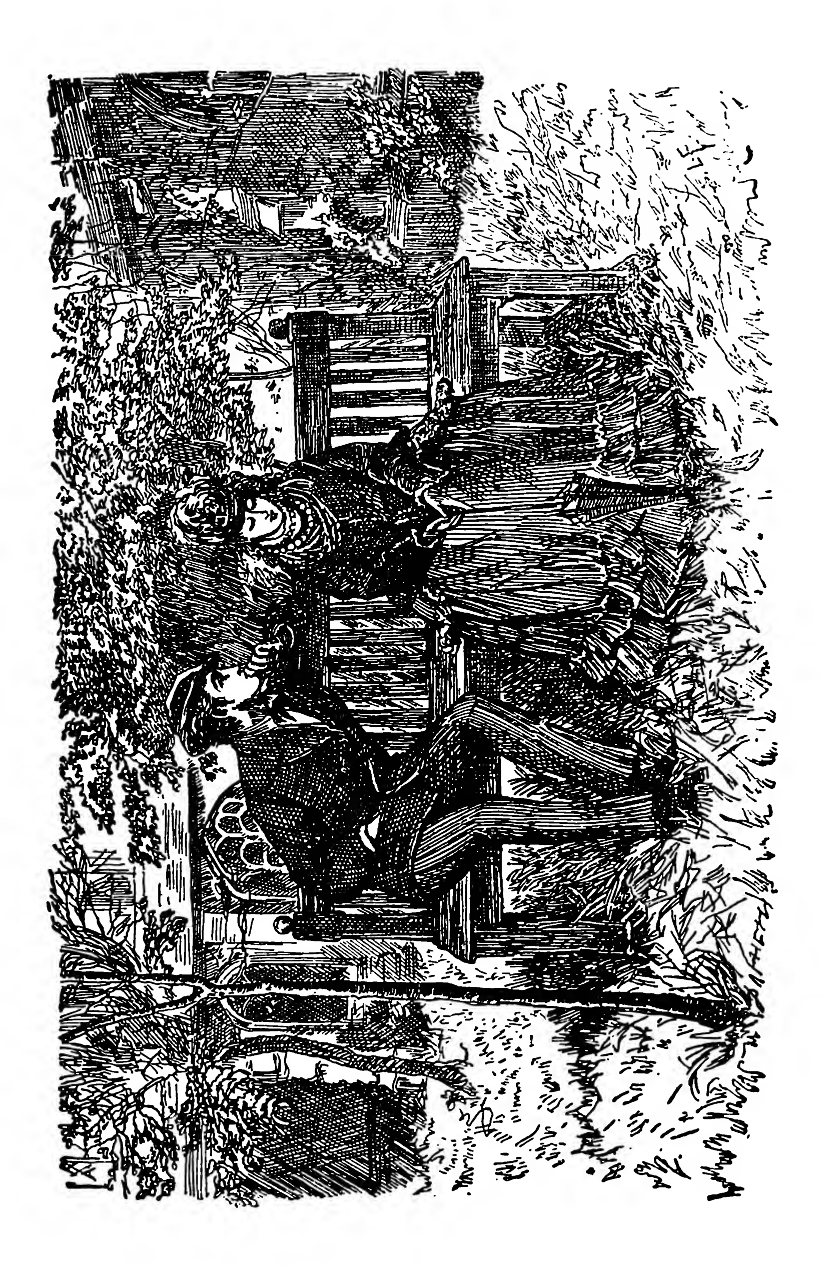
— Милая Киска! Давай поговорим по душам. Я мало что знаю, кроме своего инженерного дела — да и в нем-то, может, не бог знает как сведущ,— но я всегда стараюсь поступать по совести. Скажи мне, Киска: нет ли кого-нибудь... ведь это может быть... право, не знаю, как и приступиться к тому, что я хочу сказать... Но я должен, прежде чем мы расстанемся... одним словом, нет ли какого-нибудь другого молодого...

— Нет, Эдди, нет! Это очень великодушно с твоей стороны, что ты спрашиваешь, но — нет, нет, нет!

Скамейка, на которую они сели, находится под самыми окнами собора, и в это мгновение широкая волна звуков — орган и хор — проносится над их головами. Оба сидят и слушают, как растет и вздымается торжественный напев; в памяти Эдвина вновь оживают признания, услышанные им прошлой ночью, и он сызнова удивляется: как мало общего между этой музыкой и мучительным разладом в душе того человека!

— Мне кажется, я различаю голос Джека,— тихо говорит он в связи с промелькнувшими в его голове мыслями.

— Эдди! Уведи меня отсюда! — вдруг умоляюще говорит Роза, и быстрым, легким движением касается его руки.— Они все сейчас выйдут,— уйдем скорее! О, как гремит этот аккорд! Но не надо слушать, уйдем! Скорей, скорей!



Ее торопливость ослабевает, как только они оказываются за оградой собора. Теперь они идут под руку, размеренно и степенно, вдоль по Главной улице к Женской Обители. У ворот Эдвин оглядывается — улица пуста — и наклоняется к Розовому Бутончику.

Но она отстраняется, смеясь,— и сейчас она опять лишь дитя, беззаботная школьница.

— Нет, Эдди! Меня нельзя целовать, я слишком липкая! Но дай руку, я надышу тебе в нее поцелуй!

Он протягивает ей руку. Она подносит ее к губам — легкое дыхание касается его сложенных горсткой пальцев; потом, все еще держа его руку, она пытливо заглядывает ему в ладонь.

— Ну, Эдди, скажи, что ты там видишь?

— Что я могу увидеть, Роза?

— А я думала, вы, египтяне, умеете гадать по руке — только посмотрите на ладонь и сразу видите все, что будет с человеком. Ты не видишь там нашего счастливого будущего?

Счастливое будущее? Быть может! Но достоверно одно: что настоящее никому из них не кажется счастливым в тот момент, когда растворяются и снова затворяются тяжелые двери, и она исчезает в доме, а он медленно уходит прочь.

ГЛАВА IV

Мистер Сапси

Если согласиться с общепринятым взглядом на осла, как на воплощение самодовольной тупости и чванства,— взглядом, скорее традиционным, чем справедливым, как и многие другие наши взгляды,— то самый отъявленный осел во всем Клойстергэме это, без сомнения, тамошний аукционист, мистер Томас Сапси.

Мистер Сапси подражает в одежде настоятелю; и ему иной раз кланялись по ошибке на улице, принимая его за настоятеля; и даже, случалось, величали его «ваше преосвященство», в уверенности, что это сам епископ, нежданно прибывший в Клойстергэм без своего капеллана.

Всем этим мистер Сапси очень гордится, равно как и своим голосом и своими манерами. Он даже пытался (продавая с аукциона земельную собственность) возглашать цены этак слегка нараспев, чтобы еще больше походить на духовное лицо. А когда мистер Сапси со своего возвышения объявляет о закрытии торгов, он всегда при этом воздевает вверх руки, словно бы благословляя собравшихся маклеров, и проделывает это так эффектно, что куда уж до него нашему скромному и благовоспитанному настоятелю.

У мистера Сапси много поклонников. Да что там — подавляющее большинство клойстергэмцев, включая и неверующих в его мудрость, подтвердят, если их спросить, что мистер Сапси является украшением их родного города. Он обладает многими способствующими популярности качествами: он напыщен и глуп; говорит плавно, с оттяжечкой; ходит важно, с развальцем; а при разговоре все время делает плавные округлые жесты, словно собирается совершить конфирмацию над своим собеседником. Лет ему за пятьдесят, а пожалуй, ближе к шестидесяти; у него круглое брюшко, отчего по жилету разбегаются поперечные морщинки; по слухам он богат; на выборах всегда голосует за кандидата, представляющего интересы состоятельных и респектабельных кругов; и, кроме того, он непоколебимо уверен, что с тех пор как он был ребенком, только он один вырос и стал взрослым, а все прочие и доныне несовершеннолетние; так чем же может быть эта набитая трухой голова, как не украшением Клойстергэма и местного общества?

Мистер Сапси проживает в собственном доме, на Главной улице против Женской Обители. Дом этот относится к той же эпохе, что и Женская Обитель, и лишь кое-где был впоследствии переделан на более современный лад — по мере того как неуклонно вырождающиеся поколения стали воздух и свет предпочитать чуме и тифозной горячке. Над входной дверью красуется вырезанная из дерева человеческая фигура вполовину натуральной величины, долженствующая изображать отца мистера Сапси в тоге и завитом парике, занятого продажей с аукциона. Смелость замысла и естественное положение мизинца и молотка на столике неоднократно вызывали восхищение зрителей.

В данную минуту мистер Сапси восседает в своей унылой гостиной, выходящей окнами на мощеный задний двор: дальше виден сад, отделенный изгородью. В камине пылает огонь, что, пожалуй, еще слишком рано по времени года, но очень приятно в такой прохладный осенний вечер; мистер Сапси может позволить себе подобную роскошь. На столе перед камином стоит бутылка портвейна, а вокруг по стенам расположились характерные для мистера Сапси предметы: его собственный портрет, часы с восьмидневным заводом и барометр. Они характерны для мистера Сапси потому, что себя он противополагает всему остальному человечеству, свой барометр — погоде, и свои часы — времени.

Сбоку от мистера Сапси находится конторка с письменными принадлежностями и на ней исписанный лист бумаги. Мистер Сапси поглядывает на этот лист и с горделивым видом читает про себя написанное; затем встает и, запустив большие пальцы в проймы жилета, неторопливо прохаживается по комнате и повторяет то же самое вслух — с большим достоинством, но вполголоса, так что разобрать можно лишь слово «Этелинда».

На том же столе у камина выстроились в ряд на подносе три чистых стаканчика. Входит горничная и докладывает: «Мистер Джаспер, сэр».— «Просите»,— ответствует мистер Сапси, помавая рукой, и выдвигает два стаканчика из шеренги как двух рекрутов, призванных к исполнению службы.

— Рад вас видеть, сэр. Благодарю за честь, которую вы мне оказали, впервые посетив меня. Весьма польщен.— Так мистер Сапси выполняет свои обязанности гостеприимного хозяина.

— Вы очень любезны. Но это я должен быть польщен и благодарить вас за честь.

— Вам угодно так думать, сэр. Но уверяю вас, для меня большое удовольствие принимать вас в моем скромном жилище. Я не всякому это скажу.— Надо слышать, с какой неизъяснимо величественной интонацией мистер Сапси произносит эти слова: он как бы говорит своему собеседнику: «Вам, конечно, трудно поверить, что мне может доставить удовольствие общество такой мелкой сошки, как вы. Тем не менее это так».

— Я давно желал познакомиться с вами, мистер Сапси.

— А я давно слышал о вас, сэр, как о человеке со вкусом. Разрешите вам налить. Выпьем за то,— говорит мистер Сапси, наполняя собственный стакан,— чтобы

Французам, если они нас атакуют,
В Дувре мы устроили встречу лихую!

Этот патриотический тост был в ходу во времена детства мистера Сапси, и, стало быть, по убеждению этого достойного мужа, должен быть пригоден и для всех последующих эпох.

— Вы не станете отрицать, мистер Сапси,— с улыбкой говорит Джаспер, глядя, как аукционист с комфортом располагается перед камином,— что вы знаете свет.

— Да что ж, сэр,— отвечает тот, самодовольно посмеиваясь,— пожалуй, немножко знаю. Немножко знаю.

— Ваша репутация в этом отношении всегда интересовала меня, и удивляла, и побуждала искать вашего знакомства. Клойстергэм ведь такое захолустье. И если сидеть тут безвыездно, как я, например, так откуда, казалось бы, взяться знанию света?

— Я, правда, не бывал в чужих краях, молодой человек,— начинает мистер Сапси и тут же останавливается.— Вы не обижаетесь, мистер Джаспер, что я вас зову «молодой человек»? Вы ведь намного моложе меня.

— Пожалуйста!

— Я, правда, не бывал в чужих краях, молодой человек, но чужие края сами приходили ко мне. Они приходили ко мне в связи с моей профессией, и я не упускал случая расширить свои знания. Положим, я составляю опись имущества или каталог. Передо мною французские часы. Я никогда их раньше не видал, но я тотчас кладу на них палец и говорю: «Париж!» Или попадаются мне несколько китайских чашек и блюдец, тоже доселе мною невиданных. Я тут же кладу на них палец и говорю: «Пекин, Нанкин и Кантон!» То же самое с Японией, с Египтом, с бамбуком и сандаловым деревом из Ост-Индии — я на всех на них кладу палец. Мне случалось класть его даже на Северный полюс и говорить: «Эскимосская острога, куплена за полпинты дешевого хереса!»

— Вот как! Очень интересный способ приобретать знания о вещах и людях.

— Я это рассказываю вам, сэр,— поясняет мистер Сапси с неописуемым самодовольством,— потому что, как я всегда говорю, мало гордиться своими знаниями; ты покажи, как их достиг, тогда тебе поверят!

— Очень интересно. Но вы хотели поговорить о покойной миссис Сапси.

— Хотел, сэр.— Мистер Сапси снова наполняет стаканы, а бутылку отставляет подальше.— Но прежде чем я спрошу у вас совета, как у человека со вкусом, относительно вот этого пустячка,— мистер Сапси поднимает в воздух исписанный лист бумаги — ибо это, конечно, пустячок, однако и он потребовал некоторого размышления, сэр, я бы сказал, вдохновенной работы ума,— может быть, мне следовало бы сперва описать вам характер покойной миссис Сапси, скончавшейся за девять месяцев до настоящего дня.

Мистер Джаспер, только что раскрывший рот, чтобы сладко зевнуть под прикрытием своего стакана, отнимает этот экран и старается придать своему лицу выражение внимания и интереса. Это плохо ему удается, так как подавленный зевок распирает ему челюсти и вызывает на глазах слезы.

— Лет шесть тому назад,— продолжает мистер Сапси,— когда я уже развил свой ум, не скажу, до нынешнего его уровня,— это значило бы метить слишком высоко,— но, во всяком случае, до того состояния, при котором возникает потребность растворить в себе другой ум, я стал искать женщину, достойную стать спутницей моей жизни. Ибо, как я всегда говорю, нехорошо человеку быть одному.

Мистер Джаспер, по-видимому, старается запечатлеть в памяти это оригинальное изречение.

— Мисс Бробити в то время содержала на другом конце города учреждение, не скажу, соперничавшее с Женской Обителью, но родственное ей по целям и задачам. Люди говорили, что она со страстным увлечением присутствовала на всех моих аукционах, если они происходили в ее свободные дни или во время вакаций. Люди утверждали, что она восхищалась моими манерами и моим крас-

норечием. Люди отмечали, что с течением времени многие привычные для меня обороты речи стали проскальзывать в диктантах ее учениц. Молодой человек, ходил даже слух, порожденный тайной злобой, что некий скудоумный и невежественный грубиян (отец одной из воспитанниц) вздумал публично против этого протестовать. Но я этому не верю. Мыслимо ли, чтобы человек, не вовсе лишенный рассудка, решился по доброй воле пригвоздить себя к позорному столбу?

Мистер Джаспер трясет головой. Конечно, это немыслимо. Мистер Сапси, которого собственное велеречие привело в какое-то самозабвение, пытается наполнить стакан своего гостя (и без того полный), затем наполняет свой, уже опустевший.

— Все существо мисс Бробити, молодой человек, было проникнуто преклонением перед Умом. Она боготворила Ум, направленный или лучше сказать устремленный к широкому познанию мира. Когда я сделал ей предложение, она оказала мне честь быть столь потрясенной некиим благоговейным страхом, что могла вымолвить лишь два слова: «О ты!» — подразумевая меня. Подняв ко мне свои чистые лазурные очи, стиснув на груди прозрачные пальцы, с залитым бледностью орлиным профилем, она не в силах была продолжать, хотя и была к тому мною поощряема. Я ликвидировал родственное учреждение при помощи частного контракта, и мы стали единым существом, насколько это было возможно при данных обстоятельствах. Но и впоследствии она никогда не могла найти выражений, удовлетворительно передающих ее, быть может, слишком лестную оценку моего интеллекта. До самой ее кончины (последовавшей от слабости печени), ее обращение ко мне сохраняло ту же незавершенную форму.

К концу своей речи мистер Сапси все более понижал голос, и веки его слушателя все более тяжелели, глаза слипались. Но теперь мистер Джаспер внезапно раскрывает глаза и в тон элегическому распеву в голосе мистера Сапси говорит: «Э-эк!..», тут же обрывая, как будто хотел сказать: «Э-экая чушь!..», но вовремя удержался.

— С тех пор,— продолжает мистер Сапси, вытягивая ноги к огню и в полной мере наслаждаясь портвейном и теплом от камина,— с тех пор я пребываю в том горе-

стном положении, в котором вы меня видите; с тех пор я безутешный вдовец; с тех пор лишь пустынный воздух внемлет моей вечерней беседе. Мне не в чем себя упрекнуть, но временами я задаю себе вопрос: что, если бы ее супруг был ближе к ней по умственному уровню? Если бы ей не приходилось всегда взирать на него снизу вверх? Быть может, это оказало бы укрепляющее действие на ее печень?

Мистер Джаспер с видом крайней подавленности отвечает, что «надо полагать, так уж было суждено».

— Да, теперь мы можем только предполагать,— соглашается мистер Сапси.— Как я всегда говорю: человек предполагает, а бог располагает. Пожалуй, это та же самая мысль, лишь выраженная иными словами. Во всяком случае, именно так я ее выражаю.

Мистер Джаспер что-то невнятно бормочет в знак согласия.

— А теперь, мистер Джаспер,— продолжает аукционист,— когда памятник миссис Сапси уже имел время осесть и просохнуть, я прошу вас, как человека со вкусом, сообщить мне ваше мнение об этой надписи, которую я (как уже сказано, не без некоторой вдохновенной работы ума) для него составил. Возьмите этот лист в руки. Расположение строк должно быть воспринято глазом, равно как их содержание — умом.

Мистер Джаспер повинуется и читает следующее:

Здесь покоится
ЭТЕЛИНДА,
почтительная жена
мистера ТОМАСА САПСИ
аукциониста, оценщика, земельного агента и пр.
в городе Клойстергэме,
Чье знание света,
Хотя и обширное,
Никогда не приводило его в соприкосновение
С душой,
Более способной
Взирать на него с благоговением.
ПРОХОЖИЙ, ОСТАНОВИСЬ!
И спроси себя:
МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ?
Если нет,
КРАСНЕЯ, УДАЛИСЬ!

Мистер Сапси, вручив листок мистеру Джасперу, встал и поместился спиной к камину, чтобы лучше видеть, какой эффект произведет его творение на человека со вкусом; таким образом, лицо его обращено к двери, и когда на пороге вновь появляется горничная и докладывает: «Дёрдлс пришел, сэр!» — он проворно подходит к столу и, налив доверху третий стаканчик, ныне призванный к исполнению своих обязанностей, ответствует: «Пусть Дёрдлс войдет!»

— Изумительно! — говорит мистер Джаспер, возвращая лист хозяину.

— Вы одобряете, сэр?

— Как же не одобрить. Это так ярко, характерно и законченно.

Аукционист слегка наклоняет голову, как человек, принимающий должную ему мзду и выдающий расписку в получении, а затем предлагает вошедшему Дёрдлсу «опрокинуть стаканчик», который тут же ему и подносит.

Дёрдлс — каменотес по ремеслу, главным образом по части могильных плит, памятников и надгробий, и весь он с головы до ног того же цвета, что и произведения его рук. В Клойстергэме его все знают: во всем городе нет более беспутного человека. Он славится здесь как искусный работник,— о чем трудно судить, ибо никто не видал его за работой,— и как отчаянный пьяница — в чем каждый имел случай убедиться собственными глазами. Соборные склепы и подземелья знакомы ему лучше, чем любому из живых его сограждан, а, пожалуй, и любому из умерших. Говорят, такие глубокие познания он приобрел в связи с тем, что, имея постоянный доступ в собор, как подрядчик по текущему ремонту, он завел обычай удаляться в эти тайные убежища, недоступные для клойстергэмских мальчишек, чтобы мирно проспаться после выпивки. Как бы то ни было, он их действительно отлично знает, и во время ремонтных работ, когда приходилось разбирать часть какой-нибудь старой стены, контрфорса или пола, он, случалось, видел престранные вещи. О себе он часто говорит в третьем лице,— то ли потому, что, рассказывая о своих приключениях, сам немножко путается, с ним это было или не с ним, то ли потому, что в этом случае смотрит на себя со стороны и просто употребляет то обозначение, под

которым известна в Клойстергэме столь выдающаяся личность. Поэтому его рассказы обычно звучат так: «Тут-то Дёрдлс и наткнулся на этого старикана»,— подразумевая какого-нибудь сановного покойника давних времен, захороненного под собором,— «угодил киркой прямехонько ему в гроб. А старикан поглядел на Дёрдлса раскрытыми глазами, будто хотел сказать: «А, это ты, Дёрдлс? Ну, брат, я уж давно тебя жду!» — да и рассыпался в прах». С двухфутовой линейкой в кармане и молотком в руках Дёрдлс вечно слоняется по всем закоулкам в соборе, промеряя и выстукивая стены, и если он говорит Топу: «Слушай-ка, Топ, тут еще один старикан запрятан!» — Топ докладывает об этом настоятелю, как о новой и не подлежащей сомнению находке.

Одетый всегда одинаково — в куртке из грубой фланели с роговыми пуговицами, в желтом шарфе с обтрепанными концами, в ветхой шляпе, когда-то черной, а теперь рыжей, как ржавчина, и в шнурованных сапогах того же цвета, что и его каменные изделия,— Дёрдлс ведет бродячий образ жизни словно цыган, всюду таская с собой узелок с обедом и присаживаясь то тут, то там на могильной плите, чтобы подкрепиться. Этот узелок с обедом Дёрдлса уже стал одной из клойстергэмских достопримечательностей — не только потому, что Дёрдлс с ним неразлучен, но еще и потому, что этот знаменитый узелок не раз попадал под арест вместе с Дёрдлсом (когда того задерживали за появление в публичных местах в нетрезвом виде) и затем фигурировал в качестве вещественной улики на судейском столе в городской ратуше. Это, впрочем, случалось не так уж часто, ибо если Дёрдлс никогда не бывает вполне трезв, то почти никогда не бывает и совсем пьян. Вообще же он старый холостяк и живет в уже обветшалом и все же еще недостроенном, более похожем на нору, домишке, который, как говорят, сооружался им из камней, украденных из городской стены. Подойти к этому жилищу можно, лишь увязая по щиколотку в каменных осколках и с великим трудом продираясь сквозь некое подобие окаменелой чащи из могильных плит, надгробных урн, разбитых колонн и тому подобных скульптурных произведений в разной степени законченности. Здесь двое поденщиков неустанно обкалывают камни, а двое других

неустанно пилят каменные глыбы двуручной пилой, стоя друг против друга и попеременно то исчезая каждый в своей будочке, служащей ему укрытием, то вновь из нее выныривая, причем это совершается так размеренно и неуклонно, как будто перед вами не живые люди, а две символических фигурки, изображающие Смерть и Время.

Этому самому Дёрдлсу, после того как он выпил предложенный ему стаканчик портвейна, мистер Сапси и вручает драгоценное творение своей Музы. Дёрдлс с видом полного безразличия вытаскивает из кармана свою двухфутовую линейку и хладнокровно вымеряет строчки, попутно пятная их каменной пылью.

— Это для памятника, что ли, мистер Сапси?

— Да. Это *Эпитафия.*— Мистер Сапси ждет, предвкушая глубокое впечатление, которое его шедевр должен произвести на бесхитростного представителя народа.

— Как раз поместится,— изрекает Дёрдлс.— Точно, до одной восьмой дюйма. Мое почтение, мистер Джаспер. Надеюсь, вы в добром здравии?

— А вы как поживаете, Дёрдлс?

— Да ничего, мистер Джаспер, вот только гробматизм одолел, ну да это уж так и быть должно.

— Ревматизм, вы хотите сказать,— поправляет мистер Сапси с некоторой резкостью. Он обижен тем, что в его сочинении Дёрдлса заинтересовала лишь длина строк.

— Нет, я хочу сказать гробматизм, мистер Сапси. Это не то, что просто ревматизм, это штука совсем особая. Вот мистер Джаспер понимает, что Дёрдлс хотел сказать. Вы попробуйте-ка встать зимним утром еще затемно да сразу в подвалы, да повозиться там, среди гробов, до вечера, да проделывать это, как говорит катехизис, во вся дни жизни твоея, тогда сами поймете, что Дёрдлс хотел сказать.

— Да, в соборе у нас очень холодно,— соглашается мистер Джаспер, зябко передергивая плечами.

— Ага, и вам холодно, это наверху-то, в алтаре, где кругом живые люди дышат, так что аж пар идет. А каково же Дёрдлсу внизу, в подвалах, где только от земли да от мертвяков воспарение происходит? — наставительно замечает каменщик.— Вот и судите сами. А надпись вашу, мистер Сапси, сейчас, что ли, и начинать?

Мистер Сапси, жаждущий, как и всякий автор, немедленного опубликования своих трудов, отвечает, что и начать и кончить желательно возможно скорее.

— Ну так давайте мне ключ от склепа.

— Помилуйте, Дёрдлс, зачем вам ключ? Ведь надпись снаружи должна быть, а не внутри!

— Дёрдлс сам знает, где она должна быть, мистер Сапси. Кому же и знать! Спросите хоть кого в Клойстергэме — всякий скажет, что уж свое-то дело Дёрдлс знает.

Мистер Сапси встает, достает из стола ключ, отпирает сейф, вделанный в стену, и вынимает оттуда другой ключ.

— Когда Дёрдлс свою работу заканчивает, вроде как последний штришок кладет, все равно внутри или снаружи, он любит ее всю осмотреть и с лица и с изнанки, чтоб уж значит все было честь по чести,— обстоятельно поясняет Дёрдлс.

Так как ключ, поданный ему безутешным вдовцом, весьма не малого размера, он сперва засовывает свою двухфутовую линейку в специально для того предназначенный карман брюк, затем не спеша расстегивает свою фланелевую куртку и, расправив отверстие огромного нагрудного кармана, пришитого с внутренней ее стороны, готовится поместить ключ в это хранилище.

— Однако, Дёрдлс! — говорит, усмехаясь, Джаспер, которого все это очевидно забавляет.— Вы сплошь подбиты карманами!

— А какую тяжесть я в них ношу, мистер Джаспер, кабы вы знали! Взвесьте-ка вот эти! — Он извлекает из кармана еще два больших ключа.

— Дайте сюда и ключ мистера Сапси. Он-то уж, наверно, самый тяжелый?

— Что один, что другой, разница небольшая,— говорит Дёрдлс.— Все они от склепов. А склепы всё Дёрдлсова работа. Дёрдлс все ключи от своей работы при себе держит. Хоть и не так уж часто они надобятся.

— Кстати,— словно что-то вспомнив, говорит вдруг мистер Джаспер, рассеянно вертя в руках ключи,— я давно хотел вас спросить, да все забываю. Вы знаете, конечно, что вас иногда называют Гроби Дёрдлс?

— В Клойстергэме я известен как Дёрдлс, мистер Джаспер.

— Понятно. Само собой разумеется. Но иногда мальчишки...

— Ну, сэр, если вы этих чертенят слушаете...— сердито перебивает Дёрдлс.

— Я их слушаю не больше, чем вы. Но как-то среди певчих возник спор: что, собственно, это значит — Гроби? То ли это испорченное Робби...— лениво продолжает мистер Джаспер, позвякивая одним ключом о другой.

— Осторожнее, не повредите бородки, мистер Джаспер.

— Или это уменьшительное от Герберт...— Ключи снова позванивают, но уже в другом тоне.

— Камертон вы из них, что ли, хотите сделать, мистер Джаспер?..

— Или это намек на вашу профессию? Так сказать, Гробный — или Гробовый — Дёрдлс? А? Так вот, скажите, какое из этих предположений правильное?

Мистер Джаспер выпрямляется — до сих пор он сидел лениво развалясь перед огнем,— взвешивает все три ключа на ладони и протягивает их Дёрдлсу с дружеской улыбкой.

Но Гробный Дёрдлс вместе с тем и довольно грубый Дёрдлс, к тому же, несмотря на винные пары, застилающие его мозг, весьма чувствительный насчет своего достоинства и склонный всякую шутку принимать за обиду. Он берет ключи, два из них тут же спускает в нагрудный карман и аккуратно пристегивает его пуговицей, а третий, чтобы равномернее распределить тяжесть, засовывает в свой узелок с обедом, как будто он страус и любит закусывать железом; затем снимает этот узелок со спинки стула, куда повесил его входя, и неторопливо покидает комнату, так и не удостоив мистера Джаспера ответом.

Оставшись наедине со своим гостем, мистер Сапси предлагает ему сыграть партию в триктрак, и за этим занятием, которое хозяин сдабривает поучительной беседой, а затем за ужином из холодного ростбифа с салатом, они засиживаются допоздна, с приятностью коротая вечерок. Мудрость мистера Сапси и к этому времени еще далеко не исчерпалась, ибо, одаряя ею смертных, он придерживается не афористического, а пространно-расплывчатого способа изложения; но гость намекает, что при

первом удобном случае вернется за новой партией этого драгоценного товара, и мистер Сапси отпускает его на сей раз, чтобы он мог поразмыслить на досуге над теми крупицами, которые уносит с собой.

ГЛАВА V

Мистер Дёрдлс и его друг

Возвращаясь домой и уже вступив в ограду собора, мистер Джаспер внезапно останавливается, пораженный странным зрелищем: прислонившись спиной к чугунной решетке, отделяющей кладбище от древних монастырских арок, стоит Дёрдлс со своим узелком и прочими своими атрибутами, а безобразный и крайне оборванный мальчишка швыряет в него камнями — в лунном свете каменщик представляет собой отличную мишень. Камни иногда попадают в него, иногда пролетают мимо, но и к тому и к другому Дёрдлс проявляет полное равнодушие. Мальчишка же, наоборот, попав, издает победный свист, которому отсутствие у него нескольких передних зубов сообщает особую пронзительность, а промахнувшись, вскрикивает: «Эх! Опять промазал!» — и, прицелившись поаккуратнее, с удвоенной яростью бомбардирует Дёрдлса камнями.

— Что ты делаешь? — восклицает Джаспер, выступая из тени на лунный свет.

— Стреляю в цель,— отвечает безобразный мальчишка.

— Подай сюда камни, что у тебя в руке!

— Ну да, как же! Сейчас подам! Прямо тебе в глотку. Не тронь! — взвизгивает вдруг мальчишка, вырываясь и отскакивая.— Глаз вышибу!

— Ах ты чертенок! Что тебе сделал этот человек?

— Он домой не идет.

— Тебе-то какая забота?

— А он мне платит полпенни, чтоб я загонял его домой, если увижу поздно на улице,— отвечает мальчишка и вдруг пускается в пляс, словно дикарь, тряся лохмоть-

ями и спотыкаясь о распущенные шнурки своих башмаков, до того уж дырявых, что они еле держатся на его ногах; при этом он визгливо выкрикивает:

Ку́к-ка-реку! Ки́к-ки-рики!
Не шляй-ся после де-сяти!
А не то дураку
Камнем запалю в башку!
Ку́к-ка-реку-у-у! Будь начеку-у!

На последнем слове он замахивается сплеча, и в Дёрдлса снова летит град камней.

Эти поэтические прелиминарии служат, очевидно, установленным по взаимной договоренности сигналом, после которого Дёрдлсу остается либо увертываться от камней, если он сумеет, либо отправляться домой.

Джон Джаспер, убедившись в безнадежности всяких попыток воздействовать на мальчишку силой или уговорами, кивком головы приглашает его следовать за собой и переходит через дорогу к чугунной решетке, где Гробный (и наполовину уже угробленный) Дёрдлс стоит в глубокой задумчивости.

— Вы знаете этого... этого... эту... тварь? — спрашивает Джаспер, не находя слов для более точного определения этой твари.

Дёрдлс кивает.

— Депутат,— говорит он.

— Это что, его имя?

— Депутат,— подтверждает Дёрдлс.

— Я служу в «Двухпенсовых номерах для проезжающих», что у газового завода,— поясняет загадочное существо.— Нас всех, кто в номерах служит, там зовут Депутатами. И когда у нас полно и все проезжающие уже спят, я выхожу погулять для здоровья.— И, отпрыгнув на середину дороги и снова прицелившись, он опять затягивает:

Ку́к-ка-реку! Ки́к-ки-рики́!
Не шляй-ся пос-ле де-ся-ти!

— Погоди! — кричит Джаспер.— Не смей кидать, пока я с ним, не то я тебя убью! Пойдемте, Дёрдлс, я провожу вас до дому. Дайте я понесу ваш узелок.

— Ни в коем случае,— отвечает Дёрдлс, крепче прижимая узелок к себе.— Когда вы подошли, сэр, я размыш-

лял посреди своих творений, как по...пу...пуделярный автор. Вот тут ваш собственный зять,— Дёрдлс делает широкий жест, как бы представляя Джасперу обнесенный оградой саркофаг, белый и холодный в лунном свете.— Миссис Сапси,— продолжает он с жестом в сторону склепа этой преданной супруги.— Покойный настоятель,— указуя на разбитую колонну над прахом этого преподобного джентльмена.— Безвременно усопший налоговый инспектор,— простирая руку к вазе со свисающим с нее полотенцем, водруженной на пьедестал, сильно напоминающий кусок мыла.— Незабвенной памяти кондитерские товары и сдобные изделия,— представляя своему собеседнику серую могильную плиту.— Все в целости и сохранности, сэр, и всё Дёрдлсова работа. Ну а разная там шушера, у кого вместо надгробья только земля да колючий кустарник, про тех и поминать не стоит. Жалкий сброд, и скоро будут забыты.

— Эта тварь, Депутат, идет сзади,— говорит Джаспер, оглядываясь.— Что он, так и будет плестись за нами?

Отношения между Дёрдлсом и Депутатом носят, повидимому, неустойчивый характер, ибо, когда каменщик оборачивается с медлительной важностью насквозь пропитанного пивом человека, Депутат тотчас отбегает подальше и принимает оборонительную позу.

— Ты сегодня не кричал «будь начеку!», прежде чем начать,— говорит Дёрдлс, вдруг вспомнив — или вообразив,— что права его были нарушены.

— Врешь, я кричал,— отвечает Депутат, употребляя единственную известную ему форму вежливого возражения.

— Дикарь, сэр,— замечает Дёрдлс, снова поворачиваясь к Джасперу и тут же забывая нанесенную или примерещившуюся ему обиду.— Сущий дикарь! Но я дал ему цель в жизни.

— В которую он и целится? — подсказывает мистер Джаспер.

— Именно так, сэр,— с удовлетворением подтверждает Дёрдлс.— В которую он и целится. Я занялся его воспитанием и дал ему цель. Что он был раньше? Разрушитель. Что он порождал вокруг себя? Только разрушение. Что он получал за это? Отсидку в клойстергэмской

тюрьме на разные сроки. Только и делал, что швырял камнями — никого, бывало, не пропустит, ни человека, ни строения, ни окна, ни лошади, ни собаки, ни кошки, ни воробья, ни курицы, ни свиньи — и все потому, что не было у него разумной цели. Я поставил перед ним эту разумную цель. И теперь он может честно зарабатывать свои полпенни в день, а в неделю это, знаете, сколько? Целых три пенса!

— Удивляюсь, что у него не находится конкурентов.

— Находятся, мистер Джаспер, да и не один. Но он их всех отгоняет камнями. Вот только не знаю, к чему это можно приравнять — эту вот мою с ним систему? — продолжает Дёрдлс все с той же пьяной важностью.— Как бы вы ее назвали, а? Нельзя ли сказать, что это вроде как новый проект... э-э... гм... народного просвещения?

— Пожалуй, все-таки нельзя,— отвечает Джаспер.

— Пожалуй, нельзя,— соглашается Дёрдлс.— Ну ладно, так мы и не будем подыскивать ей название.

— Он все еще идет за нами,— говорит Джаспер, оглядываясь.— Что ж, это и дальше так будет?

— Если мы пойдем задами — а это всего короче,— так не миновать идти мимо «Двухпенсовых номеров для проезжающих»,— отвечает Дёрдлс.— Там он от нас отстанет.

Они следуют далее в том же порядке: Депутат в качестве арьергарда движется развернутым строем и нарушает ночную тишину, ведя беглый огонь по каждой стене, столбу, колонне и всем прочим неодушевленным предметам, какие попадаются им на этой пустынной дороге.

— Есть что-нибудь новенькое в соборных подземельях? — спрашивает Джон Джаспер.

— Что-нибудь старенькое, вы хотите сказать,— бурчит в ответ Дёрдлс.— Не такое это место, чтоб там новому быть.

— Я хотел сказать, какая-нибудь новая находка.

— Да, нашелся там еще один старикан — под седьмой колонной слева, если спускаться по разбитым ступенькам в подземную часовенку; и сколько я мог разобрать (только по-настоящему я его разбирать еще не начал), он из тех,

самых важных, с крюком на посохе. И уж как они там протискивались, с этими крюками, бог их ведает — проходы-то узкие, да еще ступеньки, да двери, а ну как еще двое встретятся — небось частенько цепляли друг дружку за митры!

Джаспер не пытается внести поправку в чересчур реалистические представления Дёрдлса о быте епископов; он только с любопытством разглядывает своего компаньона, с головы до ног перепачканного в засохшем растворе, известке и песке — как будто чем дальше, тем все больше проникаясь интересом к его странному образу жизни.

— Любопытная у вас жизнь,— говорит он, наконец.

Ничем не показывая, принимает ли он это за комплимент или наоборот, Дёрдлс ворчливо отвечает:

— У вас тоже.

— Да, поскольку судьба и меня связала с этим мрачным, холодным и чуждым всяких перемен местом, пожалуй, вы правы. Но все же ваша связь с собором гораздо интереснее и таинственнее, чем моя. Мне даже хочется попросить вас — возьмите меня к себе в науку, в бесплатные помощники, и позвольте иногда вас сопровождать, чтобы я тоже мог заглянуть в один из тех древних тайников, где вы проводите свои дни.

Дёрдлс отвечает как-то неопределенно:

— Ну что ж. Все знают, где найти Дёрдлса, ежели он потребуется,— что, хотя и не вполне удовлетворительно как точный адрес, но справедливо в том смысле, что Дёрдлса всегда можно найти блуждающим по обширным владениям собора.

— Что мне всего удивительнее,— продолжает Джаспер, развивая все ту же полюбившуюся ему тему,— это необыкновенная точность, с которой вы определяете, где захоронен покойник. Как вы это делаете?.. Что? Узелок вам мешает? Дайте я подержу.

Дёрдлс в эту минуту остановился (в связи с чем Депутат, зорко следивший за каждым его движением, немедля ретировался на середину дороги), и теперь, оглядываясь по сторонам, каменщик ищет, на что положить свой узелок; Джаспер приходит к нему на помощь и освобождает от ноши.

— Достаньте-ка оттуда мой молоток,— говорит Дёрдлс,— и я вам покажу.

Клик, клик. И молоток переходит в руки Дёрдлса.

— Ну смотрите. Вы ведь, когда ваш хор поет, задаете ему тон, мистер Джаспер?

— Да.

— Ну а я слушаю, какой будет тон. Беру молоток и стучу. (При этом он постукивает по каменным плитам дорожки, а насторожившийся Депутат ретируется на еще более далекую дистанцию, видимо опасаясь, как бы для эксперимента не потребовалась его собственная голова.) Стук! Стук! Стук! Цельный камень. Продолжаю стучать. И тут цельный. Опять стучу. Эге! Тут пусто! Еще постучим. Ага. Что-то твердое в пустоте. Проверим. Стук! Стук! Стук! Твердое в пустоте, а в твердом в середке опять пусто. Ну вот и нашел. Склеп за этой стенкой, а в склепе каменный гроб, а в гробу рассыпавшийся в прах старикан.

— Изумительно!

— Мне и не то случалось делать,— говорит Дёрдлс, вытаскивая из кармана свою двухфутовую линейку (а Депутат тем временем подкрадывается ближе, взволнованный осенившей его догадкой, что сейчас будет обнаружен клад, что косвенным путем может послужить к собственному его обогащению, а также влекомый сладкой надеждой увидеть, как кладоискатели, по его доносу, «будут повешены за шею, пока не умрут» *).— Допустим, этот вот молоток — это стена — моя работа. Два фута: четыре; да еще два; шесть,— бормочет он, вымеряя дорожку.— В шести футах за этой стеной лежит миссис Сапси.

— Как миссис Сапси?.. Не на самом же деле?..

— Предположим, что миссис Сапси. У нее стена потолще, но предположим, что миссис Сапси: Дёрдлс выстукивает эту стену — вот, где молоток,— а выстукав, говорит: «Тут между нами еще что-то есть!» И что же вы думаете? Верно! В этом шестифутовом пространстве мои рабочие оставили кучу мусора.

Джаспер заявляет, что подобная точность — это «дар свыше».

— И никакой это не дар свыше,— отвечает Дёрдлс, ничуть не польщенный такой похвалой.— Это я трудом

добился. Дёрдлс все свои знания из земли выкапывает, а не хотят выходить, так он еще глубже да глубже роет, пока не подцепит их под самый корень. Эй ты, Депутат!

— Кук-ка-реку! — пронзительно откликается Депутат, снова отбегая подальше.

— Вот тебе твои полпенни. Лови! А как дойдем до «Двухпенсовых номеров», так чтоб я больше тебя не видел.

— Будь начеку! — ответствует Депутат, ловя на лету монетку и этой мистической формулой выражая свое согласие.

Им остается пересечь небольшой пустырь — бывший виноградник, некогда принадлежавший бывшему монастырю, а затем они вступают в тесный переулок, где уже издали виден приземистый и обшарпанный двухэтажный деревянный домишко, известный в Клойстергэме под названием «Двухпенсовых номеров для проезжающих»; дом этот, весь какой-то перекривленный и в такой же мере шаткий, как и моральные устои самих проезжающих, явно уже близится к разрушению; мелкий переплет в полукруглом окне над дверью почти весь выломан, и такие же дыры зияют в грубой изгороди вокруг истоптанного палисадника; ибо проезжающие питают столь нежные чувства к своему временному пристанищу (или так любят в дальнейших своих странствиях разводить костры на краю дороги), что, когда под воздействием уговоров или угроз соглашаются, наконец, покинуть милый их сердцу приют, каждый насильственно завладевает какой-нибудь деревянной памяткой и уносит ее с собой.

Для придания этой жалкой лачуге сходства с гостиницей, в окнах повешены традиционные красные занавески, вернее обрывки занавесок, и сквозь это рваное тряпье грязными пятнами просвечивают в ночной темноте слабые огоньки сальных огарков с фитилями из хлопка или сердцевины камыша, еле тлеющих в спертом воздухе двухпенсовых каморок. Когда Дёрдлс и Джаспер подходят ближе, их встречает надпись на бумажном фонаре над входом, уведомляющая о назначении этой хибары. Кроме того, их встречают пять или шесть неведомо откуда высыпавших на лунный свет безобразных мальчишек, то ли двухпенсовых постояльцев, то ли их приспешников и услужающих,

на которых присутствие Депутата действует как запах падали на стервятника; они слетаются к нему со всех сторон, словно грифы в пустыне, и тотчас принимаются швырять камнями в него и друг в друга.

— Перестаньте, звереныши,— сердито кричит на них Джаспер,— дайте пройти!

На этот окрик они отвечают еще более громкими воплями и еще более яростным обстрелом, согласно обычаю, прочно установившемуся за последние годы в наших английских селениях, где принято теперь побивать христиан камнями, как во времена великомученика Стефана. Все это, однако, мало трогает Дёрдлса; ограничившись замечанием, в данном случае довольно справедливым, что у этих юных дикарей отсутствует цель в жизни, он бредет дальше по переулку.

На углу Джаспер, еще не остывший от гнева, придерживает за локоть своего спутника и оглядывается назад. Все тихо. Но в ту же минуту далекий крик «будь начеку!» и пронзительное кукареканье, как бы исшедшее из горла какого-то высиженного в аду Шантеклера, возвещает Джасперу, под чьим метким огнем он находится. Он заворачивает за угол — тут уж он в безопасности — и провожает Дёрдлса до самого дома, причем почтенный гробовых дел мастер так качается на ходу, спотыкаясь об усеивающие его двор каменные обломки, как будто и сам стремится залечь в одну из своих незаконченных могил.

Джон Джаспер по другой дороге возвращается в домик над воротами и, отомкнув дверь своим ключом, неслышно входит. В камине еще тлеет огонь. Он достает из запертого шкафа странного вида трубку, набивает ее — но не табаком — и, старательно размяв это снадобье чем-то вроде длинной иглы, поднимается по внутренней лесенке, ведущей к двум верхним комнатам. Одна из них его собственная спальня, другая — спальня его племянника. В обеих горит свет.

Племянник спит мирным и безмятежным сном. Джон Джаспер с незажженной трубкой в руке стоит с минуту у его изголовья, пристально и с глубоким вниманием вглядываясь в лицо спящего. Затем на цыпочках уходит к себе, раскуривает свою трубку и отдается во власть Призраков, которыми она населяет глухую полночь.

ГЛАВА VI
Филантропия в Доме младшего каноника

Достопочтенный Септимус Криспаркл (названный Септимусом потому, что ему предшествовала вереница из шести маленьких Криспарклов, угасавших один за другим в момент рождения, как гаснет на ветру слабый огонек лампады, едва ее успеют зажечь), пробив своей красивой головой утренний ледок в заводи возле клойстергэмской плотины, что весьма способствует укреплению его атлетического тела, теперь старается дополнительно разогнать кровь, с великим искусством и такой же удалью боксируя перед зеркалом. В зеркале отражается очень свежий, румяный и цветущий здоровьем Септимус, который то с необычайным коварством делает ложные выпады, то ловко увертывается от ударов, то свирепо бьет сплеча; и все это время лицо его сияет доброй улыбкой, и даже боксерские перчатки источают благоволение.

До завтрака еще есть время; сама миссис Криспаркл — мать, а не жена достопочтенного Септимуса — только что сошла вниз и дожидается, пока подадут чай. Когда она показалась, достопочтенный Септимус прервал свои упражнения и, зажав боксерскими перчатками круглое личико старой дамы, нежно его расцеловал. Затем вновь обратился к зеркалу и, заслонясь левой, правой нанес невидимому противнику сокрушительный удар.

— Каждое утро, Септ, я этого боюсь,— промолвила, глядя на него, старая дама.— И когда-нибудь оно-таки случится!

— Что случится, мамочка?

— Либо ты разобьешь трюмо, либо у тебя лопнет жила.

— Даст бог ни того, ни другого не будет, мама! Разве уж я такой увалень? Или у меня плохое дыханье? Вот посмотри!

В заключительном раунде достопочтенный Септимус с молниеносной быстротой расточает и парирует жесточайшие удары и, войдя в близкий бой, кончает захватом головы противника — под таким названием известен этот прием среди знатоков благородного искусства бокса,— но делает это так легко и бережно, что на зажатом под его левым локтем чепчике миссис Криспаркл не смята и не

потревожена ни одна из украшающих его сиреневых или вишневых лент. Затем он великодушно отпускает побежденную, и как раз вовремя — он только успел бросить перчатки в шкаф и, отвернувшись к окну, принять созерцательную позу, как вошла служанка, неся чайный прибор. Когда приготовления к завтраку были закончены и мать с сыном снова остались одни, приятно было видеть (то есть было бы приятно всякому третьему лицу, если бы таковое присутствовало на этой семейной трапезе, чего никогда не бывает), как миссис Криспаркл стоя прочитала молитву, а ее сын — даром что он теперь младший каноник и ему всего пяти лет не хватает до сорока,— тоже стоя, смиренно внимал ей, склонив голову, точно так же как он внимал этим самым словам из этих самых уст, когда ему всего пяти месяцев не хватало до четырех лет.

Что может быть милее старой дамы — разве только молодая дама,— если у нее ясные глаза, ладная пухленькая фигурка, спокойное и веселое выражение лица, а наряд как у фарфоровой пастушки — в таких мягких тонах, так ловко пригнан и так ей идет? Ничего нет на свете милее, часто думал младший каноник, усаживаясь за стол напротив своей давно уже вдовствующей матери. А ее мысли в такую минуту лучше всего можно выразить двумя словами, которые часто срываются с ее уст во время разговора: «Мой Септ!»

Эти двое, сидящие за завтраком в Доме младшего каноника в городе Клойстергэме, удивительно подходят ко всему своему окружению. Ибо этот уголок, где в тени собора приютился Дом младшего каноника, это очень тихое местечко, и крики грачей, шаги редких прохожих, звон соборного колокола и раскаты соборного органа не только не нарушают объемлющей его тишины, но делают ее еще более глубокой. В течение столетий раздавался здесь лязг оружия и клики надменных воинов; в течение столетий крепостные рабы влачили здесь бремя подневольного труда и умирали под его непосильной тяжестью; в течение столетий могущественный монашеский орден творил здесь иногда благо, а иногда зло — и вот никого из них уже нет,— и пусть, так лучше. Быть может, только тем и были они полезны, что оставили после себя этот благодатный покой, ныне здесь царящий, эту тихую ясность, кото-

рая нисходит здесь в душу и располагает ее к состраданию и терпимости — как бывает, когда рассказана до конца горестная история или доигран последний акт волнующей драмы.

Стены из красного кирпича, принявшего с годами более мягкую окраску, пышно разросшийся плющ, стрельчатые окна с частым переплетом, панельная обшивка маленьких уютных комнат, тяжелые дубовые балки в невысоких потолках и обнесенный каменной стеною сад, где по-прежнему каждую осень зреют плоды на взращенных еще монахами деревьях,— вот что окружает миловидную миссис Криспаркл и достопочтенного Септимуса, когда они сидят за завтраком.

— Так скажи же мне, мамочка,— промолвил младший каноник, с отменным аппетитом поглощая завтрак,— что там написано, в этом письме?

Миловидная старая дама, уже успевшая прочитать письмо и спрятать его под скатерть, вновь извлекла его оттуда и подала сыну.

Старая леди, надо вам сказать, очень гордится тем, что до сих пор сохранила острое зрение и может без очков читать писанное от руки. Сын ее тоже очень этим гордится, и для того, чтобы мать чаще имела случай показать свое превосходство в этом отношении, он поддерживает версию, будто сам он без очков читать не может. Так и на сей раз, прежде чем взяться за письмо, он оседлал нос огромными очками в тяжелой оправе, которые не только немилосердно давят ему на переносицу и мешают есть, но и для чтения составляют немалое препятствие. Ибо без стекол глаза у него отличные и видят вблизи как в микроскоп, а вдаль как в телескоп.

— Это, понятно, от мистера Сластигроха,— промолвила старая дама, сложив ручки на животе.

— Понятно,— поддакнул ее сын и принялся читать, щурясь и запинаясь чуть не на каждом слове.

«Прибежище Филантропии.
Главная канцелярия, Лондон. Среда.

Милостивая государыня!

Я пишу вам сидя в...» Что такое, не понимаю! В чем он там сидит?

— В кресле,— пояснила старая дама.

Достопочтенный Септимус снял очки, чтобы лучше видеть лицо матери, и воскликнул:

— А почему об этом надо писать?

— Господи боже мой, Септ! — возразила старая леди.— Ты же не дочитал до конца! Дай сюда письмо.

Обрадованный возможностью снять очки (ибо у него всегда слезятся от них глаза), сын повиновался, прибавив вполголоса, что вот беда, с каждым днем ему все труднее становится разбирать чужой почерк.

— «Я пишу вам,— начала мать, произнося слова необыкновенно вразумительно и четко,— сидя в кресле, к которому, очевидно, буду прикован еще в течение нескольких часов...»

Взгляд Септимуса с недоумением и даже ужасом обратился к креслам, выстроившимся вдоль стены.

— «У нас в настоящую минуту,— еще более выразительно продолжала старая дама,— происходит заседание нашего Объединенного комитета всех филантропов Лондона и Лондонского округа, созванное, как указано выше, в нашем Главном Прибежище, и все присутствующие единогласно предложили мне занять председательское кресло...»

— Ах, вот что,— со вздохом облегчения пробормотал Септимус,— ну пусть себе сидит, коли так.

— «Желая отправить письмо с сегодняшней почтой, я решил использовать время, пока зачитывается длинный доклад, обличающий одного проникшего в нашу среду негодяя...»

— Удивительное дело,— вмешался кроткий Септимус, откладывая нож и вилку и досадливо потирая себе ухо.— Эти филантропы всегда кого-нибудь обличают. А еще удивительнее, что у них всегда полным-полно негодяев.

— «...проникшего в нашу среду негодяя,— с ударением повторила старая дама,— и окончательно уладить с вами наше небольшое дельце. Я уже говорил с моими подопечными, Невилом и Еленой Ландлес, по поводу их недостаточного образования, и они дали согласие на предложенный мною план — я, конечно, позаботился, чтобы они дали согласие, независимо от того, нравится им этот план или нет».

— Но самое удивительное,— продолжал в том же тоне младший каноник,— это что филантропы так любят хватать своего ближнего за шиворот и, если смею так выразиться, пинками загонять его на стезю добродетели. Прости, мамочка, я тебя прервал.

— «Поэтому, милостивая государыня, будьте добры предупредить вашего сына, достопочтенного мистера Септимуса, что в следующий понедельник к вам прибудет вышеупомянутый Невил, дабы жить у вас в доме и под руководством вашего сына готовиться к экзамену. Одновременно приедет и Елена, которая будет жить и обучаться в Женской Обители, этом рекомендованном вами пансионе. Будьте любезны, сударыня, позаботиться о ее устройстве. Плата в обоих случаях подразумевается та, какую вы указали мне письменно в одном из посланий, коими мы обменялись, после того как я имел честь быть вам представленным в доме вашей сестры в Лондоне. С нижайшим поклоном достопочтенному мистеру Септимусу остаюсь, милостивая государыня,

ваш любящий брат во филантропии
Люк Сластигрох».

— Ну что ж, мамочка,— сказал Септимус, еще дополнительно потерев себе ухо,— попробуем. Свободная комната у нас есть, и время свободное у меня найдется, и я рад буду помочь этому юноше. Вот если бы к нам попросился сам мистер Сластигрох, ну тогда не знаю... Хотя откуда у меня такое предубеждение против него — ведь я его в глаза не видал. Каков он собой, а? Наверно, этакий большой, сильный мужчина?

— Пожалуй, я бы сказала, что он сильный,— отвечала после некоторого колебания старая дама,— если бы голос у него не был еще сильнее.

— Сильнее его самого?

— Сильнее кого угодно.

— Гм!..— сказал Септимус и поторопился закончить завтрак, как будто чай высшего сорта внезапно стал менее ароматным, а поджаренный хлеб и яичница с ветчиной менее вкусными.

Сестра миссис Криспаркл, столь на нее похожая, что вместе они, как две парные статуэтки из саксонского

фарфора, могли бы послужить украшением старинного камина, была бездетной женой священника, имевшего приход в одном из богатых кварталов Лондона. И во время очередной выставки фарфоровых фигурок — иными словами, ежегодного визита миссис Криспаркл к сестре — с ней и познакомился мистер Сластигрох, что произошло в конце некоего празднества филантропического характера, на котором он присутствовал в качестве записного глашатая филантропии и в течение которого на неповинные головы нескольких благотворимых сирот была обрушена лавина медовых коврижек и ливень медоточивых речей.

Вот и все сведения, какие имелись в Доме младшего каноника о будущих воспитанниках.

— Я считаю, мамочка,— сказал, подумав, мистер Криспаркл,— и ты, наверно, со мною согласишься, что прежде всего нужно сделать так, чтобы они чувствовали себя у нас легко и свободно. И это вовсе не так уж бескорыстно с моей стороны, потому что если им не будет с нами легко, то и нам с ними будет трудно. Сейчас у Джаспера гостит племянник; а подобное тянется к подобному и молодое к молодому. Он славный юноша — давай пригласим его обедать и познакомим с братом и сестрой. Это выходит трое. Но если приглашать племянника, то надо пригласить и дядю. Это уж будет четверо. Да еще хорошо бы позвать мисс Твинклтон и эту прелестную девочку, будущую супругу Эдвина. Это шесть. Да нас двое — восемь. Восемь человек к обеду это не чересчур много, мамочка?

— Девять было бы чересчур,— отвечала старая леди с видимым беспокойством.

— Милая мамочка, я же сказал восемь.

— Для восьми как раз хватит места за столом и в комнате, дорогой мой.

На том и порешили; и когда мистер Криспаркл зашел с матерью к мисс Твинклтон договориться о приеме мисс Елены Ландлес в число пансионерок, приглашение было изложено и принято. Мисс Твинклтон, правда, окинула грустным взглядом свои глобусы, как бы сожалея о невозможности прихватить их с собой, но утешилась мыслью, что эта разлука ненадолго. Затем великому фи-

лантропу были посланы указания, как и когда именно Невилу и Елене надлежит выехать из Лондона, чтобы вовремя поспеть к обеду, и в Доме младшего каноника из кухни пополз аромат крепкого бульона.

В те дни в Клойстергэме не было железнодорожной станции — а мистер Сапси утверждал, что и никогда не будет. Мистер Сапси выражался даже более решительно: он говорил, что ее и не должно быть. И вот вам доказательство его прозорливости: даже и теперь курьерские поезда не удостаивают наш бедный городок остановки, а с яростными гудками проносятся мимо и только отрясают на него прах со своих колес в знак пренебрежения. Ибо они обслуживают другие, более важные, города, а Клойстергэм просто случайно оказался вблизи главной линии, и уж, конечно, никто не думал о нем, когда затевалось это рискованное предприятие, которое, по мнению многих, неминуемо должно было поколебать денежный курс, если бы провалилось, Церковь и Государство, если бы удалось, и, во всяком случае, Конституцию, как при успехе, так и при неудаче. Станцию устроили где-то подальше, на самом пустынном перегоне, но и это так напугало владельцев конного транспорта, что они с тех пор не осмеливались уже пользоваться большой дорогой и в город прокрадывались окольными путями по каким-то задворкам мимо старой конюшни, где на углу уже много лет висела надпись: «Осторожно! Злая собака!»

Сюда-то, к этому непрезентабельному въезду в город, направил свои стопы мистер Криспаркл, и теперь он стоял, поджидая дилижанс, служивший в те дни единственным средством сообщения между Клойстергэмом и внешним миром. Когда этот кургузый и приземистый экипаж, на крыше которого всегда громоздилось столько багажа, что он походил на маленького слоника с непомерно большим паланкином, показался, наконец, на повороте и подкатил, переваливаясь и громыхая, мистер Криспаркл в первую минуту ничего не мог различить, кроме огромной фигуры пассажира на переднем сидении, заслонявшей все остальное; упершись руками в колени и расставив локти, этот монументального вида господин с резкими чертами лица восседал на козлах, затиснув возницу куда-то в угол, и бросал по сторонам грозные взгляды.

— Это Клойстергэм?—вопросил он трубным голосом.

— Он самый,—отвечал возница, передавая вожжи конюху и с гримасой боли потирая себе бока.— Фу-у! Слава те, господи, доехали!

— А вы скажите своему хозяину, чтоб он сделал козлы пошире,— возразил пассажир.— Он обязан заботиться об удобстве своих ближних — это его моральная обязанность, а я б заставил его отвечать еще и по суду под угрозой жестоких штрафов!

Возница тем временем ощупывал себя всего, проверяя целость своего скелета, и лицо его выражало беспокойство.

— Я разве сидел на вас? — спросил пассажир.

— Сидели,— ответил возница таким тоном, как будто это ему не нравилось.

— Возьмите эту карточку, друг мой.

— Да нет уж, оставьте ее у себя,— ответил возница, неодобрительно поглядывая на протянутый ему кусочек картона и не беря его в руки.— На что она мне?

— Вы можете вступить в наше Общество.

— А что я от этого получу?

— Братьев,— пояснил пассажир свирепым голосом.

— Спасибо,—твердо ответил возница, слезая с козел.— Моя матушка считала, что ей одного меня достаточно, и я тоже так считаю! Не нужны мне братья.

— Но они все равно у вас есть, хотите вы или не хотите, —возразил пассажир, тоже слезая с козел.— Я ваш брат.

— Ну, знаете!..— рявкнул возница, теряя самообладание.— Всему есть мера! И ягненок начнет брыкаться, ежели...

Но тут вмешался мистер Криспаркл.

— Джо, Джо, Джо! — проговорил он с кроткой укоризной.— Опомнитесь, Джо, дорогой мой! — А когда Джо, разом успокоившись, почтительно притронулся к своей шляпе, мистер Криспаркл повернулся к пассажиру.— Мистер Сластигрох, если не ошибаюсь?

— Да, это мое имя, сэр.

— А мое Криспаркл.

— Достопочтенный мистер Септимус? Рад вас видеть, сэр. Елена и Невил в карете. А я, знаете ли, подумал, что

мне полезно будет подышать свежим воздухом — захирел немножко под бременем общественных обязанностей,— ну и решил проводить моих подопечных сюда, а вечером вернуться. Так вы, значит, и есть достопочтенный мистер Септимус? — несколько разочарованно добавил великий филантроп, разглядывая мистера Криспаркла и вертя свой лорнет вокруг пальца с таким видом, словно поджаривал его на вертеле.— Гм! Я ожидал увидеть в вашем лице человека более пожилых лет.

— Надеюсь, еще увидите, сэр.

— Что? — переспросил мистер Сластигрох.— Что вы сказали?

— Это я так, пошутил. И, кажется, не совсем удачно. Не стоит повторять.

— А! Пошутили! Ну, я никогда не понимал шуток,— нахмурив брови, отвечал мистер Сластигрох.— Шутки до меня не доходят, сэр. Так что не трудитесь шутить со мною. Да где же они? Невил, Елена, подите сюда! Мистер Криспаркл пришел вас встретить.

На редкость красивый стройный юноша и на редкость красивая стройная девушка; очень похожи друг на друга; оба черноволосые, со смуглым румянцем, она почти цыганского типа; оба чуть-чуть с дичинкой, какие-то неручные; сказать бы — охотник и охотница,— но нет, скорее это их преследуют, а не они ведут ловлю. Тонкие, гибкие, быстрые в движениях; застенчивые, но не смирные; с горячим взглядом; и что-то есть в их лицах, в их позах, в их сдержанности, что напоминает пантеру, притаившуюся перед прыжком или готового спастись бегством оленя. В таких примерно словах описал бы мистер Криспаркл свои впечатления за первые пять минут знакомства с братом и сестрой.

Он пригласил мистера Сластигроха обедать — правда, не без тревоги в сердце (так как представлял себе, в какое замешательство повергнет этим свою милую фарфоровую пастушку), и подал руку Елене Ландлес. Проходя по старинным улицам, брат и сестра с восторгом разглядывали все, что им показывал мистер Криспаркл,— собор, развалины монастыря,— и всему дивились, как могли бы дивиться европейской цивилизации двое юных варваров, взятых в полон в какой-нибудь дикой тропической стране

(мистер Криспаркл не преминул отметить про себя это сходство). Мистер Сластигрох шествовал по самой середине тротуара, сталкивая со своего пути попадавшихся навстречу туземцев, и громким голосом излагал задуманный им план: переарестовать за одну ночь всех безработных в Соединенном Королевстве, запереть их в тюрьму и принудить, под угрозой немедленного истребления, заняться благотворительностью.

Но кто воистину был достоин жалости и благотворительной поддержки — это бедная миссис Криспаркл, когда она увидала перед собой это столь пространное и столь громогласное прибавление к их маленькой компании. Мистер Сластигрох и всегда-то был вроде чирья на лице общества, а в Доме младшего каноника он обернулся злокачественным карбункулом. Хоть, может быть, и не совсем достоверно то, что рассказывают про него некоторые скептики — будто он возгласил однажды, обращаясь к своим ближним: «Ах, будьте вы все прокляты, идите сюда и возлюбите друг друга!» — все же его любовь к ближнему настолько припахивала порохом, что трудно было отличить ее от ненависти. Нужно упразднить армию, но сперва всех офицеров, честно исполнявших свой долг, предать военному суду и расстрелять. Нужно прекратить войны, но сперва завоевать все прочие страны, обвинив их в том, что они чересчур любят войну. Нужно отменить смертную казнь, но предварительно смести с лица земли всех членов парламента, юристов и судей, придерживающихся иного мнения. Нужно добиваться всеобщего согласия, но сперва истребить всех, кто не хочет, или по совести не может с вами согласиться. Надо возлюбить ближнего как самого себя, но лишь после того, как вы его оклевещете (с не меньшим усердием, чем если бы вы его ненавидели), обольете помоями и осыплете бранью. А главное, ничего нельзя делать в одиночку, по собственному разумению. Надо пойти в канцелярию, в Главное Прибежище Филантропии, и записаться в члены. Затем уплатить членские взносы, получить членскую карточку, ленточку и медаль, и в дальнейшем проводить свою жизнь на трибуне и всегда говорить то, что сказал мистер Сластигрох, то, что сказал казначей и помощник казначея,

то, что сказал комитет и подкомитет, и секретарь, и помощник секретаря. А что они все говорят, это вы можете прочитать в принятой единогласно резолюции, за подписями и печатью, каковая резолюция устанавливает, что: «Ныне собравшиеся в полном составе члены «Общества воинствующих филантропов» с возмущением и негодованием, а также с презрением, омерзением и отвращением» и так далее, взирают на гнусность и низость всех не принадлежащих к «Обществу» и обязуются говорить про них всякие гадости и возводить на них самые тяжкие обвинения, не слишком считаясь с фактами.

Обед прошел более чем неудачно. Филантроп нарушил всякий порядок за столом, уселся на самом ходу, всем и всему мешая, и довел мистера Топа (взявшегося помогать горничной) до исступления тем, что передавал гостям блюда и тарелки через собственную голову. Никто не мог ни с кем перемолвиться словом, так как мистер Сластигрох все время говорил сам, обращаясь ко всем вместе, словно был не в гостях, а на митинге. А мистера Криспаркла он облюбовал как своего официального противника — так сказать, живой гвоздь, чтобы вешать на него свою ораторскую шляпу,— причем, по скверной привычке таких ораторов, заранее рассматривал его как личность злокозненную и слабоумную. Так, например, он вопрошал: «Не собираетесь ли вы, сэр, выставить себя на посмешище, утверждая, что» — и так далее, в то время как кроткий мистер Септимус не только не раскрывал рта, но даже не делал попытки его раскрыть. Или же он говорил: «Теперь вы видите, сэр, что вы приперты к стене. Я не оставлю вам ни единой лазейки. После того как год за годом вы изощрялись в обмане и мошенничестве; после того как год за годом вы проявляли бесчестную низость в сочетании с кровожаждущей наглостью; после всего этого вы лицемерно преклоняете колени перед отребьями человечества и с визгом и воем молите о пощаде!» Во время таких тирад на лице злополучного младшего каноника изображалось попеременно то возмущение, то изумление; его почтенная мать сидела, прикусив губы, со слезами на глазах; а остальные гости впадали в какое-то студнеподобное состояние, утрачивая дар речи и всякую способность сопротивляться.

Но какие потоки благожелательства излились на мистера Сластигроха, когда приблизился час его отъезда — они, без сомнения, порадовали сердце этого проповедника любви к ближнему! Стараниями мистера Топа кофе ему подали на час раньше, чем требовалось. Мистер Криспаркл сидел возле него с часами в руке, чтобы он, не дай бог, как-нибудь не опоздал. Молодежь — все четверо — единодушно показали, что соборные часы отзвонили уже три четверти (тогда как на самом деле они пробили только одну). Мисс Твинклтон подсчитала, что до стоянки дилижанса идти надо двадцать пять минут, хотя на самом деле хватило бы и пяти. Его с такой заботливой поспешностью втиснули общими силами в пальто и выпихнули на улицу, как если б он был беглым преступником, которого надо спасать, и топот конной полиции уже слышался у черного хода. Мистер Криспаркл и его новый питомец, провожавшие мистера Сластигроха до дилижанса, так боялись, чтобы он не простудился, что немедленно захлопнули за ним дверцу и покинули его, хотя до отъезда оставалось не меньше получаса.

ГЛАВА VII

Исповедь, и притом не одна

— Я очень мало знаю, сэр, об этом господине,— сказал Невил младшему канонику, когда они шли обратно.

— Очень мало знаете о вашем опекуне? — удивленно повторил младший каноник.

— Почти что ничего.

— А как же он...

— Стал моим опекуном? Я вам объясню, сэр. Вы, вероятно, знаете, что мы с сестрой родились и выросли на Цейлоне?

— Понятия не имел.

— Странно. Мы жили там у нашего отчима. Наша мать умерла, когда мы были совсем маленькие. Жилось нам плохо. Она назначила его нашим опекуном, а он оказался отвратительным скрягой, скупился нам на еду и на одежду. Умирая, он препоручил нас этому мистеру Сла-

стигроху, уж не знаю почему; кажется, тот был каким-то его родственником или знакомым; а может быть, просто ему примелькалось это имя, потому что часто встречалось в газетах.

— Это, очевидно, было недавно?

— Да, совсем недавно. Наш отчим был не только скуп, но и жесток, настоящая скотина. Хорошо, что он умер, а то бы я его убил.

Мистер Криспаркл остановился как вкопанный и воззрился на освещенное луной лицо своего многообещающего питомца.

— Вы удивлены, сэр? — спросил тот, снова становясь кротким и почтительным.

— Я потрясен... потрясен до глубины души.

Невил понурил голову, и с минуту они шли молча. Потом юноша сказал:

— Вам не приходилось видеть, как он бил вашу сестру. А я видел, как он бил мою — и не раз и не два,— и этого я никогда не забуду.

— Ничто,— проговорил мистер Криспаркл,— даже слезы любимой красавицы сестры, вырванные у нее позорно жестоким обращением,— тон его становился все менее строгим по мере того, как он все живее представлял себе эту картину,— ничто не может оправдать ужасных слов, которые вы сейчас произнесли.

— Сожалею, что их произнес, в особенности говоря с вами, сэр. Беру их назад. Но в одном разрешите вас поправить. Вы сказали — слезы сестры. Моя сестра скорее дала бы разорвать себя на куски, чем обронила перед ним хоть одну слезинку.

Мистер Криспаркл вспомнил свои впечатления от этой молодой особы, и сказанное его не удивило и не вызвало в нем сомнений.

— Вам, может быть, покажется странным, сэр,— нерешительно продолжал юноша,— что я так сразу исповедуюсь перед вами, но позвольте мне сказать два слова в свою защиту.

— Защиту? — повторил мистер Криспаркл.— Вас никто не судит, мистер Невил.

— А мне кажется, что вы все-таки судите. И, наверно, осудили бы, если бы лучше знали мой нрав.

— А может быть, мистер Невил,— отозвался младший каноник,— подождем, пока я сам в этом разберусь?

— Как вам угодно, сэр,— ответил юноша, снова разом меняясь; теперь в голосе его звучало угрюмое разочарование.— Если вы предпочитаете, чтобы я молчал, мне остается только покориться.

Было что-то в этих словах и в том, как они были сказаны, что больно укололо совестливого младшего каноника. Ему вдруг почудилось, что он, помимо своей воли, убил доверие, только что зарождавшееся в этом искалеченном юном сознании, и тем лишил себя возможности направлять его и оказывать ему поддержку. Они уже подходили к дому; в окнах был виден свет. Мистер Криспаркл остановился.

— Давайте-ка повернем назад, мистер Невил, и пройдемся еще раз вокруг собора, а то вы не успеете все мне рассказать. Вы слишком поторопились сделать вывод, будто я не хочу вас слушать. Наоборот, я призываю вас подарить мне свое доверие!

— Вы призывали меня к этому, сэр, сами того не ведая, с первых же минут нашего знакомства. Я говорю так, словно мы уже неделю знакомы!.. Видите ли, мы с сестрой ехали сюда с намерением вызвать вас на ссору, надерзить вам и убежать.

— Да-а? — протянул мистер Криспаркл, не зная, что на это ответить.

— Мы ведь не могли знать заранее, какой вы. Ведь правда?

— Ну конечно,— согласился мистер Криспаркл.

— А так как никто из тех, кого мы до сих пор знали, нам не нравился, то мы решили, что и вы нам не понравитесь.

— Да-а? — опять протянул мистер Криспаркл.

— Но вы нам понравились, сэр, и мы увидели, что ваш дом и то, как вы нас приняли, ничуть не похоже на все, с чем мы раньше сталкивались. Ну и вот это — то, что мы тут с вами одни, и кругом стало так тихо и спокойно после отъезда мистера Сластигроха, и Клойстергэм в лунном свете такой древний, и торжественный, и красивый — все это так на меня подействовало, что мне захотелось открыть вам сердце.

— Понимаю, мистер Невил. И не надо противиться этим благотворным влияниям.

— Когда я буду говорить о своих недостатках, сэр, пожалуйста, не думайте, что это относится и к моей сестре. Сквозь все испытания нашей несчастной жизни она прошла нетронутой, она настолько же лучше меня, насколько соборная башня выше вон тех труб!

В глубине души мистер Криспаркл в этом усомнился.

— Сколько я себя помню, мне всегда приходилось подавлять кипевшую во мне злобную ненависть. Это сделало меня замкнутым и мстительным. Всегда меня гнула к земле чья-нибудь деспотическая, тяжелая рука. Это заставляло меня прибегать к обману и притворству, оружию слабых. Меня урезывали во всем — в учении, свободе, деньгах, одежде, в самом необходимом, я был лишен самых простых удовольствий детства, самых законных радостей юности. И поэтому во мне начисто отсутствуют те чувства — или те воспоминания — или те добрые побуждения — видите, я даже не знаю, как это назвать! — одним словом, все, на что вы могли опираться в тех молодых людях, с которыми привыкли иметь дело.

«Это, должно быть, правда. Но меня это не очень-то обнадеживает»,— подумал мистер Криспаркл, когда они повернули к дому.

— И еще одно, чтобы уж кончить. Я рос среди слуг-туземцев, людей примитивной расы, приниженных и раболепных, но вовсе не укрощенных, и, может быть, что-то от них перешло и ко мне. Иногда — не знаю! — но иногда я чувствую в себе каплю той тигриной крови, что течет в их жилах.

«Как только что, когда он говорил о своем отчиме»,— подумал мистер Криспаркл.

— Еще последнее слово о моей сестре (мы с ней близнецы, сэр). Мне хочется, чтобы вы знали то, что, по-моему, служит к ее величайшей чести: никакая жестокость не могла заставить ее покориться, хотя меня частенько смиряла. Когда мы убегали из дому (а мы за шесть лет убегали четыре раза, только нас опять ловили и жестоко наказывали), всегда она составляла план бегства и была вожаком. Всякий раз она переодевалась мальчиком и выказывала отвагу взрослого мужчины. В пер-

вый раз мы удрали, кажется, лет семи, но я как сейчас помню — я тогда потерял перочинный ножик, которым она хотела отрезать свои длинные кудри, и с каким же отчаянием она пыталась их вырвать или перегрызть зубами! Больше мне нечего прибавить, сэр, разве только выразить надежду, что вы запасетесь терпением и хоть на первых порах будете снисходительны ко мне.

— В этом, мистер Невил, вы можете не сомневаться,— ответил младший каноник.— Я не люблю поучать, и не отвечу проповедью на ваши искренние признания. Но я очень прошу вас помнить, что я смогу принести вам пользу, только если и вы сами будете мне в этом помогать; а для того, чтобы ваша помощь была действенной, вы сами должны искать помощи у бога.

— Постараюсь выполнить свою часть дела, сэр.

— А я, мистер Невил, постараюсь выполнить свою. Вот вам моя рука. Да благословит господь наши начинания!

Теперь они стояли у самых дверей, и из дому к ним доносился смех и веселый говор.

— Пройдемся еще раз,— сказал мистер Криспаркл,— я хочу задать вам один вопрос. Когда вы сказали, что ваше мнение обо мне изменилось, вы ведь говорили не только за себя, но и за сестру?

— Конечно, сэр.

— Простите, мистер Невил, но, по-моему, после того как мы встретились возле дилижанса, у вас не было случая переговорить с сестрой. Мистер Сластигрох, конечно, человек очень красноречивый, но не в осуждение ему будь сказано, сегодня он несколько злоупотребил своим красноречием. Не может ли быть, что вы ручаетесь за сестру без достаточных к тому оснований?

Невил горделиво улыбнулся и покачал головой.

— Вы не знаете, сэр, как хорошо мы с сестрой понимаем друг друга — для этого нам не нужно слов, довольно взгляда, а может быть, и того не нужно. Она не только испытывает к вам именно те чувства, какие я описал, она уже знает, что сейчас я говорю с вами об этом.

Мистер Криспаркл устремил на него недоверчивый взгляд, но лицо юноши выражало такую непоколебимую

убежденность в истине того, что им было сказано, что мистер Криспаркл потупился и в раздумье молчал, пока они не подошли к дому.

— А теперь уже я буду просить вас, сэр, пройтись со мною еще разок,— сказал Невил, и видно было, как темный румянец залил его щеки.— Если бы не красноречие мистера Сластигроха — вы, кажется, назвали это красноречием, сэр?..— В голосе юноши прозвучала лукавая усмешка.

— Я... гм! Да, я назвал это красноречием,— ответил мистер Криспаркл.

— Если бы не красноречие мистера Сластигроха, мне не было бы надобности вас спрашивать. Этот мистер Эдвин Друд... я правильно произношу его имя?..

— Вполне правильно,— отвечал мистер Криспаркл.— Д-р-у-д.

— Он что, тоже ваш ученик? Или был вашим учеником?

— Нет, никогда не был, мистер Невил. Просто он иногда приезжает сюда к своему родственнику, мистеру Джасперу.

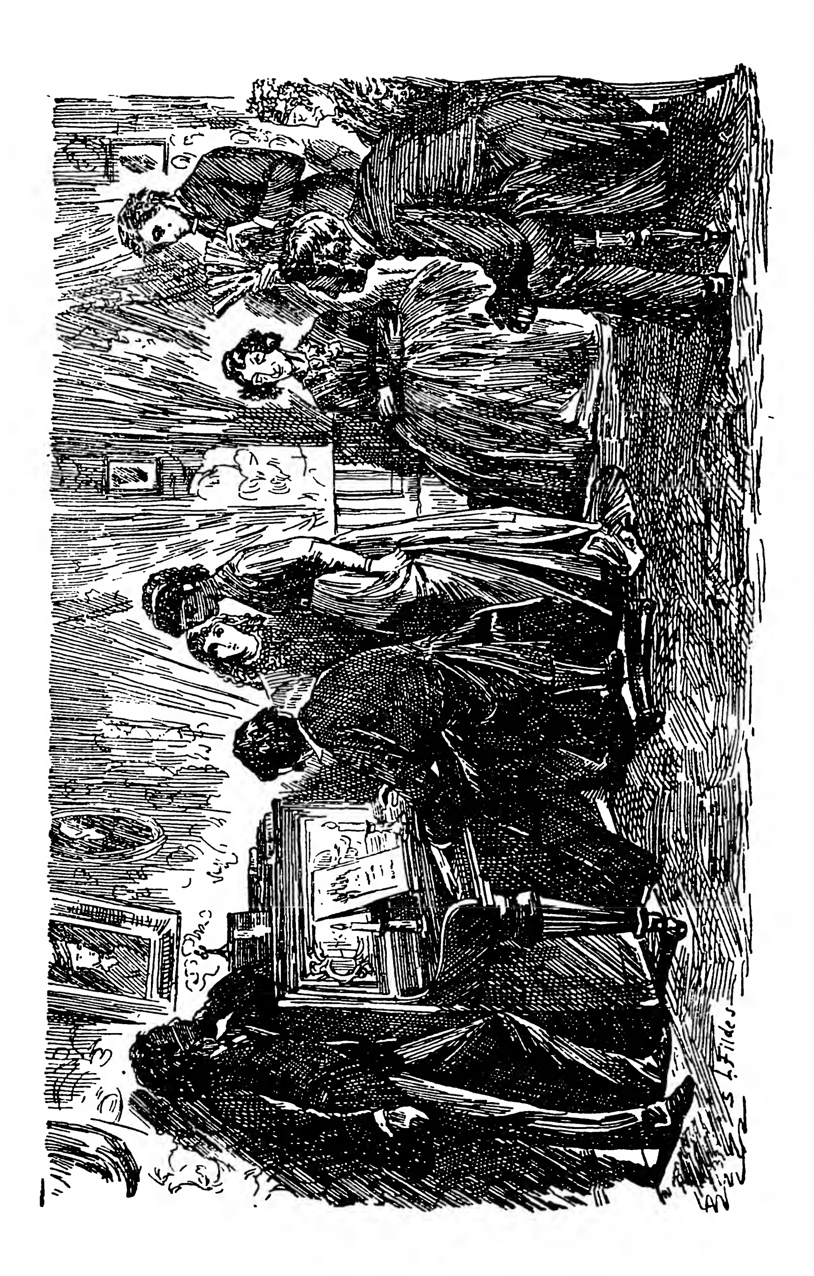
— А мисс Буттон тоже его родственница?

(«Почему он это спрашивает, да еще с таким высокомерием?» — подумал мистер Криспаркл.) Затем рассказал Невилу все, что сам знал о помолвке Розового Бутончика.

— Ах вот что! — проговорил юноша.— То-то он так с ней держится — словно она его собственность. Теперь понимаю.

Он сказал это как бы про себя или, во всяком случае, обращаясь к кому-то, кого здесь не было, а не к своему собеседнику, и мистер Криспаркл почувствовал, что отвечать не надо — это было бы так же неделикатно, как показать человеку, пишущему письмо, что ты случайно прочитал несколько строк через его плечо. Минуту спустя они уже входили в дом.

Когда они вошли в гостиную, мистер Джаспер сидел за пианино и аккомпанировал Розовому Бутончику, а она пела. Потому ли, что, играя наизусть, он не имел надобности смотреть на пюпитр, или потому, что Роза была такое невнимательное маленькое создание и легко могла



сбиться, но глаза Джаспера не отрывались от ее губ, а руки словно держали на невидимой привязи ее голос, время от времени осторожным нажимом на клавишу заботливо и настойчиво выделяя нужную ноту. Рядом с Розой и обнимая ее за талию стояла Елена, глядя, однако, не на нее, а — прямо и упорно — на мистера Джаспера; только на миг отвела она глаза, и мистеру Криспарклу показалось, что в быстром ее взгляде, обращенном к брату, сверкнуло то мгновенное и глубокое понимание, о котором только что говорил Невил. Затем мистер Невил поместился поодаль, прислонясь к пианино и устремив восхищенный взгляд на стоявшую напротив певицу; мистер Криспаркл сел возле фарфоровой пастушки; Эдвин Друд, склонясь над мисс Твинклтон, галантно обмахивал ее веером, а эта почтенная леди взирала на демонстрацию талантов своей пансионерки с тем удовлетворенным видом собственника, с каким главный жезлоносец мистер Топ оглядывал собор во время богослужения.

Пение продолжалось. Роза пела какую-то печальную песенку о разлуке, и ее свежий юный голосок звучал нежно и жалобно. А Джаспер по-прежнему неотступно следил за ее губами и по-прежнему время от времени задавал тон, словно тихо и властно шептал ей что-то на ухо — и голос певицы, чем дальше, тем чаще, стал вздрагивать, готовый сорваться; внезапно она разразилась рыданиями и вскричала, закрыв лицо руками:

— Я больше не могу! Я боюсь! Уведите меня отсюда!

Одним быстрым гибким движением Елена подхватила хрупкую красавицу и уложила ее на диван. Потом, опустившись перед нею на колено, она зажала одной рукой ее розовые губки, а другую простерла к гостям, как бы удерживая их от вмешательства, и сказала:

— Это ничего! Это уже прошло! Не говорите с ней минутку, она сейчас оправится!

В ту минуту, когда поющий голос умолк, руки Джаспера взметнулись над клавишами — и в этом положении застыли, как будто он только выдерживал паузу, готовый продолжать. Он сидел неподвижно; даже не обернулся, когда все встали с мест, взволнованно переговариваясь и успокаивая друг друга.

— Киска не привыкла петь перед чужими — вот в чем все дело,— сказал Эдвин Друд.— Разнервничалась, ну и оробела. Да и то сказать,— ты, Джек, такой строгий учитель и так много требуешь от своих учеников, что, по-моему, она тебя боится. Не удивительно!

— Не удивительно,— откликнулась Елена.

— Ну вот, слышишь, Джек? Пожалуй, при таких же обстоятельствах и вы бы его испугались, мисс Ландлес?

— Нет. Ни при каких обстоятельствах,— отвечала Елена.

Джаспер опустил, наконец, руки и, оглянувшись через плечо, поблагодарил мисс Ландлес за то, что она замолвила словечко в его защиту. Потом снова стал играть, но беззвучно, не нажимая клавиш. А его юную ученицу тем временем подвели к открытому окну, чтобы она могла подышать свежим воздухом, и все наперебой ласкали ее и успокаивали. Когда ее привели обратно, табурет у пианино был пуст.

— Джек ушел, Киска,— сказал ей Эдвин.— Ему, я думаю, было неприятно, что его тут выставили каким-то чудищем, способным напугать тебя до обморока.— Но она ничего не ответила, только дрожь прошла по ее телу; бедняжку, должно быть, застудили у открытого окна.

Тут вмешалась мисс Твинклтон; она выразила мнение, что час уже очень поздний и ей с Розой и мисс Ландлес давно бы следовало быть в стенах Женской Обители; ибо мы, на ком лежит забота о воспитании будущих английских жен и матерей (эти слова она произнесла вполголоса, доверительно обращаясь к миссис Криспаркл), мы должны (тут она снова возвысила голос) показывать добрый пример и не поощрять привычек к распущенности. После чего были принесены мантильи, и оба молодых джентльмена вызвались проводить дам. Путь до Женской Обители был недолог, и вскоре ее врата затворились за вернувшимися к своим пенатам гостьями.

Девицы уже спали, только миссис Тишер одиноко бодрствовала, поджидая новую пансионерку. Их тут же познакомили, а так как для новенькой была отведена комната, смежная с комнатой Розы, то после кратких напутствий Елену оставили на попечении подруги и простились с обеими до утра.

— Какое счастье, милочка,— с облегчением сказала Елена.— Весь день я боялась этой минуты — думала, както я встречусь с целой толпой молодых девиц.

— Нас не так уж много,— ответила Роза.— И мы, в общем, добрые девочки. Я не говорю о себе, но за остальных могу поручиться.

— А я могу поручиться за вас,— рассмеялась Елена, заглядывая своими черными огненными глазами в хорошенькое личико Розы и нежно обнимая ее хрупкий стан.— Мы с вами будем друзьями, да?

— Ах, я бы очень хотела! Но только ведь это смешно, я — и вдруг ваша подруга!

— Почему?

— Ну я же такая каплюшка, а вы красавица, умница, настоящая женщина. Вы такая сильная и решительная, вы одним пальцем можете меня смять. Рядом с вами я ничто.

— Дорогая моя, я совсем необразованна и очень дурно воспитанна — ничего не знаю из того, что полагается знать девушке, ничего не умею! Я очень хорошо понимаю, что всему еще должна учиться и горько стыжусь своего невежества.

— И, однако, признаетесь мне в этом!

— Что делать, милочка, никто не может противиться вашему обаянию.

— Ах, значит, все-таки есть во мне обаяние? — не то в шутку, не то всерьез проговорила Роза, надув губки.— Жаль, что Эдди этого не чувствует.

Об отношениях Розового Бутончика к этому молодому человеку Елену, конечно, уже успели осведомить в Доме младшего каноника.

— Да как он смеет!..— воскликнула Елена с горячностью, которая не сулила ничего доброго Эдвину в случае, если бы он посмел.— Он должен любить вас всем сердцем!

— Да он, пожалуй, и любит,— протянула Роза, снова надувая губки.— Я его ни в чем не могу упрекнуть. Может быть, я сама виновата. Может быть, я не так мила с ним, как мне бы следовало. И даже наверное. Но все это так смешно!

«Что смешно»? — взглядом спросила Елена.

— Мы смешны,— ответила Роза на ее немой вопрос.— Мы такая смешная парочка. И мы вечно ссоримся.

— Почему?

— Ну потому, что мы знаем, что мы смешны.— Роза сказала это таким тоном, как будто дала исчерпывающее объяснение.

Секунду Елена испытующе глядела ей в лицо, потом протянула к ней руки.

— Ты будешь моим другом и поможешь мне? — сказала она.

— Господи, милочка, конечно,— откликнулась Роза с детской ласковостью, проникшей в самое сердце Елены.— Я постараюсь быть тебе верной подругой, насколько такая пичужка, как я, может быть другом такого гордого существа, как ты. Но и ты тоже помоги мне. Я сама себя не понимаю, и мне очень нужен друг, который бы меня понял.

Елена Ландлес поцеловала ее и, не отпуская ее рук, спросила:

— Кто такой мистер Джаспер?

Роза отвернула головку и проговорила, глядя в сторону:

— Дядя Эдвина и мой учитель музыки.

— Ты его не любишь?

— Ух! — Она закрыла лицо руками, содрогаясь от страха или отвращения.

— А ты знаешь, что он влюблен в тебя?

— Не надо, не надо!..— вскричала Роза, падая на колени и прижимаясь к своей новой защитнице.— Не говори об этом! Я так его боюсь. Он преследует меня как страшное привидение. Я нигде не могу укрыться от него. Стоит кому-нибудь назвать его имя, и мне чудится, что он сейчас пройдет сквозь стену.— Она испуганно оглянулась, словно и в самом деле боялась увидеть его в темном углу за своей спиной.

— Все-таки постарайся, милочка, еще рассказать о нем.

— Да, да, я постараюсь. Я расскажу. Потому что ты такая сильная. Но ты держи меня крепко и после не оставляй одну.

— Деточка моя! Ты так говоришь, словно он осмелился угрожать тебе.

— Он никогда не говорил со мной — об *этом*. Никогда.

— А что же он делал?

— Он только смотрел на меня — и я становилась его рабой. Сколько раз он заставлял меня понимать его мысли, хотя не говорил ничего, сколько раз он приказывал мне молчать, хотя не произносил ни слова. Когда я играю, он не отводит глаз от моих пальцев; когда я пою, он не отрывает взгляда от моих губ. Когда он меня поправляет и берет ноту или аккорд или проигрывает пассаж — он сам в этих звуках, он шепчет мне о своей страсти и запрещает выдавать его тайну. Я никогда не смотрю ему в глаза, но я все равно их вижу, он меня заставляет. Даже когда они у него вдруг тускнеют — это бывает — и он словно куда-то уходит, в какую-то страшную грезу, где творятся, я не знаю, какие ужасы,— даже тогда он держит меня в своей власти — я все понимаю, что с ним происходит, и все время чувствую, что он сидит рядом и угрожает мне. Как я его тогда боюсь!

— Да что же это за угроза, деточка? Чем он грозит?

— Не знаю. Я никогда не решалась даже подумать об этом.

— И сегодня вечером так было?

— Да. Только еще хуже. Сегодня, когда я пела, а он смотрел на меня, я не только боялась, мне было стыдно и мерзко. Как будто он целовал меня, а я ничего не могла сделать — вот тогда я и закричала... Только, ради бога,— никому ни слова об этом! Эдди так к нему привязан. Но ты сказала сегодня, что не испугалась бы его, ни при каких обстоятельствах, вот я и набралась смелости рассказать, но только тебе одной. Держи меня крепче! Не уходи! А то я умру от страха!

Яркое смуглое лицо склонилось над прижавшейся к коленям подруги светлой головкой, густые черные кудри, как хранительный покров, ниспали на полудетские руки и плечики. В черных глазах зажглись странные отблески — как бы дремлющее до поры пламя, сейчас смягченное состраданием и любовью. Пусть побережется тот, кого это ближе всех касается!

ГЛАВА VIII

Кинжалы обнажены

Оба молодых человека, проводив дам, еще минуту стоят у запертых ворот Женской Обители; медная дощечка вызывающе сверкает в лунном свете, как будто дряхлый щеголь, о котором уже шла речь, дерзко уставил на них свой монокль; молодые люди смотрят друг на друга, потом на уходящую вдаль, озаренную луной, улицу и лениво направляются обратно к собору.

— Вы еще долго здесь прогостите, мистер Друд? — говорит Невил.

— На этот раз нет,— небрежно отвечает Эдвин.— Завтра возвращаюсь в Лондон. Но я еще буду приезжать время от времени — до середины лета. А тогда уж распрощаюсь с Клойстергэмом и с Англией — и, должно быть, надолго.

— Думаете уехать в чужие края?

— Да, собираюсь немножко расшевелить Египет,— снисходительно роняет молодой инженер.

— А сейчас изучаете какие-нибудь науки?

— Науки! — с оттенком презрения повторяет Эдвин.— Нет, я не корплю над книгами. Это не по мне. Я действую, работаю, знакомлюсь с машинами. Мой отец оставил мне пай в промышленной фирме, в которой был компаньоном; и я тоже займу в ней свое скромное место, когда достигну совершеннолетия. А до тех пор Джек — вы его видели за обедом — мой опекун и попечитель. Это для меня большая удача.

— Я слышал от мистера Криспаркла и о другой вашей удаче.

— А что вы, собственно, этим хотите сказать? Какая еще удача?

Невил сделал свое замечание с той характерной для него манерой, которая уже была отмечена мистером Криспарклом,—с вызовом и вместе как-то настороженно, что делало его похожим одновременно и на охотника и на того, за кем охотятся. Но ответ Эдвина был так резок, что выходил уже из границ вежливости. Оба останавливаются и мерят друг друга неприязненными взглядами.

— Надеюсь, мистер Друд,— говорит Невил,— для вас нет ничего оскорбительного в моем невинном упоминании о вашей помолвке?

— А, черт,— восклицает Эдвин и снова, уже учащенным шагом, идет дальше.— В этом болтливом старом городишке каждый считает своим долгом упомянуть о моей помолвке. Удивляюсь еще, что какой-нибудь трактирщик не догадался намалевать на вывеске мой портрет с подписью: «Жених». Или Кискин портрет с подписью: «Невеста».

— Я не виноват,— снова заговаривает Невил,— что мистер Криспаркл, вовсе не делая из этого секрета, рассказал мне о вашей помолвке с мисс Буттон.

— Да, в этом вы, конечно, не виноваты,— сухо подтверждает Эдвин.

— Но я виноват,— продолжает Невил,— что заговорил об этом с вами. Я не знал, что это для вас обидно. Мне казалось, что вы можете этим только гордиться.

Две любопытных черточки человеческой природы проявляются в этом словесном поединке и составляют его тайную подоплеку. Невил Ландлес уже неравнодушен к Розовому Бутончику и поэтому негодует, видя, что Эдвин Друд (который ее не стоит) так мало ценит свое счастье. А Эдвин Друд уже неравнодушен к Елене и поэтому негодует, видя, что ее брат (который ее не стоит) так высокомерно обходится с ним, Эдвином, и, судя по всему, ни в грош его не ставит.

Однако это последнее язвительное замечание требует ответа. И Эдвин говорит:

— Я не уверен, мистер Невил (он заимствует это обращение у мистера Криспаркла), что если человек чем-то гордится больше всего на свете, так уж он должен кричать об этом на всех перекрестках. И я не уверен, что если он чем-то гордится больше всего на свете, то ему так уж приятно, когда об этом судачит всякий встречный и поперечный. Но я до сих пор вращался главным образом в деловых кругах, где мыслят просто, и я могу ошибаться. Это вам, ученым, полагается все знать, ну и вы, конечно, все знаете.

Теперь уж оба кипят гневом — Невил открыто, Эдвин Друд — притворяясь равнодушным и то напевая модный

романс, то останавливаясь, чтобы полюбоваться живописными эффектами лунного освещения.

— Мне кажется,— говорит, наконец, Невил,— что это не слишком учтиво с вашей стороны — насмехаться над чужестранцем, который, не имея преимуществ вашего воспитания, приехал сюда в надежде наверстать потерянное время. Но я, правда, никогда не вращался в деловых кругах — мои понятия об учтивости слагались среди язычников.

— Самая лучшая форма учтивости, независимо от того, где человек воспитывался,— возражает Эдвин,— это не совать нос в чужие дела. Если вы покажете мне пример, обещаю ему последовать.

— А не слишком ли много вы на себя берете? — раздается ему в ответ.— Знаете ли вы, что в той части света, откуда я прибыл, вас за такие слова притянули бы к ответу?

— Кто бы это, например? — спрашивает Эдвин, круто останавливаясь и окидывая Невила надменным взглядом.

Но тут на его плечо неожиданно ложится чья-то рука — Джаспер стоит между ними. Он, видно, бродил где-то возле Женской Обители, скрытый в тени домов, и теперь незаметно подошел сзади.

— Нэд, Нэд! — говорит он.— Довольно! Мне это не нравится. Я слышал резкие слова! Вспомни, мой дорогой мальчик, что ты сейчас как бы в положении хозяина. Ты не чужой в этом городе, а мистер Невил здесь гость, так не забывай же о долге гостеприимства. А вы, мистер Невил,— при этом он кладет другую руку на плечо юноши, и так они идут дальше, те двое по бокам, Джаспер посередине,— вы меня простите, но я и вас попрошу быть сдержаннее. Что тут у вас произошло? Но к чему спрашивать? Ничего, конечно, не произошло и никаких объяснений не нужно. Мы и так понимаем друг друга и отныне между нами мир. Так, что ли?

Минуту оба молодых человека молчат, выжидая, кто заговорит первый. Потом Эдвин Друд отвечает:

— Что касается меня, Джек, то я больше не сержусь.

— Я тоже,— говорит Невил Ландлес, хотя и не так охотно или, может быть, не так небрежно.— Но если бы мистер Друд знал мою прежнюю жизнь — там, в далеких

краях,— он, возможно, понял бы, почему резкое слово иногда режет меня как ножом.

— Знаете,— успокаивающе говорит Джаспер,— пожалуй, лучше не вдаваться в подробности. Мир так мир, а делать оговорки, ставить условия — это как-то невеликодушно. Вы слышали, мистер Невил,— Нэд добровольно и чистосердечно заявил, что больше не сердится. А вы, мистер Невил? Скажите — добровольно и чистосердечно,— вы больше не сердитесь?

— Нисколько, мистер Джаспер.— Однако говорит он это не так уж добровольно и чистосердечно, а может быть, повторяем, не так небрежно.

— Ну, стало быть, и кончено. А теперь я вам вот что скажу: моя холостяцкая квартира в двух шагах отсюда, и чайник уже на огне, а вино и стаканы на столе, а до Дома младшего каноника от меня минута ходу. Нэд, ты завтра уезжаешь. Пригласим мистера Невила выпить с нами стакан глинтвейна, разопьем, так сказать, прощальный кубок?

— Буду очень рад, Джек.

— Буду очень рад, мистер Джаспер.— Невил понимает, что иначе ответить нельзя, но идти ему не хочется. Он чувствует, что еще плохо владеет собой; спокойствие Эдвина Друда, вместо того чтобы и его успокоить, вызывает в нем раздражение.

Джаспер, по-прежнему идя в середине между обоими юношами и держа руки у них на плечах, затягивает своим звучным голосом припев к застольной песне, и все трое поднимаются к нему в комнату. Первое, что они здесь видят, когда к пламени горящих дров прибавляется свет зажженной лампы, это портрет над камином. Вряд ли он может способствовать согласию между юношами, ибо, совсем некстати, напоминает о том, что впервые возбудило в них враждебное чувство. Поэтому оба, хотя и поглядывают на портрет, но украдкой и молча. Однако мистер Джаспер, который, должно быть, слышал на улице не все и не разобрался в причинах ссоры, тотчас привлекает к нему их внимание.

— Узнаете, кто это, мистер Невил? — спрашивает он, поворачивая лампу так, что свет падает на изображение над камином.

— Узнаю. Но это неудачный портрет, он несправедлив к оригиналу.

— Вот какой вы строгий судья! Это Нэд написал и подарил мне.

— Простите, ради бога, мистер Друд! — Невил искренне огорчен своим промахом и стремится его загладить.— Если б я знал, что нахожусь в присутствии художника...

— Да это же так, в шутку, написано,— лениво перебивает его Эдвин Друд, подавляя зевок.— Просто для смеха. Так сказать, Киска в юмористическом освещении. Но когда-нибудь я напишу ее всерьез, если, конечно, она будет хорошо вести себя.

Все это он говорит со скучающим видом, развалясь в кресле и заложив руки за голову, и его небрежно снисходительный тон еще больше раздражает вспыльчивого и уже готового вспылить Невила. Джаспер внимательно смотрит сперва на одного, потом на другого, чуть-чуть усмехается и, отвернувшись к камину, приступает к изготовлению пунша. Это, по-видимому, очень сложная процедура, которая отвлекает его надолго.

— А вы, мистер Невил,— говорит Эдвин, тотчас же прочитав негодование на лице молодого Ландлеса, ибо оно не менее доступно глазу, чем портрет на стене, или камин, или лампа,— если бы вздумали нарисовать свою возлюбленную...

— Я не умею рисовать,— резко перебивает тот.

— Ну это уж ваша беда, а не ваша вина. Умели б, так нарисовали б. Но если бы вы умели, то, независимо от того, какова она, вы бы, наверно, изобразили ее Юноной, Минервой, Дианой и Венерой в одном лице?

— У меня нет возлюбленной, так что я не могу вам сказать.

— Вот если бы я взялся писать портрет мисс Ландлес,— говорит Эдвин с юношеской самоуверенностью,— и, конечно, всерьез, только всерьез,— тогда вы бы увидели, что я могу!

— Для этого нужно еще, чтобы она согласилась вам позировать. А так как она никогда не согласится, то, боюсь, я никогда не увижу, что вы можете. Уж как-нибудь примирюсь с такой потерей.

Мистер Джаспер, закончив свои манипуляции у камина, поворачивается к гостям, наливает большой бокал для Невила, другой, такой же, для Эдвина и подает им. Потом наливает третий для себя и говорит:

— Ну, мистер Невил, выпьем за моего племянника. Так как, образно выражаясь, его нога уже в стремени, эту прощальную чашу надо посвятить ему. Нэд, дорогой мой, за твое здоровье!

Он первый залпом выпивает почти весь бокал, оставив лишь немного на донышке. Невил делает то же самое. Эдвин говорит:

— Благодарю вас обоих,— и следует их примеру.

— Посмотрите на него! — с восхищением и нежностью, но и с добродушной насмешкой восклицает Джаспер, протягивая руку к Эдвину; он и любуется им и слегка над ним подтрунивает.— Посмотрите, мистер Невил, с какой царственной небрежностью он раскинулся в кресле! Этакий баловень счастья! Весь мир у его ног, выбирай что хочешь! Какая жизнь ему предстоит! Увлекательная, интересная работа, путешествия и новые яркие впечатления, любовь и семейные радости! Посмотрите на него!

Лицо Эдвина Друда как-то уж очень быстро и сильно раскраснелось от выпитого вина; также и лицо Невила Ландлеса. Эдвин по-прежнему лежит в кресле, сплетя руки на затылке и опираясь на них головой как на подушку.

— И как мало он это ценит! — все так же, словно поддразнивая, продолжает Джаспер.— Ему лень даже руку протянуть, чтобы сорвать золотой плод, что зреет для него на ветке. А какая разница между ним и нами, мистер Невил. Нам с вами будущее не сулит ни увлекательной работы, ни перемен и новых впечатлений, ни любви и семейных радостей. У нас с вами (разве только вам больше повезет, чем мне, это, конечно, возможно), но пока что у нас с вами впереди лишь унылый круг скучнейших ежедневных занятий в этом унылом, скучнейшем городишке, где ничто никогда не меняется!

— Честное слово, Джек,— самодовольно говорит Эдвин,— мне даже совестно, прямо хоть прощения проси за то, что у меня все так гладко. То есть, это ты сейчас говоришь, будто все гладко,— а на самом деле, я знаю и ты знаешь, что оно вовсе не так. Что, Киска? — он щелкает



пальцами, глядя на портрет.— Пожалуй, кое-что придется еще разглаживать. А, Киска? Ты, Джек, понимаешь, о чем я говорю.

Язык у него уже плохо ворочается и рот словно кашей набит. Джаспер, сдержанный и спокойный, как всегда, взглядывает на Невила, как бы ожидая от него ответа или возражения. Когда тот заговаривает, язык у него тоже плохо ворочается и рот словно набит кашей.

— По-моему, мистеру Друду полезно было бы испытать лишения! — с вызовом говорит он.

— А почему,— отвечает Эдвин, не меняя позы, только глазами поведя в его сторону,— почему мистеру Друду было бы полезно испытать лишения?

— Да, почему? — любознательно осведомляется Джаспер.— Объясните нам, мистер Невил.

— Потому что тогда он бы понял, что если ему привалило такое счастье, так это еще ни в коей мере не значит, что он его заслужил.

Мистер Джаспер быстро взглядывает на племянника, ожидая ответа.

— А сами-то вы испытали лишения? — спрашивает Эдвин Друд, выпрямляясь в кресле.

Мистер Джаспер быстро взглядывает на Невила.

— Испытал.

— И что же вы поняли?

Глаза мистера Джаспера все время перебегают с одного собеседника на другого, и эта быстрая игра выжидательных взглядов продолжается до конца разговора.

— Я уже вам сказал — еще там, на улице.

— Что-то не слыхал.

— Нет, вы слышали. Я сказал, что вы слишком много на себя берете.

— Кажется, вы еще что-то прибавили?

— Да, я еще кое-что прибавил.

— Повторите!

— Я сказал, что в той стране, откуда я прибыл, вас бы за это притянули к ответу.

— Только там! — с презрительным смехом восклицает Эдвин Друд.— А это, кажется, очень далеко? Ага, понимаю. Та страна далеко, и мы с вами от нее на безопасном расстоянии!

— Хорошо, пусть здесь! — Невил вскакивает, дрожа от гнева.— Пусть где угодно! Ваше тщеславие невыносимо, вашей наглости нельзя терпеть! Вы так себя держите, словно вы невесть какое сокровище, а вы просто грубиян! Да еще и бахвал при этом!

— Х-ха! — говорит Эдвин; он тоже разозлен, но лучше владеет собой.— А откуда вы это знаете? Я понимаю, если бы речь шла о чернокожих, тут вы могли бы сказать, что вот, мол, черный грубиян, а вот черный бахвал — их, наверно, много было среди ваших знакомых. Но как вы можете судить о белых людях?

Этот оскорбительный намек на смуглый цвет кожи Невила приводит того в такое неистовство, что он внезапным движением выплескивает остатки вина из своего бокала в лицо Эдвину, да и бокал отправил бы туда же, но Джаспер успевает схватить его за руку.

— Нэд, дорогой мой! — громко кричит он.— Я прошу, я требую — ни слова больше! — Все трое вскочили, звенит стекло, грохочут опрокинутые стулья.— Мистер Невил, стыдитесь! Отдайте стакан! Разожмите руку, сэр! Отдайте, говорю вам!

Но Невил бешено отталкивает его; вырывается; мгновение стоит, задыхаясь от ярости, со стаканом в поднятой руке. Потом с такой силой швыряет его в каминную решетку, что осколки дождем сыплются на пол; и выбегает из дому.

Очутившись на воздухе, он останавливается: все вертится и качается вокруг него, он ничего не видит и не узнает,— он чувствует только, что стоит с обнаженной головой посреди кроваво-красного вихря, что на него сейчас нападут и он будет биться до самой смерти.

Но ничего не происходит. Луна холодно глядит на него с высоты, словно он уже умер от разорвавшей ему сердце злобы. Все тихо; только кровь молотом стучит в висках. Стиснув голову руками, пошатываясь, он уходит. И слышит напоследок, что в доме задвигают засовы и накладывают болты, запираясь от него как от свирепого зверя. И думает — что же теперь делать?..

В уме его проносится дикая, отчаянная мысль о реке. Но серебряный свет луны на стенах собора и на могильных плитах, воспоминание о сестре и о добром человеке,

который только сегодня завоевал его доверие и обещал ему поддержку, постепенно возвращают ему рассудок. Он поворачивает к Дому младшего каноника и робко стучит в дверь.

В Доме младшего каноника ложатся рано, но сам мистер Криспаркл любит, когда уже все заснули, посидеть еще часок в одиночестве, тихонько наигрывая на пианино и напевая какую-нибудь из своих любимых арий. Южный ветер, который веет, где хочет, и, случается, тихими стопами бродит в ночи вкруг Дома младшего каноника, наверно, производит при том больше шума, чем мистер Криспаркл в эти поздние часы — так бережет добрый Септимус сон фарфоровой пастушки.

На стук тотчас выходит сам мистер Криспаркл со свечой в руке. Когда он открывает дверь, лицо его вытягивается, выражая печальное удивление.

— Мистер Невил! В таком виде! Где вы были?

— У мистера Джаспера, сэр. Вместе с его племянником.

— Войдите.

Младший каноник твердой рукой берет юношу под локоть (по всем правилам науки о самообороне, досконально усвоенной им во время утренних упражнений), ведет его в свою маленькую библиотеку и плотно затворяет дверь.

— Я дурно начал, сэр. Очень дурно.

— Да, к сожалению. Вы нетрезвы, мистер Невил.

— Боюсь, что так, сэр. Но, честное слово, клянусь вам,— я выпил самую малость, не понимаю, почему это так на меня подействовало.

— Ах, мистер Невил, мистер Невил,— младший каноник с печальной улыбкой качает головой,— все так говорят.

— И, по-моему,— я не знаю, я и сейчас еще как в тумане — но, по-моему, племянник мистера Джаспера был не в лучшем состоянии.

— Весьма вероятно,— сухо замечает младший каноник.

— Мы поссорились, сэр. Он грубо оскорбил меня. Да он еще и до этого делал все, чтобы распалить во мне ту тигриную кровь, о которой я вам говорил.

— Мистер Невил,— мягко, но твердо останавливает его младший каноник,— я попросил бы вас не сжимать правый кулак, когда вы разговариваете со мной. Разожмите его, пожалуйста.

Юноша тотчас повинуется.

— Он так раздразнил меня,— продолжает Невил,— что я не мог больше терпеть. Сперва он, может быть, делал это не нарочно. Но потом уже нарочно. Короче говоря,— Невил снова вдруг загорается гневом,— он своими издевками довел меня до того, что я готов был пролить его кровь. И чуть было не пролил.

— Вы опять сжали кулак,— спокойно говорит мистер Криспаркл.

— Простите, сэр.

— Вы знаете, где ваша комната, я вам показывал перед обедом. Но я вас все-таки провожу. Позвольте вашу руку. И, пожалуйста, тише, все уже спят.

Мистер Криспаркл снова, все тем же научным приемом, берет Невила под руку и, зажав ее под собственным локтем не менее хитро и умело, чем испытанный в таких делах полицейский, с невозмутимым спокойствием, недоступным новичку, ведет своего воспитанника в приготовленную для него чистую и уютную комнатку. Придя туда, юноша бросается в кресло и, протянув руки на письменный стол, роняет на них голову в припадке раскаяния и самоуничижения.

Кроткий мистер Септимус намеревался уйти, не говоря более ни слова. Но, оглянувшись на пороге и видя эту жалкую фигуру, он возвращается, кладет руку юноше на плечо и говорит ласково:

— Спокойной ночи! — В ответ раздается рыдание. Это неплохой ответ; пожалуй, лучший из всех, какие могли быть.

Спускаясь по лестнице, он опять слышит тихий стук у парадного хода и идет открыть. Отворив дверь, он видит перед собой мистера Джаспера, который держит в руках шляпу его воспитанника.

— У нас только что произошла ужасающая сцена,— говорит мистер Джаспер, протягивая ему шляпу.

— Неужели так плохо?

— Могло кончиться убийством.

— Нет, нет, нет! — протестует мистер Криспаркл.— Не говорите таких ужасных слов!

— Он едва не поверг моего дорогого мальчика мертвым к моим ногам. Он так зверски на него накинулся... Если бы я вовремя не удержал его — благодарение богу, у меня хватило проворства и силы,— пролилась бы кровь.

Это поражает мистера Криспаркла. «Ах,— думает он,— его собственные слова!»

— После того, что я сегодня видел и слышал,— продолжает мистер Джаспер,— я не буду знать ни минуты покоя. Всегда буду думать — вдруг они опять где-нибудь встретились, с глазу на глаз, и некому его остановить? Сегодня он был прямо страшен. Есть что-то от тигра в его темной крови.

«Ах,— думает мистер Криспаркл,— так и он говорил!»

— Дорогой мой сэр,— продолжает Джаспер,— вы сами не в безопасности.

— Не бойтесь за меня, Джаспер,— отвечает младший каноник со спокойной улыбкой.— Я за себя не боюсь.

— Я тоже не боюсь за *себя,* — возражает Джаспер, подчеркивая последнее слово.— Я не вызываю в нем злобы,— для этого нет причин, да и быть не может. Но вы можете ее вызвать, а мой дорогой мальчик уже вызвал. Спокойной ночи!

Мистер Криспаркл возвращается в дом, держа в руках шляпу, которая так легко и незаметно приобрела право висеть у него в передней, вешает ее на крючок и задумчиво уходит к себе в спальню.

ГЛАВА IX

Журавли в небе

Оставшись круглой сиротой в раннем детстве, Роза с семи лет не знала иного дома, кроме Женской Обители, и иной матери, кроме мисс Твинклтон. Свою родную мать она помнила смутно как прелестное маленькое создание,

очень похожее на нее самое (и лишь немногим старше, как ей казалось). Зато ярким и отчетливым было воспоминание о том роковом дне, когда отец Розы на руках принес свою мертвую жену домой — она утонула во время прогулки. Каждая складка и каждый узор нарядного летнего платья, длинные влажные волосы с запутавшимися в них лепестками от размокшего венка, скорбная красота уложенной на кровать юной покойницы — все это неизгладимо запечатлелось в памяти Розы. Также сперва бурное отчаяние, а после угрюмая подавленность ее бедного молодого отца, который скончался, убитый горем, в первую годовщину своей утраты.

Единственным его утешением в эти тяжкие месяцы было внимание и сочувствие близкого друга и бывшего школьного товарища, Друда, тоже рано оставшегося вдовцом; отсюда и родилась мысль о помолвке Розы. Но и этот друг вскоре ушел той одинокой дорогой, в которую рано или поздно вливаются все земные странствия. Вот каким образом сложились уже известные нам отношения между Эдвином и Розой.

Общее настроение умиленной жалости, словно облаком окутавшее сиротку при первом ее появлении в Женской Обители, не рассеялось и позже. Оно только окрашивалось в более светлые тона по мере того, как девочка подрастала, хорошела и веселела. Оно бывало то золотым, то розовым, то лазурным, но всегда окружало ее каким-то особенным, трогательным ореолом. Все старались утешить ее и приласкать — а привело это к тому, что с Розой всегда обращались так, словно она была моложе своих лет, и продолжали баловать ее как дитя, когда она уже вышла из детского возраста. Пансионерки спорили между собой, кто будет ее любимицей, кто, предугадывая ее желания, сделает ей какой-нибудь маленький подарок или окажет ту или иную услугу; кто возьмет ее к себе на праздники; кто станет чаще всех писать ей, пока они в разлуке, и кому она больше всего обрадуется при встрече — и это ребяческое соперничество порождало иной раз огорчения и ссоры в стенах Женской Обители. Но дай бог, чтобы бедняжки-монахини, некогда искавшие здесь успокоения, таили под своими покрывалами и четками не более серьезные распри, чем эти!

Так Роза росла, оставаясь ребенком — милым, взбалмошным, своевольным и очаровательным; избалованным — в том смысле, что привыкла рассчитывать на доброту окружающих, но не в том смысле, что платила им равнодушием. В ней бил неиссякаемый родник дружелюбия, и сверкающие его струи в течение многих лет освежали и озаряли сумрачный старый дом. Но глубины ее существа еще не были затронуты; и что станется с ней, когда это произойдет, какие перемены свершатся тогда в беззаботной головке и беспечном сердце, могло показать только будущее.

Весть о том, что молодые джентльмены вчера поссорились и чуть ли даже мистер Невил не поколотил Эдвина Друда, проникла в пансион еще до завтрака, а каким путем — сказать невозможно. То ли ее обронили на лету птицы или забросил ветер, когда утром раскрыли окна; то ли ее принес булочник запеченной в хлебе или молочник вместе с прочими подмесями, коими он разбавлял молоко; то ли она осела из воздуха на коврики, взамен пыли, которую из них выбили поутру служанки энергичными ударами о столбы ворот; достоверно одно — что весть эта расползлась по всему дому раньше, чем мисс Твинклтон сошла вниз; а мисс Твинклтон узнала ее от миссис Тишер, пока еще одевалась или — как сама она выразилась бы в разговоре с пристрастным к мифологии родителем или опекуном — возлагала жертвы на алтарь Граций.

Брат мисс Ландлес бросил бутылкой в мистера Эдвина Друда.

Брат мисс Ландлес бросил ножом в мистера Эдвина Друда.

Нож приводил на память вилку; откуда новый вариант: брат мисс Ландлес бросил вилкой в мистера Эдвина Друда.

Но если в известной истории о том, как Петрик-ветрик перчил вепря верцем-перцем тру-ля-ля! — прежде всего заинтересовывает физический факт, а именно таинственный верец-перец, которым ветреный Петрик вздумал перчить незадачливого вепря, то в данной истории всех интересовал факт психологический, а именно таинственная причина, побудившая брата мисс Ландлес бросить в Эд-

вина бутылкой, ножом или вилкой, а может быть, даже бутылкой, ножом *и* вилкой, ибо, по сведениям, полученным поварихой, в деле участвовали все три предмета.

Желаете ее знать? Пожалуйста! Брат мисс Ландлес сказал, что влюблен в мисс Буттон. Мистер Эдвин Друд сказал, что это довольно нахально с его стороны — влюбляться в мисс Буттон (так по крайней мере, выходило в изложении поварихи). Тогда брат мисс Ландлес вскочил, схватил бутылку, нож, вилку и графин (в последний момент усердием той же поварихи присоединенный к ранее обнародованному списку метательных снарядов) и запустил всем этим в мистера Эдвина Друда.

Бедная малютка Роза, когда до нее дошли эти вести, заткнула себе оба уха указательными пальчиками и, забившись в угол, только жалобно умоляла, чтобы ей ничего больше не рассказывали. Но действия мисс Ландлес отличались большей определенностью: надеясь узнать правду от мистера Криспаркла, она немедленно отправилась к мисс Твинклтон и просила разрешения пойти поговорить с братом, дав при этом понять, что обойдется и без разрешения, если в таковом ей будет отказано.

Когда Елена вернулась к своим товаркам (сперва задержавшись на короткое время в гостиной мисс Твинклтон, где принесенные сведения были заботливо отцежены от всего неприличного для ушей воспитанниц), она только одной Розе рассказала о вчерашнем столкновении, да и то не полностью; она утверждала — с пылающими щеками,— что брат ее был грубо оскорблен, но почти не коснулась всего, что предшествовало последнему непереносному оскорблению; «так, были разные колкости», сказала она, но, щадя подругу, не пояснила, что колкости возникли, главным образом, оттого, что Эдвин слишком уж легко и небрежно говорил о предстоящей ему женитьбе. Затем она передала Розе уже непосредственно к ней обращенную просьбу брата — он умолял простить его,— и, выполнив свой сестринский долг, прекратила всякие разговоры на эту тему.

Необходимость умерить брожение умов в Женской Обители легла на плечи мисс Твинклтон. Когда эта почтенная матрона величаво вплыла в помещение, которое плебеи назвали бы классной комнатой, но которое на па-

трицианском языке начальницы Женской Обители эвфуистически и, возможно, не в полном соответствии с действительностью именовалось «залом для научных занятий», и торжественно, как прокурор на суде, произнесла: «Милостивые государыни!» — все встали. Миссис Тишер тотчас с видом воинственной преданности заняла место позади своей хозяйки, как бы изображая собой отмеченную историей первую сторонницу королевы Елизаветы во время памятных событий в Тильбюрийском форте *. Затем мисс Твинклтон сказала, что Молва, милостивые государыни, была изображена Эвонским бардом — надеюсь, всем понятно, что речь идет о бессмертном Шекспире, которого также называют Лебедем его родной реки, основываясь, надо полагать, на древнем суеверии, будто эта птица с изящным оперением (мисс Дженнингс, будьте добры стоять прямо) сладкогласно поет перед смертью, что, однако, не подтверждается данными орнитологии, итак, Молва, милостивые государыни, была изображена этим бардом, который... э-гм! —

...пером как кистию владея,
Оставил нам блистательный портрет еврея,

Молва, говорю я, была изображена им стоустой и многоязыкой. Молва в Клойстергэме (мисс Фердинанд, не откажите уделить мне немного внимания) не отличается от Молвы во всех прочих местах, имея те же характеристические черты, столь тонко подмеченные великим портретистом. Незначительный fracas [1] между двумя молодыми джентльменами, имевший место вчера вечером в радиусе не далее ста миль от этих мирных стен (так как мисс Фердинанд по всем признакам неисправима, ей придется сегодня же вечером переписать первые четыре басни нашего остроумного соседа, м-сье Лафонтена, на языке автора), был грубо преувеличен устами Молвы. В первую минуту смятения и тревоги, вызванной сочувствием к дорогому нам юному существу, для которого в известном смысле не является чужим один из гладиаторов, подвизавшихся на вышеупомянутой бескровной арене (неприличие поведения мисс Рейнольдс, пытающейся, кажется, поразить

[1] Стычка *(франц.)*.

себя в бант булавкой, слишком очевидно и столь недостойно молодой девицы, что о нем незачем и говорить), мы решили сойти с наших девственных высот, дабы обсудить эту низменную и всячески неподобающую тему. Однако свидетельства авторитетных лиц убедили нас в том, что все происшедшее относится к категории тех «воздушных миражей», о коих говорит поэт (чье имя и дату рождения мисс Гигглс будет добра выяснить в течение ближайшего получаса), и мы предлагаем вам забыть этот прискорбный случай и сосредоточить все свое внимание на приятных трудах текущего дня.

Но прискорбный случай не был забыт во весь текущий день, и за обедом мисс Фердинанд навлекла на себя новые кары, так как, нацепив бумажные усы, исподтишка замахивалась графином на мисс Гигглс, а та оборонялась столовой ложкой.

Роза также много думала о вчерашних событиях,— думала с гнетущим чувством, смутно догадываясь, что и сама она как-то замешана в этой истории — не то в ее причинах, не то в последствиях, не то еще неизвестно как — и что это связано с общим ее фальшивым положением в отношении жениха и помолвки. В последнее время это гнетущее чувство не покидало ее как в присутствии Эдвина, так и тогда, когда его с ней не было. А в этот день она вдобавок была предоставлена самой себе и даже не могла отвести душу в откровенной беседе со своей новой подругой, потому что ссора-то была с братом Елены, и та явно избегала трудного и щекотливого для нее разговора. И как на грех именно в этот критический момент Розе сообщили, что прибыл ее опекун и желает ее видеть.

Мистер Грюджиус был назначен опекуном Розы за свою безупречную честность — и этим необходимым для опекуна внутренним качеством он обладал вполне, но внешние его данные не слишком соответствовали такой роли. Он был до того сух и тощ, что казалось, если его смолоть на мельнице, от него останется только горсточка сухого нюхательного табаку. Его коротко остриженная голова напоминала старую шапку из облезлого желтого меха — так мало походила украшавшая ее скудная поросль на обыкновенные человеческие волосы. В первую минуту всякий, глядя на него, думал, что он в парике, но

тут же отвергал эту мысль, ибо невозможно было себе представить, чтобы кто-нибудь по доброй воле стал носить такой безобразный парик. Его корявое лицо с резкими морщинами на лбу отличалось какой-то деревянной неподвижностью, как будто Природа, создавая его, очень торопилась и, не успев придать наспех вырубленным чертам какое-либо выражение — по замыслу, может быть, даже чувствительное и тонкое,— отбросила резец и сказала: «Ну, мне некогда доделывать этого человека, пусть идет так».

Нескладный и долговязый, с длинной жилистой шеей на верхнем конце его сухопарой фигуры и длинными ступнями и пятками на нижнем ее конце, неловкий и угловатый, с медлительной речью и неуклюжей поступью, очень близорукий — отчего, вероятно, и не замечал, что белые носки на добрую четверть выглядывают у него из-под брюк, составляя разительный контраст со строгим черным костюмом — мистер Грюджиус тем не менее производил, в целом, приятное впечатление.

Роза нашла своего опекуна в обществе мисс Твинклтон в маленькой ее гостиной, где тот сидел, вытянувшись, как палка, и со страхом взирая на свою собеседницу. Бедный джентльмен, видимо, опасался, что его сейчас начнут экзаменовать по какому-нибудь предмету, и не надеялся с честью пройти сквозь такое испытание.

— Здравствуйте, дорогая. Очень рад вас видеть, дорогая моя. Как вы похорошели! Позвольте, я подам вам стул.

Мисс Твинклтон встала из-за своего письменного столика и со сладкой улыбкой, обращенной не к кому-либо в частности, а ко всей Вселенной, долженствующей служить зеркалом ее изысканных манер, проговорила:

— Вы разрешите мне удалиться?

— Ради бога, сударыня, не беспокойтесь из-за меня. Умоляю вас, не трогайтесь с места.

— Я все-таки попрошу вас разрешить мне тронуться с места,— возразила мисс Твинклтон, с очаровательной грацией повторяя его слова,— но я не удалюсь, раз вы так любезны. Если я передвину свой столик в угол, к окну, я не буду вам мешать?

— Вы — мешать нам?.. Сударыня!..

— Вы очень добры, сэр, благодарю вас. Роза, милочка, вы можете говорить совершенно свободно.

Мистер Грюджиус, оставшись с Розой в сравнительном уединении у камина, снова проговорил:

— Здравствуйте, дорогая. Очень рад вас видеть, дорогая моя, — и, дождавшись, пока Роза сядет, уселся сам.

— Мои посещения,— начал он,— подобны посещениям ангелов. Не подумайте, что я сравниваю себя с ангелом...

— Нет, сэр,— сказала Роза.

— Нет, конечно,— подтвердил мистер Грюджиус.— Я только хотел сказать, что мои посещения столь же редки и немногочисленны. Что же касается ангелов, то, как мы знаем, они сейчас наверху.

Мисс Твинклтон, подняв голову, воззрилась на него с недоумением.

— Я имею в виду, моя дорогая,— сказал мистер Грюджиус и поспешно взял Розу за руку, испугавшись, что мисс Твинклтон может принять на свой счет это фамильярное обращение,— я имел в виду остальных молодых девиц.

Мисс Твинклтон снова склонилась над письмом.

Мистер Грюджиус, чувствуя, что начало вышло у него не совсем удачное, крепко пригладил волосы от затылка ко лбу, как если бы он только что нырнул и теперь выжимал из них воду — этот неоправданный необходимостью жест был у него привычным,— и достал из кармана сюртука записную книжку, а из жилетного кармана огрызок карандаша.

— Я тут кое-что записал для памяти,— проговорил он, листая книжку,— я всегда так делаю, ибо ни в какой мере не обладаю даром свободного изложения,— и если позволите, моя дорогая, я теперь обращусь к этим записям. Первое. «Здорова и благополучна». Судя по вашему цветущему виду, моя дорогая, вы ведь здоровы и благополучны?

— О да,— ответила Роза.

— За что,— подхватил мистер Грюджиус с легким поклоном в сторону углового окна,— мы должны быть благодарны — и мы, без сомнения, благодарны — материнскому попечению и неустанным заботам глубокоуважае-

мой леди, которую я имею честь видеть сейчас перед собой.

Но и это галантное отступление не имело успеха — оно даже не дошло по адресу, так как мисс Твинклтон, решив к этому времени, что деликатность возбраняет ей всякое участие в разговоре, сидела, покусывая перо и возведя глаза к потолку, словно ожидая, что которая-нибудь из Девяти Небожительниц * выбросит ей малую толику вдохновения от своих излишков.

Мистер Грюджиус, вновь пригладив свои и без того гладкие волосы, обратился опять к записной книжке и вычеркнул слова «здорова и благополучна» как вопрос уже разрешенный.

— «Фунты, шиллинги и пенсы» — гласит моя следующая запись. Сухая материя для молодой девицы, но весьма важная. Жизнь — это фунты, шиллинги и пенсы. Смерть,— но тут мистер Грюджиус вспомнил о сиротстве Розы и закончил уже мягче, на ходу перестроив свою философию введением отрицательной частицы,— Смерть — это *не* фунты, шиллинги и пенсы.

Голос у него был такой же сухой и жесткий, как он сам, и если бы — допустим такой полет фантазии — смолоть его голос на мельнице, он тоже, наверно, превратился бы в щепотку сухого нюхательного табаку. И все же, как ни мало был этот голос приспособлен для выражения чувств, сейчас он, казалось, выражал доброту. А если бы Природа успела доделать мистера Грюджиуса, то и черты его в этот миг, вероятно, озарились бы доброй улыбкой. Но разве он виноват, бедняга, что на грубой личине, которую он был обречен носить, даже улыбка становилась похожа на гримасу?

— «Фунты, шиллинги и пенсы». Хватает ли вам карманных денег, моя дорогая? Вы ни в чем не нуждаетесь?

Роза сказала, что ни в чем не нуждается и денег ей хватает.

— И у вас нет долгов?

Роза весело рассмеялась. Мысль, что у нее могут быть долги, показалась ей неотразимо комичной. Мистер Грюджиус близоруко прищурился, проверяя по лицу Розы, действительно ли таково ее отношение к этому вопросу.

— А! — сказал он с боковым взглядом в сторону мисс Твинклтон и вычеркнул фунты, шиллинги и пенсы.— Я же говорил, что попал к ангелам. Так оно и есть.

О чем будет следующий вопрос, Роза догадалась еще до того, как мистер Грюджиус отыскал соответствующую запись, и ждала, зардевшись, дрожащей рукой загибая складочки на своем платье.

— «Свадьба». Э-гм! — Мистер Грюджиус провел ладонью не только по голове, но и по глазам, носу и даже подбородку. Затем придвинул свой стул ближе к Розе и заговорил пониженным голосом.— Теперь, моя дорогая, я коснусь того пункта, который является главной причиной моего сегодняшнего посещения. Не будь этой причины, я не стал бы вас беспокоить. Я чрезвычайно Угловатый Человек, моя дорогая, и меньше всего хотел бы вторгаться в столь неподходящую для меня сферу. Боюсь, что в ней я буду выглядеть как хромой медведь среди веселого котильона.

Внешний вид мистера Грюджиуса настолько оправдывал это сравнение, что Роза прыснула со смеху.

— Я вижу, и вы того же мнения,— сказал мистер Грюджиус с невозмутимым спокойствием.— Понятно. Но вернемся к моим записям. Мистер Эдвин время от времени виделся с вами, как и было предусмотрено. Вы упоминали об этом в письмах, которые я регулярно получал от вас раз в три месяца. И вы любите его, а он любит вас.

— Я очень привязана к нему, сэр,— сказала Роза.

— Я же это и говорю,— подтвердил мистер Грюджиус, от чьих ушей ускользнула разница оттенков, которую робко пыталась подчеркнуть Роза.— Прекрасно. И ваше взаимное чувство нашло выражение в дружеской переписке.

— Да, мы пишем друг другу,— коротко ответила Роза и надула губки, вспомнив кое-какие эпистолярные разногласия со своим женихом.

— Именно это я и хотел сказать, моя дорогая. Хорошо. Все, стало быть, в порядке, время идет, и на рождестве я должен буду послать сидящей сейчас у окна и достойной всяческого уважения даме, которой мы столь многим обязаны, официальное уведомление о том, что через полгода вы ее покинете. Вас связывают с ней не только дело-

вые отношения — далеко нет! — но некоторый деловой элемент в них все же имеется, а дела всегда дела. Я чрезвычайно Угловатый Человек, моя дорогая,— продолжал мистер Грюджиус таким тоном, как будто эта мысль только сейчас пришла ему в голову,— и, кроме того, я никогда не был отцом. Поэтому, если на роль вашего посаженого отца будет предложено другое лицо, более подходящее во всех отношениях, я охотно уступлю ему место.

Роза пролепетала, потупясь, что заместителя, вероятно, можно будет найти, если потребуется.

— Конечно, конечно,— сказал мистер Грюджиус.— Например, этот господин, что учит вас танцам,—он-то сумел бы все выполнить с приличной случаю грацией. И шаг вперед, и шаг назад, и поворот — все это вышло бы у него так ловко, что доставило бы полное удовлетворение и заинтересованному духовному лицу, и вам самой, и жениху, и всем присутствующим. А я,— нет, я чрезвычайно Угловатый Человек,— закончил мистер Грюджиус, как бы разрешив все свои сомнения на этот счет,— я бы только напутал.

Роза сидела молча и не поднимая глаз. Возможно, ее воображение не простиралось так далеко и, вместо того чтобы обратиться непосредственно к брачной церемонии, замешкалось где-то на подступах к ней.

— Далее. «Завещание». Так,— мистер Грюджиус зачеркнул карандашом слово «Свадьба» и достал из кармана сложенную вчетверо бумагу.— Видите ли, дорогая, хотя я уже ранее ознакомил вас с завещанием вашего отца, я считаю, что теперь вам следует иметь на руках заверенную копию. И равным образом, хотя мистеру Эдвину известно это завещание, я намерен вручить заверенную копию мистеру Джасперу.

— А не самому Эдди? — спросила Роза, быстро вскинув глаза на мистера Грюджиуса.— Нельзя ли отдать прямо ему?

— Можно и прямо мистеру Эдвину, если вы этого хотите. Я только думал, что мистер Джаспер, как его опекун...

— Да, я этого хочу,— поспешно и горячо перебила его Роза.— Мне неприятно, что мистер Джаспер как будто становится между нами.

— Ну что ж,— сказал мистер Грюджиус,— вероятно, для вас естественно не желать посредников между вами и вашим юным супругом. Заметьте, я сказал «вероятно». Ибо сам я в высшей степени не естественный человек и ничего в этом не понимаю.

Роза посмотрела на него с некоторым удивлением.

— Я хочу сказать,— пояснил он,— что мне незнакомы чувства юности. Я был единственным отпрыском пожилых родителей, и мне кажется иногда, что я и родился-то пожилым. Отнюдь не желая строить каламбуры на прелестной фамилии, которую вы вскоре перестанете носить, я позволю себе заметить, что, если большинство людей, вступая в жизнь, бывают бутонами, я при своем вступлении в жизнь был щепкой. Я уже был щепкой — и весьма сухой,— когда еще только начал себя помнить. Итак, что касается второй заверенной копии, с ней будет поступлено согласно вашему желанию. Что касается вашего наследства — то тут, по-моему, вы все знаете. Оно состоит из ежегодной ренты в двести пятьдесят фунтов. Остатки от этой ренты, за вычетом расходов на ваше содержание, равно как и некоторые другие поступления, все надлежащим образом записаны на приход, с приложением оправдательных документов, так что в настоящее время вы являетесь обладательницей кругленькой суммы в тысячу семьсот фунтов — или несколько более. Я имею право авансировать вас из этого капитала на приготовления к свадьбе. Вот, кажется, и все.

— Можно вас спросить, сэр,— проговорила Роза, наморщив свои хорошенькие бровки и держа в руках заверенную копию, но не заглядывая в нее,— насчет этого завещания? Я гораздо лучше понимаю, когда вы говорите, чем когда сама читаю всякие такие документы. Вы меня поправьте, если я ошибусь. Ведь мой покойный папа и Эддин покойный отец решили нас поженить потому, что сами они были близкими друзьями, верными и преданными, и хотели, чтобы мы после них тоже были друзьями, такими же близкими, верными и преданными?

— Именно так.

— Потому что они хотели, чтобы нам обоим было хорошо и мы оба были счастливы?

— Именно так.

— Чтобы между нами была даже еще бо̀льшая близость, чем когда-то между ними?

— Именно так.

— И там нет, в этом завещании, такого условия... такой оговорки, что Эдди что-то теряет или я теряю, если... если...

— Не волнуйтесь, моя дорогая. В том случае, одна мысль о котором ранит ваше любящее сердечко и вызывает слезы у вас на глазах — то есть в случае, если бы вы с мистером Эдвином не поженились,— нет, ни вы, ни он ничего не теряете. Вы тогда просто останетесь под моей опекой до вашего совершеннолетия. Ничего худшего с вами не произойдет, хотя, пожалуй, и это достаточно плохо.

— А Эдди?

— Он, достигнув совершеннолетия, вступит во владение своим паем в той фирме, где его отец был компаньоном. А также получит остаток — если таковой будет — от дивидендов на этот пай. Для него ничего не изменится.

Роза по-прежнему сидела потупившись, склонив головку набок и наморщив брови. Покусывая уголок своей заверенной копии, она задумчиво водила ножкой по полу.

— Одним словом,— сказал мистер Грюджиус,— ваша помолвка это только пожелание, мечта, выражение дружеских чувств, соединявших вашего отца и отца мистера Эдвина. Конечно, они очень желали этого брака и надеялись, что он осуществится. А вы с мистером Эдвином с детства привыкли к этой мысли — и вот мечта ваших родителей осуществилась. Но обстоятельства могут измениться, и я сегодня посетил Женскую Обитель отчасти, и даже главным образом, для того, чтобы выполнить то, что я почитаю своей обязанностью, а именно сказать вам, моя дорогая, что юноша и девушка лишь тогда должны вступать в брак (если только это не брак по расчету, то есть пародия на брак и роковая ошибка, грозящая всякими несчастьями в будущем) — что они лишь тогда должны вступать в брак, когда делают это по собственной воле, по взаимной любви и с уверенностью, что они подходят друг другу и будут счастливы вместе (тут, конечно, тоже возможны ошибки, но уж с этим ничего не поделаешь). И разве можно представить себе, что ваш отец или отец

мистера Эдвина, если бы сейчас был жив и возымел хоть малейшее сомнение в желательности для вас этого брака, продолжал бы настаивать на своих прежних планах, даже видя, что обстоятельства изменились? Такое предположение невозможно, неразумно, нелогично и совершенно нелепо!

Все это мистер Грюджиус проговорил так, словно читал вслух или отвечал вытверженный урок — настолько чужда ему была всякая непосредственность в выражении чувств.

— Итак, моя дорогая,— добавил он, вычеркивая «Завещание» у себя в книжке,— я исполнил свою обязанность — чисто формальную в данном случае, но в других подобных казусах необходимую. Пойдем далее. «Пожелания». Нет ли у вас каких-нибудь пожеланий, которые я могу исполнить?

Роза покачала головкой — как-то грустно и потерянно, словно бы и хотела, но не решалась просить помощи.

— Не будет ли от вас каких указаний относительно ваших дел?

— Я... я хотела бы сперва поговорить с Эдди,— сказала Роза, загибая складочки на своем платье.

— Конечно, конечно,— одобрил мистер Грюджиус.— У вас с ним должно быть полное единодушие. Когда он опять вас посетит?

— Он только сегодня уехал. А приедет на рождество.

— Превосходно. Стало быть, при следующем вашем свидании вы все подробно обсудите и сообщите мне, а я выполню свои обязательства — чисто деловые! — перед достойной леди, сидящей сейчас у окна. Вероятно, будут дополнительные расходы — тем более на праздниках.— Огрызок карандаша снова появился в руках мистера Грюджиуса.— Следующая запись. «Прощание». Да. Теперь, с вашего позволения, моя дорогая, я с вами попрощаюсь.

Он неуклюже поднялся с кресла. Роза тоже встала.

— А не могу ли я,— сказала она,— попросить вас тоже приехать на рождество? Мне, может быть, нужно будет что-нибудь вам сказать.

— Ну разумеется, моя дорогая,— ответил он, видимо польщенный (если можно сказать так о человеке, на чьем лице никогда не замечалось видимых признаков ка-

ких-либо эмоций, приятных или неприятных).— Я чрезвычайно Угловатый Человек и не умею вращаться в обществе, поэтому на праздниках у меня не предвидится никаких светских развлечений, кроме обеда с моим клерком,— тоже весьма угловатым господином, которого мне удалось залучить себе в помощники. Его отец, норфолкский фермер, каждый год посылает мне в подарок вскормленную в окрестностях Норича индейку, каковую мы обычно и вкушаем вдвоем в первый день рождества под соусом из сельдерея. Я прямо-таки горжусь, моя дорогая, тем, что вы хотите меня видеть. По моей должности сборщика арендной платы, люди очень редко хотят меня видеть, и то, что вы обнаружили такое желание, это для меня приятная новинка.

Тут Роза, признательная мистеру Грюджиусу за столь быстрое согласие на ее просьбу, положила ручки ему на плечи, привстала на цыпочки и крепко его поцеловала.

— Бог мой! — воскликнул мистер Грюджиус.— Благодарю вас, моя дорогая! Это большая честь для меня — и большое удовольствие. Мисс Твинклтон, мы весьма приятно побеседовали с моей подопечной, и я больше не буду докучать вам своим присутствием.

— Нет, нет, сэр,— с любезной снисходительностью возразила мисс Твинклтон, вставая.— Не говорите так — докучать! Ни в коем случае. Я вам не разрешаю.

— Благодарю вас, сударыня. Я читал в газетах,— начал мистер Грюджиус, слегка запинаясь,— что когда какой-нибудь знатный гость (но я, конечно, не знатный гость, отнюдь нет) посещает школу (но это образцовое учебное заведение, конечно, не просто школа, отнюдь нет), он обыкновенно просит отпустить детей пораньше или отменить наказание провинившемуся. Сейчас дневные занятия в этом — э-э... колледже, коего вы являетесь достойной главой, уже окончены, так что первое не имеет смысла. Но если кто-нибудь из молодых девиц сейчас э-э... в немилости, то, может быть, вы позволите мне...

— Ах, мистер Грюджиус, мистер Грюджиус! — воскликнула мисс Твинклтон, с целомудренно кокетливой ужимкой грозя ему пальчиком.— О мужчины, мужчины! Как вам не стыдно подозревать нас, бедных опороченных блюстителей дисциплины, в жестокосердии по отношению

к нашему полу! И как вы уверены в нашем мягкосердии по отношению к вашему полу! Но так как мисс Фердинанд страждет сейчас под тяжестью баснописца,— мисс Твинклтон имела в виду тяжкие труды этой девицы по переписыванию басен мосье Лафонтена,— то будьте добры, Роза, милочка, пойдите к ней и скажите, что наказание отменяется из уважения к ходатайству вашего опекуна, мистера Грюджиуса!

Тут мисс Твинклтон сделала глубокий реверанс — до того уж глубокий, что даже страшно подумать, какие чудеса должны были вытворять при этом ее почтенные ноги,— и победоносно выпрямилась, в добрых трех шагах расстояния от исходной точки.

Считая необходимым повидаться с мистером Джаспером до своего отъезда из Клойстергэма, мистер Грюджиус направился к домику над воротами и поднялся по лестнице. Но дверь была заперта, на приколотой к ней бумажке написано — «Я в соборе», и тут только мистер Грюджиус вспомнил, что в этот час в соборе обычно идет служба. Он снова спустился вниз, прошел по аллее и остановился у широких западных дверей собора; обе их створки были распахнуты настежь, так как день, хотя и короткий по-осеннему, был ясный и теплый и этим воспользовались, чтобы проветрить церковь. Мистер Грюджиус заглянул через порог.

— Бог ты мой! — сказал он.— Как будто смотришь в самое нутро Старика Времени!

Старик Время дохнул ему в лицо; из-под сводов, от гробниц и склепов донеслось леденящее дуновение; по углам уже сгущались мрачные тени; зеленая плесень на стенах источала сырость; рубины и сапфиры, рассыпанные по каменному полу проникавшими сквозь цветные стекла косыми лучами солнца, начинали гаснуть. За решеткою алтаря на ступеньках, над которыми высился уже окутанный тьмой орган, еще смутно белели стихари причта; и временами слышался слабый надтреснутый голос, который что-то монотонно бормотал, то чуть погромче, то совсем затихая. Снаружи, на вольном воздухе, река, зеленые пастбища и бурые пашни, ближние лощины и убегающие вдаль холмы — все было залито алым пламенем заката; оконца ветряных мельниц и фермерских домиков

горели как бляхи из кованого золота. А в соборе все было серым, мрачным, погребальным; и слабый надтреснутый голос все что-то бормотал, бормотал, дрожащий, прерывистый, как голос умирающего. Внезапно вступили орган и хор, и голос утонул в море музыки. Потом море отхлынуло, и умирающий голос еще раз возвысился в слабой попытке что-то договорить — но море нахлынуло снова, смяло его и прикончило ударами волн, и заклокотало под сводами, и грянуло о крышу, и взметнулось в самую высь соборной башни. А затем море вдруг высохло и настала тишина.

Мистер Грюджиус к этому времени успел пробраться ближе к алтарю, и теперь навстречу ему текли людские волны.

— Что-нибудь случилось? — быстро спросил Джаспер, подходя к нему.— За вами посылали?

— Нет, нет. Я приехал по собственному почину. Повидался с моей очаровательной подопечной и теперь собираюсь в обратный путь.

— Как вы ее нашли — здоровой и благополучной?

— О да, вполне. Вот уж именно можно сказать — цветет как цветочек. А я приехал, собственно, затем, чтобы разъяснить ей, что такое помолвка, обусловленная, как в данном случае, волей покойных родителей.

— Ну и что же она такое, по-вашему?

Мистер Грюджиус заметил, как бледны были губы мистера Джаспера, когда он задавал этот вопрос, и приписал это действию холода и сырости.

— Я приехал, собственно, затем, чтобы сказать ей, что такую помолвку нельзя считать обязательной, если хотя бы одна из сторон имеет возражения — такие, например, как отсутствие сердечной склонности или нежелание вступать в брак.

— Смею спросить — у вас были какие-нибудь особые причины для таких разъяснений?

— Только одна, сэр,— сухо ответил мистер Грюджиус,— я считал, что это мой долг.— Потом добавил: — Не обижайтесь на меня, мистер Джаспер. Я знаю, как вы привязаны к своему племяннику и как близко принимаете к сердцу его интересы. Но уверяю вас, этот шаг, который я сегодня предпринял, отнюдь не был подсказан

какими-либо сомнениями в чувствах вашего племянника или неуважением к нему.

— Вы очень деликатно это выразили,— сказал Джаспер и дружески пожал локоть мистера Грюджиуса, когда оба они, повернувшись, медленно направились к выходу.

Мистер Грюджиус снял шляпу, пригладил волосы, удовлетворенно кивнул и снова надел шляпу.

— Держу пари,— улыбаясь, сказал Джаспер; губы у него были так бледны, что он сам, должно быть, это чувствовал и, говоря, все время покусывал их и проводил по ним языком,— держу пари, что она не выразила желания расторгнуть свою помолвку с Нэдом.

— И вы не проиграете,— отвечал мистер Грюджиус.— Конечно, у столь юного создания, да еще одинокой сиротки, возможна при таких обстоятельствах известная сдержанность, девическая стыдливость, нежелание посвящать посторонних в свои маленькие сердечные тайны — я не знаю, все это не по моей части,— но с этим надо считаться, как вы полагаете?

— Вне всяких сомнений.

— Я рад, что вы так думаете. Потому что, видите ли,— мистер Грюджиус все это время осторожно подбирался к тому, что сама Роза сказала о посредничестве мистера Джаспера,— потому что у нее, видите ли, есть такое чувство, что все предварительные переговоры должны происходить только между нею и мистером Эдвином Друдом. Понимаете? Мы ей не нужны. Понимаете?

Джаспер прикоснулся к своей груди и сказал каким-то мятым голосом:

— То есть *я* не нужен.

Мистер Грюджиус тоже прикоснулся к своей груди.

— Я сказал, *мы*. Так что пусть они сами, вдвоем, все обсудят и уладят, когда мистер Эдвин Друд приедет сюда на рождество. А уж потом выступим мы и докончим остальное.

— Значит, вы с ней договорились, что тоже приедете на рождество? — спросил Джаспер.— Понимаю! Мистер Грюджиус, вы только что говорили о моем отношении к племяннику и вы совершенно правы — я питаю к нему исключительную привязанность, и счастье моего дорогого мальчика, до сих пор знавшего в жизни только радости и

удачи, его счастье мне дороже, чем мое собственное. Но, как вы справедливо заметили, с чувствами молодой девицы тоже надо считаться, и тут, конечно, я должен следовать вашим указаниям. Согласен. Стало быть, насколько я понимаю, на рождестве они подготовятся к маю и сами уладят все, что касается свадьбы, а нам останется только подготовить деловую часть и в день рождения Эдвина сложить с себя наши опекунские обязанности.

— Так и я это понимаю,— подтвердил мистер Грюджиус, пожимая ему на прощание руку.— Да благословит их бог!

— Да спасет их бог! — воскликнул Джаспер.

— Я сказал — благословит,— заметил мистер Грюджиус, оглядываясь на него через плечо.

— А я сказал — спасет,— возразил Джаспер.— Разве это не одно и то же?

ГЛАВА X

Попытки примирения

Неоднократно отмечалось, что женщины обладают прелюбопытной способностью угадывать характер человека, способностью, очевидно, врожденной и инстинктивной, ибо к своим выводам они приходят отнюдь не путем последовательного рассуждения и даже не могут сколько-нибудь удовлетворительно объяснить, как это у них получилось. Но взгляды свои они высказывают с поразительной уверенностью, даже когда эти взгляды вовсе не совпадают с многочисленными наблюдениями лиц противоположного пола. Реже отмечалась другая черта этих женских догадок (подверженных ошибкам, как и все человеческие взгляды) — а именно, что женщины решительно не способны их пересмотреть, и однажды выразив свое мнение, после уж ни за что от него не откажутся, хотя бы действительность его в дальнейшем и опровергла, что роднит таковые женские суждения с предрассудками. Более того: даже самая отдаленная возможность противоречия и опровержения побуждает прекрасную отгадчицу еще горячее и упорнее настаивать на своем, подобно заин-

тересованному свидетелю на суде — так глубоко и лично она связывает себя со своей догадкой.

— Не думаешь ли ты, мамочка,— сказал однажды младший каноник своей матери, когда она сидела с вязаньем в его маленькой библиотечной комнате,— не думаешь ли ты, что ты слишком уж строга к мистеру Невилу?

— Нет, Септ, не думаю,— возразила старая дама.

— Давай обсудим это, мамочка.

— Пожалуйста, Септ. Не возражаю. Кажется, я никогда не отказывалась что-либо обсудить.— При этом ленты на ее чепчике так затряслись, как будто про себя она прибавила: — И хотела бы я посмотреть, какое обсуждение заставит меня изменить мои взгляды!

— Хорошо, мамочка,— согласился ее миролюбивый сын.— Конечно, что может быть лучше, чем обсудить вопрос со всех сторон, беспристрастно, с открытой душой!

— Да, милый,— коротко ответствовала старая дама, всем своим видом показывая, что ее собственная душа заперта наглухо.

— Ну вот! В тот злополучный вечер мистер Невил, конечно, вел себя очень дурно,— но ведь это было под влиянием гнева!

— И глинтвейна,— добавила старая дама.

— Верно. Не спорю. Но мне кажется, оба молодых человека были примерно в одинаковом состоянии.

— А мне не кажется,— отпарировала старая дама.

— Да почему же, мамочка?..

— Не кажется, вот и все,— твердо заявила старая дама.— Но я, конечно, не отказываюсь это обсудить.

— Милая мамочка, как же мы будем это обсуждать, если ты сразу занимаешь такую непримиримую позицию?

— А уж за это ты вини мистера Невила, а не меня,— строго и с достоинством пояснила старая дама.

— Мамочка! Да почему же мистера Невила?..

— Потому,— сказала миссис Криспаркл, возвращаясь к исходной точке,— потому что он вернулся домой пьяный и тем опозорил наш дом и выказал неуважение к нашей семье.

— Это все верно, мамочка. Он сам очень этим огорчен и глубоко раскаивается.

— Если б не мистер Джаспер — не его деликатность и заботливость,— он ведь сам подошел ко мне на другой день в церкви сейчас же после службы, не успев даже снять стихарь, и спросил, не напугалась ли я ночью, не был ли грубо потревожен мой сон — я бы, пожалуй, так и не узнала об этом прискорбном происшествии!

— Признаться, мамочка, мне очень хотелось все это от тебя скрыть. Но тогда я еще не решил. Я стал искать Джаспера, чтобы поговорить, посоветоваться — не лучше ли нам с ним общими усилиями потушить эту историю в самом зародыше — и вдруг вижу, он разговаривает с тобой. Так что было уже поздно.

— Да уж, конечно, поздно, Септ. Бедный мистер Джаспер, на нем прямо лица не было — после всего что ему пришлось пережить за эту ночь.

— Мамочка, если я хотел скрыть от тебя, так ведь это ради твоего спокойствия, чтобы ты не волновалась и не тревожилась, и ради блага обоих молодых людей — чтобы избавить их от неприятностей. Я только старался наилучшим образом выполнить свой долг — в меру моего разумения.

Старая дама тотчас отложила вязанье и, перейдя через комнату, поцеловала сына.

— Я знаю, Септ, дорогой мой,— сказала она.

— Как бы там ни было, а теперь уж об этом говорит весь город,— продолжал, потирая ухо, мистер Криспаркл после того, как его мать снова села и принялась за вязанье,— и я бессилен.

— А я тогда же сказала, Септ,— отвечала старая дама,— что я плохого мнения о мистере Невиле. И сейчас скажу: я о нем плохого мнения. Я тогда же сказала и сейчас скажу: я надеюсь, что он исправится, но я в это не верю.— И ленты на чепчике миссис Криспаркл опять пришли в сотрясение.

— Мне очень грустно это слышать, мамочка...

— Мне очень грустно это говорить, милый,— перебила старая дама, энергично двигая спицами,— но ничего не могу поделать.

— ...потому что,— продолжал младший каноник,—

нельзя отрицать, что мистер Невил очень прилежен и внимателен, и делает большие успехи, и — как мне кажется — очень привязан ко мне.

— Последнее вовсе не его заслуга,— быстро вмешалась старая дама.— А если он говорит, что это его заслуга, так тем хуже: значит, он хвастун.

— Мамочка, да он же никогда этого не говорил!..

— Может, и не говорил,— отвечала старая дама.— Но это ничего не меняет.

В ласковом взгляде мистера Криспаркла, обращенном на его милую фарфоровую пастушку, быстро шевелящую спицами, не было и следа раздражения; скорее в нем читалось не лишенное юмора сознание, что с такими очаровательными фарфоровыми существами бесполезно спорить.

— Кроме того, Септ, ты спроси себя: чем он был бы без своей сестры? Ты отлично знаешь, какое она имеет на него влияние; ты знаешь, какие у нее способности; ты знаешь, что все, что он учит для тебя, они учат вместе. Вычти из своих похвал то, что приходится на ее долю, и скажи, что тогда останется ему?

При этих словах мистер Криспаркл впал в задумчивость — и перед ним начали всплывать воспоминания. Он вспомнил о том, как часто видел брата и сестру в оживленной беседе над каким-нибудь из его старых учебников — то студеным утром, когда он по заиндевелой траве направлялся к клойстергэмской плотине для обычного своего бодрящего купанья; то под вечер, когда он подставлял лицо закатному ветру, взобравшись на свой любимый наблюдательный пункт — высящийся над дорогой край монастырских развалин, а две маленькие фигурки проходили внизу вдоль реки, в которой уже отражались огни города, отчего еще темнее и печальней казались одетые сумраком берега. Он вспомнил о том, как понял мало-помалу, что, обучая одного, он, в сущности, обучает двоих, и невольно — почти незаметно для самого себя — стал приспосабливать свои разъяснения для обоих жаждущих умов — того, с которым находился в ежедневном общении, и того, с которым соприкасался только через посредство первого. Он вспомнил о слухах, доходивших до него из Женской Обители,— о том, что Елена, к которой он вначале отнесся

с таким недоверием за ее гордость и властность, совершенно покорилась маленькой фее (как он называл невесту Эдвина) и учится у нее всему, что та знает. Он думал об этой странной и трогательной дружбе между двумя существами, внешне столь несхожими. А больше всего он думал — и удивлялся,— как это вышло, что все это началось какой-нибудь месяц назад, а уже стало неотъемлемой частью его жизни?

Всякий раз как достопочтенный Септимус впадал в задумчивость, мать его видела в том верный признак, что ему необходимо подкрепиться. Так и на сей раз миловидная старая дама тотчас поспешила в столовую к буфету, дабы извлечь из него требуемое подкрепленье, в виде стаканчика констанции * и домашних сухариков. Это был удивительный буфет, достойный Клойстергэма и Дома младшего каноника. Со стены над ним взирал на вас портрет Генделя * в завитом парике, с многозначительной улыбкой на устах и с вдохновенным взором, как бы говорившими, что уж ему-то хорошо известно содержимое этого буфета и он сумеет все заключенные в нем гармонии сочетать в одну великолепную фугу. Это был не какой-нибудь заурядный буфет с простецкими створками на петлях, которые, распахнувшись, открывают все сразу, без всякой постепенности. Нет, в этом замечательном буфете замочек находился на самой середине — там, где смыкались по горизонтали две раздвижные дверцы. Для того чтобы проникнуть в верхнее отделение, надо было верхнюю дверцу сдвинуть вниз (облекая, таким образом, нижнее отделение в двойную тайну), и тогда вашим глазам представали глубокие полки и на них горшочки с пикулями, банки с вареньем, жестяные коробочки, ящички с пряностями и белые с синим экзотического вида сосуды — ароматные вместилища имбиря и маринованных тамариндов. На животе у каждого из этих благодушных обитателей буфета было написано его имя. Пикули, все в ярко-коричневых застегнутых доверху двубортных сюртуках, а в нижней своей части облеченные в более скромные, желтоватые или темносерые тона, осанисто отрекомендовывались печатными буквами как «Грецкий орех», «Корнишоны», «Капуста», «Головки лука», «Цветная капуста», «Смесь» и прочие члены этой знатной фамилии. Варенье, более женственное по

природе, о чем свидетельствовали украшавшие его папильотки, каллиграфическим женским почерком, как бы нежным голоском, сообщало свои разнообразные имена: «Малина», «Крыжовник», «Абрикосы», «Сливы», «Тёрен», «Яблоки» и «Персики». Если задернуть занавес за этими очаровательницами и сдвинуть вверх нижнюю дверцу, обнаруживались апельсины, в сопровождении солидных размеров лакированной сахарницы, долженствующей смягчить их кислоту, если бы они оказались незрелыми. Далее следовала придворная свита этих царственных особ — домашнее печенье, солидный ломоть кекса с изюмом и стройные, удлиненной формы, бисквиты, так называемые «дамские пальчики», кои надлежало целовать, предварительно окунув их в сладкое вино. В самом низу, под массивным свинцовым сводом, хранились вина и различные настойки; отсюда исходил вкрадчивый шепоток: «Апельсиновая», «Лимонная», «Миндальная», «Тминная». В заключение надо сказать, что этот редкостный буфет — всем буфетам буфет, король среди буфетов — имел еще одну примечательную особенность: год за годом реяли вокруг него гудящие отголоски органа и соборных колоколов; он был пронизан ими; и эти музыкальные пчелы сумели, должно быть, извлечь своего рода духовный мед из всего, что в нем хранилось; ибо давно уже было замечено, что если кому-нибудь случалось нырнуть в этот буфет (погружая в него голову, плечи и локти, как того требовала глубина полок), то выныривал он на свет божий всегда с необыкновенно сладким лицом, словно с ним совершилось некое сахарное преображение.

Достопочтенный Септимус с готовностью отдавал себя на жертву не только этому великолепному буфету, но и пропитанному острыми запахами лекарственному шкафчику — вместилищу целебных трав, в котором также хозяйничала фарфоровая пастушка. Каких только изумительных настоев — из генцианы, мяты, шалфея, петрушки, тимьяна, руты и розмарина — не поглощал его мужественный желудок! В какие только чудодейственные компрессы, переслоенные сухими листьями, не укутывал он свое румяное и улыбчивое лицо, когда у его матери появлялось малейшее подозрение в том, что он страдает зубной болью! Каких только ботанических мушек не налепливал

он себе на щеку или на лоб, когда милая старушка прозревала там почти недоступный глазу прыщик! В эту траволекарственную темницу, расположенную на верхней площадке лестницы — тесный чуланчик с низким потолком и выбеленными стенами, где пучки сухих листьев свисали с ржавых гвоздей или лежали, рассыпанные, на полках, в соседстве с объемистыми бутылями,— сюда влекли достопочтенного Септимуса, как пресловутого агнца, столь давно уже и столь неукоснительно ведомого на заклание, и здесь он, в отличие от помянутого агнца, никому не докучал, кроме самого себя. А он даже и не считал это докукой, наоборот радовался от души, видя, что его хлопотунья мать счастлива и довольна, и безропотно глотал все, что ему давали, только напоследок, чтобы изгнать неприятный вкус, окунал лицо и руки в большую вазу с сухими розовыми лепестками и еще в другую вазу с сухой лавандой, а затем уходил, не опасаясь дурных последствий от проглоченных снадобий, ибо столь же твердо верил в очистительную силу клойстергэмской плотины и собственного здорового духа, сколь мало верила леди Макбет в таковые же свойства всех вод земных.

На сей раз младший каноник с величайшим благодушием выпил поднесенный ему стаканчик констанции и, подкрепившись таким образом, к удовольствию матери, обратился к очередным своим занятиям. Их неуклонный и размеренный по часам кругооборот привел его в положенное время в собор для совершения вечерней службы, а затем на обычную прогулку в сумерках. Так как в соборе было очень холодно, мистер Криспаркл сразу пустился рысцой, и этот бодрый бег кончился не менее бодрой атакой на излюбленный им пригорок, возле монастырских развалин, который он взял с ходу, ни разу не остановившись, чтобы перевести дух.

Блестяще совершив это восхождение, без малейших признаков одышки, он остановился на вершине, глядя на раскинувшуюся внизу реку. Клойстергэм расположен так недалеко от моря, что река здесь часто выбрасывает на берег морские водоросли. Последним приливом их нагнало еще больше обычного, и это, а также бурление воды, крики и плеск крыл беспокойно мечущихся вверх и вниз чаек и багровое зарево, на фоне которого черными каза-

лись коричневые паруса уходящих к морю баржей,— все это предвещало штормовую ночь.

Мистер Криспаркл занят был размышлениями о контрасте между растревоженным, шумным морем и тихой гаванью в Доме младшего каноника, как вдруг заметил внизу у реки Невила и Елену. Весь день эти двое не шли у него из ума, и теперь, увидев их, он тотчас начал спускаться. Спуск был крутой, а в неясном вечернем свете даже и опасный для всякого, кроме испытанных альпинистов. Но младший каноник никому по этой части не уступал и очутился внизу раньше, чем другой успел бы сойти до полугоры.

— Неважная погода, мисс Ландлес! Вы не боитесь, что тут слишком уж холодно и ветрено для прогулок? По крайней мере после заката солнца и когда ветер дует с моря?

Елена ответила, что нет, она этого не боится. Они с братом любят здесь гулять. Тут так уединенно.

— Да, очень уединенно,— согласился мистер Криспаркл и пошел рядом с ними, решив воспользоваться удобным случаем.— Как раз такое местечко, где можно поговорить, не опасаясь, что тебе помешают. А я давно уже хочу поговорить с вами обоими. Мистер Невил, вы ведь рассказываете сестре обо всем, что у нас с вами происходит?

— Обо всем, сэр.

— Стало быть,— сказал мистер Криспаркл,— ваша сестра знает, что я уже не раз советовал вам принести извинения за это прискорбное происшествие, случившееся в первый вечер после вашего приезда?

Говоря, он смотрел на сестру, а не на брата, и она ответила:

— Да.

— Я называю его прискорбным, мисс Ландлес, в первую очередь потому, что оно породило некоторое предубеждение против Невила. Создалось мнение, будто он чересчур уж горяч и вспыльчив и не умеет обуздывать свои порывы. И поэтому его избегают.

— Да, это, по-видимому, так,— отвечала Елена, глядя на брата с состраданием и вместе с гордостью, как бы выражая этим взглядом свое глубокое убеждение в том,

что люди к нему несправедливы.— Такое мнение о нем существует. Я в этом не сомневаюсь, раз вы так говорите. А кроме того, ваши слова подтверждаются всякими намеками и вскользь брошенными замечаниями, которые я каждый день слышу.

— Так вот,— мягко, но твердо продолжал мистер Криспаркл,— разве это не прискорбно и разве это не следовало бы исправить? Мистер Невил недавно в Клойстергэме и со временем, я уверен, покажет себя в ином свете и опровергнет это ошибочное мнение. Но насколько разумнее было бы сразу что-то сделать, а не полагаться на неопределенное будущее! К тому же это не только разумно, это правильно. Ибо не подлежит сомнению, что Невил поступил дурно.

— Его вызвали на это,— поправила Елена.

— Он был нападающей стороной,— в свою очередь поправил мистер Криспаркл.

Некоторое время они шли молча. Потом Елена подняла глаза к младшему канонику и сказала почти с укором:

— Мистер Криспаркл, неужели вы считаете, что Невил должен вымаливать прощение у молодого Друда или у мистера Джаспера, который каждый день на него клевещет? Вы не можете так думать. Вы сами так бы не сделали, будь вы на его месте.

— Елена, я уже говорил мистеру Криспарклу,— сказал Невил с почтительным взглядом в сторону своего наставника,— что, если бы я мог искренне, от всего сердца попросить прощения, я бы это сделал. Но этого я не могу, а притворяться не хочу. Однако ты, Елена, тоже не права. Ведь предлагая мистеру Криспарклу поставить себя на мое место, ты как будто допускаешь мысль, что он способен был сделать то, что я сделал.

— Прошу у него прощения,— сказала Елена.

— Вот видите,— вмешался мистер Криспаркл, не упуская случая обратить собственные слова Невила в свою пользу, хотя и очень деликатно и осторожно,— вот видите, вы сами оба невольно признаете, что Невил был неправ. Так почему же не пойти дальше и не признать это перед тем, кого он оскорбил?

— Разве нет разницы,— спросила Елена уже с дрожью в голосе,— между покорностью благородному и велико-

душному человеку и такой же покорностью человеку мелочному и низкому?

Раньше чем почтенный каноник собрался оспорить это тонкое различие, заговорил Невил:

— Елена, помоги мне оправдаться перед мистером Криспарклом. Помоги мне убедить его, что я не могу первый пойти на уступки, не кривя душой и не лицемеря. Для этого нужно, чтобы моя природа изменилась, а она не изменилась. Я вспоминаю о том, как жестоко меня оскорбили и как постарались еще углубить это нестерпимое оскорбление, и меня охватывает злоба. Если уж говорить начистоту, так я и сейчас злюсь, не меньше чем тогда.

— Невил,— с твердостью сказал младший каноник,— вы опять повторяете этот жест, который мне так неприятен.

— Простите, сэр, это у меня невольно. Я ведь признался, что и сейчас зол.

— А я признаюсь,— сказал мистер Криспаркл,— что не того ожидал от вас.

— Мне очень жаль огорчать вас, сэр, но еще хуже было бы вас обманывать. А это был бы грубый обман, если бы я притворился, будто вы смягчили меня в этом отношении. Может быть, со временем вы и этого добьетесь от трудного ученика, чье неблагоприятное прошлое вам известно; ваше влияние поистине могуче. Но это время еще не пришло, хоть я и боролся с собой. Ведь это так, Елена, скажи?

И она, чьи темные глаза не отрывались от лица мистера Криспаркла, сказала — ему, а не брату:

— Да, это так.

После минуты молчания, во время которого она на едва уловимый вопросительный взгляд брата ответила таким же едва уловимым кивком головы, Невил продолжал:

— Я до сих пор не решался сказать вам одну вещь, сэр, которую не должен был от вас утаивать. Надо было сразу признаться, как только вы впервые заговорили о примирении. Но мне это было нелегко, меня удерживал страх показаться смешным; этот страх был силен во мне, и, если бы не моя сестра, я бы, наверно, и сейчас не решился заговорить. Мистер Криспаркл, я люблю мисс Бутон, люблю ее так горячо, что не могу вынести, когда с

ней обращаются небрежно и свысока. И если бы даже я не чувствовал ненависти к Друду за то, что он оскорбил меня, я бы все равно ненавидел его за то, что он оскорбляет ее.

Мистер Криспаркл в крайнем изумлении посмотрел на Елену и прочитал на ее выразительном лице подтверждение слов брата — и мольбу о помощи.

— Молодая девица, о которой идет речь,— сказал он строго,— как вам отлично известно, мистер Невил, в ближайшее время выходит замуж. Поэтому ваши чувства к ней — если они имеют тот особый характер, на который вы намекаете,— по меньшей мере неуместны. А уж выступать в роли защитника этой молодой леди против избранного ею супруга, это, с вашей стороны, просто дерзость. Да вы и видели-то их всего один раз. Эта молодая девица стала подругой вашей сестры; и я удивляюсь, что ваша сестра, хотя бы в интересах своей подруги, не постаралась удержать вас от этого нелепого и предосудительного увлечения.

— Она старалась, сэр, но безуспешно. Вы говорите — супруг, а мне это все равно; я знаю только, что он не способен на такую любовь, какую мне внушило это прекрасное юное создание, с которым он обращается как с куклой. Он ее не любит, и он ее недостоин. Отдать ее такому человеку — значит погубить ее. А я люблю ее, а его презираю и ненавижу! — Эти слова он выкрикнул с таким раскрасневшимся лицом, с таким яростным жестом, что сестра быстро подошла к нему и, схватив за руку, укоризненно воскликнула:

— Невил! Невил!

Он опомнился, понял, что опять потерял власть над своей страстной натурой, которую в последнее время так прилежно учился сдерживать, и закрыл лицо рукой, пристыженный и полный раскаяния.

Мистер Криспаркл долго шел молча, внимательно глядя на Невила и одновременно обдумывая, как строить свою речь дальше. Наконец он заговорил:

— Мистер Невил, мистер Невил, мне очень огорчительно видеть в вас черты недоброго характера — столь же угрюмого, мрачного и бурного, как эта надвигающаяся ночь. Это слишком тревожные признаки, и они лишают меня права отнестись к вашему увлечению, в котором вы сейчас

признались, как к чему-то не стоящему внимания. Наоборот, я намерен уделить ему самое серьезное внимание, и вот что я вам скажу. Эта распря между вами и молодым Друдом должна прекратиться. Именно потому, что я теперь знаю то, что сегодня услышал от вас, я ни в коем случае не могу допустить, чтобы она продолжалась,— тем более что вы живете под моим кровом. У вас составилось очень дурное мнение об Эдвине Друде; но это превратное, ошибочное мнение, подсказанное вам завистью и слепым гневом. А на самом деле он бесхитростный и добрый юноша. Я знаю, что в этом смысле на него можно положиться. Теперь, пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Взвесив все обстоятельства и учитывая заступничество вашей сестры, я согласен, что при вашем примирении с Эдвином вы имеете право требовать, чтобы вам тоже пошли навстречу. Обещаю вам, что так и будет; даже больше — он сделает первый шаг. Но при этом вы дадите мне честное слово христианина и джентльмена, что, со своей стороны, раз и навсегда прикончите эту ссору. Что будет в вашем сердце, когда вы протянете ему руку, это может знать только господь, испытующий все сердца; но горе вам, если вы затаите в себе предательство! Вот и все, что я хотел об этом сказать. Что же касается вашего нелепого увлечения — простите, иначе я не могу его назвать,— то я хотел бы задать вам один вопрос. Насколько я понял, вы рассказали о нем мне, но больше никто, кроме вас и вашей сестры, о нем не знает? Это правильно?

Елена тихо ответила:

— Только мы трое знаем об этом.

— Ваша подруга не знает?

— Клянусь вам, нет!

— В таком случае, я прошу вас, мистер Невил, дать мне торжественное обещание, что вы и впредь сохраните это увлечение в тайне; что вы не позволите ему влиять на ваши дальнейшие поступки и приложите все силы к тому, чтобы вырвать его из своего сердца. Вы должны твердо это решить. Я не стану уверять вас, что это чувство скоро пройдет; что это только мимолетный порыв; что у горячих молодых людей легко возникают подобные фантазии и столь же легко гаснут. Оставайтесь при своем убеждении, что никто еще не испытывал такой великой страсти, что

она долго еще будет жить в вас и что ее очень трудно побороть. Тем больше веса будет иметь ваше обещание, если вы дадите его от чистого сердца.

Невил уже два или три раза пытался заговорить, но не мог.

— Я оставляю вас с вашей сестрой,— сказал мистер Криспаркл.— Ей, кстати, уже пора возвращаться. Проводите ее, а потом загляните ко мне в библиотеку — я буду один.

— Не покидайте нас,— умоляюще проговорила Елена.— Еще минуточку!

— Мне и минуты не понадобилось бы для ответа,— сказал Невил, все еще заслоняя лицо ладонью,— если б я не был до такой степени тронут вашей заботой обо мне, мистер Криспаркл, вашим вниманием ко мне, вашей деликатностью и добротой. Ах, зачем в детстве у меня не было такого руководителя?

— Так следуй же за ним сейчас, Невил,— прошептала Елена.— Следуй за ним к небу!

Было что-то в ее голосе, что замкнуло уста младшего каноника, иначе он отверг бы такое возвеличение своей особы. Теперь же он лишь приложил палец к губам и перевел взгляд на Невила.

— Сказать, что я от всего сердца даю вам обе эти клятвы, сказать, что и тени предательства нет и не будет в моей душе — ах, это еще так мало! — продолжал глубоко взволнованный Невил.— Я умоляю вас простить мне эту позорную слабость, эту вспышку гнева, которую я не сумел подавить!

— Не меня надо просить о прощении, Невил, не меня. Вы знаете, кому принадлежит высшая власть прощать нас, людей, и отпускать нам грехи. Мисс Елена, вы с братом близнецы. Вы родились на свет с теми же задатками, что и он, вы провели свои юные годы в той же неблагоприятной обстановке. Но вы все это победили в себе — неужели вы не можете победить это в нем? Вы видите камень преткновения, лежащий на его пути. Кто, как не вы, поможет ему переступить через эту преграду?

— Кто как не вы, сэр? — откликнулась Елена.— Что значит мое влияние или моя ничтожная мудрость по сравнению с вашей?



— Вы владеете мудростью любви,— возразил младший каноник,— а это, да будет вам известно, высшая мудрость, какая есть на земле. Что же касается моей мудрости, то чем меньше мы будем говорить об этом весьма обыденном качестве, тем лучше. Доброй ночи.

Она сжала протянутую ей руку и с благодарностью, почти с благоговеньем поднесла ее к губам.

— О! — тихо воскликнул младший каноник.— Это слишком большая награда! — и, отвернувшись, пошел прочь.

На обратном пути, шагая в темноте, он обдумывал, как вернее добиться того, что он пообещал Невилу. А добиться нужно, во что бы то ни стало. «Наверно, они меня же попросят обвенчать их,— думал он,— жаль, что нельзя это сделать завтра и чтобы они поскорее уехали. Но сейчас на очереди другое». Он взвешивал, что будет правильнее и деликатнее — написать ли самому Эдвину или поговорить с Джаспером. Зная свою популярность среди соборного причта, он склонялся ко второму. А тут как раз засветились перед ним окна в домике над воротами, и это определило его решение. «Буду ковать железо, пока горячо,— сказал он.— Сейчас и зайду к нему».

Поднявшись по каменной лестнице, он постучал и, не получив ответа, осторожно повернул ручку и заглянул в комнату. Джаспер спал на кушетке перед камином. Впоследствии младшему канонику не раз пришлось вспомнить, как Джаспер вдруг вскочил, еще не придя в себя после сна, и, словно в бреду, выкрикнул: «Что случилось? Кто это сделал?»

— Это я, Джаспер. Всего только я. Простите, что вас потревожил.

Дикий блеск в глазах Джаспера погас, видимо он узнал посетителя. Он принялся передвигать стулья, освобождая проход к камину.

— Мне грезились какие-то ужасы, и очень хорошо, что вы прервали этот послеобеденный сон, вредный для здоровья. Не говоря уже о том, что я всегда рад вас видеть.

— Благодарю вас. Не знаю, так ли уж вас обрадует мое посещение — по крайней мере в первую минуту,— когда я объясню, зачем пришел. Но я проповедник мира

и сейчас тоже действую в интересах мира. Короче говоря, Джаспер, я хочу помирить наших молодых подопечных.

На лице Джаспера появилось какое-то очень сложное выражение не то смущения, не то растерянности, которое несколько смутило и мистера Криспаркла, так как он не мог его разгадать.

— А... как? — глухо и с запинкой спросил Джаспер после молчания.

— Вот насчет этого «как» я и хотел с вами побеседовать. Я прошу вас оказать мне большую любезность и важную услугу: убедите вашего племянника (с мистером Невилом я уже переговорил) написать вам коротенькое письмо — в его обычной непринужденной манере — и выразить в нем готовность предать прошлое забвению. Я знаю, какой он добрый юноша и какое влияние вы на него имеете. Я отнюдь не оправдываю Невила, но надо все-таки признать, что он был жестоко обижен.

Джаспер, все с тем же недоуменным и растерянным видом, отвернулся к камину. И мистер Криспаркл, украдкой наблюдавший за ним, тоже пришел в недоумение,— на миг ему показалось, будто Джаспер втайне что-то рассчитывает и соображает, чего, разумеется, не могло быть.

— Я понимаю, вы не можете сейчас благожелательно отнестись к мистеру Невилу,— начал было младший каноник, но Джаспер перебил его:

— Совершенно верно. Не могу.

— Вполне естественно. Я сам всячески осуждаю его плачевное неумение владеть собой, хотя надеюсь, что постепенно мы с ним и это исправим. Но он дал мне торжественное обещание впредь совсем иначе вести себя с вашим племянником, если вы на первых порах нам поможете. И я не сомневаюсь, что он сдержит свое слово.

— Я привык верить вам, мистер Криспаркл, и полагаться на ваше суждение. Вы действительно уверены, что можете поручиться за него?

— Уверен.

Смущенное выражение, так смутившее и мистера Криспаркла, исчезло с лица Джаспера.

— Очень хорошо. Вы не знаете, какую тяжесть сняли с моего сердца и от каких страхов меня избавили. Я сделаю то, о чем вы просите.

Мистер Криспаркл, обрадованный столь быстрым и полным успехом своего ходатайства, рассыпался в благодарностях.

— Я это сделаю,— повторил Джаспер,— потому что ваше ручательство — это вещь надежная, а мои страхи все так смутны и необоснованны! Вы будете смеяться,— но, скажите, вы ведете дневник?

— По одной строчке в день, не больше.

— Мне и одной строчки было бы много, так бедна событиями моя жизнь, если б этот дневник не был также дневником жизни Нэда. Я прочитаю вам одну запись — только не смейтесь! Вы поймете, когда она была сделана:

«Час ночи.— После всего, что я только что видел, меня терзает страх за моего дорогого мальчика,— болезненный страх, против которого бессильны доводы рассудка. Старался его преодолеть, но все мои усилия тщетны. Демоническая ярость этого Невила Ландлеса, его нечеловеческая сила в минуту гнева, жажда уничтожить противника, которую я прочитал в его глазах,— все это ужасно встревожило меня. Впечатление было настолько сильное, что я уже дважды заходил в комнату моего дорогого мальчика, чтобы удостовериться, что он спокойно спит, а не лежит мертвый, плавая в собственной крови».

А вот еще запись, утром того же дня:

«Нэд уехал. Весел и беспечен, как всегда. Я пытался его предостеречь, но он только рассмеялся и сказал, что с Невилом он всегда справится, слава богу, он ничем его не хуже. Ты-то не хуже его, да он-то хуже тебя, ответил я, он злой человек. Нэд продолжал подтрунивать надо мной, но я все же проводил его до самого дилижанса и очень неохотно с ним расстался. Не могу отделаться от недобрых предчувствий,— если можно назвать предчувствием вывод, основанный на бьющих в глаза фактах».

— Из более поздних записей видно,— сказал в заключение Джаспер, перелистывая тетрадь, прежде чем отложить ее в сторону,— что я еще не раз поддавался этому мрачному настроению. Но теперь у меня есть ваше ручательство, я запишу его здесь, и пусть оно послужит мне противоядием, если меня опять начнет одолевать страх.

— Надеюсь, противоядие окажется настолько сильным,— отвечал мистер Криспаркл,— что вы в ближайшее

же время предадите огню эту тетрадь и вместе с ней все ваши недобрые предчувствия. Не мне вас корить, Джаспер, особенно сегодня, когда вы так великодушно пошли мне навстречу, но, право же, ваша привязанность к племяннику заставляет вас делать из мухи слона. Все, что вы здесь пишете, это ужасное преувеличение.

Джаспер пожал плечами.

— Я беру вас в свидетели,— сказал он.— Вы сами видели, как я был потрясен в тот вечер, еще до того как сел писать, вы слышали, в каких словах я тогда, под свежим впечатлением, описал все, что мне пришлось пережить! Помните, я употребил одно выражение, которое вы сочли слишком сильным? Оно было гораздо сильнее, чем все, что я потом писал в этом дневнике!

— Ну ладно,— вздохнул мистер Криспаркл.— Попробуйте мое противоядие, и дай бог, чтобы оно помогло вам более трезво и спокойно взглянуть на вещи. А сейчас не будем больше это обсуждать. Я еще должен поблагодарить вас за вашу любезность, и я благодарю вас от всего сердца.

— Вы увидите, мистер Криспаркл,— сказал Джаспер, пожимая ему руку,— что я добросовестно выполняю все, за что берусь. Я позабочусь о том, чтобы Нэд, если уж пойдет на уступки, не останавливался на полдороге.

На третий день после этого разговора Джаспер зашел к мистеру Криспарклу и подал ему следующее письмо:

«Милый мой Джек!

Меня очень тронул твой рассказ о вашем свидании с мистером Криспарклом, которого я так ценю и уважаю. Заявляю чистосердечно, что в тот вечер я был столько же виноват, как и мистер Ландлес; я готов помириться с ним и предать прошлое забвению.

Вот мое предложение, Джек. Пригласи мистера Ландлеса отобедать с нами в канун рождества (когда же и мириться, как не в такой день!); пусть никого не будет кроме нас троих, мы пожмем друг другу руки и никогда уж не станем поминать старое.

Любящий тебя *Эдвин Друд*.

P. S. Передай привет Киске, когда будешь давать ей урок».

— Вы, стало быть, ждете к себе мистера Невила? — спросил мистер Криспаркл.

— Я рассчитываю на его приход,— ответил мистер Джаспер.

ГЛАВА XI

Портрет и кольцо

В Лондоне, в наиболее старинной части Холборна, еще и сейчас возвышается ряд островерхих домов, построенных добрых три столетия назад; они уныло созерцают проезжую дорогу у своих ног, словно все еще отыскивают своим подслеповатым оком некогда протекавшую здесь речку Олд Борн, которая уже давным-давно пересохла; а если пройти сквозь арку под этими древними домами, то попадешь в тихий уголок, составленный из двух неправильной формы четырехугольных дворов и носящий название Степл-Инн. Это один из тех уголков, где у пешехода, свернувшего сюда с громыхающей улицы, появляется ощущение, будто уши у него заткнуты ватой, а башмаки подбиты бархатными подметками. Это один из тех уголков, где десятки задымленных воробьев щебечут на задымленных ветках, словно крича друг другу: «Давайте поиграем в деревню!» — и где несколько квадратных футов садовой земли и несколько ярдов усыпанных гравием дорожек позволяют их крохотным воробьиным умишкам тешить себя этой приятной, хотя и беспочвенной фантазией. Кроме того, это один из тех уголков, где ютится всякий судейский люд; здесь даже имеется, в одном из прилежащих зданий, маленький судебный зал с маленьким стеклянным куполом в крыше, но какого рода крючкотворство здесь вершилось и к чьему ущербу — нам неизвестно.

В те дни, когда Клойстергэм восставал против железной дороги, даже и не близко от него проходящей, видя в самом намерении ее провести угрозу для нашей столь чувствительной Конституции, каковое священное учреждение имеет поистине странную судьбу, ибо все истинные британцы в равной мере похваляются ею, поносят ее и дрожат за нее, стоит чему-либо где-либо случиться, хотя

бы и на другом конце земного шара,— в эти дни Степл-Инн не был еще затенен выросшими по соседству высокими домами. Закатное солнце беспрепятственно заливало его своими лучами, и южный ветер гулял здесь невозбранно.

Но в тот декабрьский вечер (около шести часов), о котором пойдет речь, ни ветер, ни солнце не заглядывали в Степл-Инн; густой туман стоял в воздухе, и лишь тусклыми, расплывчатыми пятнами пробивались сквозь него отблески свечей из окон контор, разместившихся в зданиях Степл-Инна, в частности из окон конторы в угловом доме внутреннего дворика, где над весьма неказистым входом красовалась загадочная надпись:

П.
Б. Т.
1747

Смысл этой надписи оставался темным для всех, равно как и для владельца конторы, который, кстати сказать, никогда над ним и не задумывался, разве только изредка, когда таинственные литеры случайно попадались ему на глаза, лениво гадал, не означают ли они — «Пожалуй, Билл Томас», или — «Пожалуй, Боб Тайлер»; в настоящую же минуту помянутый владелец, не кто иной, как мистер Грюджиус, сидел в задней комнате у камина и писал.

Кто бы подумал, глядя на мистера Грюджиуса, что когда-то его обуревало честолюбие и он испытал разочарование? Он готовился стать юристом, мечтал открыть нотариальную контору, составлять акты о передаче земельной собственности и прочих видов имущества. Но его брак с Юриспруденцией оказался столь неудачным, что супруги вскоре согласились на раздельное жительство — если можно говорить о разделении там, где никогда не было близости.

Нет, скромница Юриспруденция так и не увенчала его пламень. Он ухаживал за нею, но не завоевал ее сердца, и они пошли каждый своим путем. Но однажды, по случайному стечению обстоятельств, ему пришлось принять участие в третейском суде, и он снискал всеобщее уважение своими неустанными поисками правды и неуклонным

стремлением сделать все по правде. После этого ему, уже не столь случайно, предложили произвести довольно обширное взыскание по долговым обязательствам, что принесло ему приличное вознаграждение. Таким образом, неожиданно для самого себя, он нашел свое место в жизни. Теперь он был управляющим двумя богатыми имениями и агентом по сбору арендной платы, а всю юридическую часть (далеко не маленькую) передавал фирме юристов, помещавшейся этажом ниже. Так погасил он свое честолюбие (если допустить, что оно когда-нибудь возгоралось) и вместе со всеми своими гасителями водворился до конца своих дней под усохшей смоковницей, которую П. Б. Т. посадил в 1747 году.

Множество счетов и счетных книг, множество картотек и несколько сейфов заполняли комнату мистера Грюджиуса. Но нельзя сказать, что они ее загромождали — такой строгий и точный здесь царил порядок. Если бы у мистера Грюджиуса хоть на миг зародилось подозрение, что, в случае его внезапной смерти, в его делах останется хоть какая-нибудь неясность — неполностью документированный факт или неразъясненная цифра,— он, вероятно, тут же бы умер. Ибо строжайшая верность своим обязательствам была главным его двигателем и источником его жизненной силы. Есть источники более щедрые, которые изливают струи более игривые, веселые, приятные, но нигде не найдете вы источника более надежного.

В комнате мистера Грюджиуса не было и признака роскоши. Но известный комфорт в ней был, хотя весь он сводился к тому, что комната была сухая и теплая, с несколько обветшалым, но уютным камином. У этого камина сосредоточивалось все, что можно назвать частной жизнью мистера Грюджиуса,— мягкое кресло и старомодный круглый стол, который, по окончании рабочих часов, расставляли здесь на коврике, вытащив из угла, где он пребывал днем в сложенном виде с отвесно повернутой доской, словно блестящий щит из красного дерева. В этой оборонительной позиции он заслонял собой небольшой пристенный шкафчик, в котором всегда хранилось коечто пригодное для выпивки. В передней комнате помещался клерк мистера Грюджиуса; спальня мистера Грюджиуса находилась через площадку на общей лестнице,

а под лестницей у него был винный погребок, обычно не пустовавший. Каждый вечер, по меньшей мере триста раз в году, мистер Грюджиус после занятий переходил через улицу и обедал в трактире Фернивал, а пообедав, снова переходил улицу в обратном направлении и наслаждался описанными скромными благами жизни, пока вновь не наступало утро и не начинался новый деловой день под сенью П. Б. Т., год 1747.

Итак, мистер Грюджиус сидел и писал у своего камина, а клерк мистера Грюджиуса сидел и писал у *своего* камина. Это был темноволосый человек лет тридцати, с бледным, одутловатым лицом и большими темными глазами, совершенно лишенными блеска; а цветом лица он до такой степени напоминал сырое тесто, что невольно хотелось поскорее послать его в булочную для выпечки. Этот помощник вообще был таинственное существо и обладал странной властью над мистером Грюджиусом. Как тот мифический дух, которого вызвали заклинанием, но не сумели загнать обратно, он неотвязно льнул к мистеру Грюджиусу, хотя ясно, что мистеру Грюджиусу было бы гораздо удобнее и приятнее, если бы он от него отвязался. Эта мрачная личность с нечесаной шевелюрой имела такой вид, как будто произросла под сенью того ядовитого дерева на Яве *, которое породило больше фантастических выдумок, чем какой-либо другой представитель растительного царства. И однако мистер Грюджиус всегда обращался со своим помощником с непонятным для стороннего человека почтением.

— Ну, Баззард,— проговорил мистер Грюджиус, поднимая глаза от бумаг, которые уже укладывал в папки, когда клерк вошел,— что там еще сегодня есть, кроме тумана?

— Мистер Друд,— сказал Баззард.

— А что с ним такое?

— Заходил,— сказал Баззард.

— Отчего ж вы не проводили его ко мне?

— Я это делаю,— сказал Баззард.

Посетитель в эту минуту показался на пороге.

— Бог мой! — воскликнул мистер Грюджиус, щурясь и отводя голову вбок, чтобы пламя двух свечей на конторке не мешало ему разглядеть вошедшего.— Я понял

так, что вы заходили, назвали себя, да и ушли. Как поживаете, мистер Эдвин? Что это вы так раскашлялись?

— Это все туман,— отвечал Эдвин.— И глаза от него щиплет словно от кайенского перца.

— Экая скверность! Раздевайтесь, пожалуйста. Хорошо, что у меня как раз камин топится. Славный огонек! Это уж мистер Баззард обо мне позаботился.

— И не думал,— сказал Баззард в дверях.

— Да? Ну, значит, я сам о себе позаботился и даже этого не заметил,— сказал мистер Грюджиус.— Садитесь, пожалуйста, в мое кресло. Нет! Прошу вас. После того как вы наглотались там сырости, уж, пожалуйста, в *мое* кресло.

Эдвин сел в мягкое кресло сбоку от камина, и вскоре туман, который он принес на себе, и туман, который он вытряхнул из своего пальто и кашне, был поглощен пляшущим огнем.

— Я так расселся,— улыбаясь, сказал Эдвин,— как будто в гости пришел.

— Кстати,— воскликнул мистер Грюджиус,— простите, что я вас прервал, но я хочу сказать — будьте нашим гостем! Туман, может быть, рассеется через час-другой. Обед нам принесут из трактира — тут рядом, только через улицу перейти. Уж лучше мы вам здесь поднесем кайенского перца, чем вам нюхать его на улице. Прошу вас, пообедайте с нами.

— Вы очень любезны,— проговорил Эдвин, с любопытством оглядывая контору, как будто ему вдруг показалась забавной мысль об этом импровизированном пикнике.

— Ну что вы,— сказал мистер Грюджиус,— это с вашей стороны любезность — разделить со мной мою холостяцкую трапезу и пообедать чем бог послал. И знаете,— добавил мистер Грюджиус, понизив голос и с искоркой в глазах, как бы радуясь осенившей его блестящей мысли,— я приглашу Баззарда. А не то он, пожалуй, обидится. Баззард!

Баззард снова появился в дверях.

— Пообедайте сегодня с мистером Друдом и со мной.

— Если это приказание, то я, конечно, повинуюсь, сэр,— последовал мрачный ответ.

— Вот человек! — вскричал мистер Грюджиус.— Вам не приказывают, вас приглашают.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Баззард.— В таком случае мне все равно, могу и пообедать.

— Очень хорошо. Это, стало быть, улажено. И не будете ли вы так добры,— продолжал мистер Грюджиус,— зайти в Фернивал — это ведь только через дорогу — и сказать, чтобы они прислали кого-нибудь накрыть на стол. А на обед пусть пришлют миску самого горячего и крепкого бульона, потом самый лучший салат, какой у них есть, потом какое-нибудь солидное жаркое (скажем, баранью ногу), потом гуся или индейку или еще какую-нибудь фаршированную птичку, какая там у них значится в меню,— одним словом, что есть, то пусть все и присылают.

Этот щедрый заказ мистер Грюджиус изложил в обычной своей манере — таким голосом, как будто читал опись имущества, или отвечал урок, или вообще произносил что-то вытверженное наизусть. Баззард, расставив круглый стол, отправился выполнять его распоряжения.

— Мне было как-то неловко,— понизив голос, проговорил мистер Грюджиус, когда клерк вышел из комнаты,— возлагать на него обязанности фуражира или интенданта. Ему это могло не понравиться.

— Он у вас, кажется, делает только то, что ему нравится,— сказал Эдвин.

— Только то, что ему нравится? — повторил мистер Грюджиус.— Ах нет, что вы! Вы его, беднягу, совсем неправильно понимаете. Если б он делал только то, что ему нравится, он бы не оставался здесь.

«Куда бы он делся, интересно»,— подумал Эдвин, но только подумал, ибо мистер Грюджиус уже подошел к камину, устроился по другую его сторону, прислонясь лопатками к каминной доске и подобрав фалды,— и, видимо, готовился начать приятный разговор.

— Даже не обладая даром пророчества, я не ошибусь, мне кажется, если предположу, что вы оказали мне честь своим посещением, собственно, для того, чтобы сказать, что вы отправляетесь туда, где, смею заверить, вас ждут, и спросить, не будет ли от меня поручений к моей очаровательной подопечной? А может быть, и для того, чтобы

поторопить меня в моих приготовлениях? А, мистер Эдвин?

— Да, я зашел к вам перед отъездом, сэр. Это... ну просто акт внимания с моей стороны.

— Внимания! — сказал мистер Грюджиус.— А не нетерпения?

— Нетерпения, сэр?

Свои слова о нетерпении мистер Грюджиус произнес с выражением лукавства — о чем, глядя на него, вы ни за что бы не догадались,— и при этом привел себя в слишком близкое соприкосновение с огнем, словно хотел таким способом запечатлеть это выражение в своей внешности, подобно тому как с помощью нагрева наносят тонкие отпечатки на твердый металл. Но все его лукавство мгновенно испарилось, едва он увидел замкнутое лицо Эдвина и услышал его сдержанный голос; остался один ожог. Мистер Грюджиус выпрямился и потер припаленное место.

— Я недавно сам там был,— сказал он, опуская фалды.— Поэтому я и взял на себя смелость утверждать, что вас там ждут.

— Вот как, сэр! Да, я знаю, что Киска хочет меня видеть.

— Вы держите там кошку? — спросил мистер Грюджиус.

Эдвин, слегка покраснев, объяснил:

— Я зову Розу Киской.

— О! — сказал мистер Грюджиус и пригладил волосы.— Это очень мило.

Эдвин вглядела в его лицо, пытаясь понять, действительно ли мистер Грюджиус так уж осуждает подобное прозвище. Но он мог бы с таким же успехом искать какое-либо выражение на циферблате часов.

— Это ласкательное имя,— снова пояснил Эдвин.

— Угу,— сказал мистер Грюджиус и кивнул. Но так как интонация его представляла собой нечто среднее между полным одобрением и абсолютным порицанием, то смущение Эдвина только усилилось.

— А не говорила ли КРоза...— начал Эдвин, пытаясь замять неловкость.

— КРоза? — повторил мистер Грюджиус.

— Я хотел сказать Киска, но передумал. Не говорила она вам о Ландлесах?

— Нет,— сказал мистер Грюджиус.— Что такое Ландлесы? Имение? Вилла? Ферма?

— Брат и сестра. Сестра учится в Женской Обители и очень подружилась с К...

— КРозой,— подсказал мистер Грюджиус с совершенно неподвижным лицом.

— Она изумительно красивая девушка, сэр, и я думал, что, может быть, вам ее описали или даже познакомили вас с нею?

— Нет,— сказал мистер Грюджиус.— Ни того, ни другого. Но вот и Баззард.

Баззард вернулся в сопровождении двух официантов — недвижимого и летучего, и втроем они нанесли столько тумана, что огонь в камине загудел с новой силой. Летучий официант, который всю посуду принес на собственных плечах, накрыл на стол с необыкновенной быстротой и ловкостью, а недвижимый официант, который ничего не принес, корил его за то, что он все делает не так. Затем летучий официант тщательно протер принесенные стаканы, а недвижимый официант пересмотрел их на свет. После чего летучий официант полетел через улицу за супом и прилетел обратно, затем снова полетел за салатом и снова прилетел обратно, потом полетел за жарким и птицей и опять прилетел обратно, а в промежутках еще совершал дополнительные полеты за разными обеденными принадлежностями, так как время от времени обнаруживалось, что недвижимый официант забыл их взять. Но с какой бы быстротой он ни рассекал воздух, по возвращении он получал упреки от недвижимого официанта за то, что нанес тумана, или за то, что запыхался. По окончании обеда, к каковому времени летучий официант почти уже испустил дух, недвижимый официант, с важностью перекинув сложенную скатерть через руку и строго (чтобы не сказать возмущенно) оглядев летучего официанта, расставлявшего на столе чистые стаканы, обратил к мистеру Грюджиусу прощальный взор, ясно говоривший: «Надеюсь, нам с вами понятно, что все вознаграждение принадлежит мне, а этому рабу не причитается

ничего»,— и удалился, толкая перед собой летучего официанта.

Это была вполне законченная миниатюра, точно изображающая господ из Министерства Волокиты, или любое Главное Командование, или Правительство. Поучительная картинка, которую не мешало бы повесить в Национальной галерее.

Туман был ближайшей причиной этой роскошной трапезы, и туман же послужил для нее наилучшей приправой.

Когда вы слышали, как снаружи рассыльные чихают, хрипят и топают по гравию, чтобы согреться, это возбуждало аппетит не хуже аппетитных капель доктора Киченера. Когда вы, поеживаясь, торопливо приказывали злополучному летучему официанту закрыть дверь (раньше, чем он успевал ее открыть), это сообщало кушаньям пикантность, какой не придал бы им соус Гарвея. И заметим тут в скобках, что нога этого молодого человека, которую он употреблял для открывания и закрывания двери, по-видимому, была одарена особо тонким чувством осязания: она всегда вдвигалась в комнату первой, как некое щупальце, на несколько секунд предшествуя ему самому и несомому им подносу; и всегда удалялась последней, медля еще в дверях после того, как он и поднос уже исчезли, подобно ноге Макбета, которая неохотно влачится за ним со сцены, когда он идет убивать Дункана.

Гостеприимный хозяин спустился в погреб и принес оттуда несколько бутылок с рубиновыми, солнечно-желтыми и золотыми напитками, которые некогда созрели в странах, где не бывает туманов, а потом долго лежали в темноте, погруженные в дремоту. Искрясь и кипя после столь длительного отдыха, они толкали изнутри в пробку, помогая штопору (как узники в тюрьме помогают мятежникам взламывать ворота), и, весело приплясывая, вырывались на волю. Если П. Б. Т. в тысячу семьсот сорок седьмом или в каком-либо другом году своего столетия пил подобные вина, он, без сомнения, Превесел Бывал Тоже.

По внешности мистера Грюджиуса не было заметно, чтобы эти горячительные напитки оказали на него хоть какое-нибудь оживляющее действие — все равно как если

бы они не были восприняты им внутрь, а просто вылиты на него в его табачно-нюхательном аспекте и потрачены зря. Лицо его сохраняло ту же деревянную неподвижность, да и манера держать себя ни капли не изменилась. Однако глаза на этом деревянном лице все время внимательно следили за Эдвином, и когда в конце обеда мистер Грюджиус жестом пригласил юношу снова сесть в мягкое кресло у камина и тот после слабых протестов с наслаждением в нем развалился, а сам мистер Грюджиус тоже повернул свой стул к камину и крепко провел рукой по волосам и по лицу, сквозь пальцы этой руки на Эдвина блеснул все тот же внимательный взгляд.

— Баззард! — сказал мистер Грюджиус, внезапно поворачиваясь к своему помощнику.

— Слушаю вас, сэр,— отвечал Баззард, впервые за весь обед отверзая уста, ибо до тех пор он только весьма деловито, но в полном молчании расправлялся с кушаниями и напитками.

— Пью за вас, Баззард! Мистер Эдвин, выпьем за успехи мистера Баззарда!

— За успехи мистера Баззарда! — откликнулся Эдвин, внешне проявляя ни на чем не основанный энтузиазм, а про себя добавив: — В чем только, не знаю!

— И дай бог! — продолжал мистер Грюджиус,— я не имею права говорить более ясно — но дай бог! — мое красноречие столь ограниченно, что я и не сумел бы это толком выразить — но дай бог! — тут надо бы употребить образное выражение, но у меня ведь начисто отсутствует фантазия — дай бог! — тернии забот это предел образности, на какую я способен — дай бог, чтобы мистеру Баззарду удалось, наконец, изъять эти тернии из своего состава!

Мистер Баззард, с хмурой усмешкой глядя в огонь, запустил пальцы в свои спутанные лохмы, как будто тернии забот находились именно там, потом за жилет, словно надеялся их выловить оттуда, и, наконец, в карманы, как бы рассчитывая, что тут-то уж они ему непременно попадутся. Эдвин пристально следил за каждым его движением, словно ожидая появления на свет пресловутых терний, но тернии так и не появились, и мистер Баззард ограничился тем, что произнес:

— Слушаю вас, сэр, и благодарю вас.

— Я хотел,— доверительно прошептал мистер Грюджиус на ухо Эдвину, одной рукой заслоняя рот, а другой позвякивая стаканом об стол,— я хотел выпить за здоровье моей подопечной. Но решил, что сперва надо выпить за Баззарда. А то как бы он не обиделся.

Свои слова он сопровождал таинственным подмигиванием,— то есть, это мимическое усилие можно было бы назвать подмигиванием, если бы мистер Грюджиус был способен произвести его несколько побыстрее. Эдвин тоже подмигнул в ответ, хотя и не понимал ни в малейшей степени, что все это значит.

— А теперь,— сказал мистер Грюджиус,— этот бокал я посвящаю прелестной и очаровательной мисс Розе. Баззард, за здоровье прелестной и очаровательной мисс Розы!

— Слушаю вас, сэр,— сказал Баззард,— и присоединяюсь.

— И я тоже! — воскликнул Эдвин.

— Знаете,— сказал вдруг мистер Грюджиус, прерывая молчание, которое водворилось вслед за произнесенным тостом, хотя почему, собственно, всегда наступают эти затишья в беседе после того, как мы выполнили какой-нибудь общественный ритуал, сам по себе вовсе не призывающий к самоуглублению и не порождающий упадка духа, этого, наверно, никто не сумел бы объяснить,— знаете, я, конечно, в высшей степени Угловатый Человек, но мне все же представляется (если я имею право так выразиться, ибо я ведь совершенно лишен воображения), что сегодня и я мог бы нарисовать вам портрет истинного влюбленного.

— Послушаем вас, сэр,— сказал Баззард,— и посмотрим ваш портрет.

— Мистер Эдвин поправит меня, если я в чем-либо ошибусь,— продолжал мистер Грюджиус,— и добавит коекакие черточки из жизни. А я, без сомнения, ошибусь во многом, и потребуется добавить немало черточек из жизни, потому что я родился щепкой и никогда не знавал нежных чувств и не пробуждал их в ком-либо. Ну так вот! Мне представляется, что все сознание истинного влюбленного проникнуто мыслью о предмете его любви. Мне представ-

ляется, что ее милое имя драгоценно для него, что он не может слышать или произносить его без волнения, что оно для него святыня. И если он называет ее каким-нибудь шутливым прозвищем, особым ласкательным именем, то никому, кроме нее, оно неизвестно, оно не для посторонних ушей. В самом деле, если это нежное имя, которым он имеет несравненное счастье называть ее наедине в минуты свидания, если это имя он станет произносить перед всеми, разве это не будет свидетельством равнодушия с его стороны, холодности, бесчувственности, почти измены?

Удивительное зрелище представлял собой в эту минуту мистер Грюджиус! Он сидел прямой как палка, положив руки на колени, и без передышки, ровным голосом, отчеканивал фразы — так приютский мальчик с очень хорошей памятью отвечает катехизис,— причем на лице его не отражалось решительно никаких, соответственных содержанию речи, эмоций, только кончик носа изредка подергивался, словно он у него чесался.

— Мой портрет истинного влюбленного,— продолжал мистер Грюджиус,— изображает его (вы поправите меня в случае надобности, мистер Эдвин) — изображает его всегда полным нетерпения, всегда жаждущим быть со своей любимой или по крайней мере недалеко от нее; удовольствия, которые он может получить в обществе других людей, его не прельщают, он неустанно стремится к предмету своих нежных чувств. Если бы я сказал, что он стремится к ней, как птица к своему гнезду, я бы, конечно, был только смешон, ибо это значило бы, что я вторгаюсь в область Поэзии, а я настолько чужд всякой Поэзии, что никогда и на десять тысяч миль не приближался к ее границам. Вдобавок, я совершенно незнаком с обычаями птиц, кроме птиц Степл-Инна, вьющих свои гнезда по краям крыш или в водосточных и печных трубах и прочих местах, не предназначенных для того благодетельной рукой Природы. Так что будем считать, что это сравнение с птицею и гнездом не было мною упомянуто. Я только хотел показать, что истинный влюбленный, как я его себе представляю, не имеет отдельного существования от предмета своих нежных чувств, что он живет одновременно двойной и половинной жизнью. И если мне не удалось с до-

статочной ясностью выразить свою мысль, то, стало быть, либо я по недостатку красноречия не умею сказать то, что думаю, либо я, в силу отсутствия мыслей, не думаю того, что говорю. Однако последнее, по глубокому моему убеждению, неверно.

Эдвин то краснел, то бледнел, по мере того как выявлялись отдельные черты этого портрета. Теперь он сидел, глядя в огонь и прикусив губы.

— Рассуждения Угловатого Человека,— заговорил вновь мистер Грюджиус тем же деревянным голосом и сохраняя ту же деревянную позу,— на такую, как бы сказать, сферическую тему неизбежно будут содержать ошибки. Но я все же думаю (предоставляя, опять-таки, мистеру Эдвину меня поправить), что у истинного влюбленного по отношению к предмету его нежных чувств не может быть ни хладнокровия, ни усталости, ни равнодушия, ни сомнений; что ему чуждо то состояние духа, которое лишь наполовину огонь, а наполовину дым. Скажите, верен ли хоть сколько-нибудь мой портрет?

Окончание речи мистера Грюджиуса носило столь же обрывистый характер, как ее начало и продолжение; метнув свой вопрос в Эдвина, он неожиданно замолчал, хотя слушателю могло показаться, что он едва дошел до середины.

— Я бы сказал, сэр,— запинаясь, начал Эдвин,— раз уж вы адресуете этот вопрос мне...

— Да,— сказал мистер Грюджиус,— я адресую его вам, как лицу компетентному.

— В таком случае, сэр,— смущенно продолжал Эдвин,— я бы сказал, что картина, нарисованная вами, более или менее верна. Мне только кажется, что вы очень уж сурово судите несчастного влюбленного.

— Весьма вероятно,— согласился мистер Грюджиус.— Весьма вероятно. Я очень суровый человек.

— У него, может быть, нет желания,— сказал Эдвин,— высказывать перед другими свои чувства. А может быть, у него нет...

Тут Эдвин умолк, не зная, как кончить фразу, и молчал так долго, что мистер Грюджиус еще во сто крат усилил его затруднение, внезапно заявив:

— Совершенно верно. Может быть, у него нет.

После этого наступило общее молчание, причем молчание мистера Баззарда объяснялось тем, что он спал.

— Его ответственность тем не менее очень велика,— проговорил, наконец, мистер Грюджиус, глядя в огонь.

Эдвин кивнул, тоже глядя в огонь.

— Он должен быть уверен, что никого не обманывает,— сказал мистер Грюджиус,— ни себя, ни других.

Эдвин снова прикусил губу и продолжал молча смотреть в огонь.

— Он не смеет делать игрушку из бесценного сокровища. Горе ему, если он это сделает! Пусть он хорошенько это поймет,— сказал мистер Грюджиус.

Он выговорил все это без малейшего выражения — так помянутый выше приютский мальчишка мог бы отбарабанить два-три стиха из Книги Притчей Соломоновых * — но было что-то почти мечтательное в его манере (во всяком случае, для столь практического человека), когда вслед за тем он погрозил пальцем пылающим в камине углям и снова умолк.

Но ненадолго. Все еще сидя на своем стуле, прямой как палка, он вдруг хлопнул себя по коленям, словно внезапно оживший деревянный болванчик, и сказал:

— Надо прикончить эту бутылку, мистер Эдвин. Позвольте, я вам налью. Налью также Баззарду, хоть он и спит. А то он, пожалуй, обидится.

Он налил им обоим, потом себе, осушил свой стакан и поставил его на стол донышком кверху, как будто прикрыл только что пойманную муху.

— А теперь, мистер Эдвин,— продолжал он, обтирая губы и пальцы носовым платком,— займемся делами. Недавно я послал вам заверенную копию завещания, оставленного отцом мисс Розы. Содержание его и раньше было вам известно, но я считал необходимым вручить вам копию — таков деловой порядок. Я бы послал ее мистеру Джасперу, но мисс Роза пожелала, чтобы копия была направлена непосредственно вам. Вы ее получили?

— Да, сэр. Все правильно.

— Вам следовало уведомить меня о получении,— сказал мистер Грюджиус,— дела, знаете ли, всегда и везде дела. А вы этого не сделали.

— Я сегодня хотел вам сказать, сэр. Еще когда только вошел.

— Это не деловое уведомление,— возразил мистер Грюджиус.— Ну да уж ладно, сойдет и так. Но вы, вероятно, заметили в этом документе краткое упоминание о том, что завещателем было устно возложено на меня еще одно поручение, которое мне предоставляется выполнить, когда я сочту это наиболее удобным?

— Да, сэр.

— Мистер Эдвин, только что, когда я глядел в огонь, мне пришло в голову, что сейчас для этого самый подходящий момент. Поэтому я прошу вас уделить мне минутку внимания.

Он вытащил из кармана связку ключей, выбрал, поднеся ее к свету, нужный ключ, затем со свечой в руке подошел к бюро или секретеру, отпер его, нажал пружинку потайного ящичка и достал оттуда маленький футляр, в каких ювелиры обычно держат кольца; судя по размеру, он был предназначен для одного кольца. Зажав футляр в руке, мистер Грюджиус вернулся на свое место. Рука его слегка дрожала, когда он затем поднял футляр и показал его Эдвину.

— Мистер Эдвин, это кольцо с розеткой из бриллиантов и рубинов, изящно оправленных в золото, принадлежало матери мисс Розы. Его в моем присутствии сняли с ее мертвого пальца, и не дай мне бог еще когда-нибудь увидеть такое горе, такое отчаяние, какое я видел в тот раз! Я очень суровый человек, но для этого я недостаточно суров. Посмотрите, как ярко сияют эти камни! — Он открыл футляр.— А ведь глаза, которые сияли еще ярче, которые столько раз с гордостью и радостью любовались этим кольцом, давно уже истлели в могиле! Будь у меня хоть капля воображения (чего у меня нет, как вам известно), я бы сказал, что в долговечной красоте этих камней есть что-то жестокое.

Он снова закрыл футляр.

— Это кольцо было подарено молодой женщине ее супругом в тот день, когда они впервые поклялись друг другу в верности. А она погибла так рано, в самом начале своей прекрасной и счастливой жизни! Он снял это кольцо с ее безжизненной руки, и он же, чувствуя приближение

смерти, передал его мне. А поручение, возложенное им на меня, состояло в следующем: когда вы и мисс Роза станете взрослыми мужчиной и женщиной и ваша помолвка, счастливо протекая, будет близиться к завершению, я должен вручить это кольцо вам, чтобы вы надели его ей на палец. Если же события развернутся иначе, оно останется у меня.

Пристально глядя в глаза Эдвину, мистер Грюджиус подал ему футляр. Смущение выражалось на лице юноши, и нерешительность была в движении его руки, протянутой навстречу.

— Когда вы наденете кольцо ей на палец,— сказал мистер Грюджиус,— этим вы торжественно подтвердите свою клятву в верности живым и умершим. Вы теперь едете к ней, чтобы сделать последние, окончательные, приготовления к свадьбе. Возьмите кольцо с собой.

Юноша взял футляр и спрятал его у себя на груди.

— Если у вас с ней хоть что-нибудь не ладится, если хоть что-нибудь не совсем в порядке, если вы чувствуете в глубине души, что вы предпринимаете этот шаг не из самых высоких побуждений, а просто потому, что вы привыкли к мысли о таком устройстве своего будущего, в таком случае,— сказал мистер Грюджиус,— я еще раз заклинаю вас от имени живых и умерших,— верните мне кольцо!

Тут Баззард вдруг очнулся, разбуженный собственным храпом, и устремил осоловелый взгляд в пространство, как бы бросая вызов всякому, кто посмеет обвинить его в том, что он спал.

— Баззард! — сказал мистер Грюджиус еще более жестким голосом, чем всегда.

— Слушаю вас, сэр,— отозвался Баззард.— Я все время вас слушал.

— Выполняя возложенное на меня поручение, я передал мистеру Эдвину Друду кольцо с бриллиантами и рубинами. Видите?

Эдвин снова достал и открыл футляр, и Баззард заглянул в него.

— Вижу и слышу, сэр,— сказал Баззард,— и могу засвидетельствовать, что кольцо было передано.

Эдвин, обуреваемый теперь, по-видимому, единственным желанием поскорее уйти и остаться наедине с самим собой, пробормотал что-то насчет позднего времени и необходимости еще кое с кем встретиться и стал одеваться. Туман еще не рассеялся (о чем было доложено летучим официантом, только что вернувшимся из очередного полета — на этот раз за кофе), но Эдвин решительно устремился в густую мглу; а вскоре за ним последовал и Баззард.

Оставшись в одиночестве, мистер Грюджиус еще добрый час медленно и бесшумно прохаживался по комнате. Казалось, его одолевала тревога, и вид у него был удрученный.

— Надеюсь, я поступил правильно,— проговорил он, наконец.— Надо же, чтобы он понял. Трудно мне было расстаться с кольцом, но все равно его очень скоро пришлось бы отдать.

Он со вздохом задвинул опустевший ящичек, запер секретер и вернулся к своему одинокому очагу.

— Ее кольцо,— продолжал он.— Вернется ли оно ко мне? Что-то я сегодня ни о чем другом не могу думать. Но это понятно. Оно так долго было у меня, и я так им дорожил! Хотел бы я знать... Да! Любопытно!..

Любопытство, равно как и тревога, видимо, его не покидало; хоть он и перебил себя на половине фразы и опять прошелся по комнате, но когда он снова сел в кресло, мысли его потекли по прежнему руслу.

— Хотел бы я знать... Тысячу раз я уже задавал себе этот вопрос. А зачем? Жалкий глупец! Какое это теперь имеет значение? Хотел бы я знать, почему именно мне поручил он ее осиротевшее дитя? Не потому ли что догадывался... Бог мой, до чего она теперь стала похожа на мать!

— Подозревал ли он когда-нибудь, что та, чье сердце он завоевал с первой встречи, давно уже была любима другим — любима молча, безнадежно, на расстоянии? Догадывался ли он хоть в малейшей степени, кто этот другой?

— Не знаю, удастся ли мне сегодня заснуть... Во всяком случае, закутаюсь с головой в одеяло, чтоб ничего не видеть и не слышать, и попытаюсь.

Мистер Грюджиус перешел через площадку в свою сырую и холодную спальню и вскоре уже был готов ко сну.

На миг он остановился, уловив среди колеблющихся теней отражение своего лица в мутном зеркале, и выше поднял свечу.

— Да уж кому придет в голову вообразить *тебя* в такой роли! — воскликнул он.— Эх! Что уж тут! Ложись-ка лучше, бедняга, и полно бредить!

С этими словами он погасил свет, натянул на себя одеяло и, еще раз вздохнув, закрыл глаза. И однако, если поискать, то в душе каждого человека, хотя бы и вовсе не подходящего для такой роли, найдутся неисследованные романтические уголки,— так что можно с большой долей вероятия предполагать, что даже сухменный и трутоподобный П. Б. Т. Порой Бредил Тоже в былые дни где-то около тысяча семьсот сорок седьмого года.

ГЛАВА XII

Ночь с Дёрдлсом

В те вечера, когда мистеру Сапси нечего делать, а созерцание собственного глубокомыслия, несмотря на обширность этой темы, успевает ему приесться, он выходит подышать воздухом и прогуливается в ограде собора и по его окрестностям. Ему приятно пройтись по кладбищу с гордым видом собственника, благосклонно взирая на склеп миссис Сапси, как землевладелец мог бы взирать на жилище облагодетельствованного им арендатора, ибо разве не проявил он по отношению к ней исключительную щедрость и не выдал этой достойной жене зримую для всех награду? Его самолюбию льстит, когда он видит, как случайный посетитель заглядывает сквозь окружающую склеп решетку и, возможно, читает сочиненную им надпись. А если попадается ему навстречу какой-нибудь чужак, быстрым шагом идущий к выходу, мистер Сапси не сомневается, что тот спешит выполнить предписание, начертанное на памятнике — «краснея, удались!».

За последнее время важность мистера Сапси еще возросла, ибо он стал мэром Клойстергэма. А ведь не подлежит сомнению, что если у нас не будет мэров, и притом в

достаточном количестве, то весь костяк общества (мистер Сапси считает себя автором этой смелой метафоры) рассыплется в прах. Бывало ведь даже, что мэров возводили в дворянское достоинство за поднесенные ими по какому-нибудь торжественному случаю адреса (эти адские машины, бесстрашно взрывающие английскую грамматику). Почему бы и мистеру Сапси не сочинить какой-нибудь такой адресок и с таким же приятным результатом? Встань, сэр Томас Сапси! Ибо таковые суть соль земли.

С того вечера когда мистер Джаспер впервые посетил мистера Сапси и был угощен портвейном, эпитафией, партией в триктрак, холодным ростбифом и салатом, их знакомство упрочилось. Мистер Сапси побывал в домике над воротами, где его встретили не менее гостеприимно; мистер Джаспер даже уселся за рояль и пел ему, щекоча его уши, которые, как известно, у этой породы животных (выражаясь метафорически) столь длинны, что представляют значительную поверхность для щекотания. Мистеру Сапси в этом молодом человеке особенно нравится то, что он всегда готов позаимствовать мудрости у старших — у него здравые понятия, сэр, здравые понятия! В доказательство чего мистер Джаспер спел ему не какие-нибудь шансонетки, излюбленные врагами Англии, а доподлинный национальный продукт, патриотические песни времен Георга Третьего, в которых слушателя (именуя его — «бравые мои молодцы») побуждали предать разрушению все острова, кроме одного, обитаемого англичанами, равно как и все континенты, полуострова, перешейки, мысы и прочие географические формы суши, а также победоносно бороздить моря по всем направлениям. Короче сказать, после этих музыкальных номеров становится вполне ясно, что провидение совершило большую ошибку, создав только одну маленькую нацию с львиным сердцем и такое огромное количество жалких и презренных народов.

Заложив руки за спину, мистер Сапси медленно прогуливается в этот сырой вечер возле кладбища, подкарауливая краснеющего и удаляющегося пришельца, но вместо того, завернув за угол, видит перед собой самого настоятеля, занятого разговором с главным жезлоносцем и мистером Джаспером. Мистер Сапси отвешивает ему почти-

тельнейший поклон и тотчас приобретает столь клерикальный вид, что где уж до него какому-нибудь архиепископу Йоркскому или Кентерберийскому.

— Вы, очевидно, собираетесь написать о нас книгу, мистер Джаспер,— говорит настоятель,— да, вот именно, написать о нас книгу. Что ж! Мы здесь очень древние, о нас можно написать хорошую книгу. Мы, правда, не так богаты земными владениями, как годами, но, может быть, вы и это вставите, в числе прочего, в свою книгу и привлечете внимание к нашим недостаткам.

Мистер Топ, как ему и полагается, находит это замечание своего начальника в высшей степени остроумным.

— Я вовсе не собираюсь,— отвечает мистер Джаспер,— стать писателем или археологом. Это у меня так, прихоть. Да и в этой прихоти не столько я повинен, сколько мистер Сапси.

— Каким же это образом, господин мэр? — спрашивает настоятель, добродушным полупоклоном отмечая присутствие своего двойника.— Каким образом, господин мэр?

— Мне совершенно неизвестно,— ответствует мистер Сапси, оглядываясь в поисках разъяснений,— на что изволит намекать его преподобие.— После чего он принимается изучать во всех подробностях свой оригинал.

— Дёрдлс,— скромно вставляет мистер Топ.

— Да,— откликается настоятель.— Дёрдлс, Дёрдлс!

— Дело в том, сэр,— поясняет мистер Джаспер,— что мистер Сапси первый пробудил во мне интерес к этому старому чудаку. Глубокое знание человеческой природы, присущее мистеру Сапси, его умение вскрыть все затаенное и необычное в окружающих людях впервые показало мне этого человека в новом свете, хоть я и до тех пор постоянно с ним встречался. Это не удивило бы вас, сэр, если б вы слышали, как мистер Сапси однажды при мне беседовал с ним у себя в гостиной.

— А! — восклицает мистер Сапси, с неизъяснимой важностью и снисходительностью подхватывая брошенный ему мяч.— Да, да! Его преподобие это имеет в виду? Да. Я свел Дёрдлса и мистера Джаспера. Я считаю Дёрдлса характерной фигурой.

— Которую вы, мистер Сапси, умеете двумя-тремя

искусными прикосновениями вывернуть наизнанку,— говорит мистер Джаспер.

— Ну, не совсем так,— неуклюже скромничает мистер Сапси.— Возможно, я имею на него некоторое влияние; возможно, я нашел способ заглянуть ему в душу. Его преподобие благоволит вспомнить, что я, как-никак, знаю свет.

Тут мистер Сапси заходит за спину настоятеля, чтобы получше рассмотреть пуговицы у него на заду.

— Ну что ж! — говорит настоятель, оглядываясь; он не понимает, куда вдруг девалась его копия.— Надеюсь, вы обратите на пользу ваше знание Дёрдлса и внушите ему, чтобы он, боже упаси, не сломал как-нибудь шею нашему достойному и уважаемому регенту. Этого мы никак не можем допустить. Его голова и голос слишком для нас драгоценны.

Мистер Топ снова приходит в восторг от остроумия своего начальника; сперва он почтительно корчится от смеха, затем, деликатно понизив голос, высказывает предположение, что, уж конечно, всякий был бы счастлив сломать себе шею — за честь бы почел и удовольствие,— лишь бы заслужить *такую* похвалу из *таких* уст!

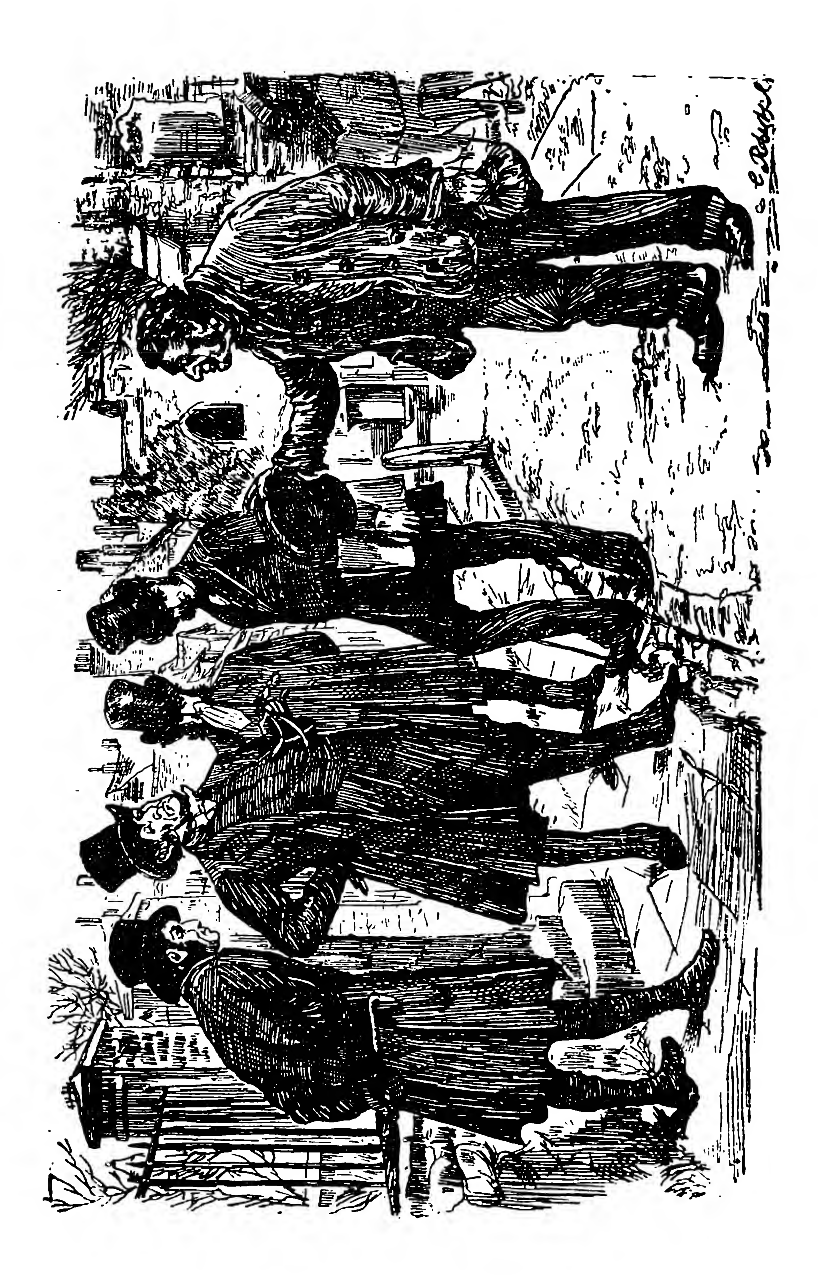
— Я беру на себя ответственность, сэр,— горделиво заявляет мистер Сапси,— за целость шеи мистера Джаспера. Я скажу Дёрдлсу, чтобы он ее поберег. А уж если я скажу, так он сделает. В чем сейчас заключается угрожающая ей опасность? — осведомляется он с величаво покровительственным видом.

— Да только в том, что мы с Дёрдлсом думаем сегодня предпринять прогулку при лунном свете среди гробниц, склепов, башен и развалин,— отвечает Джаспер.— Помните, вы тогда сказали, что мне, как любителю живописных эффектов, это будет интересно?

— Как же, как же, помню! — отвечает аукционист. И этот напыщенный болван в самом деле убежден, что он помнит.

— Следуя вашему совету,— продолжает Джаспер,— я уже раза два бродил с ним днем по этим местам, а теперь хочу обследовать самые глухие закоулки при лунном свете.

— А вот и он сам,— говорит настоятель.



И в самом деле, вдали появляется Дёрдлс со своим узелком и шаркающей походкой направляется к ним. Подшаркав ближе и заметив настоятеля, он снимает шляпу и, зажав ее под мышкой, хочет удалиться, но мистер Сапси его останавливает.

— Поручаю вашим заботам моего друга,— произносит он так веско, словно оглашает судебное постановление.

— А кто ж это из ваших друзей помер? — спрашивает Дёрдлс.— Я что-то не получал заказа ни для какого вашего друга.

— Я имею в виду моего живого друга, мистера Джаспера.

— А! Его? — говорит Дёрдлс.— Ну он-то и сам может о себе позаботиться.

— Но и вы тоже позаботьтесь о нем,— говорит мистер Сапси.

В голосе его прозвучала повелительная нотка. Поэтому Дёрдлс обмеривает его угрюмым взглядом.

— Нижайше прошу прощения у его преподобия,— мрачно говорит он,— но кабы вы, мистер Сапси, заботились о том, что вас касается, так уж Дёрдлс позаботился бы о том, что его касается.

— Вы сегодня не в духе,— замечает мистер Сапси и подмигивает остальным, приглашая их полюбоваться, как ловко он сейчас усмирит этого бирюка.— Мои друзья касаются меня, а мистер Джаспер мой друг. И вы тоже мой друг.

— Не заводите себе такой манеры — хвастать,— возражает Дёрдлс, предостерегающе покачивая головой.— А то оно, пожалуй, войдет у вас в привычку.

— Вы не в духе,— повторяет мистер Сапси, краснея, но все же снова подмигивая присутствующим.

— Ну, правильно,— говорит Дёрдлс.— Не люблю вольностей.

Мистер Сапси подмигивает в третий раз, как бы говоря: «Согласитесь, что я поставил его на место», и незаметно ускользает с кладбища и из тенет этой дискуссии.

Дёрдлс желает его преподобию спокойной ночи и добавляет, надевая шляпу:

— Когда я вам понадоблюсь, мистер Джаспер, вы знаете, где меня искать. А мне еще надо пойти домой почи-

ститься,— и вскоре тоже исчезает из виду. «Пойти домой почиститься» — это одна из тех странных идей Дёрдлса, которые заключают в себе не только противоречие, но даже прямое отрицание непреложных фактов, ибо никто еще не видал следов чистки ни на нем самом, ни на его шляпе, ни на его сапогах, ни на его одежде — все эти предметы всегда в равной мере покрыты пылью и перемазаны в известке.

Уже зажигаются цепочки огней вдоль соборной ограды, и фонарщик с изумительным проворством то взбегает вверх, то соскальзывает вниз по своей лесенке, той самой лесенке, которой испокон веков пользовались в Клойстергэме для зажигания фонарей — способ нельзя сказать чтобы удобный, но под священной сенью этого неудобства возросли многие поколения местных жителей, и Клойстергэм, конечно, счел бы святотатством всякую попытку его устранить; и настоятель спешит домой к обеду, мистер Топ — к чаю и мистер Джаспер к своему роялю. Придя домой, мистер Джаспер не зажигает лампы — комната освещена лишь отблесками от огня в камине,— и, сидя за роялем, он долго наигрывает и напевает своим прекрасным голосом хоралы и кантаты. Так проходит часа два или три; уже давно стемнело, скоро взойдет луна.

Тогда он тихонько закрывает рояль, тихонько переодевается, сменяя сюртук на грубую куртку, засовывает в самый большой карман вместительную фляжку, оплетенную ивовыми прутьями, надевает шляпу с низкой тульей и широкими мягкими полями и тихонько выходит. Почему он так тихо, так бесшумно все делает сегодня ночью? Внешних причин для этого как будто нет. Но, быть может, есть внутренняя причина, затаившаяся в каком-то глухом уголке его сознания?

Он подходит к недостроенному дому Дёрдлса — вернее к той дырке в городской стене, которая служит каменщику жильем,— и, заметив внутри свет, тихонько пробирается среди могильных плит, памятников и каменных обломков, загромождающих двор и уже кое-где озаренных сбоку восходящей луной. Поденщики Дёрдлса давно ушли, но две большие пилы еще торчат в полураспиленных глыбах — и чудится, что вместо живых рабочих в будочках — их дневном укрытии — притаились сейчас два ухмыляю-

щихся скелета из Пляски Смерти * и вот-вот примутся выпиливать могильные плиты для двух будущих клойстергэмских покойников. Тем-то и невдомек, потому что сейчас они живы и, может быть, даже весело проводят время. Но любопытно бы знать, кто они, эти двое, уже отмеченные перстом Судьбы,— или по крайней мере один из них?

— Э-эй! Дёрдлс!

Свет перемещается, и Дёрдлс со свечой в руках показывается на пороге. Он, должно быть, «чистился» при помощи бутылки, кувшина и стакана, ибо никаких других очистительных приборов не заметно в пустой комнате с кирпичными стенами и голыми стропилами вместо потолка, в которую Дёрдлс вводит своего гостя.

— Вы готовы?

— Готов, мистер Джаспер. И пусть старикканы вылазят наружу, коли посмеют, когда мы станем ходить среди их могил. У меня против них храбрости хватит!

— Не из бутылки ли вы ее почерпнули? Или она у вас своя, прирожденная?

— Что из бутылки, что своя — это все едино,— отвечает Дёрдлс.— У меня обе есть.

Он снимает со стены фонарь, сует в карман несколько спичек на случай, если понадобится его зажечь, и оба выходят, прихватив неизменный Дёрдлсов узелок с обедом.

Странная это экспедиция! Что Дёрдлс, вечно блуждающий, словно привидение, среди древних могил и развалин, вздумал ночью карабкаться по лестницам и нырять в подземелья и вообще шататься без цели, в этом нет ничего необычного. Но чтобы регент или кто иной пожелал к нему присоединиться и изучать эффекты лунного освещения в такой компании, это уж другое дело. Так что поистине это странная, очень странная экспедиция!

— Осторожнее у ворот, мистер Джаспер. Видите, там куча слева?

— Вижу. Что это такое?

— Негашеная известь.

Мистер Джаспер останавливается и ждет, пока его нагонит замешкавшийся Дёрдлс.

— Негашеная известь?

— Да,— подтверждает Дёрдлс.— Наступите, башмаки вам сожжет. А ежели поворошить ее малость, так и все ваши косточки съест без остатка.

Они идут дальше, минуют тлеющие красными огоньками окна «Двухпенсовых номеров» и выходят на яркий лунный свет в монастырском винограднике. Затем приближаются к Дому младшего каноника. Тут повсюду еще лежит тень — луна рассеет ее, когда поднимется выше.

Внезапно в тишине к ним доносится стук захлопнувшейся двери: из дома выходят двое. Это мистер Криспаркл и Невил. Мистер Джаспер со странной улыбкой быстро прижимает ладонь к груди Дёрдлса, удерживая его на месте.

Там, где они стоят, тени особенно черны; и там сохранился еще кусок старой каменной ограды, невысокой, всего по грудь человеку; когда-то здесь был сад, теперь тут дорога. Еще два шага — и Дёрдлс с мистером Джаспером завернули бы за эту ограду, но, остановившись так внезапно, они находятся сейчас по ту ее сторону.

— Прогуляться вышли,— шепчет мистер Джаспер.— Они сейчас пойдут туда, где светлее. Переждем здесь, а то они нас задержат, да, пожалуй, еще увяжутся с нами.

Дёрдлс согласно кивает и принимается жевать что-то извлеченное из узелка. Джаспер, облокотясь на стену и подперев кулаками подбородок, смотрит на гуляющих. На мистера Криспаркла он не обращает никакого внимания, но так вперил взгляд в Невила, как будто взял его на мушку и уже держит палец на спусковом крючке, и сейчас выстрелит. Такая разрушительная сила ощущается в нем, в выражении его лица, что даже Дёрдлс перестал жевать и уставился на него, держа за щекой что-то недожеванное.

А мистер Криспаркл и Невил прохаживаются взад и вперед, тихо разговаривая. О чем они говорят, понять трудно, слова долетают урывками, но мистер Джаспер уже два или три раза ясно слышал свое имя.

— Сегодня первый день недели,— говорит мистер Криспаркл (теперь его хорошо слышно, потому что они повернули назад),— а последний день на этой неделе — сочельник.

— Вы можете положиться на меня, сэр.

С того места, где они только что стояли, эхо отчетливо доносило голоса, но по мере того как они приближаются, разговор снова становится невнятным. В том, что говорит мистер Криспаркл, можно разобрать только слово «доверие», наполовину заглушенное отголосками, а затем обрывок ответа: «Еще не заслужил, но надеюсь заслужить, сэр». А когда они еще раз поворачивают, Джаспер опять слышит свое собственное имя и реплику мистера Криспаркла: «Не забывайте, что я поручился за вас». Дальше опять невнятно; они остановились, Невил горячо жестикулирует. Когда они снова пускаются в путь, видно, что мистер Криспаркл поднимает глаза к небу и указывает куда-то вперед. Затем они медленно удаляются и словно истаивают в лунном сиянии на лужайке за Домом младшего каноника.

Все это время мистер Джаспер стоит не шевелясь. Только когда они исчезли из виду, он поворачивается к Дёрдлсу и вдруг разражается смехом. Дёрдлс, все еще держа что-то недожеванное за щекой и не видя причин для веселья, остолбенело глядит на него, пока, наконец, мистер Джаспер не роняет голову на руки, изнемогая от смеха. Тогда Дёрдлс, видимо отчаявшись что-либо понять, судорожно проглатывает недожеванный кусок, вероятно к немалому ущербу для своего пищеварения.

В этих укромных уголках вокруг собора редко кого встретишь после наступления темноты. Здесь и днем мало прохожих, а ночью их вовсе нет. И не только потому, что в том же направлении и почти рядом (отделенная только зданием собора) пролегает шумная Главная улица — естественный канал для всего движения в Клойстергэме, но еще, должно быть, и потому, что с приходом ночи всюду здесь — и вокруг собора, и среди монастырских развалин, и на кладбище — водворяется таинственная, наводящая жуть тишина, которая не всякому по сердцу. Спросите любого клойстергэмского гражданина, встреченного днем на улице, верит ли он в привидения, опросите хоть сто человек, все скажут, что не верят; но предложите им ночью на выбор — пройти ли прямиком через эти притихшие, пустынные места или по Главной улице, мимо освещенных лавок, и девяносто девять предпочтут более длинную, но и более людную дорогу. Вряд ли это объясняется каким-

нибудь местным суеверием, связанным с бывшими монастырскими угодьями — хотя полунощное явление там некоей призрачной дамы с младенцем на руках и веревочной петлей на шее засвидетельствовано многими очевидцами, столь же, впрочем, неуловимыми, как и она сама,— вернее всего, дело тут в том невольном отвращении, которое прах, еще одушевленный жизнью, испытывает по отношению к праху, от которого жизнь уже отлетела. А кроме того, всякий, хоть вслух и не скажет, но про себя, вероятно, рассуждает так: «Если мертвые при известных условиях могут являться живым, то здесь условия самые подходящие; и мне, живому человеку, лучше отсюда поскорее убраться».

Поэтому, когда мистер Джаспер и Дёрдлс останавливаются перед маленькой дверью, ведущей в подземелья, от которой у Дёрдлса есть ключ, и оглядывают напоследок залитые лунным светом аллеи, на всем доступном их обозрению пространстве не видно ни единой живой души. Можно подумать, что прибой жизни разбивается о домик над воротами словно о неодолимую преграду. Шум прибоя слышен по ту сторону, но ни одна волна не проникает под арку, высоко над которой в занавешенном окне мистера Джаспера красным огнем светит лампа, как будто этот пограничный домик — это Маяк, вознесенный над бурным морем.

Они входят, запирают за собой дверь, спускаются по неровным ступенькам, и вот они уже в подземелье. Фонарь не нужен — лунный свет бьет в готические окна с выбитыми стеклами и поломанными рамами, отбрасывая на пол причудливые узоры. От тяжелых каменных столбов, поддерживающих свод, тянутся в глубь подземелья густые черные тени, а между ними пролегли световые дорожки. Мистер Джаспер и Дёрдлс бродят туда и сюда по этим дорожкам, и Дёрдлс разглагольствует о «стариканах», которых он надеется в ближайшее время откопать; он даже похлопывает по стене, где, по его соображениям, их угнездилась «целая семейка», с таким видом, как будто он по меньшей мере старый друг этой семьи. Дёрдлс совсем утратил привычную свою молчаливость под воздействием фляжки мистера Джаспера, которая то и дело переходит из рук в руки. Это, однако, следует понимать в том

смысле, что мистер Джаспер прикасается к ней только руками, а Дёрдлс еще и губами, каждый раз высасывая порядочную порцию ее содержимого, тогда как мистер Джаспер лишь вначале отхлебнул немного и, прополоскав рот, выплюнул.

Затем они приступают к восхождению на башню. На ступеньках первого марша, ведущих во внутренность собора, Дёрдлс вдруг решает малость передохнуть. Здесь темным-темно, но из этой тьмы им ясно видны световые дорожки, по которым они только что проходили. Дёрдлс усаживается на ступеньку, мистер Джаспер на другую. Тотчас от фляжки (каким-то образом окончательно перешедшей в руки Дёрдлса) распространяется аромат, свидетельствующий о том, что пробка из нее вынута. Но установить это можно лишь обонянием, так как ни один из сидящих на лестнице другого не видит. И все же, разговаривая, они поворачиваются друг к другу, как будто это помогает их общению между собой.

— Хорош коньячок, мистер Джаспер!

— Да уж должен быть очень хороший. Я нарочно покупал для этого случая.

— А стариканы-то не показываются, а, мистер Джаспер?

— И хорошо делают. А то, если б они вечно путались среди живых, так в мире было бы еще меньше порядка, чем сейчас.

— Да, путаница была бы изрядная,— соглашается Дёрдлс и умолкает, задумавшись. Видимо, до сих пор он никогда еще не расценивал появление призраков с этой чисто утилитарной точки зрения — как возможную опасность для домашнего или хронологического порядка.— А как вы думаете, мистер Джаспер, только у людей бывают призраки? А может, бывают призраки вещей?

— Каких вещей? Грядок и леек? Лошадей и сбруи?

— Нет. Звуков.

— Каких звуков?

— Ну, криков.

— Каких криков? Стулья починять?

— Да нет — воплей. Сейчас я вам расскажу. Дайте только уложить фляжку как следует.— Тут пробка, очевидно, опять вынимается, а потом снова вставляется на ме-

сто.— Так! Теперь все в порядке. Ну так вот, в прошлом году, об эту же пору, только неделей позже, занимался я тоже с бутылочкой, как оно и положено на праздниках, привечал ее, голубушку, по-хорошему, да увязались за мною эти негодники, здешние мальчишки, спасу от них нет. Ну я все ж таки от них удрал и забрался сюда, вот где мы сейчас. А тут я заснул. И что же меня разбудило? Призрак вопля. Ох, и страшный же был вопль, не приведи господи, а после еще был призрак собачьего воя. Этакий унылый, жалобный вой, вроде как когда собака воет к покойнику. Вот что со мной приключилось в прошлый сочельник.

— Вы это на что намекаете? — раздается из темноты резкий, чтобы не сказать злобный вопрос.

— А на то, что я всех расспрашивал, и ни одна живая душа во всем околотке не слышала ни этого вопля, ни этого воя. Ну, я и считаю, что это были призраки. Только почему они *мне* явились, не понимаю.

— Я думал, вы не такой человек,— презрительно говорит мистер Джаспер.

— Я тоже так думал,— с обычной невозмутимостью отвечает Дёрдлс.— А вот поди ж ты, они меня выбрали.

Джаспер рывком встал на ноги, еще когда спрашивал Дёрдлса, на что тот намекает; теперь он решительно говорит:

— Ну, хватит. Мы тут замерзнем. Ведите дальше.

Дёрдлс повинуется и тоже встает на ноги (правда, не очень твердо), отпирает дверь на верху лестницы тем же ключом, каким открывал дверь в подземелье, и оказывается в соборе, в проходе сбоку от алтаря. Здесь тоже лунный свет бьет в окна, и он так ярок, что от расписных стекол на лица вошедших ложатся цветные пятна. Дёрдлс, остановившийся на пороге, пропуская вперед мистера Джаспера, имеет прямо-таки жуткий вид, словно выходец из могилы,— лицо его перерезает фиолетовая полоса, лоб залит желтым; но, не подозревая об этом, он хладнокровно выдерживает пристальный взгляд своего спутника, хотя тот не отрывает от него глаз, пока нашаривает в карманах еще раньше доверенный ему ключ от железной двери, которую им предстоит отпереть, чтобы проникнуть в башню.

— Вы несите вот это и фляжку, и довольно с вас,— говорит мистер Джаспер, возвращая ключ Дёрдлсу,— а узелок дайте мне. Я помоложе и не страдаю одышкой.— Дёрдлс секунду колеблется, не зная, чему отдать предпочтение — узелку или фляжке, но в конце концов избирает фляжку как более приятную компанию, а сухую провизию уступает своему товарищу по исследованию неизвестных стран.

Затем начинается подъем на башню. С трудом взбираются они по винтовой лестнице, поворот за поворотом, нагибая голову, чтобы не стукнуться о верхние ступеньки или о грубо вытесанный каменный столб, служащий осью этой спирали. Дёрдлс зажигает фонарь, извлекая из холодной каменной стены искру того таинственного огня, который таится во всякой материи, и, руководимые этим тусклым светочем, они пробиваются сквозь тенета паутины и залежи пыли. Странные места открываются им по пути. Раза два или три они попадают в низкие сводчатые галереи, из которых можно заглянуть в залитый лунным светом неф; и когда Дёрдлс помахивает фонарем, смутно выступающие из темноты головки ангелов на кронштейнах крыши тоже покачиваются и словно провожают их взглядом. Дальше лестница становится еще круче, еще теснее, и откуда-то уже веет свежим ночным ветром, и порою слышен в темноте тревожный крик вспугнутой галки или грача, а затем тяжелые взмахи крыльев, от которых в этом замкнутом пространстве на головы Дёрдлса и Джаспера сыплется пыль и солома. Наконец, оставив фонарь за поворотом лестницы — так как тут уж дует не на шутку,— они заглядывают через парапет, и взорам их открывается весь Клойстергэм, необыкновенно красивый в лунном свете: у подножья башни — разрушенные обиталища и святилища умерших; подальше — сбившиеся в кучу и облагороженные мшистым налетом красные черепичные крыши и кирпичные дома живых; а еще дальше — река, которая, извиваясь, выползает из туманной гряды на горизонте, словно там ее начало, и стремится вперед, покрытая рябью, уже волнуемая предчувствием близкого своего слияния с морем.

Да, все ж таки это очень странная экспедиция! Джаспер, который по-прежнему движется необыкновенно тихо

и бесшумно, хоть для этого как будто и нет причины, с любопытством разглядывает раскинувшийся внизу город, в особенности самую тихую его часть, ту, что лежит в тени от собора. Но с не меньшим любопытством разглядывает он и Дёрдлса, и тот временами чувствует на себе этот пристальный, сверлящий взгляд.

Но только временами, ибо Дёрдлса чем дальше, тем все больше одолевает сонливость. Подобно тому как аэронавт на воздушном шаре облегчает его тяжесть, чтобы подняться выше, так и Дёрдлс значительно облегчил фляжку, пока поднимался по лестнице. И теперь он то и дело засыпает на ходу и на полуслове обрывает свои разглагольствования. Иной раз у него даже делается что-то вроде бреда; ему чудится, например, что земля не где-то далеко внизу, а тут же, на одном уровне с башней, и он порывается занести ногу через парапет и пройтись по воздуху. Таково его состояние, когда они начинают спускаться. И как аэронавт увеличивает груз, когда хочет опуститься ниже, так и Дёрдлс еще дополнительно нагружается из фляжки, чтобы успешнее осуществить спуск.

Вернувшись к железной двери и заперев ее, причем Дёрдлс дважды чуть не падает и один раз в кровь разбивает лоб, они снова спускаются в подземелье, намереваясь выйти тем же путем, каким пришли. Но к тому времени, когда они вновь ступают на знакомые световые дорожки, у Дёрдлса уже так заплетаются ноги, равно как и язык, что он не то валится, не то ложится на пол возле одного из каменных столбов, сам отяжелевший, как камень, и невнятно умоляет своего спутника позволить ему «соснуть минуточку».

— Ладно уж, раз не можете иначе,— отвечает Джаспер.— Но я вас не оставлю. Спите, а я пока тут поброжу.

Дёрдлс мгновенно засыпает. И видит сон.

Сон этот, прямо сказать, немудрящий, если принять во внимание, насколько обширна страна сновидений и какие причудливые образы иной раз там бродят; сон Дёрдлса замечателен только тем, что он очень тревожен и очень похож на действительность. Ему снится, что он лежит в подземелье и спит и вместе с тем все время считает шаги своего спутника, который прохаживается взад и вперед. Потом ему снится, что шаги затихают где-то в безднах

времени и пространства, потом, что его трогают и что-то падает из его разжатой руки. Это что-то звякает при падении, и кто-то шарит вокруг; а потом Дёрдлсу снится, что он долго лежит один — так долго, что световые дорожки меняют направление, оттого что луна передвинулась в небе. Потом он медленно выплывает из глубин бессознательности, чувствует, что ему холодно и неудобно, и, наконец, просыпается с болью во всем теле и видит, что дорожки и впрямь изменили направление, точь-в-точь как было во сне, а мистер Джаспер расхаживает по ним, притопывая и хлопая рукой об руку.

— Эй! — восклицает Дёрдлс, неизвестно почему встревоженный.

— Проснулись, наконец? — спрашивает мистер Джаспер, подходя к нему.— Знаете ли вы, что ваша одна минутка превратилась в добрую сотню?

— Ну вот еще!

— Да уж поверьте.

— Который час?

— Слушайте! Сейчас будут бить часы на башне.

Маленькие колокола отзванивают четыре четверти, потом начинает бить большой колокол.

— Два! — восклицает Дёрдлс, торопливо вставая.— Что ж вы меня не разбудили, мистер Джаспер?

— Я пробовал, да ведь легче мертвого разбудить. Хотя бы вон ту вашу «семейку» в углу.

— Вы меня трогали?

— Трогал?.. Да я вас тряс изо всей силы!

Вспомнив о загадочном прикосновении во сне, Дёрдлс смотрит на пол и видит, что ключ от подземелья лежит возле того места, где он спал.

— Я, стало быть, тебя обронил? — бормочет он, подбирая ключ, удовлетворенный тем, что и эта часть сна получила объяснение. Но когда он снова выпрямляется (насколько он сейчас вообще способен выпрямиться), он опять ощущает на себе пристальный, испытующий взгляд своего спутника.

— Ну? — улыбаясь, говорит Джаспер.— Вы уже совсем собрались? Не спешите, пожалуйста.

— Вот только узелок завяжу поаккуратней, и я к вашим услугам.

Завязывая узелок, он опять замечает, что за ним следят.

— Да вы в чем меня подозреваете, мистер Джаспер? — говорит он с пьяной сварливостью.— Ежели у кого есть насчет Дёрдлса подозрения, так пусть скажет какие.

— Насчет вас, милейший мой мистер Дёрдлс, у меня нет никаких подозрений. Но я подозреваю, что коньяк в моей фляжке был крепче, чем мы оба думали. И еще я подозреваю,— добавляет он, поднимая фляжку с пола и переворачивая ее вверх дном,— что она пуста.

Дёрдлс удостаивает рассмеяться в ответ на эту шутку. Все еще посмеиваясь, словно сам дивясь своим способностям по части поглощения крепких напитков, он, покачиваясь, бредет к двери и отпирает ее. Оба выходят. Дёрдлс запирает дверь и прячет ключ в карман.

— Тысячу благодарностей за интересную и приятную прогулку,— говорит Джаспер, подавая ему руку.— Вы доберетесь один домой?

— С чего ж бы мне не добраться? — оскорбленно отвечает Дёрдлс.— Вы не вздумайте меня провожать, это уж стыд для меня будет! Дёрдлс тогда и вовсе домой не пойдет.

Не пойдет он домой до утра,
А и утро придет, он домой не пойдет,

не пойдет и все! — Это он произносит крайне вызывающим тоном.

— В таком случае, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, мистер Джаспер.

Каждый поворачивает в свою сторону, как вдруг тишину прорезает пронзительный свист, за которым следуют визгливые выкрики:

Кук-кареку! Кик-кирики!
Не шляй-ся пос-ле де-ся-ти!
А не тó дураку
Камнем проломлю башку!
Кук-кареку-у! Будь на-чеку-у!

И тотчас камни градом летят в стену собора, а через дорогу виден безобразный мальчишка, пляшущий в лунном свете.

— Что?.. Этот дьяволенок опять за нами шпионил? — в ярости кричит Джаспер; он так мгновенно воспламенился

и так пышет злобой, что сам в эту минуту похож на дьявола, только постарше.— Убью мерзавца! Изувечу!

Невзирая на беглый огонь, направленный в него и неоднократно попадающий в цель, он кидается на Депутата, хватает его за шиворот и тащит через дорогу. Но с Депутатом не так-то легко совладать. С истинно бесовской хитростью он тотчас улавливает выгоды своего положения, и едва его схватили за шиворот, как он подбирает ноги, и, повиснув в воздухе, хрипит как удавленник, и корчится и извивается всем телом словно в последних судорогах удушья. Противнику ничего не остается как бросить его. Он мгновенно вскакивает на ноги, отбегает к Дёрдлсу и, злобно ощерясь черной дырой, которая зияет у него во рту на месте передних зубов, кричит своему врагу:

— Ты у меня без глаз останешься, вот увидишь! Я тебе бельма-то повыбью, вот увидишь! Так хвачу камнем, что только держись! — При этом он прячется за спину Дёрдлса, выглядывая то справа, то слева и злобно рыча на Джаспера, готовый, если на него бросятся, пуститься наутек, делая скидки во все стороны как заяц, а если его все-таки настигнут, повалиться наземь и, пресмыкаясь в пыли, вопить: — Ну бей, бей лежачего! Бей!

— Не троньте ребенка, мистер Джаспер,— уговаривает Дёрдлс, заслоняя мальчишку.— Опомнитесь!

— Он увязался за нами, еще когда мы сюда шли!

— Врешь, и не думал,— огрызается Депутат, употребляя единственно известную ему форму вежливого возражения.

— Он и потом все время за нами подглядывал!

— Врешь, меня тут и не было,— возражает Депутат.— Я только сейчас пошел прогуляться, вдруг вижу, вы оба выходите из собора. А ведь есть же у нас уговор —

Не шляй-ся пос-ле де-ся-ти!

(это он выкрикивает как всегда нараспев и с обычным своим приплясыванием, хотя и прячась за спину Дёрдлса),— а он вот шляется, так я, что ли, в том виноват?

— Ну так и веди его домой! — все еще со злостью, но сдерживаясь, говорит Джаспер.— И чтоб я тебя больше не видел!

Депутат снова издает пронзительный свист, выражая этим свое облегчение, а также возвещая о начале более умеренной бомбардировки Дёрдлса, и гонит его камнями домой словно непослушного вола. Мистер Джаспер в мрачной задумчивости возвращается к себе, в домик над воротами. И так как все на свете имеет конец, то и эта странная экспедиция на том кончается — по крайней мере до поры до времени.

ГЛАВА XIII

Оба на высоте

В пансионе мисс Твинклтон скоро наступит затишье. Близятся рождественские каникулы. То, что ранее — и совсем недавно — все и даже сама эрудированная мисс Твинклтон называли полугодием и что теперь более изящно и более по-университетски именуется «семестром», кончается завтра. За последние несколько дней в Женской Обители заметно ослабела дисциплина. В спальнях устраивались общие ужины, на которых копченый язык резали ножницами и раздавали щипцами для завивки волос. Для вкушения джема был создан десертный сервиз из папильоток, а когда дело дошло до буквичного вина, то каждый по очереди осушал маленькую приземистую мензурку, из которой малютка Риккетс (юная особа слабого здоровья) ежедневно пила свои железистые капли. Горничные получали взятки в виде многочисленных отрезков лент и нескольких пар туфель с более или менее сбитыми каблуками за то, что соглашались обойти молчанием сдобные крошки, обнаруженные поутру в постелях; участницы появлялись на этих празднествах в самых легкомысленных костюмах, а неукротимая мисс Фердинанд однажды поразила присутствующих, исполнив бойкое соло на гребешке, обернутом бумагой для папильоток, в награду за что едва не была удушена под собственной периной двумя палачами с развевающимися локонами.

Есть и другие признаки близкого разъезда. В спальнях появились чемоданы (что в другое время рассматривалось как тяжкое преступление) и началась укладка с затратой

такого количества энергии, которое вовсе не соответствовало количеству укладываемых вещей. Щедрые дары в виде шпилек и баночек с остатками кольдкрема и помады были розданы подсобляющим при укладке горничным. Под величайшим секретом каждая девица поверяла подружкам свои надежды на скорое свидание с некиим представителем английской золотой молодежи, который, конечно, не преминет при первой возможности зайти «к нам домой». Правда, мисс Гигглс (обладавшая на редкость черствым сердцем) заявила, что на подобные любезности она отвечает тем, что корчит рожи «этим мальчишкам», но такая точка зрения была осуждена подавляющим большинством.

Как всегда, договорились последнюю ночь не спать и всеми способами поощрять привидения явиться. И как всегда, этот договор был нарушен, и все молодые девицы очень скоро заснули и встали очень рано.

Заключительная церемония состоялась назавтра в двенадцать часов. Мисс Твинклтон всегда в этот день устраивала, при содействии миссис Тишер, маленький прием у себя в гостиной, где глобусы к этому времени уже были заключены в парусиновые чехлы, а на столе на подносах стояли стаканчики с белым вином и тарелочки с ломтиками фунтового кекса *. Мисс Твинклтон, как всегда, произнесла напутственную речь.

— Милостивые государыни,— сказала она,— новый кругооборот года вернул нас к тому праздничному времени, когда исконные чувства, присущие человеческой природе, с удвоенной силой волнуют,— мисс Твинклтон каждый год едва не произносила «нашу грудь», но каждый год удерживалась на самом краю этого рискованного выражения и подставляла вместо него «наши сердца».— Да, сердца. Наши сердца. Э-гм! Новый кругооборот года привел нас к перерыву в наших занятиях — надеюсь, наших весьма успешных занятиях,— и, как моряк в своей лодке, воин в своей палатке, пленник в своей темнице и путешественник в различных средствах передвижения, мы стремимся домой. Скажем ли мы начальными словами знаменитой трагедии мистера Аддисона:

Печален был рассвет и мрачно утро,
И среди черных туч рождался день,
Великий день, день роковой!..

Нет! Сегодня от горизонта до зенита все было couleur de rose[1], ибо все напоминало нам о наших друзьях и близких. Будем уповать, что мы найдем их преуспевающими, как мы того ожидаем; будем уповать, что они найдут нас преуспевающими, как они того ожидают! Милостивые государыни, теперь мы, исполненные взаимной любви, пожелаем друг другу счастья и простимся до следующей встречи. А когда придет время возобновить те труды, которые (тут на всех лицах изобразилось уныние) — те труды, которые, труды, которые; тогда мы вспомним, что сказал спартанский полководец — в выражениях столь общеизвестных, что их незачем повторять,— перед битвой время и место которой излишне уточнять.

Тут горничные в своих самых нарядных наколках стали разносить подносы, молодые девицы прихлебывать вино и отщипывать кусочки кекса, а упомянутые средства передвижения все больше загромождать улицу. Затем началось прощание. Прикасаясь губами к щеке каждой молодой девицы, мисс Твинклтон одновременно передавала ей аккуратный конвертик, с адресом ее ближайшего родственника или опекуна и надписью на уголке: «С сердечным приветом от мисс Твинклтон». Это послание она вручала с таким видом, как будто оно не имело никакого отношения к плате за пансион, но содержало в себе какой-то милый и веселый сюрприз.

Роза уже столько раз видала эти отлеты и так привыкла считать Женскую Обитель единственным своим домом, что не огорчалась, оставаясь одна. А на этот раз она огорчалась еще меньше,— ведь ее новая подруга будет с нею. Правда, в этой новой дружбе был пробел, которого она не могла не замечать. Елена Ландлес, слышавшая признания своего брата в любви к Розе и давшая слово мистеру Криспарклу хранить их в тайне, избегала даже упоминать имя Эдвина Друда. Почему она так делала, было для Розы загадкой, но самый факт от нее не укрылся. Если бы не это, Роза могла бы облегчить свое растревоженное сердечко, рассказав подруге о своих сомнениях и колебаниях. А так ей оставалось только думать да думать в одиночку, да удивляться, почему Елена и сейчас так

[1] Розового цвета *(франц.)*.

упорно молчит, хотя молодые люди решили ведь помириться — об этом Елена ей все-таки сказала — и добрые отношения между ними будут восстановлены, когда Эдвин приедет на рождество.

Прелестная это была картинка, когда столько хорошеньких девушек целовали Розу под холодным портиком Женской Обители, а сама она, это солнечное маленькое создание, выглядывала из дверей (не замечая, что на нее иронически смотрят хитрые лица, изваянные на каменных желобах и на фронтоне) и махала платочком вслед отъезжающим экипажам, словно живое воплощение радостной юности, остающейся в этом старом доме, чтобы вносить в него свет и тепло, когда все его покинут. Вместо обычного нестройного шума на Главной улице звенели серебряные голоса: «Прощай, Розовый Бутончик! До свиданья, милочка!», а изображение отца мистера Сапси над входом в доме напротив, казалось, возглашало, адресуясь ко всему человечеству: «Джентльмены, обратите внимание на этот последний, еще оставшийся, очаровательный земельный участочек и предлагайте цену, достойную такого редкого случая!» А затем весь этот щебет, и блеск, и лепет, на несколько сверкающих мгновений затопивший степенную улицу, внезапно схлынул, и Клойстергэм опять стал таким, как всегда.

Если Розовый Бутончик в своем терему с неспокойным сердцем ждала приезда Эдвина Друда, то и он, со своей стороны, не был покоен. Он в гораздо меньшей степени обладал способностью сосредоточивать все душевные силы на одной цели, чем маленькая красавица, единогласно признанная царицей пансиона мисс Твинклтон, но совесть у него все-таки была, и мистер Грюджиус ее разбередил. Этот джентльмен имел столь твердые взгляды насчет того, что правильно и что неправильно в таком положении, в каком находился Эдвин, что от них нельзя было отделаться презрительным поднятием бровей или смехом. Это бы их не поколебало. Если бы не обед в Степл-Инне и не кольцо, лежавшее у Эдвина в нагрудном кармане, он, вероятно, отдался бы течению событий и встретил день своей свадьбы без сколько-нибудь серьезных размышлений, лениво надеясь, что все образуется само собой, не надо только вмешиваться. Но клятва в верности живым и умер-



шим, которую с него так торжественно взяли, заставила его призадуматься. Приходилось сделать выбор: либо вручить кольцо Розе, либо вернуть его мистеру Грюджиусу. И любопытно, что, вступив на эту узкую дорожку, он уже с меньшим себялюбием думал о Розе и ее правах на него и не чувствовал уже такой уверенности в себе, как в прежние свои беспечные дни.

— Посмотрим, что она скажет и как у нас с ней пойдет, этим и буду руководствоваться,— решил он, пока шел от домика над воротами до Женской Обители.— Во всяком случае, как бы оно ни обернулось, я буду помнить его слова и постараюсь сохранить верность живым и умершим.

Роза уже была одета для прогулки. День был солнечный и морозный, и мисс Твинклтон снисходительно одобрила их намерение подышать свежим воздухом. Они тотчас ушли, не дав времени ни самой мисс Твинклтон, ни ее заместителю и первосвященнику, миссис Тишер, возложить хотя бы одну из обычных жертв на алтарь Приличий.

— Дорогой мой Эдди,— сказала Роза, когда они свернули с Главной улицы на тихие тропы, ведущие от собора к реке,— мне нужно серьезно поговорить с тобой. Я уже так давно и так долго думала об этом.

— И я хочу сегодня быть серьезным, милая Роза. Серьезным и совершенно искренним.

— Спасибо, Эдди. И ты не сочтешь меня недоброй за то, что я об этом заговорила? Ты не подумаешь, что я забочусь только о себе, раз я первая начала этот разговор? Нет, ты не можешь так думать, это было бы невеликодушно, а я знаю, что у тебя великодушное сердце.

Он ответил:

— Я никогда не думал о тебе дурно, милая Роза.— Он больше не называл ее Киской. И никогда больше не назовет.

— И мы ведь не поссоримся, Эдди, нет? Потому что, подумай, милый,— она пожала его локоть,— мы часто оба бывали не правы и мы должны быть снисходительны друг к другу!

— Мы будем снисходительны, Роза.

— Ну вот какой ты хороший! Эдди, наберемся мужества. Решим, что с сегодняшнего дня мы будем друг для друга только братом и сестрой.

— И никогда мужем и женой?

— Никогда!

Минуту или две оба молчали. Потом он с некоторым усилием проговорил:

— Да, я знаю, каждый из нас втайне уже думал об этом. И я должен честно тебе признаться, Роза, что, может быть, не у тебя первой зародилась эта мысль.

— Но и не у тебя, милый,— с трогательной искренностью воскликнула она.— Она родилась сама собой. Что нам дала эта помолвка? Ты не был по-настоящему счастлив, я не была по-настоящему счастлива. Ах, как мне горько, как мне обидно! — И она разразилась слезами.

— И мне очень горько, Роза. Мне обидно за тебя.

— А мне за тебя, мой бедный мальчик! Мне за тебя!

Этот чистый юный порыв, эта бескорыстная нежность и жалость друг к другу принесла с собой награду, пролив на обоих какой-то умиротворяющий мягкий свет. В этом свете их отношения уже не казались, как раньше, чем-то нарочитым, сплетенным из капризов и своеволия и обреченным на неудачу, но возвысились до подлинной дружбы, свободной, искренней и правдивой.

— Если мы знали вчера,— сказала Роза, отирая глаза,— а мы ведь знали и вчера и гораздо раньше, что есть что-то неправильное в этих отношениях, которые мы не сами себе придумали, так что же лучшего мы можем сделать сегодня, как не изменить их? Конечно, нам обоим горько, иначе и быть не может, но уж лучше огорчаться сейчас, чем после.

— Когда после, Роза?

— Когда уж было бы слишком поздно. Потому что тогда мы не только бы огорчались, мы бы еще и сердились друг на друга.

Снова оба умолкли.

— И знаешь,— простодушно пояснила Роза,— тогда ты уже не мог бы меня любить. А так ты всегда сможешь меня любить, потому что я не буду для тебя обузой и лишним беспокойством. И я всегда смогу тебя любить, и твоя сестра никогда больше не станет дразнить тебя или

придираться к пустякам. Я часто это делала, когда еще не была твоей сестрой, и ты, пожалуйста, прости меня за это.

— Не будем говорить о прощении, Роза, а то мне его столько понадобится!.. Я гораздо более виноват, чем ты.

— Нет, нет, Эдди, ты слишком строго судишь себя, мой великодушный мальчик. Сядем, милый брат, на этих развалинах, и я объясню тебе, как все это у нас получилось. Мне кажется, я знаю, я столько думала об этом с тех пор, как ты уехал. Я тебе нравилась, да? Ты думал — вот славная, хорошенькая девочка?

— Все так думают, Роза.

— Все? — На секунду Роза задумалась, сдвинув брови, потом сделала неожиданный вывод: — Ну хорошо, допустим. Но ведь этого недостаточно, что ты думал обо мне как все? Ведь недостаточно?

Да, конечно. Этого было недостаточно.

— Про то я и говорю, так вот у нас и было,— сказала Роза.— Я тебе нравилась, и ты привык ко мне, и привык к мысли, что мы поженимся. Ты принимал это как что-то неизбежное, ведь правда? Ты думал: это же все равно будет, так о чем тут говорить или спорить?

Как ново и странно было для Эдвина увидеть вдруг себя так ясно в зеркале, поднесенном Розой! Он всегда относился к ней свысока, уверенный в превосходстве своего мужского интеллекта над ее слабым женским умишком. Не было ли это еще одним доказательством коренной неправильности тех отношений, в русле которых оба они незаметно влеклись к пожизненному рабству?

— Все, что я сейчас сказала о тебе, можно сказать и обо мне тоже. Иначе я, пожалуй, не решилась бы заговорить. Разница только в том, что я мало-помалу привыкла думать об этом, а не гнать от себя все такие мысли. Я ведь не так занята, как ты, не столько у меня дел, о которых нужно думать! Ну вот я и думала, много думала и много плакала (но это уж не твоя вина, милый!), как вдруг приехал мой опекун, чтобы подготовить меня к будущей перемене. Я пыталась намекнуть, что я еще сама не знаю, как мне быть, но я колебалась, путалась, он меня не понял. Но он хороший, хороший человек! Он с такой добротой и вместе так твердо внушил мне, что в нашем

положении надо все хорошенько взвесить, что я решила поговорить с тобой, как только мы будем наедине и в подходящем настроении. Только не думай, Эдди, что если я сразу об этом заговорила, значит, мне это легко далось, нет, мне это было так трудно, так трудно! И мне так жалко, так жалко, если б ты знал!

Она снова расплакалась. Он обнял ее за талию, и некоторое время они молча шли вдоль реки.

— Твой опекун и со мной говорил, Роза, милая. Я виделся с ним перед отъездом из Лондона.— Его рука потянулась к спрятанному на груди кольцу, но он подумал: «Раз все равно придется его вернуть, зачем говорить ей об этом?»

— И это настроило тебя на более серьезный лад, да, Эдди? И если бы я не заговорила, ты бы сам заговорил со мной, да? Скажи, что это так, сними с меня тяжесть! Я понимаю, так для нас лучше, гораздо лучше, а все-таки мне не хочется, чтобы я одна была причиной!

— Да, я бы сам заговорил с тобой. Я уже решил, что все тебе изложу и сделаю, как ты скажешь. С тем сюда и ехал. Но я не сумел бы так это сделать, как ты.

— Так холодно и бессердечно — ты это хочешь сказать? Ах, пожалей меня, Эдди, не говори так!

— Я хотел сказать — так разумно и так деликатно, с таким умом и чувством.

— Ах, милый мой брат! — Она в восторге поцеловала его руку.— Но какое это будет огорчение для девочек! — добавила она, уже смеясь, хотя росинки еще блестели у нее на ресницах.— Они ведь так этого ждут, бедняжки!

— Ох! Боюсь, что это будет еще большим огорчением для Джека! — воскликнул вдруг Эдвин.— Про Джека-то я и забыл!

Она метнула на него быстрый, внимательный взгляд, мгновенный и неудержимый как молния. Но, должно быть, в ту же секунду пожалела, что не смогла его удержать, потому что тотчас опустила глаза и дыхание ее стало частым и прерывистым.

— Ведь какой это будет удар для него, ты понимаешь?

Она уклончиво и смущенно пролепетала, что не знает, не думала об этом, да и почему бы, какое он ко всему этому имеет отношение?

— Милая моя девочка! Неужели ты думаешь, что если человек так носится с кем-то — это выражение миссис Топ, а не мое,— как Джек со мной, то он не будет потрясен таким неожиданным и решительным поворотом в моей судьбе? Я говорю — неожиданным, потому что для него-то это будет неожиданностью.

Она кивнула — раз и еще раз, и губы ее раскрылись, как будто она хотела сказать — «да». Но ничего не сказала, и дыхание ее не стало ровнее.

— Как же мне сказать Джеку? — в раздумье проговорил Эдвин. Если б он не был так поглощен этой мыслью, он, вероятно, заметил бы необычное волнение Розы.— О Джеке-то я и не подумал. А ведь надо будет ему сказать, прежде чем об этом заговорит весь город! Я с ним обедаю завтра и послезавтра — в сочельник и на первый день рождества,— но не хотелось бы портить ему праздник. Он и без того вечно тревожится обо мне и расстраивается из-за всяких пустяков. А тут такая новость! Как ему сказать, ума не приложу.

— А это непременно нужно? — спросила Роза.

— Дорогая моя! Какие же у нас могут быть тайны от Джека?

— Мой опекун обещал приехать на праздники, если я его приглашу. Я хочу ему написать. Может быть, пусть он скажет?

— Блестящая мысль! — воскликнул Эдвин.— Ну да, он ведь тоже душеприказчик! Самое естественное. Он приедет, пойдет к Джеку и сообщит ему, на чем мы порешили. Он сделает все это гораздо лучше, чем мы. Он уже так сочувственно говорил с тобой, он так сочувственно говорил со мной, он сумеет так же сочувственно поговорить с Джеком. Очень хорошо! Я не трус, Роза, но доверю тебе один секрет: я немножко боюсь Джека.

— Нет-нет! Не говори, что ты его боишься! — вскричала она, побледнев как полотно и стискивая руки.

— Сестричка Роза, сестричка Роза, что ты там видишь с башни? * — поддразнил ее Эдвин.— Да что с тобой, девочка?

— Ты меня напугал.

— Я не хотел, честное слово, но все равно прошу у тебя прощения. Неужели ты могла хоть на минуту поду-

мать, что я в самом деле боюсь старины Джека, который во мне души не чает? Я, наверно, как-нибудь не так выразился. Тут совсем другое. У него бывают иногда обмороки или какие-то припадки — я сам раз видел,— и я подумал, что если я его этак вдруг огорошу, то как бы с ним не было опять припадка. Это и есть тот секрет, о котором я упоминал. Ну и поэтому лучше, чтобы сказал твой опекун. Он такой спокойный человек, такой точный и рассудительный, он и Джека сразу успокоит и заставит здраво взглянуть на вещи. А со мной Джек всегда нервничает и от всего тревожится, прямо, я бы сказал, как женщина.

Это как будто убедило Розу. А может быть (если вспомнить ее собственное мнение о «Джеке», столь отличное от мнения Эдвина), она увидела в посредничестве мистера Грюджиуса опору для себя и защиту.

И снова рука Эдвина потянулась к спрятанному у него на груди маленькому футляру, и снова его остановило то же соображение: «Ведь теперь уже ясно, что кольцо надо вернуть. Так зачем показывать его Розе». Ее чувствительное сердечко, умевшее так огорчаться за него, Эдвина, и так оплакивать крушение их детской мечты о счастье вместе, но уже примирившееся со своим одиночеством в новом мире и готовое сплетать венки из новых цветов, которые в нем расцветут, когда увянут старые,— разве не будет оно сызнова ранено видом этих печальных драгоценностей? А зачем это нужно? Какая польза? Эти бриллианты и рубины лишь символ разбитого счастья и несбывшихся надежд; и долговечная их красота (как сказал самый Угловатый Человек на свете) таит в себе жестокую насмешку над привязанностями, мечтами и планами людей, этих жалких созданий, которые ничего не могут предвидеть и которые сами всего лишь горсть праха. Пусть лежит это кольцо там, где оно скрыто. Он вернет его опекуну Розы, когда тот приедет; а старый джентльмен снова запрет его в потайной ящичек, из которого так неохотно его извлек; и там оно пребудет в забвении, как старые письма, и старые клятвы, и прочие людские замыслы, окончившиеся ничем, пока его не вынут и не продадут, потому что оно имеет денежную ценность,— и тогда круг начнется снова.

Пусть лежит. Пусть лежит, спрятанное у него на груди, а он о нем даже не заикнется. Эта мысль то смутно, то от-

четливо пробегала у него в голове, но каждый раз он приходил к одному и тому же решению: «Пусть лежит». И в ту минуту, когда он принял это, казалось бы, не столь важное решение, среди великого множества волшебных цепей, что день и ночь куются в огромных кузницах времени и случайности, выковалась еще одна цепь, впаянная в самое основание земли и неба и обладавшая роковой силой держать и влечь.

Они молча шли вдоль реки. Потом заговорили о своих дальнейших планах, теперь уже особых у каждого. Эдвин ускорит свой отъезд из Англии, а Роза пока поживет в Женской Обители, во всяком случае, пока там будет Елена. Девочкам нужно как можно мягче сообщить об ожидающем их разочаровании, и для начала Роза немедля расскажет обо всем мисс Твинклтон, раньше даже чем приедет мистер Грюджиус. И надо сделать так, чтобы все знали, что они с Эдвином остались наилучшими друзьями. Так беседовали они, и никогда еще, с самых первых дней их помолвки, не было между ними такого согласия и такой дружеской откровенности. И все-таки каждый кое о чем умолчал: она о том, что намеревается через посредство опекуна немедленно прекратить занятия со своим учителем музыки, он — о том, что в душе его уже шевелятся смутные надежды: не удастся ли ему как-нибудь ближе познакомиться с мисс Ландлес.

Пока они шли и разговаривали, яркий морозный день стал клониться к вечеру. Солнце за их спиной все ниже опускалось к реке, вдали перед ними раскинулся залитый алым светом город. Потом красный шар окунулся в воду, и когда они, наконец, повернули обратно, готовясь покинуть речной берег, волны с жалобным плеском выбрасывали к их ногам уже смутно различимые в сумерках комья водорослей, а грачи, с хриплыми криками носившиеся у них над головой, казались черными пятнами на быстро темневшем небе.

— Я подготовлю Джека к тому, что на этот раз я недолго здесь прогощу,— сказал Эдвин, почему-то понизив голос,— а потом только дождусь твоего опекуна, повидаюсь с ним, и сейчас же уеду, раньше чем он поговорит с Джеком. Лучше чтобы этот разговор происходил без меня. Правда?

— Да.

— Мы ведь правильно поступили, Роза?

— Да.

— Ведь так лучше для нас обоих? Уже сейчас стало лучше?

— Да, конечно. И будет еще лучше потом, со временем.

Но, должно быть, им было чуточку жаль прежнего, потому что они все откладывали прощание. Только дойдя до скамьи под вязами возле собора, где они в последний раз сидели вместе, оба разом остановились, словно по уговору, и она подняла к нему лицо с такой нежной готовностью, какой никогда не бывало в прошлом,— ибо те дни уже стали прошлым для них.

— Храни тебя бог, милый! Прощай!

— Храни тебя бог, милая! Прощай!

Они горячо поцеловались.

— А теперь проводи меня домой, Эдди, и иди себе. Мне хочется побыть одной.

Он взял ее под руку, и они двинулись к выходу из ограды.

— Не оборачивайся, Роза,— тихо проговорил он, наклоняясь к ней.— Ты видела Джека?

— Нет! Где?

— Под деревьями. Он видел, как мы прощались. Бедняга! Он и не знает, что это навсегда. Боюсь, это будет для него жестоким ударом!

Она ускорила шаги, почти побежала и не останавливалась, пока они не прошли под домиком над воротами и не очутились на улице; тогда она спросила:

— Он пошел за нами? Посмотри, только незаметно. Он тут?

— Нет. А, вот он. Только что вышел из-под арки. Добрая душа! Хочет лишнюю минуту на нас полюбоваться. Как же он расстроится, когда узнает!

Она торопливо дернула ручку старого хриплого звонка, и вскоре двери растворились. Но прежде чем уйти, она подняла к нему широко открытые, умоляющие глаза, словно спрашивая с укором: «Ах! Неужели ты не понимаешь?» И этот прощальный укоризненный взгляд провожал его, пока он не скрылся из виду.

ГЛАВА XIV

Когда эти трое снова встретятся?

Сочельник в Клойстергэме. На улицах появились новые, незнакомые, лица и еще другие лица, не то знакомые, не то нет,— лица бывших клойстергэмских детей, а теперь взрослых мужчин и женщин, которые давно живут где-то в далеком, чуждом мире и только изредка наведываются в родной город, всякий раз с удивлением отмечая, что он до странности уменьшился в размерах за время их отсутствия и вообще стал какой-то тусклый и грязный, словно его давно не мыли. Для них звон соборного колокола и крики грачей на соборной башне звучат голосами далекого детства. И бывало, что в смертный их час, приходивший где-нибудь в иных местах и в иной обстановке, им чудилось вдруг, что пол их комнаты устлан осенними листьями, осыпавшимися с вязов в ограде собора; так нежный шелест и свежий аромат их первых впечатлений воскресал в ту минуту, когда круг их жизни готовился замкнуться и конец ее сближался с началом.

Все вокруг говорит о празднике. Красные ягодки поблескивают тут и там в решетчатых окнах в Доме младшего каноника; мистер Топ и его супруга с изяществом укрепляют веточки остролиста в церковных подсвечниках и в резных спинках алтарных сидений, словно вдевают их в петлицу настоятелю и членам соборного капитула. В лавках изобилие товаров, особенно коринки, изюма, пряностей, цукатов и подмокшего сахара. Всюду царит непривычно игривое и легкомысленное настроение: в зеленной повешен над порогом огромный пук омелы, а в кондитерской красуется на прилавке крещенский пирог, увенчанный фигуркой арлекина,— по правде сказать, очень маленький и жалкий пирожок,— который будет разыгран в лотерею по шиллингу за билет.

В общественных развлечениях тоже нет недостатка. Паноптикум, так поразивший чувствительное воображение китайского императора, будет открыт по особому желанию публики — только на одну неделю, спешите посмотреть! — в бывших конюшнях в конце переулка, предо-

ставленных для этой цели их обанкротившимся содержателем. В театре будет большое представление — новый рождественский спектакль для детей, о чем возвещает портрет клоуна, синьора Джаксонини, приветствующего зрителей словами: «Здравствуйте, как завтра поживаете?», на каковом портрете великий комик изображен в натуральную величину и с натурально несчастным видом. Одним словом, жизнь в Клойстергэме кипит; исключением являются только средняя школа для мальчиков и пансион мисс Твинклтон. В первом из этих учреждений ученики разъехались по домам, унося каждый в своем сердце пламенную страсть к одной из пансионерок (которая об этом даже не подозревает); во втором лишь изредка мелькают в окнах лица горничных. Надо, кстати, отметить, что эти молодые особы проявляют гораздо больше живости и кокетства, когда остаются здесь единственными представительницами прекрасного пола, чем тогда, когда они делят это представительство с юными питомицами мисс Твинклтон.

Трое встретятся сегодня вечером в домике над воротами. Как проводит день каждый из них?

. . . .

Невил Ландлес, хотя и освобожденный от занятий мистером Криспарклом, чья жизнерадостная натура тоже отнюдь не равнодушна к прелестям праздника, сидит в своей тихой комнате и до двух часов пополудни сосредоточенно читает и пишет. Затем принимается убирать у себя на столе, расставлять книги по полкам, рвать и сжигать ненужные бумаги. Он выгребает из ящиков все, что там накопилось, разбирает и приводит в порядок, не оставляя не уничтоженным ни одного клочка бумаги и ни одной записи, кроме имеющих непосредственное отношение к его занятиям. Покончив с уборкой, он подходит к шкафу, достает оттуда самую простую одежду и обувь,— в том числе пару крепких башмаков и смену толстых носков, удобных для дальней экскурсии,— и укладывает все это в рюкзак. Рюкзак совсем новый, Невил только вчера купил его на Главной улице. Тогда же и там же он купил тяжелую трость с массивной ручкой и железным наконечником. Он пробует эту трость, взмахивает ею,

взвешивает ее в руке и откладывает вместе с рюкзаком на диванчик в оконной нише. Теперь все приготовления окончены.

Он надевает пальто и собирается уйти — собственно говоря, он уже вышел на лестницу и повстречался с мистером Криспарклом, который в эту минуту тоже вышел из своей спальни, находящейся на том же этаже,— но возвращается, вспомнив про свою трость и решив взять ее с собой. Когда он через мгновение снова выходит, мистер Криспаркл, не успевший еще спуститься с лестницы, видит эту трость, берет ее у него и спрашивает с улыбкой, какими соображениями он обычно руководствуется, выбирая себе трость?

— Я мало что смыслю в таких делах,— отвечает Невил.— Эту я взял, потому что она тяжелая.

— Очень уж тяжелая, Невил. Чересчур тяжелая.

— Так ведь тем удобнее на нее опираться при долгой ходьбе, сэр?

— Опираться? — повторяет мистер Криспаркл, становясь в позу пешехода.— При ходьбе не опираешься на трость, а только покачиваешь ее взад и вперед.

— Я не сообразил, сэр. Привыкну ходить, буду разбираться лучше. В тех краях, откуда я приехал, мало ходят пешком.

— Правда,— говорит мистер Криспаркл.— Вы поупражняйтесь, тогда мы с вами предпримем хорошую прогулку, миль этак на двадцать либо сорок. А сейчас я бы вас сразу оставил за флагом. Вы зайдете еще домой перед обедом?

— Едва ли, сэр. Обед будет ранний.

Мистер Криспаркл одобрительно кивает и весело прощается с ним, всем своим видом показывая (не без умысла), что вполне уверен в своем ученике и ни о чем не тревожится.

Невил заходит в Женскую Обитель и просит сообщить мисс Ландлес, что ее брат пришел за ней, как было условлено. Он ждет у дверей, даже не переступая порога, верный своему обещанию не делать никаких попыток увидеться с Розой.

Его сестра, не менее, чем он, верная данному слову, не заставляет себя ждать. Они ласково здороваются и, не

задерживаясь ни на минуту, направляются вверх по склону в противоположную от реки сторону.

— Я не собираюсь вступать на запретную почву, Елена,— говорит Невил после того, как они прошли уже порядочное расстояние и повернули обратно,— но мне все-таки придется коснуться моего — как это назвать? — моего увлеченья. Ты сейчас поймешь, почему.

— Может быть, лучше не надо, Невил? Ты же знаешь, я не имею права тебя слушать.

— Ты имеешь право, дорогая, выслушать то, что мистер Криспаркл уже слышал и одобрил.

— Да, это можно.

— Я не только сам неспокоен и несчастлив, но я чувствую, что беспокою других и всем мешаю. Ведь если бы не мое злополучное присутствие, то, почем знать, может быть, ты и... и все остальные, кто был у мистера Криспаркла в день нашего приезда, за исключением нашего очаровательного опекуна, завтра тоже весело обедали бы в Доме младшего каноника? И даже наверное так. Я отлично вижу, что матушка мистера Криспаркла обо мне невысокого мнения, и при ее гостеприимстве и ее щепетильности я для нее, конечно, страшная помеха, особенно на праздниках. Ведь ей все время приходится помнить, что от такого-то человека меня надо держать подальше, а с таким-то мне по той или другой причине нельзя встречаться, а такой-то уже наслышался обо мне дурного и вовсе не желает со мной знакомиться. И так далее. Я очень осторожно изложил это мистеру Криспарклу, потому что, ты знаешь, он всегда готов пожертвовать своим удобством ради других, но я все-таки ему сказал. Я, главное, на то напирал, что мне сейчас приходится выдерживать борьбу с собой, и временное отсутствие и перемена обстановки поможет мне с этим справиться. Ну, а погода стоит хорошая, я и решил предпринять пешеходную экскурсию, так что с завтрашнего утра я уж никому не буду портить настроение, в том числе, надеюсь, и самому себе.

— А когда вернешься?

— Через две недели.

— И пойдешь совсем один?

— Мне сейчас лучше быть одному, даже если бы кто-

нибудь и пожелал составить мне компанию,— не считая, конечно, тебя, моя дорогая Елена.

— Ты говоришь, мистер Криспаркл это одобрил?

— Да, вполне. Сперва он, кажется, счел эту затею плодом слабости и, пожалуй, даже вредной для человека, склонного поддаваться унынию. Но в прошлый понедельник мы с ним пошли погулять ночью при лунном свете, и я его уговорил. Я объяснил ему, что искренне хочу победить себя, и поэтому, когда минет сегодняшний вечер, мне лучше побыть где-нибудь в другом месте, а не здесь. Здесь я неизбежно увижу, как некоторые люди всюду ходят вместе, и это мне не принесет пользы и, во всяком случае, не поможет забыть. А через две недели этой опасности уже не будет, по крайней мере на время, а когда она опять возникнет, уже в последний раз, я могу опять уехать. Кроме того, я подчеркнул, что возлагаю большие надежды на укрепляющее действие движения на воздухе и здоровой усталости. Ты знаешь, мистер Криспаркл считает, что ему самому это очень помогает сохранять здоровый дух в здоровом теле, а такой справедливый человек, как он, не может, конечно, для себя признавать одни правила, а для меня — другие. Он согласился со мной, когда понял, что я говорю серьезно, так что, с полного его одобрения, я ухожу завтра утром. К тому времени как добрые люди пойдут в церковь, я буду уже далеко, даже звона колоколов не услышу.

Елена обдумывает все это и одобряет. Ей, конечно, достаточно и того, что мистер Криспаркл это одобрил, но она и сама, независимо от него, считает, что это здравая идея и разумный план, свидетельствующий об искреннем желании и твердом намерении Невила исправиться. Ей, правда, немножко жаль брата,— он останется совсем один, бедняжка, когда все будут радостно встречать праздник, но она понимает, что сейчас надо не жалеть его, а поддержать. И она старается это сделать.

Он будет писать ей?

Непременно. Он будет писать ей через день и рассказывать о всех своих приключениях.

Багаж он, наверно, пошлет вперед?

— Нет, милая Елена. Буду путешествовать как паломник, с котомкой и посохом. Моя котомка — или мой рюк-

зак уже уложен, остается только вздеть на плечи. А вот мой посох!

Он протягивает ей трость, и она делает то же замечание, что и мистер Криспаркл,— что трость очень тяжелая. И, возвращая ее Невилу, спрашивает, из какого она дерева. Из железного дерева *, поясняет Невил.

До сих пор он был как-то особенно весел. Возможно, необходимость уговорить сестру и для этого представить ей все в самом лучшем свете поддерживала его собственное настроение. И возможно, что теперь, когда он в этом успел, наступает перелом. По мере того как сгущаются сумерки и в городе начинают загораться огни, он становится все более хмурым.

— Как мне не хочется идти на этот обед, Елена.

— Милый Невил, стоит ли из-за этого беспокоиться? Подумай, ведь скоро все это уж будет позади.

— Позади? — мрачно повторяет он.— Да. И все же мне это не нравится.

Вначале, может быть, и будет какая-то минута неловкости, успокаивает она его, но только минута. Ведь он же уверен в себе?

— В себе-то я уверен,— отвечает он,— а вот во всем остальном — не знаю!..

— Как странно ты говоришь, Невил! Что ты хочешь сказать?

— Елена, я и сам не знаю. Знаю только, что мне все это не нравится. Какая странная тяжесть в воздухе!

Она указывает на медно-красные облака за рекой и говорит, что это предвещает ветер. Он почти все время молчит, пока они не доходят до ворот Женской Обители. Тут они прощаются. Но и простившись с братом, она долго еще стоит у калитки и смотрит ему вслед. Он дважды проходит мимо домика над воротами, не решаясь войти. Наконец, когда колокола на башне отбивают одну четверть, он круто поворачивает и исчезает под аркой.

И вот *первый* поднимается по каменной лестнице.

. . . .

Эдвин Друд проводит день в одиночестве. Что-то ушло из его жизни, более важное, чем он думал, и ночью, в тишине своей спальни, он оплакивал эту утрату. Образ

мисс Ландлес все еще реет где-то на заднем плане его сознания, но главное место сейчас занимает там милая, добрая девочка, неожиданно проявившая такую твердость и такой ум, каких он у нее даже не подозревал. Он понимает теперь, что недостоин ее; он думает о том, чем они могли бы стать друг для друга, если бы он в свое время отнесся к ней более серьезно; если бы выше ценил ее; если бы, вместо того, чтобы принимать этот дар судьбы как нечто неотъемлемо принадлежащее ему по праву наследства, он постарался сберечь его и взлелеять до полного расцвета. И все же, несмотря на эти раздумья и сопровождающую их острую боль, яркий образ мисс Ландлес по временам вновь оживает в каком-то дальнем уголке его воспоминаний, питаемый тщеславием и непостоянством юности.

Как странно посмотрела на него Роза, когда они прощались у дверей Женской Обители. Неужели она проникла под тонкий покров его мыслей в сумрачные их глубины? Нет, едва ли: в ее взгляде было лишь удивление и настойчивый вопрос. В конце концов он приходит к выводу, что ему все равно не понять этот взгляд,— хотя какой же он был выразительный!

Так как теперь он только ждет мистера Грюджиуса и, повидавшись с ним, тотчас уедет, он решает на прощание еще разок пройтись по древнему городу и его окрестностям. Он вспоминает, как они с Розой когда-то гуляли тут и там,— двое детей, гордых тем, что они жених и невеста. «Бедные дети!» — думает он с грустью и жалостью.

Заметив, что часы у него остановились, он заходит к ювелиру, проверить их и завести. Ювелир тотчас принимается расхваливать имеющийся у него в продаже браслет и просит мистера Друда взглянуть на него — так просто, любопытства ради. По мнению ювелира, этот браслет замечательно пойдет молодой новобрачной, особенно если ее красота в миниатюрном роде. Видя, что браслет не заинтересовал посетителя, он привлекает его внимание к подносу с мужскими перстнями: вот, например, один — из массивного золота, с очень простой и изящной печаткой,— джентльмены часто покупают такие при перемене семейного положения. Очень приличный перстень, солидная вещь. Внутри можно выгравировать дату

свадьбы; многие джентльмены считают, что это самая лучшая памятка.

Перстень встречает столь же холодный прием, как и браслет. Эдвин объясняет своему соблазнителю, что не носит никаких драгоценностей, кроме часов с цепочкой, доставшихся ему еще от отца, и булавки для галстука.

— Это-то я знаю,— отвечает ювелир.— Тут на днях заходил мистер Джаспер, вставить часовое стекло, и я показывал ему эти перстни, на случай, если он пожелает сделать подарок какому-нибудь своему родственнику в честь какого-нибудь торжественного события... Но он только улыбнулся и сказал, что знает наперечет все драгоценности, какие носит его родственник: часы с цепочкой и булавку для галстука. Однако (высказывает свои дальнейшие соображения ювелир) сейчас это, допустим, так, но ведь может и измениться? Я поставил ваши часы, мистер Друд. Двадцать минут третьего. Не забывайте, сэр, вовремя их заводить.

Эдвин берет часы, надевает и уходит, усмехаясь про себя. «Милый мой Джек! — думает он.— Если бы я заложил лишнюю складку на галстуке, он бы и это, наверно, заметил и запомнил!»

Он бродит по улицам, стараясь убить время до обеда. Ему кажется, что сегодня Клойстергэм смотрит на него с укором, словно обиженный тем, что раньше Эдвин не уделял ему достаточно внимания, но не столько сердится на него, сколько грустит. И Эдвин уже не с прежней беспечностью, а вдумчиво и печально подолгу разглядывает знакомые места. Скоро он будет далеко и больше уж никогда их не увидит, думает он. Бедный юноша! Бедный юноша!

Сумерки застают его в монастырском винограднике. Он добрых полчаса (колокола на башне успели отзвонить дважды) бродил там взад и вперед, и только когда уже почти совсем стемнело, заметил вдруг, что в углу возле калитки, скорчившись, сидит на земле женщина. К этой калитке ведет боковая тропка, по которой вечером мало кто ходит, так что женщина, должно быть, все время сидела там, хоть он и не сразу ее увидел.

Он сворачивает на эту тропу и подходит к калитке. При свете фонаря, горящего возле, он видит, что женщина

очень худа и истощена, что она сидит, оперев на руки сморщенный подбородок, и смотрит прямо перед собой странно неподвижным, немигающим взглядом, какой бывает у слепых.

Эдвин всегда ласков с детьми и стариками, тем более сегодня, когда сердце его так растревожено, — он уже многих ребятишек и пожилых людей, встреченных по пути, приветствовал добрыми словами. Он тотчас наклоняется к сидящей женщине и спрашивает:

— Вы больны?

— Нет, милый, — отвечает она, не поднимая к нему глаз и продолжая смотреть прямо перед собой все тем же неподвижным, слепым взглядом.

— Вы слепы?

— Нет, дружок.

— Вы заблудились? У вас нет крова? Вам дурно? Что с вами, почему вы так долго сидите на холоде?

Медленно, с усилием, она словно втягивает в себя этот устремленный вдаль взгляд, пока он не останавливается, наконец, на Эдвине. И внезапно глаза ее застилает мутная пелена, и она начинает дрожать всем телом.

Эдвин резко выпрямляется, отступает на шаг и смотрит на нее в испуге — ему померещилось в ней что-то знакомое. «Боже мой! — мысленно восклицает он в следующее мгновение. — Как у Джека в тот вечер!»

Пока он молча смотрит на нее, она поднимает к нему глаза и начинает хныкать:

— Ох, легкие у меня плохие, совсем никуда у меня легкие! Ох, горюшко-горе, кашель меня замучил! — и в подтверждение своих слов отчаянно кашляет.

— Откуда вы приехали?

— Из Лондона, милый. (Кашель все еще раздирает ей грудь.)

— А куда едете?

— Обратно в Лондон, дружок. Приехала сюда искать иголку в стоге сена, ну и не нашла. Слушай, милый. Дай мне три шиллинга шесть пенсов и не беспокойся обо мне. Я тогда уеду в Лондон и никому докучать не стану. Я не кто-нибудь, у меня свое заведение есть. Ох, горюшко! Плохо торговля идет, плохо, времена-то сейчас плохие! Ну а все-таки прокормиться можно.

— Вы принимаете опиум?

— Курю,— с трудом выговаривает она сквозь судорожный кашель.— Дай мне три шиллинга шесть пенсов, я их на дело потрачу, да и уеду. А не дашь трех шиллингов шести пенсов, так и ничего не давай, ни медного грошика. А ежели дашь, я тебе что-то скажу.

Он вынимает горсть монет из кармана, отсчитывает, сколько она просит, и протягивает ей. Она тотчас зажимает деньги в ладони и встает на ноги с хриплым довольным смехом.

— Вот спасибо, дай тебе бог здоровья! Слушай, красавчик ты мой. Как твое крещеное имя?

— Эдвин.

— Эдвин, Эдвин, Эдвин,— сонно повторяет она, словно убаюканная собственным бормотанием. Потом вдруг спрашивает: — А уменьшительное от него как — Эдди?

— Бывает, что и так говорят,— отвечает он, краснея.

— Девушки так говорят, да? Подружки?

— Почем я знаю!

— А у тебя разве нет подружки? Скажи по правде!

— Нету.

Она уже повернулась, чтобы уйти, пробормотав еще раз напоследок:

— Спасибо, милый, дай тебе бог! — но он останавливает ее.

— Вы же хотели что-то мне сказать. Так скажите!

— Хотела, да, хотела. Ну ладно. Я тебе шепну на ушко. Благодари бога за то, что тебя не зовут Нэдом.

Он пристально смотрит на нее и спрашивает:

— Почему?

— Потому что сейчас это нехорошее имя.

— Чем нехорошее?

— Опасное имя. Тому, кого так зовут, грозит опасность.

— Говорят, кому грозит опасность, те живут долго,— небрежно роняет он.

— Ну так Нэд, кто бы он ни был, наверно будет жить вечно, такая страшная ему грозит опасность,— вот сейчас, в самую эту минуту, пока я с тобой разговариваю,— отвечает женщина.

Она говорит это, нагнувшись к его уху, потрясая

пальцем перед его глазами, потом, снова сгорбившись и пробормотав еще раз: «Спасибо, дай тебе бог!» — уходит по направлению к «Двухпенсовым номерам для проезжающих».

Невеселое окончание и так уж не слишком веселого дня! Даже немножко жутко, особенно здесь, на этом глухом пустыре, где кругом видны только развалины, говорящие о прошлом и о смерти; Эдвин чувствует, что холодок пробегает у него по спине. Он спешит вернуться в город, на освещенные улицы, и по дороге решает никому сегодня не говорить об этой встрече, а завтра рассказать Джеку (который один только зовет его Нэдом) как о странном совпадении. Конечно же, это просто курьезное совпадение, о котором и помнить не стоит!

Однако оно не идет у него из ума, засело прочнее, чем многое другое, о чем стоит помнить. И когда он переходит мост и идет дальше берегом, решив пройтись еще милю-другую, пока не настанет пора обедать, ему чудится, что слова женщины снова и снова звучат во всем, что его окружает, — в нарастающем шуме ветра, в клубящихся тучах, в плеске разгулявшихся волн и в мерцании огней. Какие-то зловещие отголоски этих слов слышны даже в звоне колокола, который внезапно начинает бить и словно ударяет в самое сердце Эдвина, когда тот, пройдя под аркой, вступает в ограду собора.

И вот *второй* поднимается по каменной лестнице.

Джон Джаспер проводит день веселее и приятнее, чем оба его гостя. Уроки музыки прекращены до конца праздников, так что, если не считать служб в соборе, он может свободно располагать своим временем. С утра он отправляется в лавки и заказывает разные деликатесы, которые любит его племянник. На этот раз племянник недолго у него прогостит, сообщает мистер Джаспер своим поставщикам, так уж надо его побаловать. По пути он заходит к мистеру Сапси и в разговоре упоминает о том, что его дорогой Нэд и этот чересчур горячий молодой франт, ученик мистера Криспаркла, будут сегодня обедать в домике над воротами и уладят все свои недоразумения. Мистер Сапси не одобряет молодого франта. Он говорит, что

у того «не английский» вид. А уж если мистер Сапси объявил что-нибудь не английским, значит он поставил на этом крест и осудил бесповоротно.

Мистеру Джасперу очень грустно это слышать, так как он давно заметил, что мистер Сапси ничего не говорит без основания и каким-то образом всегда оказывается прав. Мистер Сапси (как ни странно) сам того же мнения.

Мистер Джаспер сегодня в голосе. В трогательном молении, в котором он просит склонить его сердце к исполнению сих заповедей, он прямо потрясает слушателей красотой и силой звука. Никогда еще он не пел трудных арий с таким искусством и так гармонично, как сегодня этот хорал. Нервный темперамент иногда побуждает его слишком ускорять темп; но сегодня темп его безупречен.

Таких результатов он, вероятно, достиг благодаря очень большому спокойствию духа. А собственно голосовые средства — горло — у него даже как будто не совсем в порядке; возможно, он слегка простужен, потому что, в дополнение к обычной своей одежде и накинутому поверх стихарю, он сегодня надел еще длинный черный шарф из крепкого крученого шелка, обмотав его вокруг шеи. Но это необычное спокойствие духа так в нем заметно, что мистер Криспаркл заговаривает с ним об этом, когда они встречаются после вечерни.

— Я должен поблагодарить вас, Джаспер, за удовольствие, которое вы мне доставили. Как вы сегодня пели! Изумительно! Великолепно! Вы превзошли самого себя. Вы, должно быть, очень хорошо себя чувствуете?

— Да. Я очень хорошо себя чувствую.

— Ни одной неровности,— говорит мистер Криспаркл, вычерчивая в воздухе плавную кривую,— ни ослабления, ни нажима, и ничто не упущено; все, до мельчайших подробностей, выполнено мастерски, с безукоризненным самообладанием.

— Благодарю вас. Надеюсь, что так, если только это не слишком большая похвала.

— Можно подумать, Джаспер, что вы нашли какое-то новое средство от того недомогания, которое у вас иногда бывает.

— Да? Это тонко подмечено. Я действительно нашел новое средство.

— Так применяйте его, голубчик,— говорит мистер Криспаркл, дружески похлопывая Джаспера по плечу.— Применяйте!

— Да. Я так и сделаю.

— Я очень рад за вас,— продолжает мистер Криспаркл, когда они выходят из собора,— рад во всех отношениях.

— Еще раз благодарю. Если разрешите, я провожу вас; до прихода моих гостей еще есть время, а мне хочется кое-что вам сказать, что, я думаю, вам будет приятно услышать.

— Что же именно?

— А вот. Помните, в тот вечер мы говорили о моих недобрых предчувствиях?

Лицо мистера Криспаркла вытягивается, он сокрушенно покачивает головой.

— Я тогда сказал, что ваше ручательство послужит мне противоядием, если меня снова начнут терзать эти недобрые предчувствия. А вы посоветовали мне предать их огню.

— Я и теперь вам это советую.

— Ваш совет не пропал даром. Я намерен под Новый год сжечь все мои прошлогодние записи.

— Потому что вы...— начинает мистер Криспаркл с заметно посветлевшим лицом.

— Вы угадали. Потому что я понял теперь, что просто был нездоров,— то ли переутомился, то ли печень была не в порядке, то ли так, в меланхолию ударился, не знаю. Вы тогда сказали, что я преувеличиваю. Вы были правы.

Посветлевшее лицо мистера Криспаркла светлеет еще более.

— Тогда я не мог с этим согласиться, потому что, повторяю, был нездоров. Но теперь я в более нормальном состоянии и охотно соглашаюсь. Да, конечно, я делал из мухи слона; это не подлежит сомнению.

— Как я рад это слышать! — восклицает мистер Криспаркл.

— Когда человек ведет однообразную жизнь,— продолжает Джаспер,— да еще нервы у него разладятся или желудок,— он склонен слишком задерживаться на какой-

нибудь одной мысли, пока она не разрастается до вовсе уж не сообразных размеров. Так и у меня было с той мыслью, о которой я говорю. Поэтому я решил: когда эта тетрадь будет заполнена, я ее сожгу и начну новую уже с более ясным взглядом на жизнь.

— Это даже лучше, чем я мог надеяться,— говорит мистер Криспаркл, останавливаясь на ступеньках перед своей дверью и пожимая руку Джаспера.

— Понятно,— отвечает тот.— У вас было очень мало оснований надеяться, что я стану похож на вас. Вы всегда так дисциплинируете и дух свой и тело, что сознание ваше ясно как кристалл; и вы всегда такой и никогда не меняетесь; а я как болотное растение, что одиноко прозябает в мутной, застоявшейся воде, и легко впадаю в хандру. Но, видите, я все-таки справился со своей хандрой. Не будете ли вы так добры, мистер Криспаркл,— я подожду, а вы узнайте, не ушел ли уже мистер Невил ко мне? Если еще не ушел, мы могли бы пойти вместе.

— Боюсь, его нет дома,— говорит мистер Криспаркл, отпирая дверь своим ключом.— Он ушел еще при мне и, думаю, не возвращался. Но я узнаю. Вы не зайдете?

— Мои гости ждут,— с улыбкой отвечает Джаспер.

Младший каноник исчезает в дверях, а через минуту вновь появляется. Как он и думал, мистер Невил не возвращался; да он ведь и сказал, уходя,— мистер Криспаркл теперь это припоминает,— что с прогулки пройдет прямо в домик над воротами.

— Плохой же я хозяин! — говорит Джаспер.— Мои гости придут раньше меня. Хотите пари, а? Бьюсь об заклад, что застану своих гостей в объятиях друг у друга.

— Я никогда не держу пари,— отвечает мистер Криспаркл,— но если бы не это, я побился бы об заклад, что ваши гости не соскучатся с таким веселым хозяином!

Джаспер кивает и, смеясь, прощается с мистером Криспарклом.

Он идет обратно к собору той же аллеей, по которой они только что шли, проходит мимо и сворачивает к домику над воротами. Все время он напевает про себя, вполголоса, но необыкновенно чисто и с тонким выражением.

По-прежнему кажется, что сегодня он не может ни взять фальшивой ноты, ни поторопиться, ни опоздать. Войдя под арку, откуда начинается ход в его жилье, он останавливается, разматывает свой шарф и перекидывает его через руку. В это время брови его сдвинуты и лицо мрачно. Но оно почти тотчас проясняется, и, снова напевая, он продолжает свой путь.

И вот *третий* поднимается по каменной лестнице.

Весь вечер красный огонь маяка неуклонно горит на границе, о которую разбивается прибой городской жизни. Смягченные звуки и приглушенный шум уличного движения временами проникает под арку и разливается по пустынным окрестностям собора. Но больше ничто сюда не проникает, кроме резких порывов ветра. А ветер все крепчает, к ночи это уже ураган.

В ограде собора освещение и всегда неважное, а в эту ночь там особенно темно, потому что ветер задул уже несколько фонарей (а в иных случаях он разбивает и самый фонарь, так что осколки стекла со звоном сыплются на землю). Тьма и смятение еще усиливаются тем, что в воздухе летит пыль, взвихренная с земли, сухие ветки с деревьев и какие-то большие рваные лоскуты с грачиных гнезд на башне. И когда эта осязаемая часть мрака проносится мимо, сами деревья так раскачиваются и скрипят, словно их сейчас вырвет с корнем; а временами громкий треск и шум стремительного падения возвещает, что какой-то большой сук уступил напору урагана.

Давно уже не было такой бурной зимней ночи. На улицах с крыш валятся трубы, а прохожие цепляются за столбы и углы домов и друг за друга, чтобы удержаться на ногах. Порывы ветра не слабеют, а чем дальше, тем становятся все чаще и яростнее, и к полуночи, когда все уже попрятались по домам, ураган с громом несется по опустевшим улицам, дребезжит щеколдами, дергает ставни и как будто зовет людей лучше встать и бежать вместе с ним, чем дожидаться, пока крыша обрушится им на головы.

Но красный огонь горит непоколебимо. Все мечется и трепещет, непоколебим только этот красный огонь.

Всю ночь бушует ветер, и сила его не убывает. Но рано утром, когда еще только забрезжило на востоке и чуть побледнели звезды, ветер начинает постепенно стихать. Он еще яростно вскидывается по временам, как раненное насмерть чудовище, но тотчас опадает и никнет. И с наступлением дня издыхает.

Тогда становится видно, что на соборных часах сорваны стрелки; что свинцовые листы на крыше собора местами отодраны и сброшены вниз; что на вершине башни сдвинуто несколько камней. Хотя сегодня первый день рождества, решают все же послать за рабочими, чтобы выяснить размер повреждений. Они приходят, предводительствуемые Дёрдлсом, и скрываются в соборе, а мистер Топ и кучка ранних зевак, собравшись возле Дома младшего каноника и задрав головы, ожидают их появления на башне.

Внезапно в толпу, расталкивая близстоящих, врывается мистер Джаспер; и все устремленные вверх взоры вновь обращаются к земле, когда он громко спрашивает мистера Криспаркла, стоящего у открытого окна.

— Где мой племянник?

— Он сюда не приходил. Разве он не у вас?

— Нет. Он еще вчера пошел к реке, вместе с мистером Невилом, посмотреть на бурю и не вернулся. Позовите мистера Невила!

— Он сегодня рано утром отправился в экскурсию.

— В экскурсию? Рано утром? Впустите меня! Впустите меня!

Теперь уж никто не смотрит на башню. Все воззрились на мистера Джаспера, а тот стоит бледный, полураздетый и, тяжело дыша, держится за решетку перед Домом младшего каноника.

ГЛАВА XV

Обвинение

Невил Ландлес так рано отправился в путь и шел таким бодрым шагом, что к тому времени, когда в Клойстергэме колокола начали звонить к утренней службе, он успел

уже отойти миль на восемь. Изрядно проголодавшись, так как перед уходом только пожевал какую-то корочку, он решил остановиться в первом придорожном трактире и позавтракать.

Посетители, требующие завтрака, представляли собой столь редкое явление в трактире «У опрокинутого фургона» (если не считать лошадей и рогатого скота, для каковой категории посетителей всегда готов был завтрак в виде корыта с водой и охапки сена), что прошел добрый час, прежде чем удалось наладить пресловутый фургон на доставку таких предметов, как чай, ветчина и поджаренный хлеб. Невил же пока что сидел в гостиной, где пол аккуратно был посыпан песком, а в камине чихали отсыревшие сучья, и гадал, через сколько времени после его ухода этот насморочный огонь начнет кого-нибудь обогревать.

Надо признать, что «Опрокинутый фургон» — это прилепившееся на вершине холма и насквозь холодное помещение, где у самых дверей красовались лужи, выбитые копытами и полные истоптанного сена; где в буфете сердитая хозяйка шлепала мокрого младенца, у которого одна ножка была в красном носке, а другая голенькая; где сыр, сваленный на полку вместе с заплесневелой скатертью и позеленевшим ножом, очевидно, давно уже сидел там на мели в каком-то странном сосуде, больше всего похожем на чугунное каноэ; где бледный, непропеченный хлеб, роняя слезы крошек, оплакивал свое крушение в другом таком же каноэ; где семейное белье, частью недостиранное, а частью недосушенное, лежало и висело повсюду, не скрываясь от посторонних взглядов; где все предназначенное для питья пили из глиняных кружек, а все предназначенное для еды тоже напоминало глину,— если учесть все эти обстоятельства, то, повторяем, придется признать, что «Опрокинутый фургон» вряд ли мог выполнить то, что обещала надпись на его вывеске, а именно предложить самое лучшее угощение для Человека и Скота. Но Человек в данном случае не стал наводить критику, а безропотно съел все, что ему подали, и ушел, отдохнув несколько дольше, чем ему требовалось.

Отойдя на четверть мили, он остановился, не зная, что лучше — продолжать ли идти по большой дороге или свер-

нуть на проселок, окаймленный двумя высокими живыми изгородями, который поднимался по веселому, поросшему вереском склону, и в конце концов, вероятно, опять соединялся с большой дорогой. Он решил в пользу проселка и стал не без труда пробираться по нему, так как подъем был крутой, а дорога изрыта глубокими колеями.

Немного погодя он заметил, что сзади идут люди. Они шли быстрее, чем он, и он отступил к высокой обочине, чтобы их пропустить. Но они повели себя очень странно. Четверо прошли вперед; другие четверо замедлили шаг, как бы намереваясь опять пойти следом за ним, когда он тронется с места. Остальные — человек шесть — повернули и очень быстро пошли обратно.

Он посмотрел на четверых впереди, посмотрел на четверых сзади. И те и другие тоже посмотрели на него. Он продолжал путь. Четверо передних шли, то и дело оглядываясь на него; четверо задних замыкали шествие.

Когда все они вышли с узкого проселка на открытый склон и этот порядок не изменился, хотя Невил намеренно уклонялся то в одну, то в другую сторону, ему стало ясно, что эти люди чего-то хотят от него. Он остановился. Все тоже остановились.

— Чего вы ко мне привязались? — спросил он.— Что вы, шайка воров, что ли?

— Не отвечайте ему,— сказал кто-то, Невил не мог разобрать кто.— Лучше его не трогать.

— Лучше не трогать? — повторил Невил.— Кто это сказал?

Никто не ответил.

— Это хороший совет, кто бы из вас, трусов, его ни подал,— гневно продолжал он.— Я не позволю, чтобы меня вот так зажимали, четверо спереди, четверо сзади. Я хочу пройти вперед, и пройду, понятно?

Все стояли неподвижно, и он в том числе.

— Когда восемь человек, или четверо, или двое, нападают на одного,— заговорил он вновь, с нарастающей яростью,— этому одному ничего не остается, как только вздуть кого-нибудь хорошенько! И, видит бог, я это сделаю, если меня еще будут задерживать!

Подняв свою тяжелую трость, он устремился вперед мимо тех четверых, что преграждали ему дорогу. Самый

рослый и сильный из них быстро перебежал на ту же сторону и, хотя получил жестокий удар палкой, ловко обхватил Невила поперек тела, и оба покатились на землю.

— Не троньте его! — негромко крикнул этот человек, пока они боролись на траве.— Пусть будет по-честному. Он против меня все равно что девчонка, да еще и мешок у него на спине. Не троньте. Я сам справлюсь.

Они дрались с таким ожесточением, что у обоих лица вскоре залились кровью. Наконец рослый парень встал, сняв колено с груди Невила, и сказал:

— Ну вот и все! А теперь возьмите-ка его под руки.

Это немедленно сделали.

— А насчет того, что мы шайка воров, мистер Ландлес,— продолжал он, сплюнув и стерев кровь с лица,— так где это видано, чтобы воры нападали среди бела дня? Мы бы вас пальцем не тронули, кабы вы нас не вынудили. Ладно. Мы вас теперь отведем на большую дорогу, там вы найдете защиту от воров, если она вам нужна. Вытрите кто-нибудь ему лицо, видите, по нему кровь течет!

Когда Невилу отерли лицо, он узнал говорившего,— это был Джо, возница клойстергэмского дилижанса, которого он уже видел однажды в день своего приезда.

— Я вам одно посоветую, мистер Ландлес, держите язык за зубами. На большой дороге вас ожидает друг — он пошел низом, когда мы разделились на две партии,— и лучше вам ничего не говорить, пока вы с ним не увидитесь. Подберите палку кто-нибудь, и пошли!

Невил, окончательно сбитый с толку, только водил глазами, не в силах выговорить ни слова. Зажатый между двумя своими стражами, крепко державшими его за локти, он шел как во сне, пока все они не вышли на большую дорогу и не оказались перед кучкой людей. Среди них были и те шестеро, что повернули обратно с проселка, но главными в этой толпе явно были мистер Джаспер и мистер Криспаркл. Невила подвели к мистеру Криспарклу и отпустили в знак уважения к этому джентльмену. Остальные столпились вокруг.

— Что все это значит, сэр? В чем дело? — вскричал Невил.— Что я, с ума сошел, что ли?

— Где мой племянник? — срывающимся голосом спросил Джаспер.

— Где ваш племянник? — повторил Невил. — А почему вы меня об этом спрашиваете?

— Я спрашиваю вас, — отвечал Джаспер, — потому что вы последний были с ним, а его нигде не могут найти.

— Нигде не могут найти? — в изумлении воскликнул Невил.

— Тихо, тихо, — сказал мистер Криспаркл. — Позвольте мне, Джаспер. Мистер Невил, вы ошеломлены, я понимаю. Но соберитесь с мыслями. Очень важно, чтобы вы собрались с мыслями. Слушайте меня внимательно.

— Постараюсь, сэр. Но, право, мне кажется, что я сошел с ума.

— Вы вчера ушли от мистера Джаспера вместе с Эдвином Друдом?

— Да.

— В котором часу?

— В двенадцать, кажется? — вопросительно проговорил Невил, обращаясь к Джасперу и поднося руку к своей помутившейся голове.

— Правильно, — сказал мистер Криспаркл. — Мистер Джаспер уже говорил мне, что это было около двенадцати. Вы пошли вместе с ним к реке?

— Ну да. Посмотреть, какая она в бурю.

— А потом? Долго вы там пробыли?

— Минут десять; по-моему, не больше. Потом мы вместе прошли к вашему дому, и он расстался со мной у ваших дверей.

— Он не говорил, что пойдет опять на реку?

— Нет. Он сказал, что пойдет прямо домой.

Окружающие переглянулись, потом все посмотрели на мистера Криспаркла. И к нему же обратился Джаспер, все время пристально разглядывавший Невила; он тихо, отчетливо и подозрительно проговорил:

— Что это за пятна у него на платье?

Все глаза приковались к следам крови на одежде Невила.

— И на палке тоже! — сказал Джаспер, беря трость у того, кто ее нес. — Это его палка, я знаю, она вчера была у него. Что все это значит?

— Ради бога, Невил, объясните! — потребовал мистер Криспаркл.

— Мы с ним подрались,— сказал Невил, указывая на своего недавнего противника,— он вырвал у меня палку, и, посмотрите, сэр, такие же пятна есть и на нем. Что я должен был подумать, когда на меня напало восемь человек? Мог я догадаться, в чем дело, если они мне ничего не сказали?

Присутствующие подтвердили, что сочли более благоразумным не вступать в объяснения и что драка действительно была. И, однако, те самые люди, которые только что были свидетелями драки, теперь мрачно поглядывали на кровавые пятна, уже высушенные морозным воздухом.

— Мы должны вернуться, Невил,— сказал мистер Криспаркл.— Ведь вы согласны вернуться, чтобы очистить себя от подозрений?

— Конечно, сэр.

— Мистер Невил пойдет со мной,— сказал младший каноник, внушительно посмотрев на окружающих.— Идемте, Невил!

Они повернули к городу и пошли рядом; остальные плелись сзади, немного отстав и растянувшись на несколько шагов. Только Джаспер шел рядом с Невилом, по другую его сторону, и во весь путь не изменил этого положения. Он молчал, пока мистер Криспаркл снова и снова задавал Невилу все те же вопросы, и Невил снова и снова повторял все те же ответы, и оба они подыскивали возможные объяснения этого загадочного происшествия. Он упорно молчал, хотя мистер Криспаркл всем своим видом и манерой приглашал его принять участие в разговоре; и лицо у него было каменное. Когда они приблизились к городу и младший каноник сказал, что, пожалуй, следовало бы сейчас же зайти к мэру, Джаспер угрюмо кивнул, но продолжал молчать, пока они не очутились в гостиной мистера Сапси.

Лишь после того как младший каноник изложил обстоятельства дела, побудившего их прийти и сделать добровольное заявление господину мэру, мистер Джаспер заговорил. Он сказал, что, будучи в крайнем расстройстве, он, в поисках истины, все свои надежды возлагает на проницательность мистера Сапси. Сам он не видит решительно никакой причины, в силу которой его племянник мог бы внезапно пожелать скрыться, но если мистер

Сапси допускает существование такой причины, он, Джаспер, готов с ним согласиться. Совершенно невероятно, чтобы молодой человек вернулся на реку и случайно утонул, оступившись в темноте, но если мистер Сапси считает это возможным, он, Джаспер, опять-таки готов ему поверить. Сердце его чисто от всяких ужасных подозрений, но если мистер Сапси находит, что такие подозрения неизбежно возникают против последнего спутника несчастного юноши (с которым он и раньше был не в ладах), то мистер Джаспер не станет противоречить. Он, Джаспер, не может положиться на собственное суждение, так как ясность ума затемнена в нем сомнениями и страхом, но суждения мистера Сапси всегда надежны.

Мистер Сапси высказался в том смысле, что дело это имеет крайне подозрительный вид, короче говоря (и тут его взгляд обратился к лицу Невила) совершенно не английскую окраску. Установив этот важный пункт, он углубился в такие дебри и чащи чепухи и околесицы, в каких даже мэрам не часто случается резвиться, и в конце концов вывел блестящее заключение, что отнять жизнь у ближнего — значит похитить нечто тебе не принадлежащее. Мистер Сапси колебался, не следует ли ему немедленно выдать ордер на арест Невила Ландлеса и заключение его в тюрьму по имеющимся против него тяжким подозрениям, и, вероятно, сделал бы это, если бы не возмущенный протест младшего каноника, который дал клятвенное обещание держать молодого человека в сохранности в собственном своем доме и самолично доставить его в суд, если это потребуется. Затем мистер Джаспер сказал, что, насколько он понял, мистер Сапси предлагает пройти реку с драгой и тщательно обыскать берега, а также опубликовать подробности исчезновения во всех самых дальних окрестностях и в Лондоне и всюду разослать афишки и объявления, призывающие Эдвина Друда, если он по какой-то неизвестной причине добровольно покинул дом своего дяди, пожалеть этого истерзанного тревогой и убитого горем родственника и как-нибудь дать ему знать, что он еще жив. Мистер Сапси подтвердил, что его поняли совершенно правильно, он именно это хотел сказать (хотя и не обмолвился о том ни словом); и тотчас были предприняты шаги для скорейшего начала розысков.

Трудно сказать, кто из двух был более поражен ужасом и изумлением: Невил Ландлес или Джон Джаспер. Если бы не то, что положение Джаспера побуждало его к действию, а положение Невила вынуждало его бездействовать, в их состоянии вовсе не было бы разницы. Оба были подавлены и разбиты.

На другое утро, едва рассвело, десятки людей уже обшаривали реку, а другие — в большинстве своем добровольно вызвавшиеся помочь — осматривали берега. Весь долгий день шли поиски: на реке их производили с баржи шестами, драгой и сетью; на топких берегах среди камышовых зарослей — пешком, в высоких сапогах, с собаками, топорами, лопатами, веревками и прочими, какие только можно измыслить, приспособлениями. Даже ночью река была испещрена фонарями и горела зловещими отсветами; на дальних протоках, куда захлестывали волны во время прилива, всюду стояли кучки наблюдателей, прислушиваясь к журчанию струй и высматривая, не влекут ли они с собой какую-то темную ношу; у самого моря на усыпанных галькой прибрежных тропах и на скалистых выступах берега, возле которых во время прилива воронками крутились водовороты и где обычно царила непроницаемая тьма, в эту ночь пылали факелы, а на рассвете чернели неуклюжие фигуры в грубой одежде; но взошло солнце, а никаких следов Эдвина Друда так и не было обнаружено.

Поиски продолжались и весь следующий день. Джон Джаспер трудился не покладая рук; его видели всюду: то на барже или в лодке, то в ивняке на берегу, то в топких низинах, где торчали из грязи колья и острые верхушки камней, а столбы с отметками высшей точки паводка и странного вида предостерегающие знаки маячили тут и там в тумане словно привидения. Но настал вечер, а никаких следов Эдвина Друда так и не было обнаружено.

Расставив на ночь караульщиков, так, чтобы всюду зоркий глаз следил за каждым колебанием прилива, Джаспер, наконец, в полном изнеможении ушел домой. Нечесаный и немытый, весь в грязи, комьями засохшей на нем, в изорванной и висящей лохмотьями одежде, он только успел опуститься в кресло, как перед ним предстал мистер Грюджиус.

— Странные вести я здесь услышал,— сказал мистер Грюджиус.

— Странные и страшные!

Говоря это, Джаспер только чуть приподнял и тотчас вновь опустил отяжелевшие веки и бессильно привалился к ручке кресла.

Мистер Грюджиус провел ладонью по волосам и лицу и, остановившись перед камином, стал смотреть в огонь.

— Как ваша подопечная? — спросил через минуту Джаспер слабым, усталым голосом.

— Бедняжка! Можете представить себе ее состояние.

— Видали вы его сестру? — все так же устало спросил Джаспер.

— Чью?

Лаконичность вопроса и невозмутимая медлительность, с которой мистер Грюджиус перевел взгляд от огня на лицо своего собеседника, в другое время, пожалуй, вызвали бы в нем раздражение. Но теперь, раздавленный усталостью и отчаянием, он только приоткрыл глаза и сказал:

— Обвиняемого.

— Вы обвиняете его? — осведомился мистер Грюджиус.

— Не знаю, что и думать. Мне самому неясно.

— Мне тоже,— сказал мистер Грюджиус.— Но вы назвали его обвиняемым, и я подумал, что вам уже ясно. Я только что расстался с мисс Ландлес.

— Что она говорит?

— Отвергает всякие подозрения и непоколебимо уверена в невиновности брата.

— Бедняжка!

— Однако,— продолжал мистер Грюджиус,— я пришел не для того, чтобы говорить о ней. А чтобы поговорить о моей подопечной. Я должен сообщить вам известие, которое вас удивит. Меня по крайней мере оно удивило.

Джаспер со стоном повернулся в кресле.

— Может быть, отложим до завтра? — сказал мистер Грюджиус.— Предупреждаю, это известие вас удивит!

Мистер Грюджиус при этих словах снова провел ладонью по волосам и снова уставился в огонь, но на этот раз твердо и решительно сжав губы. И Джаспер это

заметил: взгляд его стал вдруг внимательным и настороженным.

— Что такое? — спросил он, выпрямляясь в кресле.

— Конечно,— произнес мистер Грюджиус с раздражающей медлительностью, словно разговаривая сам с собой,— я мог бы раньше догадаться; она мне намекала; но я такой Угловатый Человек, что мне это и в голову не пришло; я думал, все — по-старому.

— Что такое? — снова спросил Джаспер.

По-прежнему обогревая руки над огнем и попеременно то сжимая, то разжимая ладони, мистер Грюджиус, сохраняя ту же невозмутимость и поглядывая искоса на Джаспера, начал свои объяснения:

— Эта юная чета, пропавший молодой человек и моя подопечная, мисс Роза, хотя и обрученные столь давно и так долго признававшие себя женихом и невестой, в настоящее время, находясь на пороге брачного союза...

Мистер Грюджиус увидел перед собой мертвенно-бледное лицо с застывшим взглядом и дрожащими бескровными губами; две перепачканных грязью руки судорожно вцепились в ручки кресла. Если бы не эти руки, мистер Грюджиус мог бы подумать, что впервые видит это лицо.

— Эта юная чета постепенно пришла к убеждению (оба, как я понимаю, более или менее одновременно), что жизнь их и сейчас и в дальнейшем будет много счастливее и лучше, если они останутся только добрыми друзьями или, вернее, братом и сестрой, чем если они станут супругами.

Мистер Грюджиус увидел в кресле серое, как свинец, лицо и вскипающие на нем такие же серые, не то капли, не то пузырьки пены.

— Юная чета приняла под конец разумное решение — честно, открыто и дружелюбно переговорить друг с другом о происшедшей в их чувствах перемене. Они встретились для этой цели. После недолгой беседы, столь же невинной, сколь и великодушной, они согласились на том, что отношения, связывающие их в настоящем и долженствующие еще теснее связать их в будущем, должны быть расторгнуты — немедленно, окончательно и бесповоротно.

Мистер Грюджиус увидел, что с кресла поднялся словно совсем незнакомый ему смертельно-бледный чело-



век с искаженными чертами и разинутым ртом и, вздев руки, поднес их к голове.

— Но один из этой юной четы, именно ваш племянник, опасаясь, что при вашей, всем известной, привязанности к нему столь резкая перемена в его судьбе причинит вам горькое разочарование, не решился за те несколько дней, что гостил здесь, открыть вам свою тайну и поручил мне сделать это, когда я приду поговорить с вами, а его уже здесь не будет. И вот я пришел и говорю с вами, а его уже нет.

Мистер Грюджиус увидел, что смертельно-бледный человек, закинув голову, схватился за волосы и, содрогаясь, отвернулся.

— Я теперь сказал все, что имел сказать; добавлю только, что юная чета с твердостью, хотя не без слез и сожалений, рассталась навсегда в тот самый день, когда вы в последний раз видели их вместе.

Мистер Грюджиус услышал душераздирающий крик и не увидел больше ни смертельно-бледного лица, ни воспрянувшей с кресла фигуры. Он только увидел на полу груду изорванной и перепачканной грязью одежды.

Но и тут ни жесты, ни выражение лица мистера Грюджиуса не изменились. С тем же бесстрастием продолжал он греть руки над огнем, попеременно сжимая и разжимая ладони и глядя искоса на груду одежды у своих ног.

ГЛАВА XVI

Клятва

Когда Джон Джаспер очнулся после своего обморока или припадка, он увидел, что возле него хлопочут мистер и миссис Топ, которых его посетитель вызвал нарочно для этой цели. Сам посетитель с деревянным лицом сидел на стуле, прямой, как палка, положив руки на колени, и бесстрастно наблюдал возвращение мистера Джаспера к жизни.

— Ну вот, слава богу! Вот вам уже и лучше, сэр,— со слезами сказала миссис Топ.— Замучились вы совсем за эти дни, сил-то и не стало, да и не мудрено!

— Если человек,— произнес мистер Грюджиус, как всегда таким тоном, словно отвечал урок,— долгое время не имеет отдыха и душа его постоянно в тревоге, а тело истощено усталостью, он неизбежно доходит до полной потери сил.

— Я, должно быть, вас напугал? Простите, ради бога,— слабым голосом проговорил Джаспер, когда ему помогли сесть в кресло.

— Нисколько, благодарю вас,— отвечал мистер Грюджиус.

— Вы слишком снисходительны.

— Нисколько, благодарю вас,— снова ответил мистер Грюджиус.

— Вам нужно выпить вина, сэр,— вмешалась миссис Топ,— да скушать тот студень, что я вам на полдник изготовила, только вы к нему не притронулись, хоть я и говорила, что так нельзя, тем более вы с утра ничего не ели; да еще есть у меня для вас крылышко жареной курицы,— уж не знаю, сколько раз я ее сегодня разогревала! Через пять минут все будет на столе, и этот добрый джентльмен, наверно, посидит с вами и присмотрит, чтоб вы покушали.

Добрый джентльмен только фыркнул в ответ, что могло означать «да», а могло означать «нет», могло означать все что угодно, а могло и ничего не означать и что, вероятно, озадачило бы миссис Топ, если бы она не была так занята приготовлениями к обеду.

— Вы закусите со мной? — спросил Джаспер, когда скатерть была постлана.

— Я не смог бы проглотить ни кусочка, благодарю вас,— отвечал мистер Грюджиус.

Джаспер ел и пил почти с жадностью. Но его торопливость и явное равнодушие к вкусу поданных блюд внушало мысль, что он ест главным образом для того, чтобы подкрепить силы и застраховать себя от какого-либо нового проявления слабодушия, а не для того, чтобы утолить голод. Мистер Грюджиус тем временем сидел с деревянным лицом, жестко выпрямившись на стуле и всем своим видом выражая решительный, хотя и непроницаемо вежливый протест, словно готов был ответить на всякое приглашение к разговору: «Я не смог бы высказать ни единого замечания на какую бы то ни было тему, благодарю вас».

— Знаете,— проговорил Джаспер после того, как, отодвинув стакан и тарелку, посидел несколько минут молча,— знаете, я нахожу какую-то крупицу надежды в этом известии, которым вы так меня поразили.

— Вы находите? — сказал мистер Грюджиус, и в голосе его ясно прозвучало невысказанное добавление: «А я не нахожу, благодарю вас!»

— Да. Теперь, когда я оправился от потрясения — ведь это известие было для меня таким неожиданным, оно в корне разрушало все воздушные замки, которые я строил для моего дорогого мальчика, не удивительно, что оно меня потрясло,— но теперь, поразмыслив, я нахожу в нем какую-то крупицу надежды.

— Я был бы рад подобрать ваши крупицы,— сухо заметил мистер Грюджиус.

— Нельзя ли предположить,— если я ошибаюсь, скажите прямо и сократите мои мученья,— но нельзя ли предположить, что, оказавшись вдруг в роли отвергнутого жениха — ведь все в городе знали о его помолвке — и болезненно воспринимая необходимость всем это объяснять, он захотел уклониться от этой тягостной обязанности — и обратился в бегство?

— Это возможно,— раздумчиво сказал мистер Грюджиус.

— Это бывало. Я читал о таких случаях, когда люди, замешанные в каком-нибудь злободневном происшествии, только чтобы избавиться от праздных и назойливых расспросов, предпочитали скрыться и долго не подавали о себе вестей.

— Да, такие случаи, кажется, бывали,— все так же раздумчиво произнес мистер Грюджиус.

— Пока у меня не было и не могло быть подозрения,— продолжал Джаспер, с жаром устремляясь по новому следу,— что мой бедный исчезнувший мальчик что-то скрывал от меня,— тем более в таком важном вопросе,— я не видел ни единого просвета на черном небе. Пока я думал, что здесь находится его будущая жена и что их свадьба вот-вот должна совершиться, мог ли я допустить, что он по своей воле тайно покинул город? Ведь это был бы с его стороны совершенно непостижимый, взбалмошный и жестокий поступок! Но теперь, когда я знаю то, что

вы мне сообщили, как будто открылась крохотная щелка, сквозь которую проникает луч света. Его бегство (если допустить, что он скрылся по доброй воле) становится уже более понятным и менее жестоким. Их недавнее решение расстаться достаточно объясняет и оправдывает такой поступок. Правда, остается его жестокость по отношению ко мне, но по крайней мере снимается жестокость по отношению к ней.

Мистер Грюджиус не мог с этим не согласиться.

— Да и в том, что касается меня,— продолжал Джаспер, все еще с увлечением стремясь по новому следу и все больше укрепляясь в своих надеждах,— ведь он знал, что вы повидаетесь со мной, он знал, что вам поручено все мне рассказать, и если я сейчас, невзирая даже на путаницу в моих мыслях, сделал из вашего рассказа утешительные выводы, так ведь и он мог предвидеть, что я их сделаю. Допустите, что он это предвидел, и даже от его жестокости по отношению ко мне — а что такое я? — Джон Джаспер, учитель музыки! — не останется и следа.

Мистер Грюджиус и тут не мог не согласиться.

— У меня были опасения — и какие еще ужасные! — сказал Джаспер,— но это известие, которое вы мне принесли, ошеломившее меня вначале, так как я с болью в сердце понял, что мой дорогой мальчик не был вполне откровенен со мной, несмотря на мою бесконечную любовь к нему,— теперь зажгло передо мной огонек надежды. И вот же вы сами не гасите этот огонек, вы считаете мои надежды не вовсе беспочвенными. Да, я теперь начинаю думать,— тут он сжал руки на груди,— что мой дорогой мальчик удалился от нас по собственному желанию и сейчас жив и здоров.

В эту минуту пришел мистер Криспаркл, и Джаспер повторил, обращаясь к нему:

— Я теперь начинаю думать, что мой дорогой мальчик удалился от нас по собственному желанию и сейчас жив и здоров.

— Почему вы так думаете? — спросил мистер Криспаркл, усаживаясь. Джаспер и ему изложил те соображения, которые только что излагал мистеру Грюджиусу. Если бы даже они были менее убедительны, младший каноник, по доброте душевной, принял бы их с радостью, так как

они оправдывали его злополучного ученика. Но он сам находил чрезвычайно важным то обстоятельство, что пропавший молодой человек, чуть ли не накануне своего исчезновения, был поставлен в крайне неприятное положение перед всеми, кто знал о его личных делах и планах. Все недавние события, по мнению мистера Криспаркла, представали теперь в ином свете.

— Вы помните,— снова заговорил Джаспер,— когда мы заходили к мистеру Сапси, я сказал ему, что при последней встрече у молодых людей не было ни ссоры, ни каких-либо разногласий. (Джаспер, говоря так, не уклонялся от истины, он действительно сказал это мэру.) Первая их встреча,— продолжал он,— как мы все знаем, была, к сожалению, далеко не дружественной; но в последний раз все сошло гладко. Я, правда, заметил, что мой бедный мальчик не так весел, как всегда, даже подавлен,— считаю своим долгом это подчеркнуть, потому что теперь-то мне известна причина его подавленности, а особенно потому, что, может быть, именно эта причина и побудила его добровольно скрыться.

— Дай бог, чтобы так! — воскликнул мистер Криспаркл.

— Дай бог! — повторил Джаспер.— Вы знаете,— и мистеру Грюджиусу следует знать,— что я был предубежден против мистера Невила Ландлеса из-за его буйного поведения при первой их встрече. Вы помните, я пришел к вам, смертельно-испуганный за моего дорогого мальчика,— такое неистовство мистер Ландлес тогда проявил. Вы помните, я даже записал в своем дневнике, что у меня возникли недобрые предчувствия,— я показывал вам эту запись. Пусть мистер Грюджиус все это знает. Неправильно, чтобы он, из-за каких-то моих умолчаний, знал только одну сторону дела, а другой не знал. Я прошу его понять, что принесенное им известие окрылило меня надеждой, несмотря даже на то, что еще до этого таинственного происшествия я с опаской относился к молодому Ландлесу.

Такое беспристрастие очень смутило младшего каноника, так как теперь он с особой остротой почувствовал, насколько менее прямодушным было его собственное поведение. Разве не умалчивал он до сих пор о двух хорошо известных ему вещах: о вторичном гневном взрыве Невила

против Эдвина Друда, которому он сам был свидетелем, и о ревности к счастливому сопернику, которая, как он знал, пылала в груди юноши? Сам он не сомневался в невиновности своего питомца, но вокруг Невила накопилось уже столько мелких и случайных, однако подозрительных обстоятельств, что он боялся прибавить к ним еще два. Младший каноник был одним из самых правдивых людей на земле, и все же, он, в непрестанной борьбе с собой, не осмеливался сказать правду из опасения, что эти две крупинки истины еще более утвердят сплетавшуюся на его глазах ложь.

Но теперь ему подали пример. Он больше не колебался. Обращаясь к мистеру Грюджиусу, как лицу призванному быть судьей в этом деле, так как именно он своим сообщением способствовал раскрытию тайны (и до чего же Угловатым стал мистер Грюджиус, когда понял, какую роль ему нежданно-негаданно навязали), и отдав дань уважения высокому чувству справедливости, одушевляющему мистера Джаспера, младший каноник прежде всего выразил твердую уверенность в том, что с его ученика рано или поздно будут сняты всякие подозрения, но признался, что питает эту уверенность вопреки некоторым известным ему фактам; так, он имел случай убедиться, что Невил действительно очень горяч и несдержан в гневе и что в данном случае это еще усугублялось его прямой враждебностью к племяннику мистера Джаспера, ибо Невил, к несчастью, вообразил, будто влюблен в молодую особу, которая должна была стать женой Эдвина Друда.

Оптимистическая настроенность мистера Джаспера устояла даже против этого неожиданного признания. Он, правда, побледнел, но повторил, что не отказывается от надежды, внушенной ему мистером Грюджиусом, и если не будет найден какой-нибудь след, неизбежно приводящий к мысли о насильственной гибели его дорогого мальчика, он до последней минуты будет верить, что тот скрылся по собственному неразумному желанию.

Тем не менее мистер Криспаркл ушел со смутой в душе и очень обеспокоенный за молодого человека, которого он держал как бы пленником в своем доме. И вот тогда-то он и совершил свою памятную прогулку.

Он пошел к клойстергэмской плотине.

Он часто гулял возле запруды и поэтому не удивительно, что ноги сами понесли его туда. Но на этот раз, поглощенный своими мыслями, он шел, не замечая ничего вокруг, и понял, где находится, только когда услышал совсем рядом шум падающей воды.

Он остановился, и первая его мысль была: «Как я сюда попал?», а вторая: «Почему я сюда пришел?»

Он постоял, вслушиваясь в плеск воды. Много раз читанные строки о воздушных голосах, что «в час ночной по имени людей зовут и манят», вдруг так отчетливо прозвучали в его ушах, что он отстранил их от себя рукой словно что-то материальное.

Была звездная ночь. Плотина отстояла мили на две от того места, куда молодые люди пошли смотреть на бурю, и была выше по реке, поэтому никаких поисков здесь не производили: в ночь под рождество был отлив, притом очень сильный, и если уж предполагать возможность несчастного случая, то тело утопшего — как во время отлива, так и после, во время прилива — следовало искать ниже, между местом катастрофы и морем. А сейчас вода шумела у плотины как всегда, тем особенным звонким плеском, какой бывает в холодные звездные ночи, и в полутьме ее почти не было видно. И все же мистер Криспаркл не мог отделаться от ощущенья, что во всем этом есть что-то необычное.

Он стал рассуждать сам с собой: «Что же это такое? Где оно? Каким органом чувств я это воспринимаю?»

Но все его органы чувств молчали. Он снова вслушался, и слух подтвердил ему, что вода шумит как обычно, тем звонким плеском, какой бывает в холодную звездную ночь.

Понимая, что тайна, занимавшая его мысли, сама по себе могла сообщить таинственность всему, что его окружало, он прищурил свои соколиные глаза, чтобы проверить, что ему скажет зрение. Он подошел ближе к плотине и вгляделся в хорошо знакомые сваи и перемычки. И тут он не нашел ничего необычного. Но все же решил опять прийти сюда, рано утром.

Всю ночь его преследовал во сне шум воды, и на рассвете он уже стоял на том же месте возле плотины. Утро было солнечное и морозное. Оттуда, где он стоял, ясно

видна была вся плотина, до мельчайших подробностей. Несколько минут он тщательно ее разглядывал и уже готов был отвести глаза, как вдруг одна точка приковала к себе его внимание.

Он отвернулся от плотины, посмотрел вдаль на небо, потом на землю, потом попытался снова отыскать эту точку. Он нашел ее сразу. Он уж не мог ее потерять, хоть это и была всего лишь точка. Она с колдовской силой притягивала его взгляд. Руки его сами начали расстегивать куртку. Ибо теперь он был уверен, что там, на угловой свае, что-то блестело — не трепетало, не вздрагивало вместе со сверкающими брызгами,— но оставалось неподвижным.

Тогда он разделся, бросился в ледяную воду и поплыл. Вскарабкавшись на сваю, он снял с нее запутавшиеся цепочкой в креплении золотые часы, на задней крышке которых были выгравированы буквы Э. Д.

Он вернулся на берег, положил часы, снова поплыл к плотине и, взобравшись на нее, нырнул. Он знал тут каждый уклон дна, каждую подводную яму, и все нырял, и нырял, пока не окоченел от холода. Он думал найти тело, но нашел только затянутую илом булавку для галстука.

С этими находками он вернулся в город и, прихватив с собой Невила Ландлеса, отправился прямо к мэру. Послали за мистером Джаспером, часы и булавка были опознаны, Невил арестован, и на несчастного юношу низвергся поток бессмысленной злобы и самодовольной глупости. Говорили, что он настолько мстителен и свиреп, что, если б не его сестра, которая одна только имеет на него влияние и без которой с ним просто опасно встречаться, он каждый день совершал бы убийства. До того, как он приехал в Англию, по его приказанию были запороты насмерть многие «туземцы» — очевидно, представители какого-то кочевого племени, переселяющегося то в Африку, то в Азию, то в Вест-Индию, то на Северный полюс, о коих в Клойстергэме знали только, что все они черные, все очень добродушные, себя всегда называют «мой», а прочих людей «масса» или «мисси» (в зависимости от пола) и заняты главным образом тем, что на ломаном английском языке читают вслух туманные богословские трактаты, но всегда

с величайшей точностью излагают их содержание на своем родном наречии. Он столько горя причинил бедной миссис Криспаркл, что едва не свел ее седины в могилу (последнее оригинальное выражение принадлежало мистеру Сапси). Он неоднократно похвалялся, что убьет мистера Криспаркла. Он похвалялся, что всех убьет и останется единственным человеком на земле. В Клойстергэм его привез из Лондона известный филантроп, а почему? Филантроп это объяснил. «Из любви к ближним,— сказал он,— я обязан был поместить его туда, где он, по словам Бентама, представлял бы собой наибольшую опасность для наименьшего числа людей».

Эта бестолковая пальба из дурацкого оружия, возможно, не принесла бы Невилу существенного вреда. Но ему приходилось выдерживать и настоящий прицельный огонь, направляемый меткими и опытными стрелками. Всем известно, что он угрожал пропавшему молодому человеку, и, по свидетельству своего верного друга и наставника, который до этого всячески старался его выгородить, он имел причину (созданную им самим и признанную им самим) для ненависти к злополучному юноше. В роковой вечер у него была с собой тяжелая трость, которая могла послужить смертоносным оружием, а на другой день, рано утром, он скрылся из города, заранее подготовив свой уход. Когда его нашли, на нем были пятна крови; правда, он объяснил их происхождение, и, может быть, таково оно и было, а может быть, и нет. Когда было выдано предписание на обыск его комнаты, одежды и так далее, выяснилось, что он уничтожил все свои бумаги и разобрал все свое имущество в самый день исчезновения Эдвина Друда. Часы, найденные на плотине, ювелир признал за те самые, которые он в этот же день проверял и заводил для Эдвина Друда и поставил на двадцать минут третьего; завод кончился раньше, чем их бросили в воду, и, по твердому убеждению ювелира, их не заводили вторично. Это позволяет думать, что часы были взяты у владельца вскоре после полуночи, когда он покинул дом своего дяди в обществе того лица, которое последним видели с ним; затем часы еще некоторое время где-то хранили и, наконец, выбросили. Почему выбросили? Если молодой человек был убит и, чтобы замести следы, как-нибудь хитро изуродо-

ван или спрятан, или и то и другое вместе, убийца, конечно, позаботился снять с трупа все наиболее прочные, многим в городе известные и легко опознаваемые предметы. А часы и булавка как раз такими и были. Что касается возможности выбросить их в реку, то у молодого Ландлеса (если подозревать его), таких возможностей было сколько угодно; многие видели, как он бродил возле города с той стороны, где находится плотина,— правда, и с других сторон тоже,— в крайне угнетенном, можно сказать, близком к умопомешательству, состоянии. Почему он выбрал именно это место? Может быть, и не выбирал, а просто воспользовался первым случаем отделаться от опасной улики, рассудив, что, где бы ее ни нашли, все лучше, чем если найдут на нем или среди его вещей. Что касается примирительного характера последней встречи между молодыми людьми, то и тут мало что говорит в пользу Ландлеса: теперь уж точно установлено, что почин в этом деле принадлежал мистеру Криспарклу; мистер Криспаркл настаивал на этой встрече, а его ученик только покорился и — почем знать! — может быть, с неохотой или даже втайне питая злой умысел. Чем подробнее разбирали все доводы против виновности Ландлеса, тем более шаткой казалась его позиция. Даже маловероятное предположение, что исчезнувший юноша скрылся сам, по своей воле, стало еще менее вероятным после опроса молодой девицы, с которой он незадолго перед тем расстался. Ибо она сказала, точно и ясно и с глубокой скорбью, что, посоветовавшись с ней, он охотно и с особым удовольствием выразил намерение дождаться приезда ее опекуна, мистера Грюджиуса. А исчез он — заметьте! — раньше, чем приехал этот джентльмен.

По мере того как возникали, оспаривались и вновь утверждались эти подозрения, Невила то задерживали, то отпускали, то снова задерживали. Поиски тем временем продолжались с неослабным усердием; Джаспер хлопотал день и ночь. Но больше ничего не нашли. И так как не было доказательств, что исчезнувший юноша убит, то не было и оснований держать под арестом человека, подозреваемого в его убийстве. Невила освободили. И тогда случилось то, что мистер Криспаркл слишком хорошо предвидел. Невилу пришлось покинуть город, ибо город не хотел его

знать и извергал из себя. А если бы даже не это, так ведь милая фарфоровая пастушка извелась бы от страха за сына и от общего беспокойства, вызванного пребыванием такого человека в их доме. И если бы даже не это, то высшая власть, к которой официально обратился младший каноник, все равно решила бы вопрос по-своему.

— Мистер Криспаркл,— сказал настоятель,— человеческое правосудие может ошибаться, но действовать оно должно согласно своим законам. Прошли те времена, когда преступник искал убежища в церкви. Мы не имеем права предоставлять ему убежище.

— Вы считаете, сэр, что он должен покинуть мой дом?

— Мистер Криспаркл,— осторожно заметил настоятель,— я не могу распоряжаться в вашем доме. Мы только обсуждаем сейчас вставшую перед вами необходимость лишить этого молодого человека великого блага ваших советов и вашего научения.

— Но это очень грустно, сэр,— возразил мистер Криспаркл.

— Очень,— согласился настоятель.

— И эта необходимость, если она есть...— начал мистер Криспаркл.

— А вы сами видите, что она есть,— вставил настоятель.

Мистер Криспаркл почтительно склонил голову.

— Мне кажется, неправильно осуждать его раньше времени,— нерешительно проговорил он, — но я понимаю...

— Вот именно. Совершенно верно. Как вы сами говорите, мистер Криспаркл,— кротко заметил настоятель, кивая головой,— тут уж ничего не поделаешь. Другого выхода нет, как вам уже подсказал ваш здравый смысл.

— Но я твердо уверен в его невиновности, сэр!

— Ну-у-у,— протянул настоятель, слегка понизив голос и украдкой оглядываясь,— я бы не стал это утверждать, в общем и целом. Против него есть все-таки достаточно подозрений. Нет, я бы не стал, в общем и целом.

Мистер Криспаркл снова поклонился.

— Нам, знаете ли,— продолжал настоятель,— не следует так решительно становиться на чью-либо сторону. Мы, духовенство, должны иметь горячее сердце, но ясную голову, и всегда придерживаться разумной средней линии.

— Надеюсь, сэр, вы не возражаете против того, что я публично и самым категорическим образом заявил, что он немедленно прибудет сюда, если возникнут новые подозрения или обнаружится еще что-нибудь, проливающее свет на это необыкновенное происшествие?

— Нет, конечно,— ответил настоятель.— Хотя, с другой стороны, знаете ли, я бы, пожалуй, все-таки не стал,— нет, я бы не стал,— он деликатно, но отчетливо подчеркнул эти слова,— заявлять об этом категорически. Заявить? Да-а-а. Но категорически? Не-е-ет. Нам, мистер Криспаркл, духовенству, имея горячее сердце и ясную голову, не следует ничего заявлять категорически.

Так вышло, что Невил Ландлес исчез из Дома младшего каноника. Куда он направил свои стопы, неизвестно, но он унес с собой запятнанное имя и репутацию.

Только после этого Джон Джаспер молча занял свое место в хоре. Исхудалый, с воспаленными глазами, он казался тенью самого себя. Видно было, что надежда его покинула, бодрое настроение ушло и наихудшие его опасения вернулись. День или два спустя, раздеваясь в ризнице, он достал из кармана пальто свой дневник, полистал его и, не говоря ни слова, с выразительным взглядом протянул мистеру Криспарклу тетрадь, загнутую на странице, на которой было написано:

«Мой бедный мальчик убит. Эта находка — его булавка и часы — убеждает меня в том, что его убили еще в ту ночь, а часы и булавку выбросили, чтобы его нельзя было по ним опознать. Все обманчивые надежды, которые я строил на его решении расстаться со своей будущей женой, я теперь отвергаю. Эта роковая находка разбила их вдребезги. И я клянусь — и записываю свою клятву здесь, на этой странице,— что я ни с одним человеком не буду больше обсуждать тайну его гибели, пока ключ к этой тайне не будет у меня в руках. Что я ни за что не нарушу молчания и не ослаблю своих поисков. Что я найду преступника и обличу его перед всеми. Отныне я посвящаю себя его уничтожению».

ГЛАВА XVII

Филантропы — профессионалы и любители

Прошло полгода — и вот однажды мистер Криспаркл сидел в приемной Главного Прибежища Филантропии в Лондоне и дожидался аудиенции у мистера Сластигроха.

В свои университетские годы мистер Криспаркл, всегда интересовавшийся спортом, был знаком с многими адептами Благородного Искусства Кулачного Боя и не раз присутствовал на их профессиональных собраниях, где главные действующие лица выступали в боксерских перчатках. Теперь он имел случай столь же близко наблюдать профессиональных филантропов и отметил, что по строению затылков они, с точки зрения френологии, являют поразительное сходство с боксерами. Все шишки, порождающие или сопровождающие наклонность набрасываться на своих ближних, были у них замечательно развиты. Через приемную то и дело проходили филантропы, и у всех у них был нарочито агрессивный вид, хорошо памятный мистеру Криспарклу по встречам с боксерами — как будто они готовы были немедленно схватиться с любым оказавшимся под рукой новичком. Шла подготовка к небольшой духовной схватке где-то на выездной сессии Главного Прибежища, и филантропы держали пари за того или другого тяжеловеса, знаменитого своими ораторскими апперкотами или крюками, точь-в-точь как увлекающиеся боксом трактирщики; слушая их, трудно было понять, о чем идет речь — о предполагаемых резолюциях или о раундах. В главном менеджере этого матча, прославленном своей искусной тактикой во время председательства на подобных собраниях, мистер Криспаркл признал хотя и облаченную в черный сюртук, но точную копию ныне покойного благодетеля родственных ему душ, некогда широко известного под именем Толстомордого Фого, который в былые дни надзирал за устроением магического круга, обнесенного кольями и веревкой. Только тремя качествами филантропы отличались от боксеров. Во-первых, все они были далеко не в форме — слишком грузные, с избытком в лице и фигуре того, что знатоки бокса именуют колбасным салом. Во-вторых, характер у них был много хуже, чем у

боксеров, и выражения они употребляли куда более грубые. В-третьих, боевой их кодекс явно нуждался в пересмотре, так как позволял им не только наседать на противника до полного его изнеможения, но и надоедать ему до смерти, бить его лежачего, наносить удары как угодно, пинать его ногами, втаптывать его в грязь и без пощады увечить и калечить его доброе имя за его спиной. В этом отношении представители Благородного Искусства были много благороднее проповедников любви к ближнему.

Мистер Криспаркл так глубоко задумался над этими сходствами и различиями и так загляделся на спешивших по своим делам филантропов, которые, по-видимому, все стремились что-то у кого-то урвать и отнюдь не имели намерения хоть что-нибудь кому-нибудь дать, что не расслышал, как его вызвали. Когда он, наконец, откликнулся, оборванный и исхудалый филантроп на жалованье (очевидно, столь ничтожном, что вряд ли бедняге пришлось бы хуже, если бы он служил у отъявленного врага человечества) проводил его в кабинет мистера Сластигроха.

— Сэр! — произнес мистер Сластигрох своим громовым голосом, словно учитель, отдающий приказание ученику, о котором он составил себе дурное мнение.— Сядьте.

Мистер Криспаркл сел.

Мистер Сластигрох обратился к нему не сразу, а сперва еще подписал последние два-три десятка из двух-трех тысяч писем, в которых такому же числу недостаточных семейств предлагалось немедля откликнуться, выложить денежки и стать филантропами, а если нет, то отправляться ко всем чертям. Когда он кончил, другой оборванный филантроп на жалованье (очевидно, бескорыстнейший из людей, если он всерьез принимал свою филантропическую деятельность), собрал все письма в корзинку и удалился, унося их с собой.

— Ну-с, мистер Криспаркл,— сказал затем мистер Сластигрох, наполовину повернувшись вместе со стулом к мистеру Криспарклу, и грозно насупился, словно добавил про себя: «Ну, с вами-то я живо разделаюсь!» — Ну-с, мистер Криспаркл, дело все в том, сэр, что у нас с вами разные взгляды на священность человеческой жизни.

— Разве? — спросил младший каноник.

— Да, сэр.

— Разрешите спросить,— сказал младший каноник,— каковы ваши взгляды на этот предмет?

— Что человеческая жизнь должна быть для всех священна и неприкосновенна.

— Разрешите спросить,— продолжал младший каноник,— каковы, по-вашему, мои взгляды на этот предмет?

— Ну знаете ли, сэр! — отвечал филантроп, еще крепче упираясь кулаками в колени и еще более грозно сдвигая брови.— Вам они должны быть самому известны.

— Без сомнения. Но вы начали с того, что у нас с вами разные взгляды. Стало быть, вы составили себе какое-то представление о моих взглядах, иначе вы не могли бы так сказать. Будьте добры, скажите, как вы представляете себе мои взгляды на этот предмет?

— Если человек,— сказал мистер Сластигрох,— стерт с лица земли насильственным путем — молодой человек! — подчеркнул он, как будто это сильно ухудшало дело, а с потерей старого он бы еще кое-как примирился,— как вы это назовете?

— Убийством,— сказал младший каноник.

— А как вы назовете того, кто это сделал?

— Убийцей,— сказал младший каноник.

— Рад слышать, что вы хоть это признаете,— заявил мистер Сластигрох самым оскорбительным тоном.— Откровенно говоря, я и этого не ожидал.— И он опять уставил грозный взгляд на мистера Криспаркла.

— Будьте добры объяснить, что вы, собственно, подразумеваете под этими непозволительными выражениями?

— Я сижу здесь, сэр,— возопил мистер Сластигрох, поднимая голос до рева,— не для того, чтобы меня запугивали!

— Как единственное лицо, находящееся здесь, кроме вас, я очень ясно отдаю себе в этом отчет,— ровным голосом ответил младший каноник.— Но я прервал ваше объяснение.

— Убийство! — продолжал мистер Сластигрох в своей самой эффектной ораторской манере — скрестив руки на груди как бы в трагическом раздумье и с отвращением потрясая головой при каждом слове.— Кровопролитие! Авель! Каин! Я не вступаю в переговоры с Каином. Я с

содроганием отталкиваю кровавую руку, когда мне ее протягивают.

Вместо того чтобы немедленно вскочить на стул и до хрипоты приветствовать оратора, как, очевидно, сделали бы все члены Братства после такой тирады на собрании, мистер Криспаркл лишь спокойно переложил ногу на ногу и кротко заметил:

— Я не хотел бы прерывать ваше объяснение — когда вы его начнете.

— В заповедях сказано, не убивай. Никогда не убивай, сэр! — Тут мистер Сластигрох выдержал укоризненную паузу, как будто его собеседник утверждал, что в заповедях сказано: «Немножко поубивай, а потом брось».

— Там сказано также, не произноси ложного свидетельства на твоего ближнего,— заметил мистер Криспаркл.

— Довольно! — прогремел мистер Сластигрох с такой грозной силой, что, будь это на митинге, зал разразился бы рукоплесканиями.— Дов-вольно! Мои бывшие подопечные достигли теперь совершеннолетия, и я свободен от обязанностей, на которые могу взирать не иначе как с дрожью отвращения. Но есть еще отчет по расходам на их содержание, который они поручили вам взять, и балансовый остаток, который вам надлежит получить — будьте любезны забрать все это как можно скорее. И разрешите вам сказать, сэр, что вы как человек и младший каноник могли бы найти для себя лучшее занятие.— Кивок головой со стороны мистера Сластигроха.— Лучшее занятие.— Еще кивок.— Луч-шее занятие! — Еще кивок и три дополнительных.

Мистер Криспаркл встал, слегка раскрасневшись в лице, но безупречно владея собой.

— Мистер Сластигрох,— сказал он, забирая указанные бумаги,— какое занятие для меня лучше, а какое хуже, это вопрос вкуса и убеждений. Вы, возможно, считаете, что наилучшее для меня занятие это записаться в члены вашего Общества?

— Да уж, во всяком случае! — ответствовал мистер Сластигрох, угрожающе потрясая головой.— Было бы гораздо лучше для вас, если бы вы давно это сделали!

— Я думаю иначе.

— А также, по моему мнению,— продолжал мистер Сластигрох, все еще потрясая головой,— для человека вашей профессии было бы лучшим занятием, если бы вы посвятили себя уличению и наказанию виновных, вместо того чтобы предоставлять эту обязанность мирянам.

— А я иначе понимаю свою профессию и думаю, что она прежде всего возлагает на меня обязанность помогать тем, кто в нужде и горе, всем униженным и оскорбленным,— сказал мистер Криспаркл.— Но так как я убежден, что она не возлагает на меня обязанности всюду кричать о своих убеждениях, то я больше об этом говорить не буду. Одно только я еще должен вам сказать — это мой долг перед мистером Невилом и его сестрой (и в меньшей степени перед самим собой): в те дни, когда случилось это печальное происшествие, душа мистера Невила была мне открыта, я знал все его чувства и мысли; и, вовсе не желая смягчать или скрывать то, что в нем есть дурного и что ему надо исправить, я могу сказать с уверенностью, что на следствии он говорил чистую правду. Имея эту уверенность, я отношусь к нему дружески. И пока у меня будет эта уверенность, я буду относиться к нему дружески. И если бы я, по каким-то сторонним причинам стал относиться к нему иначе, я так презирал бы себя, что ничьи похвалы, заслуженные этим способом, не вознаградили бы меня за потерю самоуважения.

Добрый человек! Мужественный человек! И какой скромный! В младшем канонике гордыни было не больше, чем в школьнике, который на крикетном поле защищает воротца. Он просто был верен своему долгу как в малом, так и в большом. Таковы всегда настоящие люди. Таковы они всегда были, есть и будут. Нет ничего малого для истинного душевного величия.

— Так кто же, по-вашему, совершил это убийство? — круто повернувшись к нему, спросил мистер Сластигрох.

— Не дай господи,— сказал младший каноник,— чтобы я, из желания обелить одного, стал необдуманно чернить другого! Я никого не обвиняю.

— Ф-фа! — презрительно фыркнул мистер Сластигрох, ибо это был отнюдь не тот принцип, которым обычно руководствовалось Филантропическое Братство.— Впрочем,

что ж — вас ведь нельзя считать незаинтересованным свидетелем.

— В чем же моя заинтересованность? — простодушно удивился младший каноник; у него не хватало воображения понять этот намек.

— Вы, сэр, получали некоторую плату за вашего ученика. Это могло повлиять на ваше суждение,— грубо сказал мистер Сластигрох.

— А! И я надеялся ее сохранить, так, что ли? — догадался, наконец, мистер Криспаркл.— Вы это хотели сказать?

— Ну, сэр,— сказал специалист по любви к ближнему, вставая и засовывая руки в карманы,— я не бегаю за людьми и не примеряю им шапки. Но если кому-нибудь кажется, что у меня есть для него подходящая, так, пожалуйста, пусть берет и носит. Это уж его дело, а не мое.

Младший каноник некоторое время смотрел на него в справедливом негодовании.

— Мистер Сластигрох,— сказал он затем,— когда я шел сюда, я не думал, что мне придется обсуждать, насколько уместны в мирной частной жизни ораторские манеры и ораторские приемы, процветающие на ваших собраниях. Но вы показали мне такие образчики того и другого, что я считал бы, что получил по заслугам, если бы не выразил вам своего мнения. Так вот: ваши манеры, сэр, отвратительны.

— Ну да, вам от них несладко пришлось, сэр, понимаю.

— Отвратительны,— повторил мистер Криспаркл, игнорируя это замечание.— Они противны справедливости, приличествующей христианину, и сдержанности, приличествующей джентльмену. Вы обвиняете в тяжком преступлении человека, которого я, хорошо зная обстоятельства дела и имея веские соображения на своей стороне, считаю невинным. И оттого, что мы расходимся в этом важном вопросе, что делаете вы? Тотчас обрушиваетесь на меня, утверждая, что я не в силах понять всю чудовищность этого преступления, что я сам его пособник и подстрекатель! В другой раз — и по другому поводу — вы требуете, чтобы я поверил в какое-то вздорное заблуждение или даже злонамеренный обман, выдвинутый, одобренный и единогласно принятый на ваших собраниях. Я отказы-

ваюсь в него поверить, и вы тотчас объявляете, что, значит, я ни во что не верю; раз я не хочу поклоняться сфабрикованному вами идолу, стало быть, я отрицаю истинного бога! В другом случае, вы, на одном из ваших собраний, делаете вдруг поразительное открытие, а именно, что война — это бедствие, и намереваетесь ее упразднить, сплетая целую цепочку нелепых резолюций и выпуская их в пространство, как хвост воздушного змея. Я не согласен с тем, что это *ваше* открытие, и ни на грош не верю в предложенное вами средство. Тогда вы объявляете, что я упиваюсь ужасами кровопролития словно воплощенный дьявол! В другой раз, во время одной из ваших бестолковых кампаний, вы желаете наказать трезвых за излишества пьяниц. Я заступаюсь за трезвых: почему надо лишать их безвредного удовольствия и возможности при случае поднять настроение или подкрепить силы? Вы тотчас объявляете с трибуны, что я руководим гнусным замыслом — обратить божьи создания в свиней и диких животных! Во всех таких случаях ваши глашатаи, ваши поклонники и приспешники — одним словом, все ваши филантропы любых чинов и степеней,— ведут себя как обезумевшие малайцы, одержимые амоком,— набрасываются на всех несогласных, огульно приписывают им самые низкие и подлые побуждения (вспомните хотя бы ваш недавний намек, за который вам следовало бы краснеть), приводят цифры, заведомо произвольные и столь же односторонние, как финансовый баланс, в котором был бы учтен только один кредит или только один дебет. Вот почему, мистер Сластигрох, я считаю ваши приемы и ваши ухватки недопустимыми даже в общественной жизни — там это плохой пример и дурное влияние, но когда их переносят в частную жизнь, это уж вовсе нестерпимое безобразие.

— Вы употребляете сильные выражения, сэр! — воскликнул мистер Сластигрох.

— А я и хотел, чтоб они были сильные,— сказал мистер Криспаркл.— Прощайте!

Он стремительно покинул Прибежище, но на улице вскоре перешел на свой обычный, легкий и ровный шаг и на лице его заиграла улыбка. Что сказала бы фарфоровая пастушка, думал он, усмехаясь, если бы видела, как он отделал мистера Сластигроха в этой последней маленькой

схватке. Ибо мистер Криспаркл был не чужд невинного тщеславия и ему лестно было думать, что он взял верх над своим противником и основательно выколотил пыль из филантропического сюртука.

Он направился к Степл-Инну, но не к тому подъезду, где обитали П.Б.Т. и мистер Грюджиус. Много скрипучих ступенек пришлось ему преодолеть, прежде чем он добрался до мансардного помещения, где в углу виднелась дверь; он повернул ручку этой незапертой двери, вошел и остановился перед столом, за которым сидел Невил Ландлес.

Эта комната под крышей имела какой-то заброшенный вид, так же как и ее хозяин. От всего здесь веяло замкнутостью и одиночеством — и от него тоже. Косой потолок, громоздкие ржавые замки и засовы, тяжелые деревянные лари и медленно гниющие изнутри балки смутно напоминали тюрьму,— и лицо у него было бледное, осунувшееся, как у заключенного. Однако сейчас солнце проникало в низкое чердачное окно, выступавшее над черепицей кровли, а подальше, на потрескавшемся и черном от копоти парапете, ревматически подпрыгивали легковерные степл-иннские воробьи, словно маленькие пернатые калеки, позабывшие свои костыли в гнездах; и где-то рядом трепетали живые листья, наполняя воздух слабым подобием музыки вместо той мощной мелодии, которую извлекает из них ветер в деревне.

Мебели в комнате было очень мало, зато книг порядочно. О том, что все эти книги были выбраны, одолжены или подарены мистером Криспарклом, легко было догадаться по дружескому взгляду, которым он их окинул, войдя в комнату.

— Как дела, Невил?

— Я не теряю даром времени, мистер Криспаркл, и усердно тружусь.

— Хотелось бы мне, чтобы глаза у вас были не такие большие и не такие блестящие,— сказал младший каноник, медля выпустить его руку из своих.

— Это они потому блестят, что вас видят,— ответил Невил.— А если бы и вы меня покинули, они живо бы потускнели.

— Ну, ну, держитесь! — подбадривающим тоном сказал младший каноник.— Не сдавайтесь, Невил!

— Если бы я умирал, мне кажется, одно ваше слово меня бы оживило; если бы мой пульс перестал биться, от вашего прикосновения он забился бы снова,— проговорил Невил.— Но я же и не сдаюсь, и работа у меня идет отлично.

Мистер Криспаркл повернул его лицом к свету.

— Немножко больше бы краски вот здесь,— сказал он, прикасаясь пальцем к собственным румяным щекам.— На солнышке надо почаще бывать.

Невил вдруг весь как-то сник.

— Нет, для этого я еще недостаточно закален,— сказал он глухо.— Может быть, после, а сейчас еще не могу. Если бы вы испытали то, что я испытал там, в Клойстергэме, когда, проходя по улице, я видел, как люди при встрече со мной отводят глаза и уступают мне дорогу, чтобы я как-нибудь ненароком их не задел и к ним не прикоснулся, вы не осуждали бы меня за то, что я не решаюсь выходить при дневном свете.

— Бедный мой! — сказал младший каноник с таким искренним сочувствием, что юноша порывисто схватил его руку.— Я никогда не осуждал вас, даже в мыслях не было. А все-таки мне хочется, чтобы вы это сделали.

— Я рад бы сделать, как вы хотите, это для меня самое сильное побуждение. Но сейчас еще не могу. Даже здесь, в этом огромном городе, в потоке незнакомых людей, я не могу поверить, что ничьи глаза не смотрят на меня с подозрением. Даже когда я, как теперь, выхожу только ночью, я чувствую себя отмеченным и заклейменным. Но тогда меня скрывает темнота, и это придает мне мужества.

Мистер Криспаркл положил руку ему на плечо и молча смотрел на него.

— Если бы я мог переменить имя,— сказал Невил,— я бы это сделал. Но, как вы правильно мне указали, этого нельзя, это было бы равносильно признанию вины. Если бы я мог уехать куда-нибудь далеко, мне, возможно, стало бы легче, но и об этом нечего думать, по той же причине. И то и другое было бы истолковано как попытка убежать и скрыться. Тяжело, конечно, быть прикованным к позорному столбу, когда ты ни в чем не виновен, но я не жалуюсь.

— И не обманывайте себя надеждой, что какое-то чудо вам поможет, Невил,— сказал мистер Криспаркл с состраданием.

— Да, сэр, я знаю. Время и общее течение событий — вот единственное, что может меня оправдать.

— И оправдает в конце концов, Невил.

— Я тоже в это верю. Только вот как бы дожить до этого дня.

Но, заметив, что уныние, которому он поддался, омрачает и младшего каноника, и, быть может, почувствовав, что широкая рука не так уже твердо и уверенно лежит у него на плече, как вначале и как соответствовало бы ее природной силе, он улыбнулся и сказал:

— Во всяком случае, для занятий условия здесь отличные, а вы знаете, мистер Криспаркл, как много мне еще надо учиться, чтобы иметь право называться образованным человеком! Не говоря уже о специальных знаниях — вы ведь посоветовали мне готовиться к трудной профессии юриста, а я, конечно, во всем буду следовать советам такого друга и помощника. Такого доброго друга и такого верного помощника!

Он снял со своего плеча руку, в которой черпал силу, и поцеловал ее. Мистер Криспаркл снова посмотрел на книги, но не таким уже сияющим взглядом, как в первый раз, когда он только вошел.

— Из вашего молчания, мистер Криспаркл, я заключаю, что этот план не встретил сочувствия у моего бывшего опекуна?

— Ваш бывший опекун,— сказал младший каноник,— просто... гм!.. просто очень неразумный человек! И никто, в ком есть хоть капля разума, не станет считаться с его со-чувствием или его бес-чувствием.

— Ну что ж,— устало, но не без юмора вздохнул Невил,— остается радоваться, что, при жестокой экономии, я могу все-таки жить и дожидаться того времени, когда я стану ученым и буду признан невиновным. А не то на мне, пожалуй, оправдалась бы пословица: пока трава вырастет, кобыла издохнет.

Он раскрыл одну из книг, лежавших на столе, переложенную закладками и испещренную отметками на полях, и погрузился в разбор трудных мест, а мистер Криспаркл

сидел рядом, объясняя, исправляя ошибки и подавая советы. Служебные обязанности младшего каноника не часто позволяли ему покидать Клойстергэм — иногда он по две и по три недели не мог вырваться в Лондон,— но и эти редкие посещения были столь же полезны, сколь драгоценны для Невила.

Покончив с текстами, которые Невил успел подготовить, оба подошли к окну и, опершись на подоконник, стали смотреть вниз, в маленький сад у дома.

— На будущей неделе,— сказал мистер Криспаркл,— кончится ваше одиночество. С вами будет преданный друг.

— А все-таки,— возразил Невил,— это совсем не место для моей сестры.

— Я этого не думаю,— сказал младший каноник.— Здесь у нее будет дело; здесь нужна ее женская сердечность, ее здравый смысл и мужество.

— Я хотел сказать,— пояснил Невил,— что обстановка здесь уж очень простая и грубая, и у сестры не будет ни подруг, ни подходящего общества.

— А вы помните только, что здесь будете вы и что у нее будет задача — вывести вас на солнышко.

Оба помолчали, потом мистер Криспаркл снова заговорил:

— Когда мы с вами беседовали в первый раз, вы сказали, что сквозь все испытания, выпавшие на долю вам обоим, ваша сестра прошла нетронутой и что она настолько же выше вас, насколько соборная башня выше труб в Доме младшего каноника. Вы помните?

— Очень хорошо помню.

— Тогда я подумал, что это у вас так, преувеличение, вызванное вашей привязанностью к сестре. Что я теперь думаю, не важно. Но вот что я хочу сказать: в том, что касается гордости, ваша сестра именно сейчас должна служить для вас примером.

— Во всем, из чего слагается благородный характер, она всегда пример для меня.

— Не спорю; но сейчас возьмем только одну эту черту. Ваша сестра научилась властвовать над своей врожденной гордостью. Она не утрачивает этой власти даже тогда, когда терпит оскорбления за свое сочувствие к вам.

Без сомнения, она тоже глубоко страдала на этих улицах, где страдали вы. Тень, падающая на вас, омрачает и ее жизнь. Но она победила свою гордость, не позволила ей стать надменностью или вызовом, и ее гордость переродилась в спокойствие, в незыблемую уверенность в вашей правоте и в конечном торжестве истины. И что же? — теперь она проходит по этим самым улицам, окруженная всеобщим уважением. Каждый день и каждый час после исчезновения Эдвина Друда она бестрепетно, лицом к лицу, встречала людскую злобу и тупость — ради вас — как гордый человек, знающий свою цель. И так будет с ней до самого конца. Иная гордость, более хилая, пожалуй, сломилась бы, не выстояла, но не такая гордость, как у вашей сестры,— гордость, которая ничего не страшится и не делает человека своим рабом.

Бледная щека рядом со щекой младшего каноника порозовела от этого сравнения и заключенного в нем упрека.

— Я постараюсь во всем походить на нее,— сказал Невил.

— Да, постарайтесь,— решительно ответил мистер Криспаркл.— Будьте истинно мужественным, как она. Уже темнеет,— добавил он через минуту.— Вы проводите меня, когда станет совсем темно? И учтите, кстати, что мне, по моим делам, вовсе не нужно дожидаться темноты.

Невил ответил, что проводит его сейчас же. Но мистер Криспаркл сказал, что сперва должен из вежливости заглянуть к мистеру Грюджиусу, а потом он вернется, и, если Невил сойдет вниз и подождет минутку, они встретятся у подъезда.

Мистер Грюджиус сумерничал у открытого окна, сидя с ногами на диванчике в оконной нише; прямой как палка, по всегдашнему своему обыкновению, с вытянутыми под прямым углом ногами, он походил отчасти на колодку для сниманья сапог. На столике у его локтя виднелся графин и рюмка.

— Как поживаете, уважаемый сэр? — сказал мистер Грюджиус после многократных предложений гостю подкрепиться, которые тот отклонил с такой же любезностью, с какой они были сделаны.— И как поживает ваш питомец в квартире напротив, которую я имел удовольст-

вие вам рекомендовать, зная, что она свободна и, вероятно, вам подойдет?

Мистер Криспаркл ответил в приличных случаю выражениях.

— Очень рад, что квартира нравится вашему питомцу,— сказал мистер Грюджиус,— потому что, видите ли, завелась у меня этакая причуда — хочется, чтоб он всегда был у меня на глазах.

Так как мистеру Грюджиусу пришлось бы очень высоко поднять глаза для того, чтобы окно Невила попало в его поле зрения, эту фразу, очевидно, следовало понимать в переносном, а не в буквальном смысле.

— А в каком состоянии вы оставили мистера Джаспера, уважаемый сэр? — осведомился мистер Грюджиус.

Мистер Криспаркл ответил, что оставил его в добром здравии.

— А где вы оставили мистера Джаспера, уважаемый сэр?

Мистер Криспаркл оставил его в Клойстергэме.

— А когда вы оставили мистера Джаспера, уважаемый сэр?

— Сегодня утром.

— Угу! — пробурчал мистер Грюджиус.— Он, случайно, не говорил, что собирается совершить поездку?

— Куда?

— Ну, куда-нибудь.

— Нет.

— Потому что сейчас он здесь,— сказал мистер Грюджиус; все эти вопросы он задавал, пристально глядя в окно.— И вид у него нельзя сказать чтобы приятный.

Мистер Криспаркл тоже потянулся к окну, но мистер Грюджиус его остановил.

— Если вы будете добры стать позади меня, вон там, где потемнее, и посмотреть на окно второго этажа в доме напротив, вы увидите, что оттуда тайком выглядывает некий субъект, в котором я признал нашего клойстергэмского друга.

— Вы правы! — воскликнул мистер Криспаркл.

— Угу,— сказал мистер Грюджиус. Затем добавил, повернувшись так резко, что чуть не столкнулся головой

с мистером Криспарклом: — А как по-вашему, что замышляет наш клойстергэмский друг?

В памяти мистера Криспаркла вдруг ярко вспыхнула последняя страничка из дневника Джаспера — его даже словно толкнуло в грудь, как при сильной отдаче,— и он спросил мистера Грюджиуса, неужели он думает, что за Невилом установлена слежка?

— Слежка? — рассеянно повторил мистер Грюджиус.— Ну а как же? Конечно.

— Но это ужасно! — горячо сказал мистер Криспаркл.— Мало того, что это гнусно само по себе и может отравить человеку жизнь, но ведь это значит, что ему каждую минуту, куда бы он ни пошел и что бы ни делал, будут напоминать о тяготеющем на нем подозрении!

— Да, конечно,— все так же рассеянно проговорил мистер Грюджиус.— Это не он ли ждет вас, вон там, у подъезда?

— Да, это он.

— В таком случае, вы уж меня извините, я не стану вас провожать, а вы не будете ли добры сойти вниз, и забрать его, и пойти с ним, куда вы хотели, и не подавать виду, что заприметили нашего клойстергэмского друга? У меня, понимаете ли, есть сегодня такая причуда — не хочется выпускать его из глаз.

Мистер Криспаркл понимающе кивнул и, простившись, вышел. Они с Невилом отправились в город, пообедали вместе и расстались перед все еще недостроенным и незаконченным зданием вокзала, после чего мистер Криспаркл поспешил на поезд, а Невил повернул обратно, чтобы долго еще бродить по улицам, переходить мосты, скитаться в лабиринте незнакомых переулков и, сделав большой круг по городу под покровом дружественной темноты, довести себя до утомления.

Было уже около полуночи, когда он, наконец, вернулся и стал подниматься по лестнице. Ночь была душная, все окна на площадках были открыты. Добравшись доверху, он вздрогнул от удивления — на этой площадке не было других квартир, кроме его собственной, а меж тем на подоконнике сидел незнакомый человек, и сидел-то он скорее как привыкший к риску стекольщик, чем как мирный обыватель, дорожащий своей шеей, ибо находился не

столько внутри, сколько снаружи, как если бы вскарабкался сюда по водосточной трубе, а не поднялся, нормальным порядком, по лестнице.

Незнакомец молчал, пока Невил не вставил ключ в дверной замок, но тут, очевидно, удостоверясь по этим действиям, что пред ним тот, кто ему нужен, он соскочил с окна и подошел к Невилу.

— Прошу прощения,— сказал он; у него было открытое, улыбающееся лицо и приветливый голос.— Бобы!

Невил в недоумении уставился на него.

— Вьющиеся,— сказал незнакомец.— Красные. В соседнем окне. А квартира с другого подъезда.

— А! — сказал Невил.— И еще резеда и желтофиоль?

— Точно,— сказал незнакомец.

— Заходите, пожалуйста.

— Благодарю вас.

Невил зажег свечи, и его гость сел у стола. Он был очень недурен собой — с юношеским лицом, но более солидной фигурой, сильный, широкоплечий; ему можно было дать лет двадцать восемь или, самое большее, тридцать; и такой густой загар покрывал его лицо, что разница между смуглыми щеками и белым лбом, сохранившим естественную окраску там, где его заслоняла шляпа, а также белизной шеи, выглядывавшей из-под шейного платка, могла бы, пожалуй, придать ему комический вид, если бы не его широкие виски, ярко-голубые глаза и сверкающие в улыбке зубы.

— Я заметил...— начал он.— Кстати, разрешите представиться: моя фамилия Тартар.

Невил слегка поклонился.

— Я заметил (простите), что вы большой домосед и что вам как будто нравится мой висячий садик. Если вы хотите, чтобы он был к вам поближе, я могу протянуть несколько бечевок и жердочек между вашим окном и моим, и вьющиеся растения сейчас же по ним поползут. А кроме того, у меня есть два-три ящика с резедой и желтофиолью, которые я могу пододвинуть к вашему окну по желобу (для этого у меня имеется багор); когда надо будет их полить или прополоть, я притяну их обратно, а приведя в порядок, опять к вам подвину, так что у вас с ними не будет никаких хлопот. Я не смел это сделать без вашего

позволения, ну вот и решил вас спросить. Тартар, к вашим услугам, такая же квартира, как у вас, только с другого подъезда.

— Вы очень добры.

— Ну что вы, это же такой пустяк. Я еще должен извиниться за свой поздний приход. Но я заметил (простите), что вы обычно гуляете по вечерам, и подумал, что меньше обеспокою вас, если дождусь вашего возвращения. Я всегда боюсь беспокоить занятых людей, так как сам я человек праздный.

— Вот уж чего бы я не подумал, глядя на вас.

— Да? Принимаю это за комплимент. Я действительно с ранней юности служил в Королевском флоте и был первым лейтенантом, когда оставил службу. Но мой дядя, тоже моряк, но невзлюбивший свою профессию, завещал мне порядочное состояние при условии, что я уйду из флота. Я принял наследство и подал в отставку.

— Должно быть, недавно?

— Да, не очень давно. До этого я лет двенадцать или пятнадцать слонялся по морям. А здесь поселился за девять месяцев до вас. Успел уже собрать один урожай. Вы спросите, почему я выбрал эту квартиру? А, видите ли, последнее время я плавал на маленьком корвете, ну и подумал, что мне будет уютнее в таком помещении, где есть полная возможность стукаться головой о потолок. Кроме того, человеку, можно сказать, выросшему на корабле, опасно сразу переходить к роскошному образу жизни. И еще: мы, моряки, привыкли получать сушу малыми порциями а тут вдруг на тебе — целое поместье! — я и решил, что скорее приучусь быть крупным землевладельцем, если начну с ящиков.

Он говорил шутя, но с какой-то веселой серьезностью, от которой его слова казались еще забавнее.

— Однако,— сказал лейтенант,— довольно уж я говорил о себе. Это отнюдь не в моих привычках; это я только так, для начала, чтобы вам представиться. Если вы разрешите мне маленькую вольность, о которой я только что упоминал, вы окажете мне истинное благодеяние,— все-таки у меня будет занятие. И не думайте, что я на этом основании стану вмешиваться в вашу жизнь или вам навязываться,— я далек от такого намерения.

Невил сказал, что очень ему обязан и с благодарностью принимает его любезное предложение.

— Буду очень рад взять ваши окна на буксир,— сказал лейтенант.— Когда я тут садовничал у себя в окне, а вы на меня смотрели, я тоже невольно на вас поглядывал, и часто думал (простите), что вы чересчур уж прилежно трудитесь, а сами такой худой и бледный. Смею спросить, вы, может быть, перенесли недавно тяжелую болезнь?

— У меня были тяжелые нравственные переживания,— смущенно проговорил Невил.— Это иной раз дает те же последствия, что и болезнь.

— Простите,— сказал лейтенант.

Он тотчас с величайшей деликатностью снова перевел разговор на окна и попросил разрешения осмотреть соседнее с его собственным. Невил растворил окно, и лейтенант немедленно выпрыгнул на крышу с таким проворством, словно был на корабле, где только что просвистали «всех наверх», и хотел показать пример команде.

— Ради бога! — вскричал Невил.— Куда вы, мистер Тартар? Вы разобьетесь!

— Все в порядке! — ответствовал лейтенант, стоя на краю крыши и безмятежно оглядываясь по сторонам.— Оч-чень хорошо! Лучше желать нельзя. Завтра же натяну всю эту снасть, вы еще и проснуться не успеете. А теперь разрешите пожелать вам спокойной ночи. Я уж вернусь домой кратчайшим путем.

— Мистер Тартар! — взмолился Невил.— Не надо! Смотреть на вас и то голова кружится!

Но мистер Тартар с кошачьей ловкостью, не потревожив ни одного листочка, нырнул уже под сетку из красных вьющихся бобов и скрылся в своем окне как в люке.

Мистер Грюджиус в эту минуту, отогнув занавеску на окне спальни, в последний раз за день удовлетворял свою причуду — постоянно иметь жилище Невила перед глазами. К счастью, взору его было доступно лишь то окно, что смотрело на фасад, а не то, которое выходило на заднюю сторону дома. Иначе загадочное появление человека на крыше и столь же непостижимое его исчезновение, пожалуй, надолго нарушило бы сон почтенного юриста. Но так как мистер Грюджиус ничего не увидел, даже света в окне, он перевел взгляд с окон на звезды, как будто хотел

вычитать там нечто, от него скрытое. Многие из нас этого хотели бы, но никто еще не научился разбирать знаки, из коих слагаются звездные письмена — и вряд ли когда научится в этой жизни,— а как понять язык, если не знаешь его азбуки?

ГЛАВА XVIII

Новый житель Клойстергэма

Примерно в это же время в Клойстергэме появилось новое лицо — седовласый мужчина с черными бровями. Плотно облегающий синий сюртук, застегнутый на все пуговицы, светло-коричневый жилет и серые брюки придавали ему до некоторой степени военный вид, но в «Епископском Посохе» (местной гостинице, верной клойстергэмским традициям, куда он прибыл с чемоданом в руках) он отрекомендовался как человек без определенных занятий, живущий на свои средства. Он объявил также, что думает снять здесь квартирку на месяц либо на два, а может быть, и совсем поселиться в этом живописном старинном городе. Все это он изложил во всеуслышание в гостиничной столовой, пока, стоя спиной к нетопленному камину, дожидался заказанной им жареной камбалы, телячьей котлетки и бутылки хереса. Единственным его слушателем был официант (ибо «Епископский Посох» не мог похвалиться обилием постояльцев), и официант почтительно выслушал эту биографическую справку и принял ее к сведению.

Голова у незнакомца была на редкость большая, а белоснежная шевелюра на редкость густая и пышная.

— Я полагаю,— сказал он, усаживаясь к столу и энергично тряхнув своими седыми космами, словно ньюфаундленд, отряхивающий шерсть после купанья,— я полагаю, что в ваших местах можно найти подходящую квартирку для старого холостяка?

Официант в этом не сомневался.

— Что-нибудь старинное,— сказал седовласый джентльмен.— Ну-ка, снимите с вешалки мою шляпу. Нет, не надо мне подавать. Загляните в нее. Что там написано?

— Дэчери,— прочитал официант.

— Ну вот теперь вы знаете мое имя,— сказал джентльмен.— Дик Дэчери. Повесьте обратно. Так вот я говорю: я предпочел бы что-нибудь старинное, на чем покоится пыль веков. Что-нибудь почуднее, пооригинальнее. Что-нибудь этакое древнее, стильное и неудобное.

— Неудобных квартир у нас в городе, сэр, сколько угодно, на выбор,— со скромной гордостью отвечал официант; богатство клойстергэмских ресурсов в этом отношении, видимо, льстило его патриотическому чувству.— На этот счет мы вас ублаготворим, будьте без сомнения. А вот чтобы стильное...— Он недоуменно покачал головой.

— Ну, в том же роде, как ваш собор,— подсказал мистер Дэчери.

Официант приободрился.

— Мистер Топ,— сказал он, потирая подбородок.— Вот к кому, сэр, вам надо обратиться. Уж он-то знает!

— Кто такой мистер Топ? — спросил Дик Дэчери.

Официант объяснил, что мистер Топ — главный жезлоносец в соборе, а миссис Топ сама когда-то сдавала меблированные комнаты, вернее, хотела сдать и даже повесила записку, но так как никто их не снял, то картон с объявлением, долгое время красовавшийся у нее в окне и ставший привычным для глаз клойстергэмцев, в конце концов исчез; должно быть, просто свалился в один прекрасный день, а вторично его уж не повесили.

— Я зайду к миссис Топ,— сказал мистер Дэчери.— Но сперва пообедаю.

Покончив с обедом и получив соответственные указания, он отправился в путь. Но «Епископский Посох» был так нелюдимо расположен, а указания официанта так подробны, что мистер Дэчери вскоре их перезабыл и потерял направление. Он помнил только, что Топы живут где-то возле собора и, блуждая среди пустырей и развалин, устремлялся к соборной башне всякий раз, как ее видел, руководимый смутным ощущением (как в детской игре в «холодно» и «горячо»), что вступает в более теплый климат, когда приближается к башне, и в более холодный, когда от нее удаляется.

После долгих скитаний, окончательно захолонув и духом и телом, он очутился на краю кладбища, где на зеле-

ной травке паслась горемычная овца — горемычная потому, что какой-то безобразный мальчишка швырял в нее камнями через ограду, подбил уже ей одну ногу и в спортивном азарте старался подбить остальные три и свалить ее наземь.

— Ага, попал! — завопил мальчишка, когда несчастное животное подпрыгнуло.— Аж шерсть полетела!

— Оставь ее в покое! — сказал мистер Дэчери.— Не видишь, что ли, что ты ее уже покалечил?

— Врешь,— ответствовал юный спортсмен,— это она нарочно сама покалечилась, а я увидал, ну и стрельнул в нее разок, чтоб, значит, не смела портить хозяйскую баранину.

— Поди сюда.

— Еще чего! Сам меня лови, коли хочешь.

— Ну ладно, стой там и покажи мне, где живет мистер Топ.

— Как же это я могу стоять тут и показать, где живет Топ? Топы-то живут с той стороны собора, да еще перейти через дорогу, да завернуть за угол, да за другой, да за третий! Ба-алда! Э-э-э-э!

— Ну проводи меня, я тебе заплачу.

— Ладно, идем.

Закончив этот живой диалог, мальчишка повел мистера Дэчери за собой, и через некоторое время остановился и издали показал на арку под бывшей привратницкой.

— Видишь вон то окно и дверь?

— Это к Топам?

— Врешь. Вовсе не к Топам. Это к Джасперу.

— Вот как! — сказал мистер Дэчери и с интересом снова посмотрел на дверь.

— Да. И ближе я к нему не подойду.

— Почему?

— Не желаю, чтоб меня хватали за шиворот, да рвали на мне подтяжки, да за горло душили. Нет уж, шалишь, пусть других душит. Погоди, вот я как-нибудь выберу камушек повострей да запалю ему в его поганый затылок! Ну глянь теперь под арку, да не на ту сторону, где к Джасперу, на другую.

— Понимаю.

— Там подальше есть низенькая дверь и вниз две ступеньки. Это вот к Топам. Там и дощечка есть, медная, с его фамилией.

— Хорошо. Смотри сюда. Видишь? — сказал мистер Дэчери, показывая мальчишке шиллинг. — Ты должен мне половину.

— Врешь. Ничего я тебе не должен. Я тебя в первый раз вижу.

— *Будешь* должен. Я дам тебе шиллинг, потому что у меня нет шести пенсов. А ты в другой раз еще что-нибудь для меня сделаешь, вот и будем квиты.

— Ладно. Давай.

— Как тебя зовут и где ты живешь?

— Депутат. «В Двухпенсовых номерах для проезжающих». Вот там, через лужайку.

Мальчишка получил шиллинг и мгновенно пустился наутек из опасения, как бы даритель вдруг не раздумал, но, отбежав немного, остановился поглядеть — может, тому стало жалко? Тогда его можно угостить демонской пляской, знаменующей невозвратимость утраты.

Но мистер Дэчери, казалось, вполне примирился с непредвиденным расходом. Он снял шляпу, еще раз хорошенько тряхнул кудлатой своей головой и направился куда ему было указано.

Квартира мистера Топа, полагавшаяся ему по должности и имевшая сообщение по внутренней лестнице с квартирой мистера Джаспера (что и позволяло миссис Топ обслуживать этого джентльмена), была весьма скромных размеров и несколько походила на сырую темницу. Древние стены были так толсты, что комнаты казались выдолбленными в сплошном камне как пещеры, а не созданными по плану и только обведенными стенами. Входная дверь открывалась прямо в комнату неопределенной формы со сводчатым потолком, которая в свою очередь открывалась в другую комнату, тоже неопределенной формы и тоже со сводчатым потолком; маленькие окна утопали в толще стен. Эти две каморки, душные и темные, так как и свежий воздух и дневной свет проникал сюда с трудом, и были теми меблированными комнатами, которые миссис Топ столь долго предлагала равнодушному к их достоинствам городу. Но мистер Дэчери сумел их оценить. Он сказал,

что, если растворить входную дверь, то и света будет довольно и можно вдобавок наслаждаться обществом проходящих под аркой. Он сказал, что если мистер и миссис Топ, помещавшиеся наверху, будут пользоваться для входа и выхода маленькой боковой лесенкой, которая вела прямо в ограду собора, и ныне запертой дверью внизу, которая открывалась наружу к великому неудобству всех проходящих по узкой дорожке вдоль дома, то он, Дэчери, будет чувствовать себя как в особняке. Плату он счел умеренной, а что касается оригинальности и неудобств, то лучшего, по его мнению, и желать нельзя. Поэтому он готов сейчас же снять квартиру и выложить деньги, а переселиться завтра к вечеру, при условии, однако, что ему будет позволено навести кое-какие справки у мистера Джаспера как основного жильца; он ведь, собственно, и занимает домик над воротами, а квартира мистера Топа, расположенная по другую сторону арки, является лишь подчиненным и дополнительным владением.

Он, бедняжка, сейчас в одиночестве и очень грустит, сказала миссис Топ, но она не сомневается, что он ничего плохого о ней не скажет. Может быть, мистер Дэчери слыхал, что у нас тут стряслось прошлой зимой?

Мистер Дэчери что-то слыхал, но когда стал припоминать, то его сведения оказались очень неточными. Он рассыпался в извинениях перед миссис Топ за то, что ей приходится поправлять его на каждом шагу, но выставил в свое оправдание тот довод, что сам-то он человек мирного нрава, просто пожилой холостяк, живущий на свои средства, и всякими такими ужасами мало интересуется. А в наше время столько развелось людей, которые то и дело кого-то убивают, что где уж тут мирному человеку точно запомнить, что к одному случаю относится, а что к другому.

Карточку мистера Дэчери отнесли наверх, мистер Джаспер выразил готовность дать отзыв о миссис Топ, и мистера Дэчери пригласили подняться по каменной лестнице. Сейчас у него наш мэр, сказал мистер Топ, но его можно не считать за гостя, они с мистером Джаспером большие приятели.

Мистер Дэчери вошел, держа, по своему обычаю, шляпу под мышкой.

— Прошу прощения,— сказал он, расшаркиваясь и обращаясь одновременно к обоим джентльменам,— это всего лишь эгоистическая предосторожность с моей стороны и никому, кроме меня, не интересная. Но как старый холостяк, живущий на свои средства и возымевший намерение поселиться на остаток своих дней в этом прелестном тихом городке, я хотел бы знать, что, эти Топы, они вполне приличные люди?

Мистер Джаспер без колебаний отвечал утвердительно.

— Этого для меня достаточно, сэр,— сказал мистер Дэчери.

— Мой друг, здешний мэр,— добавил мистер Джаспер, почтительным движением руки представляя мистера Дэчери этому властителю,— чья рекомендация будет иметь для вас неизмеримо больше веса, чем отзыв такого незначительного человека, как я, вероятно, тоже выскажется в их пользу.

— Уважаемый господин мэр,— сказал мистер Дэчери с низким поклоном,— премного меня обяжет.

— Вполне порядочные люди,— благосклонно изрек мистер Сапси.— Со здравыми взглядами. Отличного поведения. Очень почтительные. Настоятель и соборный капитул весьма их одобряет.

— Уважаемый господин мэр,— сказал мистер Дэчери,— дал им характеристику, которой они могут гордиться. Я хотел бы еще спросить его милость господина мэра (если мне это будет позволено), имеются ли в этом городе, процветающем под его благодетельным управлением, какие-нибудь достопримечательности, которые стоит осмотреть?

— Мы очень древний город, сэр,— отвечал мистер Сапси,— город священнослужителей. Мы конституционный город, и как подобает такому городу, мы свято храним и поддерживаем наши славные привилегии.

— Его милость господин мэр,— с поклоном сказал мистер Дэчери,— внушил мне желание ближе познакомиться с этим городом и еще более укрепил мое намерение окончить здесь мои дни.

— Вы служили в армии, сэр? — осведомился мистер Сапси.

— Его милость господин мэр делает мне слишком много чести,— отвечал мистер Дэчери.

— Во флоте?

— Опять-таки его милость господин мэр делает мне слишком много чести,— повторил мистер Дэчери.

— Дипломатия тоже достойное поприще,— произнес мистер Сапси в порядке общего замечания.

— Вот это меткий выстрел,— сказал мистер Дэчери с поклоном и широкой улыбкой.— Уважаемый господин мэр попал в самую точку. Вижу, что никакая дипломатическая хитрость не устоит перед его проницательностью.

Эта беседа доставила мистеру Сапси неизъяснимое удовольствие. Вот же нашелся человек — и какой человек! — любезный, тактичный, привыкший общаться с лицами высокого ранга,— который понимает, как надо разговаривать с мэром, и может показать пример другим! Больше всего мистера Сапси пленяло обращение в третьем лице, которое, как ему казалось, особенно подчеркивало его заслуги и важное положение в городе.

— Но я прошу прощения у его милости господина мэра за то, что позволил себе отнять частичку его драгоценного времени, вместо того чтобы поспешить в мой скромный приют в гостинице «Епископский Посох».

— Ничего, сэр, пожалуйста,— ответил мистер Сапси.— Кстати, я сейчас иду домой, и если вам угодно по дороге осмотреть снаружи наш собор, я буду рад вам его показать.

— Его милость господин мэр более чем любезен,— сказал мистер Дэчери.

Откланявшись мистеру Джасперу, они вышли. Так как мистера Дэчери никакими силами нельзя было заставить пройти в дверь впереди его милости, то его милость первым стал спускаться по лестнице, а мистер Дэчери шел следом, держа шляпу под мышкой и не препятствуя вечернему ветру развевать его пышную седую шевелюру.

— Осмелюсь спросить его милость,— сказал мистер Дэчери,— этот джентльмен, которого мы только что покинули, это не тот ли самый джентльмен, который, как я уже слышал от его соседей, так глубоко скорбит об утрате племянника и посвятил свою жизнь мести за эту утрату?

— Тот самый, сэр. Джон Джаспер.

— Смею спросить его милость, есть ли серьезные подозрения против кого-нибудь?

— Больше чем подозрения, сэр,— отвечал мистер Сапси.— Полная уверенность.

— Подумать только! — воскликнул мистер Дэчери.

— Но доказательства, сэр, доказательства приходится строить камень за камнем,— сказал мэр.— Как я всегда говорю: конец венчает дело. Для суда мало нравственной уверенности, ему нужна безнравственная уверенность,— то есть, я хочу сказать, юридическая.

— Его милость, господин мэр,— сказал мистер Дэчери,— тонко подметил основную черту нашего судопроизводства. Безнравственная уверенность. Как это верно!

— Я всегда говорю,— величественно продолжал мэр,— у закона сильная рука и у него длинная рука. Так я обычно выражаюсь. Сильная рука и длинная рука.

— Как убедительно! И, опять-таки, как верно! — поддакнул мистер Дэчери.

— И не нарушая тайны следствия — тайна следствия, именно так я выразился на дознании...

— А какое же выражение могло бы лучше определить суть дела, чем то, которое столь удачно нашел господин мэр,— вставил мистер Дэчери.

— Итак, я полагаю, что не нарушу тайны следствия, если, зная железную волю джентльмена, которого мы только что покинули (я называю ее железной по причине ее силы), предскажу вам с уверенностью, что в этом случае длинная рука достанет и сильная рука ударит. А вот и наш собор, сэр. Многие знатоки находят его достойным восхищения, и наиболее уважаемые наши сограждане им гордятся.

Все это время мистер Дэчери шел, держа шляпу под мышкой, и ветер невозбранно трепал его седые волосы. Казалось, он совсем забыл, что ее снял, так как, когда мистер Сапси до нее дотронулся, мистер Дэчери машинально поднял руку к голове, словно думал найти там другую шляпу.

— Накройтесь, сэр, прошу вас,— сказал мистер Сапси с величавой снисходительностью, как бы говорившей: не бойтесь, я не обижусь.

— Господин мэр очень любезен, но я это делаю для прохлады,— ответил мистер Дэчери.

Затем мистер Дэчери стал восторгаться собором, а мистер Сапси показывал ему этот памятник старины с таким самодовольством, словно сам его изобрел и построил. Некоторые детали он, правда, не одобрял, но их он коснулся вскользь, как если бы то были ошибки рабочих, совершенные в его отсутствие. Покончив с собором, он направился к кладбищу и пригласил своего спутника полюбоваться красотой вечера, остановившись — совершенно случайно — в непосредственной близости от эпитафии миссис Сапси.

— Кстати,— сказал мистер Сапси, внезапно спускаясь с эстетических высот и указуя на надпись, которую, очевидно, только что заметил (так Аполлон мог бы устремиться с Олимпа на землю за своей забытой лирой),— это вот тоже одна из наших достопримечательностей. По крайней мере таковой ее почитают наши горожане, да и приезжие иной раз списывают ее себе на память. Я тут не судья, ибо это мое собственное творение. Скажу только, что оно стоило мне некоторого труда: не так легко выразить мысль с изяществом.

Мистер Дэчери пришел в такой восторг от творения мистера Сапси, что пожелал немедленно его списать, хотя имел в запасе еще много случаев это сделать, раз намеревался скончать свои дни в Клойстергэме. Он достал уже записную книжку, но ему помешало появление на сцене нового действующего лица, того самого, чьими стараниями идеи мистера Сапси были воплощены и увековечены в материальной форме: Дёрдлс шаркающей своей походкой приближался к ним, и мистер Сапси тотчас его окликнул, так как не прочь был показать этому ворчуну пример уважительного обхождения со старшими.

— А, Дёрдлс! Это здешний каменотес, сэр; одна из наших знаменитостей; все в Клойстергэме знают Дёрдлса. Дёрдлс, а это мистер Дэчери, джентльмен, который хочет поселиться в нашем городе.

— Вот уж чего бы не сделал на его месте,— пробурчал Дёрдлс.— Мы здесь довольно-таки скучный народец.

— Надеюсь, вы не относите это к себе, мистер Дёрдлс,— возразил мистер Дэчери,— ни тем более к его милости.

— Это кто же такое — его милость?

— Его милость господин мэр.

— Незнаком с таким,— отвечал Дёрдлс с видом отнюдь не свидетельствовавшим о его верноподданнических чувствах по отношению к главе города.— Пусть уж оказывает мне милости, когда мы с ним познакомимся. Только где и когда это будет, не знаю. А до тех пор —

Мистер Сапси его фамилия,
Англия его родина,
В Клойстергэме его жительство,
Аукционист его занятие.

Тут на сцене появился вдруг Депутат, предшествуемый летящей по воздуху устричной раковиной, и потребовал, чтобы мистер Дёрдлс, которого он тщетно искал повсюду, немедленно выдал ему три пенса как его законное и давно просроченное жалованье. Пока этот джентльмен, зажав узелок под мышкой, медлительно шарил по карманам и отсчитывал деньги, мистер Сапси сообщал будущему клойстергэмскому гражданину некоторые сведения о привычках, занятиях, жилище и репутации Дёрдлса. После чего мистер Дэчери сказал, обращаясь к Дёрдлсу:

— Вы, надеюсь, разрешите любопытному чужестранцу как-нибудь вечерком зайти к вам, мистер Дёрдлс, и поглядеть на ваши произведения?

— Всякий джентльмен, ежели он захватит с собой выпивки на двоих, будет желанным гостем,— сказал Дёрдлс, держа пенни в зубах и несколько полупенсов в ладони.— А ежели он захватит с собой дважды столько, так будет вдвойне желанным.

— Непременно зайду,— сказал мистер Дэчери.— Депутат! Что ты мне должен?

— Работешку.

— То-то, не забывай. Надо честно платить долги. Вот проводишь меня, когда я скажу, к мистеру Дёрдлсу, и будем в расчете.

Депутат испустил особо пронзительный свист, вылетевший, словно бортовой залп, из длинной щели его беззубого рта, и, выразив таким образом свою готовность погасить долг, исчез.

А почтеннейший господин мэр и его почитатель продолжали путь и с великими церемониями расстались у дверей господина мэра; и все это время его почитатель держал

шляпу под мышкой и ветер невозбранно развевал его белую шевелюру.

Поздно вечером, оставшись наедине в столовой «Епископского Посоха» и глядя на отражение своих седин в зеркале над каминной доской, скупо освещенном пламенем газового рожка, мистер Дэчери еще раз тряхнул волосами и сказал сам себе: «Для праздного старого холостяка, мирно живущего на свои средства, денек у меня выдался довольно-таки хлопотливый!»

ГЛАВА XIX

Тень на солнечных часах

Снова мисс Твинклтон подарила своих питомиц напутственной речью с приложением белого вина и фунтового кекса, и снова молодые девицы разъехались по домам. Елена Ландлес тоже покинула Женскую Обитель, чтобы посвятить себя заботам о брате, и Роза осталась совсем одна.

В эти летние дни Клойстергэм весь так светел и ярок, что даже массивные стены собора и монастырских развалин словно бы стали прозрачными. Кажется, будто не солнце озаряет их снаружи, но какой-то мягкий свет пронизывает изнутри, так светло сияют они на взгорье, ласково взирая на знойные поля и вьющиеся среди них, дымные от пыли, дороги. Клойстергэмские сады подернуты румянцем зреющих плодов. Еще недавно запятнанные паровозной копотью путешественники с грохотом проносились мимо, пренебрегая отдыхом в тенистых уголках Клойстергэма; теперь он наводнен иными путниками, кочующими, словно цыгане, в промежутке между сенокосом и жатвой и столь пропыленными, что кажется, сами они слеплены из пыли; они подолгу засиживаются в тени на чужих крылечках, пытаясь починить развалившиеся башмаки, или, отчаявшись, выбрасывают их в клойстергэмские канавы и роются в своих заплечных мешках, где, кроме запасной обуви, хранятся также обернутые в солому серпы. У коло-

дезных насосов происходят целые сборища этих бедуинов: кто охлаждает босые ноги под бьющей из желоба струей, кто с бульканьем и плеском, рассыпая брызги, пьет прямо из горсти; а клойстергэмские полисмены, стоя на своем посту, подозрительно поглядывают на них, и, видимо, ждут не дождутся, когда же эти пришельцы покинут городские пределы и снова начнут поджариваться на раскаленных дорогах.

В один из таких дней, ближе к вечеру, когда отошла уже последняя служба в соборе и на ту сторону Главной улицы, где стоит Женская Обитель, пала благодатная тень, пропуская солнечные лучи лишь в просветы меж ветвей в раскинувшихся позади домов и обращенных к западу садиках, горничная докладывает Розе, к ее ужасу, что пришел мистер Джаспер и желает ее видеть.

Если он хотел застать Розу в самый невыгодный для нее момент, он не мог бы лучше выбрать дня и часа. А может быть, он это знал и выбрал нарочно. Елена Ландлес уехала, миссис Тишер отбыла в отпуск, а мисс Твинклтон, обретаясь сейчас в неслужебной фазе своего существования, позволила себе принять участие в пикнике, захватив пирог с телятиной.

— Ну зачем, зачем, зачем ты сказала ему, что я дома! — беспомощно стонет Роза.

Горничная отвечает, что он ее об этом не спрашивал, просто сказал — он, мол, знает, что мисс Роза дома и просит разрешения ее повидать.

«Что мне делать! Что мне делать!» — мысленно восклицает Роза, ломая руки.

И тут же с решимостью отчаяния добавляет вслух, что примет мистера Джаспера в саду. Остаться с ним взаперти в доме — нет, об этом страшно даже подумать; лучше уж под открытым небом. Задние окна выходят в сад, из них ее будет видно и слышно, в случае чего можно закричать или убежать. Такая дикая мысль проносится в голове Розы.

После той роковой ночи она видела его только один раз — когда ее допрашивали у мэра; Джаспер тоже при этом присутствовал, как представитель своего исчезнувшего племянника, настороженный и мрачный и полный решимости отомстить за него. Повесив садовую шляпку себе на локоток, Роза выходит в сад. Едва она завидела

Джаспера с крыльца — он стоит, опираясь на солнечные часы, — как прежнее омерзительное чувство подчиненности и безволия снова овладевает ею. Она хотела бы повернуть назад, но он приказывает ее ногам идти к нему. И она не может противиться — она покорно идет и садится, опустив голову, на садовую скамью возле солнечных часов. Она не смотрит на него, такое отвращение он ей внушает, однако успела заметить, что он в глубоком трауре. Она тоже. Вначале она не носила траура, но прошло уже столько времени, никто больше не верит, что Эдвин жив, и она давно оплакала его как умершего.

Он хочет коснуться ее руки. Она чувствует это, не глядя, и отдергивает руку. Она знает, что он не сводит с нее глаз, хотя сама ничего не видит кроме травы у своих ног.

— Я долгое время ждал, — начинает он, — что меня призовут к исполнению моих обязанностей.

Она знает, что он не отводит взгляда от ее губ, и губы ее несколько раз складываются для какого-то робкого возражения, складываются и снова бессильно раскрываются. Наконец она тихо спрашивает:

— Каких обязанностей, сэр?

— Обязанности учить вас музыке и служить вам как ваш верный наставник.

— Я бросила музыку.

— Не навсегда же. Только на время. Ваш опекун уведомил меня, что вы временно прекращаете уроки, пока не оправитесь после этого несчастья, которое всех нас глубоко потрясло. Когда вы их возобновите?

— Никогда, сэр.

— Никогда? Вы не могли бы принести большей жертвы, даже если б любили моего бедного мальчика.

— Я любила его! — выкрикивает Роза, вдруг вспыхнув гневом.

— Да, конечно. Но не совсем — ну как бы это сказать? — не совсем так, как следовало. Не так, как предполагалось и как от вас ждали. Примерно так же, как мой дорогой мальчик любил вас, а он, к несчастью, слишком много думал о себе и слишком был доволен собой (я не говорю того же о вас), чтобы любить вас как должно, как другой любил бы вас на его месте, как вас надо любить!

Она сидит все так же неподвижно, только еще больше отстраняется от него.

— Значит, когда мне сказали, что вы временно прекращаете уроки, это была вежливая форма отказа от моих услуг?

— Да,— отвечает Роза, внезапно набравшись храбрости.— И вежливость исходила от моего опекуна, а не от меня. Я просто сказала ему, что не хочу больше брать у вас уроки и ничто не заставит меня изменить это решение.

— Вы и сейчас тех же мыслей?

— Да, сэр. И, пожалуйста, больше меня не расспрашивайте. Я не буду отвечать. Это по крайней мере в моей власти.

Она так хорошо знает, что он в эту минуту пожирает ее глазами, любуется ее гневом и живостью, вызванной гневом, что мужество ее гаснет, едва народившись, и снова она борется с ужасным чувством стыда, унижения и страха — как в тот вечер у фортепиано.

— Я не буду спрашивать, раз это вам так неприятно. Я сделаю вам признание...

— Я не хочу слушать вас, сэр,— восклицает Роза, вставая. Он опять протягивает руку — и на этот раз касается ее руки — и она, отпрянув, снова падает на скамью.

— Иногда приходится делать то, чего не хочешь,— глухо говорит он.— И вам придется, иначе вы повредите другим людям, а исправить этот вред не сможете.

— Какой вред?

— Сейчас объясню. Видите, теперь вы задаете вопросы, а мне не позволяете спрашивать; это несправедливо. Но я все-таки отвечу на ваш вопрос. Милая Роза! Обворожительная Роза!

Она снова вскакивает.

Он не делает попытки ее удержать. Но лицо его так мрачно, так грозно, он так властно положил руку на солнечные часы, словно ставит свою черную печать на сияющее лицо дня, что Роза застывает на месте и смотрит на него со страхом.

— Я не забываю, что нас видно из дома,— говорит он, бегло взглянув на окна.— Я не трону вас и не подойду ближе. Сядьте — и всякий, посмотрев на нас, увидит самую

обыденную картину: ваш учитель музыки стоит, лениво опираясь на постамент, и мирно беседует с вами. Что, в самом деле, странного в том, что нам вздумалось поговорить о недавних событиях и о нашем участии в них? Сядь же, моя любимая.

Она хочет уйти, она уже сделала шаг,— и снова его лицо и затаенная в нем угроза останавливает ее. Что-то непоправимое случится, если она уйдет. И оцепенело глядя на него, она снова опускается на скамью.

— Роза, даже когда мой дорогой мальчик был твоим женихом, я любил тебя до безумия; даже когда я верил, что он вскоре станет твоим счастливым супругом, я любил тебя до безумия; даже когда я сам старался внушить ему более горячее чувство к тебе, я любил тебя до безумия; даже когда он подарил мне этот портрет, набросанный столь небрежно, и я повесил его так, чтобы он всегда был у меня перед глазами, будто бы на память о том, кто его писал, а на самом деле ради горького счастья ежечасно видеть твое лицо и ежечасно терзаться,— даже тогда я любил тебя до безумия; днем, в часы моих скучных занятий, ночью, во время бессонницы, запертый как в тюрьме в постылой действительности, или блуждая среди райских и адских видений, в стране грез, куда я убегал, унося в объятиях твой образ,— всегда, всегда, всегда я любил тебя до безумия!

Его слова отвратительны ей сами по себе, но разница между страстью в его глазах и голосе и нарочитым спокойствием его позы делает их еще более отвратительными.

— Я терпел молча. Пока ты принадлежала ему или я думал, что ты принадлежишь ему, я честно хранил свою тайну. Разве не так?

Эта грубая ложь, звучащая, однако, так правдиво, переполняет меру терпения Розы. Она отвечает, дрожа от негодования:

— Вы все время лгали, сэр, и сейчас лжете. Вы предавали его каждый день, каждый час. Вы отравили мне жизнь своими преследованиями. Вы запугали меня до того, что я не смела открыть ему глаза, вы принудили меня скрывать от него правду, чтобы не ранить его доброе, доверчивое сердце. Вы бесчестный и очень злой человек!

Дергающееся от волнения лицо и конвульсивно сжатые руки, наряду с ленивой непринужденностью позы, придают ему совсем уже сатанинский вид. Глядя на нее с каким-то неистовым восхищением, он говорит:

— Как ты хороша! В гневе еще лучше, чем в покое. Я не прошу у тебя любви. Отдай мне себя и свою ненависть; отдай мне себя и эту дивную злость; отдай мне себя и это обворожительное презрение; я буду доволен.

Гневные слезы закипают у нее в глазах, ее щеки пылают. Но когда она снова вскакивает, готовая бежать от него и искать защиты в доме, он простирает руку по направлению к крыльцу, словно приглашая ее войти.

— Я сказал тебе, моя злая прелестница, мой милый бесенок, что ты должна остаться и выслушать меня, если не хочешь причинить другим людям вред, которого уже нельзя будет исправить. Ты спросила, какой вред? Останься — и я скажу тебе, какой. Уйди — и я обрушу его на их головы.

И снова она не осмеливается пренебречь угрозой, которую читает в его лице, хотя и не знает, чем он грозит; она остается. Грудь ее вздымается, ей не хватает воздуха, но, прижав руку к горлу, она остается.

— Я признался тебе, что моя любовь безумна. Она так безумна, что, будь связь между мной и моим дорогим мальчиком хоть на волосок слабее, я и его стер бы с лица земли за одно то, что ты была к нему благосклонна.

На миг она поднимает глаза — и взгляд ее вдруг мутится, словно ей стало дурно.

— Даже его,— повторяет он.— Да, даже его! Роза, ты видишь меня, ты слышишь меня. Так суди же сама — может ли другой любить тебя и оставаться в живых, когда жизнь его в моих руках?

— О чем вы?.. Что вы хотите?..

— Я хочу показать тебе, насколько безумна моя любовь. На последних допросах мистер Криспаркл выложил все ж таки под конец, что молодой Ландлес, по собственному его признанию, был соперником моего погибшего мальчика. Это неискупимое преступление в моих глазах. Тот же мистер Криспаркл знает от меня, что отныне я посвятил свою жизнь изобличению убийцы, кто бы он ни был, что я дал клятву найти его и покарать и что я решил

ни с кем не говорить об этом, пока не соберу улик, в которых он запутается, как в сети. С тех пор я терпеливо плел эту сеть, нитку за ниткой; она стягивается вокруг него все теснее — даже сейчас, когда я говорю с тобой!

— Вы так верите в виновность мистера Ландлеса? Но вот мистер Криспаркл в нее не верит, а он справедливый человек,— возражает Роза.

— Верю или не верю, это мое дело. Об этом пока помолчим, возлюбленная души моей! Но заметь: *даже если человек не виновен,* против него может накопиться столько внешне убедительных подозрений, что стоит их собрать, да заострить немного, да направить как следует — и ему конец. С другой стороны, если человек виновен, но улик против него недостаточно, какое-нибудь недостающее звено, обнаруженное путем настойчивых поисков, может привести его к гибели. Хоть так, хоть этак, Ландлесу грозит смертельная опасность.

— Если вы в самом деле думаете,— говорит Роза, бледнея,— что я неравнодушна к мистеру Ландлесу или что он когда-нибудь заговаривал со мной о своих чувствах, вы ошибаетесь.

Он небрежно отмахивается, и презрительная усмешка кривит его губы.

— Я хочу показать тебе, как безумна моя любовь. Сейчас она еще безумнее, чем была раньше, потому что ради нее я готов отречься от той цели, которой посвятил себя,— от мести за моего погибшего мальчика. Согласись быть моей — и я всю свою жизнь без остатка посвящу тебе, одной тебе, и других целей у меня не будет. Мисс Ландлес стала твоим самым близким другом. Тебе дорого ее душевное спокойствие?

— Я люблю ее всем сердцем.

— Тебе дорого ее доброе имя?

— Я уже сказала, что люблю ее всем сердцем.

— Виноват,— говорит он с улыбкой, облокотившись на солнечные часы и опираясь подбородком на руки; если бы кто-нибудь посмотрел на него из окна (а в окнах то и дело мелькают чьи-то лица), то, конечно, подумал бы, что он ведет самую легкую, шутливую беседу.— Опять я задаю вопросы. Хорошо. Буду просто говорить, а не спрашивать. Тебе дорого доброе имя твоей подруги. Тебе дорого

ее душевное спокойствие. Так отведи же от нее тень виселицы, моя любимая!

— Вы смеете делать мне какие-то предложения...

— Я смею делать тебе предложение, прелесть моя, да, это вот будет правильно сказано. Если боготворить тебя дурно, я самый дурной человек на земле; если это хорошо, я самый лучший человек на земле. Моя любовь к тебе превыше всякой иной любви, моя верность тебе превыше всякой иной верности. Подай мне надежду, посмотри на меня ласково, и ради тебя я нарушу все мои клятвы!

Она поднимает руки к вискам, отбрасывает назад волосы и смотрит на него с содроганием, пытаясь привести в связь то, что он открывает ей лишь урывками и намеками.

— Не думай сейчас ни о чем, мой ангел, кроме жертв, которые я слагаю к твоим милым ногам — ах! я хотел бы пасть ниц перед тобой и, пресмыкаясь в грязи, целовать твои ноги! Поставить их себе на голову, как дикарь!.. Вот моя верность умершему. Растопчи ее!

Он делает жест, как будто швыряет наземь что-то драгоценное.

— Вот неискупимое преступление против моей любви к тебе. Отбрось его!

Он повторяет тот же жест.

— Вот полгода моих трудов во имя справедливой мести. Презри их!

Тот же жест.

— Вот мое зря потраченное прошлое и настоящее. Вот лютое одиночество моего сердца и моей души. Вот мой покой; вот мое отчаянье. Втопчи их в грязь; только возьми меня, даже если смертельно меня ненавидишь!

Эта неистовая страсть, теперь достигшая высшей точки, наводит на нее такой ужас, что чары, приковывавшие ее к месту, теряют силу. Она стремглав бросается к крыльцу. Но в ту же минуту он оказывается рядом с ней и говорит ей на ухо:

— Роза, я уже овладел собой. Смотри, я спокойно провожаю тебя к дому. Я буду ждать и надеяться. Я не нанесу удара слишком рано. Подай мне знак, что слышишь меня.

Она чуть-чуть приподнимает руку.

— Никому ни слова об этом — или удар падет немед-



лепно. Это так же верно, как то, что за днем следует ночь. Подай знак, что слышишь меня.

Она опять чуть приподнимает руку.

— Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя! Если теперь ты отвергнешь меня — но этого не будет — ты от меня не избавишься. Я никому не позволю стать между нами. Я буду преследовать тебя до самой смерти.

Из дому выходит горничная открыть ему калитку, и, сняв шляпу в прощальном поклоне, он удаляется; и признаков волнения на нем заметно не больше, чем на изображении отца мистера Сапси, украшающем дом напротив. Роза, поднимаясь по лестнице, падает в обморок; ее бережно переносят в спальню и укладывают на кровать. Это оттого, что гроза надвигается, говорят горничные; бедняжка не выдержала духоты и жары. Да и не удивительно; у них у всех сегодня весь день подкашиваются колени.

ГЛАВА XX

Бегство

Едва Роза очнулась, как недавнее свидание с Джаспером вновь ожило в ее памяти. Ей, впрочем, казалось, что это воспоминание не покидало ее и в обмороке, что даже в глубине бессознательности она ни на секунду не была от него свободна. Что делать, она не знала; среди охватившего ее смятения выделялась лишь одна ясная мысль: надо бежать от этого страшного человека.

Но куда бежать и у кого искать защиты? До сих пор она никому не говорила о своих страхах, кроме Елены. Но если она пойдет к Елене и все ей расскажет, именно этим поступком она спустит с цепи то непоправимое зло, которым он грозил и которое, как она знала, он мог и хотел причинить. Чем страшнее представлялся Джаспер ее расстроенному воображению, тем острее она чувствовала свою ответственность: малейшая ошибка с ее стороны — излишняя поспешность или промедление — и его зложелательство обрушится на брата Елены.

Все последние полгода в душе Розы был непокой и смута. Почти еще не имевшее образа и ни разу не выска-

занное словами подозрение качалось там, как обломок на штормовых волнах, то всплывая на поверхность, то снова уходя вглубь. Привязанность Джаспера к своему племяннику, когда тот был жив, была всем известна; все видели, как настойчиво он добивался расследования причин его смерти; и уж, конечно, никому не пришло бы в голову заподозрить его в предательстве. Роза спрашивала себя: «Неужели я такая дурная, что выдумала гнусность, которой никто другой и вообразить не может? — Она вступала в спор сама с собой: — Может быть, эта мысль зародилась во мне потому, что я еще раньше его ненавидела? И если так, то разве это не доказывает ее ошибочность? — Она уговаривала себя: — Да зачем ему было делать то, в чем я его обвиняю? — Она стыдилась ответить: — Чтобы завладеть *мною*!» И закрывала лицо руками, как будто даже тень столь тщеславной мысли делала и ее преступницей.

Снова и снова она припоминала все, что он говорил в саду возле солнечных часов. Исчезновение Эдвина он упорно называл убийством, в согласии со всем своим поведением во время следствия, после находки часов и булавки. Если он боялся раскрытия преступления, разве ему не было бы выгоднее поддерживать версию о добровольном исчезновении? Он даже заявил, что будь связь между ним и племянником чуть слабее, он и его стер бы с лица земли, «даже его». Разве стал бы он так говорить, если бы это сделал? Он сказал, что слагает к ее ногам свои шестимесячные труды во имя справедливой мести. Разве мог бы он вложить такую страстность в это отречение, если бы труды его были притворными? Разве поставил бы он рядом с ними лютое одиночество своего сердца и своей души, свою зря растраченную жизнь, свой покой и свое отчаянье? Когда он говорил о своей готовности всем пожертвовать ради нее, разве не сказал он, что первой его жертвой будет верность памяти его дорогого погибшего мальчика? Это вот реальные факты, а что она могла им противопоставить? Смутную догадку, не смеющую даже воплотиться в слова? А все-таки, все-таки — он такой страшный человек! Короче говоря, когда бедная девочка пыталась во всем этом разобраться (а что она знала о душевной жизни преступника, о которой даже ученые, специально изучав-

шие этот вопрос, часто судят ошибочно, так как сравнивают ее с душевной жизнью обыкновенных людей, вместо того чтобы видеть в ней нечто совсем особое, своего рода мерзостное чудо), когда она старалась распутать этот клубок противоречий, все нити приводили ее к одному-единственному выводу — что Джаспер страшный человек и от него надо бежать.

Все эти месяцы она была для Елены опорой и утешением. Она неустанно твердила, что верит в невиновность брата Елены и сочувствует ему в его несчастьях. Но она ни разу не виделась с ним, а Елена ни словом не обмолвилась о тех признаниях, которые он делал мистеру Криспарклу относительно своих чувств к Розе, хоть это и было всем известно как пикантная подробность следствия. Для Розы он был только несчастный брат Елены, и ничего больше. И когда она уверяла своего ненавистного поклонника в отсутствии каких-либо других отношений между нею и Невилом, она говорила сущую правду; впрочем, теперь она уже считала, что лучше было бы промолчать. Как ни боялась она Джаспера, гордость ее возмущалась при мысли, что он узнал об этом из ее собственных уст.

Но куда бежать? Куда угодно, лишь бы прочь от него! Это не ответ. Надо что-то придумать. Она решила в конце концов поехать к своему опекуну, и поехать сейчас же, не медля ни минуты. То чувство, о котором она говорила Елене в первый вечер их дружеских излияний, чувство, что ей нигде нет от него защиты, что даже толстые монастырские стены не преграда для его призрачных преследований, вновь охватило ее с такой силой, что никакими рассуждениями она не могла побороть свой страх. Она слишком долго жила под обессиливающим гнетом отвращения и ужаса, и теперь ей мерещилось, что Джаспер приобрел над нею какую-то темную колдовскую власть, что он даже издали, одним помышлением, может приковать ее к месту. Даже сейчас, когда она уже встала и начала одеваться, но, случайно выглянув в окно, увидела солнечные часы, на которые он опирался, делая ей свои признания, она вся похолодела, как будто и на этот неодушевленный предмет перешла частичка его недоброй силы.

Она торопливо написала коротенькую записку, в которой уведомляла мисс Твинклтон, что ей срочно понадоби-

лось повидать опекуна и она уехала к нему, и просила эту почтенную даму не беспокоиться, ничего особенного не случилось, все благополучно. Затем, все так же спеша, сунула несколько совершенно бесполезных вещиц в крохотный дорожный чемоданчик, положила записку на видном месте и неслышно выскользнула из дому, тихонько притворив за собой дверь.

В первый раз она очутилась одна на Главной улице. Но хорошо зная тут все пути и повороты, она быстро добежала до того угла, откуда отправлялся дилижанс. Он как раз только что тронулся с места.

— Стойте, Джо, возьмите меня! Мне нужно в Лондон.

Не прошло и двух минут, как она уже сидела в карете и под покровительством Джо ехала к железнодорожной станции. Он проводил ее до поезда, усадил в вагон и внес следом за ней крохотный чемоданчик с таким видом, словно это был по меньшей мере пятипудовый сундук, которого она ни в коем случае не должна была поднимать.

— Не могли бы вы, Джо, когда вернетесь, зайти к мисс Твинклтон и сказать, что проводили меня и я благополучно уехала?

— Будет сделано, мисс.

— И скажите, что я ее целую.

— Слушаю, мисс,— от этого и я бы не отказался! — Вторую часть фразы Джо, конечно, не произнес вслух, а только подумал.

Теперь, когда поезд на всех парах мчал ее в Лондон и ее побег стал совершившимся фактом, она могла на досуге вернуться к тем размышлениям, которые не успела довести до конца в спешке отъезда. Возмущенная мысль, что это объяснение в любви замарало ее и что очистить себя она может только обратившись за помощью к добрым и честным людям, на время утишила ее страх и помогла ей утвердиться в своем поспешном решении. Но по мере того как небо за окном становилось все темнее и темнее, а огромный город надвигался все ближе и ближе, ее снова начали осаждать обычные в таких случаях сомнения. Может быть, это все-таки был необдуманный поступок? Как посмотрит на это мистер Грюджиус? Застанет ли она его дома? Что делать, если он в отсутствии? Куда ей деваться, одной, среди чужих людей, в чужом городе? Не лучше ли

было бы все-таки подождать и с кем-нибудь посоветоваться? Пожалуй, если бы можно было вернуться, она бы с радостью это сделала! Множество таких соображений роилось в ее уме, и чем больше их возникало, тем сильнее она тревожилась. Наконец поезд загрохотал над лондонскими крышами и внизу замелькали серые улицы и цепочки зажженных фонарей, еще ненужных в этот жаркий и светлый летний вечер.

«Хайрем Грюджиус, эсквайр, Степл-Инн, Лондон» — это все, что знала Роза о месте своего назначения, но и этого оказалось достаточно. С дребезгом покатил кэб по каменной пустыне серых и пыльных улиц, где у ворот и на углах переулков толпились люди, вышедшие подышать воздухом, а множество других людей куда-то шли, наполняя улицу скучным, скрипучим шумом от шарканья ног по накалившимся за день тротуарам, и где все — и дома и люди — было таким серым, пыльным и убогим!

Там и сям играла музыка, но это не улучшало дела. Шарманка не приносила веселья, удары в большой барабан бессильны были прогнать скуку. Как и звон колоколов из соседних церквей, они, казалось, ни в ком не вызывали отклика, только гулко ударялись о кирпичные стены да вздымали лежавшую на всем пыль. Что же касается духовых инструментов, они пели такими надтреснутыми голосами, как будто сердце у них разрывалось от тоски по деревне.

Наконец дребезжащий экипаж остановился у наглухо запертых ворот, за которыми, очевидно, жил кто-то, кто очень рано ложился спать и очень боялся воров. Роза, отпустив кэб, робко постучала, и сторож впустил ее вместе с ее крохотным чемоданчиком.

— Мистер Грюджиус здесь живет?

— Мистер Грюджиус живет вон там, мисс,— отвечал сторож, показывая в глубь двора.

Роза прошла во двор и через минуту — часы как раз начали бить десять — стояла уже на пороге, под сенью П.Б.Т., дивясь про себя, куда этот П.Б.Т. девал свой выход на улицу.

Следуя указаниям дощечки с фамилией мистера Грюджиуса, она поднялась по лестнице и постучала. Ей пришлось постучать еще и еще — никто не открывал; ручка

двери подалась под ее прикосновением, она вошла и увидела своего опекуна: он сидел у открытого окна; в дальнем углу на столе, затененная абажуром, тускло горела лампа.

Роза неслышно приблизилась к нему в наполнявшем комнату сумраке. Он увидел ее и вскрикнул глухо:

— Боже мой!

В слезах она бросилась ему на шею. Тогда он тоже обнял ее и проговорил:

— Дитя мое! Дитя мое! Мне показалось, что это ваша мать! Но что, что,— добавил он, стараясь ее успокоить,— что привело вас сюда? Кто вас привез?

— Никто. Я приехала одна.

— Господи помилуй! — воскликнул мистер Грюджиус.— Одна! Почему вы не написали? Я бы за вами приехал.

— Не было времени. Я вдруг решила. Бедный, бедный Эдди!

— Да, бедный юноша! Бедный юноша!

— Его дядя объяснился мне в любви. Не могу этого терпеть, не могу! — пролепетала Роза, одновременно заливаясь слезами и топая своей маленькой ножкой.— Я содрогаюсь от отвращения, когда его вижу! И я пришла к вам просить, чтобы вы защитили меня и всех нас от него. Вы это сделаете, да?

— Сделаю! — вскричал мистер Грюджиус с внезапным приливом энергии.— Сделаю, будь он проклят!

Долой его тиранство
И злобное коварство!
Посягнуть на Тебя?
Долой его, долой!

Выпалив единым духом эту поразительную в его устах стихотворную тираду, мистер Грюджиус заметался по комнате как одержимый, и трудно сказать, что в этот миг в нем преобладало — энтузиазм преданности или боевой пафос обличения.

Затем он остановился и сказал, обтирая лицо:

— Простите, моя дорогая! Но вам, вероятно, будет приятно узнать, что мне уже полегчало. Только сейчас ничего больше об этом не говорите, а то, пожалуй, на меня

опять накатит. Сейчас надо позаботиться о вас — покормить вас и развеселить. Когда вы в последний раз кушали? Что это было — завтрак, полдник, обед, чай или ужин? И что вам теперь подать — завтрак, полдник, обед, чай или ужин?

С почтительной нежностью, опустившись на одно колено, он помог ей снять шляпку и распутать зацепившиеся за шляпку локоны — настоящий рыцарь! И кто, зная мистера Грюджиуса лишь по внешности, заподозрил бы в нем наличие рыцарственных чувств, да еще таких пламенных и непритворных?

— Нужно позаботиться о вашем ночлеге,— продолжал он,— вы получите самую лучшую комнату, какая есть в гостинице Фернивал! Нужно позаботиться о вашем туалете — вы получите все, что неограниченная старшая горничная — я хочу сказать, не ограниченная в расходах старшая горничная — может вам доставить! Это что, чемодан? — Мистер Грюджиус близоруко прищурился; да и в самом деле не легко было разглядеть этот крошечный предмет в полумраке комнаты.— Это ваш, дорогая моя?

— Да, сэр. Я привезла его с собой.

— Не очень поместительный чемодан,— бесстрастно определил мистер Грюджиус.— Как раз годится, чтобы уложить в нем дневное пропитание для канарейки. Вы, может быть, привезли с собой канарейку, дорогая моя?

Роза улыбнулась и покачала головой.

— Если бы привезли, мы и ее устроили бы со всем возможным удобством,— сказал мистер Грюджиус.— Я думаю, ей приятно было бы висеть на гвоздике за окном и соперничать в пенье с нашими степл-иннскими воробьями, чьи исполнительские данные, надо сознаться, не вполне соответствуют их честолюбивым намерениям. Как часто то же самое можно сказать и о людях! Но вы не сказали, дорогая, что вам подать? Что ж, подадим все сразу!

Роза ответила — большое спасибо, но она ничего не хочет, только выпьет чашечку чаю. Мистер Грюджиус тотчас выбежал из комнаты и тотчас вернулся — спросить, не хочет ли она варенья, и еще несколько раз выбегал и опять возвращался, предлагая разные дополнения к трапезе, как-то: яичницу, салат, соленую рыбу, поджаренную ветчину,

и, наконец, без шляпы побежал через улицу в гостиницу Фернивал отдавать распоряжения. И вскоре они воплотились в жизнь, и стол был накрыт.

— Ах ты господи! — сказал мистер Грюджиус, ставя на стол лампу и усаживаясь напротив Розы.— До чего же это странно и ново для Угловатого старого холостяка!

Легким движением своих выразительных бровей Роза спросила: что странно?

— Да вот — видеть в этой комнате прелестное юное существо, которое своим присутствием выбелило ее, и покрасило, и обило обоями, и расцветило позолотой, и превратило ее в дворец,— сказал мистер Грюджиус.— Да, так-то вот, дорогая моя. Эх!

Вздох его был так печален, что Роза, принимая от него чашку, решилась коснуться его руки своей маленькой ручкой.

— Благодарю вас, моя дорогая,— сказал мистер Грюджиус.— Да. Ну давайте беседовать.

— Вы всегда тут живете, сэр? — спросила Роза.

— Да, моя дорогая.

— И всегда один?

— Всегда, моя дорогая. Если не считать того, что днем мне составляет компанию один джентльмен, по фамилии Баззард, мой помощник.

— Но он здесь не живет?

— Нет, после работы он уходит к себе. А сейчас его здесь вообще нет, он в отпуску, и фирма юристов из нижнего этажа, с которой у меня есть дела, прислала мне заместителя. Но очень трудно заместить мистера Баззарда.

— Он, наверно, очень вас любит,— сказала Роза.

— Если так, то он с изумительной твердостью подавляет в себе это чувство,— проговорил мистер Грюджиус после некоторого размышления.— Но я сомневаюсь. Вряд ли он меня любит. Во всяком случае, не очень. Он, видите ли, недоволен своей судьбой, бедняга.

— Почему он недоволен? — последовал естественный вопрос.

— Он не на своем месте,— таинственно сказал мистер Грюджиус.

Брови Розы опять вопросительно и недоуменно приподнялись.

— Он до такой степени не на своем месте,— продолжал мистер Грюджиус,— что я все время чувствую себя виноватым перед ним. А он считает (хотя и не говорит), что я и должен чувствовать себя виноватым.

К этому времени мистер Грюджиус напустил на себя такую таинственность, что Роза стала в тупик — можно ли его еще спрашивать. Пока она раздумывала об этом, мистер Грюджиус вдруг встряхнулся и сказал отрывисто:

— Да! Будем беседовать. Мы говорили о мистере Баззарде. Это тайна, и притом тайна мистера Баззарда, а не моя. Но ваше милое присутствие за моим столом располагает меня к откровенности, и я готов — под величайшим секретом — доверить вам эту тайну. Как бы вы думали, что мистер Баззард сделал?

— Боже мой! — воскликнула Роза, вспомнив о Джаспере и ближе придвигаясь к мистеру Грюджиусу.— Надеюсь, ничего ужасного?

— Он написал пьесу,— мрачным шепотом сказал мистер Грюджиус.— Трагедию.

У Розы, по-видимому, отлегло от сердца.

— И никто,— продолжал мистер Грюджиус тем же тоном,— ни один режиссер, ни под каким видом, не желает ее ставить.

Роза грустно покачала головкой, как бы говоря: «Да, бывает такое на свете! И почему только оно бывает?»

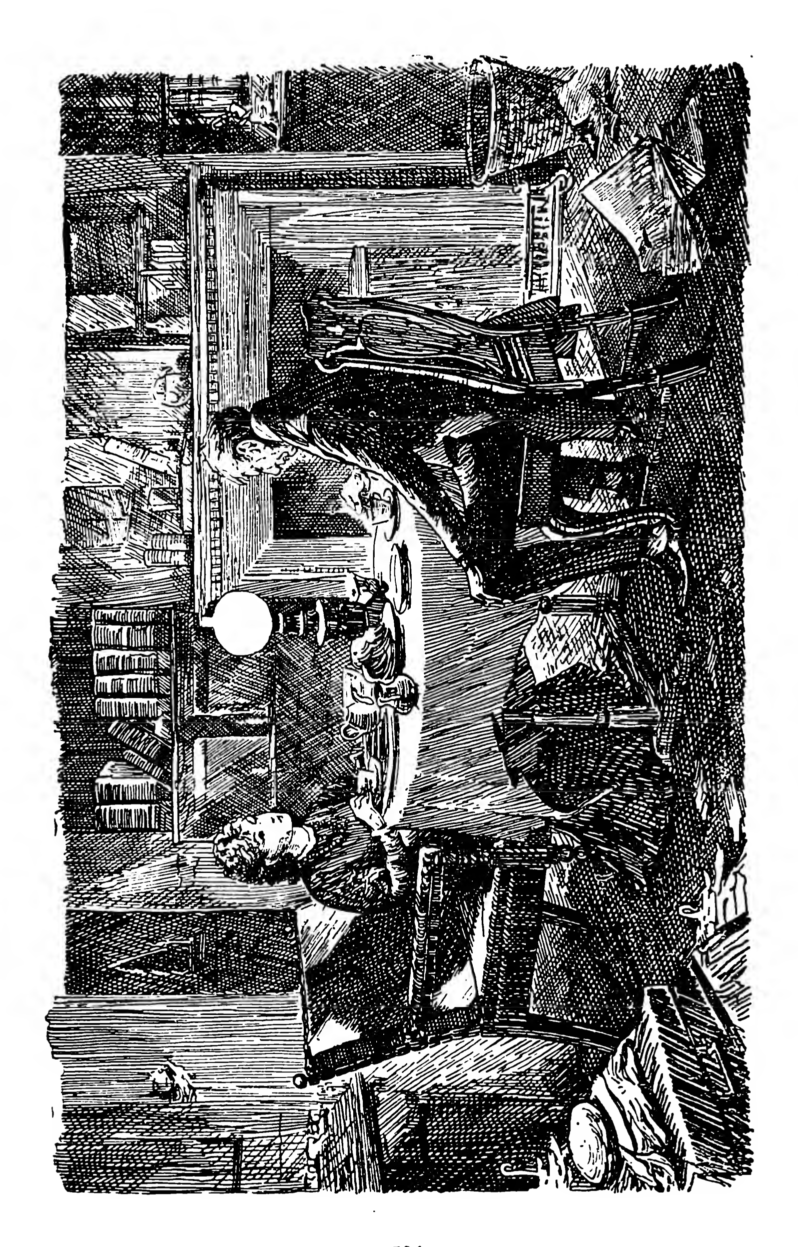
— Ну а я,— сказал мистер Грюджиус,— я бы ни за что не мог написать пьесы.

— Даже плохой, сэр? — наивно спросила Роза, и брови ее снова пришли в движение.

— Никакой. И если бы я был присужден к смертной казни через обезглавливание и уже находился на эшафоте, и тут прискакал бы гонец с вестью, что осужденный преступник Грюджиус будет помилован, если напишет пьесу, я вынужден был бы снова лечь на плаху и просить палача перейти к конечным действиям, подразумевая вот это действие,— мистер Грюджиус провел пальцем по своей шее,— и вот эту конечность.— Он пригладил волосы.

Роза, по-видимому, задумалась над тем, как сама она поступила бы в подобном гипотетическом случае.

— Следовательно,— сказал мистер Грюджиус,— мистер Баззард имеет все основания считать, что я ниже его,



а так как при этом я его хозяин, то получается уж совсем неловко.

И мистер Грюджиус сокрушенно покачал головой, как бы измеряя всю глубину обиды, нанесенной мистеру Баззарду, и признавая себя ее виновником.

— А как случилось, что вы стали его хозяином? — спросила Роза.

— Законный вопрос,— сказал мистер Грюджиус.— Да! Побеседуем, моя дорогая. Дело в том, что у мистера Баззарда есть отец, фермер в Норфолке, и если бы он хоть на миг заподозрил, что его сын написал пьесу, он немедленно набросился бы на него с вилами, цепом и прочими сельскохозяйственными орудиями, пригодными для нападения. Поэтому, когда мистер Баззард вносил за отца арендную плату (я собираю арендную плату в этом поместье), он открыл мне свою тайну и добавил, что намерен следовать велениям своего гения и обречь себя на голодную смерть, а он не создан для этого.

— Для чего, сэр? Чтобы следовать велениям своего гения?

— Нет, дорогая моя. Чтобы умереть с голоду. И так как нельзя было отрицать, что мистер Баззард действительно не создан для того, чтобы умереть с голоду, он выразил желание, чтобы я избавил его от участи, столь противной его натуре. Таким образом мистер Баззард стал моим клерком, и он очень это чувствует.

— Я рада, что он такой благодарный,— вставила Роза.

— Я не совсем то хотел сказать, моя дорогая. Я хотел сказать, что он очень остро чувствует свое унижение. Мистер Баззард познакомился еще с другими гениями, которые тоже написали пьесы, и тоже никто ни под каким видом не желает их ставить, так что эти избранные умы посвящают свои пьесы друг другу, снабжая их высокохвалебными надписями. Мистеру Баззарду тоже посвятили одну пьесу. Ну а мне, как вы знаете, никто никогда не посвящал пьесы.

Роза посмотрела на него таким взглядом, как будто ей очень хотелось, чтобы ему посвятили по меньшей мере тысячу пьес.

— Ну и ясное дело, что Баззард обижается,— сказал мистер Грюджиус.— Иногда он бывает очень резок со

мной, и я понимаю, в это время он думает: «Этакая бездарность — и мой начальник! Тупоголовый болван, который даже под страхом смерти не смог бы написать пьесу, который в жизни своей не дождется, чтобы ему посвятили трагедию с изысканными комплиментами насчет того, какое высокое место он займет в глазах потомков!» Обидно, очень обидно. Но я, конечно, когда нужно отдать ему приказание, всегда сперва думаю: «А может, это ему не понравится?», или: «А может, он рассердится, если я его об этом попрошу?» — и, знаете, мы с ним, в общем, ладим. Даже лучше чем можно было ожидать.

— А у этой трагедии есть название? — спросила Роза.

— Скажу вам по секрету,— ответил мистер Грюджиус,— это, конечно, строго между нами, она носит необыкновенно подходящее название — «Тернии забот». Но мистер Баззард надеется — и я надеюсь,— что эти тернии выйдут в конце концов наружу и увидят свет рампы.

Нетрудно было понять, что мистер Грюджиус, излагая так обстоятельно историю мистера Баззарда, не столько удовлетворял собственную потребность в светской беседе, сколько старался развеселить свою подопечную и отвлечь ее мысли от тех происшествий, которые привели ее сюда.

— А теперь, моя дорогая,— сказал он наконец,— если вы не слишком устали и можете рассказать мне немножко подробнее о сегодняшних событиях — но только если это вам нетрудно — я буду рад вас выслушать. У меня это лучше отстоится в уме, если я пересплю ночь после вашего рассказа.

Роза, теперь уже совсем успокоившись, точно и подробно рассказала о своем свидании с Джаспером. Пока она говорила, мистер Грюджиус не раз принимался приглаживать волосы, а ту часть рассказа, которая касалась Невила и Елены, попросил повторить. Когда Роза кончила, он несколько минут сидел молча, мрачный и сосредоточенный.

— Ясно изложено,— скупо заметил он под конец,— и надеюсь, столь же ясно уложилось здесь.— Он снова пригладил волосы. Потом подвел Розу к окну.— Посмотрите, дорогая моя,— сказал он,— где они живут. Вон, видите эти темные окна?

— Можно мне завтра пойти к Елене? — спросила Роза.

— На этот вопрос я вам лучше отвечу завтра,— неуверенно промолвил он.— Утро вечера мудренее. А теперь пора подумать о вашем отдыхе. Вы в нем, вероятно, очень нуждаетесь.

Засим мистер Грюджиус помог Розе снова надеть шляпку, повесил себе на локоть вышеописанный крохотный и вполне бесполезный чемоданчик и с неуклюжей торжественностью, словно собираясь танцевать менуэт, повел ее за руку через Холборн в гостиницу Фернивал. Там он вверил ее попечениям Неограниченной старшей горничной и сказал, что подождет внизу, пока Роза будет осматривать комнату,— на случай, если номер ей не понравится и она захочет его переменить или вдруг вспомнит, что ей еще что-нибудь нужно.

Комната оказалась просторной, чистой, удобной, почти веселой. Неограниченная уже разложила там все, чего недоставало в крохотном чемоданчике (иными словами, все что могло понадобиться Розе), и Роза сбежала вниз по многочисленным ступенькам — поблагодарить своего опекуна за его ласку и заботы.

— Что вы, моя дорогая,— сказал мистер Грюджиус, страшно довольный,— это мне надо благодарить вас за ваше милое доверие и ваше очаровательное общество. Завтрак вам подадут в маленькой гостиной, очень уютной и нарядной и как будто нарочно созданной для вашей миниатюрной фигурки. А в десять часов утра я к вам приду. Как бы только вам не было чуточку тревожно здесь одной в чужом для вас месте!

— Ах нет, здесь я чувствую себя в безопасности.

— На этот счет можете быть покойны,— сказал мистер Грюджиус.— Лестницы здесь из несгораемых материалов и всякая вспышка пожирающей стихии будет тотчас замечена и подавлена сторожем.

— Я не о том,— возразила Роза.— Я хотела сказать: в безопасности от *него*.

— Ворота чугунные, с толстой решеткой,— заверил мистер Грюджиус, улыбаясь,— сквозь них он не пройдет. Фернивал совершенно безопасен в смысле пожара и всегда хорошо освещен, и сторож всю ночь внизу, и *я* живу через

дорогу! — В своей рыцарственной отваге мистер Грюджиус, кажется, считал последнее обстоятельство самым важным. Продолжая ту же дон-кихотскую линию, он, уходя, сказал сторожу: — Если кое-кто из ваших постояльцев захочет ночью послать за мной, тот, кто доставит мне это известие, получит крону. — И одушевленный теми же чувствами, он еще добрый час расхаживал взад и вперед перед чугунными воротами, озабоченно поглядывая сквозь решетку, как будто усадил голубку на высоком насесте в клетке со львами и боялся, как бы она оттуда не свалилась.

ГЛАВА XXI

Встреча старых друзей

За ночь не случилось ничего такого, что могло бы заставить голубку вспорхнуть со своего насеста, и голубка встала ото сна с обновленными силами. Ровно в десять, с последним ударом часов, появился мистер Грюджиус и с ним мистер Криспаркл, который одним нырком из клойстергэмской запруды перенесся в Лондон.

— Мисс Твинклтон так беспокоилась, — пояснил он Розе, — она в таком волнении прибежала вчера к нам с вашей запиской, что я вызвался первым же утренним поездом поехать в Лондон. Вначале я жалел, зачем вы не обратились ко мне, но теперь думаю, что вы поступили совершенно правильно, обратившись к вашему опекуну.

— Я подумала о вас, — отвечала Роза, — но Дом младшего каноника так близко от *него*...

— Понимаю. Вполне естественное чувство.

— Я уже передал мистеру Криспарклу, — сказал мистер Грюджиус, — все, что вы мне рассказали, дорогая моя. Я бы, конечно, все равно сегодня же написал ему, но его приезд для нас как нельзя более кстати. И очень любезно с его стороны приехать так скоро, потому что ведь он только что отсюда уехал.

— Вы уже решили, — спросила Роза, обращаясь к ним обоим, — что можно сделать для Елены и Невила?

— Признаюсь,— сказал мистер Криспаркл,— я в большом затруднении. Уж если даже мистер Грюджиус, который гораздо хитрее, чем я, и к тому же имел целую ночь для размышлений, и тот ничего не придумал, так что же говорить обо мне?

Тут Неограниченная просунула голову в дверь, предварительно постучав и получив разрешение войти, и доложила, что какой-то джентльмен желает поговорить с другим джентльменом, по фамилии Криспаркл, если таковой джентльмен здесь имеется, а если такового джентльмена здесь нет, то он просит простить его за беспокойство.

— Таковой джентльмен здесь есть,— ответил мистер Криспаркл,— но он сейчас занят.

— А тот джентльмен, он какой — черноволосый? — вмешалась Роза, отступая поближе к мистеру Грюджиусу.

— Нет, мисс, скорее каштановый.

— Вы уверены, что у него не черные волосы? — спросила Роза, приободрившись.

— Вполне уверена, мисс. Каштановые волосы и голубые глаза.

— Мне кажется все-таки,— с обычной своей осторожностью начал мистер Грюджиус,— что не мешало бы с ним повидаться. Когда ты в затруднении и не видишь выхода, никогда нельзя знать, с какой стороны придет помощь. Мой деловой принцип в таких случаях — ничего заранее не отвергать и зорко смотреть на все стороны. Я мог бы по этому поводу рассказать вам кое-что любопытное, но сейчас это преждевременно.

— Ну что ж, если мисс Роза позволит... Попросите этого джентльмена войти,— сказал мистер Криспаркл.

Джентльмен вошел, непринужденно, но учтиво и скромно извинился за то, что не подождал, пока мистер Криспаркл будет один, а затем, повернувшись к нему, с улыбкой задал неожиданный вопрос:

— Кто я такой?

— Вы тот джентльмен, которого я несколько минут тому назад видел в Степл-Инне. Вы сидели под деревом и курили.

— Верно. Там и я вас увидел. Ну а сверх этого, кто я такой?

Мистер Криспаркл пристально вгляделся в красивое загорелое лицо; и ему почудилось, что в комнате встает смутный призрак какого-то мальчика.

Незнакомец увидел этот проблеск воспоминания в чертах мистера Криспаркла и, снова улыбнувшись, сказал:

— Что вам подать на завтрак? Варенье кончилось.

— Минутку! — вскричал мистер Криспаркл, поднимая руку.— Подождите минутку. Тартар!

Они обменялись горячим рукопожатием и даже простерли внешнее выражение своих чувств до того — а это немало для англичан! — что, обняв за плечи один другого, с минуту радостно смотрели друг другу в лицо.

— Мой бывший фэг! — сказал мистер Криспаркл.

— Мой бывший префект! * — сказал мистер Тартар.

— Вы спасли меня, когда я тонул! — сказал мистер Криспаркл.

— После чего вы пристрастились к плаванию! — сказал мистер Тартар.

— Господи помилуй! — сказал мистер Криспаркл.

— Аминь! — сказал мистер Тартар.

И оба снова принялись изо всех сил пожимать друг другу руки.

— Представьте себе,— воскликнул мистер Криспаркл, весь сияя,— познакомьтесь, пожалуйста, это мисс Роза Буттон, это мистер Грюджиус,— представьте себе, мистер Тартар, когда еще был самым маленьким из учеников младшего класса, нырнул за мной в воду, ухватил меня — большого, тяжелого старшеклассника — за волосы и повлек к берегу, словно какой-то водяной гигант!

— Представьте себе, я не дал ему утонуть, хотя и был его фэгом! — сказал мистер Тартар.— Но так как он, кроме того, был моим лучшим другом и покровителем и сделал мне больше добра, чем все учителя взятые вместе, то у меня и родилось вдруг этакое неразумное желание — либо спасти его, либо утонуть вместе с ним.

— Э... э... гм! Окажите мне честь, сэр,— заговорил мистер Грюджиус, подходя к нему с протянутой рукой,— разрешите пожать вам руку! Это большая честь для меня! Горжусь знакомством с вами. Надеюсь, вы не простудились? Ваше здоровье не пострадало оттого, что вы на-

глотались сырой воды? Как вы с тех пор себя чувствуете?

Вряд ли мистер Грюджиус понимал, что говорит, но он, без сомнения, хотел сказать что-то в высшей степени дружеское и уважительное.

«Ах, зачем,— подумала Роза,— бог не послал на помощь моей маме такого отважного и искусного пловца! А ведь он, наверно, был тогда еще худенький и хрупкий, почти ребенок!»

Мистер Грюджиус вдруг рысцой пробежался по комнате, сперва в одну сторону, потом в другую,— это было так неожиданно и непонятно, что все воззрились на него в испуге, предполагая, что с ним внезапно приключился припадок удушья или судорог. Но, сделав эту пробежку, он так же внезапно остановился перед мистером Тартаром.

— Я не напрашиваюсь на комплименты, благодарю вас,— заявил он,— но, кажется, мне пришла в голову блестящая мысль! Да, если я не ошибаюсь, это блестящая мысль! Скажите, сэр,— мне помнится, я видел фамилию Тартар в списке жильцов нашего дома,— скажите, вы ведь живете в мансардной квартире, рядом с той, что на углу?

— Да сэр. Пока что вы не ошибаетесь.

— Пока что я не ошибаюсь,— сказал мистер Грюджиус.— Отметим это,— и он сделал отметку большим пальцем правой руки на большом пальце левой.— Может быть, вам известна фамилия ваших соседей, тех, что живут за общей с вами стеной, но по другой лестнице? — продолжал мистер Грюджиус, подходя вплотную к своему собеседнику, чтобы не упустить, по близорукости, какого-либо движения в его лице.

— Да, сэр. Ландлес.

— Отметим и это,— сказал мистер Грюджиус, снова сделав пробежку и снова вернувшись.— Лично вы с ними, вероятно, незнакомы?

— Немножко знаком.

— И это отметим,— сказал мистер Грюджиус, опять делая пробежку и опять возвращаясь.— А как вы с ними познакомились, мистер Тартар?

— Мне показалось, что у молодого человека, живу-

щего там, нездоровый вид, и я попросил у него позволения — это было всего день или два тому назад — разделить с ним мой воздушный сад, то есть продолжить мой цветник до его окон.

— Прошу всех сесть! — сказал мистер Грюджиус.— У меня действительно родилась блестящая мысль!

Все повиновались, мистер Тартар с такой же готовностью, как остальные, хотя и не понимал, в чем дело; и мистер Грюджиус, сидя посередине и упершись руками в колени, так изложил свою мысль, по обыкновению деревянным голосом, как бы повторяя что-то вытверженное наизусть:

— Я еще не решил, насколько при сложившихся обстоятельствах будет благоразумно, если прелестная молодая леди, здесь присутствующая, станет поддерживать открытые сношения с мисс Еленой и мистером Невилом. Ибо у меня есть основания думать, что один наш клойстергэмский друг (которому я, с позволения моего преподобного друга, от всего сердца шлю проклятие) завел привычку тайком прокрадываться сюда и шпионить за ними. А когда он сам этого не делает, у него наверняка есть соглядатай — сторож, или рассыльный, или еще кто-нибудь из той публики, что постоянно толчется в Степл-Инне. С другой стороны, мисс Роза, понятно, хочет видеть свою подругу, мисс Елену, и, во всяком случае, желательно, чтобы мисс Елена, незаметным для других образом, узнала из уст мисс Розы о том, что произошло и чем ей угрожают. А затем, возможно, сообщила это своему брату. Вы согласны, в общем, с моими соображениями?

— Безусловно согласен,— сказал мистер Криспаркл, который слушал с большим вниманием.

— Я тоже, наверно, был бы согласен, если бы мог их понять,— сказал мистер Тартар.

— Не будем торопиться, сэр,— сказал мистер Грюджиус.— В свое время мы вам всё объясним. Так вот, если у нашего клойстергэмского друга есть соглядатай в Степл-Инне, можно с достаточной долей вероятия предполагать, что этому соглядатаю велено следить только за той квартирой, которую занимает мистер Невил. Он докладывает нашему клойстергэмскому другу о том, кто в эту квар-

тиру входит и кто из нее выходит, а наш друг, на основании имеющихся у него предварительных сведений, легко может установить личность этих посетителей. Но никто не в силах уследить за всем Степл-Инном, и я уверен поэтому, что за другими квартирами слежки нет, разве только за моей.

— Я начинаю понимать, куда вы клоните,— сказал мистер Криспаркл,— и весьма одобряю вашу осторожность.

— Мне незачем повторять, что я ничего не знаю о ваших делах,— сказал мистер Тартар,— но я тоже понял, куда вы клоните. И разрешите мне сразу сказать, что мои комнаты в полном вашем распоряжении.

— Вот! — воскликнул мистер Грюджиус, победоносно приглаживая волосы.— Теперь вам всем ясна моя мысль. Вам она ясна, мисс Роза?

— Кажется, да,— сказала Роза и покраснела, поймав на себе быстрый взгляд мистера Тартара.

— Значит, так: вы отправитесь в Степл-Инн вместе с мистером Криспарклом и мистером Тартаром,— сказал мистер Грюджиус,— я же вернусь один, и буду входить и выходить один, в точности как всегда. А вы, вместе с этими господами, подниметесь в квартиру мистера Тартара и станете смотреть в садик мистера Тартара и дожидаться, пока мисс Елена тоже выглянет, или как-нибудь дадите ей знать о своем присутствии. И можете затем беседовать с ней сколько вам угодно, и ни один шпион об этом не узнает.

— Боюсь, мне будет...

— Что вам будет, моя дорогая? — спросил мистер Грюджиус, когда она запнулась.— Неужели страшно?

— Нет,— застенчиво сказала Роза.— Мне будет совестно мешать мистеру Тартару. Мы уж очень бесцеремонно распоряжаемся его квартирой.

— А я заявляю,— сказал мистер Тартар,— что эта квартира станет мне в сто раз милее, если в ней хоть однажды прозвучит ваш голос.

Роза не нашлась что ответить и опустила глаза, а затем, обернувшись к мистеру Грюджиусу, смиренно спросила, не пора ли уже ей надеть шляпку? Мистер Грюджиус полностью одобрил такое намерение, и Роза ушла

наверх. Мистер Криспаркл воспользовался минутами ожидания для того, чтобы вкратце описать мистеру Тартару злоключения Невила и его сестры, и успел это сделать во всех подробностях, так как Розе почему-то понадобилось на этот раз дольше чем обычно примерять и прилаживать шляпку перед зеркалом.

Мистер Тартар взял Розу под руку, а мистер Криспаркл отдельно пошел впереди.

«Бедный, бедный Эдди!» — думала Роза, пока они шли.

Мистер Тартар все время что-то оживленно говорил, наклоняясь к ней и помахивая свободной рукой.

А Роза смотрела на эту руку и думала: «Она еще не была такой сильной и загорелой, когда он спасал мистера Криспаркла. Но твердой и надежной она была всегда!»

Мистер Тартар рассказал ей, что был моряком и долгие годы скитался по всем морям земного шара.

— А теперь когда вы уйдете в плавание? — спросила Роза.

— Никогда.

Роза подумала: что сказали бы девицы, если бы видели, как она переходит через улицу, опираясь на руку этого моряка? Она думала также, что прохожим она, вероятно, кажется очень маленькой и беспомощной по сравнению с этим силачом, который мог бы подхватить ее на руки и нести милю за милей, не уставая,— унести ее прочь от всякой беды!

А еще она думала: какие у него зоркие голубые глаза! Эти глаза привыкли издали замечать опасность и бестрепетно смотреть ей в лицо, когда она надвигалась все ближе и ближе. И, вскинув взгляд на него, она вдруг увидела, что он смотрит в ее личико и думает в эту минуту о ее собственных глазах.

Ох, как смутился бедный Розовый Бутончик! И, может быть, поэтому она впоследствии никогда не могла толком вспомнить, как поднялась (с его помощью) в его воздушный сад и попала в магическую страну, внезапно расцветшую перед ней, как та счастливая страна за облаками, в которую можно взобраться по стеблю волшебного боба *. Да цветет она вечно!

ГЛАВА XXII
Настали скучные дни

Квартира мистера Тартара была самой уютной, самой чистой, самой аккуратной из всех квартир, какие есть под солнцем, луной и звездами. Полы так сияли чистотой, что можно было подумать, будто лондонская копоть получила, наконец, свободу и вся, до последней крупицы, эмигрировала за океан. Все бронзовые украшения в комнатах мистера Тартара были до того начищены и отполированы, что сверкали словно бронзовые зеркала. Ни пылинки, ни соринки, ни малейшего пятнышка нельзя было найти на ларах и пенатах * мистера Тартара, больших, средних и малых. Его гостиная походила на адмиральскую каюту, ванная комната на молочную, спальня с бесчисленными шкафчиками и ящичками по стенам на семенную лавку; и подвесная койка, туго натянутая на самой середине, чуть колыхалась, словно дышала. Всякая вещь, принадлежавшая мистеру Тартару, имела свое, раз навсегда определенное ей место: его карты и атласы имели свое место, книги свое, щетки свое, башмаки свое, костюмы свое, фляжки свое, подзорная труба и прочие инструменты — свое. И все легко было достать. Полки, вешалки, шкафчики, ящички, крючки — все было под рукой и так прилажено, что ни один дюйм пространства не пропадал зря, да еще оставалось место для какого-нибудь дополнительного фрахта, который можно было точно вдвинуть именно сюда, и никуда больше. Сверкающее столовое серебро было так расставлено на буфете, что всякая сбежавшая с поста ложечка тотчас себя изобличала; туалетные принадлежности так разложены на столике, что всякая неопрятная зубочистка немедленно рапортовала о своей провинности. То же самое со всеми диковинами, привезенными мистером Тартаром из его путешествий. Набитые паклей, крытые лаком, засушенные, заспиртованные или иным способом законсервированные, смотря по их природе; птицы, рыбы, пресмыкающиеся, оружие, одежда, раковины, водоросли, травы, куски коралловых рифов — каждая вещь красовалась на отведенном ей месте, и лучшего места для нее нельзя было придумать. Казалось,

где-то в уголку, невидимо для глаз, прячется банка с краской и бутылочка с лаком, готовые мигом уничтожить случайный след пальца, если таковой будет обнаружен в комнатах мистера Тартара. Ни один военный корабль не хранили с такой заботой от пятнающих прикосновений. В этот яркий солнечный день над цветочным садом мистера Тартара был натянут тент — и натянут с таким совершенством, какое доступно лишь моряку; так что все вместе имело вполне моряцкий вид; казалось, цветник находится не на крыше, а на корме корабля, и корабль этот, с пассажирами на борту, может в любую минуту начать свой бег по волнам, стоит только мистеру Тартару поднести к губам рупор, висевший в углу, и хриплым голосом морского волка скомандовать: «Э-эй! Шевелись! Якоря поднять! Все паруса ставить!»

Мистер Тартар, в роли радушного капитана этого нарядного корабля, был под стать всему окружающему. Когда у человека есть свой конек, притом безобидный, который никого не лягает и не кусает, очень приятно смотреть, как он гарцует на этом коньке, особенно если он сам понимает юмористическую сторону своих причуд. А если он, к тому же, человек добросердечный и искренний, сохранивший свежесть чувств и душевное благородство, то привлекательные свойства его натуры в это время проявляются наиболее живо. И, конечно, Роза (даже если бы он не провел ее по своему кораблю со всем почетом, какой полагается Первой Даме Адмиралтейства или Первой Фее Морей) все равно с наслаждением смотрела бы на мистера Тартара и слушала мистера Тартара, пока он, иногда подсмеиваясь над собой, а иногда сам от души забавляясь, показывал ей все свои замечательные приспособления. И, конечно, Роза, не могла не признать, что мистер Тартар показал себя в самом выгодном свете, когда он, по окончании осмотра, деликатно удалился из своей адмиральской каюты, попросив Розу считать себя здесь Царицей и жестом руки, некогда спасшей мистера Криспаркла, предоставив свои цветники в ее полное распоряжение.

— Елена! Елена Ландлес! Ты здесь?

— Кто это говорит? Неужели Роза? — И среди цветов появилась другая красивая головка.

— Да, милочка, это я.

— Да как ты сюда попала, дорогая моя?

— Я... я сама хорошенько не знаю,— пролепетала Роза, заливаясь румянцем.— Может быть, это все сон?

Но отчего ей было краснеть? Они ведь были здесь одни, два цветка среди других цветов. Или в стране волшебного боба девичьи румянцы рождаются сами собой, как плоды на ветках?

— Но я-то не сплю,— улыбаясь, сказала Елена.— Будь это сон, я бы так не удивилась. Как это все-таки вышло, что мы оказались вместе — или почти что вместе — и так неожиданно?

Действительно, неожиданная встреча — среди закоптелых крыш и печных труб над древним обиталищем П. Б. Т. и среди цветов, восставших из морской пучины! Но Роза, пробудившись наконец, торопливо рассказала, как это случилось и что этому предшествовало.

— Мистер Криспаркл тоже тут,— сказала она в заключение, — и поверишь ли — когда-то давно он спас ему жизнь!

— Отчего ж не поверить? Я всегда знала, что мистер Криспаркл способен на такой поступок,— ответила Елена и вся зарделась.

(Еще румянцы в стране волшебного боба!)

— Да нет, совсем не мистер Криспаркл,— поспешила поправить Роза.

— Тогда я не понимаю, голубка.

— Это, конечно, очень мило со стороны мистера Криспаркла, что он дал себя спасти,— сказала Роза,— и он очень высоко ценит мистера Тартара,— слышала бы ты, как он о нем говорил! Но только это мистер Тартар спас мистера Криспаркла, а не наоборот.

Темные глаза Елены на несколько мгновений приковались к лицу Розового Бутончика. Потом она спросила, уже медленно и вдумчиво:

— Мистер Тартар сейчас с тобой, милая?

— Нет. Он уступил свои комнаты мне... то есть нам. Ах, какие у него прелестные комнаты!

— Да?

— Чудные! Они как каюты на каком-то очаровательном корабле. Они как... как...

— Как сон? — подсказала Елена.

Роза кивнула головкой и стала нюхать цветы.

После минутного молчания, во время которого Елена, казалось, кого-то жалела (или это только померещилось Розе?), старшая из подруг продолжала:

— Мой бедный Невил сейчас занимается в другой комнате, потому что с этой стороны солнце слишком яркое. Пожалуй, не стоит говорить ему, что ты здесь.

— Конечно, не стоит,— с готовностью согласилась Роза.

— Мне кажется,— задумчиво продолжала Елена,— потом надо будет все-таки сообщить ему то, что ты мне рассказала. Но я не уверена. Посоветуйся, милочка, с мистером Криспарклом. Спроси его, могу я сказать Невилу если не все, так хоть то, что сочту нужным?

Роза соскользнула с подоконника и отправилась за советом. Младший каноник выразился в том смысле, что вполне полагается на суждение Елены.

— Передай ему мою благодарность,— сказала Елена, когда Роза принесла ей этот ответ.— И спроси еще, как он считает, что лучше — подождать еще каких-нибудь враждебных действий против Невила со стороны этого негодяя — или постараться опередить его?

Младший каноник нашел этот вопрос для себя слишком трудным и после нескольких тщетных попыток решить его в ту или другую сторону сказал, что следовало бы пойти и спросить мистера Грюджиуса. Получив согласие Елены, он немедленно направился через двор к обиталищу П. Б. Т. (старательно, но вполне безуспешно, делая вид, будто просто гуляет для моциона) и изложил все мистеру Грюджиусу. Мистер Грюджиус ответил, что обычно придерживается твердого правила: если есть возможность опередить разбойника или дикого зверя, всегда нужно это сделать; а в том, что Джон Джаспер представляет собой комбинацию разбойника и дикого зверя, у него, мистера Грюджиуса, нет никаких сомнений.

Вооруженный этими разъяснениями, мистер Криспаркл вернулся и передал их Розе, а та в свою очередь передала Елене. Елена, по-прежнему сидевшая у окна в глубокой задумчивости, выслушала очень внимательно и еще глубже задумалась.

— Можно рассчитывать, что мистер Тартар нам поможет? — спросила она затем Розу.

О да, застенчиво пролепетала Роза. Мистер Тартар, наверно, не откажет. Да, за согласие мистера Тартара она, кажется, может поручиться. Но, может быть, спросить мистера Криспаркла?

— Нет, милочка,— степенно ответила Елена,— об этом ты, я думаю, можешь судить не хуже, чем мистер Криспаркл. И незачем тебе опять исчезать из-за этого.

Странно, что Елена так говорит!

— Видишь ли,— продолжала Елена, еще подумав,— Невил здесь никого не знает. За все время, что он здесь, он вряд ли с кем хоть словом перемолвился. Если бы мистер Тартар почаще к нему заходил — всякий раз, как у него выберется свободная минута, хорошо бы даже ежедневно, и не тайком, а совершенно открыто,— пожалуй, из этого бы кое-что вышло.

— Кое-что вышло? — повторила Роза, в полном недоумении глядя на свою красавицу подругу.— Но что же?..

— Если за Невилом в самом деле установлена слежка и цель этой слежки оторвать его от всех друзей и знакомых и постепенно сделать его жизнь невыносимой (ведь так, по-моему, надо понимать угрозы этого негодяя, которые ты от него слышала), то можно предполагать, что он постарается как-нибудь снестись с мистером Тартаром, чтобы и его настроить против Невила. А в таком случае мы, во-первых, установим самый факт слежки, а во-вторых, узнаем от мистера Тартара, что именно Джаспер ему говорил.

— Понимаю! — вскричала Роза и тотчас устремилась в адмиральскую каюту.

Вскоре ее хорошенькое личико, на этот раз сильно разрумянившееся, вновь показалось среди цветов, и она сказала, что говорила с мистером Криспарклом, и мистер Криспаркл позвал мистера Тартара, и мистер Тартар — «он сейчас здесь, ждет на случай, если он тебе понадобится»,— добавила Роза, полуобернувшись назад и в смущении пытаясь сразу быть и в каюте и за окном,— и мистер Тартар объявил, что готов все делать, как велит Елена, и начать хоть сегодня.

— Благодарю его от всего сердца,— сказала Елена.— Передай ему это, милочка.

Все больше смущаясь от своих попыток быть сразу в двух местах, Роза проворно нырнула в каюту и сейчас же вынырнула обратно с новыми заверениями мистера Тартара и остановилась в замешательстве, деля себя между ним и Еленой и показывая на своем примере, что от смущения человек не всегда становится неловким и неуклюжим, но иногда являет собой даже очень приятное зрелище.

— А теперь, душенька,— сказала Елена,— вспомним об осторожности, заставляющей нас скрывать это свидание, и расстанемся. Кстати, я слышу, что Невил уже встал из-за стола. Когда ты поедешь обратно?

— К мисс Твинклтон? — спросила Роза.

— Да.

— Ах нет, туда я ни за что не вернусь. Как я могу, после того страшного разговора?..

— Куда же ты денешься, крошка моя?

— Вот уж и не знаю,— сказала Роза.— Я ничего еще не решила. Но мой опекун, наверно, обо мне позаботится. Ты не беспокойся, дорогая. Уж где-нибудь я да буду.

(Что было весьма вероятно.)

— Значит, я смогу узнавать о моем Розовом Бутончике от мистера Тартара?

— Да, наверно, так; от...— Роза смущенно оглянулась, вместо того чтобы назвать имя.— Но, Елена, милая, скажи мне одно, прежде чем мы расстанемся. Ты уверена — совсем, совсем уверена, что я ничего не могла сделать?

— Что сделать, голубка?

— Ну что-нибудь,— чтобы он не так обозлился и не захотел мстить. Ведь я же не могла ему уступить, правда?

— Ты знаешь, как я тебя люблю, милочка,— в негодовании ответила Елена.— Но я скорей согласилась бы увидеть тебя мертвой у его ног.

— Ах, это для меня большое облегчение! И ты объяснишь это своему брату, да? И скажешь, что я его помню и так ему сочувствую!.. И попросишь, чтобы он не думал обо мне с ненавистью?..

Елена грустно покачала головой, как бы желая сказать, что эта просьба излишня, и обеими руками послала воздушный поцелуй своей подруге; и та, тоже обеими ручками, послала воздушный поцелуй Елене. А затем Елена увидела, что среди цветов появилась еще третья рука (очень загорелая) и помогла подруге сойти.

Закуска, которую мистер Тартар сервировал в адмиральской каюте простым нажатием на пружинку и поворотом ручки, выдвинувшей вперед скрытую в стене полку, была ослепительным и волшебным пиршеством. Дивные миндальные пирожные, сверкающие ликеры, магически-законсервированные восточные сладости, цукаты из божественных тропических плодов появились как по мановению ока и в неисчерпаемом изобилии. Но даже мистер Тартар не в силах был остановить время; и бессердечное время так быстро бежало легкой стопой, что Розе пришлось в конце концов спуститься из страны волшебного боба на землю, а точнее, в контору мистера Грюджиуса.

— Ну-с, дорогая моя,— сказал мистер Грюджиус,— теперь надо решить, что нам делать дальше? Или, если выразить ту же мысль в иной форме, что нам делать с вами?

У Розы стал виноватый вид — бедняжка понимала, какая она для всех обуза, даже для самой себя. Но никакого плана она не могла предложить — разве только, чтобы ей храниться до конца жизни, в полной безопасности от пожара, на верху многоступенчатой лестницы в гостинице Фернивал.

— Вот что мне пришло в голову,— сказал мистер Грюджиус.— Как известно, эта достойная дама, мисс Твинклтон, на каникулах проводит часть времени в Лондоне в целях расширения своей клиентуры, а также для удобства переговоров с живущими в столице родителями. Так нельзя ли, пока мы осмотримся и что-нибудь придумаем, пригласить ее приехать и пожить месяц с вами?

— А где мы будем жить, сэр?

— Я имел в виду,— пояснил мистер Грюджиус,— снять в городе меблированную квартиру и просить мисс Твинклтон взять на себя заботы о вас на это время.

— А потом? — спросила Роза.

— А потом мы будем не в худшем положении, чем сейчас.

— Да,— согласилась Роза.— Это, пожалуй, выход.

— Так пойдемте,— сказал мистер Грюджиус, вставая,— поищем меблированную квартиру. Вчерашний вечер и ваше милое присутствие за моим чайным столом было для меня таким счастьем, что я ничего лучшего не желал бы, как повторения этого счастья во все остальные вечера моей жизни. Но здесь неподходящая обстановка для молодой леди. Так что отправимся на поиски приключений и меблированной квартиры. А тем временем мистер Криспаркл, вернувшись домой, что, как я понимаю, он намерен сделать сегодня же, не откажется, вероятно, повидаться с мисс Твинклтон и уговорить ее принять участие в наших планах.

Мистер Криспаркл охотно согласился выполнить это поручение и, простившись, отбыл; а мистер Грюджиус и его подопечная отправились на поиски.

Представления мистера Грюджиуса о том, как надо искать квартиру, состояли в следующем: завидев в окне билетик о сдаче комнат, он сперва, с противоположного тротуара, тщательно осматривал передний фасад дома; затем, пробравшись окольными путями на зады этого дома, он столь же внимательно осматривал дом с задней стороны; затем устремлялся к другому дому с билетиком в окне и повторял тот же осмотр с тем же результатом. Поэтому дело у них шло не быстро. Наконец мистер Грюджиус вспомнил о некоей вдове, по фамилии Билликин, двоюродной, а может быть, троюродной или четвероюродной сестре мистера Баззарда, которая проживала на Саутхемптон-стрит, возле Блумсбери-сквера, и когда-то обращалась к мистеру Грюджиусу с просьбой порекомендовать ей жильцов. Мистер Грюджиус с Розой без труда нашли ее дом: на украшавшей парадную дверь медной дощечке значилось «БИЛЛИКИН» — крупными и четкими заглавными буквами, но без указания пола и гражданского состояния.

Слабость здоровья и неудержимая правдивость были отличительными чертами миссис Билликин. Она выплыла из своей маленькой гостиной, находившейся в задней

части дома, с таким томным видом, как будто ее только что откачали после многократных обмороков.

— Надеюсь, вы здоровы, сэр? — сказала миссис Билликин, узнав своего посетителя и склоняя голову в меланхолическом поклоне.

— Вполне, благодарю вас,— отвечал мистер Грюджиус.— А вы, сударыня?

— Я здаова,— умирающим голосом выдохнула миссис Билликин, от слабости глотая половину звуков,— насколько я мау быть здаова.

— Моя подопечная и одна пожилая дама,— сказал мистер Грюджиус,— хотели бы снять приличную квартиру на месяц, а может быть, и на дольше. Есть у вас, сударыня, свободные комнаты?

— Мистер Грюджиус,— сказала миссис Билликин,— я не хочу вас обманывать; не таков мой обычай. Да! У меня есть свободные комнаты.

Казалось, мысленно она добавила: «Можете меня четвертовать, если хотите. Но пока я жива, я буду говорить правду!»

— Ну а какие же, например, комнаты? — проговорил мистер Грюджиус тоном дружеской беседы, стараясь смягчить некоторую строгость, ощутимую в манере миссис Билликин.

— Да вот хоть эта зала, где мы сейчас. Но уж как вы ее там ни называйте, мисс,— заявила миссис Билликин, вовлекая в разговор Розу,— а это просто передняя гостиная. Заднюю гостиную я оставляю для себя и ни за что с ней не расстанусь. И еще две спальни на самом верху, с газовым освещением. Не скажу, что пол в них прочный, потому он не прочный. Газовый мастер сам признался, что для прочности надо бы провести трубы под балками, да какой смысл тратиться, когда арендуешь дом на год. Трубы, сэр, проложены там поверх балок, так уж вы наперед и знайте!

Роза и мистер Грюджиус испуганно переглянулись, хотя и не представляли себе ясно, какими грядущими бедствиями грозит подобная прокладка труб, а миссис Билликин приложила руку к груди, как бы сняв с души огромную тяжесть.

— Но хоть потолок-то там в порядке? — спросил мистер Грюджиус, несколько оправившись.

— Мистер Грюджиус,— возразила миссис Билликин,— ежели б я стала вас уверять, сэр, что не иметь ничего над головой это все равно, что иметь еще один этаж над головой, это уж было бы с моей стороны совращение истины, чего я отнюдь не желаю. Нет, сэр! На этакой высоте, да в ветреную погоду черепицы будут срываться с крыши, и тут уж ничего не сделаешь! Попробуйте сами, попытайтесь, только будь вы хоть самый главный дока по этой части, а на месте вы их все равно не удержите. Уж за это я вам ручаюсь! — После столь решительной отповеди мистеру Грюджиусу разгорячившаяся миссис Билликин несколько поостыла, не желая злоупотреблять одержанной над ним моральной победой.— И следственно,— продолжала она уже мягче, но все с той же неподкупной правдивостью,— следственно, не к чему нам с вами тащиться наверх, и вам показывать на потолок, и спрашивать: «Что это за пятно, миссис Билликин, потому мне сдается, что это пятно?», а мне отвечать: «Не понимаю вас, сэр». Я не стану пускаться на такие низкие хитрости. Нет, сэр, я вас очень хорошо понимаю, не трудитесь показывать. Это сырость, сэр. То она есть, а то ее нету. Вы там можете полжизни прожить, и все будете сухой как сухарик, но придет час — и вы превратитесь в мокрую тряпку!

Возможность столь плачевной метаморфозы, видимо, устрашила мистера Грюджиуса.

— А других комнат у вас нет, сударыня? — спросил он.

— Мистер Грюджиус,— торжественно отвечала миссис Билликин,— у меня есть другие комнаты. Вы спрашиваете, есть ли у меня еще комнаты, и вот мой честный и прямой ответ: да, есть. Бельэтаж и второй этаж свободны, и комнаты там очень миленькие.

— Ну, слава богу! У них-то уж, наверно, нет недостатков,— с облегчением сказал мистер Грюджиус.

— Мистер Грюджиус,— возразила миссис Билликин,— простите меня, но там есть лестница. Если вы наперед не примиритесь с лестницей, вас неизбежно постигнет разочарование. Вы ведь не можете, мисс,— с упреком

обратилась миссис Билликин к Розе,— сделать так, чтобы бельэтаж, а тем более второй этаж, был вровень с первым? Нет, мисс, вы этого не можете, это не в ваших силах, так зачем и пробовать?

Миссис Билликин говорила так прочувствованно, как будто Роза уже выказала твердое намерение отстаивать, наперекор здравому смыслу, эту неосновательную теорию.

— Можно посмотреть эти комнаты, сударыня? — спросил опекун Розы.

— Мистер Грюджиус,— сказала миссис Билликин,— не скрою от вас: это можно.

Затем миссис Билликин послала служанку за своей шалью (ибо в доме ее существовала традиция, установленная еще в незапамятно древние времена, согласно которой миссис Билликин никуда не могла выйти, не закутавшись в шаль) и, возложив на себя это одеяние с помощью той же служанки, повела своих посетителей наверх. На лестнице миссис Билликин, как и подобало столь деликатной даме, несколько раз останавливалась передохнуть, а поднявшись в верхнюю гостиную, поспешно схватилась за сердце, как будто оно уже готово было выпрыгнуть из груди и ей удалось лишь в последнюю минуту его поймать.

— А второй этаж? — спросил мистер Грюджиус, найдя бельэтаж удовлетворительным.

— Мистер Грюджиус,— с важностью проговорила миссис Билликин, останавливаясь и поворачиваясь к нему лицом, как если бы настала минута выяснить некий щекотливый пункт и установить, наконец, полное взаимное доверие,— мистер Грюджиус, второй этаж находится *над* этим.

— Можно и его посмотреть? — спросил мистер Грюджиус.

— Да, сэр,— отвечала миссис Билликин.— Он открыт для обозрения.

Второй этаж тоже оказался приемлемым, и мистер Грюджиус отошел с Розой к окну для окончательного решения. Затем он попросил перо и чернила и набросал текст договора. Миссис Билликин тем временем, усевшись в кресло, излагала своего рода резюме или краткий индекс по вопросу о квартиросъемке.

— Сорок пять шиллингов в неделю в это время года,— сказала она,— это очень даже умеренная плата, ни вам, ни мне не обидно. Оно, конечно, здесь не Бонд-стрит, и этот дом не Сент-Джеймсов дворец, так я ж его за дворец и не выдаю. Не пытаюсь также скрывать — зачем это мне? — что сзади, за аркой, помещается извозчичий двор. Извозчичьи дворы тоже должны существовать. Касательно услуг: есть две служанки, которым идет от меня хорошее жалованье. Насчет посыльных из лавок: тут верно, бывали разноголосия, но следы грязных сапог на только что вымытом кухонном полу непоощрительны, а за комиссией на ваших заказах я не гонюсь. Уголь оплачивается либо с топки, либо по числу ведерок.— Миссис Билликин особо подчеркнула этот пункт, как бы видя в этих двух способах оплаты тонкую, но существенную разницу.— Собаки не встречают одобрения. Первое, от них грязь, второе, их крадут, и обоюдные подозрения ведут к неприятностям.

Пока она рассуждала, мистер Грюджиус написал договор и приготовил задаток.

— Я подписался за обеих дам, сударыня,— сказал он,— а вы, будьте добры, подпишитесь за себя. Вот здесь, пожалуйста. Имя и фамилию.

— Мистер Грюджиус,— возгласила миссис Билликин в новом припадке откровенности,— нет, сэр! Вы уж извините, но имени своего я не подпишу.

Мистер Грюджиус воззрился на нее.

— Дощечка на двери,— сказала миссис Билликин,— служит мне защитой, и я от нее ни за что не отступлюсь.

Мистер Грюджиус перевел ошалелый взгляд на Розу.

— Нет, мистер Грюджиус, уж вы меня извините. Пока там, на дощечке, стоит «БИЛЛИКИН» и ничего больше, и окрестное жулье не знает, где прячется этот Билликин — за парадной дверью или на черном ходу, и каков его рост и вес, до тех пор я чувствую себя в безопасности. Но самой расписаться в том, что я есть не что иное, как одинокая женщина! Нет, мисс! И уж, конечно,— дрожащим от обиды голосом добавила миссис Билликин,— вы, мисс, никогда сами бы не додумались, чтобы расставлять

такие ловушки особе вашего пола, если б вам не был подан необдуманный и неделикатный пример!

Роза густо покраснела, словно ее и в самом деле уличили в попытке перехитрить эту простодушную даму, и робко попросила мистера Грюджиуса удовлетвориться любой подписью. Таким образом, под квартирным договором появилось лаконическое «Билликин», словно подпись владетельного барона на хартии.

Договорились, что переезд состоится послезавтра,— к этому времени уже можно было ожидать прибытия мисс Твинклтон, и, опираясь на руку своего опекуна, Роза вернулась в гостиницу Фернивал.

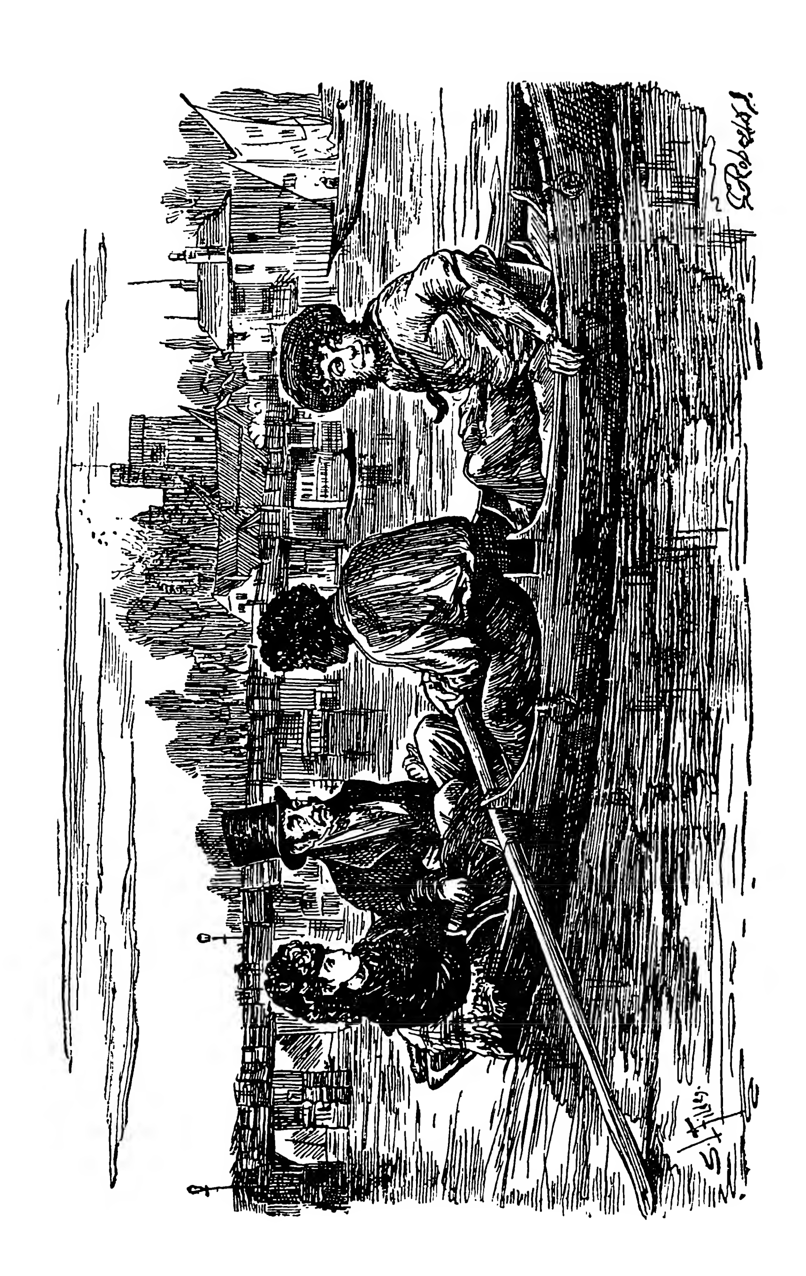
Но кого же они там увидали? На панели перед входом прохаживался мистер Тартар и, завидев Розу и мистера Грюджиуса, направился к ним.

— Мне пришло в голову,— сказал он,— что недурно бы совершить прогулку вверх по реке. А? Как вы думаете? Погода отличная, сейчас как раз прилив, а у меня есть собственная лодка на причале возле Тэмплских садов.

— Давненько я не ездил по реке,— сказал мистер Грюджиус, соблазненный таким заманчивым предложением.

— А я никогда там не бывала,— сказала Роза.

Через полчаса этот пробел был восполнен: все трое поднимались вверх по реке. Приливная волна легко несла лодку, день был чудесный, лодка мистера Тартара — само совершенство. Мистер Тартар и Лобли (его подручный) сели на весла. Оказалось, что у мистера Тартара есть еще и парусная яхта, которая стояла ниже на реке, где-то возле Гринхайта, под присмотром Лобли, а теперь мистер Тартар вытребовал его в город нарочно ради этой прогулки. Лобли был веселый малый с широким красным лицом и рыжими волосами и бакенбардами — точь-в-точь изображение солнца на старинных деревянных гравюрах,— и, сидя на носу лодки, он сиял как солнце: волосы и бакенбарды топорщились вокруг его лица, словно расходящиеся в стороны лучи, матросская фуфайка прикрывала, или, вернее, открывала могучую грудь и плечи, разукрашенные пестрой татуировкой. Казалось, ни он, ни мистер Тартар не делают никаких усилий; однако весла гнулись как тростинки, когда они на них налегали, и лодка



всякий раз прыжком устремлялась вперед. При этом мистер Тартар находил еще возможность непринужденно беседовать, словно ничем не был занят, обращаясь то к Розе, которая и в самом деле не была ничем занята, то к мистеру Грюджиусу, который занят был тем, что, сидя на корме, правил вкривь и вкось. Но какое это имело значение, если довольно было легкого нажима искусной рукой мистера Тартара или солнцеподобной ухмылки восседавшего на носу мистера Лобли, чтобы вернуть лодку на правильный курс! Весело нес их прилив по сверкающей реке, пока они не остановились пообедать в каком-то вечнозеленом саду — где именно это было, можно не уточнять, что нам за дело до такой прозы, как название местности; а затем прилив предупредительно сменился отливом, ибо стихии в этот день целиком посвятили себя единственной задаче — служить удобству наших путников; и когда лодка тихо скользила по течению среди заросших ивняком островов, Роза попробовала грести — с большим успехом, так как все ей помогали; и мистер Грюджиус тоже попробовал грести, но без успеха, так как никто ему не помогал, и он незамедлительно очутился на дне лодки головой вниз и ногами кверху, сброшенный туда непокорным веслом, сразу же нанесшим ему предательский удар в подбородок. Потом отдыхали в тени деревьев (и какой блаженный это был отдых!), и мистер Лобли отирал пот с лица и, доставая подушки и пледы, перебегал с носа на корму и с кормы на нос, словно плясун по канату, сверкая голыми пятками, как вольное дитя природы, для которого башмаки — предрассудок, а носки — рабство. Потом было сладостное возвращение в облаке аромата цветущих лип под мелодичное журчание струй; и скоро — слишком скоро! — на воду легли мрачные тени города, и темные его мосты стали отмерять сияющую гладь, как смерть отмеряет нам жизнь; и вечнозеленый сад теперь уж казался навеки утерянным, далеким и невозвратимым.

«Неужели нельзя жить так, чтобы не было этих промежутков скуки и уныния?» — думала Роза на следующий день, когда город опять стал донельзя серым и скучным и все кругом словно примерло, словно застыло в ожидании чего-то, что, может быть, никогда и не наступит.

Должно быть, нельзя, решила она. Теперь, когда клойстергэмские школьные дни безвозвратно ушли в прошлое, наверно так и будет: время от времени будут вклиниваться эти пустые, томительные промежутки, которые нечем наполнить и остается только ждать.

Но чего было ждать Розе? Приезда мисс Твинклтон? Мисс Твинклтон своевременно прибыла. Миссис Билликин выплыла ей навстречу из своей гостиной, и с этой роковой минуты факел войны возжегся в очах миссис Билликин.

Мисс Твинклтон явилась с огромным количеством багажа, так как привезла не только свои вещи, но и вещи Розы. И чувства миссис Билликин немедленно были оскорблены тем обстоятельством, что занятая своим багажом мисс Твинклтон не уделила ее особе должного внимания. Как следствие, величавая мрачность воздвигла свой трон на челе миссис Билликин. Когда же мисс Твинклтон, в волнении пересчитывая узлы и чемоданы, коих было семнадцать штук, посчитала в их числе и самое миссис Билликин под номером одиннадцатым, миссис Билликин почла своим долгом внести в это дело ясность.

— Считаю необходимым немедленно же установить,— заявила она с прямотой, которая граничила уже с навязчивостью,— что хозяйка этого дома не сундук, не сверток и не саквояж. И не нищая тоже, нет, мисс Твинклтон, пока еще нет, покорнейше вас благодарю!

Последнее гневное замечание было вызвано тем, что вконец захлопотавшаяся мисс Твинклтон сунула ей в руку два шиллинга шесть пенсов, предназначенные для извозчика.

Получив такой отпор, мисс Твинклтон растерянно вопросила: «Которому же джентльмену надо платить?» А джентльменов на беду было двое (так как мисс Твинклтон приехала в двух кэбах), и оба, хотя и получили уже плату, стояли, простирая к мисс Твинклтон раскрытую ладонь, и с отвисшей челюстью, в немом негодовании призывая небо и землю в свидетели нанесенной им обиды. Устрашенная этим зрелищем, мисс Твинклтон положила еще по шиллингу на каждую ладонь, одновременно восклицая трепещущим голосом, что будет искать защиты в

суде, и снова судорожно пересчитывая узлы и чемоданы, в числе которых на сей раз посчитала и обоих джентльменов, отчего итог весьма усложнился. Тем временем оба джентльмена, каждый держа добавочный шиллинг на ладони и не отрывая от него оскорбленного взгляда, как бы в надежде, что он превратится в полтора шиллинга, если на него достаточно долго смотреть, спустились по лестнице, взобрались на козлы и уехали, оставив мисс Твинклтон сидящей в слезах на шляпной коробке.

Миссис Билликин без всякого сочувствия взирала на это проявление слабости духа. Затем распорядилась позвать «какого-нибудь молодого человека» для борьбы с вышеупомянутым багажом. Когда этот гладиатор удалился с арены, наступил мир, и новые жильцы сели обедать.

Но миссис Билликин каким-то образом проведала, что мисс Твинклтон содержит школу. Отсюда уже был один шаг до умозаключения, что мисс Твинклтон намеревается и ее чему-то учить:

«Но это у вас не пройдет, дудки,— так закончила миссис Билликин свой внутренний монолог,— я, слава богу, не ваша ученица. Не доведется вам надо мной командовать, как над этой бедняжкой!» (подразумевая Розу).

С другой стороны, мисс Твинклтон, переодевшись и успокоившись, была теперь одушевлена кротким желанием всесторонне использовать ситуацию для назидательных целей и явить собой поучительный образец выдержки и тонких манер. Устроившись с рукодельной корзинкой у камина и удачно сочетая в этот момент обе фазы своего существования, она уже приготовилась вести легкую игривую беседу с небольшими вкраплениями полезных сведений из разных областей знания. И тут появилась миссис Билликин.

— Не скрою, сударыни,— сказала миссис Билликин, кутаясь в свою церемониальную шаль,— ибо не в моем характере скрывать свои мысли или свои поступки,— не скрою, я взяла на себя смелость зайти к вам собственно для того, чтобы выразить надежду, что обед вам понравился. Хоть и не повар с диплонами, а обыкновенная кухарка, все ж на таком жалованье, как я плачу, можно вознестись выше, чем просто жареное да пареное.

— Обед был очень хороший, благодарю вас,— сказала Роза.

— Имея привычку,— благосклонно начала мисс Твинклтон (она не добавила «хозяюшка», но ревнивое ухо миссис Билликин тотчас учуяло в ее голосе это недосказанное и уничижительное обращение),— имея привычку к обильной и питательной, но простой и здоровой пище, мы пока не нашли причин оплакивать наше отсутствие из древнего города и высокоупорядоченного дома, в котором жребий судил нам проводить до настоящего времени наши мирные дни.

— Уж я вам признаюсь,— сообщила миссис Билликин в приливе откровенности,— я сказала кухарке,— и вы согласитесь, мисс Твинклтон, что это необходимая предосторожность,— я ей сказала: раз молодая девица привыкла жить впроголодь, так надо ее приучать постепенно. А то, если сразу перескочить от пустых болтушек к тому, что у нас здесь считается хорошей жирной едой, и от скаредной бестолковщины к тому, что мы здесь называем порядком, так для этого нужно здоровье, какое редко встречается у молодых, особливо ежели оно у них подорвано пансионской кормежкой.

Как видите, миссис Билликин уже открыто выступила на бой против мисс Твинклтон, как против своего естественного врага.

— Не сомневаюсь,— бесстрастно проговорила мисс Твинклтон, как бы вещая с некоей отдаленной моральной возвышенности,— не сомневаюсь, что, делая эти замечания, вы руководствуетесь самыми лучшими намерениями. Но позвольте сказать вам, что они создают абсолютно извращенную картину действительности. И объяснить это я могу лишь крайним недостатком у вас сколько-нибудь правильной информации.

— Моя информиация,— отпарировала миссис Билликин, вставляя лишний слог для большей выразительности, одновременно вежливой и исполненной яда,— моя информиация, мисс Твинклтон, это мой собственный опыт, а уж это, говорят, самое верное. В юности меня определили в самый что ни есть аристократический пансион, и начальницей там была настоящая леди, не похуже вас, мисс Твинклтон, да и возрастом вроде вас, ну, может, на десяток

годов помоложе, и от ихнего стола в мои жилы излился поток скудной крови, который там циркулирует и по сие время.

— Весьма вероятно,— уронила мисс Твинклтон все с той же отдаленной возвышенности.— И это, конечно, очень грустно. Роза, милочка, как подвигается ваша вышивка?

— Мисс Твинклтон,— церемонно обратилась к ней миссис Билликин,— прежде чем удалиться, как подобает настоящей леди после эдаких намеков, дозвольте спросить вас, тоже как настоящую леди: должна ли я это так понимать, что в моих словах сомневаются?

— Мне неизвестно, на чем вы основываете подобное предположение...— начала было мисс Твинклтон, но миссис Билликин не дала ей продолжать.

— Вы только не кладите мне в уста разных приположений, каких я сама туда не положила. Вы умеете красно говорить, мисс Твинклтон, да ведь того от вас и ждут, за то вам и денежки платят. Ну а я за ваше красноречие платить не собираюсь, мне оно без надобности, я желаю, чтоб мне ответили на мой вопрос.

— Если вы имеете в виду слабость вашего кровообращения...— снова начала мисс Твинклтон, и снова ее оборвали.

— Я такого не говорила.

— Хорошо. Если вы имеете в виду скудость вашей крови...

— Которая вся взялась из закрытого пансиона,— беспощадно уточнила миссис Билликин.

— То мне остается только поверить, на основе собственных ваших утверждений, что ваша кровь действительно чрезвычайно бедна. И так как это печальное обстоятельство, по-видимому, сказывается и на вашей беседе, я вынуждена добавить, что все это в целом весьма прискорбно, и было бы крайне желательно, чтобы ваша кровь была несколько богаче. Роза, милочка, как подвигается ваша вышивка?

— Хм! Прежде чем удалиться, мисс,— обратилась миссис Билликин к Розе, высокомерно игнорируя мисс Твинклтон,— я желаю, чтоб мы с вами друг друга поняли. Отныне, мисс, я буду обращаться только к вам, и ни к

кому другому. Для меня тут больше нет никаких пожилых леди, никого старше вас, мисс.

— Весьма желательное устройство,— заметила мисс Твинклтон.

— И это, мисс, не потому,— с саркастической усмешкой сказала миссис Билликин,— что я имею в своем хозяйстве ту знаменитую мельницу, на которой, я слышала, можно старую деву перемолоть в молоденькую (кое-кому это было бы очень кстати), но потому что я впредь ограничиваю себя только вами.

— Когда у меня будет какая-либо просьба к хозяйке этого дома,— пояснила мисс Твинклтон с величавым спокойствием,— я сообщу свое пожелание вам, Роза, милочка, а вы, надеюсь, не откажете в любезности передать его по назначению.

— Разрешите с вами проститься, мисс,— ласково и вместе с тем несколько официально заключила миссис Билликин.— Так как теперь, на мой взгляд, вы здесь одна, я могу пожелать вам доброй ночи и всего наилучшего, не обременяя себя необходимостью выразить свое презрение некоему индувидуму, состоящему, к несчастью для вас, в близких с вами отношениях.

Метнув эту парфянскую стрелу, миссис Билликин удалилась шагом, полным грации, и с этого времени Роза оказалась в незавидном положении волана между двумя ракетками. Ни одно домашнее дело не могло осуществиться без предварительного бурного состязания. Так, ежедневно встающий вопрос об обеде разрешался в следующем порядке: мисс Твинклтон (в присутствии всех трех участниц дискуссии) говорила Розе:

— Может быть, вы спросите, дорогая моя, хозяйку этого дома, нельзя ли изготовить нам на обед жаркое из молодого барашка или на худой конец жареную курицу?

На что миссис Билликин с жаром отвечала Розе (хотя та не промолвила ни слова):

— Кабы вам, мисс, чаще случалось кушать мясное, вам бы и в голову не пришло требовать в эту пору молодого барашка. Во-первых, потому что молодые барашки все уже стали старыми баранами, а во-вторых, есть же определенные дни для забоя скота, не всякий день найдешь в лавках свежее мясо. А уж что до жареной курицы, так, я думаю,

они вам и так надоели, тем более если вы сами их покупали, так брали небось самую старую да самую тощую с задубевшими ногами, ради дешевизны! Нет уж, мисс, надо получше соображать. Приучаться надо к хозяйству. Придумайте что-нибудь другое.

На эти советы, преподанные с кроткой снисходительностью умудренной опытом и рачительной хозяйки, мисс Твинклтон отвечала, краснея:

— Так, может быть, моя дорогая, вы предложите хозяйке этого дома изготовить утку?

— Ну уж, мисс! Вы меня удивляете! — восклицала миссис Билликин (Роза по-прежнему не говорила ни слова).— Тоже придумали — утку! Уж не говоря о том, что сейчас на них не сезон, но мне просто больно видеть, что вам-то самой достается из этой утки. Потому что грудка — а это ведь в ней единственный мягкий кусочек — всегда идет я уж не знаю куда, а у вас на тарелке только и бывает что кожа да кости! Нет, мисс, этак не годится. Думайте больше о себе, а не о других. Выберите блюдо какое поплотнее — ну, например, сладкое мясо или баранью отбивную — что-нибудь такое, из чего и вам бы могла перепасть равная доля!

Иной раз состязание принимало столь ожесточенный характер и велось с таким азартом, что по красочности далеко превосходило описанное выше. И почти всегда миссис Билликин имела преимущество, ибо даже в тех случаях, когда у нее, казалось, не было никаких шансов на победу, она ухитрялась в последний момент неожиданным и замысловатым боковым ударом изменить счет в свою пользу.

Все это отнюдь не развеивало скуку лондонской жизни и не помогало Розе преодолеть странное чувство, раз и навсегда связавшееся в ее глазах с обликом Лондона,— будто все здесь чего-то ждет, что так никогда и не наступает. Истомившись от вышивок и бесед мисс Твинклтон, она предложила сочетать вышивки и чтение вслух, на что мисс Твинклтон охотно согласилась, так как была, по общему признанию, превосходным чтецом, с большим опытом в этом деле. Но Роза вскоре обнаружила, что мисс Твинклтон читает нечестно. Она выпускала любовные сцены, вставляла вместо них тирады в похвалу женского

безбрачия и совершала еще множество других благонамеренных обманов. Возьмем, к примеру, следующий пламенный монолог: «Навеки любимая и обожаемая,— сказал Эдвард, прижимая к груди ее милую головку и ласкающей рукой перебирая шелковистые кудри, проскальзывавшие меж его пальцев словно золотой дождь,— навеки любимая и обожаемая, покинем этот равнодушный мир, бежим от черствой холодности этих каменных сердец в теплый сияющий рай Доверия и Любви!» В подменной версии мисс Твинклтон он звучал так: «Навеки обрученная мне по взаимному согласию моих и твоих родителей и с одобрения убеленного сединами ректора нашего прихода,— сказал Эдвард, почтительно поднося к губам стройные пальчики, столь изощренные в вязании тамбуром, в вышивании крестиком, елочкой и гладью и прочих истинно женских искусствах,— позволь мне, раньше чем завтрашний день склонится к закату, посетить твоего папочку и предложить на его рассмотрение загородный дом, скромный, быть может, но соответствующий нашим средствам, где по вечерам твой достойный родитель всегда будет желанным гостем, где все будет устроено на началах разумной экономии и где, при постоянном обмене научными знаниями, ты сможешь быть ангелом-хранителем нашего семейного счастья».

А дни все шли да шли унылой чередой, и ничего не случалось, и соседи стали уже поговаривать, что вот, мол, эта хорошенькая девушка, что живет у Билликин и так часто и так подолгу сидит у окна гостиной, видно, что-то совсем загрустила. Она бы и правда совсем загрустила, если бы, по счастью, ей не попалось под руку несколько книг о путешествиях и приключениях на море. Стремясь ослабить вредное действие заключенной в них романтики, мисс Твинклтон при чтении вслух больше напирала на долготы и широты, румбы и ватерлинии, направления ветров и течений, и прочие фактические сведения (которые считала тем более поучительными, что сама в них нисколько не разбиралась), но Роза, слушая с горячим вниманием, извлекала из этих повестей то, что было ближе всего ее сердцу. И обеим теперь жилось не так уж плохо.

ГЛАВА XXIII
Опять рассвет

Хотя мистер Криспаркл и Джон Джаспер ежедневно встречались в соборе, все же с тех пор как Джаспер молча показал младшему канонику последнюю запись в своем дневнике,— а это было уже больше чем полгода тому назад,— они никогда не упоминали о чем-либо имеющем отношение к Эдвину Друду. Трудно, однако, предположить, что при этих встречах, хотя и столь частых, мысли каждого не обращались всякий раз к этой теме. Трудно предположить, что при этих встречах, хотя и столь частых, в каждом не пробуждалось всякий раз ощущение, что другой представляет для него неразрешимую загадку. Джаспер, как обличитель и преследователь Невила Ландлеса, и мистер Криспаркл, как его постоянный защитник и покровитель, слишком резко противостояли друг другу, и, вероятно, каждый смотрел на другого с острым любопытством и дорого дал бы, чтобы узнать, какие новые шаги предпринимает его антагонист для достижения своей цели. Но они никогда об этом не говорили.

Притворство было чуждо младшему канонику, и он, без сомнения, не раз открыто показывал, что готов поговорить, может быть, даже пытался начать разговор. Но всегдашняя замкнутость Джаспера ставила непреодолимую преграду таким попыткам. Бесстрастный, сумрачный, одинокий, так сосредоточившийся на одной мысли, что не желал ее ни с кем разделить, он жил в отъединении от всех людей. А ведь музыка, которой он каждый день занимался, требовала по крайней мере механической согласованности с другими исполнителями, без этого она не могла зазвучать,— и странно, казалось бы, что такой человек не испытывал потребности в духовном согласии и духовном общении с теми, кто его окружал. Но так он жил всегда; он говорил об этом своему племяннику еще раньше чем возникли причины для теперешней его отчужденности.

Он, конечно, не мог не знать о внезапном отъезде Розы и, без сомнения, догадывался о его причинах. Может быть, он надеялся, что достаточно ее напугал и она будет молчать? Или все же подозревал, что она кому-нибудь расска-

зала — хотя бы тому же мистеру Криспарклу — о подробностях их последнего свидания? Этого мистер Криспаркл решить не мог. Но, как справедливый человек, он вынужден был признать, что влюбиться в Розу само по себе еще не преступление, равно как и готовность поставить любовь выше мести сама по себе тоже еще не преступна.

Страшное подозрение, которое зрело по временам в душе Розы и которого она сама так стыдилась, по-видимому, никогда не посещало мистера Криспаркла. Если оно шевелилось порой в мыслях Елены или Невила, они, во всяком случае, ни разу не выговорили его вслух. Мистер Грюджиус не скрывал своей неумолимой враждебности к Джасперу, но и он никогда, даже отдаленным намеком, не возводил ее к такому источнику. Правда, он был не только большим чудаком, но и великим молчальником, и никому еще не обмолвился о том вечере, когда он грел руки у огня в домике над воротами и бесстрастно разглядывал груду изорванной и перемаранной в грязи одежды у своих ног.

Сонный Клойстергэм изредка пробуждался и снова пережевывал порядком уже выдохшуюся за полгода сенсацию; снова клойстергэмцы гадали о том, действительно ли любимый племянник Джона Джаспера был убит ревнивым соперником или предпочел сам скрыться по причинам, ему одному известным; но мнения разделялись, и этот неразрешенный судебными властями вопрос так и оставался без ответа. Город на миг поднимал голову, отмечал, что осиротевший Джаспер по-прежнему полон решимости найти виновного и отомстить, и снова погружался в спячку.

Так обстояли дела к тому времени, о котором теперь пойдет речь.

Двери собора заперты на ночь, и соборный регент, получив разрешение не присутствовать на двух-трех службах, отправляется в Лондон. Он совершает это путешествие тем же способом, каким в свое время его совершила Роза, и так же, как Роза, прибывает на место в душный и пыльный вечер.

Неся в руках свой маленький чемодан, он пешком добирается до скромной гостиницы на небольшой площади позади Олдерсгейт-стрит, недалеко от Главного почтамта. Эта гостиница одновременно также и пансион и меблиро-

ванные комнаты: можно остановиться там на день или на два, а можно и снимать номер помесячно.

В Железнодорожном справочнике она рекламируется как предприятие нового типа, только что начинающее входить в моду. Владельцы робко, чуть ли не с извинениями, объясняют путешественнику, что здесь от него не потребуют, согласно обычаям добрых старых конституционных гостиниц, чтобы он заказал себе для питья кружку подслащенной ваксы и затем выплеснул ее вон: ему со всей деликатностью внушают, что он может, воспользовавшись услугами коридорного, наваксить себе сапоги, вместо желудка, а также за некоторую определенную плату получить постель, завтрак, внимательное обслуживание и надежную охрану в лице бодрствующего всю ночь привратника. Из этих и других подобных же предпосылок многие истые британцы выводят пессимистическое заключение, что наша эпоха стремится всех и все уравнять, кроме, конечно, больших дорог, которых в Англии скоро вообще ни одной не останется.

Новый постоялец ужинает без аппетита и снова уходит. Он держит путь на восток, все дальше и дальше по жалким замызганным улицам, и, наконец, достигает места своего назначения: это застроенный ветхими домишками двор, еще более жалкий и замызганный, чем привычно для этих кварталов.

Он поднимается по разбитой лестнице, отворяет дверь, причем его обдает спертым воздухом, заглядывает в темную комнату и спрашивает:

— Вы тут одни?

— Одна, милый, одна, все вот одна сижу, чистое разоренье,— отвечает из темноты хриплый голос.— Ну а для тебя оно даже и лучше. Заходи, заходи, кто бы ты ни был. Я тебя не вижу, надо сперва спичку зажечь, а голос вроде знакомый. Бывал ты у меня, что ли?

— Зажги спичку и посмотри.

— Сейчас, милый, сейчас. Да вот руки-то у меня трясутся, сразу и не нашаришь, где они есть, эти спички. А еще, не дай бог, кашель нападет, тогда их и вовсе не поймать, скачут ровно живые. Ты из плаванья, что ли?

— Нет.

— Не с корабля?

— Нет.

— Ходят ко мне и здешние, не одни моряки. И я им всем мать. Не то что Джек-китаец на той стороне двора. Он-то никому не отец. Нету в нем этого. Да он и настоящего секрета не знает, как смешивать, хоть берет не меньше, чем я, а то и подороже. Вот она, спичка, а где свеча? Только бы не закашлять, а то, бывает, двадцать спичек истратишь, пока зажжешь.

Но она находит свечу и успевает ее зажечь. И тут же на нее накатывает кашель. Она сидит, раскачиваясь взад и вперед, сотрясаемая кашлем, и задышливо бормочет в промежутках:

— Ох, легкие-то у меня плохие! Износились да издырявились, как сетка для капусты! — Наконец кашель ее отпускает. Пока длился приступ, она ничего не видела и не слышала, все ее силы уходили на борьбу с судорогой, раздиравшей ей грудь. Но теперь она вглядывается, прищурясь, и как только дар слова возвращается к ней, восклицает, как бы не веря своим глазам: — Э! Вот это кто!

— Что вас так удивляет?

— Я и не чаяла, милый, тебя увидеть. Думала, ты помер и душенька уж твоя на небе!

— Почему?

— Да как же, столько времени не бывал. А разве ты можешь без курева? Ну, думаю, значит, с ним плохо, а то бы пришел, кроме меня-то ведь никто не знает секрета, как смешивать. Да ты еще и в трауре! Что ж не пришел выкурить трубочку для утешенья? Или он тебе деньги оставил, который помер, так что и утешенья не надо?

— Нет. Не оставил.

— А кто ж это у тебя помер?

— Родственник.

— А от чего он помер-то?

— От смерти, надо полагать.

— Вот мы какие сегодня сердитые! — с заискивающим смешком восклицает женщина.— Разговаривать даже не хотим. Ну да, ты не в духе, милый, потому давно не курил. Это вроде как болезнь, я знаю! Но ты правильно сделал, что сюда пришел. Тут мы тебя вылечим. Изготовлю тебе трубочку, и все как рукой снимет.

— Ну так готовь,— говорит посетитель.— И поскорее.

Он сбрасывает башмаки, распускает галстук и ложится в изножье продавленной кровати, подперев рукой голову.

— Вот теперь ты уж больше на себя похож,— одобрительно говорит женщина.— Теперь и я узнаю старого своего знакомца! А все это время ты, значит, сам для себя смешивал?

— Курил иногда на свой собственный лад.

— Вот этого никогда не надо делать — курить на свой собственный лад! Это и для торговли плохо и для тебя нехорошо. Где же моя скляночка, и где же мой наперсток, и где моя ложечка? Вот мы ему сейчас изготовим, теперь-то уж он покурит по всем правилам!

Она принимается за дело — раздувает тусклую искру у себя в ладонях, затягивается, хлюпая, из трубки и гнусавым, но очень довольным голосом то и дело заговаривает с лежащим на кровати. Тот отвечает рассеянно, не глядя на нее, как будто его мысли уже витают где-то в преддверье снов, в которые он сейчас погрузится.

— Много я тебе трубочек изготовила с тех пор, как ты сюда в первый раз пришел, а, дружочек?

— Много.

— Ты ведь совсем новичком был, когда в первый раз пришел?

— Да. Тогда меня сразу смаривало.

— Ну а потом молодчиной стал. Теперь можешь вровень идти с самым лучшим курильщиком.

— Или с самым худшим.

— Сейчас будет готово. А какой ты певец был, в начале-то! Свесишь, бывало, головку, да и поешь как птичка. Ну получай, готово.

Он осторожно берет у нее трубку и подносит чубук к губам. Она садится рядом, чтобы подкладывать зелья, когда понадобится. Он делает несколько затяжек в молчании, потом спрашивает:

— Оно, что, не такое крепкое, как всегда?

— Ты это о чем, милый?

— О чем же, как не о том, что у меня сейчас во рту?

— Да нет, такое же, как всегда, милый. В точности такое же.

— А вкус другой. И действует медленней.

— Просто ты привык.

— Это возможно. Послушай...— Он умолкает, глаза становятся сонными, кажется, он уже забыл, что хотел сказать. Она наклоняется над ним и говорит ему на ухо:

— Я тебя слушаю. Ты сказал — послушай. Ну вот я слушаю. Мы говорили о том, что ты привык.

— Я знаю. Я задумался. Послушай. Допустим, ты все время о чем-то думаешь. О чем-то, что ты хочешь сделать.

— Да, милый. О чем-то, что я хочу сделать.

— Но ты еще не решила.

— Да, милый.

— Может быть, сделаешь, а может быть, нет. Понимаешь?

— Да.— Кончиком иглы она поправляет раскаленный комочек в трубке.

— Станешь ты это проделывать в воображенье, пока лежишь здесь?

Она кивает.

— А как же! Каждый раз, с начала и до конца.

— Точно как я! Каждый раз я это проделывал, с начала и до конца. Сто тысяч раз я это делал, в этой самой комнате.

— И что же, приятно это тебе было, миленький?

— Да! Приятно!

Он выкрикивает это со злобой, подавшись вперед, словно готов на нее наброситься. Она ничуть не пугается, крохотной своей ложечкой подцепляет еще комочек и уминает его в трубке. Видя, что она вся ушла в это занятие, он снова откидывается на постель.

— Это — путешествие. Трудное и опасное путешествие. Вот о чем я все время думал. Рискованное, опасное путешествие. Над безднами, где один неверный шаг — и ты погиб! Смотри! Смотри! Там внизу... Видишь, что там лежит на дне?

Он опять подался к ней и указывает через край постели, словно в глубокий провал, где ему видится какой-то воображаемый предмет. Но женщина смотрит не туда, а на его перекошенное лицо, вплотную придвинувшееся к ней. Она, видимо, знает, какое действие оказывает на него ее невозмутимое спокойствие; и не ошибается в расчете — мышцы его расслабляются, и он опять ложится.

— Я сказал тебе, что проделывал это здесь сто тысяч раз. Нет, миллионы и миллиарды раз! Я делал это так часто и так подолгу, что, когда оно совершилось на самом деле, его словно и делать не стоило, все кончилось так быстро!

— Значит, за то время, пока ты здесь не бывал, ты уже совершил это путешествие? — тихонько спрашивает она.

Сквозь дымок от трубки он устремляет на нее горящий взгляд. Потом глаза его тускнеют.

— Да. Совершил,— говорит он.

Наступает молчание. Он курит. Глаза его то открыты, то опять смыкаются. Женщина сидит рядом и как будто занята только тем, чтобы вовремя наполнять трубку.

— А скажи,— говорит она после того, как он несколько секунд смотрел на нее странным взглядом, словно она была где-то далеко от него, а не тут же, рядом,— скажи, если ты так часто совершал это путешествие, так, наверно, всякий раз по-другому?

— Нет. Всегда одинаково.

— Когда в воображении, то всегда одинаково?

— Да.

— А когда на самом деле — тоже так?

— Да.

— И всегда тебе было одинаково приятно?

— Да.

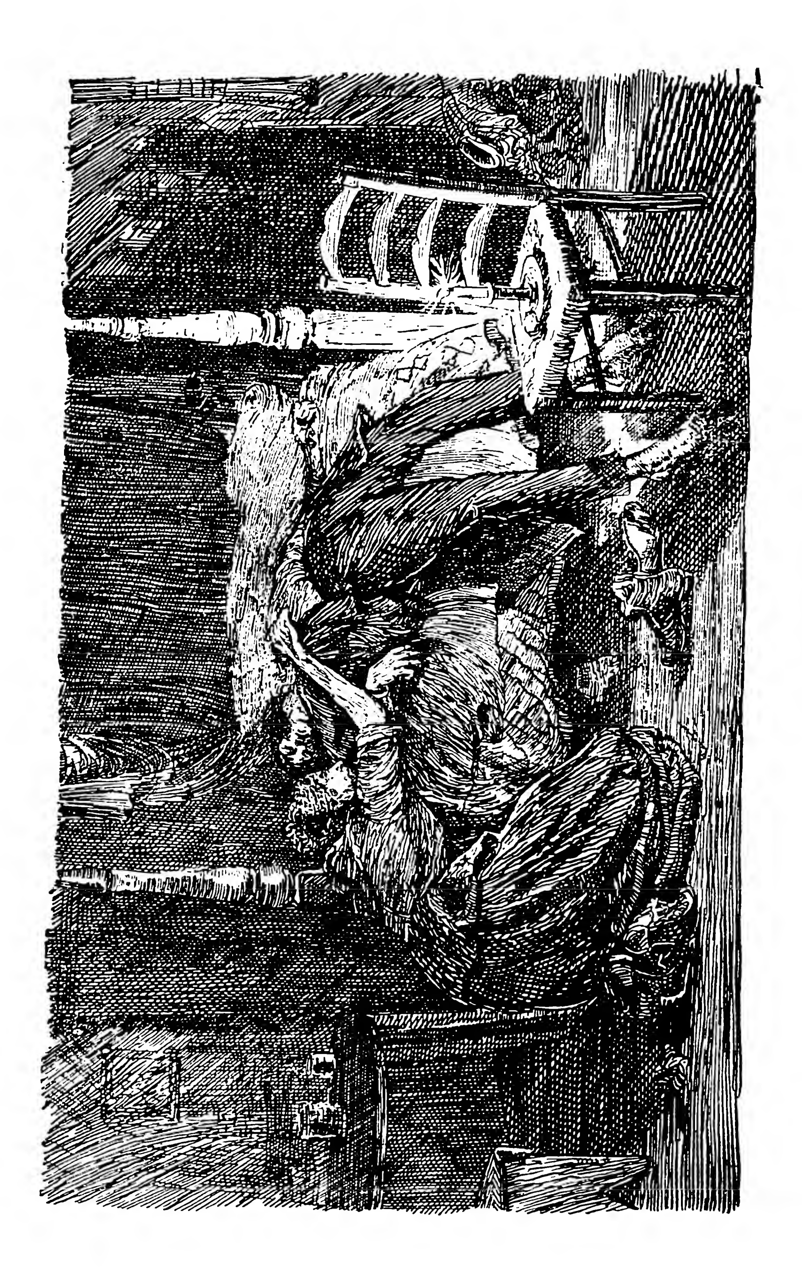
Это «да» так однообразно соскальзывает с его уст,— кажется, он сейчас не способен дать другой ответ. И должно быть, для того, чтобы проверить, что это у него не просто механическое повторение, она следующему своему вопросу придает иную форму.

— И никогда тебе, милый, не надоедало, и не пробовал ты вообразить что-нибудь другое?

Он вдруг рывком поднимается и раздраженно кричит на нее:

— А зачем? Что еще мне было нужно? Ради чего я сюда приходил?

Она тихонько укладывает его на постель, подбирает оброненную трубку и, прежде чем отдать ему, раздувает огонек собственным дыханьем; потом ласково его уговаривает, как раскапризничавшегося ребенка:



— Ну да, ну да, ну конечно же! Мы теперь с тобой вровень идем. Сперва-то я малость отстала, больно уж ты прыткий, ну а теперь понимаю. Ты нарочно сюда приходил, чтобы совершать это путешествие. Мне бы давно догадаться, ты ведь всегда про это!

Он отвечает смехом, потом говорит сквозь зубы:

— Да, я нарочно за этим приходил. Когда уж не мог больше терпеть, я приходил сюда в поисках облегчения. И мне становилось легче! Да, легче! — Он повторяет это с неистовой страстностью, скалясь как волк.

Она сторожко всматривается в него, словно нащупывая, как подобраться к тому, о чем хочет заговорить. Наконец решается.

— В этом путешествии у тебя ведь был спутник, миленький?

— Ха-ха-ха! — Он разражается пронзительным смехом, больше похожим на крик.— Подумать только, как часто он был моим спутником и сам об этом не знал! Сколько раз он совершал это путешествие, а дороги так и не видел!

Женщина стоит на коленях перед кроватью, скрестив руки на одеяле и опираясь на них подбородком. Ее лицо совсем близко от его головы, и она пристально следит за ним. Трубка падает из его раскрывшихся губ. Она водворяет ее на место и, положив руку ему на грудь, слегка поталкивает его из стороны в сторону. На это он тотчас отзывается, как будто она заговорила вслух.

— Да! Я всегда сначала совершал это путешествие, а потом уже начинались переливы красок, и огромные просторы, и сверкающие шествия. Они не могли начаться, пока я не выбрасывал *то* из головы. До этого для них не было места.

Снова он умолкает. И снова она кладет руку ему на грудь и легонько поталкивает его — так кошка шевелит лапой полузадушенную мышь. И снова он откликается, как будто она заговорила вслух.

— Что? Я же тебе сказал. Когда это, наконец, совершилось на самом деле, все кончилось так быстро, что в первый раз показалось мне нереальным. Слушай!..

— Да, милый. Я слушаю.

— Время и место уже близко.

Он медленно поднимается и говорит шепотом, закатив глаза, словно вокруг него непроглядный мрак.

— Время, место и спутник,— подсказывает она, впадая в тот же тон и слегка придерживая его за руку.

— Как же иначе? Если время близко, значит и он здесь. Т-ссс!.. Путешествие совершилось. Все кончено.

— Так быстро?

— А что же я тебе говорил? Слишком быстро. Но подожди еще немного. Это было только виденье. Я его просплю. Слишком скоро все это сделалось и слишком легко. Я вызову еще виденья, получше. Это было самое неудачное. Ни борьбы, ни сознанья опасности, ни мольбы о пощаде. И все-таки... Все-таки — вот *этого* я раньше никогда не видел!..

Он отшатывается, дрожа всем телом.

— Чего не видел, милый?

— Посмотри! Посмотри, какое оно жалкое, гадкое, незначительное!.. А-а! Вот *это* реально. Значит, это на самом деле. Все кончено.

Эту невнятицу он сопровождает бессмысленными жестами, но его движенья постепенно слабеют, он валится на постель и лежит в оцепенении.

Но женщина все еще любопытствует. Она опять слегка поталкивает его, словно кошка лапой, и прислушивается; снова поталкивает — и прислушивается; что-то шепчет ему на ухо — и прислушивается. Убедившись, что на этот раз его не расшевелить, она медленно встает с раздосадованным лицом, небрежно бьет его пальцами по щеке и отворачивается.

Но она уходит не дальше чем кресло у очага. Усевшись в этом расхлябанном кресле, опершись локтем на ручку и подбородком на ладонь, она по-прежнему зорко следит за лежащим на кровати.

— Я ведь слышала,— сипло бормочет она себе под нос,— слышала я разок, когда сама лежала, где ты лежишь, а ты стоял надо мной да раздумывал, слышала я, как ты сказал: «Нет, ничего нельзя понять!» И еще про двоих ты это же самое сказал, я слышала. Только не очень-то на это полагайся, красавчик! Не думай, что уж всегда так будет.— С минуту она смотрит на него немигающим, кошачьим взглядом, потом добавляет: — Не такое

крепкое, как всегда? Может, и так, на первых порах. Тут ты, может, и прав. Может, и я за это время кое-чему научилась. Нашла секрет, как заставить тебя говорить, миленький!

Но сейчас он, во всяком случае, ничего больше не говорит. Временами по его телу пробегает судорога, уродливо дергаются его лицо и руки, потом он опять лежит немой и отяжелевший. Свеча почти догорела; женщина вылавливает пальцами плавающий в сале фитиль, зажигает об него новую свечу, уминает остаток в подсвечнике и заколачивает его вглубь новой свечой, словно заряжая какое-то мерзкое и вонючее колдовское оружие. Мало-помалу догорает и вторая свеча, а лежащий на кровати все еще не подает признаков жизни. Наконец женщина задувает огарок, и тусклый рассвет заглядывает в окна.

Немного погодя лежащий приподнимается. Ежась от холода и дрожа, он тупо осматривается по сторонам, встает, оправляет одежду. Женщина зажимает в ладони горсть мелочи, которую он ей протянул, и, благодарно прошамлив: «Спасибо, милый, дай тебе бог!» — плетется к кровати; когда он выходит, она уже умащивается, кряхтя, на постели, по всей видимости готовясь заснуть.

Но видимость бывает правдивой, а бывает обманчивой. Здесь она обманчива; ибо не затих еще скрип ступенек под его шагами, как женщина выскальзывает следом за ним на лестницу, бормоча про себя: «Уж во второй-то раз я тебя не упущу!»

Выйти со двора можно только через ворота. Женщина медлит в дверях, высматривая украдкой, не обернется ли он. Но он, не оборачиваясь, нетвердой походкой идет через двор и скрывается за воротами. Женщина осторожно выглядывает на улицу, видит, что он и дальше идет не оборачиваясь и пошатываясь на ходу. Она следует за ним издали, стараясь не выпускать его из глаз.

Он возвращается к дому на небольшой площади позади Олдерсгейт-стрит, стучит, и ему тотчас отворяют. Женщина притаилась в другом подъезде, откуда хорошо видна дверь, за которой он исчез. Нетрудно понять, что это его временное пристанище в Лондоне. И женщина, скорчившись в уголку, спокойно ждет. Терпение ее неистощимо. Проходит час, другой, третий. Она ждет. Для подкрепления

сил она покупает краюху хлеба в булочной, до которой всего каких-нибудь сто шагов, и бутылку молока у проезжающего мимо молочника.

В полдень ее знакомец снова выходит. Он переоделся, но в руках у него ничего нет, и чемодана за ним не несут. Стало быть, он еще не уезжает. Она с полквартала идет следом, потом останавливается, видимо колеблясь, но после минуты раздумья решительно направляется к дому, который он только что покинул.

— Джентльмен из Клойстергэма у себя?

— Только сейчас вышел.

— Ах, досада! А когда джентльмен возвращается в Клойстергэм?

— Сегодня в шесть часов.

— Спасибо! Дай бог этому дому богатым быть, где и мне, бедняжке, вежливо отвечают, когда вежливо спросишь!

«Уж во второй-то раз я тебя не упущу! — повторяет «бедняжка» — и нельзя сказать, чтобы вежливо,— очутившись снова на улице.— Прошлый раз потеряла, как стали все в дилижанс садиться. Даже не видела, в город ты поехал или еще куда. А теперь-то уж знаю, что в город. Ага, джентльмен из Клойстергэма! Я там раньше тебя буду, дождусь твоего приезда. Недаром я поклялась, что уж во второй-то раз тебя не упущу!»

И, согласно своему обещанию, «бедняжка» в тот же вечер стоит на углу Главной улицы в Клойстергэме, любуясь издали островерхими крышами Женской Обители и развлекаясь чем может в ожидании девяти часов, когда, по ее расчетам, очередной дилижанс должен доставить интересующего ее пассажира. Под покровом темноты ей нетрудно удостовериться, так это или не так; и оказывается, что так: пассажир, которого она поклялась не упускать, высаживается вместе с остальными.

— Ну, теперь посмотрим, куда ты денешься. Иди!

Она говорит это в пространство, но можно подумать, что ее приказанье достигло его ушей,— так послушно шагает он по Главной улице, пока не доходит до арки над воротами, а тут вдруг исчезает. Бедняжка ускорила шаг, она почти по пятам за ним вбегает под арку, но здесь ее взгляду представляется по одну сторону лишь пустая ка-

менная лестница, а по другую распахнутая настежь дверь, за ней комната со сводчатым потолком и большеголовый седовласый джентльмен, который сидит за столом и пишет, одновременно зорко оглядывая прохожих, как будто он сборщик дорожной пошлины (хотя вход сюда явно бесплатный).

— Эй! — говорит он негромко, видя, что она остановилась. — Кого вы ищете?

— Тут сейчас прошел один джентльмен, сэр.

— Прошел, верно. Что вам от него нужно?

— Где он живет, не знаете?

— Где живет? А вон напротив. По той лестнице.

— Вот спасибо тебе, милый. Да ты потише говори. Шепотком. Как его звать-то?

— Фамилия — Джаспер. Имя — Джон. Мистер Джон Джаспер.

— А какое его занятие?

— Занятие? Поет в хоре.

— В горе?..

— В *хоре*.

— Это как то есть?

Мистер Дэчери встает из-за стола и выходит на порог.

— Знаете вы, что такое собор? — спрашивает он шутливо.

Женщина кивает.

— Ну и что же это такое?

Она озадаченно смотрит на него, в тщетных поисках удовлетворительного определения. Но тут ей приходит в голову, что легче просто показать на самый предмет, который сейчас маячит поодаль, резко выделяясь черной своей громадой на густо-синем ночном небе среди чуть поблескивающих ранних звезд.

— Правильно. Пойдите туда завтра в семь утра — и вы увидите мистера Джона Джаспера и услышите, как он поет.

— Спасибо, милый! Вот уж спасибо!

Злобное торжество, с которым она произносит эти слова, не ускользает от вниманья пожилого холостяка без определенных занятий, мирно живущего на свои средства. Он окидывает ее быстрым взглядом, закладывает руки за спину, как то в обычае у мирных старых холостяков, и

лениво бредет рядом с ней по каменной дорожке в ограде собора, где звук их шагов будит многоголосое эхо.

— А если хотите,— говорит он с кивком в сторону арки,— можете хоть сейчас пойти к мистеру Джасперу на квартиру.

Она смотрит на него с хитрой улыбкой и отрицательно трясет головой.

— А-а! Не хотите, стало быть, с ним разговаривать?

Она опять молча трясет головой и складывает губы для беззвучного отрицания.

— Ну так можете любоваться им на расстоянии, по три раза в день, коли есть охота. Но стоило ли ради этого приезжать так издалека?

Она быстро вскидывает на него глаза. Если мистер Дэчери рассчитывал, что она так сейчас и проболтается, откуда приехала, то он слишком понадеялся на ее простоту. А она, может, похитрей его. Впрочем, приглядевшись к нему, она решает, что он не повинен в столь коварном умысле. Очень уж сам он прост по виду. Разгуливает себе, подставляя ветру свои седые космы да побрякивая мелочью в кармане. Видно так, от нечего делать, к ней привязался.

Но звон монет раздражает ее алчный слух.

— Добрый господин, что я у вас попрошу. Не поможете ли мне заплатить за ночлег и за обратную дорогу? Я ведь бедная, очень бедная, да еще и больная, кашель меня замучил.

— Вы, я вижу, хорошо знаете, где Номера для проезжающих, прямо туда идете,— добродушно говорит мистер Дэчери, все еще побрякивая мелочью.— Часто здесь бывали?

— За всю жизнь один раз.

— Да ну? Неужели?

Они уже подошли к Монастырскому винограднику. Вид этого пустыря напоминает женщине о том, что с ней когда-то здесь случилось и что, как ей кажется, может послужить для ее спутника назидательным примером. Она останавливается и говорит с жаром:

— Вы, может, не поверите, а вот на этом самом месте один молодой джентльмен дал мне три шиллинга шесть пенсов. Я вот тут на траве сидела и так-то раскашлялась,

прямо дух вон. А он подошел. Я попросила у него три шиллинга шесть пенсов, и он мне дал.

— А не слишком ли это смело — самой назначать сумму? — говорит мистер Дэчери, все еще побрякивая мелочью.— Ведь это как будто не принято, а? Молодому джентльмену могло показаться, что ему вроде как бы предписывают? А?

— Слушай, милый,— вкрадчиво говорит женщина, наклоняясь к его уху, словно доверяя ему тайну,— мне эти деньги нужны были на лекарство, которым я и себя пользую и другим продаю. Я ему объяснила, и он мне дал, и я честно все на это потратила, до последнего грошика. И теперь мне столько же нужно и на это же самое, и ежели ты мне дашь, я честно на это потрачу, все до последнего грошика, вот тебе крест!

— Какое лекарство?

— Я с тобой по-честному поступлю, что сейчас, что после. Это опиум, вот что.

Мистер Дэчери, вдруг изменившись в лице, вперяет в нее острый взгляд.

— Опиум, милый, вот это что. Ни больше, ни меньше. И скажу тебе, к этому зелью все несправедливы, все равно как, бывает, к человеку: что о нем дурного можно сказать, это все слышали, а что хорошего — про то никто и не знает.

Мистер Дэчери начинает медленно отсчитывать деньги. Жадно следя за его пальцами, женщина опять заговаривает о том случае, который выставляет ему как пример для подражания.

— В прошлый сочельник это было, только что стемнело. Вот тут я сидела, возле калитки, и молодой джентльмен дал мне три шиллинга шесть пенсов.

Мистер Дэчери замечает, что ошибся в счете, ссыпает мелочь обратно в горсть и снова начинает считать.

— А имя этому молодому джентльмену,— добавляет она,— было Эдвин.

Мистер Дэчери роняет монетку, нагибается, чтобы ее поднять, и выпрямляется весь красный от усилия.

— Откуда вы знаете его имя?

— Я спросила, и он сказал. Только два вопроса я ему задала — как его крещеное имя и есть ли у него подружка.

И он ответил, что зовут его Эдвин, а подружки у него нет.

Мистер Дэчери стоит в угрюмом раздумье, держа в руке отсчитанные монеты. Может быть, сумма показалась ему вдруг слишком большой и ему жаль с ней расстаться? Женщина недоверчиво смотрит на него; в ней накипает злоба, готовая прорваться, если он передумает и ей откажет. Но он протягивает ей деньги, словно уже позабыв о своих колебаниях. Она раболепно благодарит и уходит.

Мистер Дэчери возвращается один к домику над воротами. Лампа у Джона Джаспера уже зажжена, его маяк сияет. И как матрос после опасного плаванья, приближаясь к скалистым берегам, смотрит на остерегающий его огонь, мысленным взором проникая в далекую гавань, которой ему, может быть, не суждено достигнуть, так и задумчивый взгляд мистера Дэчери обращается к этому маяку и сквозь него еще куда-то дальше.

Он заходит к себе, но только затем, чтобы взять шляпу, хотя трудно понять, на что ему понадобился этот, казалось бы, совсем излишний по его привычкам предмет туалета. Затем он снова выходит. Соборные часы показывают половину одиннадцатого. Он неспешно идет по монастырским владеньям, все время оглядываясь, как будто в этот колдовской час, когда мистера Дёрдлса загоняют домой камнями, он надеется встретить где-нибудь дьяволенка, которому поручены заботы о почтенном каменщике.

И точно: эта адская сила уже выпущена на волю. Не имея сейчас живой мишени для обстрела, он развлекается тем, что побивает камнями умерших сквозь ограду кладбища, находя в том особо пикантное удовольствие, так как, во-первых, место их упокоения считается священным, а во-вторых, высокие надгробья в лунном свете похожи отчасти на самих мертвецов, вставших из могил и пустившихся в свои ночные странствия,— и бесенок может тешить себя сладкой надеждой, что, попадая камнями, причиняет им боль.

Мистер Дэчери окликает его:

— Эгей, Моргун!

Бесенок отзывается:

— Эгей, Дик! — Видно, они теперь совсем уж на дружеской ноге.— Ты только не говори никому,— добавляет

чертенок,— что меня так зовут. Им ведь непременно имя подай. А я ни в каких именах не признаюсь. В тюрьме вот тоже, как в книгу записывать, так сейчас спрашивают — как твое имя? А я говорю — сами догадайтесь! И когда спрашивают — какой ты веры, я тоже говорю — сами догадайтесь!

Что, заметим кстати, было бы очень трудной задачей для государства, даже при самой разработанной статистике.

— Да и нету такой фамилии — Моргуны,— добавляет мальчишка.

— А может быть, есть.

— Врешь, нету. Это меня в номерах так прозвали за то, что мне ночью поспать никак не удается, все время будят. Один глаз засыпает, а другой уже моргает, вот что это значит — Моргун. Но я и в этом не признаюсь. Надо им меня как-нибудь звать, пусть зовут Депутат, а больше из меня ничего не вытянешь!

— Хорошо, пускай Депутат. Слушай. Мы ведь с тобой друзья, а, Депутат?

— Ну а как же!

— Я простил тебе долг, помнишь, шесть пенсов, еще когда мы только познакомились? И с тех пор тебе еще не раз перепадало от меня по шесть пенсов, а, Депутат?

— Да. А главное, ты Джаспера не любишь. С какой стати он меня за ворот хватал?

— Действительно, с какой стати? Но сейчас не о нем речь. Хочешь заработать еще шесть пенсов? У вас сегодня новая постоялка прибавилась, я с ней недавно разговаривал,— старуха с кашлем.

— Ага! Курилка,— подтверждает Депутат, хитро подмигивая мистеру Дэчери, и, загнув голову набок и страшно закатив глаза, делает вид, что курит трубку.— Опивом курит.

— Как ее зовут?

— Ее Королевское Высочество принцесса Курилка.

— Надо полагать, у нее есть еще и другое имя. А где она живет?

— В Лондоне. Где матросня крутится.

— Моряки?

— Я же говорю — матросня. И китаезы, и еще разные, которые горла режут.

— Узнай мне точно, где она живет.

— Ладно. Гони монету.

Шиллинг переходит из рук в руки. И как полагается среди честных дельцов, взаимно достойных доверия, сделка считается состоявшейся.

— А вот потеха-то! — восклицает Депутат.— Знаешь, куда ее высочество завтра идти хочет? В собо-о-о-ор! — Он восторженно растягивает это слово, хлопает себя по ляжке и сгибается чуть не до земли в припадке визгливого смеха.

— Откуда ты знаешь?

— Сама мне сказала. Завтра, говорит, мне надо встать пораньше. Разбуди меня, говорит, мне надо утречком хорошенько помыться, красоту на себя навести, хочу, говорит, прогуляться в собо-о-ор! — Смехотворность этой затеи приводит его в неистовый восторг; он исступленно топает ногами; и под конец, не зная, как еще выразить свои чувства, пускается в медленный торжественный пляс, думая, вероятно, что изображает настоятеля.

Мистер Дэчери выслушивает все это с видимым удовлетворением, но как-то задумчиво, словно еще что-то прикидывая и взвешивая в уме, и на том их свидание кончается. Вернувшись в свое причудливое жилье, мистер Дэчери долго сидит за ужином, рассеянно поглощая хлеб с сыром, салат и эль, приготовленный для него стараниями миссис Топ; да и кончив ужинать, он еще долго сидит за столом. Наконец он встает, подходит к буфету в углу и, отворив дверцу, разглядывает несколько неровных меловых черточек на ее внутренней стороне.

— Мне нравится,— говорит он,— этот способ вести счета, принятый в старинных трактирах. Никому не понятно, кроме того, кто ведет запись, но все тут, как на ладони, и в свое время будет предъявлено должнику. Гм! Пока еще очень маленький счет. Совсем маленький!

Он сокрушенно вздыхает, достает с буфетной полки кусочек мела и останавливается с занесенной рукой.

— Сегодня, кажется, можно прибавить черточку,— бормочет он.— Не очень большую. Так, средней величины.— Он проводит короткую черту.— Это, пожалуй, все, на что я имею право.— И, захлопнув дверцу буфета, он отправляется спать.

Яркое утро занимается над старым городом. Все его древности и развалины облеклись в невиданную красоту; густые завесы плюща сверкают на солнце, мягкий ветер колышет пышную листву деревьев. Золотые отблески от колеблющихся ветвей, пенье птиц, благоуханье садов, полей и рощ,— вернее, единого огромного, сада, каким становится наш возделанный остров в разгаре лета,— проникают в собор, побеждают его тлетворные запахи и проповедуют Воскресенье и Жизнь. Холодные каменные могильные плиты, положенные здесь столетья назад, стали теплыми; солнечные блики залетают в самые сумрачные мраморные уголки и трепещут там, словно крылья.

Приходит мистер Топ со своими тяжелыми ключами и, зевая, отпирает и распахивает двери собора. Приходит миссис Топ со своей свитой вооруженных метелками эльфов. Приходит в положенное время органист и с ним мальчики, его подручные, которые тотчас поднимают страшную возню на хорах, заглядывают вниз из-под красных занавесок, хлопками сгоняют пыль с нотных тетрадей и смахивают ее с клапанов и педалей. Со всех сторон словно по сигналу слетаются к соборной башне грачи; им, должно быть, нравится та раскачка, которую сообщает их гнездам колокольный звон и звуки органа, и они отлично знают, когда можно ожидать этого удовольствия. Стекаются — лениво и в малом числе — прихожане, главным образом из Уголка младшего каноника и прочих домиков в ограде собора. Появляется мистер Криспаркл, очень свежий и бодрый, и его братья-священнослужители, далеко не столь свежие и не столь бодрые. Спешат в ризницу певчие (они вечно спешат и лишь в последний момент натягивают свои ночные рубашки, как дети, увиливающие от постели); их вереницу возглавляет Джон Джаспер. Последним приходит мистер Дэчери; он располагается на пустующей церковной скамье — они почти все пустуют и все к его услугам, на выбор,— и оглядывается по сторонам, высматривая Ее Королевское Высочество принцессу Курилку.

Служба идет своим чередом, а ее высочества все еще нигде не видно. Наконец мистер Дэчери обнаруживает ее в темном уголке. Она прячется за колонной, надежно укрывшись от взглядов регента, но сама смотрит на него с неотступным вниманием. А он, не подозревая о ее

присутствии, поет, разливается. И в минуту его наивысшего музыкального пыла она вдруг злобно смеется и даже — мистер Дэчери ясно это видел! — грозит ему кулаком.

Мистер Дэчери снова всматривается — уж не померещилось ли ему? Да нет, вот опять! Тощая и уродливая, как одна из тех фантастических фигур, что вырезаны на кронштейнах алтарных сидений, злобная, как сам Отец Зла, жесткая, как бронзовый орел *, держащий на крыльях священные книги (и отнюдь не почерпнувший из них христианской кротости, если судить по свирепым атрибутам, коими его снабдил скульптор), она сидит, сцепив на груди худые руки; потом вдруг вздевает их вверх и обоими кулаками грозит руководителю хора.

И в эту же самую минуту у решетчатых дверей позади хора появляется Депутат, сумевший обмануть бдительность мистера Топа с помощью хитрых уловок, на которые он такой искусник; он заглядывает украдкой сквозь решетку и застывает в изумлении, перебегая глазами с той, кто грозит, на того, кому она угрожает.

Служба кончилась, и церковнослужители расходятся, торопясь к завтраку. Мистер Дэчери задерживается на паперти; и когда певчие, сбросив свои ночные рубашки с такой же поспешностью, с какой час назад их надевали, выбегают, толкаясь, из ризницы и рассеиваются по аллеям, он подходит к своей новой знакомке.

— Здравствуйте. С добрым утром. Ну что, видели вы его?

— Видела, милый, видела. Нагляделась!

— Вы его знаете?

— Его-то? Ого! Уж так-то знаю — получше, чем все эти преподобия вместе взятые.

Миссис Топ позаботилась о своем жильце: дома для него уже готов вкусный и опрятно поданный завтрак. Но прежде чем сесть к столу, он отворяет угловой буфет, достает с полки кусочек мела и проводит толстую длинную черту — от самого верха дверцы до самого низа; а затем с аппетитом принимается за еду.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Роман «Тайна Эдвина Друда» — последнее произведение Диккенса, над которым он работал до самой смерти. Как и большинство других романов Диккенса, «Тайна Эдвина Друда» выходила в свет отдельными выпусками. Книга печаталась с апреля по сентябрь 1870 года.

Так как повествование Диккенса осталось незавершенным, возникли многочисленные догадки относительно возможной развязки событий, изображенных в романе. Разгадка «Тайны Эдвина Друда» затрудняется тем, что в бумагах Диккенса не осталось никаких заметок, набросков, планов, которые позволили бы установить, как намеревался писатель завершить свое произведение.

Исследователями творчества Диккенса были высказаны различные предположения о возможной развязке романа. Наиболее научно обоснованной является работа Дж. К. Уолтерса «Ключи к «Тайне Эдвина Друда». Автор — известный английский диккенсовед начала XX века, состоявший в 1910—1911 годах президентом Диккенсовского общества.

Гипотеза Уолтерса базируется на литературоведческом анализе разработки мотивов тайн в других произведениях великого романиста. Вопросов, связанных с «Тайной Эдвина Друда»,

Дж. К. Уолтерс касается также в своей книге «Фазы Диккенса» (J. Cuming W a l t e r s, Phases of Dickens, L. 1911, см. главу «The Last Mystery», pp. 76—101).

Так как незавершенность «Тайны Эдвина Друда» обычно возбуждает у читателей множество вопросов, редакция сочла целесообразным поместить здесь перевод исследования Уолтерса, впервые публикуемый на русском языке.

ДЖ. КАМИНГ УОЛТЕРС

КЛЮЧИ К РОМАНУ ДИККЕНСА «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»

Посвящается
председателю, вице-председателю и членам
ДИККЕНСОВСКОГО ОБЩЕСТВА, Англия
и
клуба «ВОКРУГ ДИККЕНСА», Бостон, США

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Предвидя, что настоящая работа прежде всего может быть подвергнута критике за то, что по своему размеру она не соответствует теме, спешим пояснить, что в ней содержится не только попытка раскрыть тройную тайну «Эдвина Друда», но и обзор других подобных попыток, а также анализ приемов автора. Мы задались здесь целью собрать воедино все наши наблюдения и, расположив их в должном порядке, показать, что они неизбежно приводят к одному-единственному заключению. Только таким способом можно обрести истину. Тот, кто подходит к «Эдвину Друду» с заранее составленной теорией, легко найдет в романе места, ее подтверждающие, мы же старались идти иным путем — сперва выделить существенные места, а затем уже смотреть, что в них скрыто. Последняя серьезная попытка приподнять завесу, наброшенную Диккенсом на «Эдвина Друда», была сделана так давно, что еще одну попытку в этом направлении можно считать оправданной, в особенности если она приводит к совсем иным выводам. Мы не даем здесь продолжения романа, а только «ключи» к нему, которые, как мы надеемся, помогут читателю лучше его понять и уловить внутренний рисунок очень сложной и запутанной фабулы.

TOT HOMINES, QUOT SENTENTIAE[1]

Чарльз Диккенс: «Очень любопытная и новая идея, которую нелегко будет разгадать... богатая, но трудная для воплощения».

Лонгфелло: «Без сомнения, одна из лучших его книг, если не самая лучшая».

Один известный романист: «Гораздо ниже всего, что Диккенс ранее писал».

Р. А. Проктор: «Много выше большинства его произведений».

Джордж Гиссинг: «Очень уж немудреная тайна «Эдвина Друда»... Едва ли мы много потеряли оттого, что роман не был закончен».

Эндрю Ланг: «Тайна более загадочна, чем кажется с первого взгляда».

Ф. Т. Марциалс: «Бесспорно хороший роман. Что касается самой тайны, то особой загадочности в ней

[1] Сколько людей, столько мнений *(лат.)*.

нет... Не так уж трудно сообразить, как будет дальше развиваться действие».

Хэйн Фрисвел: «Это произведение не обещало быть особенно удачным».

Т. Фостер: «Нет прямых указаний на то, каков должен быть конец романа».

У. Р. Хьюз: «Прелестный отрывок... тайна так и не разрешена».

А. У. Уорд: «Надо признать, что редко фабула бывала завязана так искусно, как в этом романе, развязки которого мы никогда не узнаем».

ГЛАВА I

Недописанный роман и метод его написания

Чарльз Диккенс умер 9 июня 1870 года. К 1 апреля он успел издать первый выпуск «Тайны Эдвина Друда». Предполагалось, что роман выйдет в двенадцати ежемесячных выпусках. К моменту смерти Диккенса было опубликовано три выпуска; еще три были в рукописи и опубликованы позже. Но сверх этого не удалось найти ни одной строчки, ни одной заметки, кроме чернового наброска одной главы, которую Диккенс решил не включать. Автор унес свою тайну в могилу, лишь наполовину закончив свое произведение.

Задача, которую Диккенс ставил себе в «Эдвине Друде», не касалась собственно литературного мастерства. В этом смысле он уже достиг наивысшего совершенства, какое ему было доступно. Но построение сюжета, его драматическое развертывание всегда было слабым местом Диккенса и лишь в редких случаях ему удавалось. С этой стороны его неоднократно критиковали как после его смерти, так еще и при жизни. И в нем зародилась мысль — показать, что он тоже может крепко построить сюжет, по-новому, оригинально и так, что никому не удастся предугадать его развитие. Развязка останется тайной автора и будет неожиданностью для читателя. Он с гордостью говорил, что напал на «совершенно новую и очень любопытную идею, которую нелегко будет разгадать... богатую, но трудную для воплощения». Он считал также, что драматическое напря-

жение «будет непрерывно возрастать» с самых первых строчек. Возникает в высшей степени интересная проблема: способен ли был Диккенс выполнить эту поставленную им себе задачу или нет. Большинство критиков либо просто отвечают, что нет, либо, предлагая собственные весьма жалкие разрешения завязанных Диккенсом узлов, выражают тем неверие в его способности и сомнение в правдивости его слов.

«При чтении Диккенса,— говорит Джордж Гиссинг,— сразу бросается в глаза характерный для него недостаток: его неумение искусно раскрыть те факты, которые он для придания интереса рассказу долгое время держал в тайне. Этим искусством он так и не овладел... Можно не сомневаться, что и в «Эдвине Друде», когда дело дошло бы до развязки, проявилось бы это всегдашнее неумение Диккенса». Марциалс и Ланг придерживаются того же мнения. Но они упускают из виду, что Диккенс здесь именно и задался целью побороть свой всегдашний недостаток и показать, что он может сделать то, чего, как ему столь часто говорили, он делать не умеет. К «Эдвину Друду» нужно подходить с особой меркой; нужно учитывать, что Диккенс здесь сознательно поставил себе новую задачу. И ведь даже Гиссинг, этот в данном случае враждебный критик, признает, вопреки своим предшествующим утверждениям, что «Эдвин Друд», если бы Диккенс его закончил, «вероятно, оказался бы наилучше построенной из всех его книг. В уже написанных главах видна такая забота об увязке деталей, которая дает необычный для Диккенса эффект». Редко бывает, чтобы серьезный критик на протяжении двух-трех страниц высказывал столь противоречивые суждения! Есть, однако, и другие критики, которые относятся к «Эдвину Друду» небрежно или презрительно и утверждают, что его тайна вовсе не тайна. Очень легко делать такие выводы, когда разгадку придумал сам, да притом ошибочную. Но тот факт, что эту тайну уже раз десять разгадывали, и все по-разному, что даже относительно общего характера развязки у критиков нет согласия,— Ричард Проктор, например, убежден, что роман должен был иметь счастливый конец, а другие не менее твердо убеждены, что он должен был закончиться самой мрачной трагедией,— все это показывает, что тайна Эдвина Друда, пожалуй, все ж таки была настоящей тайной.

В сущности, в «Эдвине Друде», хотя мало кто это отмечал, есть целых три тайны, две главных и одна второстепенная, которую, впрочем, тоже нелегко разгадать.

Первая тайна, частично раскрытая самим Диккенсом, это судьба Эдвина Друда. Был ли он убит, и если да, то кем и как, и где спрятано его тело? Если же нет, то как он спасся, что с ним сталось и появится ли он опять в романе?

Вторая тайна: кто такой мистер Дэчери, «незнакомец, поселившийся в Клойстергэме» после исчезновения Эдвина Друда?

Третья тайна: кто такая курящая опиум старуха, которая получает в романе прозвище «Принцесса Курилка», и почему она преследует Джаспера?

Первые две тайны взаимосвязаны. Третья не имеет прямого отношения к судьбе Эдвина Друда, и ее следует рассматривать как отдельный эпизод.

Диккенс довел свою книгу до такой стадии, что первую тайну, в которой воплощена его главная мысль, можно разрешить почти с полной уверенностью на основании того материала, который он сам дал нам в руки. Против Джона Джаспера есть достаточно улик, его преступный замысел ясен, действия тоже; казалось бы, нетрудно сделать вывод. Однако и тут у критиков нет единодушия. Джаспер потерпел неудачу, и Эдвин Друд остался жив, говорят одни. Джаспер преуспел в своих намерениях, и Эдвин Друд был убит, утверждают другие. Если по поводу тайны, наполовину уже раскрытой автором, возникают такие споры, то как не ожидать еще больших разногласий в отношении двух остальных тайн, где все гадательно!

Если бы Диккенс довел свой замысел до конца, мы, без сомнения, увидели бы, что первая тайна составляет основу сюжета и остальные ей подчинены. Но роман был так спланирован, что развитию этих второстепенных тем должны были быть посвящены дальнейшие главы — те, что остались ненаписанными; а в уже написанной части темы эти только намечены. Иными словами, автор сказал достаточно для того, чтобы развеять таинственность, окутывающую главную тему, но так мало подвинулся в разработке второстепенных тем, что тут все остается в области предположений и всякий волен судить по-своему. Мы можем почти с математической точностью сделать заключение о судьбе Эдвина Друда на основе того, что черным по белому написал о нем автор. Но когда мы пробуем угадать, каким образом была раскрыта истина и кто именно сыграл тут роль Немезиды, в руках у нас оказываются лишь паутинные нити, которые в любой момент могут оборваться.

Диккенс с увлечением работал над этой книгой, он был уверен, что добился своей цели и его тайна до конца останется тайной для читателя; и в связи с этим он потратил немало изобретательности на то, чтобы создать впечатление, будто эту тайну легко разгадать. Его задачей именно и было ошеломить всех поверхностных разгадчиков, которых столько развелось впоследствии. «Эдвин Друд» во многих отношениях самая обманчивая из всех написанных Диккенсом книг. В ней множество волчьих ям и тупиков. При первом чтении кажется, что разгадки лежат на поверхности. Но те, кто не раз перечитывал эту книгу, постепенно убеждаются в том, что наиболее простые объяснения все либо сомнительны, либо вовсе ошибочны. Нужно копать глубже, чтобы добраться до сути. Диккенс заманивает читателя на ложный путь и делает это так тонко, что приходится дивиться его искусству. «Эдвин Друд», пожалуй, самое хитрое и самое сложное из произведений этого жанра. С какой аккуратностью подогнаны у него одна к другой все детали, как точно взвешено значение каждого, даже самого мелкого факта! О том, насколько ему удалось сбить охотников со следа, мы лучше всего сможем судить, если ознакомимся с противоречивыми выводами, к которым приходили даже самые квалифицированные разгадчики.

Прежде всего надо сказать, что в бумагах Диккенса не найдено никаких записей, касающихся продолжения романа. «Диккенс не написал ничего, выявляющего основные линии замысла,— говорит Джон Форстер,— кроме того, что содержится в уже опубликованных выпусках; в заготовленных рукописных главах тоже нет никаких указаний, никаких намеков на то, чем должен был кончиться роман... Бывает, что писатель оставляет нам хотя бы наброски замыслов, которых ему не удалось осуществить, намерений, которых он не смог привести в исполнение, намеченных дорог, по которым он не успел пройти, сияющих вдали целей, которых ему не суждено было достигнуть. Здесь ничего этого нет. Белое пятно». Впрочем, несколькими страницами дальше, Форстер показывает, что не такое уж это было абсолютно белое пятно — был найден черновик исключенной Диккенсом главы — «Как мистер Сапси перестал быть членом клуба «Восьмерых». Эта глава имеет все-таки некоторое отношение к развязке. Добавим еще, что издатели Диккенса всегда отвергали слишком поспешные умозаключения и никогда не давали своей санкции на сочинение каких-либо «окончаний» «Эдвина

Друда», якобы в духе автора. В Америке, правда, вышла наглая книжонка с именами Уилки Коллинза и Чарльза Диккенса-младшего на титульном листе, но ее настоящие авторы впоследствии сознались в обмане.

В том же году, когда началась и преждевременно кончилась публикация «Эдвина Друда», в Нью-Йорке за подписью Орфеуса С. Керра вышла книга под заглавием «Раздвоенное копыто.— Переложение английского романа «Тайна Эдвина Друда» на американские нравы и обычаи, обстановку и действующих лиц». В декабре 1870 года тот же автор поместил в ежегоднике «Пикадилли Эннуэл» статью «Тайна мистера Э. Друда». Более интересна книга «Тайна Джона Джаспера», вышедшая в Филадельфии в 1871 году, размером почти равная оригиналу и представлявшая собой попытку дополнить недостающие главы. Двумя годами позже, и тоже в Америке, появилось фантастическое произведение, будто бы продиктованное духом Диккенса на спиритическом сеансе, которое беззастенчиво именовалось: «Вторая часть «Эдвина Друда». В 1878 году одна манчестерская дама, писавшая под псевдонимом Джиллан Вэз, выпустила трехтомник под названием: «Великая тайна разгадана. Продолжение романа «Тайна Эдвина Друда». Реальная ценность и литературные качества этих трех томов обсуждались критикой — отзывы были неблагоприятные и даже уничтожающие. Для нас все эти «продолжения» интересны только, так сказать, с отрицательной стороны, поскольку ни в одном не предлагается того решения, которое мы намерены изложить ниже. Наиболее серьезной попыткой этого рода является, без сомнения, ряд статей, опубликованных Проктором в журнале «Ноледж» под общим заглавием «Мертвец выслеживает» (в ответ на статью в «Корнхилл Мэгэзин», от февраля 1874 г.). Впоследствии — в 1882 году — Проктор перепечатал отрывки из этих статей в своем «Чтении в часы досуга», которое выпустил под псевдонимом «Томас Фостер». Теория его такова: Джон Джаспер потерпел неудачу, и Эдвин Друд снова появляется в романе как Дик Дэчери. Соображения Проктора подчас очень остроумны, но наиболее существенных моментов он либо не касается, либо оставляет их неразрешенными. Особенно слаб у него конец, и категорические его утверждения, собственно говоря, ни на чем не основаны. Он совершенно неправильно понял встречу Дика Дэчери со старухой и все, на что намекают их реплики и их последующие действия; он не сумел

толком объяснить значение меловых черт, которые проводит Дэчери; и он уж совсем не прав, когда утверждает, что «ни одно из действующих лиц, кроме самого Друда, не могло по тем или иным причинам сыграть роль Дэчери». Но ведь никакое решение, даже самое остроумное, не может быть принято и оправдано, если оно не считается с теми фактами, которые нам сообщил сам Диккенс. Нужно поверить, что автор ничего не говорил зря, и только исходя из написанного им следует искать разгадку.

ГЛАВА II

Анализ романа

Фабула «Эдвина Друда» сплетена из столь многих элементов, что одно только их перечисление — а забывать ничего нельзя, даже самых мелких и, казалось бы, незначительных фактов, иначе можно упустить нить,— займет немало времени и потребует немало труда. Диккенс, так сказать, высыпал перед нами в беспорядке китайскую головоломку; каждый кусочек надо внимательно рассмотреть, сообразить, что он значит, и вставить на надлежащее место.

Составные элементы этой истории, если их перечислить как можно короче, суть следующие:

Эдвин Друд и Роза Буттон еще в раннем детстве были обручены их покойными родителями. Они выросли, питая друг к другу привязанность, но не любовь.

Джон Джаспер, дядя Эдвина, старше его лишь несколькими годами, безумно влюблен в Розу. Она это знает и боится его. Джаспер — талантливый музыкант и, как канонический певчий клойстергэмского собора, пользуется всеобщим уважением, но втайне предается курению опиума и в связи с этим посещает какой-то притон в Лондоне.

Джаспер всячески подчеркивает свою необыкновенную привязанность к Эдвину Друду, но тем не менее мучается ревностью и решает его убить. План убийства у него уже обдуман: он задушит Эдвина шелковым шарфом и спрячет тело в одном из склепов возле собора.

Местный аукционист, напыщенный глупец по фамилии Сапси, недавно похоронил свою жену. Джаспер проводит с ним вечер, и Сапси знакомит его с чудаком и пьяницей, каменоте-

сом Дёрдлсом, у которого находятся ключи от соборных подземелий и от склепов. Джаспер вертит в руках эти ключи, позвякивает одним о другой, запоминает, какой звон издает ключ от склепа, где похоронена супруга мистера Сапси. Теперь он даже в темноте сможет отличить этот ключ по тяжести и по звуку.

Но Дёрдлс сообщает Джасперу неожиданное и поражающее того известие. Оказывается, каменотес может постукиванием молотка определить, один ли покойник захоронен в склепе или два, и обратился ли уже покойник в прах или еще нет. После этого Джаспер начинает интересоваться действием негашеной извести, и Дёрдлс объясняет ему, что она сжигает все — кроме металлических предметов.

Еще важная подробность: когда Дёрдлс задерживается в окрестностях собора «после десяти», его загоняет домой камнями безобразный мальчишка по кличке «Депутат», который состоит услужающим в дешевых номерах для приезжих. Джаспер приходит в бешенство всякий раз, как встречает ночью этого бессонного стража; они относятся друг к другу с величайшей враждебностью.

Затем вводятся новые действующие лица — близнецы Невил и Елена Ландлес, круглые сироты, выросшие на Цейлоне, где они провели крайне несчастливое детство под властью жестокого отчима. Их опекун после смерти отчима, мистер Сластигрох, весьма агрессивный субъект, выдающий себя за филантропа, привозит их в Клойстергэм и препоручает заботам младшего каноника, мистера Криспаркла, которому предстоит обучать их и воспитывать. Невил с первого взгляда влюбляется в Розу и, возмущенный небрежным обращением с ней Эдвина, затевает с ним ссору. Джаспер искусно разжигает их вражду, а затем сообщает канонику, что жизнь Эдвина Друда в опасности.

Тем временем Эдвин и Роза, посоветовавшись с мистером Грюджиусом, «угловатым», старомодным и добросердечным опекуном Розы и душеприказчиком ее умерших родителей, решают порвать свою помолвку. Джасперу они об этом не говорят, так как Эдвин боится огорчить его таким известием.

Мистер Грюджиус еще раньше вручил Эдвину кольцо «с розеткой из бриллиантов и рубинов, изящно оправленных в золото», которое Эдвин должен надеть Розе на палец, если их свадьба состоится. Но положение изменилось: Эдвин оставляет

кольцо у себя — он носит его в кармане,— и это единственная из имеющихся на нем драгоценностей, о которой Джаспер не знает.

Теперь вся предыстория изложена и главные действующие лица введены. С этого момента действие развивается быстро, и все дальнейшие события следует рассматривать как факторы, непосредственно подвигающие его к развязке. Вместе с тем ничто не объяснено, и большую часть того, что происходит, можно толковать по-разному. Читатель оказывается в положении человека, которому надо в темноте перейти через дорогу: на дороге все время вспыхивают сигналы, но для непосвященного они могут быть обманчивы, и то, что как будто зовет вперед, возможно есть знак остановиться. Диккенс не пожалел изобретательности на расстановку этих фальшивых сигналов.

Джаспер посещает соборные подземелья в обществе Дёрдлса, и тот рассказывает ему о странном сне, который видел в прошлый сочельник: Дёрдлс слышал во сне «призрак крика». Джаспер подпаивает Дёрдлса вином, в которое подсыпан сонный порошок, следит за действием наркотика и потом на свободе осматривает склепы. Диккенс называет это «очень странной экспедицией».

Невила и Эдвина стараются помирить: они должны встретиться у Джаспера в канун рождества и покончить со своей враждой.

В тот же день Эдвин случайно встречает в Клойстергэме курящую опиум старуху. Она объясняет ему, что приехала сюда кого-то искать, и говорит попутно, что «Нэд — нехорошее имя», тому, кого так зовут, грозит опасность (а из всех близких Эдвина один только Джаспер так его называет).

Невил готовится на следующее утро предпринять в одиночестве пешеходную экскурсию.

В ночь их встречи разражается страшная буря, а утром оказывается, что Друд исчез.

Джаспер тотчас обвиняет Невила в убийстве, так как тот в полночь пошел с Эдвином на реку. Обвинению не дают хода за недостатком улик, но Невил остается под подозрением. Он уезжает в Лондон и снимает квартиру неподалеку от конторы мистера Грюджиуса. Сестра Невила еще некоторое время живет в Клойстергэме и своим мужественным поведением побеждает общее недоброжелательство.

Каноник Криспаркл находит в реке принадлежащие Эдвину Друду часы с цепочкой и булавку для галстука. Это подтверждает версию об убийстве. Джаспер решает посвятить себя изобличению преступника; он клянется его уничтожить.

Грюджиус рассказывает Джасперу о том, что Эдвин и Роза порвали свою помолвку. Эта новость производит на него потрясающее впечатление: он падает в обморок.

Здесь кончается вторая часть романа, в которой все тайна, и начинается третья часть, посвященная разгадке тайны.

Прошло полгода, и в Клойстергэме появляется таинственный незнакомец. У него пышная седая шевелюра и черные брови. Его имя Дик Дэчери, и себя он рекомендует как «старого холостяка, праздно живущего на свои средства». Он снимает комнату у Топа, в том же доме, где живет Джаспер, и немедленно знакомится с ним.

Джаспер, наконец, открывается Розе в любви. Напуганная этим объяснением, она бежит к Грюджиусу. Грюджиус, оказывается, уже некоторое время следил за Джаспером и установил, что тот время от времени тайком приезжает в Лондон, по-видимому с целью слежки за Невилом.

Розе устраивают тайное свидание с Еленой в квартире молодого моряка, мистера Тартара. Здесь действие несколько затормаживается включением забавных сценок, изображающих переговоры Розы с хозяйкой меблированных комнат, миссис Билликин, и освещающих оригинальные отношения Грюджиуса с его конторщиком Баззардом, неудачливым автором трагедии.

В следующей главе мы опять видим Джаспера в притоне, где курят опиум. Накурившись, он бормочет что-то несвязное о каком-то роковом путешествии, которое он совершил, и о том, что в этом путешествии у него был спутник. Старуха слушает его с пристальным вниманием, пытается узнать больше, но это ей не удается; тогда она едет следом за Джаспером в Клойстергэм. Там она встречается с Дэчери и рассказывает ему о своей предшествующей встрече с Эдвином Друдом. Она узнает от Дэчери, что Джаспера можно каждый день видеть в соборе, идет туда, слышит, как Джаспер поет, и грозит ему кулаком. Дэчери все это видит, и так как он имеет обычай записывать все, что ему удалось узнать, при помощи меловых черточек — по способу, принятому в старинных трактирах,— то, вернувшись из собора домой, он «прибавляет к счету толстую и длинную меловую черту».

На этом месте роман внезапно обрывается.

И с этого места начинаются все домыслы относительно его конца. Тройная тайна показана; остается найти тройную разгадку.

Проктор полагает, что Диккенс намеревался построить этот роман примерно так же, как и ранее написанную повесть «Пойман с поличным», где человек, которого пытались погубить, сам выслеживает обманутого и сбитого с толку убийцу. Согласно этой теории, Эдвин Друд, скрывшийся после неудачного покушения на него, возвращается в Клойстергэм загримированный под Дика Дэчери, для того чтобы обвинить Джаспера. Но это такая дешевая мелодрама, это такой банальный, даже дилетантский прием,— нам пришлось бы признать, что Диккенс обманывал сам себя, когда говорил об осенившей его «совершенно новой идее, которую нелегко будет разгадать». Однако если это неправильное объяснение, то какое же правильно? Чтобы в этом разобраться, надо по возможности проследить замысел Диккенса в отношении судьбы Эдвина Друда. Спасся ли он, и если да, то как? Если он остался жив, то какая роль будет ему отведена в заключение романа? А если он погиб, то каким образом будет раскрыто преступление и преступник передан в руки правосудия? Вот те вопросы, на которые мы должны теперь ответить; а для этого нужно тщательно проанализировать метод, которым Диккенс работал. Такое исследование представляет большой интерес, ибо, каковы бы ни были его результаты, оно, во всяком случае, покажет нам, сколько выдумки, находчивости и изобретательности вложил Диккенс в свое последнее произведение.

ГЛАВА III

Первая тайна: жив или умер?

Был ли Эдвин Друд убит?

Что Джаспер хотел его убить и составил план убийства с величайшей точностью, не упуская ни единой мелочи,— это не составляет тайны. Но повод для преступления, страшное решение дяди убрать со своей дороги племянника, который стоял между ним и Розой, может показаться неправдоподобным, если

мы не постараемся изучить и понять характер Джона Джаспера [1].

Джаспер был уверен, что свадьба помолвленной четы неизбежна и состоится очень скоро; ему и в голову не приходило что жених и невеста могут расстаться по собственной воле. Поэтому он решился на преступление, в котором, как он впоследствии узнал, не было надобности. Это вполне согласуется с тем, что Диккенс говорил Джону Форстеру. Убийство, а затем исповедь преступника в камере для осужденных — вот как намеревался Диккенс построить роман. Если принять версию Проктора, согласно которой Эдвин Друд остался жив, то, во-первых, придется допустить, что Диккенс на ходу перестроил уже тщательно разработанный план, а во-вторых, надо будет еще как-то объяснить, за что же в таком случае был осужден Джаспер. Придется также отбросить все объяснения Форстера, которые он записал со слов Диккенса (см. его «Биографию Диккенса», часть XI, глава 2).

Еще одно обстоятельство подтверждает мысль, что убийство, а не только покушение на убийство, должно было стать основой фабулы. Клойстергэм — это, собственно, Рочестер, и в Рочестере случилось одно происшествие, которое, как полагают, и послужило Диккенсу материалом для этого романа. Эта история рассказана в книге У. Р. Хьюза «Неделя в диккенсовских местах».

Один тамошний житель, холостяк и человек со средствами, но небогатый, был опекуном и попечителем своего племянника, которому по достижении совершеннолетия предстояло вступить во владение огромным состоянием. Молодой человек уехал в Вест-Индию, потом неожиданно вернулся. После этого он исчез. Предполагали, что он снова отправился в путешествие. Дом его дяди находился на Главной улице и граничил с участком, принадлежавшим Сберегательной кассе. Когда, много лет спустя, там производили земляные работы, был найден скелет молодого мужчины. По местному преданию, дядя убил своего племянника и закопал его тело. Вот зародыш «Тайны Эдвина

[1] Диккенс, по-видимому, сам это чувствовал. В главе XX он вкладывает следующие слова в уста Розы: «Да зачем ему было это делать?» Она стыдилась ответить: «Чтобы завладеть мною!» И закрывала лицо руками, как будто даже тень столь тщеславной мысли делала и ее преступницей».

Друда», и тайна тут не столько в самом преступлении, сколько в том, как оно было скрыто и как потом обнаружено.

Джаспер — артист по темпераменту, и он вносит артистизм в свое преступление. Он хорошо знаком с действием ядов. Он испытал их на себе — курил опиум; испытал на Невиле — подмешал ему в вино какое-то возбуждающее; испытал на Дёрдлсе — опоил его снотворным. Нехитро убить врага, но сделать это так, чтобы не осталось улик, чтобы человек исчез бесследно — для этого нужна выдумка. Джаспер, обладавший воображением художника, сумел это сделать, так же как сумел обратить подозрение на невиновного.

Заманив Невила Ландлеса в ловушку, Джаспер приступает к выполнению своего ужасного замысла. План, который он заранее составил, тоже говорит о художественном воображении составителя. В подходящий момент — при обстоятельствах особенно компрометирующих Невила — Джаспер встретится со своим племянником возле собора, одурманит его каким-то наркотиком и затем задушит шелковым шарфом, который носит обмотанным вокруг собственной шеи. Потом спрячет тело в одном из склепов, где его, можно надеяться, не скоро потревожат. Все это произойдет ночью — в безлунную ночь, по расчетам Джаспера; значит, нужно быть готовым к тому, что действовать придется в полной темноте. Надо точно знать местоположение склепа, чтобы быстро и безошибочно его найти. Надо уметь выбрать нужный ключ из связки не по виду, а по тяжести и по звуку. Для натренированного уха музыканта достаточно будет самого легкого позвякивания.

Но его смутили слова Дёрдлса — тот похвалялся, что может, постукивая молотком по стене склепа, определить, один ли покойник там захоронен или два и насколько они уже истлели. «Дайте-ка сюда молоток,— говорит Дёрдлс.— Вы ведь, когда ваш хор поет, задаете ему тон, мистер Джаспер? Да? Ну, а я слушаю, какой будет тон. Стук! Стук! Стук! Цельный камень. Еще постучим. Эге! Тут пусто. Ну-ка еще. Ага! Твердое в пустоте, а в твердом в середке опять пусто. Ну вот и нашли. Каменный гроб за этой стеной, а в гробу рассыпавшийся в прах старикан» (глава V). Джаспер, услышав это, вероятно, не только удивился, как он сам говорит, но и втайне встревожился. Что, если Дёрдлс вздумает обстукивать склеп миссис Сапси и обнаружит там нечто, чего раньше не было? Один лишь намек на эту непредвиденную опасность останавливает Джаспера. Рисковать



Домик над воротами в ограде Рочестерского собора

ему нельзя. Еще два-три вопроса, обращенных к Дёрдлсу, и решение принято. Как только тело будет помещено в склеп, надо засыпать его негашеной известью, которая «башмаки вам сожжет, а если поворошить ее хорошенько, так и все ваши косточки съест без остатка».

Но она не уничтожит металла. Стало быть, с драгоценностями, которые носит на себе Эдвин,— их немного, и Джаспер знает их наперечет,— надо распорядиться иначе. Живое воображение артиста тотчас улавливает скрытые в таком ходе возможности. Снять драгоценности с тела, забросить их в реку, выбрав место, где их легко найти — они ведь не уплывут, а будут лежать на дне,— подождать, пока их найдут, а в худшем случае самому навести кого-нибудь на след и потом развивать версию, что Эдвин утонул. Еще лучше бы подсказать догадку о злом умысле — подстроить так, чтобы Невил, на которого естественно падет подозрение, пошел с Эдвином к реке как раз перед тем, как тому исчезнуть. Это была бы не только ширма для него, Джаспера, но и лишнее звено в цепи косвенных улик, которую он кует против невиновного.

Таков план Джаспера. Был ли он осуществлен? Большинство критиков говорят, что нет, и в первую очередь Проктор. Каким-то чудесным и таинственным образом Эдвин Друд спасся, хотя покушение на него было, и Джаспер не сомневается в том, что довел дело до конца. Вот уж поистине чудесное спасение! Яд, удавка, негашеная известь — и все без последствий. А меж тем что-то над ним было проделано, потому что драгоценности с него сняты. Что-то такое, что внушило убийце уверенность в успехе. Джаспер на этот счет совершенно спокоен — он обвиняет Невила, объясняется Розе в любви, позволяет себе угрозы и дерзкие выходки и ничуть не боится, что Эдвин может восстать из мертвых. Он даже говорит Розе — и это звучит как скрытое признание: «Так суди же сама, может ли другой любить тебя и оставаться в живых, когда жизнь его в моих руках?» Слова эти многозначительны. В сущности, Джаспер почти напрямик заявляет: «Я не поколебался убрать с дороги самого близкого и дорогого мне человека, так пощажу ли я кого-то другого?» Если Эдвин Друд уцелел, если Джаспер оставил ему хоть малейший шанс на спасение, то каким же глупцом выглядит этот хитроумный злодей!

И все же, говорят критики, Эдвин Друд просто скрывается. Скрывается — и допускает, чтобы Невила Ландлеса обвинили в

убийстве, арестовали, чуть не подвели под виселицу; допускает, чтобы на Елену Ландлес, в которую он влюблен, обрушилась людская злоба; допускает, чтобы Роза, когда-то его невеста, а потом самый его близкий друг, его милая сестра, подвергалась преследованиям со стороны человека, о котором он достоверно знает, что тот чудовище в человеческом образе; и, наконец, спустя полгода, снова появляется как Дик Дэчери, чтобы выслеживать своего убийцу и окольным путем добывать какие-то доказательства его вины, которая и так ему слишком хорошо известна.

«Невозможно представить себе,— пишет Эндрю Ланг,— почему Эдвин Друд, если он спасся от своего злодея дяди, только ходит да шпионит за ним, вместо того чтобы открыто выступить с обвинением. Для этого не придумаешь никакой сколько-нибудь правдоподобной и не фантастической причины». Однако именно этой теории до сих пор придерживалось большинство исследователей, и главный их аргумент в ее пользу — это, что построение «мертвец выслеживает» было излюбленным приемом Диккенса. Попробуем в этом разобраться.

Действительно, Диккенс не раз заставлял мнимоубитого самолично преследовать своего мнимого убийцу. Тому есть разительные примеры. Тотчас вспоминается Джон Роксмит в «Нашем общем друге»,— хотя в данном случае Диккенс вовсе не делал из этого тайны, наоборот, «всеми силами старался подсказать разгадку». Более отчетливо дана аналогичная ситуация в высокодраматической повести «Пойман с поличным», написанной уже совсем в духе «Эдвина Друда»: там Мелтэм неусыпно следит за своим врагом, когда тот бодрствует и когда спит, и таким образом «исхищает все тайны его жизни». Нечто подобное, хотя и с другой подоплекой, мы находим также в рассказе Неджета о том, как он выслеживал Джонаса Чезлвита. Это очень любопытные совпадения, яркие, бросающиеся в глаза, и все же они до странности неубедительны. Диккенс обещал показать в «Эдвине Друде» неразрешимую тайну, новую комбинацию, которую сам считал совершенно оригинальной, секрет, не поддающийся разгадке. Так возможно ли, мыслимо ли, чтобы в 1870 году он стал предлагать читателю в качестве неразрешимой тайны ту ситуацию, которую он уже использовал в 1864 году в «Нашем общем друге» и которую он развил до предела в повести «Пойман с поличным» еще в 1859 году? Иными словами, с какой стати ему было выхвалять идею «Эдвина Друда»

как не поддающуюся разгадке, когда он сам уже дважды давал на нее разгадку?

Очень интересно также, что Люк Филдс, художник, избранный Диккенсом для иллюстрирования «Эдвина Друда», решительно отвергает версию Проктора. Он убежден,— как сообщил нам покойный У. Р. Хьюз (автор «Недели в диккенсовских местах»), слышавший это непосредственно от Филдса,— что, по замыслу Диккенса, Эдвин Друд должен был погибнуть от руки своего дяди; недаром в четырнадцатой главе появляется на шее Джаспера «длинный черный шарф из крепкого крученого шелка»,— он-то, очевидно, и послужил орудием убийства. Такая заметная и неудобная в живописном отношении деталь не ускользнула от внимания художника, пристально изучавшего внешний облик действующих лиц, которых ему предстояло изображать, и когда Филдс сказал об этом Диккенсу, тот удивился и даже словно бы смутился, как человек, нечаянно выдавший свой секрет. Далее Филдс говорил, что Диккенс хотел взять его с собой в камеру осужденных в Мэйдстоне или какой-нибудь другой тюрьме для того, чтобы он мог сделать там зарисовки. «А из этого можно заключить,— сказал Филдс,— что Диккенс намеревался показать нам Джаспера в камере осужденных перед его казнью». Кроме того, Хьюз приводит слова Чарльза Диккенса-младшего. Тот утверждал, что «Эдвин Друд был убит» и что «отец сам ему это сказал» [1].

Именно потому, что Диккенс уже раньше строил фабулу по типу «мертвец выслеживает», в «Эдвине Друде» следует ожидать чего-то другого. Теория «повторного приема» несостоятельна.

Приверженцы этой теории редко затрагивают еще и другой вопрос, который мы здесь уже ставили, а именно: зачем Друду с таким трудом и таким риском для себя разузнавать по кусочкам то, что уже полностью открылось ему в страшный момент его прозрения? И еще: зачем ему позволять, чтобы злодей, чья преступная воля ему известна, оставался на свободе и умножал свои преступления? В случаях с Роксмитом

---

[1] У Филдса этот разговор изложен так: старший сын Диккенса спросил отца «во время нашей последней прогулки с ним в Гэдсхилле: «А Эдвин Друд, конечно, убит?» На что отец, обернувшись ко мне... сказал: «Конечно! А ты что же думал?»

Позднейшие исследователи, как, например, проф. Джексон, сэр Уильям Робертсон Николл и Чарльз Уильямс, считают это свидетельство решающим. *(Прим. перев.)*

и Мелтэмом были обстоятельства, оправдывавшие такое поведение; в случае с Друдом таких обстоятельств нет. Открывшись, он устранил бы всякую опасность для тех, кто ему дорог; скрываясь, он эту опасность усугубляет.

Наконец, эта теория, бессильная правильно истолковать факты и неизбежно приводящая, как я надеюсь здесь показать, к ложным и нелогичным выводам, не выдерживает критики и в том случае, если мы будем рассматривать «Эдвина Друда» с точки зрения литературного мастерства. Ни один писатель, знающий толк в своем ремесле, не станет перегружать свое произведение ненужными подробностями. Никто не воздвигает огромного здания, если этому зданию суждено остаться пустым. Если Джаспер потерпел неудачу, значит, добрая половина материала, так заботливо подобранного Диккенсом, потрачена зря и вместо увлекательной тайны перед нами раздражающая бессмыслица. Больше того: самый рассказ, как таковой, становится ущербным. Эдвин Друд, который немногим больше, чем кукла с наклеенным на нее именем, который как личность не привлекает симпатии и чья судьба никого не волнует, этот Эдвин Друд сохранен, а для чего, собственно? В развязке романа он лишний, как по ходу действия, так и в эмоциональном плане: он только попусту загромождает сцену. С точки зрения писательского искусства все это очень плохо, до такой степени плохо, что вряд ли Диккенс мог допустить такую нескладицу.

Проктор, поддерживающий версию о спасении и последующем восстании Эдвина из мертвых, не находит для него иной роли, кроме следующей:

«Роза выходит замуж за Тартара, Елена Ландлес за Криспаркла, а Эдвин и мистер Грюджиус смотрят на это с одобрением, хотя Эдвин не без грусти». Опрокинуть тщательно разработанный план, и в конце концов отвести герою столь незначительную роль — право же, это недостойно Диккенса.

Сила Проктора в анализе — он подробно рассматривает и остроумно мотивирует поведение Джаспера. Но, доказав, что все его действия осмысленны, он тут же принимается доказывать, что все они ни к чему не ведут. Лучшая часть его статьи — это превосходный разбор самых важных в сюжетном отношении и наиболее хитро построенных глав — той, в которой Джаспер разговаривает с Сапси и Дёрдлсом и разглядывает ключи от склепов, и той, в которой он предпринимает

вместе с Дёрдлсом «странную экспедицию» в соборные подземелья. Тут Проктор на высоте: он отмечает все сколько-нибудь существенные факты и все выводы, которые надлежит сделать из этих фактов. Астрономические его познания тоже пригодились: он показывает нам, как Джаспер мог рассчитать, что ночь, избранная им для преступления, будет безлунной, и стало быть, ему тем более важно уметь отличить нужный ключ в темноте по тяжести и по звуку. Проктор опять-таки превосходно объясняет связь между сновидениями Дёрдлса (когда тот спит в подземелье, опоенный Джаспером) и подлинными действиями Джаспера: «Джаспер взял у спящего каменщика ключи, испытал их на звук, выбрал тот, который ему был нужен (ключ от склепа миссис Сапси), и вышел из подземелья, дверь которого, как подчеркивает автор, они заперли, входя. Что делал Джаспер в долгие часы своего отсутствия,— неясно. У него было достаточно времени, чтобы зайти с этим наиважнейшим ключом к себе домой — под покровом ночи его никто бы не заметил. У него было достаточно времени, чтобы отомкнуть склеп и перенести туда некоторое количество негашеной извести из кучи у ворот. Чем он действительно занимался в этот промежуток времени, было бы объяснено в дальнейших главах».

И вместе с тем Проктор, как ни странно, мало придает значения кольцу, которое Эдвин должен был передать Розе. Ради поддержания своей теории он вынужден игнорировать самую важную улику, оставленную преступником. И Проктор попросту отмахивается от нее, утверждая, что кольцо, с его «роковой силой держать и влечь», это всего-навсего один из ложных следов, разбросанных Диккенсом в романе. Весьма беспомощное уклонение от серьезной трудности! Если Диккенс с такой торжественностью ввел это кольцо в роман только для того, чтобы «сбить читателя со следа», а не для того, чтобы в дальнейшем использовать эту выразительную деталь, значит Диккенс поистине был плохой писатель.

Равным образом Проктор ошибается, когда заявляет, что Эдвин Друд не принадлежит к числу тех действующих лиц, которых автор мог бы обречь на смерть. Это чистейшее заблуждение: на самом деле, Эдвин Друд очень бледный персонаж. Он не вызывает эмоций. Мы очень мало о нем знаем. Его судьба интересна только в силу своей таинственности, а не потому, что мы его жалеем. Он почти бесцветен, а то немногое, что о нем рассказано, не служит к его выгоде: он полон самомнения, до-

верчив до глупости, легко раздражается. «Его самовлюбленность,— говорит Ланг,— делает его крайне несимпатичным». Он, безусловно, не принадлежит к числу тех действующих лиц, которых автор или читатели захотели бы сохранить.

Наконец, Проктор не прав в своих выводах относительно Дэчери и его разговора со старухой; тут он даже сам себе противоречит. Вообще, его остроумная статья вызывает подозрение, что свою теорию он создал раньше, чем хорошенько ознакомился с фактами, изложенными в романе, и затем подгонял их к уже готовой схеме.

Предположения Форстера кажутся мне гораздо более правдоподобными; они-то и намечают путь, по которому надо идти. Основой фабулы, говорит он, «было убийство племянника его дядей» — а не только покушение на убийство. И в конце романа мы увидели бы убийцу в камере для осужденных, где он пересматривает всю свою жизнь, исповедуется в своем преступлении и признает его ненужность. А раскрытие преступления должно было совершиться с помощью кольца. Все это вполне согласуется с теорией, которую мы намерены теперь изложить и которая логически вытекает из одного очень простого соображения, а именно, что не стал бы Диккенс так подробно расписывать замысел преступления и накапливать столько неотразимых улик против преступника, если бы в конце концов оказалось, что преступления не было и все эти улики не нужны.

ГЛАВА IV

Вторая тайна: «Мистер Дэчери»

Итак, можно считать, что Эдвин Друд погиб. Убийство было задумано, и убийство совершилось. Таков был первоначальный замысел Диккенса, и все описанное в первых главах показывает, что он от него не отказался.

Убийца — Джон Джаспер. Мы можем проследить все его приготовления, все принятые им меры, все его расчеты вплоть до того момента, когда удар был нанесен. И мы так хорошо знаем план, разработанный этим артистом преступления, мы так ясно ощущаем его непоколебимую злую волю, что как будто своими глазами видим то, что произошло в эту бурную полночь, во время разгула стихий.

В мыслях своих Джаспер совершал убийство еще задолго до того, как оно реально осуществилось. «Что случилось? Кто это сделал?» — восклицает он, пробуждаясь от населенного страшными видениями сна (глава X). О том же говорят его полубредовые признания в притоне для курильщиков опиума, уже после преступления: «Сто тысяч раз я это проделывал здесь, в этой комнате... Да, это было мне приятно!.. Я делал это так часто и так подолгу, что, когда оно совершилось на самом деле, его словно и делать не стоило, все кончилось так быстро!» (глава XXIII). К тому же заключению приводят нас записи в его дневнике, которые он читает мистеру Криспарклу. Они начинаются с упоминания о терзающих его «недобрых предчувствиях», о «болезненном страхе за моего дорогого мальчика»; и, конечно, эти неосязаемые предчувствия оправдались, о чем позаботился сам Джаспер: «Мой бедный мальчик убит».

Но Диккенсу для его собственных авторских целей нужно было, чтобы оставалось сомнение; и он заманивает в ловушку непроницательного читателя, подчеркивая в дальнейших главах, что «никаких следов Эдвина Друда не было обнаружено», «не было доказательств, что исчезнувший юноша убит». Это верно. Но, припомнив разработанный Джаспером план, нетрудно догадаться, что доказательств нет именно потому, что Эдвин Друд убит. Его тело сожжено негашеной известью. И дерзкое поведение Джаспера, его небоязнь подозрений, его уверенность в том, что, сколько бы ни искали, все равно ничего не найдут, как раз и доказывает, что он осуществил свой план. И потому именно, что улики все уничтожены, понадобилось это кольцо, единственная улика, о которой Джаспер не знал и которой не предусмотрел. Это та ничтожная случайность, которая повернет судьбу.

В главе XVI Диккенс рассматривает обвинение против Невила Ландлеса, и мы сразу видим, что оно слабо, искусственно и неубедительно. В главе XX он говорит о предположительном обвинении Джаспера, но при этом разбирает доводы не за, а против его виновности. Это еще одна авторская уловка, попытка навести нас, если возможно, на ложный след. Роза подозревает Джаспера. На каком основании? Могла ли любовь к ней подвигнуть его на убийство? Да, если эта любовь так безумна, как говорит сам Джаспер, если это всепоглощающая страсть. И затем от лица Розы излагается рассуждение, нарочитое, конечно, но довольно убедительное: «Исчезновение Эдвина он

упорно называл убийством... Если он боялся раскрытия преступления, разве ему не было бы выгоднее поддерживать версию о добровольном исчезновении?» Диккенс, стремясь сбить нас со следа, разумеется, не объясняет, что открыто обвинить Невила в убийстве для Джаспера гораздо безопаснее, чем допускать, чтобы в умах окружающих зародились какие-либо сомнения, что, конечно, произошло бы, если бы ситуация оставалась неясной. Тогда подозрение могло бы в любую минуту обратиться на него самого, а так он его заранее отвел. Короче говоря, Джаспер поступает именно так, как на его месте поступил бы всякий хитрый и дальновидный преступник.

Друд исчез, его никогда не найдут, остается вопрос: будет ли когда-нибудь раскрыта тайна, замкнутая в сердце виновника?

Тут мы подходим к главному узлу интриги. После того как преступление совершилось, после того как Невил был сперва обвинен, потом отпущен за недостатком улик и уехал в Лондон, «в Клойстергэме появилось новое лицо». Когда именно, точно не указано, во всяком случае через несколько месяцев после описанного выше и столь богатого событиями рождества — по-видимому, летом. Незнакомец сообщает, что его зовут Дэчери, Дик Дэчери. Он объявляет о своем намерении пожить в Клойстергэме месяц-другой, «а может быть и совсем тут обосноваться». Он снимает комнаты у главного жезлоносца, мистера Топа, в домике над воротами, как раз напротив квартиры Джаспера. Кто же такой этот Дэчери? Это и есть настоящая тайна. Это та неожиданность, которую припас Диккенс для читателей, которую он подготовлял с самого начала. И о его искусстве свидетельствует именно то, что до сих пор критики либо преуменьшали значение этого эпизода, либо вовсе оставляли его без внимания.

Тут прежде всего нужно ознакомиться со стилем и методом Диккенса, с его обычными приемами для достижения драматического эффекта. С другой стороны, хотя манера автора и неотделима от его личности, нужно учитывать, что он может сознательно кое-что в ней изменить, что он может стремиться избежать повторений. В «Эдвине Друде» Диккенс так подобрал все детали, что не только все они значимы, но ни одна не случайна; каждая служит определенной цели, каждая имеет точное место в окончательном плане. Чем чаще читаешь и анализируешь этот роман, тем это становится очевиднее.

Диккенс считал, что его тайна не поддается разгадке. Поэтому всякий раз, как он наводит нас на разгадку, подсовывает нам решение, силится разъяснить темную фразу или непонятный факт, читателю надлежит проявлять скептицизм. Диккенс заранее рассчитал — и не ошибся в расчетах,— что всякий, кто усомнится в гибели Эдвина Друда, немедленно придет к выводу, что Дэчери и есть исчезнувший юноша. Самая очевидность такой догадки должна послужить нам предостережением; самая простота этого решения вызывает вопрос: «Что уж это за особенная тайна?»

Нужно внимательнее проследить все подробности интриги, все поступки действующих лиц. Решить, кто такой Дэчери можно только путем исключения; нужно, чтобы мы могли сказать: «Дэчери — это такой-то, потому что никто другой им быть не может». А затем нужно посмотреть, могло ли данное лицо сыграть такую роль и были ли у него на то причины. Затем удостовериться, что и сам Диккенс — втайне, но уверенной рукой — наметил это лицо, снабдил его нужными чертами и достаточными побудительными мотивами. И, наконец, приглядеться, не отводил ли он нарочно внимание от этого лица на протяжении всего романа, так, чтобы конечное решение было действительно неожиданным. А воображать, будто Диком Дэчери может оказаться из всех персонажей именно тот, на которого сразу падает подозрение,— значит сводить тайну Диккенса к совершенному ребячеству.

Три момента ясны и не требуют доказательств: Дэчери — это кто-то переодетый и замаскированный; он прибыл в Клойстергэм, чтобы следить за Джаспером; он собирает улики против преступника, которого подозревают, но не могут привлечь к суду.

У Дэчери есть сильный побудительный мотив для преследования Джаспера, хотя что это за мотив — только ли желание отомстить за Эдвина Друда или нечто большее — нам не сказано. Но личная его заинтересованность так очевидна, что искать его надо среди тех, у кого могла быть такая заинтересованность, то есть среди непосредственных участников драмы, которые будут участвовать и в ее продолжении,— это не кто-нибудь со стороны, не какой-нибудь новый персонаж, введенный только для данной цели. Кроме того, это человек, который, хотя и подозревает Джаспера, но не имеет доказательств его вины и вынужден их искать. Иначе все его сложные и окольные рас-

следования были бы нелепы и неоправданны. Затем это должен быть кто-то, кто может временами исчезать, и его отсутствие оставаться незамеченным, или по крайней мере известным лишь узкому кругу лиц, имеющих причины сохранять это в тайне. И, разумеется, это должен быть кто-то, кого Джаспер вряд ли узнает в переодетом виде, стало быть, человек, которого он раньше не видал или видал редко и чей даже голос для него непривычен.

Кто же из действующих лиц удовлетворяет этим требованиям?

Некоторых мы можем сразу отвести. Это не может быть Сапси, Дёрдлс, Депутат или Топ, хотя бы уже потому, что в главе XVIII все они встречаются и разговаривают с Дэчери, стало быть имеют отдельное от него существование. Это не может быть громогласный филантроп Сластигрох, так как он верит в виновность Невила Ландлеса и не стал бы добывать улики против Джаспера. Это не может быть Криспаркл, так как тот лишен возможности надолго отлучаться. Это не может быть сам Невил, который безвыездно находится в Лондоне и, кроме того, имеет все основания избегать Джаспера. Другие второстепенные персонажи тоже не подходят, так как не имеют побудительных мотивов. Таким образом, поле сужается, остается весьма ограниченное число лиц.

Может быть, Дэчери — это Баззард?

У мистера Грюджиуса служит конторщиком престранный субъект, по фамилии Баззард, мнящий, что он выше своего хозяина, так как написал трагедию, которой никто не хочет ставить. Этого Баззарда считали иногда возможным кандидатом на роль Дэчери, главным образом потому, что в беседе с Розой после ее бегства из Клойстергэма мистер Грюджиус говорит о нем: «После работы он уходит к себе, а сейчас его вообще здесь нет, он в отпуску». Но Баззард чисто комическая фигура, и мистер Грюджиус хотя и делает вид, будто относится к нему чуть ли не с благоговением за то, что Баззард написал забракованную всеми театрами трагедию, на самом деле все время подшучивает над этим напыщенным и придурковатым братцем миссис Билликин. Возложить на него такую миссию, как выслеживание убийцы с риском для собственной жизни — идея смехотворная. Все законы литературного мастерства этому противятся. Это еще один из столь любимых Диккенсом фарсовых персонажей; Диккенс мог ввести его для «отвода глаз», но не с

какой-либо серьезной целью. У Дэчери, несомненно, есть личная причина для ненависти к Джасперу; у Баззарда таких причин нет. Его в лучшем случае могли нанять, но это резко ослабило бы драматизм положения. А если бы мистер Грюджиус и дал ему такое поручение, проявив непростительное для старого юриста легкомыслие, так и то он мог послать его в Клойстергэм лишь после того, как узнал от Розы о вероломстве Джаспера. Меж тем Дэчери появляется в Клойстергэме еще до этого,— то есть раньше, чем Грюджиус или Баззард убедились в необходимости держать Джаспера под наблюдением. Пышный седой парик — совершенно излишняя и рискованная маскировка, если она не вызвана необходимостью,— Баззарду не нужен. То немногое, что мы знаем о его внешности — смешной и неуклюжей,— показывает, что он не мог держаться, как Дэчери; а то немногое, что мы знаем о его манере говорить — грубой и заносчивой, показывает, что он не мог разговаривать, как Дэчери. Это эгоист чистой воды, который в конце концов будет осмеян и посрамлен, но он никак не годится для решительных действий, требующих силы духа, самоотречения и мужества. По всем указанным причинам Дэчери — это *не* Баззард.

Может быть, это Друд?

Допустим на минуту, что версия о гибели Эдвина Друда неверна. Следует ли отсюда, что он вновь появляется в Клойстергэме как Дик Дэчери? Проктор отвечает утвердительно, но упускает из виду, что он был бы немедленно узнан Джаспером по фигуре, походке, манерам и голосу. Друд не стал бы рисковать без нужды, поселяясь у Топов, которые так хорошо его знают — скорее он поискал бы приюта у людей незнакомых; он не решился бы жить в такой близости от Джаспера, который в прошлом имел возможность изучить каждый его жест, а теперь, памятуя о своем преступлении, был бы вдобавок настороже против всякого нового лица, как возможного сыщика. Сомнительно также, чтобы Эдвин Друд, такой, каким его изобразил Диккенс,— слабовольный, вспыльчивый, легковерный и несдержанный,— способен был проявить осмотрительность и энергию, необходимую для роли Дэчери. В Дэчери нет ничего маломальски напоминающего Эдвина Друда и есть очень много такого, что вызывает представление о совсем другом человеке. Наконец, совершенно невероятно, чтобы человек, зная, кто на него напал и какая опасность грозит из-за этого его близким, согласился скрываться, а не выступил тотчас открыто. Диккенс

глубоко понимал человеческую натуру. Поверим, что это понимание и тут ему не изменило, равно как и способность мыслить логически.

Но это еще не все. Диккенс как бы случайно, а на самом деле весьма обдуманно, вводит одно обстоятельство, которое решительно опровергает всякие предположения насчет тождества Друда и Дэчери. В памятный сочельник Эдвин встретился со старухой, курящей опиум. Эта встреча произвела на него сильное впечатление, так как в старухе он увидел какое-то сходство с Джаспером, каким тот был во время одного из своих припадков. Он дал ей денег, а она предупредила его об опасности, угрожающей «Нэду» — каковым именем его зовет один только Джаспер. Через несколько часов ее предсказание оправдалось. Если Эдвин остался жив, он, без сомнения, это запомнил.

В дальнейшем Дэчери встречается с этой же самой старухой — и он ее не узнает! Он поражен ее рассказом. Для него это полная новость, а ведь для Эдвина это было бы незабываемое личное переживание. То, что для одного новые и ценные сведения, для другого была бы вещь давно известная. По всем указанным причинам Дэчери — это *не* Эдвин Друд [1].

Может быть, это Грюджиус?

Это уже гораздо более серьезное предположение. Мистер Грюджиус — опекун Розы, и она поручила ему сообщить Джасперу о разрыве помолвки. Для этого он и является к Джасперу через день или два после исчезновения Эдвина. Разговор между ними весьма примечателен как по тому, что в нем сказано, так и по тому, чего в нем не сказано. «Странные вести я здесь услышал»,— таково первое замечание мистера Грюджиуса. Второе имеет целью заставить Джаспера высказаться, действительно ли он верит в виновность Невила Ландлеса. Третье: «Я должен сообщить вам известие, которое вас удивит». Он говорит «холодно и невозмутимо», «с раздражающей медлительностью». Мало-помалу, как бы стремясь ранить как можно глубже, он

[1] По этому поводу Чарльз Уильямс в своих «Приложениях» к «Эдвину Друду» (впервые опубликованных в серии «World's Classics» в 1924 г.) замечает следующее: «Многие поддерживали версию, что Дэчери — это сам Эдвин Друд, но ее, очевидно, приходится отвергнуть на основании собственных слов Диккенса. Если бы Джаспер потерпел неудачу, Эдвин Друд был бы единственным лицом, которое могло быть Диком Дэчери, но при существующем положении он единственное лицо, которое Диком Дэчери быть никак не может». *(Прим. перев.)*

сообщает Джасперу о разрыве отношений между «исчезнувшим юношей» и Розой. Он видит, как Джаспер падает в обморок при этом известии, и, «сидя на стуле прямой, как палка, с деревянным лицом», наблюдает его возвращение к жизни. Мистер Грюджиус, без сомнения, понимал, что представляет собой Джаспер. Он пользовался полным доверием Розы и Невила. Он один знал о кольце. Впоследствии он следит за тайными передвижениями Джаспера в Лондоне и, не колеблясь, называет его негодяем. Надо думать, у него были к тому основания. У него есть и сильный побудительный мотив для борьбы с Джаспером, как неумолимым врагом Невила и обидчиком Розы. Вероятно, он подозревал его еще и в худших преступлениях. Он юрист и знает, как добывать улики. Во всем этом деле у него есть личная заинтересованность. Диккенс постепенно развертывает его характер, как видно предназначая его для какой-то важной роли. Лондон, его постоянное местопребывание, находится всего в нескольких часах езды от Клойстергэма. Во время отлучек его профессиональные обязанности может исполнять Баззард. А часть своих личных дел он передал мистеру Тартару. По целому ряду соображений мистер Грюджиус вполне пригоден для роли Дэчери.

И тут же все здание рушится: мистер Грюджиус все-таки не мог быть Диком Дэчери. Два обстоятельства тому препятствуют: его место в развитии действия и его внешность. Недаром Диккенс так четко показал нам и то и другое.

Дэчери появился в Клойстергэме еще *раньше,* чем мистер Грюджиус услышал от Розы, насколько острым стало положение и насколько необходимо надзирать за всеми действиями Джаспера. Однако, судя по тому, что нам о нем рассказано, он все это время находился в Лондоне; он всегда под рукой, когда нужно с ним посоветоваться. Если бы он исчезал надолго, это создавало бы перерывы в действии; его отсутствие не могло оставаться незамеченным. Кроме того, мистер Грюджиус просто не может замаскироваться — всякая подобная попытка обречена на неудачу. Джаспер немедленно узнал бы столь «Угловатого Человека» в любом обличье.

По внешности и манерам Грюджиус не только не похож на Дэчери, он прямая его противоположность.

Дэчери имеет вид военного — у мистера Грюджиуса «неуклюжая, шаркающая походка». У Дэчери «белоснежная шевелюра, на редкость густая и пышная» (очевидно, большой па-

рик). Грюджиусу не нужен парик необычных размеров, так как его голову украшает лишь «скудная поросль» «прилизанных» волос. А ведь всякая маскировка, привлекающая внимание, нелепа и даже вредна,— если она не вызвана необходимостью. Далее: Грюджиус «очень близорук». Из всего, что делает Дэчери — наблюдает издали за людьми, мгновенно замечает всякую мелочь,— ясно, что зрение у него превосходное. У мистера Грюджиуса медлительная, запинающаяся речь; Дэчери за словом в карман не лезет, он говорит и держится так, что его можно принять за дипломата. Грюджиус — «долговязый и нескладный», «с чересчур длинными ступнями и пятками»; Дэчери изящен; он расшаркивается перед мэром — действие, требующее грации и свободы движений; создается впечатление, что он «привык общаться с лицами высокого ранга». Грюджиус, по собственному признанию, «чрезвычайно угловатый человек»; Дэчери весь учтивость и вылощенность, он безупречно владеет собой. Грюджиус говорит отрывисто, словно отвечая вытверженный урок; Дэчери — приятный собеседник с плавной и живой речью; Грюджиус — человек с резко выраженной индивидуальностью, его «чудаковатость» везде выпирает; Дэчери легко меняет свои повадки — он умеет подладиться к любому обществу.

О внешности Дэчери мы мало что знаем; было бы трудно нарисовать его портрет; и отметим кстати — это существенно,— что среди первоначальных иллюстраций, просмотренных самим Диккенсом, нет ни одной, изображающей этого таинственного незнакомца. Но одна его черта указана — и даже с нажимом. Хотя у Дэчери седые волосы (свои или парик — в данном случае не важно), брови у него черные. Это всячески подчеркнуто. «Седовласый мужчина с черными бровями» — так его нам рекомендуют с самого начала. Цвет бровей, очевидно, естественный, по двум причинам: во-первых, если бы он их красил, то уж, наверно, постарался бы подогнать к цвету волос, а во-вторых, крашеные брови легко распознать. Черные брови говорят о том, что и волосы у него черные или по крайней мере темные. Но у мистера Грюджиуса волосы «грязно-желтые», как облезлая меховая шапка. Да и сам он весь сухой и тусклый, по окраске похожий на «горсть пересушенного нюхательного табака». Сейчас на этом больше незачем останавливаться. Достаточно, что все конкретные факты, связанные с мистером Грюджиусом, свидетельствуют о невозможности его преображения в Дэчери.

Мы считали нужным так подробно рассмотреть эту последнюю гипотезу и доказать ее несостоятельность, чтобы очистить поле для единственного остающегося решения, которое, как мы смеем думать, одно только может выдержать любую проверку и удовлетворить всем требованиям.

ГЛАВА V

Дэчери путем исключения

Так кто же этот незнакомец, появившийся в Клойстергэме?

Продолжая наше расследование, будем исходить из мысли, что технически этот роман совершенен, план его хорошо разработан, все детали, даже самые мелкие, точно подобраны. Не станем ожидать в нем промахов и объяснять что-либо недосмотром. Если заранее допускать авторские ошибки, лучше уж сразу отказаться от исследования. Увлеченье, с каким Диккенс работал над этим романом до последней минуты, позволяет думать, что сам он не находил в нем недостатков.

Его дочь рассказывает, что утром 8 июня он был в прекрасном настроении, говорил, что намерен весь день работать над этой книгой, которая «горячо его интересует». Первую половину дня он работал в «шале»[1], а когда пришел домой к раннему обеду, то был молчалив и рассеян, что домашние приписали его поглощенности своим занятием. Джон Форстер тоже подтверждает, что Диккенс чем дальше, тем все сильнее увлекался работой над этим романом, очевидно считая его удачным и стоящим труда. В октябре он «с большим воодушевлением» читал Форстеру первый выпуск; в декабре читал вслух только что написанную новую главу — ту, где появляется мистер Сластигрох — «с бьющим через край юмором». По всему видно, что Диккенс был доволен своей книгой и уверен в том, что успешно осуществил поставленную в ней задачу.

Мы установили, кем Дэчери не был — кем он не мог быть. Попробуем, пользуясь тем же методом, установить, кем он был — кем он не мог не быть. Диккенс вовсе не собирался сде-

---

[1] Швейцарский домик, подаренный Диккенсу Фехнером и поставленный в саду в Гэдсхилле, имении Диккенса. *(Прим. перев.)*

лать разгадку легкой, но, с другой стороны, как только мы вступаем на правильный путь, это становится заметно. Идя по ложному следу, мы приходим к путаной, неправдоподобной и вялой развязке. Когда мы нащупываем правильную путеводную нить, она приводит нас к убедительному и драматически сильному финалу.

Допустим, что среди персонажей романа есть один, который до сих пор оставался несколько в тени, но тем не менее представляет собой яркую фигуру; который сам редко говорит, но о котором говорят много; который питает инстинктивную и острую неприязнь к Джасперу, но его не боится; у которого есть все основания подозревать Джаспера, но нет сколько-нибудь конкретных улик; которому очень важно его обвинить, чтобы оградить других от его последующих обвинений; который готов на любые жертвы, чтобы спасти Розу и Невила от его козней; который обладает огромной силой воли; который может исчезать так, что его отсутствие не будет замечено; который привык к переодеваниям и умеет играть роль. Допустим, мы найдем такой персонаж — разве это не будет значить, что мы нашли самого Дэчери и разглядели подлинное лицо под маской?

А такой персонаж есть — и он действительно удовлетворяет всем требованиям. Поставим его на место Дэчери — и все получает объяснение, и замысел автора увенчивается ярким и драматическим финалом.

Для того чтобы это понять, нужно не только подобрать все намеки, разбросанные по пути самим Диккенсом, но еще и рассмотреть хорошенько то, что он искусно скрыл или раскрыл лишь наполовину.

Будем двигаться от конца к началу — начнем с большого парика на голове Дэчери, с его развевающихся седых кудрей и с того странного обстоятельства, что он вечно забывает надеть шляпу или же избегает ее носить. Многие уже отмечали, что бросающаяся в глаза маскировка нелепа — если она не вызвана необходимостью. Большой парик — «седая шевелюра, на редкость густая и пышная» — необходим и неизбежен, если под ним скрыта голова женщины. Тогда длинные кудри полезная предосторожность — на случай, если какая-нибудь непокорная прядь выбьется из-под парика. И естественно, что женщине неприятно надевать шляпу — тем более мужскую — поверх парика, да еще когда под ним упрятаны собственные локоны. Это вдвойне неприятно в жаркую погоду — а мы знаем, что Дэчери

появляется в Клойстергэме летом. И втройне неприятно для тех, кто привык к свободным обычаям тропического климата. Женщина может чувствовать себя уверенно в мужском костюме, но у нее всегда останется сомнение, способна ли она с должной непринужденностью носить мужскую шляпу. Тем более когда к этому добавляется еще большой парик! А ведь Дэчери осмотрительный человек, взявшийся за очень важное дело. Так мог ли он с самого начала проявить легкомыслие и поставить под угрозу все свое предприятие из-за неряшливости в какой-нибудь — хотя бы и мелкой — детали? Даже когда шляпа при нем, он не знает, что с ней делать, и зажимает ее по-женски под мышкой, вместо того чтобы держать по-мужски в руке. А когда ему о ней напомнили, он «машинально поднял руку к голове, словно думал найти там другую шляпу». Вполне естественный жест, если парик прикрывает женские локоны, да еще, может быть, очень густые. Как раз то ощущение, которое может возникнуть при таких обстоятельствах у женщины, привыкшей не к жесткой мужской шляпе, а к мягкой женской. Далее у Дэчери есть привычка «встряхивать волосами». Какой мужчина это делает? И какая женщина этого не делает? Что Дэчери — женщина, это столь же очевидно, как если бы автор сам нам это сказал.

У седовласого Дэчери черные брови. Парик может скрыть естественный цвет волос и так изменить внешность, что введет в заблуждение окружающих, но всякая попытка изменить цвет бровей неизбежно обнаружится при близком рассмотрении. Дэчери не мог пойти на такой риск. Он не актер, которого видят только издали, на сцене, он ходит среди людей, его могут разглядеть вблизи. Стало быть, надо искать женщину с темными бровями, по всем вероятиям смуглую брюнетку. Какой у Дэчери цвет кожи — не сказано, но ясно одно: если снять с него парик, под ним окажутся темные волосы.

Теперь разберем другие его характерные черты. Дэчери обладает редкой выдержкой, это смелый, решительный, уверенный в себе человек, хотя и прикидывается «старым лентяем, праздно живущим на свои средства». Он прямо идет к человеку, подозреваемому в зверском убийстве, и встречается с ним лицом к лицу. Он не боится себя выдать, не думает об опасности. Весь его план так хорошо подготовлен, все его действия так обдуманы, как будто ему уже не в новинку играть роль. Он непринужденно разговаривает с Джаспером, он точно

знает, как вести себя с тупоголовым и падким на лесть мистером Сапси; он для всякого находит нужный тон и не испытывает никаких колебаний. Он и с ворчуном Дёрдлсом умеет обойтись и с бродяжкой Депутатом держаться по-товарищески. Женщина, которую мы ищем, должна обладать всеми потребными для этого качествами.

Дэчери похож на военного, ловок в обращении, у него изящные манеры, свободная походка. Женщина, которую мы ищем, должна быть статной, вероятно красивой, живой, смышленой, увлеченной своим делом, но способной на большое самообладание и терпеливой. Злопамятной она может быть и страстной, но порывистость ей чужда, и цель ее скорее справедливость, чем просто месть.

Дэчери хорошо знает Клойстергэм — его усиленные старания показать обратное это подтверждают. Ему необходимо, чтобы все видели в нем чужака и чтобы Джаспер, в особенности, не заподозрил в нем какого-либо знакомства с делом Эдвина Друда. Как бы он ни был убежден в виновности Джаспера, ему еще предстоит добывать улики; если бы не это, он мог бы действовать быстро. Но единственный открытый для него путь — это медленно, осторожно, тайно наблюдать за преступником, напасть на след и пройти по нему до конца, остерегаясь малейших промахов. Такое дело человек может взять на себя только, если у него есть сильные личные побуждения, перевешивающие мысль об опасности — например, желание спасти тех, кто в свою очередь могут стать жертвами убийцы. А жертвы эти в данном случае — Невил Ландлес, на которого воздвигнуто несправедливое обвинение, угрожающее его жизни; и Роза, которая подвергается безжалостному преследованию, угрожающему ее счастью. Очевидно, Дэчери это кто-то тесно связанный с ними обоими, кому они дороги, кто не пожалеет себя ради их спасения.

Есть ли в романе женщина, к которой подходят все эти характеристики? Высокая, темноволосая, красивая, с живым умом, с безупречным самообладанием, с решительным и бесстрашным нравом? Женщина, которая ненавидит Джаспера и любит Невила и Розу? У которой хватит терпения и мужества, чтобы тягаться с умным преступником, полным коварства и злобы? Женщина, умеющая играть роль и уже знакомая со всеми хитростями переодевания? Женщина, у которой есть достаточные побудительные мотивы для желания разоблачить

подозреваемого злодея, оправдать невинных, спасти преследуемых? Которая готова пожертвовать собственной жизнью во имя чести одного и счастья другой? Да, такая женщина в романе есть; автор наметил ее с самого начала и последовательно проводит эту линию до конца.

Ее образ всегда перед нами, хотя сама она редко появляется на сцене. Ее немногие слова всегда звучат в наших ушах, хотя сама она говорит редко. Умелый драматург подготовляет нас к появлению главного героя, заставляя других говорить о нем и этим возбуждать ожидания. Точно так же поступает и Диккенс: и пока эта женщина, предназначенная для главных действий, медлит на заднем плане, другие описывают ее так, что у читателя не остается сомнений в ее способности выполнить то, для чего она избрана автором.

Высокая, красивая, цыганского типа, девушка с массой кудрявых волос и темными глазами — так ее нам неоднократно описывают. Девушка с горячей кровью, но безупречно владеющая собой. Девушка властная и гордая. «На редкость красивая, стройная девушка, почти цыганского типа, черноволосая, со смуглым румянцем; чуть-чуть с дичинкой, какая-то не ручная; сказать бы, охотница — но нет, скорее это ее преследуют, а не она ведет ловлю. Тонкая, гибкая, быстрая в движеньях; застенчивая, но не смирная; с горячим взглядом; и есть что-то в ее лице, в ее позах, в ее сдержанности, что напоминает пантеру, притаившуюся перед прыжком» (глава V). Вот первый набросок. «Застенчивая, но не смирная» — истинная женщина, пока с ней мягки, но отважная и неукротимая, если ее раздражить. У нее несчастливая юность. В детстве с ней поступали жестоко, отчим бил ее хлыстом как собаку, и все же она «скорее дала бы разорвать себя на куски, чем обронила перед ним хоть одну слезинку». Этой женщине Роза, под первым впечатлением от нее, говорит: «Вы такая сильная и решительная, вы можете одним пальцем меня смять. Я ничто рядом с вами». И пока они разговаривают, эта женщина обращает на Розу «властный, испытующий» взгляд.

Многое свидетельствует о ее необычайных духовных силах. Она легко учится сама и учит других, она оказывает на людей влияние. Ее привязанность к Розе глубока и постоянна. Таково же ее отвращение к Джасперу, чей истинный характер она прозрела с первого взгляда. Она готова пойти против всего и всех, чтобы вызволить Розу из его когтей. Она видит, что

нежная беспомощная сиротка боится этого человека и его зловещих повадок. «При таких же обстоятельствах, пожалуй, и вы бы его испугались?» — говорят ей. «Нет. Ни при каких обстоятельствах»,— с ударением отвечает она. А после того как Джаспер, уверенный в своей безопасности, стал домогаться Розы, эта женщина выразила силу своих чувств в следующих словах: «Ты знаешь, милочка, как я тебя люблю, но я скорее согласилась бы увидеть тебя мертвой у его ног...»

Но еще до всего этого, еще гораздо раньше, Диккенс уже подал нам знак, уже намекнул, для какой роли предназначена эта женщина. В тот вечер, когда Роза пела, а Джаспер одним своим присутствием и своими взглядами довел ее до обморока, напуганная девушка ищет защиты у своей новой подруги — и вот что об этом сказано: «Яркое смуглое лицо склонилось над прижавшейся к коленям подруги светлой головкой, густые черные кудри, как хранительный покров, ниспали на полудетские руки и плечики. В черных глазах зажглись странные отблески — как бы дремлющее до поры пламя, сейчас смягченное состраданием и нежностью. Пусть побережется тот, кого это ближе всех касается!»

Это не только ясный сигнал само по себе, это еще напоминает нам о присущей Диккенсу творческой манере — заранее, иногда очень задолго, предсказывать подготовляемую им развязку. Всякий, кто штудировал его книги, без сомнения замечал, как у него в момент кульминации вдруг вновь всплывает какая-нибудь ранее сказанная фраза, неоднократно повторявшийся жест, характерная черточка. Стирфорс спит, закинув руку за голову,— в этой же позе он лежит, когда его находят мертвым. Мистер Честер умирает с той же насильственной улыбкой на лице, под которой он при жизни скрывал свою жестокость. Орудия судьбы тоже отмечены заранее. Мы наперед знаем, каким образом кара настигнет Джонаса Чезлвита, что приведет Сайкса к гибели, как Ральфа Никльби заманят в ловушку, кто уготовит Веггу его позорный конец. Диккенс любил в нужный момент выпускать на сцену некоего «носителя рока». Началось это еще с безвестного Брукера в «Николасе Никльби», но самый яркий пример — это Неджет в «Мартине Чезлвите». К той же категории принадлежат Компейсон в «Больших надеждах», мисс Маучер, благодаря которой совершается арест Литтимера, Риго в «Крошке Доррит» и Бицер в «Тяжелых временах». Можно назвать еще и других. Сами они могут быть

хороши или плохи, симпатичны или отвратительны, но все они предназначены на роль Немезиды в тех драмах, в которых участвуют, и они выполняют возложенную на них миссию. Наилучшую иллюстрацию этого диккенсовского приема — заранее в скрытой форме предрекать развязку — мы видим в «Повести о двух городах», в том месте, где Сидней Картон говорит Люси Манетт: «О мисс Манетт, когда в личике малютки, прижавшемся к вам, вы будете находить черты счастливого отца, когда в невинном создании, играющем у ваших ног, вы увидите отражение собственной светлой красоты, вспоминайте иногда, что есть на свете человек, который с радостью отдал бы жизнь, чтобы спасти дорогое вам существо». Это полная аналогия с тем, что сделано в «Эдвине Друде»: если Сидней Картон явно намечен для своей решающей роли, то женщина, о которой идет речь, столь же явно намечена для своей: «Пусть побережется тот, кого это ближе всех касается!»

В самом стиле Диккенса, в его творческом методе находим мы опору, когда утверждаем, что вершительница возмездия в трагедии Эдвина Друда с первых же глав предуказана автором. В критический момент она выступит из безвестности, в которой пока пребывает. Ее внешний облик мы установили — это черноволосая женщина с темными глазами, статная, красивая, обходительная. Ее сила воли нам известна. Ее побудительные мотивы понятны. А теперь мы имеем еще и прямое указание автора.

Имя этой мстительницы — Елена Ландлес.

ГЛАВА VI

Доказательства

«Интерес будет непрерывно возрастать с самых первых строчек»,— уверял Диккенс Джона Форстера. Теперь, когда мы назвали Елену Ландлес как единственно возможного кандидата на роль Дэчери, мы обязаны показать, что это предположение согласуется со всем, что нам открыл из своего замысла автор, что оно лучше всех других разъясняет загадочные места и приводит роман к наиболее правдоподобному окончанию.

Елена — сестра человека, заподозренного в убийстве. Тень,

которая легла на него, омрачает и ее собственную жизнь. Можно ожидать, что первой ее заботой будет изжить общее недоброжелательство и рассеять сомнения. Это самое она и делает, и делает успешно, несмотря на все трудности. Когда Невил уехал в Лондон, она осталась в Клойстергэме. И вот какие черты ее характера выделяет мистер Криспаркл, говоря об этих днях с Невилом:

«Ваша сестра научилась властвовать над своей гордостью. Она не утрачивает этой власти даже тогда, когда терпит оскорбления за свое сочувствие к вам. Без сомнения, она тоже глубоко страдала на этих улицах, где страдали вы. Тень, падающая на вас, омрачает и ее жизнь. Но она победила свою гордость, не позволила ей стать надменностью или вызовом, и ее гордость переродилась в спокойствие, в незыблемую уверенность в вашей правоте и в конечном торжестве истины. И что же? — теперь она проходит по этим самым улицам, окруженная всеобщим уважением. Каждый день и каждый час после исчезновения Эдвина Друда она бестрепетно, лицом к лицу, встречала людскую злобу и тупость — ради вас — как гордый человек, знающий свою цель. И *так будет с ней до конца.* Иная гордость, более хилая, пожалуй, сломилась бы, не выстояла, но не такая гордость, как у вашей сестры,— гордость, которая ничего не страшится и не делает человека своим рабом... Она истинно мужественная женщина». Эта высокая похвала служит еще лишним указанием на значительность роли, которую предстоит сыграть Елене, а также объясняет, почему эта роль на нее возложена.

Между братом и сестрой существует полное взаимное понимание. Даже без слов они знают, что каждый думает и как он поступит. Психологически они едины, хотя и имеют раздельное существование. Елена сильнее Невила и подчиняет его себе — вот вся разница между ними. У них нет тайн друг от друга, их склонности одинаковы. Чего хочет один, того хочет и другой, что один замыслил, то другой спешит воплотить в действие. Горе Невила становится горем Елены, надежды Невила — ее собственными надеждами. Что он хотел бы сделать, то она делает.

«Вы не знаете, сэр,— говорит Невил,— как хорошо мы с сестрой понимаем друг друга — для этого нам не нужно слов, довольно взгляда, а может быть, и того не надо. Она не только испытывает к вам именно те чувства, какие я описал, она уже

знает, что сейчас я говорю с вами об этом» (глава VII). И когда, непосредственно вслед за этим разговором, брат и сестра встречаются, мистер Криспаркл видит наглядное подтверждение их внутренней близости: «в быстром ее взгляде, обращенном к брату, сверкнуло то мгновенное и глубокое понимание, о котором только что говорил Невил».

А еще раньше, описывая их взаимоотношения, Невил произносит фразу, в которой тоже заключено скрытое пророчество: «Когда я буду говорить о своих недостатках, сэр, пожалуйста, не думайте, что это относится и к моей сестре. Сквозь все испытания нашей несчастной жизни она прошла нетронутой. Она настолько же лучше меня, насколько соборная башня выше вон тех труб!» Какую бы роль ему ни предстояло выполнить, роль его сестры будет более значительной: грядущие события уже отбрасывают на них свою тень.

Эта общность чувств и стремлений брата и сестры многое объясняет. Становится, например, понятным один эпизод из их прошлой жизни, который надо рассматривать как уменьшенное изображение того, что произойдет в дальнейшем.

«Никакая жестокость не могла заставить ее покориться, хотя меня частенько смиряла,— говорит Невил мистеру Криспарклу.— Когда мы убегали из дому (а мы за шесть лет убегали четыре раза, только нас опять ловили и жестоко наказывали) — всегда она составляла план бегства и была вожаком. *Всякий раз она переодевалась мальчиком и выказывала отвагу взрослого мужчины.* В первый раз мы удрали, кажется, лет семи».

Из всех сигналов, какие автор зажигает перед нами, это самый яркий. Это заблаговременное объяснение всего, что может произойти. Это грубая наметка дальнейшего развития событий. Это миниатюрная картинка, которая потом будет расширена и усложнена. Девочка в семь лет составляла план бегства, переодевалась мальчиком, выказывала отвагу взрослого мужчины. Так уж, наверно, в двадцать лет, движимая сильнейшим побудительным мотивом, она захочет и сумеет снова проявить отвагу взрослого мужчины. А для Дэчери, выслеживающего каждый шаг Джаспера, нужна поистине неукротимая отвага.

Достигнув желаемого в Клойстергэме и сделав, таким образом, в своем лице все, что можно, для брата, она уезжает в Лондон. С этой минуты над ней как бы опускается занавес. Нам внушают, что она в Лондоне, но это ниоткуда не видно.

Поехать она поехала, но осталась ли там? Если она временами исчезала, Невил, с которым у нее такое глубокое взаимопонимание и такая общность чувств, конечно, сберег ее тайну. Это естественно для него, и такую линию он бы и вел. Кроме него, один только мистер Грюджиус знал о ее действиях; что он был в курсе всего происходящего, видно из многих мест в книге. Да и сама логика вещей требует, чтобы Грюджиус и Елена действовали совместно. Он следил за Джаспером в Лондоне, видимо знал, когда его можно там ожидать, и считал чрезвычайно важным не выпускать его из глаз. Тем более важно было следить за ним в Клойстергэме, и непохоже, чтобы Грюджиус, опытный юрист, этого не понимал. Джаспер большую часть времени проводил в Клойстергэме, его наезды в Лондон могли быть лишь кратковременны и случайны, и, конечно, Грюджиус не удовлетворился бы до тех пор, пока наблюдение не было бы установлено и тут и там. Мистер Грюджиус знал, что делает Елена, он находился в постоянном контакте с ней, на это есть множество указаний. Ей даже трудно было бы скрыть от него свои передвижения из-за соседства их квартир, но и помимо этого, по многим причинам им было выгодно довериться друг другу и действовать заодно. В случае надобности Елену можно было вытребовать в Лондон — дорога заняла бы лишь несколько часов — и это, вероятно, было одним из соображений, по которым она не остригла волосы (как делала ребенком), а прибегла к помощи парика. Впрочем, надо полагать, тут действовало еще и другое соображение: красивой девушке, влюбленной в каноника Криспаркла, не хотелось обезображивать себя, пока можно было обойтись иными средствами. В главе XX Диккенс вводит одну подробность — мелкую, но, как всегда у него, нагруженную значением,— с помощью которой он намекает на наличие связи между Грюджиусом и Еленой Ландлес.

Когда Роза бежала в Лондон после дерзких признаний и темных угроз Джаспера, мистер Грюджиус в тот же вечер показывает ей из своего окна, где живут Невил и Елена. «Можно мне завтра пойти к Елене?» — спрашивает Роза. Нет, собственно, никаких причин, почему бы ей нельзя было пойти. До их квартиры два шага; Розу и Елену связывает нежная дружба: никакой опасности в их свидании нет, а выгода от него очевидная. И тем не менее эта невинная просьба вызывает у мистера Грюджиуса странную реакцию: «На этот вопрос,— говорит он

неуверенно,— я вам лучше отвечу завтра». По ходу действия совершенно безразлично, будет ли дан ответ сегодня или завтра. Но если автор хотел подать нам какой-то скрытый намек, то и эта отсрочка и сугубая осторожность мистера Грюджиуса — очень ловкий прием. Почему, в самом деле, мистер Грюджиус откладывает свой ответ? Объяснение может быть только одно: мы по этому пустячку должны догадаться о весьма важном факте: *Елены сейчас нет в Лондоне*. Но на другой день она вернулась — и мистер Грюджиус немедленно признает необходимым, «чтобы мисс Елена узнала из уст мисс Розы о том, что произошло и чем ей угрожают». Удивительная перемена взглядов всего за какие-нибудь двенадцать часов!

Но Диккенс все время боится выдать свой секрет, сказать слишком много; поэтому, роняя подобные намеки, он тут же снабжает их «объяснениями». На сей раз объяснение таково: Грюджиус, видите ли, колеблется потому, что Джаспер шпионит за Невилом и Еленой. Но ведь это соображение не могло отпасть за ночь — оно одинаково весомо что наутро, что накануне вечером. Реально тут только желание Грюджиуса, чтобы Елена все узнала — и это лишний раз подтверждает, что они работают сообща. Поведение Елены в этом эпизоде тоже не мешает рассмотреть повнимательнее. Она мгновенно придумывает, как расстроить планы Джаспера, и только осведомляется, что лучше — «подождать еще каких-нибудь враждебных действий против Невила со стороны этого негодяя — или постараться опередить его?» Иными словами, она вполне готова действовать — не начать борьбу, а даже закончить ее, если нужно. На минуту Диккенс показывает ее нам в этом качестве, а затем убирает ее со сцены. После этого знаменательного разговора Елена исчезает со страниц романа. Зато Дэчери вновь появляется в Клойстергэме!

Теперь пересмотрим сызнова все особенные черточки Дэчери, ибо в них заключены кое-какие косвенные указания, которые Диккенс сообщает как бы мельком, предоставляя нам либо принять их в расчет, либо отбросить — по желанию [1].

Манера Дэчери встряхивать волосами и носить шляпу под мышкой уже дала нам первый ключ к его опознанию. «Я зайду к *миссис* Топ»,— с живостью говорит он, когда ищет квартиру,

[1] По этому поводу можно выдвинуть возражение, что ни одна женщина не заказала бы для себя той еды, из которой состоят описанные в романе трапезы Дэчери: «Жареная камбала,

хотя его направляли к *мистеру* Топу: женщина, естественно, предпочитает вести переговоры с хозяйкой, а не с хозяином. А когда Дэчери ночью возвращается домой и видит горящий в окне у Джаспера красный свет, его «задумчивый взгляд обращается к этому маяку и сквозь него еще куда-то дальше». Почему «задумчивый» и что лежит там «дальше»? Надежды Дэчери не сводятся лишь к успешному обвинению преступника. Есть для него еще «далекая гавань, которой ему, может быть, не суждено достигнуть», к которой он может приблизиться лишь «после опасного плавания». Любовь! Любовь, граничащая с обожанием,— к этой любви невольно обращается задумчивый взор одинокой женщины сквозь «остерегающий огонь», которым намечен ее нынешний опасный путь.

Курящая опиум старуха во второй свой приезд в Клойстергэм случайно встретилась с Дэчери. Когда она упомянула имя Эдвина Друда, Дэчери «покраснел» — «от усилий»,— поясняет Диккенс. Сообщить один голый факт, без комментариев, он не решается. Чуть приоткрыв путь, ведущий к разгадке, он спешит его замести.

На этой обманчивой книге следовало бы надписать: «Берегись объяснений!» Всякий раз, как Диккенс начинает что-то объяснять, он делает это не для того, чтобы помочь читателю, а чтобы увести его в сторону. Он говорит, что Джаспер носит шелковый шарф — «длинный черный шарф из крепкого крученого шелка, обмотанный вокруг шеи» — и тут же поясняет: это потому, что горло у него не совсем в порядке — запоздалое объяснение и неверное! Так и в эпизоде со старухой: когда Диккенс объясняет, что Дэчери покраснел «от усилий» — вот уж действительно грандиозное усилие — поднять с земли монетку! — он просто старается сбить нас со следа и уверить нас,

---

телячья котлетка и пинта хереса» в «Епископском Посохе» и «хлеб с сыром, салат и эль» у миссис Топ. Но это возражение отпадает, если вспомнить, что, во-первых, привычки в пище с тех пор сильно изменились, а во-вторых, Елене Ландлес, если она скрывалась под маской Дэчери, пришлось бы приспосабливаться к взятой на себя роли. Спросить чашку чаю значило бы сразу обнаружить свое женское естество: к тому же херес был в те времена самым дешевым и общеупотребительным напитком. Что же касается эля, то его пили даже школьники, как оно и описано во многих случаях у Диккенса, и то, что мог пить маленький Дэвид Копперфилд, конечно, не повредило бы здоровой молодой женщине. *(Прим. автора.)*

что никакой другой причины не могло быть — такой, например, как волнение при неожиданном известии.

Свое расследование Дэчери ведет именно так, как вела бы его Елена, предпочтительно перед всеми другими персонажами. Когда Сапси заговаривает о необъяснимом исчезновении Эдвина Друда, Дэчери тотчас задает вопрос: «Есть ли серьезные подозрения против кого-нибудь?» Он хочет знать все, что касается Невила Ландлеса, это его больше всего интересует. Едва познакомившись с Дёрдлсом, он спрашивает: «Вы, надеюсь, позволите любопытному чужестранцу как-нибудь вечерком зайти к вам, мистер Дёрдлс, и поглядеть на ваши произведения?» — и, получив утвердительный ответ, говорит: «Непременно зайду», и тут же уславливается с Депутатом, что тот его проводит. Цель его — выяснить, не знает ли Дёрдлс чего-нибудь; кроме того, женщина инстинктивно стремится обеспечить себе присутствие третьего лица. Дёрдлс, без сомнения, окажется каким-то звеном в цепи улик, хотя ему самому это пока неизвестно. Все его поведение показывает, что он не догадывается о важности того, что знает. Скрывать свою тайну он не будет — ему и невдомек, что он владеет какой-то тайной. Но весьма вероятно, что в роковой сочельник он опять слышал жалобный крик и опять счел его «призраком крика» и связал его со своим прошлогодним сном. Такого рода совпадения были одним из любимых приемов Диккенса. Также весьма вероятно, что безобразный мальчишка, поджидая Дёрдлса, по неизменному своему обыкновению, видел в ту ночь своего заклятого врага, Джаспера, и только не понял, какое это имеет отношение к тайне Эдвина Друда. Задача Елены — связать воедино все эти мелкие факты и накопить достаточно улик, что даст ей возможность обвинить Джаспера и спасти Невила и Розу.

К тому моменту, когда роман обрывается, то есть к его середине, она уже успела кое-что сделать, как показывают меловые черточки. Почему она прибегла к этому громоздкому способу записи? Если под видом Дэчери скрывалась женщина, она, конечно, ничего не могла писать от руки. Ее тотчас узнали бы по почерку [1]. Для записей, если они были нужны, ей пришлось бы придумать какой-нибудь другой, не столь изобли-

[1] В ту эпоху девочек обучали писать итальянским «заостренным» шрифтом с росчерками; мальчиков учили «круглому» шрифту. Разница между тем и другим очень заметная, и пол писавшего легко было определить. *(Прим. автора.)*

чающий способ. Меловые черточки на дверце буфета вполне удовлетворяли этому требованию. Может быть, Диккенс, вводя их, преследовал еще и какую-то другую цель, но этого мы не знаем и рассуждать об этом бесполезно. Достаточно того, что для женщины в роли Дэчери они были безопасны и позволяли одним взглядом обозреть, насколько подвигается вперед расследование. К тому дню, до которого доведено повествование, Дэчери сделал три записи. Расшифровать их можно следующим образом:

1. «Очень маленький счет» из нескольких неровных черточек, записанный Диком Дэчери до его встречи со старухой. Ничего существенного пока не добыто — Дэчери проделал лишь подготовительную часть работы; познакомился в новом своем обличье с Джаспером, Сапси, Дёрдлсом и Депутатом.

2. «Средней величины» черточка, которую он нанес после встречи со старухой. Эта встреча позволяла о многом догадываться, но дала так мало определенного и прямо идущего к делу, что Дэчери отметил ее лишь «не очень большой» черточкой.

3. «Толстая длинная черта от самого верха дверцы до самого низа», которую Дэчери наносит после того, как видел старуху в соборе. Дэчери установил, что старуха по каким-то причинам враждебна Джасперу, что она настойчиво его преследует, что «Нэд», которому по ее словам «угрожает опасность», как-то связан в ее представлении с Джаспером как носителем этой угрозы, то есть его потенциальным убийцей. Сразу столько важных сведений! Естественно, понадобилась «толстая» черта.

Но меня могут спросить: а как насчет голоса Елены? Разве Джаспер не узнал бы ее по голосу? Тут мы видим блестящий пример того, как Диккенс, предвидя опасность, заранее старается ее парировать. Во-первых, он несколько раз подчеркивает, что у Елены «низкий грудной голос», то есть такой, который, исходя от мужчины, не вызовет тотчас подозрения, что говорит женщина. Но ведь у Джаспера особо чувствительный слух, что уже было показано нам на эпизоде с ключами. «Низкий грудной» голос, если он был знаком Джасперу, неизбежно пробудит в нем воспоминания. И тут обнаруживается очень любопытное обстоятельство. Как явствует из рассказа, Елена и Джаспер до сих пор только один раз встречались лицом к лицу (в главе VII) и, что особенно важно, не обменялись при этом ни единым словом. Она стояла, обняв Розу за талию, и смотрела

на Джаспера, сидевшего за пианино. Когда Роза упала в обморок и Елена ее подхватила, Джаспер остался сидеть на том же месте. Затем Эдвин Друд говорит Елене: «При таких же обстоятельствах, пожалуй, и вы бы его испугались?» — и Елена отвечает: «Нет. Ни при каких обстоятельствах»,— многозначительный ответ, который должен послужить сигналом читателю и предостережением Джасперу. Джаспер это слышит, хотя слова обращены и не к нему, и вскоре после того уходит.

Эта единственная фраза, произнесенная Еленой в его присутствии, застрянет у него в ушах и в решительный момент всплывет в его памяти. Но едва ли четыре слова, сказанные в сторону, могли так уж хорошо ознакомить его с голосом Елены, и к тому времени, когда появляется Дэчери, если не самые слова, то звучание их, вероятно, уже забылось. Таким образом, на вопрос о голосе Елены сам автор дал ясный и исчерпывающий ответ. Но представим себе, что Дэчери это не Елена, а, скажем, Друд или Грюджиус? Они тотчас выдали бы себя в разговоре. Голос, в противоположность лицу, нельзя изменить надолго, и тот факт, что голос «старого холостяка» не был узнан человеком с натренированным музыкальным слухом, позволяет нам твердо сказать, кем Дэчери *не мог* быть [1].

Итак, доказательства в пользу нашей теории попутно оказываются разрушительными для всех прочих теорий. Остается посмотреть, действительно ли роман, с Еленой Ландлес в роли Немезиды, увенчается неожиданным и драматически ярким финалом.

ГЛАВА VII

Третья тайна: старуха, курящая опиум

Придется немного отвлечься в сторону, чтобы разобрать один вопрос, которого мы до сих пор не касались.

Первые две тайны, как теперь выяснилось, тесно переплe-

---

[1] По мнению сэра У. Робертсона Николла (которое Чарльз Уильямс приводит в своих «Приложениях» к «Эдвину Друду»), эта версия — Елена Ландлес в роли Дэчери — сейчас представляется наиболее убедительной. Однако у некоторых (Э. Ланга, Г. К. Честертона) она все же вызывает сомнения, так как, на их взгляд, снижает поэтический образ Елены Ландлес. *(Прим. перев.)*

тены, и нельзя распутать нити одной, не задев при этом нитей другой. Третья тайна, хотя и не совсем от них обособленная, решается независимо; она, во всяком случае, не имеет отношения к судьбе Эдвина Друда и к личности Дэчери. Отличается она еще и тем, что Диккенс не дал к ней никакого ключа, так что тут мы можем только гадать. Можно сказать одно: Диккенс, этот взыскательный художник, так заботившийся о том, чтобы все до единой детали служили развитию действия, не стал бы так подробно описывать этот персонаж, если не собирался дать ему какую-то роль в развязке и включить его в число тех неожиданностей, которые уготованы читателю в конце. Все приводит нас к мысли, что, независимо от того, что делают другие для обвинения Джаспера, старуха тоже окажет влияние на его судьбу. Интрига в романе, как ее задумал Диккенс, вероятно, лишь тогда примет законченный вид, когда мы отведем старухе надлежащее место, узнаем, кто она, и поймем, по каким побуждениям она совершает свои странные поступки. И хотя авторских указаний тут никаких нет, все же, зная приемы Диккенса и внимательно проследив общее направление действия, мы решаемся высказать кое-какие предположения.

Об этой женщине нам известно следующее: Джаспер посещал ее притон в Лондоне; она пыталась узнать, кто он такой, и проследила его до Клойстергэма; там она встретилась с Друдом и предупредила его об опасности, которая, по ее смутным догадкам, угрожала «Нэду»,— надо думать, Джаспер что-то об этом выболтал, пока спал, накурившись опиума; она опять, уже после исчезновения Эдвина Друда, отправилась в Клойстергэм следом за Джаспером, полная решимости «не упускать его на этот раз»,— в его сонных признаниях при втором посещении притона она уловила какие-то намеки на страшную участь его «товарища по путешествию», и это, видимо, удвоило ее рвение; в этот второй приезд она встретилась с Дэчери; судя по ее жестикуляции в соборе, где она подглядывала за Джаспером, она питает к нему неукротимую ненависть; в последнем разговоре с Дэчери она заявила, что знает Джаспера лучше, «чем все эти преподобия вместе взятые».

Все ее поведение — упорная слежка за Джаспером, попытки выманить у него уличающие признания, жадное внимание, с каким она слушает его сумбурные речи,— все говорит о преднамеренности и о сильных внутренних побуждениях.

Эта старуха взята Диккенсом из жизни.

Форстер передает рассказ Филдса о том, как однажды они с Диккенсом посетили лондонские трущобы: «В нищенской каморке мы увидели изможденную старуху, которая раздувала самодельную трубку, состряпанную из маленькой чернильной склянки; и слова, вложенные Диккенсом в ее уста в «Эдвине Друде», мы сами от нее слышали, пока, склонившись над расхлябанной кроватью, на которой она лежала, прислушивались к ее сонному бормотанью». Это происходило осенью 1869 года, и Диккенс, конечно, сразу увидел, как можно использовать столь колоритный персонаж в романе, который он тогда обдумывал. Эта старуха, по прозвищу «Матросская Салли», была еще жива в 1875 году. Ее конкурент-китаец, предмет ее постоянной зависти, тоже реальное лицо: это Джордж А-Син, содержавший притон на Корнуэлл-роуд. Он умер в 1889 году.

О том, какого рода связь существует между старухой и Джаспером, можно только догадываться. Не подлежит сомнению, что она должна стать каким-то важным и, может быть, даже решающим фактором в развязке. Но главная ее цель, когда она преследует Джаспера, не в том, чтобы обвинить его в убийстве Эдвина Друда. Еще в самом начале, когда мы впервые видим Джаспера в ее притоне, она уже враждебна ему и, как мы узнаем впоследствии, притворяется спящей, чтобы тайком подсматривать за ним. Несколько позже, приехав в Клойстергэм, она встретила Эдвина Друда и сказала ему: «Я приехала сюда искать иголку в стоге сена, ну и не нашла». Искала она Джаспера. Она знала, что он живет где-то поблизости, но упустила его. Друд в это время еще жив, так что цель ее поисков, очевидно, иная. Однако уже и тогда она знала, что «Нэд» — опасное имя». У нее в руках какие-то сведения, о ценности которых она пока не имеет представления,— но когда-нибудь она станет грозной свидетельницей против Джаспера.

После убийства она опять разыскивает Джаспера в Клойстергэме. Она подслушала его бессвязные разговоры в курильне, его рассказ о «путешествии» с каким-то родственником; она услышала от него, что он уже сделал то, что «хотел сделать», и что «когда оно совершилось, его словно и делать не стоило, все кончилось так быстро!» Он рассказал ей о своих видениях и кончил полным ужаса восклицанием: «И все-таки... все-таки вот *этого* я раньше никогда не видел!» Она пыталась заставить его еще говорить, но его речь стала невнятной. Она ненавидит этого человека, перед которым раболепствует, она жаждет ото-

мстить ему. Но по каким-то личным причинам. Эдвин Друд ей чужой, и его судьба сама по себе ее не интересует.

Кто же она, в таком случае? То, что я теперь скажу, только догадка, так как Диккенс не дает конкретных фактов. Но если вспомнить, что во всей книге не сказано ни слова о прошлом Джаспера — мы ведь так и не знаем, ни кто он, ни откуда, ни какого происхождения; кроме племянника, у него нет ни души родных; если вспомнить, что он одновременно преступник и человек талантливый; если вспомнить его нравственный облик — его вкрадчивые манеры, его лживые уверения в любви к Эдвину, его хитрость и коварство, его бессердечие и его упорство в преследовании своих целей; и, особенно, если учесть, что куренье опиума — *наследственный* порок, который редко приобретает власть над *молодым* человеком, если у того нет врожденной склонности,— тогда, быть может, не покажется слишком диким предположение, что Джаспер был незаконным отпрыском этой самой, курящей опиум, женщины, чей характер повторяется в нем, и, возможно, человека с преступными задатками, но занимавшего более высокое положение. Сам Джаспер уже в молодых годах обнаруживает черты извращенной и больной психики, он — смесь гениальности и порока. Он одинаково страстно любит и ненавидит, как будто в жилах у него есть капелька знойной цыганской крови. По внешности образец приличий и преданности своему искусству, он горько жалуется на «иссушающую скуку» своих повседневных занятий, на «унылое однообразие» своего существования. Свое преступление он совершает со свирепостью дикого зверя, его натура осталась неукрощенной. Если мы скажем, что отец его был бродягой и искателем приключений, мы вряд ли сильно ошибемся. Если мы предположим, что его матерью была эта самая, преждевременно состарившаяся, курильщица опиума, мы почти наверняка будем правы.

Цель ее от нас скрыта. Но как напрашивается такое, например, объяснение: отец, может быть, гордый и красивый человек, бросил свою любовницу и забрал ребенка. Она ненавидит обоих за то, что они ее отвергли, но отец умер или исчез, он недосягаем для мести. Как вдруг сын, жертва порочных влечений, заложенных в его крови, сам приходит к ней в курильню. Он не подозревает, что перед ним его мать, но она сразу его узнала. Так пусть же сын пострадает за грехи отца, разбившего ее жизнь! Это тема во вкусе Диккенса. Но утверж-

дать тут ничего нельзя. Да и не это в конце концов главное, а то, что старуха послужит бессознательным орудием правосудия: она доставит одну из тех косвенных улик, с помощью которых возмездие настигнет Джаспера.

Можно предложить другую версию — по той же линии, что с Каркером в «Домби и сыне». Джаспер, распутник, отмеченный печатью вырождения, похотливый и бессердечный, мог обмануть и погубить дочь старухи. Но вряд ли Диккенс стал бы повторять здесь историю миссис Браун.

Для нас достаточно того, что эта женщина должна стать связующим звеном разрозненных нитей очень сложной интриги. Попутно она помогает нам решить вопрос о Дэчери — а именно, лишний раз убедиться, что Дэчери не Друд. Рассмотрим все это подробнее.

Друд знал эту старуху, и даже очень хорошо, ибо он видел ее в таком же припадке, как в свое время Джаспера. При их встрече в Монастырском винограднике он «смотрит на нее в испуге. «Боже мой! — мысленно восклицает он.— Как у Джека в тот вечер!» Она предупредила его об опасности, угрожающей «Нэду», и он решил рассказать об этом Джеку, «который один зовет его Нэдом», как о странном совпадении. Он дал ей денег на покупку опиума. Если Дэчери не кто иной, как Друд, то при второй их встрече, полгода спустя, он, конечно, тотчас узнал бы женщину столь необычной внешности и понял бы, что она как-то связана с человеком, который пытался его убить. Но Дэчери ее не узнает. Друд немедленно вспомнил бы о ее предостережениях, связал бы их с последующим покушением Джаспера на его жизнь и оценил бы важность такой улики. Меж тем Дэчери, даже когда женщина упомянула имя Джаспера, не проявляет к ней особого интереса. Он даже не знает, что она курит опиум, как и Джаспер. И только когда она сама ему об этом говорит, он, «вдруг изменившись в лице, вперяет в нее острый взгляд». Друд не изменился бы в лице, услышав то, что ему уже шесть месяцев известно. Но для Дэчери это полная неожиданность и важное сведение; оно его взволновало; и волнение его еще возросло — настолько, что он уронил монету, когда женщина добавила, что «в прошлый сочельник — роковой день! — молодой джентльмен дал ей три шиллинга шесть пенсов... а имя этому молодому джентльмену было Эдвин». Если бы перед ней в эту минуту был сам Эдвин, он не стал бы задавать ей до нелепости ненужный вопрос: «А от-

куда вы знаете его имя?» Он бы промолчал. Но Дэчери поражен таким оборотом событий. Он узнал что-то новое, хотя и неизвестно куда ведущее, и поэтому в конце дня, разглядывая свой «пока еще очень маленький счет» из меловых черточек он прибавляет к нему «средней длины черту». «Это, пожалуй все, на что я имею право»,— поясняет он, и в его положении это совершенно правильная оценка. Эдвин Друд не мог бы прибавить такую черту, ибо для него в рассказе старухи не было ничего нового. Но на другой день Дэчери видит гневные жесты старухи в соборе, убеждается в ее активной враждебности к Джасперу — это уже нечто определенное, не одни только подозрения — и он прибавляет к счету «длинную толстую черту». Этот счет «никому не понятен, кроме того, кто ведет запись, но все тут, как на ладони, и в свое время будет предъявлено должнику». Дэчери, объединив все наблюденные за последний день факты — приезд этой курильщицы опиума из Лондона на поиски другого курильщика опиума, ее ненависть к этому человеку, ее признание, что в роковой сочельник она виделась с Эдвином Друдом,— усматривает в этом какое-то пока еще неясное, но несомненное свидетельство против Джаспера. Эдвину Друду, если он остался жив и оправился после покушения, все эти факты и без того известны,— для Дэчери это новые и очень важные данные.

Теперь, собрав все, что нам удалось узнать, и все, о чем позволительно догадываться, мы можем с большой долей вероятия предсказать, каков должен быть, по замыслу Диккенса, финал этого романа и всех заключенных в нем тайн.

ГЛАВА VIII

От ключей к заключению

Пытаться, как делали некоторые, написать вторую часть «Эдвина Друда», подражая стилю Диккенса, это по меньшей мере дерзость, если не святотатство. Мы ограничимся тем, что, рассмотрев факты, описанные в первой части романа, постараемся указать, как должно было, по всем вероятиям, развиваться действие дальше и какое заключение наилучшим образом объяснит все, что происходило до этого, и свяжет концы с концами, оставив наименьшее количество «хвостов».

Форстер считает, что Диккенса несколько беспокоил ход действия в романе: он боялся, «не слишком ли рано он изложил события, ведущие к развязке, например, появление Дэчери в пятом выпуске (во всяком случае, он высказывал такие опасения своей свояченице)». Воспроизводя отвергнутую главу о мистере Сапси и клубе «Восьмерых», Форстер замечает, что Диккенс, возможно, хотел ввести новые действующие лица, чтобы отдалить развязку. Я не думаю, что клуб «Восьмерых» должен был служить такой цели; заключительная часть главы это всего-навсего черновой набросок диалога между Дэчери и мистером Сапси, вошедшего потом в главу XVIII. Другое дело Билликин и Баззард — они действительно занимают сцену, пока подготовляется выступление главных героев, и успешно тормозят действие.

Проктор показал нам, как должен был кончиться роман, если допустить, что Дэчери это Эдвин Друд. Но сравните этот бледный финал, при котором Эдвин только «одобрительно смотрит на счастье Розы и Тартара», с тем ярким финалом, который получится, если Эдвина в нем не будет; при котором, после того как Диккенс всячески старался внушить нам, что преступление Джаспера осталось незавершенным, мы вдруг узнаем, что преступление-то завершилось, но и улики против преступника все налицо! Если Друд погиб, Дёрдлс и Депутат нужны как свидетели; если он уцелел, они излишни. Представим себе также, какая это будет драматически сильная сцена, когда Дэчери, пожилой мужчина, преобразится в Елену Ландлес, молодую и прекрасную женщину, и она раскроет, казалось бы, непроницаемую тайну, до тех пор остававшуюся скрытой в сердце виновника.

Автору не трудно было описать убийство, пусть даже очень сложное. Трудно было подвести читателя к развязке, не открывая ему секрета раньше времени. Раскрыть карты — значило бы испортить книгу. Прямо указать на Елену Ландлес, как на исполнительницу роли Дэчери, значило бы разрушить тайну, ибо тогда мы знали бы наверняка, что Эдвина Друда нет в живых. А Диккенсу нужно было держать все это в неизвестности. Поэтому Елена Ландлес, хоть о ней и много говорят, сама все время остается на заднем плане. Когда Диккенсу кажется, что события развиваются слишком быстро, он отвлекает наше внимание на других действующих лиц, таких, например, как Билликин или Баззард. Он то и дело заметает следы. Либо ста-

рается, чтобы мы забыли то, что уже знаем, либо подталкивает нас на ложный путь.

Среди многих неожиданностей, которые готовятся читателю в конце, есть еще одна, и немаловажная: в этом романе без героя и с весьма сомнительной героиней, истинными героем и героиней, как по силе духа, так и по их роли в развязке, без сомнения, окажутся мистер Грюджиус и Елена Ландлес.

Если проследить, звено за звеном, всю цепь событий, показанных нам Диккенсом, то развязка будет иметь приблизительно такой вид:

Джаспер осуществил свой замысел; Эдвин Друд убит. Он погиб от руки своего дяди, жаждавшего завоевать любовь Розы. План убийства был обдуман до тонкости; вдобавок, одно случайное обстоятельство помогло убийце.

Накануне рождества Эдвин Друд и Невил Ландлес ужинали у Джаспера. В ночь разразилась буря; в порожденных ею сумятице, шуме и опустошениях Джасперу легче было незаметно совершить задуманное. В полночь оба молодых человека пошли к реке посмотреть на бурю. Мы ясно представляем себе, что было после того, как они расстались. Невил вернулся домой, путь Эдвина лежал в другую сторону, к арке над воротами. У собора Джаспер его перехватил — и тут начинается трагедия. Убийца действует неторопливо, обдуманно. Эдвин, возможно, уже заранее был опоен каким-то дурманящим снадобьем — Джаспер имел пристрастие к таким манипуляциям, да это и было ему нужно, осторожности ради. В соборе где-то спит Дёрдлс; как и в прошлый сочельник, он забрался туда, чтобы проспаться после выпивки. Снаружи во тьме где-то бродит этот дьяволенок, Депутат, поджидая Дёрдлса, чтобы прогнать его домой камнями. Так, по-видимому, предполагал Диккенс сгруппировать эти персонажи.

Буря свирепствует. Сквозь шум ветра доносится один-единственный, пронзительный, отчаянный крик — похожий на «призрак крика», похожий на «вой собаки». Черный шелковый шарф сдавливает горло жертвы. Но Дёрдлс услышал что-то — он сам не знает что, и Депутат видел что-то, чего не понял. Кто-то другой должен все это осмыслить и истолковать. Не сейчас. Впоследствии.

С этой ночи никто уже не видал Эдвина Друда.

Наутро Джаспер объявил о его исчезновении и тотчас же

постарался отвести подозрение на Невила,— тот ведь последним виделся с Друдом. Всяческими хитростями, полувысказанными намеками, подчеркиванием всех обстоятельств, сколько-нибудь неблагоприятных для Невила, Джаспер создает против него довольно убедительное обвинение, в котором не хватает только прямых улик. А затем без всяких колебаний — нет, даже с наглостью и вызовом — он открывает свои истинные чувства Розе. Он ничего не боится, так как знает, что Эдвин больше уж никогда не встанет на его дороге. Он не только объясняется Розе в любви, он открыто грозит ее друзьям. Оставайся у него хоть капля сомнений, он не посмел бы так себя разоблачить.

Но он знал, что Эдвин мертв и даже тело его обращено в прах негашеной известью. Он предусмотрительно снял с него все знакомые ему драгоценности и бросил их в реку как раз в том месте, где мистер Криспаркл, любитель купанья и отличный пловец, скорее всего их найдет. Он предвидел, что такая находка еще укрепит подозрения против Невила.

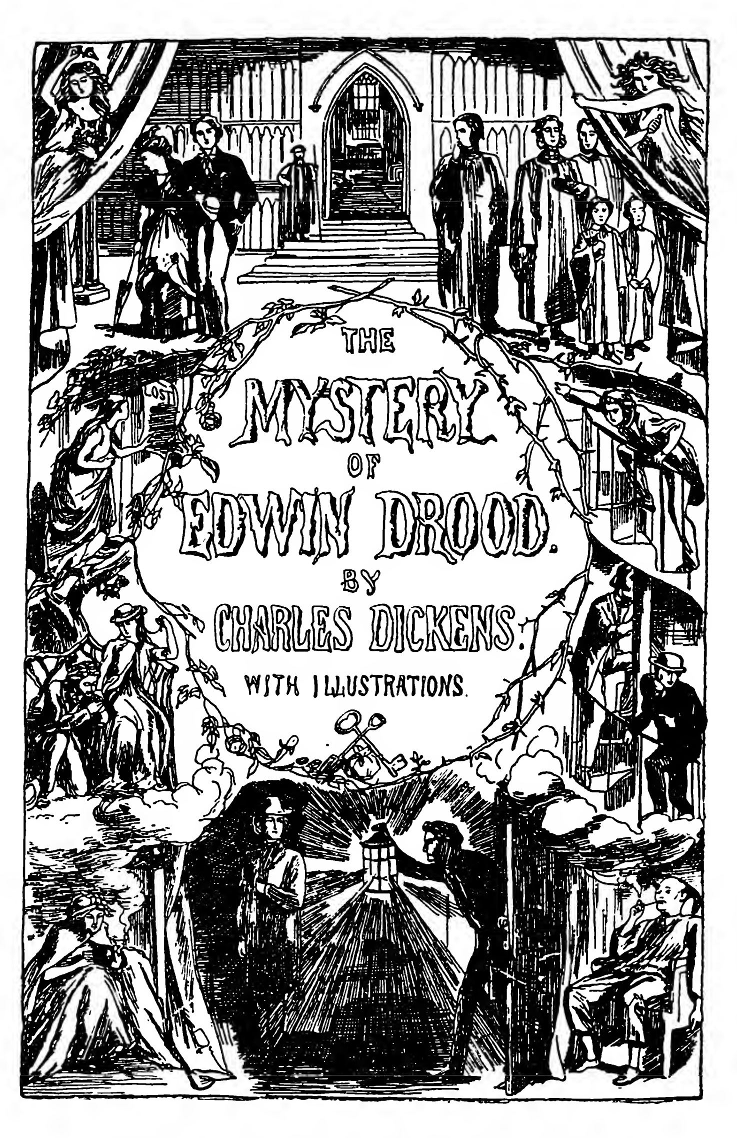
Но одна улика осталась. Грюджиус в свое время передал Эдвину обручальное кольцо, которое тот должен вручить Розе. Юноша оставил кольцо у себя. Он никому об этом не сказал. В сочельник кольцо было при нем. Джаспер не знал про это кольцо. Негашеная известь его не уничтожила. Оно лежит в склепе, где спрятано тело, и когда его найдут, оно-то и станет «цепью, выкованной в кузницах времени и случайности», «впаянной в самое основание земли и неба и обладающей роковой силой держать и влечь».

Проктор, в плену своей ошибочной теории, вынужден игнорировать этот факт; он заявляет, что цитированная выше фраза ничего не значит, незачем обращать на нее вниманье.

«Держать и влечь»! Трудно подыскать слова более значительные. Это кольцо будет крепко держать Джаспера, оно прикует его к совершенному им преступлению и повлечет его к гибели.

Но требуется чье-то вмешательство. Пока кольцо лежит в своем тайнике, оно бесполезно. Нужен человек, который возьмется наблюдать, выслеживать, мстить.

Трое этим заняты — Дэчери в Клойстергэме, Грюджиус в Лондоне и старуха в своей курильне, где она подслушивает сонные речи Джаспера. Диккенс явно подводил к тому, что преступник сам себя выдаст. Слова Джаспера о совершенном им «путешествии», о том, что в этом путешествии у него был спут-



Обложка 1-го издания «Тайны Эдвина Друда»

ник, о каком-то деле, которого и делать не стоило, о каком-то зрелище, которого он раньше никогда не видел, это, в сущности, уже признание, только его пока еще «нельзя понять» — одно из ключевых выражений в романе, которое впервые появляется в первой главе, а потом время от времени повторяется со странной силой. Дэчери должен подготовить почву для определенных выводов и ясного понимания. К тому времени, когда рассказ обрывается, Дэчери уже сделал несколько шагов по этому пути.

Первый намек, очевидно, будет исходить от Дёрдлса. При посещении Дэчери он расскажет ему, что в последний сочельник опять слышал «призрак крика» — и нетрудно будет доискаться, что по времени этот крик совпал с исчезновением Эдвина Друда. Второй намек подаст Депутат, который в ту ночь видел своего врага, Джаспера, вместе с кем-то другим возле собора, а, может быть, также видел, как Джаспер нес свою ношу по направлению к склепу миссис Сапси. Возможно, Депутат сумеет точно указать время, когда это произошло, или каким-либо другим способом — для этого у Диккенса есть разные приемы — выявить связь между тем, что он видел, и тем, что Дёрдлс слышал. Во всяком случае, теперь в руках у Дэчери будут две нити, он может их соединить. Преступник, время и место преступления — все уже известно.

Но где исчезнувшее тело? Дэчери сам не нападет на мысль о склепе миссис Сапси. Тут опять поможет Дёрдлс. Постукивая молотком, он заметит какую-то перемену; какую именно, мы не знаем, но он сразу поймет: в склеп кто-то лазил, надо это дело расследовать. Что еще при этом обнаружится — прибавилось ли что в склепе или убавилось — опять-таки неизвестно, но ясно одно: там найдут кольцо, то самое, которое Грюджиус передал Эдвину Друду. Опознать его нетрудно, да и Баззард подтвердит, как свидетель, что это кольцо было вручено мистером Грюджиусом Эдвину, и никому другому. Эдвин не надел его на палец Розе и не вернул его Грюджиусу; очевидно, к моменту исчезновения оно еще было при нем. Таким образом, для Дэчери тайна уже начнет проясняться.

Грюджиус, со своей стороны, может еще кое-что засвидетельствовать — например, потрясение, испытанное Джаспером при известии о разрыве помолвки. Что Грюджиус к этому моменту знал и о чем подозревал — не сказано, но самая его манера, когда он заговаривает с Джаспером, дальнейшее его обращение с ним и его решительное утверждение (в одной из

последующих глав), что Джаспер отъявленный негодяй, говорит о многом. Грюджиус может также рассказать о махинациях Джаспера в Лондоне — а там, где его показания кончатся, начнутся показания старухи.

Она следила за Джаспером по каким-то личным причинам, но попутно собрала материал, имеющий отношение к убийству. Джаспер, в свое последнее посещение курильни, начал уже что-то выбалтывать; он не остановится. А может быть, он уже заподозрил, что за ним следят — тогда, надо думать, развязка, по замыслу Диккенса, примет такую форму: под влиянием страха Джаспер возвращается в склеп, чтобы проверить, все ли следы преступления уничтожены,— и сталкивается лицом к лицу с Дэчери, который там его уже поджидает. Это один из любимых приемов Диккенса: мститель заманивает свою жертву туда, где ее постигнет возмездие[1]. То же самое мог сделать и Дэчери, и в этот острый психологический момент Джаспер был бы арестован. Именно такую нежданную встречу, уготованную убийце в склепе, где замуровано тело Эдвина Друда, изображает один из рисунков на обложке работы Коллинза. Эффект такой очной ставки был бы, конечно, ошеломляющим; можно не сомневаться, что для этой сцены Диккенс нашел бы самые яркие краски.

Обратимся теперь к уже упомянутым рисункам на обложке первоиздания «Эдвина Друда», факсимиле которой мы, с любезного разрешения издательства Чапмен и Холл, здесь воспроизводим. Они были выполнены Чарльзом Олстоном Коллинзом (братом Уилки Коллинза), который женился на Кейт, младшей дочери Диккенса, в 1860 году. Таким образом, между писателем и художником была близкая связь и, вероятно, полная договоренность.

Тут прежде всего надо отметить, что рисунки, видимо, делались по личным указаниям Диккенса, так как по крайней мере один из них касается эпизода, до которого повествование еще не было доведено. Этот рисунок, который мы более подробно опишем позже, изображает, надо полагать, заключительную сцену романа. Второе, что следует отметить, это что

---

[1] Пекснифа зазывают в дом Мартина Чеззлвита; Вегга разоблачают у Боффина; леди Дедлок умирает на могиле своего любовника; Сайкс заманивает Нэнси в западню; Эвремонда вызывают письмом в Париж — все это примеры сходного драматического построения. *(Прим. автора.)*

рисунки вполне удовлетворяли автора. «Чарльз Коллинз нарисовал превосходную обложку»,— писал Диккенс. По словам Форстера, Диккенс хотел и все иллюстрации поручить своему зятю. Это по разным причинам не удалось, тогда выбор пал на Люка Филдса.

Хотелось бы еще упомянуть об одном интересном лично для меня обстоятельстве. Когда я писал эту статью и излагал в ней свою теорию, я еще не видал рисунков Коллинза. Впервые я с ними ознакомился, когда моя статья уже была закончена, и оказалось, что они поразительным образом подтверждают выводы, к которым я пришел. Значение некоторых рисунков можно, конечно, толковать по-разному, но вот как я их понимаю:

Вверху на углах помещены символические фигуры Комедии и Трагедии или же Любви и Ненависти. Между ними — широкая сцена с собором на заднем плане, а ближе кпереди — основные действующие лица главной темы, слева Эдвин и Роза, справа снедаемый ревностью Джаспер. Лицо и поза Эдвина выражают равнодушие, взгляд устремлен вперед — не на женщину, идущую рядом с ним. Роза совсем отвернулась в сторону, ее омбрелька тащится по земле, голова уныло опущена. Так идут эти двое — рука об руку, но внутренне далекие друг от друга, юная пара, чья помолвка не стала союзом, а только путами, чья дружба так и не разгорелась в любовь. А на другой стороне — соборный регент, не в силах скрыть сжигающую его страсть, пожирает взглядом девушку, которую он любит, и юношу, которого он намеревается смести со своей дороги,— жертву, не ведающую об уготованной ей участи! И с этой же стороны, где стоит Джаспер, выглядывает из-за занавеса Атаподобная* фигура с всклокоченными волосами и обнаженным кинжалом в руке.

Вторая картинка слева — девушка, глядящая вдаль в какое-то пустое пространство с начертанными над ним словами: «Пропал без вести»,— не требует комментариев[1]. Эдвин исчез, Роза одна. Третья картинка слева перекликается с одной из иллюстраций Филдса, изображающей страстные и безудержные

---

[1] Вернее, девушка смотрит не в некое «пустое пространство», а на афишку с заголовком «Пропал без вести» — вероятно, одну из тех, которые решено было разослать по всем окрестностям (глава XV) с целью розысков Эдвина Друда. Ясно видны загибающиеся края этой афишки. *(Прим. перев.)*

признания Джаспера в любви к Розе, происходившие в саду. Еще ниже в углу — старуха курит опиум, и дым от трубки, поднимаясь вверх, клубится у ног Джаспера и Розы — довольно уместный в данном случае символ. А как раз напротив, в правом нижнем углу, тоже клубится дым — от трубки, которую курит Джек-китаец, и окутывает ноги Джаспера, поднимающегося по винтовой лестнице. Пары опиума подстилают всю «Тайну Эдвина Друда».

Две маленькие промежуточные картинки справа относятся к «странной экспедиции» Джаспера в собор совместно с Дёрдлсом, описанной в главе XII. Джаспер тогда поднимался на башню, и, пока они с Дёрдлсом отдыхали на ступеньках, Дёрдлс рассказал ему, как в прошлый сочельник слышал «призрак крика». После этого Джаспер «рывком встает на ноги», и оба «начинают взбираться по винтовой лестнице... среди тенет паутины и залежей пыли... пока их взорам не открывается, наконец, лежащий далеко внизу Клойстергэм... Поистине это очень странная экспедиция!»[1] Этот эпизод полон намеков на разные многозначительные обстоятельства, и в последних главах, будь они написаны, мы узнали бы, как Джаспер все эти обстоятельства использовал.

В середине помещено заглавие книги, окаймленное, с одной стороны, розами, с другой — терниями. Ветви скрещиваются вверху, а внизу изображен молоток, лопата и узелок с обедом Дёрдлса. Отходящие от розовой ветви побеги окружают на всех картинках Розу, тернии соответственно протягиваются к Джасперу; шипы угрожающе обращены вниз. Это законченная аллегория.

---

[1] Едва ли правильное истолкование. К «странной экспедиции» Джаспера и Дёрдлса, быть может, относится только нижняя из этих двух картинок, но и это вызывает сомнение. На верхней же изображено какое-то третье лицо. Проф. Генри Джексон («About Edwin Drood», Cambridge Press, 1911) полагает, что это опять-таки Джаспер, «глядящий в роковой канун рождества на *это*», то есть на сброшенное вниз тело умерщвленного Эдвина Друда,— сцена, которую Джаспер впоследствии вновь переживает в своих видениях в курильне (глава XXIII). Но ни поза, ни облик изображенного здесь человека с такой версией не согласуются. Он стремительным жестом указывает куда-то вперед, как человек, который ведет за собой других, а его нарочито косматая и, по-видимому, седая голова наводит на мысль, что это не кто иной, как Дэчери. Наиболее вероятно, что эта картинка изображает один из последних этапов в его розысках. *(Прим. перев.)*

Последний рисунок — в середине внизу — самый важный и самый выразительный. Человек с фонарем в руке входит в темное помещение. Лучи от фонаря падают на другую фигуру — очевидно, неожиданную для вошедшего. Фигура эта очень странная. Мужчина это или женщина в мужском платье? Может быть, это и есть таинственный Дэчери? Среди иллюстраций Филдса нет ни одной изображающей Дэчери, так что руководствоваться нам нечем. Но на этом человеке большая шляпа и наглухо застегнутый сюртук — именно те предметы одежды, которые особенно подчеркивает автор при описании внешности Дэчери. Но лицо у этого человека *молодое*. А взгляд выражает спокойное ожидание.

Если Джаспер, почувствовав, что сеть стягивается вокруг него, в страхе бросился в склеп проверять, не осталось ли там неуничтоженных улик, или если его как-нибудь иначе туда заманили, а там он встретил поджидающего его Мстителя — Елену Ландлес в образе Дэчери,— это значит, Диккенс сумел подготовить к концу романа ситуацию такой напряженности и силы, что все надежды, которые он возлагал на эту книгу, можно считать оправдавшимися: он действительно доказал свою способность построить крепкий сюжет, безупречный по замыслу и выполнению. А что Диккенс примерно так мыслил себе развязку, в этом нас убеждают слова Форстера:

«Вскоре после убийства преступник узнает, что его преступление было ненужно — с точки зрения тех целей, ради которых оно было совершено. Но самое убийство очень долго остается нераскрытым, пока с *помощью золотого кольца,* устоявшего против разрушительного действия негашеной извести, в которую было брошено тело, не удалось, наконец, установить не только *имя жертвы, но также место преступления и личность преступника»* [1].

Очевидно, Джаспера заманили бы на место преступления; там его и ждали бы. Либо он сам бросился бы туда, гонимый страхом, либо его каким-то способом побудили бы снова посетить это место. Дальше последовал бы его арест, осуждение, исповедь и самоубийство с помощью яда — на все это есть до-

---

[1] По поводу теории Проктора можно еще отметить, что он вынужден игнорировать это сообщение Форстера, основанное на собственных словах Диккенса. Эпизод с кольцом он отметает, о пророческом рисунке Коллинза ему нельзя упомянуть. *(Прим. автора.)*

вольно ясные указания. И как всегда у Диккенса, справедливость восторжествовала бы и все ухищрения убийцы обратились бы против него самого.

Но несомненно, что еще одному лицу предстояло погибнуть прежде окончания романа — окончания во всех прочих отношениях счастливого. Невил Ландлес отмечен для смерти не менее ясно, чем Хэм Пегготи или Сидней Картон; Диккенс умел это делать. Невил умрет героически. Проктор, считавший, что Эдвин жив, выдвигает такую версию: Невил погибнет при попытке защитить Эдвина Друда — которого он терпеть не может — от нападения разъяренного Джаспера. Но насколько же будет значительнее, возвышенней и достойней, если в ту минуту, когда Дэчери сбросит маску и превратится в Елену Ландлес, когда припертый к стене и взбешенный убийца направит в ее грудь смертельный удар, брат ее, для которого она столько сделала и который теперь так блестяще оправдан, в этот момент наивысшего счастья и победы с радостью отдаст за нее свою жизнь!

. . . .

Эти выводы, к которым мы пришли, основаны на фактах, изложенных Диккенсом в тех главах, что он успел написать. Они согласуются с намерениями, которые он устно высказывал. Они совпадают с его первоначальным замыслом, о котором он говорил Форстеру. Они позволяют конструировать такую развязку, которая будет новой, неожиданной и логически оправданной. Каждый персонаж найдет в ней свое место, каждая мелочь, помянутая в романе, будет использована. Не будет ни пробелов, ни натянутых объяснений. Естественно и убедительно развиваются события, неуклонно подвигаясь к предуказанному окончанию — тому окончанию, которое автор видел так ясно и которое так хитро скрывал от других. Елена Ландлес, вместо того чтобы оказаться вовсе лишней для действия и пригодной самое большее на роль супруги мистера Криспаркла, обратит свои необычайные способности на важнейшее дело. Друд, вместо того чтобы чудесным образом восстать из гроба, ускользнув неизвестно как от рук умного преступника, который тем не менее нисколько не сомневается в успехе своего злодеяния и соответственно с этим строит свои дальнейшие дерзкие ходы; Друд вместо того чтобы вернуться к жизни лишь затем, чтобы послать свое благословение бывшей возлюбленной, когда она

выходит замуж за другого; Друд, вместо этой никчемной роли, становится скрытым стержнем, вокруг которого вращается все действие. Джаспер, вместо того чтобы проявить себя дурачком и растяпой, оказывается действительно опасным злодеем, достойным трудов и усилий, затраченных на его поимку. Грюджиус, вместо того чтобы неизвестно почему скрывать спасение Эдвина Друда, подвергая бесчисленным опасностям тех, кого он призван оберегать, предстает перед нами как разумный и твердый человек, неустанный борец за справедливость. Так какую же из этих двух развязок предпочел бы, по всем вероятиям, Диккенс?

. . . .

Стоило ли так вникать в эту тайну? Безусловно стоило, ибо одновременно мы вникли в творчество автора. Мы увидели, что в свои последние годы он достиг новых вершин мастерства. Он вдохновился новой идеей; загорелся энтузиазмом; его прельстила эта новая возможность; и с таким же жаром, как и раньше, с такой же основательностью, он принялся за дело. А дело это требовало не только всех его способностей, но преимущественно таких, которые он прежде мало упражнял. Он не уклонился от этого испытания. С неистощимым терпением, с блестящей изобретательностью разрабатывает он свой сюжет, сообщая каждой части законченность, с безупречным тактом отбирая слова, действия, характеры. И если бы не вмешательство Судьбы, властвующей над всеми, велико было бы его торжество. Гений Диккенса не клонился медленно к закату, он угас мгновенно. Пусть даже изучение «Эдвина Друда» не даст нам ничего другого,— оно, во всяком случае, позволит нам увидеть, насколько великим оставался этот редкостно одаренный человек вплоть до той минуты, когда перо выпало из его омертвелой руки.

«Эдвин Друд» — это только торс статуи, и, созерцая этот незаконченный шедевр, мы понимаем, как искусна была рука, которая его изваяла, как силен был интеллект, который его замыслил, и как прекрасны были бы пропорции этого творения, если бы автор успел его завершить.

КОММЕНТАРИИ

ЗЕМЛЯ ТОМА ТИДДЛЕРА

«Земля Тома Тиддлера», так же как и «Рецепты доктора Мериголда», относится к циклу рождественских рассказов Диккенса 60-х годов.

Рассказ был напечатан в рождественском номере журнала «Круглый год» за 1861 год. Он создавался Диккенсом в творческом содружестве с другими авторами — Чарльзом Коллинзом, Джоном Хэрвудом, Эмилией Эдвардс и Уилки Коллинзом (1824—1889) — известным писателем, одним из основоположников жанра детективного романа. Диккенсу здесь принадлежат три главы (I, VI и VII).

Стр. 7. *...в детской игре про Тома Тиддлера.*— Смысл этой игры в том, что один из игроков, Том Тиддлер (или Том Айдлер — то есть лентяй) очерчивает вокруг себя на земле свои владения; другие игроки вбегают в круг, крича: «Мы на земле Тома Тиддлера, собираем золото и серебро!» Том Тиддлер преследует их до черты, и тот, кто пойман, становится на его место.

Стр. 10. *...добропорядочным готтентотом.*— Готтентоты — племя в южной Африке. До появления голландских колонизаторов готтентоты жили патриархальными семьями. По свидетельству ряда путешественников XVIII века, они отличались своеобразным бытом, в основном кочевым, но крайне первобытным и грубым.

Стр. 15. *Благородный дикарь.*— Диккенс иронизирует над распространенным в то время в литературе образом дикаря, воплощающего безыскусственную добродетель. По этому поводу в журнале Диккенса «Домашнее чтение» была опубликована специальная статья «Благородный дикарь» (в июне 1853 года).

Стр. 55. *...миновал Антиб, вышел к берегу реки Вар...*— Антиб — портовый город в южной Франции, в департаменте Приморских Альп. Вар — река в юго-восточной Франции, которая была границей между Францией и Италией.

Стр. 56. *Там как раз пели «Miserere»...*— 50-й псалом царя Давида, положенный на музыку. Miserere (помилуй) — первое слово латинского текста псалма.

Стр. 63. *...до знаменитых клипперов.*— Клипперы — быстроходные парусные судна. Появились в середине XIX века как следствие конкурентной борьбы между парусным флотом и пароходами сначала в США, затем в Англии.

Стр. 97. *Мормоны* — или «святые последних дней мира» — религиозная секта, возникшая в Северной Америке в первой половине XIX века. Религия мормонов — смесь различных верований и христианства — требовала от членов секты полного подчинения ее иерархической организации.

Юта — территория, на которой обосновались мормоны, со столицей Солт-Лейк-Сити.

Стр. 101. *Пончо* — зимний плащ из фланели.

Стр. 104. *Трапперы* — охотники на пушного зверя в Северной Америке, пользующиеся чаще всего капканами.

Шошоны — индейское племя, обитавшее в горных районах Западного Вайоминга.

Арапахи — воинственное кочевое индейское племя. В настоящее время живут в резервациях, в штатах Оклахома и Вайоминг.

Стр. 112. *Черноногие* — индейцы, близкие по происхождению к арапахам.

Стр. 131. *Гай Фокс* — один из участников католического заговора 1605 года в Лондоне. Сигналом к восстанию должен был явиться взрыв парламента. Гаю Фоксу было поручено взорвать бочки с порохом в подвале палаты лордов. Но заговор был своевременно раскрыт; его главари, в том числе Гай Фокс, были казнены.

РЕЦЕПТЫ ДОКТОРА МЕРИГОЛДА

Повесть была напечатана впервые в рождественском номере журнала Диккенса «Круглый год» в 1865 году.

Замысел «Доктора Мериголда» возник у Диккенса, по его собственным словам, в период трудной и утомительной работы над романом «Наш общий друг». Образ Cheap Jack'а, коробейника, и все связанное с ним «... нахлынуло вдруг в таком ярком свете, что оставалось только смотреть и записывать».

Однако перу самого писателя здесь принадлежат лишь 1-я, 6-я и 8-я главы. Из пяти соавторов Диккенса наиболее известно в Англии имя Чарльза Коллинза (1828—1873) — писателя и художника, автора нескольких романов и ряда очерков, также печатавшихся в журнале «Круглый год».

Стр. 142. *...для налога в пользу бедных...*— Этот налог существовал в Англии с XVII века. Каждый приход облагал своих жителей налогом в пользу бедных соответственно доходам населения и количеству проживавших в нем бедняков. Но практическая помощь неимущим от этого налога, как правило, сводилась к нулю, ибо и без того скудные средства, взимаемые с населения, шли еще на покрытие многих других расходов в приходе.

Единорог — сказочное животное, упоминаемое в библии.

Стр. 144. *Опекунский совет.*— Несколько приходов объединялись и избирали комитет, ведающий помощью бедным,— Опекунский совет.

Стр. 145. *Налог на солод* — один из косвенных налогов, которыми государство облагало население Англии.

Стр. 146. *Суффолк, Ипсвич.*— Суффолк — английское графство на берегу Северного моря; Ипсвич — его главный город.

Стр. 153. *Эксетер* — главный город графства Девоншир, лежащий на берегах реки Экс.

Стр. 154. *...потому что фамилия его была Пиклсон.*— Пиклсон от английского слова pickle (пикл) — уксус, рассол.

Стр. 164. *...в Коннемарских горах...*— горы на западном побережье Ирландии.

Стр. 180. *Бюффон* Жорж-Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель, автор 36-ти томов «Естественной истории», в основу которой был положен принцип описания животных и их биологии в естественной обстановке.

Стр. 183. *...связанное с Ирландией* — Erin — древнее название Ирландии, идущее от римской традиции; так называли в своих трудах Ирландию Юлий Цезарь и древнеримский историк Тацит.

Фении — название древних обитателей Ирландии (от древнеирландского слова fene); в середине XIX в. так назывались ирландские революционеры, боровшиеся за независимость своей родины.

Стр. 187. *Исаак Уолтон* (1593—1683) — английский писатель.

Стр. 194. *Моравские братья* — религиозная секта, возникшая в Чехии в середине XV века. Первоначально Моравские братья отрицали государство, сословность, имущественное неравенство, проповедуя «непротивление злу». Затем пришли к примирению с существующим порядком. В Англии общины Моравских братьев появились в начале XVIII века. Диккенс в своих произведениях неоднократно разоблачает религиозное ханжество членов секты, прикрывающее их алчность и невежество.

Стр. 200. *Царь Ирод* — иудейский царь, по библейскому преданию, вызвавший ненависть своего народа чрезмерными тратами на увеселения, своей развращенностью и чудовищной жестокостью.

Грешная танцовщица — дочь Иродиады — жены брата царя Ирода; она плясала перед царем в день его рождения и, пленив его, потребовала в качестве награды голову Иоанна Крестителя на блюде.

Царица Эсфирь — по библейской легенде, родственница и воспитанница еврея Мардохея — пленника вавилонского царя. Персидский царь Артаксеркс избрал ее себе в жены, вызвав этим недовольство некоторых придворных. Они обманом добились согласия царя на издание указа об истреблении евреев. Эсфирь своим заступничеством спасла еврейский народ.

Стр. 203. *...жили же благочестиво Даниил и три отрока при дворе вавилонского царя.*— Библейское предание рассказывает, как пророк Даниил и трое юношей — Ананий, Азарий и Мисаил — попали в плен к вавилонскому властителю и вышли невредимыми из всех испытаний.

Стр. 213. *Килларни* — город на юге Ирландии.

Стр. 223. *...дни Георга IV.*— Георг Четвертый (1762—1830) — английский король (1820—1830); поддерживал крайне консервативное правительство тори, которое провело ряд законов, направленных против свободы и демократии в стране.

Стр. 229. *...Зуав* — зуазуа — одно из самых воинственных арабских племен Алжира. В XIX веке зуавами стали называть отряды туземных войск, сформированные французами; затем в эти же отряды стали вступать и французы. В 1842 году арабы были выделены в отдельные полки, а в зуавах остались только французы. Обмундирование зуавов напоминало алжирские национальные костюмы.

Стр. 232. *Дэвид Брустер* — философ и естествоиспытатель (1781—1868), автор книги «Письма о натуральной магике».

Стр. 237. *«Ньюгетский календарь»* — многотомное издание, содержащее хронику уголовных преступлений, начиная с XVIII века.

Стр. 249. *Ормистон* — город в Шотландии.

Стр. 267. *«Я,— ответил воробей,— луком и стрелой моей...»* — фраза из английской детской песенки «Кто убил петуха-Робина?..»

Стр. 268. *...историю Давида возможно понять, только поглядев на Пиклсона.*— По библейской легенде, которую имеет здесь в виду Диккенс, юноша Давид встретился в единоборстве с великаном Голиафом и победил его.

М. СЕРЕБРЯННИКОВА

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА

Стр. 277. *Алмея* — восточная танцовщица.

Стр. 278. *Ласкар* — матрос-индиец.

Стр. 306. *Бельцони* Джованни-Баттиста (1778—1823) —известный египтолог и коллекционер, совершивший несколько важных открытий: в 1817 году он обнаружил близ Фив гробницу фараона Сети I, чем положил начало дальнейшим находкам в Долине царей, а в 1818 году открыл пирамиду Хэфрена и проник в ее погребальную камеру.

Стр. 327. *...«будут повешены за шею, пока не умрут»* — принятая в английском суде формула произнесения смертных приговоров.

Стр. 368. *...во время памятных событий в Тильбюрийском форте.*— При известии о выступлении Испании против Англии и о посылке мощного испанского флота — Непобедимой Армады — к английским берегам (1587—1588) королева Елизавета

отправилась в город Тильбюри, недалеко от Лондона, делать смотр войскам, и произнесла там речь — обращение к английскому народу, в котором выражала готовность разделить участь своих подданных и вместе с ними бороться до конца за независимость Англии.

Стр. 372. *Девять Небожительниц.*— Имеются в виду девять муз.

Стр. 386. *Констанция* — южноафриканское вино высшего качества (белое и красное), получившее свое название от винодельческого района, где изготовляется.

Гендель Георг Фридрих (1685—1759) — один из крупнейших композиторов XVIII века, автор многих опер, оркестровых произведений и ораторий, немец родом, но впоследствии переселившийся в Англию, где и создал свои наиболее замечательные вещи.

Стр. 403 *...под сенью того ядовитого дерева на Яве...*— Диккенс здесь имеет в виду произрастающее на Яве дерево юпас, или анчар (ботаническое название Antiaris), часто фигурирующее в поэзии романтического периода,— у Байрона в «Чайльд Гарольде», у Кольриджа в трагедии «Раскаяние» («Remorse», д. I, явл. I), откуда Пушкин взял эпиграф для своего «Анчара».

Стр. 413. *Книга притчей Соломоновых* — часть библии, состоящая главным образом из сентенций нравоучительного характера; заучивание их наизусть считалось в Англии времен Диккенса обязательным элементом воспитания детей.

Стр. 424. *Пляска Смерти* — цикл гравюр немецкого художника Ганса Гольбейна (1497—1543), на которых смерть в виде скелета присутствует при всех перипетиях человеческой жизни (идет вместе с пахарем за плугом, играет на скрипке во время праздника и т. д.), как напоминание о неизбежном конце.

Стр. 436. *Фунтовый кекс* — очень сдобный кекс, при изготовлении которого берут по фунту (или поровну) основных составляющих его продуктов.

Стр. 444. *Сестричка Роза, сестричка Роза, что ты там видишь с башни?»* — Перекличка со сказкой о Синей Бороде, где его жена, обращаясь к своей сестре, произносит аналогичную фразу: «Сестрица Анна, сестрица Анна, что ты там видишь с башни?»

Стр. 453. *Железное дерево.*— Этим названием обозначаются некоторые сорта очень твердой древесины, из которой сооружаются детали строения, требующие особой прочности.

Стр. 537. *Фэг* — младший школьник, который, по принятому в английских школах обычаю, оказывает услуги старшекласснику.

Префект — ученик старшего класса, на которого возлагается обязанность поддерживать дисциплину в школе.

Стр. 541. *Страна, в которую можно взобраться по стеблю волшебного боба.*— Из сказки «Джек и бобовый стебель», в которой Джек взбирается по стеблю боба в сказочную страну, где переживает различные приключения.

Стр. 542. *Лары* и *пенаты* — в греческой мифологии духи-хранители домашнего очага. В переносном смысле (как здесь) — привычные предметы домашней обстановки.

Стр. 583. *...бронзовый орел, держащий на крыльях священные книги...*— В алтаре церквей часто помещался отлитый из бронзы орел (символ высокого парения духа), который служил подставкой для библии и других богослужебных книг.

Стр. 646. *Ата-подобная фигура.*— Ата в греческой мифологии дочь Зевса и Эриды, богини распрей и раздора. Ата имела власть насылать на людей внезапное безумие и одержимость слепой страстью. В более поздних мифах выступает как мстительница за нечестие и неправедность, наравне с Эриниями и Немезидой.

О. ХОЛМСКАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ 60-х ГОДОВ

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА
Перевод О. Холмской

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перевод О. Холмской

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 27

Редактор Н. Хуцишвили
Художник Н. Семпер
Художественный редактор Л. Калитовская
Технический редактор Г. Каунина
Корректор В. Элькин

Сдано в набор 19/V 1961 г.
Подписано к печати 13/I 1962 г.
Бумага 84 × 108 1/32 —20,75 печ. л.=34,03
усл. печ. л. 33,28. уч.-изд. л. Тираж 420 000
(300 001—420 000) экз. Заказ № 3941. Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.